Рейчел Кадиш
ВЕС ЧЕРНИЛ

Annotation

Действие романа разворачивается в Лондоне 1660-х годов и в начале двадцать первого века; в нем переплетаются истории двух женщин: Эстер Веласкес, беженки из Амстердама, ставшей писцом у слепого раввина незадолго до нашествия на Лондон чумы, и профессора Хелен Уотт, которая, несмотря на возраст и слабое здоровье, все еще горит страстью к истории. Когда бывший студент приглашает Хелен осмотреть тайник со случайно обнаруженными документами семнадцатого века, она привлекает в качестве помощника Аарона Леви, нетерпеливого, но обаятельного аспиранта из Америки, и приступает к последнему в своей научной карьере проекту: установить личность загадочного писца, подписывающегося лишь одной буквой «алеф». Несмотря на то что героинь разделяют столетия, обе должны сделать нелегкий выбор и пойти на жертвы, чтобы примирить жизнь сердца и разума.

- Рейчел Кадиш
  -
  -
  - Часть первая
    - Глава первая
    - Глава вторая
    - Глава третья
    - Глава четвертая
    - Глава пятая
    - Глава шестая
    - Глава седьмая
    - Глава восьмая
    - Глава девятая
  - Часть вторая
    - Глава десятая
    - Глава одиннадцатая
    - Глава двенадцатая
    - Глава тринадцатая

- Часть третья
  - Глава четырнадцатая
  - Глава пятнадцатая
  - Глава шестнадцатая
  - Глава семнадцатая
  - Глава восемнадцатая
  - Глава девятнадцатая
  - Глава двадцатая
  - Глава двадцать первая
- Часть четвертая
  - Глава двадцать вторая
  - Глава двадцать третья
  - Глава двадцать четвертая
  - Глава двадцать пятая
  - Глава двадцать шестая
- Часть пятая
  - Глава двадцать седьмая
  - Глава двадцать восьмая
  - Глава двадцать девятая
  - Глава тридцатая
  - Глава тридцать первая
  - Глава тридцать вторая
  - Глава тридцать третья
  - Глава тридцать четвертая
- От автора
- Благодарности

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47

- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69

Рейчел Кадиш
Вес чернил

Rachel Kadish
The Weight of Ink

Copyright © Rachel Kadish, 2017
© И. М. Светлов, перевод, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Иностранка®

Талии и Джейкобу

И если перечтешь ты мой сонет,
Ты о руке остывшей не жалей.

Уильям Шекспир. Сонет 71[1]

Ричмонд, Суррей

8 июня 1691 года

11 сивана 5451 года

Позвольте, я все же начну заново. Возможно, на этот раз я буду более откровенна. Ибо язвительная немота бумаги, которая могла бы сказать правду, обратилась ложью.

Я не выгораживаю себя и не испытываю угрызений совести, но то, что я пишу сейчас, – это хоть какая-то возможность покаяться пред тем, кого я некогда предала.

В тишине этого дома перо и чернила не чинят препон руке моей и бумага не мнется. Пусть же передаст она истину,

хотя записок этих никто и не прочтет.

Часть первая

Глава первая

Лондон

2 ноября 2000 года

Она села за свой рабочий стол.

День выдался погожим, но холодные лучи солнца, что пробивались сквозь окно ее кабинета, действовали на нервы. Будь она помоложе – вышла бы на улицу в расчете согреться вопреки здравому смыслу.

Триумф надежды над опытом – но она давно уж отказалась от подобных иллюзий.

Неспешно перебрала она книги, что лежали на столе. Открытое издание «Утешений» Самуила Уске было покрыто толстым слоем пыли. Она провела по странице рукой и закрыла книгу.

Уже полвторого, а этот американец все не звонит. Ну как так – ведь Дарси сказал про этого своего аспиранта, что он – самое большое его открытие, талантище, а вот ведет себя как школьник. А Дарси был одним из немногих ее коллег, которым можно было доверять. Когда они последний раз разговаривали по телефону, он пообещал, что Леви поможет с документами. Рад, мол, ненадолго одолжить его вам: парень довольно-таки амбициозен, что, впрочем, типично для американца; твердит, что история может изменить этот мир, но даже вы, думаю, сможете выдержать три дня.

Вспоминая недавний разговор, Хелен слегка усмехнулась: хорош Дарси! «Даже вы»! До сих пор считает, что она способна кому-то противостоять…

Конечно, трех дней вряд ли будет достаточно для настоящей экспертизы. Но уже хоть что-то – на самом деле Хелен не имела права и на это. Хорошо хоть, Истоны не знали порядков, а то бы со смехом выставили Хелен из дому, когда она сказала, что ей требуется дополнительный доступ к документам. Сидя за темным деревянным столом напротив Иэна и Бриджет Истон, она не осмелилась попросить

больше. Солнечные лучи косо падали на их ухоженные руки, переплеты высоких сводчатых окон отбрасывали длинные тени, стекла играли бриллиантовыми искорками… и мысли Хелен мешались от того, что она успела мельком увидеть.

Консультация вроде вчерашней не была чем-то из ряда вон выходящим. Иногда люди выкапывают старые документы у себя на чердаках или на дне старых унаследованных сундуков и, если им не приходит в голову обратиться в совет по древностям, просто звонят на исторический факультет университета.

Однако тот, кто позвонил вчера, попросил к телефону Хелен Уотт. Он представился как Иэн Истон. Это имя ничего не говорило Хелен, хотя Иэн сказал, что много лет назад учился у нее.

– Понимаете ли, – извиняющимся тоном начал Истон, – моя жена унаследовала от тетки дом конца семнадцатого века. Изначально мы планировали отремонтировать его и открыть в нежилых помещениях частную галерею, а самим поселиться на верхнем этаже. Разумеется, эта идея целиком и полностью принадлежит жене, так как эстетического чутья у меня ноль. А вот она сразу поняла, что можно было бы сделать, если совместить высокое современное искусство и интерьеры семнадцатого века. Хотя, к сожалению… – тут Истон протянул паузу, а затем осторожно продолжил: – Были некоторые заминки. Года на два. В Ричмонде трудно получить разрешение на ремонт здания, внесенного в список объектов архитектурного наследия. – Неловкий смешок, как бы из страха обидеть Хелен. – Нет, я не хочу сказать, что осторожность местных властей в таких вопросах чрезмерна. Они просто выполняют свою работу. Но похоже, что тетка жены, к моему сожалению, потратила немало лет, чтобы восстановить против себя некоторых членов муниципального совета. Так вот, наконец мы получили все необходимые согласования. Пригласили электрика, чтобы тот посмотрел проводку. А это парень через четверть часа взял и ушел. Потом звонит мне и говорит, что обнаружил какие-то бумаги с текстом на арабском языке и теперь нужно проверить здание на предмет спрятавшихся имамов или, может быть, террористов, ему все равно. И пока я не решу этот вопрос, он будет работать на другом объекте. Вероятно, он не обратил внимания, что этим бумагам более трехсот лет. Я посмотрел, и мне показалось, что написаны они на

еврейском – что-то, адресованное раввину… Вроде из Испании. Ну… – голос Истона неловко дрогнул, – вот я вам и позвонил.

Прижав трубку плечом к щеке, Хелен постаралась потянуть время. На мониторе ее компьютера вот уже час мигал курсор в середине абзаца, который она правила. Никогда еще работа не казалась ей такой скучной. Но последнее время именно так и было, и то, что некогда трогало ее за душу, теперь словно бы утекало в небытие. То и дело в сознании вспыхивали иные искры, как будто высеченные ударами молота. Вспышки озаряли пространство памяти: жаркая пустыня, мягкий стук закрывающейся двери сарая; ноздри наполняются запахами, от которых на мгновение кружится голова. Но, слава богу, искры гаснут, не успев разгореться по-настоящему.

Хелен поправила стопку книг на столе.

– Наверное, в понедельник.

– Дело в том, – тут голос Истона стал еще более тревожным, – что я хотел бы попросить вас приехать сегодня. Мы потратили уйму времени, чтобы найти электрика, и нам не хотелось бы, чтобы он ушел на другой объект. Да и бумаги почти истлели – чувствую, зря он их трогал.

Говоря по правде, Хелен вполне могла потратить на это дело пару-тройку часов. В тот день у нее ничего не получалось, хотя оставалось лишь отредактировать уже написанное, а эту работу она пообещала себе закончить до выхода на пенсию. Хелен занималась сбором скудных свидетельств о распаде еврейской общины в Лондоне во время эпидемии чумы в 1666 году. Их раввин бежал из Англии в самом начале поветрия, те, кто посостоятельнее, уехали из города; еврейские фамилии почти пропали из учетных книг записи населения, пока через несколько лет община не восстановилась уже под новым руководством. Так что все это вполне могло подождать и до вечера.

И все же Хелен колебалась, расспрашивая Иэна Истона о подробностях истории его дома. Согласившись наконец на его просьбу, она все же дала понять, чтобы тот не очень-то рассчитывал на ее интерес к каким-то найденным у него под лестницей манускриптам.

Итак, предстояла короткая поездка в Ричмонд. Хелен отправилась туда, смутно ощущая, что именно это ей и следует сделать – воспользоваться шансом выбраться на улицу в ясный день. Пока это еще возможно.

Она села за руль. Ключи так тряслись, что Хелен пришлось прихватить связку обеими руками, чтобы найти ключ зажигания. В замок она попала лишь с третьего раза. Да, денек явно не задался.

Через двадцать минут она уже припарковала машину в Ричмонде и пошла по наполовину ушедшей в землю каменной дорожке. Едва ее взору открылся дом Истонов, Хелен невольно замедлила шаги.

Когда Иэн Истон сказал, что здание было построено в конце семнадцатого века, Хелен несколько усомнилась. В этом районе домов семнадцатого века было совсем немного, и все они были на учете вплоть до последнего выветренного своего кирпича.

Но в данном случае сомнений быть не могло. Освещенный холодным послеполуденным светом, дом настолько отличался от соседних строений, что казался среди них отверженным. Украшенные орнаментом карнизы, резные вставки из кирпича с закругленными гранями на фасаде и даже выложенная мелким булыжником дорожка, что вела к массивной входной двери, – особняк явно подражал тем немногим усадьбам семнадцатого столетия, которые еще сохранились в этом районе, хоть и уступал им в масштабе. Но все-таки здание явно было построено в ту же эпоху человеком явно небедным и имевшим положение в обществе. Также Хелен теперь легко могла понять, почему дом, в отличие от некоторых его современников, никому не известен и не является местной достопримечательностью. Каким бы великолепием он ни блистал в семнадцатом веке, теперь, благодаря небрежности хозяев и неумело произведенному некогда ремонту, дом пришел в упадок, к тому же слева от главного входа портила вид нелепая пристройка, созданная скорее в викторианском духе, нежели в стиле английского барокко. На шифере кровли виднелся кусок алюминиевого листа, которым, вероятно, когда-то заделали протечку. Телефонные и электрические провода вились, словно плющ, по фасаду, нарушая строгие линии многостворчатых окон.

Она подошла к двери; трость ее скользила по неровным камням. От непривычной нагрузки дыхание участилось, и Хелен замедлила шаг, чтобы успокоиться. В узком окне рядом с дверью она заметила отражение собственной сгорбленной фигуры. Хелен наклонилась ближе, и изображение покрылось рябью, словно на темной поверхности ручья: бледная стареющая преподавательница в старомодном костюме, тяжело опирающаяся на трость.

Хелен дотронулась до прохладного кирпича рядом с окном. Словно профессиональный взломщик, она глянула сквозь стекло, и оно затуманилось от ее дыхания. Когда мутное пятно исчезло, Хелен смогла различить темный атрий. Стали проступать поначалу неясные, но затем все более отчетливые детали интерьера. Она судорожно вздохнула. Перемычку над дверным проемом украшали резные херувимы. Они же виднелись над темным камином в гостиной. Половина дворцов и поместий семнадцатого века, которые еще сохранились в Суррее, имели точно такой же орнамент, хотя имя мастера-резчика давным-давно затерялось в веках.

Хелен выпрямилась и взялась за холодный железный молоток. Солнечный свет щедро заливал все вокруг – дверь, мраморный порог, рукав шерстяного пальто, и только тяжелый металл молотка и тонкая рука Хелен не воспринимали тепло лучей.

Звук от удара молотка отразился от полотна старой двери и заглох. Наступившая тишина – так свойственная любому старому дому – заставила Хелен на мгновение испытать знакомое чувство: как будто снова встретилась со своим бывшим возлюбленным, который некогда познал ее вплоть до последнего дюйма, а теперь делает вид, что не знаком с нею.

Дверь открыл высокий блондин с аккуратной прической.

– Профессор Уотт! Вы даже не представляете, как мы вам благодарны, честное слово!

Несколько натянутое приветствие Иэна Истона отозвалось эхом в напоминавшем вход в пещеру холле, однако Хелен даже не слушала его. Иэн жестом пригласил ее войти. Резное дерево, высокий потолок, обрамляющий выход на балкон со второго этажа, картины в коробках, сложенные на каменном полу… Запах свежей краски.

– Я был когда-то вашим студентом, – продолжал Иэн, хмуря брови, – но, само собой, вы меня не помните.

По крайней мере, он проявил такт, избавив ее от необходимости говорить на эту тему. Иэн провел Хелен вперед, в холл, умеряя свой шаг, чтобы не обгонять даму.

– Прошу извинить за беспокойство – ведь у вас наверняка есть и более важные дела.

Хелен остановилась. Над ее головой нависала широкая притолока. Резные херувимы с безмятежными отрешенными лицами выстроились,

словно часовые.

Иэн остановился рядом и, выдержав почтительную паузу, продолжил свои объяснения. Когда он увидел то, что принял за еврейский текст, то сразу вспомнил о ней и ее опыте в этой области. Так что, если Хелен могла бы посоветовать, что делать с этими бумагами, он был бы весьма ей признателен, так как…

Даже покрытые пылью, гладкие щеки херувимов сияли выражением детской мудрости.

Иэн продолжал говорить, но дом говорил громче – он почти оглушал Хелен. Ей вдруг пришла в голову мысль, что, возможно, стоит постараться найти общий язык со своим бывшим студентом.

Она заставила себя повнимательнее взглянуть на этого небрежно, но хорошо одетого мужчину, который, разговаривая с ней, подавался вперед, словно все еще стараясь заслужить одобрение преподавателя.

– Дело в том, – продолжал Иэн, – что нам пришлось потратить немало времени для получения согласования. И теперь любая новая задержка…

Наткнувшись на пристальный взгляд Хелен, Иэн умолк и повлек ее к резной парадной лестнице. Хелен успела рассмотреть полированное дерево массивных перил и богато украшенные резьбой боковые панели; на площадке второго этажа резьба становилась более изысканной, – но Иэн провел ее мимо лестницы, обогнув основание, и они оказались в просто отделанном помещении, окно которого выходило на сторону, противоположную парадному входу.

У окна на карточном столике лежала книга в потрескавшемся кожаном переплете, а рядом с ней два листа, о которых Иэн и рассказал по телефону: это и было то, что электрик вытащил из-под лестницы.

Хелен взглянула на страницы из плотной бумаги, не осмеливаясь прикасаться к ним. Она присмотрелась – слева направо шел текст на португальском, местами прерываемый, словно на контрапункте, текстом на иврите, шедшим в обратном направлении.

Хелен не спеша прочитала написанное, затем перечитала еще раз.

– Вон там, – произнес Иэн и указал рукой.

Она подняла глаза. В темном углу у самого основания лестницы, куда не попадал ослепительный свет из огромных окон лестничной площадки, виднелась небольшая взломанная панель. Иэн предложил

ей помощь, но Хелен не обратила на него внимания. Она приблизилась к вскрытой панели. Затем медленно, словно кающийся грешник, опустилась на колени, едва не сломав трость.

Хелен долго стояла так, прижав ладони к холодному полу. На нее вдруг навалилась великая тяжесть, будто каждый прожитый ею год обрел физический вес. Какое-то время она просто смотрела на забитые полки, почти не дыша. Понимая, что этого делать не следовало бы, Хелен все же протянула дрожащую руку и потянула на себя один лист.

Всего лишь одно мгновение… Удивительно, но страница, целая и невредимая, уже покоилась у нее на ладонях, словно доверчивая птица.

– А, вы уже здесь! – раздался вдруг звонкий голос, сопровождаемый стуком каблуков по каменному полу.

– Моя жена Бриджет, – сказал Иэн.

Хелен с трудом поднялась и пожала протянутую ей гладкую руку, унизанную кольцами. Затем хозяева проводили ее из продуваемого сквозняком холла в небольшую комнату с высоким потолком. Иэн ненадолго исчез и вернулся с чайником. Все уселись за массивный деревянный стол напротив трех залитых солнечными лучами окон – каждое из них было почти в человеческий рост. Старинные литые стекла превращали небольшой, обнесенный забором двор в яркий импрессионистский пейзаж, отчего у Хелен рябило в глазах. За столом повисла неловкая пауза, и Хелен смогла повнимательнее разглядеть чету Истонов. Бриджет и Иэн… Две светлых шевелюры – у Бриджет волосы расчесаны на прямой пробор и ниспадают на плечи, Иэн же начинает потихоньку лысеть. Оба одеты очень хорошо, по-деловому. Молодые еще, немного за тридцать, но вокруг уголков рта и глаз у обоих обозначились едва заметные морщинки. Смаргивая от резкого запаха краски, они сидели спиной к дверям, за которыми виднелась темная резная лестница.

– Разумеется, – произнес наконец Иэн, – мы хотим, чтобы все было сделано в соответствии с требованиями законодательства.

Хелен медленно кивнула.

– Однако мы никак не рассчитывали на такую загвоздку. Хотя после того, что нам пришлось претерпеть…

– Как вы думаете, – вмешалась Бриджет, – когда можно будет убрать эту генуцу?

– Генизу, – поправила ее Хелен. – Я объяснила Иэну еще по телефону, что мы пока не знаем, что у вас хранится на самом деле. Все, что нам известно, – некоторые документы написаны на иврите. Что-то вроде, – тут она глубоко вздохнула, стараясь придать своему голосу безразличное звучание, – что-то вроде переписки двух раввинов семнадцатого века.

– Да, – мелодично рассмеялась Бриджет. – Тетя говорила мне, что в семнадцатом веке в этом доме жили евреи. И это подтверждено документально. Но раввины?

Хелен обратила внимание на то, что Бриджет обладает гибким телом танцовщицы. Кроме того, она никак не могла сидеть спокойно и постоянно как бы вкручивалась в свое кресло.

– Пока еще доподлинно неизвестно, – с расстановкой сказала Хелен, – жили ли здесь раввины. Документы могли перенести сюда из другого места. А когда мы сможем забрать отсюда бумаги, чтобы вы смогли закончить ремонт, зависит от их состояния. Нужно провести экспертизу, чтобы выяснить, можно ли их перемещать.

Бриджет коротко мотнула головой – мол, это неприемлемо.

– Понимаете, моя тетя отказалась от предложения включить этот дом в маршрут пешеходных экскурсий, и совет по древностям Ричмонда это запомнил. Мы хотели закончить ремонт больше года назад, но совет препятствовал нам буквально на каждом шагу. Даже самое простое согласование занимало несколько месяцев. Да мы и не собирались ничего тут серьезно перестраивать.

Бриджет пренебрежительно махнула рукой и продолжала:

– Но, видно, они там еще до сих пор не отошли от истерики, когда в двадцатых годах бульдозерами снесли Орлеанский дом.

– Ну конечно, их озабоченность можно понять, – вставил Иэн, – ведь всем нам дорога местная история.

Бриджет в накрахмаленной белой блузке и прозрачном зеленом шарфике, повязанном вокруг шеи, поджала губы и наклонилась вперед, чтобы подлить чаю. В наступившей тишине отчетливо зажурчала янтарная струя.

– Моя тетя жила одна и так ни разу и не обновила здесь краску. Чтобы привести этот дом в более или менее презентабельный вид, нам потребовалась масса времени и труда. Еще одна задержка на этом этапе – и…

Бриджет на мгновение перестала помешивать чай. Ее узкое запястье, обвитое зеленым, как бутылочное стекло, браслетом, изогнулось, а маленькая ложечка замерла в воздухе, словно Бриджет пыталась подобрать слова, которые предостерегли бы Хелен от попыток помешать ее планам.

– И это будет весьма прискорбно, – закончил за нее Иэн.

Бриджет метнула в его сторону многозначительный и недовольный взгляд.

И тут Хелен наконец вспомнила его – Иэн Истон, больше похожий на мальчишку, чем на юношу, долговязый, никак не умещавшийся за столом, который был слишком низок для него. Он происходил из довольно состоятельной семьи, был приветлив, пользовался вниманием товарищей, неплохо играл в футбол. Иэн был достаточно умен для средней школы, но для университета уже не годился. И тем не менее, отметила Хелен, он все же старался прилежно учиться, хотя никакого таланта у него и в помине не было.

На полках позади четы Истонов стопками лежали книги с выгоревшими на солнце корешками. Если бы за ними правильно ухаживали, эти издания могли бы стоить неплохих денег. Там и тут валялись журналы о дизайне интерьеров с изображениями однотонной мебели или ярких абстрактных картин. Один из длинных стеллажей был завален потрепанными книгами в мягких обложках, явно принадлежавших тетке Бриджет, – Хелен подумалось, что их скоро вынесут на помойку.

В кругу, к которому принадлежали родители Хелен, с детства приучались мгновенно определять социальное положение незнакомцев, и она не могла отрицать, что иногда это умение бывало полезным. Она сразу увидела, что Бриджет происходит из семьи «старых денег», но обедневшей, которая, как догадывалась Хелен, принимала в муже все, за исключением (но об этом речь заходила только после пары стаканов) его, безусловно, невысокого происхождения. Скорее всего, на словах они придерживались довольно-таки либеральных взглядов, но на деле вряд ли хоть на минуту забывали о своих привилегированных предках.

Хелен чувствовала, что, несмотря на намерение открыть художественную галерею, Бриджет вряд ли делает это ради искусства как такового. Скорее всего, ей просто хотелось привнести в этот дом

некоторую изысканность, а быть может, ее интересовал доход, который принесет выставочный зал в интерьерах семнадцатого века. Но и тут Хелен сомневалась в том, что открытие коммерчески успешной галереи принесет успокоение в душу Бриджет Истон.

Иэн и Бриджет казались ей совсем детьми – то ли из-за высоких окон, то ли из-за того, что она чувствовала себя смертельно уставшей. Вот они сидят за узким столиком на первом этаже своего дома, своего долгожданного наследства, даже не подозревая, что истинным сокровищем могут оказаться как раз те самые бумаги, от которых они так стремятся избавиться.

– Начну с того, что я пока могу лишь догадываться о происхождении тех бумаг, что нашел ваш электрик под лестницей, – произнесла Хелен.

При этих словах лицо Бриджет напряглось, но педантичный тон Хелен звучал в тот момент как нельзя более уместно. Хелен начала с самой сути: четвертая библейская заповедь – да, та самая: «Не поминай имя Господа всуе» – с древних времен понималась в еврейских общинах как запрет уничтожать любой документ, содержащий упоминание о Боге. Такие бумаги подлежали захоронению, совсем как человек (при упоминании древних времен у Истонов остекленели глаза, но Хелен давно привыкла к такой реакции). И синагоги, и религиозные общины складировали устаревшие и обветшавшие документы в специальные хранилища, называемые «гениза», и держали их там до тех пор, пока не представлялась возможность захоронения. Самые богатые генизы могли содержать не только тексты религиозного характера, но и вполне светские документы: письма, бухгалтерские книги… Вообще, туда мог попасть любой документ, если учесть еврейскую традицию начинать со слов «С помощью Божией».

– Чай не слишком горячий? – осведомилась Бриджет.

Не отнимая ладони от колена, Хелен сухо улыбнулась:

– Ничего, скоро остынет.

Как будто именно горячий чай не позволял ей поднести чашку к губам, а не уверенность, что вид ее дрожащих рук выдаст все… а Истоны догадаются, что тремор не сколько из-за старости и нездоровья, сколько из-за бешено колотящегося сердца, которое давно уже так не билось.

Повысив голос ровно настолько, чтобы он звучал твердо, Хелен продолжила свою лекцию. Бриджет почтительно притихла.

Слышали ли они что-нибудь о каирской генизе, которая хранит в себе свидетельства о повседневной жизни еврейской диаспоры более чем тысячелетней давности? Хотя эта гениза была открыта в девяносто шестом году девятнадцатого века, ученые до сих пор исследуют содержащиеся в ней документы, не подпуская к ним посторонних (тут Истоны закивали головами – ну ни дать ни взять два школьника-лоботряса, получившие нагоняй). Хелен продолжала говорить, понимая, что берет над ними верх, что ей ни в коем случае нельзя сейчас давать слабину. Она заметила, что Истонам очень повезло обнаружить хранилище, будь то гениза или еще какой способ хранения, в самом доме, а не в сыром подвале или на прокаленном солнцем чердаке. Бумага, изготовленная на льняной основе, пояснила она, куда как более долговечна, чем современная, которую выделывают из древесной массы, содержащей кислый лигнин, фатально влияющий на срок хранения.

Истоны бегло обменялись взглядами, словно оценивая пожилую голубоглазую ученую, которую они вызвали – возможно, напрасно – прямо из университета и которая, неподвижно сидя за столом, теперь читает им лекцию о хранении документов. Руки сложены на коленях, к чаю так и не притронулась.

– Значит, вы собираетесь передать бумаги в вашу общину?

Истоны пристально смотрели на нее.

– Я не еврейка, – сказала она сухо.

Реакция хозяев дома показалась Хелен очевидной до нелепости. Тонкие морщинки вокруг рта разгладились, сложенные на столешнице руки расслабились, длинное тело Бриджет несколько вальяжно откинулось на спинку стула. Впрочем, Хелен не винила ее. Истоны явно полагали, что ее специализация в еврейской истории означает, что она сама еврейка. Теперь стало понятно, что скрывалось за предупреждающими взглядами Бриджет, которые та метала в сторону мужа. Хелен представила, как та в течение часа, прошедшего после звонка Иэна в университет, проедала своему благоверному плешь. Их же наверняка предупредили, что если информация о находке дойдет до еврейской общины, то жизнь в этом доме станет невыносимой. Можно себе представить: вот, не приведи бог, в дверь постучат американские

туристы еврейского происхождения, чтобы только посмотреть. Или еще хуже – израильтяне, которые в свое время в Украине, не тратя время на разглядывание, просто демонтировали фрески убитого нацистами Бруно Шульца и переправили их контрабандой в Израиль. А работники Ричмондского совета по древностям хотя и бывают несколько надоедливыми, но все же действуют в рамках закона.

Нет, не то чтобы евреи поступали иначе…

Хелен молчала, выжидая. Через несколько мгновений выражение облегчения на лицах Истонов сменилось недоумением, что, впрочем, Хелен не удивило. Супруги словно вопрошали ее: зачем же она потратила столько времени, сидя у них за столом? И что вообще подвигло пожилую женщину нееврейского происхождения обратиться к иудаике?

– Так, может быть, нам лучше связаться с еврейской общиной, чтобы они разбирались с этими бумагами? – спросил наконец Иэн.

– Нет! – выпалила Хелен, не сумев сдержаться.

К счастью, ей хватило выдержки не добавить: «Бумаги мои!» Хелен машинально поднялась из-за стола, словно пытаясь стряхнуть с себя чувство стыда – ведь Истоны могли подумать о ней бог весть что, обвинив в мелочности, христианской нетерпимости, в желании стать единоличной обладательницей древних документов.

Истоны тоже встали.

– Я хотела сказать, – произнесла Хелен, – что эти бумаги принадлежат как вам, так и мне – это же наша общая английская история. Им место в университете.

Ей никто не возразил.

– Я незамедлительно поставлю в известность декана факультета, и мы сможем начать оформлять приобретение этих бумаг. Наш заведующий библиотекой с вами свяжется. И, конечно, вам заплатят за находку, – добавила Хелен.

Лица Истонов не выражали ровным счетом никаких эмоций, хотя Бриджет слегка покраснела. Ее муж вряд ли думал о деньгах, но Бриджет явно заинтересовал вопрос: сколько?

Хелен встретилась взглядом с Иэном. Да, у него холеные руки и стильный костюм, но выглядит он человеком прямолинейным.

– Самое главное – все сделать как следует, – сказал он. – И как можно скорее забрать отсюда документы, чтобы мы смогли

продолжить ремонт.

Хелен кивнула и заметила:

– Чтобы наш университет быстрее одобрил сделку, прошу дать мне три дня на первичную экспертизу – здесь, на месте. Не хотелось бы рисковать и сразу перевозить старинные бумаги. Тем более что это дело специалистов.

Хелен показалось, что Бриджет выглядит немного раздраженной.

– Обещаю, что без вашего разрешения отсюда не вывезут ни листочка.

Бриджет взглянула на мужа, как бы предостерегая его от ответа.

– Если университет заинтересуется, – осторожно вымолвила Хелен, – то вас, возможно, попросят пригласить независимого оценщика. Может, даже от дома «Сотбис».

Бриджет приподняла брови. Вот как – «Сотбис».

– Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, – продолжала Хелен, – я полагаю, что нам удастся быстро решить эту проблему. В наших архивах хранится большая коллекция документов, относящихся к эпохе Междуцарствия, и если предположить, что найденные у вас бумаги относятся к тому же периоду, то вполне возможно, что заведующий университетской библиотекой решит вопрос с приобретением достаточно быстро.

Хелен повернулась к Иэну и напустила на себя строгое профессорское выражение:

– Но если вы решите пригласить коллекционеров-любителей, чтобы узнать их мнение, то предупреждаю – документы могут быть серьезно повреждены, что непременно сорвет нашу с вами сделку.

Она повернула голову в сторону Бриджет и встретила ее ясный немигающий взор.

– Это понятно, – произнес Иэн, накрывая своей рукой руку жены.

Та после секундного колебания пожала его огромную ладонь и едва заметно улыбнулась. Следом расплылся в улыбке и Иэн – слова Хелен его явно успокоили.

– То есть нам просто придется немного потерпеть, пока вы не заберете все бумаги, – сказал он. – А это значит, что скоро мы все-таки сможет устроить в доме художественную галерею.

Иэн поцеловал свою супругу в золотистое темечко, и улыбка Бриджет из натянутой превратилась в искреннюю.

Под ослепительными солнечными лучами, лившимися из узорчатых окон, Истоны скрепили соглашение, добавив немногое. Им, по сути, было все равно, кому достанутся найденные документы – университету, Британской библиотеке или пусть даже Главному раввинату Израиля. Зато они могут сказать своим друзьям, что поступили правильно. Они прошли это испытание, хотя их будущей галерее и угрожали две полки, забитые бумагами со странными семитскими текстами. Теперь их ждала награда: не только возможность рассказать эту историю за стаканчиком в доказательство необычности их старого дома, но и, словно в сказке, получить мешок золота за то, что им удалось выполнить неотложную задачу – избавиться от этих чужих реликвий, чьих-то давних печалей, надежд или молитв, что сиротливо приютились под старинной лестницей.

Да, бумаги… Попрощавшись с Истонами, Хелен села в машину, захлопнула дверцу и прикрыла глаза, позволив недавнему образу заполнить все зрительное пространство. Две неглубокие полки в нише, на которую натолкнулся электрик, набитые бумагами. Все в идеальном порядке, словно в библиотеке. Сложенные страницы, которым более трехсот лет, со сломанными сургучными печатями, аккуратно выровненные по непрошитым листам и по выцветшим от времени кожаным корешкам. И одна грязно-белая страничка, что завалилась в щель, откуда электрик вынул один переплетенный том. Стоя на коленях в темном углу, чувствуя под собою холодные плиты пола, Хелен протянула руку и дотронулась до листка, как будто ее желание прикоснуться к этой бумаге было самой естественной вещью, жаждой, которую непременно нужно было утолить. Одна-единственная страница в ее трепещущих ладонях. Почерк изящный и легкий, чернила выцветшие до коричневого цвета. Португальские и еврейские слова оканчивались высокими характерными арками, которые изгибались над буквами. Завитки над португальскими словами шли справа налево, а над еврейскими – наоборот. Длинные ряды строк ползли вниз по странице подобно гребням волн, что с головокружительной скоростью неслись к берегу.

В глухой тишине кабинета Хелен на мгновение углядела размытое отражение своего лица в стеклянном циферблате часов – резкие вертикальные линии у рта, заострившийся подбородок, натянутые

сухожилия на шее, выдававшие привычку питаться наспех или не есть вообще. Щеки, круто ниспадавшие с высоких округлых скул, были бледны и изборождены морщинами.

На доли секунды она увидела свое лицо таким, каким, должно быть, видят его ее более молодые коллеги. Наклонившись вперед, Хелен смотрела, как легкий туман от ее дыхания постепенно застилает стекло.

Когда-то давно это лицо привлекало внимание если не красотой, то чем-то иным.

«Никогда еще не видел такого искреннего лица!» – сказал как-то Дрор.

Но иногда правда может ранить.

Она отвернулась от циферблата. Какой смысл мечтать впустую о том, какая была бы жизнь, родись ты с другим лицом?

Раздался стук в дверь.

– Войдите, – отозвалась Хелен.

Он оказался молод и высок. Войдя в кабинет, снял лыжную шапочку и сунул ее в карман джинсов. Одет гость был в футболку и шерстяной блузон – настолько вольно, что вызвал бы удивление даже у тех преподавателей исторического факультета, которые считали себя слишком современными, чтобы тщательно следить за стилем одежды.

– Профессор Уотт? – спросил вошедший.

В душе Хелен проснулась былая воинственность. У нее была манера сбивать спесь с коллег, когда еще были силы общаться с ними.

– Вы опоздали, мистер Леви, – сказала она.

Хелен ждала, как молодой человек воспримет ее упрек. Но его, похоже, не задела такая холодность. Аарон Леви выглядел худощавым, и у него было приятное лицо, правда, с характерным для американца несколько вялым ртом. Казалось, его дружелюбное выражение в любой момент могло превратиться в насмешливую ухмылку.

– Прошу прощения, – молвил Леви. – Автобус задержался.

Он говорил с легким акцентом. Хелен не ожидала, что Леви окажется столь ярко выраженным евреем. Это обстоятельство могло создать проблемы, хотя сейчас Хелен беспокоило другое. Что-то вспыхнуло в ее памяти, словно блуждающий огонек. Дрор.

– Могли бы и позвонить, – сказала она.

Леви обвел Хелен изучающим взглядом.

– Прошу прощения, – спокойно ответил он.

Ответный ход, но никак не извинение.

Хелен смотрела на Леви, начиная что-то понимать. Она сосредоточилась. Нет, нельзя, чтобы волнение заставило ее потерять контроль над собой. Да, несомненно, Аарон Леви имел определенное сходство с кем-то, кто был ей очень дорог. Ну и что? Бывает, что люди похожи друг на друга.

– Мистер Леви, вы понимаете, какой от вас требуется уровень профессионализма? – резко спросила Хелен.

У Леви от удивления и негодования вспыхнул румянец на щеках. Затем Хелен наблюдала, как тот волевым усилием подавляет эмоции. Леви овладел собой, и его худощавое тело слегка откинулось назад, прислонившись к стене. В уголках глаз показались лучики, а на лице появилось озорное выражение. Он явно был из той породы мужчин, которые привыкли заигрывать с женщинами.

– Мне нравятся сложные задачи, – сказал Леви.

«Нет, – пронеслось в голове у Хелен, – он совсем не похож на Дрора».

– Профессионализма, требуемого при работе со старинными документами, найденными в Ричмонде. Или Дарси не объяснил вам, в чем дело?

Хелен почувствовала, что заинтересовала его. На этот раз в глазах Леви мелькнуло что-то, что заставило ее пристальней посмотреть на него – словно Аарон Леви, зевнув, удалился с приема, оставив после себя кого-то другого.

– Эндрю Дарси сказал, что последнюю целую, нетронутую генизу той эпохи нашли более пятидесяти лет назад.

– Шестидесяти, – поправила Хелен. – И пока мы не изучим все эти документы, не сможем сказать наверняка, является ли эта находка настоящей генизой.

– Он сказал также, что вам может потребоваться специалист, способный переводить с португальского и иврита.

– Я сама вполне могу выполнить перевод.

Леви скрестил на груди руки.

– Если вы согласны приступить к работе, – продолжала Хелен, – то последующие три дня вам придется выполнять мои указания. Учитывая то, о чем я уже доложила Джонатану Мартину (декан

исторического факультета, чьи теплые отношения с вице-канцлером и заветная цель натянуть нос Университетскому колледжу Лондона могли бы наконец сыграть Хелен на руку), документы можно будет скоро приобрести. При условии, что оценка этих бумаг устроит университет – а я в этом уверена, – и если ваша квалификация окажется достаточной… – тут Хелен сделала многозначительную паузу, – возможно, я смогу предоставить вам возможность работать с этими документами и дальше.

Леви ничего не ответил.

– Разумеется, это означает некоторую отсрочку подачи вашей диссертации. Как я понимаю, вы потратили на нее довольно много времени?

Это была явно преднамеренная провокация со стороны Хелен, она ждала ответа Леви, хотя и сама удивлялась своей резкости. Не было никакой причины для подобных вспышек, ведь Леви ничем не мог повредить ей. Он был просто аспирантом, судя по всему, схватившимся за не самую выигрышную тему.

Дарси сообщил ей, что Аарон Леви занимается исследованием возможных связей между участниками шекспировского круга и евреями-беженцами, которым пришлось покинуть елизаветинский Лондон, когда там свирепствовала инквизиция. Как казалось Хелен, эта тема больше подошла бы для факультета английской филологии, нежели для исторического, но Аарон до конца стоял на своем, пока Дарси не сдался. В частности, юный мистер Леви искал доказательства тому, что Шейлок был списан Шекспиром не только лишь с печально известного еврейского врача Лопеса, которому отсекли голову за якобы готовившееся им покушение на королеву Елизавету, но и с других евреев, с коими Шекспир, вероятно, общался на протяжении многих лет. Да, это был довольно смелый и амбициозный выбор темы для диссертации.

А вот возьмись Леви изучать католические корни Шекспира, то, возможно, дело бы у него пошло иначе. Тем более что исследования в данной области с недавних пор получили новый толчок – как только на чердаке дома отца Шекспира был обнаружен религиозный памфлет. Этот документ открыл новые горизонты в шекспироведении, позволив молодым ученым обеспечить себя работой на долгие годы. Шекспир как тайный католик, Шекспир как католический художник,

вынужденный скрываться от бдительного ока протестантской монархии, – вот это была бы благодатная почва для исследований.

Что же до взаимоотношений великого английского драматурга и евреев, то здесь, по сути, ловить было нечего. Кроме «Венецианского купца» и одного весьма сомнительного намека в «Отелло», в пьесах совсем не упоминалось о евреях. А помимо пьес, других материалов и не было. Конечно, догадки можно было строить на чем угодно: личность «Темной Леди» или «Прекрасного Друга»… ну, или хотя бы на том, что Бард предпочитал на завтрак. Но без весомых доказательств все попытки связать Шекспира с евреями оставались не более чем теориями, уже подробнейшим образом рассмотренными Шапиро, Кацем и Грином. И если корифеи так ничего существенного и не смогли разглядеть, то каковы же были шансы у американского аспиранта? Как говорил Дарси, молодому человеку, несмотря на все его упорство, приходилось трудно…

Леви ничем не выдал своего отношения к вопросу Хелен, а просто медленно и спокойно кивнул.

– Бумаги, о которых идет речь, – Хелен заговорила быстрее, – находятся в Ричмонде, в доме семнадцатого века постройки, которым сейчас владеет семья Истонов – им дом достался от покойной тетки. Мне удалось выяснить, что дом построен в тысяча шестьсот шестьдесят первом году португальскими евреями. В девяносто восьмом году того же века его перепродали, а потом он переходил из рук в руки в тысяча семьсот четвертом и двадцать третьем годах. Затем в девятнадцатом веке одно крыло снесли и возвели на его месте новое строение, а в тысяча девятьсот десятом дом был приобретен семьей тетки Истонов, которая уже впоследствии позволила ему спокойно разрушаться, не подпуская даже близко местные исторические сообщества.

Да, а лет так десять тому назад я, кажется, преподавала мистеру Истону историю семнадцатого века. Скорее всего, я упомянула тот факт, что написала несколько статей о евреях-марранах и европейской инквизиции. И вот теперь, обнаружив у себя под лестницей собрание документов на иврите, он вспомнил об этом и позвонил мне.

Хелен ощутила, как ее губы складываются в кривую улыбку.

– Я-то сама не помнила этого Истона. Вероятно, он не сильно впечатлил меня тогда как студент. Но зато теперь я по-настоящему

впечатлилась.

По коридору прошли двое или трое сотрудников. Шум их шагов все нарастал, а затем стал стихать, хотя в викторианских интерьерах еще долго отдавалось эхо. Хелен положила руку на письменный стол, словно пытаясь что-то запомнить, зафиксировать, но тут бледный свет из окна попал в карие глаза Аарона Леви, отчего его взгляд сделался мягким. Это почти насмешило Хелен: ну да, профессор Уотт, шестьдесят четыре года… Хранитель общих мнений и чужих разочарований. Ее память напоминала старую лестницу, ступени которой износились от чужих, давно уже истлевших ног. Она почувствовала, как некая пульсация прошла сквозь ее уставленное книгами святилище: что-то шевельнулось в памяти, но это же и остановило Хелен. Запах примятой травы, запах пыли… И вдруг в ее животе крутанулся металл страха.

Да, у Дрора были такие же тугие кудри, те же миндалевидные глаза. Но все-таки какие же они разные… На мгновение перед ее взором возникло его лицо: загорелая кожа, подбородок, шевелящиеся губы, с которых слетают безжалостные слова. «Хелен. Это неправда. Вы же знаете, что это не так».

Ей удалось отогнать видение. За ним – гулкая пустота.

Было понятно, что во всем виноваты найденные бумаги. Они сломили ее. Зачем же ждать, что давно умершее вернется снова?

Едва слышно пощелкивал электронагреватель. Перед ней стоял аспирант, которого она видела впервые в жизни, лет на сорок моложе ее. Он смотрел на нее сосредоточенным взглядом, словно слышал все, что она сказала и что не произнесла.

Хелен вдруг вспомнила, что так и не предложила Леви присесть.

– Период Междуцарствия, – проговорила Хелен, хотя Леви ни о чем ее не спрашивал.

Голос ее прозвучал слабее, чем хотелось. Хелен собралась с силами и продолжила:

– Первый документ, который попал мне в руки, датируется тысяча шестьсот пятьдесят седьмым годом.

Леви одобрительно хмыкнул. Пятьдесят седьмой год. Самое начало возвращения евреев в Англию после почти четырех веков изгнания.

– Вопрос о приобретении документов университетом зависит от желания вице-канцлера, воли заведующего научной библиотекой и самих Истонов, – пояснила Хелен. – И именно в Истонах я уверена меньше всего. С одной стороны, найденные у них под лестницей реликвии – прекрасный повод похвастаться перед гостями за бокалом вина, а с другой – вряд ли бы они выставили такие находки в своей галерее. Да, они, конечно, молодцы, но я уже видела такое раньше. Энтузиазм быстро проходит. А потом…

– Так а что там, в этих бумагах? – перебил ее Леви.

– Как я уже сказала, бумаги относятся к периоду…

– Это понятно, – внезапно оживился Леви. – Но что вы конкретно в них прочитали?

– Судя по всему, – произнесла Хелен с расстановкой, чтобы обратить его внимание на то, что он перебил ее, – судя по всему, некий раввин по имени Га-Коэн Мендес, пожилой, приехал в Англию из Амстердама в тысяча шестьсот пятьдесят седьмом году с несколькими сопровождающими и осел в Лондоне. Тот лист, что я успела прочесть, мистер Леви, – копия письма, которое Га-Коэн Мендес отправил Менассии бен-Исраэлю.

Хелен сделала небольшую паузу, чтобы имя адресата дошло до Леви, и с удовольствием заметила, как тот выпрямился от изумления.

– Весьма примечательное письмо, – продолжила она. – Написано незадолго до смерти Менассии. Кроме того, я еще просмотрела молитвенник в кожаном переплете, напечатанный в Амстердаме на португальском диалекте иврита в тысяча шестьсот шестидесятом году. Могу сказать, – добавила она после секундного колебания, – что это довольно интересный материал. Одно это письмо, пусть даже оно окажется единственным разборчивым документом во всем собрании, содержит достаточно личное послание к Менассии, не говоря уже о том, что в нем подтверждаются некоторые факты о восстановлении еврейской общины в Англии, о которых раньше можно было только гадать. Думаю, это весьма существенное открытие.

Брови Леви поползли вверх.

– Но это открытие, – заметила Хелен, – должно сохраняться в тайне до тех пор, пока университет не решит вопрос о приобретении всех бумаг. И я недвусмысленно дала понять ответственным лицам, что это должно быть сделано, и сделано быстро.

На языке Хелен последнее заявление означало, что она лишь сказала о такой возможности Джонатану Мартину и долго потом выслушивала его разглагольствования насчет имеющихся в его распоряжении средств и политическом капитале.

– Если сделка состоится и университет приобретет бумаги, тогда с ними поработает наш отдел консервации, а потом мы сможем подробно ознакомиться с содержанием уже через библиотеку.

– То есть, – произнес Леви, – пока бумаги не пройдут обработку в лаборатории, у нас не будет к ним доступа?

– Напротив. – Хелен сделала глубокий вдох. – Я получила разрешение на предварительный осмотр этих бумаг на месте. У нас есть три дня.

Леви посмотрел на нее с любопытством. Затем его взгляд переместился в сторону камина и остановился на рисунке в рамке, висевшем над каминной полкой. Это был эскиз, выполненный в торопливой, но четкой манере, изображавший гору с плоской вершиной, одиноко возвышающуюся посреди усыпанной камнями пустыни.

Коллеги Хелен никак не реагировали на этот рисунок – для них это была всего-навсего безымянная гора в какой-то неведомой пустыне. Но еврей – американский еврей, который точно был в Израиле в одном из этих туров, посвященных героизму и мученичеству его народа, – уж точно узнал бы Масаду. И подумал бы, что некий британский профессор нееврейского происхождения, укрепивший у себя на стене изображение Масады, страдает романтизированным филосемитизмом или, что еще хуже, – острой сентиментальностью, поэтизирующей страдания евреев.

Когда Леви снова повернулся к Хелен, на его лице появился намек на усмешку. «Да пусть думает себе, что хочет», – сказала Хелен сама себе. Даже если бы она попыталась объяснить ему все, то он все равно не смог бы уразуметь, почему такая женщина, как Хелен, держит этот набросок напротив своего рабочего стола и вынуждена лицезреть его целыми днями. Это жестокое напоминание, чтобы она и не помышляла о том, что могла бы избрать иную жизнь. А также напоминание о единственной вере, которая все еще давала ей видимость утешения, хотя она уже давно перестала верить в возможность утешения, – вере в

то, что История, каким бы бездушным божеством она ни была, всегда предлагает нечто, требующее понимания.

И поскольку Историю совершенно не волновало, прочтут ли нерадивые потомки Ее послания, Хелен решила, что сама позаботится об этом. Она скрупулезно собирала каждую деталь, каждую улику; она посвятила всю свою жизнь собиранию свидетельств, поиску забытых мелочей давно ушедших жизней, восстанавливая с бесслезными глазами разбитый жестокой рукой сосуд.

У Хелен все еще оставалось неприятное чувство, будто только что она отдала Аарону Леви что-то глубоко личное и дорогое ей, а он каким-то непостижимым образом догадался, что неожиданно обретенные бумаги заставили ее потерять душевное равновесие. Но Хелен не была такой дурой – во всяком случае, пока, – чтобы ее было так легко сбить с толку внешним сходством… и думать, что это дает право незнакомцу замарать то, что не должно быть замарано.

– Так вы поняли, что мне от вас потребуется? – спросила она. – Мне нужен добросовестный и квалифицированный помощник.

Хелен была готова к следующему, очевидному вопросу: куда она так торопится? Ведь даже аспиранту было известно, что трех дней явно не хватит для полной экспертизы, а в конечном счете на решение университета приобрести эти документы повлияет мнение экспертов «Сотбис», а не их выкладки. Да и вообще, ученый возраста Хелен, которому осталось около года до отправки на пенсию, не должен бы питать иллюзий относительно каких-нибудь изменений в своей карьере, добиваясь доступа к документам, которые еще не были каталогизированы.

Хелен приготовила свои аргументы: значение в данном случае имеют документы, и ничего более. Поэтому она, Хелен Уотт, и попросила эти три дня. Рукописи пролежали нетронутыми триста лет. Они ждали прикосновения человеческих рук. И теперь, когда открытие свершилось, промедление немыслимо.

Немыслимо… Какое прямое, рациональное слово.

Однако здесь крылась иная правда, и Хелен с тревогой была вынуждена это признать: единственной причиной такой срочности являлось ее желание, желание больной женщины не допустить промедления. То зловещее ощущение, возникшее у нее в момент, когда она увидела кипы листов и тома, теснящиеся на полках: будто ее разум

– единственное убежище среди надоевшего шума этого мира – превращается в труху.

Но, к ее удивлению, Аарон Леви не стал спорить.

– Я согласен, – произнес он.

Затем, наклонив голову и высокомерно улыбнувшись, добавил:

– Думаю, удастся освободить следующие три дня.

Увидев такую нелепую попытку продемонстрировать собственную важность, Хелен чуть не рассмеялась.

Хелен медленно положила руки на стол. Правая рука сегодня не дрожала. «Враги мои», – прозвучало у нее в голове.

Она встала со стула. Взгляд Леви скользнул по ее трости, которую Хелен схватила с показной живостью. Нет, ее слабое здоровье совсем не беспокоило американца. Встретившись с ним взглядом, Хелен заметила в его глазах намеренное безразличие.

Она пропустила его вперед и потом плотно закрыла дверь кабинета. Леви двинулся по улице, даже не сбавив шага, чтобы подстроиться к ковылянию Хелен.

Они будут работать вместе и найдут то, что им суждено найти. Хелен ему не нравилась. Но он и не жалел ее. Достаточно и этого.

Глава вторая

Лондон

15 ноября 1657 года

09 кислева 5418 года

С Б-жьим благословением!
Ученому Менассии бен-Исраэлю

С сокрушенным сердцем из-за кончины вашего сына пишу я вам. Весть о том, что он отошел к праотцам нашим, достигла меня уже по прибытии в Лондон. Как мне сообщили, я оказался в Лондоне всего на несколько дней позже вашего отплытия из этого многолюдного города, дабы доставить тело вашего сына в Голландию. А также мне рассказали, что вы нынче чувствуете себя нездоровым и что ваша распря с общиной приняла довольно-таки ожесточенный характер.

Уповаю на то, что, когда вы будете сопровождать тело вашего сына к месту вечного упокоения, вы и сами обретете покой, а к нему – и здоровье.

Поскольку не могу переговорить с вами лично, буду говорить с Вами на бумаге при помощи того, кто пишет за меня эти слова. Я не прошу вас чтить мой совет, ибо у вас наверняка найдутся советники получше, чем немощный старец. И все же, мой уважаемый друг, я знаю вас с тех пор, когда вы еще были ребенком и сидели на коленях моего друга – вашего отца. Поэтому молюсь, чтобы вы прислушались к моему мнению по этому вопросу.

Я пишу вам, чтобы облегчить вашу сердечную боль, насколько это могут сделать написанные на бумаге слова.

В Лондоне говорят, что вы считаете вашу миссию здесь проваленной. Но я верю, что за время, проведенное вами в Лондоне, вам удалось посадить крепкий саженец. Эта земля еще станет убежищем для наших преследуемых соплеменников – не в мои дни и, возможно, не в ваши, но, несомненно, в дни тех, кого сейчас матери качают у себя на руках. Ибо как сказал старец: «Юнцом собирал я плоды с деревьев, посаженных моими предками. Так разве не надлежит и мне сажать деревья, плоды которых будут питать моих внуков?»

С надеждой прибыл я теперь в тот самый Лондон, который вы так поносите. Я покинул Амстердам не по принуждению – мне было хорошо в этом городе даже в немощи. Меня поддерживала община и ученики, так что бедность моя не была для меня бременем. И все же я решил принять приглашение племянника и провести оставшиеся дни в Лондоне, в той самой общине, которая не оправдала ваши великие надежды.

А надежды ваши были поистине велики, друг мой! Нет выше труда, чем тот, что вы предприняли, а гарантии, которые вы получили для евреев в этой земле, превосходят все достигнутое ранее. Однако же ни один человек не способен привести Мессию без помощи других, как бы их и наши стоны ни сотрясали землю.

Умоляю же вас оставить ваши горькие сожаления, не дающие покоя вашей душе.

Отец ваш, да будет благословенна память его, наверное, никогда не рассказывал вам, как мы с ним страдали от жестокости испанской инквизиции. Вместе мы пережили и видели такое, о чем я не буду говорить: вашего отца трижды забирали на пытки; меня же дважды, и во второй раз я потерял зрение. Но слух мой остался при мне, и я вместе с вашим отцом каждый день слышал крики сжигаемых на костре. И не думайте, что все их слова были святы.

Не осуждайте же тех, кто внимает зову страха.

Да будут благословенны имена мучеников!

И если мои слова причиняют вам боль, то пусть они режут, как лекарский нож, для помощи болящему. И пусть мои собственные несовершенства, многочисленные, как песчинки, не омрачат моего послания.

Корабль мой, с Б-жьей помощью, спокойно добрался до Лондона, и мой племянник Диего да Коста Мендес подыскал нам небольшой дом на Кричерч-лейн. Я намерен провести здесь остаток дней, чтобы передавать свои знания местным евреям, которые так медленно идут к тому, что вы для них предусмотрели. Они призвали мои скудные знания, потому что оказались не готовы к вашей силе. Так что вы должны знать, что ваше нежнейшее послание надежды действительно проникло в их души.

Нас четверо: я, моя домоправительница и двое сирот, которых я взял из амстердамской семьи Веласкес. Это брат и сестра. У обоих хорошие способности, правда, мальчик довольно ленив в учении и мне трудно развивать их в нем.

Я почти не выхожу из дома, ибо меня не влекут красоты города, недоступные моим глазам, а есть лишь стремление трудиться здесь до того дня, когда общество сможет заслужить столь великого вождя, как вы. Молюсь, чтобы вы сохранили себя до тех времен. Я верю, что страдания души и тела – две стороны одного листа, и скажу прямо, что опасаюсь за ваше здоровье, которое Б-г хоть и охраняет, но требует и от нас попечения о нем.

Друг мой, призываю вас, не поддавайтесь тьме! Я давно понял, что отсутствие надежды является смертельным недугом. А когда речь заходит о вас, то это уже не просто недуг одной драгоценной души, но зараза, которая способна всех погрузить во тьму. Вспомните о том, что свет, несомый вами, хоть и мерцает, но все же освещает путь нашему народу. Несите его! Ибо в этом мире иного выбора у нас нет.

Если бы я только мог наделить вас терпением слепца.

Да утешит вас Б-г со скорбящими Сиона и Иерусалима!

Р. Моше Га-Коэн Мендес

Глава третья

Лондон

2 ноября 2000 года

Профессор Хелен Уотт молча вела машину, не удостаивая Аарона Леви даже взглядом. На протяжении последних двадцати минут, что они ехали из офиса Хелен, она ограничивалась лишь односложными ответами на его вопросы, как будто пересмотрела свое решение включить его в свой проект и теперь лишь ждала удобного случая вытолкать американца из автомобиля.

Но не одна она сожалела о сделанном выборе. Чем дальше они ехали, тем больше Аарону казалось, что он совершил большую ошибку, купившись на предложение Дарси: если есть желание – небольшой отпуск, просто, видите ли, нужно помочь одному из моих специалистов… Просьбу было решительно невозможно отклонить, так как сделана она была с эдаким кривовато-ироническим выражением лица, каковое, как подумалось Леви, генетически присуще каждому англичанину.

Впрочем, возможно, кривая ухмылка полагалась к употреблению только после защиты диссертации. Аарон обнаружил, что, спрашивая английских аспирантов о работе, как правило, в ответ получаешь лишь некоторую вариацию на тему кровавых пыток. За этим не следовала, как это было принято в США, ответная просьба рассказать о собственной диссертации, приглашение выпить вместе или пробежаться по парку. Если здесь, в Лондоне, и могли иметь место товарищеские отношения, то Аарон решительно не знал, как их установить. А быть может, он просто не понравился местным. Абсолютная свобода для английского аспиранта – никаких тебе занятий и экзаменов, только и знай, что читай, исследуй и пиши, – быстро обернулась своего рода сиротством. Вот почему Аарон был искренне удивлен, когда Дарси окликнул его в холле, пусть даже речь шла всего-навсего о коллеге, которому нужна помощь с какими-то

бумагами. Весь разговор занял не больше минуты. Получив согласие Аарона, Дарси похлопал его по плечу – мол, славный парень! – и тотчас же отвернулся, чтобы поприветствовать проходившего мимо коллегу, начисто забыв про Леви. Или, быть может, – как пришло в голову Аарону уже потом – весь этот разговор был всего лишь проверкой? Подозревает ли Дарси, что Аарон намертво завяз в своей диссертации? А если подозревает, то не является ли это приглашение заняться временным проектом своего рода английским вариантом эвтаназии его диссертации? Нет, надо было отказаться.

Теперь, когда поток автомобилей уносил их все дальше от знакомых ему районов в фешенебельные пригороды, Аарон никак не мог отделаться от ощущения, будто попал в ловушку, будто его отстранили от выполнения его собственного долга, от работы, которую нужно было закончить во что бы то ни стало. Или его просто приставили присматривать за пожилой коллегой? Там, в той части Лондона, что они покинули, остался укромный библиотечный уголок, куда Аарон ходил чуть ли не каждый день за последние четырнадцать месяцев. Шекспир и марраны – исследование, которое не дало ничего вразумительного, только дразнящие обрывки информации, сопротивлявшиеся всем его попыткам превратить их во сколь-нибудь весомый аргумент. И за время даже самого краткого его отсутствия все это могло превратиться в неподъемную глыбу.

Темно-синий «фольксваген» Хелен казался Аарону незащищенным, что, как он запоздало догадался, было следствием идеального порядка в салоне и отсутствия мало-мальских удобств. Ни мусора, ни оберток от еды, ни конвертов с нацарапанными на задней стороне адресами. Не было даже плеера для компакт-дисков – только радио. Когда Аарон попытался опустить стекло, то механическая ручка на двери едва поддалась его усилию – ею почти не пользовались.

– А вот что касается документов, – заговорил Аарон, – они в основном на португальском или на иврите?

Хелен посигналила нерасторопному седану, заложила правый поворот и сказала:

– Неизвестно.

– А дом, где найдены бумаги, когда…

– В тысяча шестьсот шестьдесят первом.

Аарон не стал унижаться и настаивать. Желание задавать вопросы, да и дрожь нетерпения от рассказа о найденных документах пропали у него еще по пути от солидного, заставленного книгами кабинета до автостоянки. Учитывая физическое состояние Хелен, неблизкий путь. Хелен не парковалась на месте для инвалидов, и у нее не было соответствующей таблички на машине, хотя, как думал Аарон, она вполне имела на это право.

Хелен шла, запахнувшись в пальто, с сумкой на одном плече. Украшений на ней не было, если не считать тонюсенькой золотой цепочки бифокальных очков, болтавшихся у нее на груди. Хелен совсем не обращала внимания на ветер, холодивший открытую шею Аарона. Одна ее нога в коричневом «оксфорде» слегка подволакивалась, словно не желая следовать намеченным курсом.

Аарон имел слабое представление о том, где находится Ричмонд-на-Темзе – понятное дело, что где-то на Темзе, но спросить свою спутницу он не отважился, чтобы окончательно не испортить отношения. Поэтому он просто смотрел в окно, наблюдая, как за Чизвиком магазины постепенно уступают место жилым домам. Те из них, что еще сверкали витринами, выглядели очень дорогими. Дома в этой части Лондона, казалось, сплошь были построены из кирпича, цвет которого варьировался от темно-бордового до бледно-оранжевого. За окном проскользнул целый квартал солидных строений, каждое из которых было окружено стеной, покрытой блеклым от холода мхом. За стены уходили галечные дорожки, а во дворах можно было разглядеть плющ и вьющиеся лианы. Дворы были вымощены кирпичными же узорами, также покрытыми мхом. В переулках ровными рядами росли причудливые английские деревья, подстриженные таким образом, что концы их ветвей напоминали воздетые к облачному небу кулаки. Хелен проехала по длинной извилистой улице, заполненной бутиками и ресторанами; мелькнул кинотеатр, построенный с претензией на художественность. Далее машина свернула в лабиринт узких улочек, огибавших склон холма. Где-то внизу, как заметил Аарон, текла скрытая деревьями, плющом и кирпичными стенами река.

Улица, на которой Хелен наконец сбавила скорость, была застроена большими и маленькими домами – несомненно, старинными, с ухоженными дворами, обнесенными каменными и металлическими оградами. Пешеходов видно не было – очевидно, что

те из жителей, которые не были на работе или учебе, нашли для развлечений какое-то другое место. На одной стороне улицы линию домов нелепо нарушали две витрины. Одна принадлежала бакалейному магазину, который никак не мог сравниться с тем, что Аарон видел в городе. Другая же оказалась пабом «У Просперо», крошечным заведением с выкрашенным выцветшей черно-лиловой краской фасадом. Бар выглядел пустым, хотя внутри горел свет. Аарон подумал, что заведение явно нуждается в оживлении.

«А ты мог бы показать им, как оживить это хилое предприятие?» – ему представился ободрительный смех Марисы и согрел его, однако в то же время напряг что-то внутри, и Аарон скривился.

Тишину нарушил щелчок стояночного тормоза.

Хелен пошарила рукой и вытащила из-под заднего сиденья свою трость.

Дом, к которому они направились, оказался существенно больше остальных на этой улице, однако снаружи сей факт скрывался переплетением ветвей и кирпичной стеной, покрытой толстыми подушками мха, что свидетельствовало скорее не о почтенности, а о простом небрежении. Пока Хелен боролась с тяжелым засовом ворот, Аарон еще раз бросил взгляд в перспективу улицы: безжизненный пейзаж, тупик, куда его отправили с очевидно тупиковой миссией выполнить чужую работу. Все это грозило обернуться катастрофой, безуспешным предприятием, от которого нужно было откреститься. Аарон позволил потоку своих мыслей унести его так далеко, насколько это было возможно. Идя вслед за Хелен, он еще раз оглянулся на паб. «Просперо». Очень уместно. Кстати, единственная пьеса Шекспира, которую он никогда не понимал.

Трость Хелен оставляла небольшие углубления на увядшей траве.

Здание было построено из выцветшего красного кирпича, но когда Аарон пригляделся, то увидел то, чего было не видно с улицы: на обломанных кирпичах проступали какие-то пестроты: желтые и бледно-оранжевые потеки, зеленый мох, коричневые пятна. И такими пятнами был покрыт весь двухэтажный возвышающийся фасад. Было ясно, что этот дом старше своих почтенных товарищей, занимающих улицу, и что некогда он выглядел весьма величественно. От боковых фасадов отходили стены, увенчанные округлыми декоративными

элементами, напоминающими перевернутый ананас, и расходились в стороны, словно намереваясь охватить большое пространство, но у соседских заборов обрывались, что придавало им сиротливый, заброшенный вид.

Аарон ступил на дорожку, выложенную разными по форме и цвету небольшими камнями; черные, коричневые и серые, прямоугольные и круглые, скрепленные известковым раствором, поразительно гладкие от времени – они сами по себе выдали бы древность этого здания, даже если бы не окна, что предстали взгляду Аарона. Как же называется такая форма? Заостренные, словно значок пик с игральной карты. Они словно устремлялись к небу сходящимся кверху острием. Стекла были разделены ромбическим переплетом, который так портил вид из окна. Аарону доводилось бывать в подобных домах, и когда он выглядывал наружу, ему казалось, что он смотрит сквозь тюремную решетку. Аарон до сих пор не мог привыкнуть к этой английской особенности: среди обычных жилых домов вдруг проглядывала такая седая древность, что невольно хотелось остановиться и поглазеть. В США такой дом был бы музеем. Не было ничего удивительного в том, что кому-то пришла мысль превратить здание в художественную галерею, хотя Аарон не поставил бы ни цента на успех такого предприятия. Казалось, что весь район погружен в глубокий вековой сон…

Хелен сильно стукнула дверным молотком. Через мгновение арочная дверь распахнулась, и навстречу гостям вышла привлекательная блондинка, одетая в стильное угольно-серое платье. Гладкие блестящие волосы ее были стянуты в пучок, а узкие бедра подчеркивались розовато-лиловым поясом.

«Возможно, улица не такая уж безжизненная», – подумалось Аарону. Женщина вежливо поздоровалась с Хелен.

– Бриджет Истон, – представилась она, увидев Аарона, и тот, улыбаясь, протянул руку.

В доме было гораздо прохладнее, чем думал Аарон, и пахло старой золой. Напротив входа тихонько тикал обогреватель, но все тепло, что он вырабатывал, уходило наверх в галерею. Аарон бросил взгляд на смутные очертания второго этажа: резной балкон, обрамляющий вход, широкие дверные проемы, как бы намекающие на просторные комнаты за ними.

– Очень приятно, что вы приехали, – сказала Бриджет.

Быстрым шагом она провела Хелен и Аарона через прихожую мимо картин в коробках, карточного столика с раскрытым ноутбуком и повела в глубь дома.

– Мне прямо сейчас нужно будет отъехать, – сказала хозяйка, – но вы устраивайтесь, как вам будет удобно.

В ее жестах и поведении что-то сквозило: голодная энергия под глянцевым блеском. Бриджет повернулась и одарила Аарона оценивающей улыбкой. Он заметил, как на ее лице промелькнули две мысли: он красив. И он – еврей.

Аарон снова улыбнулся хозяйке, на этот раз откровенно флиртуя. Женщина слегка покраснела, а он испытал приступ веселья… которое, впрочем, тут же потухло, как будто одержал победу, которая его не интересовала.

– На кухне есть кофе, – произнесла Бриджет. – Угощайтесь, пожалуйста.

Аарон проследовал за Хелен мимо вместительного камина, что был встроен в стену, украшенную панелями. Какие-то секции были окаймлены простыми рифлеными бордюрами, другие же украшены замысловатыми венками. В пустой комнате гулко отдавались шаги. Аарон шагнул в сторону большого дверного проема слева, за которым на второй этаж вела деревянная лестница. И тут он замер на месте. Ничто в этом здании – даже стены с некогда гигантским размахом пристроек – не могло подготовить его к такому зрелищу. Деревянное убранство лестницы было поистине роскошным. Широкие ступени обрамлялись темными резными панелями, украшенными розами, лозами винограда и корзинами с фруктами. С высоких стен на него смотрели резные ангелы, лица которых были исполнены грустной, милой, средневековой невозмутимости. А где-то на середине лестничного марша через два арочных окна лился дневной свет, настолько осязаемо ослепительный, что Аарон мог поклясться, что этот свет обладает массой. Окна, их кованые железные ручки и средники отбрасывали на резное дерево завораживающий узор чередующихся света и тени.

Хелен подняла трость в указующем жесте.

Аарон повернул голову и в углу у основания лестницы увидел щель между панелей.

Было легко понять, что здесь произошло. Электрик нашел самый простой способ добраться до пустующего пространства под лестницей, и вскрыл запертую панель. Отодвинутая в сторону, она была частично видна. Панель была простая, с желобками в торцах, а в ней виднелась маленькая замочная скважина, над которой, судя по металлическим опилкам, усердно потрудились, стараясь открыть замок.

Внутри, в полумраке виднелись бумаги.

– Ух ты! – протяжно выдохнул Аарон. – И что, вот так никто и не мог найти их раньше?

– Этому дому почти триста пятьдесят лет, – почти благоговейным голосом ответила Хелен. – Тут должно быть как минимум с полдюжины потайных шкафов, съемные панели, чтобы скрыть проходы, которые использовала прислуга, да и бог знает что еще.

Аарон согласно кивнул. Панель была совсем простой да к тому же обращена в противоположную от парадного входа сторону и вряд ли могла привлечь чье-нибудь внимание, учитывая общее великолепие лестницы.

– Судя по всему, – продолжала Хелен, – у покойной тетушки тут стоял вон тот пристенный столик, – она указала на небольшой старинный столик под маленьким окошком в углу. – Причем, вполне возможно, его туда поставили еще ее родители или даже дед с бабкой.

– И все же, – не унимался Аарон. – За триста пятьдесят лет никому не пришло в голову попытаться вскрыть замок?

– А как часто вы обращаете внимание на то, что у вас постоянно находится под носом? – резковато переспросила Хелен.

Ее голос замер в наступившей тишине. Аарон и в голову брать не стал откровенный вызов. Было в нем что-то такое, что выводило из себя некоторых людей, как правило, женщин. Его это веселило.

Впрочем, он и сам понимал, как панель простояла невскрытой три с половиной сотни лет. Достаточно нескольких неудачных попыток, и энтузиазм мог угаснуть. Тем более если не было ключа, и никому не приходило в голову, что за этой дверцей может быть что-нибудь стоящее. Время и История идут своим чередом, но человеческая натура неизменна.

Аарон опустился на колени перед проемом размером фут на два. Внутри находились аккуратно уставленные бумагами полки. Это был

настоящий архив в миниатюре: кожаные корешки томов идеально выровнены с разрозненными листами рукописей. Аарон подался ближе.

Пергаментные переплеты с крупными буквами вровень с подшитыми страницами. Кое-где виднелись сломанные и раскрошившиеся печати коричневого и красного цвета. Мечтал ли он когда-нибудь увидеть подобное? Аарону казалось, что да. Словно сквозь века до него долетело послание: «Вот оно! Я оставил это для тебя!» Древняя библиотека как будто прорвалась в настоящее, в жизнь самого Аарона Леви, не понимавшего до последнего момента, как же это ему нужно.

Он протянул руку к манускриптам.

– Руки сначала помойте! – рыкнула на него сзади Хелен.

Он не смог заставить себя взглянуть ей в глаза. За обшитой панелями дверью ему удалось найти ванную комнату, выкрашенную в зеленый цвет. Когда он вернулся, Хелен сидела точно на своем месте, даже не попытавшись достать бумаги. В промежутке между рукописями примостился одинокий листок.

– Возьмите его, – велела Хелен.

Аарон не мог понять, почему она сама не взяла лист. Что, снова проверка? Если Хелен вообразила себе, что он и дальше будет терпеть подобное, то ничего хорошего из такого сотрудничества не выйдет. На мгновение он встретился с Хелен взглядом. Синие васильковые глаза. Ровные черты лица, бледный английский оттенок кожи. Полное отсутствие каких-либо признаков эмоций.

Аарон протянул руку по направлению к лестнице и остановился. Приложив ладонь к сплошной стене слева от себя, он проверил, твердо ли стоит на ногах. На какое-то мгновение он почувствовал тревогу из-за ужасающего веса собственного тела, словно боялся оступиться и упасть на хрупкие бумаги, что хранили в себе давно угасшую жизнь. Но секунду спустя Аарон отринул наваждение и тотчас же стал придумывать, как бы описал произошедшее Марисе.

«Бумаги уложены идеально аккуратно, – начал бы он. – Как будто кто-то приготовил нам подарок».

Он потянулся к полкам и осознал, что его рука – первая человеческая рука, которая дотронется до этих бумаг спустя триста пятьдесят лет. Коснулся одинокой страницы. Бумага на ощупь

оказалась шероховатой, но не ломкой. Вытащив со всеми предосторожностями листок, Аарон увидел, что это письмо, написанное на португальском языке. Прочитал дату: хешван, 5420 год. Перевел на современное летоисчисление: октябрь тысяча шестьсот пятьдесят седьмого. Приветствие гласило: «Почтенному Менассии бен-Исраэлю». Почерк был довольно выразительный и смотрелся красиво и решительно на розоватой странице.

Письмо было от имени Га-Коэна Мендеса, как и то, о котором ранее говорила Хелен. По ее указанию Аарон положил листок на пристенный столик, приютившийся у маленького окна – скромного родственника огромных окон этажом выше. Но когда Аарон придвинул поближе один из расшатанных древних стульев Истонов, Хелен остановила его:

– И ту книгу тоже.

Вернувшись к хранилищу, он потянул на себя том в жестком кожаном переплете, который лежал под листом. Книжка оказалась тонкой, с тускло-фиолетово-черным крапчатым обрезом и сильно потертой.

Последний человек до него, который держал эту книгу в руках, умер более трехсот лет назад. Аарон шагнул в сторону Хелен, чувствуя, как от его тела исходит тепло, а в висках стучит кровь. Он на мгновение задержался возле стола и медленно, церемонно положил книгу.

Хелен включила маленькую лампу, и по сравнению с бриллиантовым свечением окон ее свет показался ничтожно тусклым. На обложке книги была вытеснена надпись на португальском языке. Livro-razao. Конторская книга. Аарон открыл ее, и ему в лицо, на губы и волосы, пыхнуло коричневым пеплом.

– Господи! – воскликнул Аарон и сплюнул горький осадок.

– Осторожней же! – гаркнула одновременно с ним Хелен.

Он почувствовал, как мелкая пыль липнет к ресницам. Пальцы, все еще державшие гроссбух полуоткрытым, были все покрыты налетом – тем, что осталось от уже навсегда утраченных слов. Что-то живое только что умерло от его рук. На его глаза навернулись слезы стыда, и Аарон помотал головой, словно стараясь избавиться от пыли. Он снова тряхнул головой, уже с отвращением, которое тотчас

перекинулось на Хелен. Выпрямившись, Аарон посмотрел на нее. Хелен неотрывно смотрела на книгу.

– Железо-галловые чернила, – произнесла она через мгновение.

Проследив за взглядом коллеги, Аарон понял, что беда случилась до того, как он коснулся книги. Страницы напоминали швейцарский сыр. Буквы, слова были словно вырезаны наугад; чернила за века проели бумагу насквозь. То, что еще можно было прочитать, выглядело как размытые коричневые пятна. Похоже, книга содержала записи о домашних расходах; рябые записи были сделаны на португальском, испанском и иврите разным почерком. Аарон больше не осмеливался касаться бумаги. Осторожно, как только мог, он закрыл том – вероятно, что-то еще можно спасти при должном обращении. Попавшую в рот пыль он сплюнул себе в рукав.

– Письмо!

Голос Хелен звучал напряженно.

– Может быть, вам самой попробовать? – спросил Аарон и сам поразился обиде, прозвучавшей в его словах.

Седые волосы Хелен упали ей на лицо, закрыв глаза. Наступила тишина, достаточно долгая, чтобы Аарон успел почувствовать первый укол стыда. Она с бесстрастным видом подняла руку – было отчетливо видно, как та дрожит. Толстые пальцы неуловимо шевелились в воздухе, словно передавая сообщение на каком-то таинственном языке жестов.

Прошло еще несколько секунд, и Хелен опустила руку.

– Последние страницы гроссбуха, возможно, сохранились лучше, – сказала она, отворачиваясь. – Но мы сможем это определить только в консервационной лаборатории.

Так вот зачем ей понадобился помощник! Хелен не могла доверить себе работу с хрупкими документами. Так что же получается – теперь Аарон должен стать ее роботизированной рукой?

Хелен читала письмо. Аарон рефлекторно проследил, как ее взгляд скользит по ветхой, но все еще хрустящей розоватой поверхности. Его заинтересовала фактурная поверхность письма, и, не спрашивая разрешения, он протянул руку и коснулся уголка страницы. Едва заметные бороздки и впадинки, испещрявшие лист, напоминали папиллярные линии на подушечках пальцев. При более ярком освещении можно было бы попробовать рассмотреть отметку

изготовителя бумаги, а то и водяной знак, что позволило бы узнать, где именно куплен лист.

Письмо было в хорошем состоянии, и лишь слабая дымка, полутень Времени, расплывалась вокруг каждого слова.

Какое-то время оба молча читали.

Через мгновение она повернулась и взглянула на Аарона. Тот молча кивнул: он тоже понимал. В нескольких футах от них находились две заполненные тем же человеком, посчитавшим нужным сохранить это письмо, полки. И если хотя бы четверть из всего этого удастся прочесть, то это будет фундаментальное открытие.

В наполнившей дом тишине перед Аароном Леви открывалась новая перспектива.

Он осторожно взял с полки еще несколько страниц – три письма и копию проповеди, все на португальском; потом еще было полстраницы заметок на латыни, похожие на рассуждения на теологическую тему; кое-что оказалось и на иврите – список ритуальных предметов, которые следовало подготовить к пасхальному седеру[2]. Аарон положил страницы на стол, пододвинул поближе стул и принялся изучать их, задерживаясь на архаичных португальских словах. Хелен же рассматривала свои листки еще дольше.

Медленно, переходя от документа к документу, они осмотрели все собрание. Хелен выпрямилась и сняла очки. Подвешенные на цепочке, они уперлись ей в грудь.

– Я никогда не слышал о Га-Коэне Мендесе, – сказал Аарон.

– Я видела одно-два упоминания о нем в источниках семнадцатого века, – хриплым голосом отозвалась Хелен. – Он, судя по всему, был одним из первых учителей местной еврейской общины после того, как их перестали преследовать. Еще в юном возрасте в Лиссабоне он был ослеплен инквизицией, потом до самой старости обучал своих учеников в Амстердаме и уже к концу жизни перебрался в Лондон. По-моему, у него была опубликована всего одна работа, да и то посмертно. Кажется, аргументы против саббатианства[3]. Никогда не читала. Даже не знаю, сохранился ли хоть один экземпляр.

Аарон отвлекся, перечитывая строчки. Его внимание привлекла одна, и он глазами пробежал по извилистым линиям португальских слов: «В отличие от меня, вы еще не старик. Позвольте же дать вам совет, чтобы ваше тело и дух могли бы воспользоваться им».

Горло Аарона сжала невыносимая тоска.

– Он мне нравится, – сказал он тихо и тут же пожалел о неосторожном тоне голоса, о наивности вырвавшихся у него слов.

Он ждал, что Хелен выскажет ему очевидное: не его дело любить или не любить заданную тему. Но она ничего не сказала, а лишь снова уткнулась в бумаги.

– Конечно, – произнесла она немного погодя, – он не писал это сам. Вы заметили инициал писца?

– Писца?

– Писец, писарь, переписчик – как бы его ни называли. Я же сказала, что Мендес был слеп.

С этими словами Хелен прошла в другую комнату и вернулась с еще одним листком, который покоился на чайном подносе. Поднос Хелен держала так аккуратно, словно несла дорогой фарфор.

– Это то, что я прочла вчера, – сказала она.

Когда Хелен передавала письмо, Аарон обратил внимание на то, что руки у нее трясутся гораздо меньше, чем давеча. Вероятно, тремор появлялся периодически.

Он медленно прочитал письмо – архаичный язык было непросто разобрать с ходу. Закончив, он проглядел остальные листки, лежавшие на столе. Вот он, в правом нижнем углу в каждом письме едва заметная паутинка, которую Аарон поначалу принял за несколько пробных штрихов пером. И только теперь до него дошло, что это еврейская буква «алеф».

– Переписчик, наверное, был одним из учеников Мендеса, – заметила Хелен. – Возможно, нам удастся выяснить, кто именно. У них была совсем крохотная община.

Она помолчала.

– Но то, что Мендес хранил копии отправленных им писем, означает, что он понимал всю значимость его трудов по восстановлению официальной еврейской общины в Англии. Возможно, он предчувствовал, что его записки кому-то понадобятся.

Хелен посмотрела на часы и нахмурилась.

– Встретимся здесь завтра в семь утра. Работаем до шести вечера. И на следующий день так же. Я договорилась с Истонами. Но это все, что у нас есть.

Аарон встал, с сожалением оторвав взгляд от страницы. Хелен вынула из своей сумки два пластиковых конверта и жестом показала Аарону, чтобы тот спрятал в них бумаги. Он принялся за дело, а она буквально нависла над ним, опираясь на палку. Словно горгулья. Эта мысль позабавила Аарона, и он неожиданно для себя приободрился.

– Значит, наш писец – «алеф»?

– Предположительно.

– Авраам? – размышлял он вслух, с нарочитой медлительностью опуская бумагу в конверт. – Ашер? Амрам? Аарон?

– Мы ничего не знаем о нем, кроме инициала.

– Верный писец Алеф? – резко усмехнулся Аарон. – Да вряд ли. Тут чего-то не хватает, задору, что ли. Вам не кажется?

Вот как он спасет свой рассудок, работая с этой женщиной. Аарон уже принял решение работать.

Только теперь он смог осознать, как росла его паника последние месяцы – тихая, неслышная, размеренная, мягкая, удушающая, словно трясина. С каким беспокойством и отчаяньем искал он предлог оставить выбранную им же тему. А ведь это был Шекспир, на творчестве которого подвизались лучшие и умнейшие аспиранты. Шекспир, на имени которого Аарон Леви выстраивал свою линию гипотез и доказательств, причем его наставники заявляли, что он подает большие надежды. Шекспир, при упоминании которого Аарон последнее время начинал догадываться, что если насчет обещаний он большой мастер, то вот с выполнением оных получается не очень.

Но новообретенный клад – совсем другое дело. Его душа историка так или иначе надеялась на возможность подобной находки. Поэтому неудивительно, что на какое-то время он забыл про Шекспира. И если этот кладезь старинных документов удовлетворит хотя бы половину чаяний Хелен Уотт, то почему бы не представить себе, что даже небольшая его часть может послужить основой диссертации (хотя пока торжествовать еще рано). Хорошей, добротной, крепкой диссертации. И, быть может, даже блестящей, которая сразу исполнит все обещания, которые он уже раздал.

Новый шанс.

А чтобы выдержать работу в паре с Хелен Уотт, нужно всего-навсего представить ее себе другим человеком, – когда эта мысль

пришла ему в голову, Аарон счел ее гениальной… Сделать вид, что у нее имеется чувство юмора.

Хелен смотрела на него сверху вниз, стиснув челюсти.

– Шутка! – сказал ей Аарон. – Ха-ха!

Ночью, слушая, как тикает электрический обогреватель у ножек стула, заварив себе чаю, Аарон написал Марисе электронное письмо.

«Привет, Мариса!» – *начал он*.

Курсор бесстрастно мигнул, словно электронный сфинкс.

Привет… Вполне безопасно, если брать между рискованным *«Дорогая»* и холодным *«Здравствуй»*.

> Как жизнь в кибуце? Или ты уже раскаялась в своей глупости и заказала билет в Лондон, чтобы вдоволь насладиться дождями и сальными чипсами? Каковы успехи в изучении иврита? Ты же знаешь, с современным языком я ничем помочь не смогу, но если тебе вдруг повстречается продавец фалафелей, говорящий на древнеарамейском или на библейском иврите, тогда я всецело к твоим услугам!

К твоим услугам… Аарон вгляделся в эти слова, гадая, как именно поймет их Мариса.

Мариса… Слишком часто он переживал это заново, когда размышлял о Шекспире: медленное дразнящее движение ее черной майки, ползущей наверх через голову. Шок от ее взгляда, когда она повернулась в его сторону. Ее руки, каждое движение, прямолинейные, как бой барабана.

> Вот почему и волосы и взор
> Возлюбленной моей чернее ночи…[4]

У Шекспира была Темная Леди, по которой он тосковал, впадая в отчаяние, пока ее образ не въелся навсегда в его сознание, но способен ли на такое Аарон? Или же Аарон недотягивал, был слишком малодушным, чтобы претендовать на подобные поэтические страсти, –

короче говоря, уж не был ли он, несмотря на все свои заслуги и достижения, слишком приземленным?

Временами, когда он плескался в душе или накладывал себе еду на поднос в студенческой столовой, его одолевала мысль: а вдруг он всего лишь вообразил себя подходящим ухажером для Марисы? Точно так же, как возомнил себя настоящим исследователем шекспировского творчества…

Тут его настиг прилив энергии, и Аарон резко развернул тему:

> Если ты сейчас стоишь, то тебе лучше присесть. Шекспиру, боюсь, придется немного обождать. Дело в том, что недавно был обнаружен тайник с документами семнадцатого века. Он находится под лестницей в одном из домов в спальном районе Лондона, где сменилось черт знает сколько хозяев, и вот только теперь кому-то пришла в голову мысль начать делать ремонт. И вот вам пожалуйста: вскрытая История!
>
> Беда в другом. Профессор, который занимается этим вопросом, – жуткая ведьма, эдакая британка с ледяной кровью в жилах. Она попросила меня стать ее ассистентом, и я не смог устоять перед искушением. Хотя должен заметить, что работать с ней тот еще геморрой, так что не забудь пожелать мне сохранить чувство юмора.
>
> Что сразу возбудило мой интерес – документы выполнены не только на иврите, английском и латыни, но и на старо-португальском и испанском. А это дает представление, к какой именно еврейской общине принадлежали авторы. Впрочем, все это, наверное, не имеет никакого значения для того, кто не видит смысла жизни в изучении иудейской истории семнадцатого века…

Не слишком ли скучным покажется Марисе его письмо? Одно неверное движение, один шаг – и их отношениям конец. Аарону показалось, что делиться с девушкой своими восторгами по поводу обнаруженных манускриптов так же неприлично, как стоять перед нею без штанов.

Но разве не в этом смысл его работы?

Он нерешительно постукивал пальцами по клавиатуре, как вдруг его осенило: если бы только ему удалось передать Марисе свое состояние, заставить ее почувствовать то, что чувствовал он, взять ее на руки и перенести в его внутренний мир, то она наверняка поняла бы его.

Но его никто не понимал.

Аарон обдумал свою идею, спросил сам себя, не выглядит ли она как желание поплакаться, и ответил утвердительно. И все же, все же… В конце концов, кто-нибудь вообще хоть когда-то пытался его понять? Да ни в коем случае, ни одна из его многочисленных бывших подружек! Ни его излишне разговорчивая мать, ни сестрица с глазами лани, ни даже отец-раввин с его сугубо благожелательными религиозными воззрениями. Если бы он мог передать Марисе то, что испытал сегодня, стоя перед тем ричмондским тайником, это было бы все равно что заключить ее в объятия и показать ей всю свою жизнь. Он представил Марису сидящей рядом, пока он обмирал от бурных похвал своего отца; Марису за только что вымытым воскресным столом, когда он, покончив с чтением утренних газет, приступает к жестким переплетам томов, взятых из великолепной отцовской библиотеки, – томов, которые отец никогда не открывал, – чтобы узнать о гибели целых миров, о зарождении и смерти идей, о миллионах жизней, что возникают и исчезают в вечном прибое Времени… Все это наполняло Аарона благоговейным страхом и радостным волнением, которые он научился скрывать от одноклассников, восхищавшихся его хладнокровием во всем, за что бы он ни взялся.

Сегодня, когда перед ним открылась сокровищница под лестницей старинного дома, Аарон почувствовал, что к нему как бы вернулось то, чего он жаждал все эти бесконечные месяцы работы над диссертацией. История словно вновь протянула к нему руку и погладила его по лицу, как это было много-много лет назад, когда он сидел и читал на родительской кухне. Нежное и настойчивое прикосновение пробуждало его сознание и успокаивало, маня к новой сияющей цели.

Но кое о чем ему не хотелось откровенничать. Как только его взору открылись полки с манускриптами, он почувствовал, что кости словно не выдерживают его веса. Они буквально разрушались, растворялись, как только Аарон пытался выправить равновесие, – как

будто его скелет на десятилетия раньше самого Аарона понял, что такое смерть.

Даже при воспоминании о тех мгновениях он содрогнулся.

Потом Аарон оторвался от компьютера, потянулся до приятного хруста где-то в середине спины и глотнул горького чаю.

Да все равно, подходит ли ему Мариса! Что это вообще значит – подходит, не подходит? Совпадение жизненных установок, чтобы обеспечить несколько десятков лет жизненного цикла и различных условностей? Все равно, выдержит ли Мариса, или же ее свободный дух возненавидит семейный быт. Плевать, сможет ли он вообще как-то прожить с такой женщиной. Аарон просто хотел быть достаточно приемлемым для нее. Его возбуждала грация ее небольшого тела, острая линия остриженных волос, мягкая кожа ее предплечий, когда они скользят по его плечам. Ее взрывной смех.

И, движимые этим желанием, его руки снова легли на клавиатуру. Чтобы сплести для Марисы ловчую сеть. Заманить ее умом и юмором. Чтобы возбудить в ней любопытство до такой степени, что пути назад уже не будет.

> Мариса, хочешь прослушать лекцию? Обещаю быть максимально кратким, а ты проявишь великодушие, побаловав нелепо восторженного аспиранта, который пытается осознать только что сделанное открытие. Просто считай, что таким образом ты делаешь благотворительный взнос в фонд изучения истории семнадцатого столетия.
>
> Итак, сейчас я расскажу тебе о нескольких вещах, которые неизвестны большинству людей. Ты готова?
>
> Евреи были изгнаны из Англии в тысяча двести девяностом году (см. «невзгоды», «гонения», «погромы», «предательство»). И хотя официально евреев не было в Англии почти четыреста лет, они все же появлялись на острове – если принимали крещение.
>
> Перепрыгнем на пару веков вперед к торжеству испанской инквизиции. Теперь евреи Испании и Португалии бегут из этих стран любыми способами. Некоторые из беженцев, говорящие по-испански и по-португальски, находят убежище в Амстердаме, где – о чудо! – практичные и

деловые голландцы вводят на удивление терпимые законы в отношении религиозных меньшинств. Разумеется, амстердамские евреи по-прежнему не имеют права вступать в брак и общаться с христианами, но главное заключается в том, что им позволяют оставаться евреями при условии, если они не пытаются обратить кого-то в свою веру или проповедовать еретические учения. А для семнадцатого века это черт знает какое достижение!

Так вот-с… Эти самые испано-португальские беженцы населяют Амстердам, называют его Новым Иерусалимом и принимаются возрождать иудаизм. Но это оказывается довольно-таки непростой задачей, так как во времена инквизиции они назывались марранами, то есть скрытыми евреями, которые исповедовали лишь отдельные элементы своей религии, да и то за это им грозила смерть («марран» происходит от испанского «marrano», то есть «свинья», что как бы характеризует отношение к евреям в католической Испании). И вот теперь, оказавшись в безопасности, эти до недавнего времени скрытые евреи до такой степени стараются стать «правильными евреями», то есть исповедовать свою веру и восстанавливать традиции, не вызывая возмущения местного населения, что не только начинают отдавать приоритет еврейскому образованию, но подавляют инакомыслие в общине и навязывают жесткий социальный порядок. В результате молодой Спиноза, выходец из их же среды, полностью отлучается от общины. Я не говорю уже о временных отлучениях, которые обычно полагались разным смутьянам. Но Спиноза получил пожизненное отлучение, а кроме того, всем остальным членам общины было полностью запрещено с ним контактировать – и все просто для того, чтобы никто не подумал, будто бы амстердамские евреи поощряют религиозную смуту.

Так что, как гласит история, эти ребята были чересчур ревностными евреями.

Я опущу подробности тех милых вещей, которые вытворяла Святая инквизиция в те дни. Но вот в чем дело: те

самые пострадавшие испано-португальские евреи, попав в Амстердам, вдруг стали смотреть свысока на своих восточноевропейских собратьев – преимущественно польских евреев, спасавшихся от погромов, – не позволяя им вступать в брак с представителями своей общины и даже хоронить мертвецов на своем кладбище. Мало того, бывшие испанцы и португальцы по-прежнему считали иберийские языки и культуру неким стандартом благородства… что, в общем, служит наглядным примером менталитета заложника. С неевреями они говорили по-голландски, но между собой пользовались португальским, а для более формальных случаев использовали кастильский диалект испанского.

И вот тут мне повезло, потому что помимо владения ивритом и латынью мне удалось овладеть навыками чтения на португальском, чему способствовал один семестр, что я провел в Бразилии. Да и по-испански я тоже читаю…

Я тебе еще не надоел?

Знаешь, некоторые женщины просто-таки обожают напыщенных сукиных сынов (обрати внимание, что это камень не в твой огород… хотя и стоило бы).

Про этот камушек Мариса, наверное, даже и не вспоминала, настолько это для нее мало значило. Однако мысли Аарона упорно закручивались в одном направлении. У него перед глазами возникали ее коротко остриженные волосы, майка, поднимающаяся над головой, мышцы спины, которые удлинялись, когда Мариса тянула руки к потолку, – Аарон и не подозревал, что женская спина может быть такой красивой и поражать своей силой в самую глубину души. Имел ли Шекспир удовольствие завязать роман со своею Темной Леди, если такая вообще реально существовала, или же он тратил часы одиночества, пот и чернила в мрачной спальне ради женщины, с которой и спал-то всего один раз?

Так что, если ты все еще читаешь мое письмо, если у тебя не возникло желания удалить мой адрес из почтового ящика, ты догадалась, наверное, что люди, оставившие нам

те бумаги в тайнике под лестницей, были португальскими евреями из Амстердама. И они знали Менассию бен-Исраэля, который был одним из самых известных амстердамских раввинов португальского происхождения. Его уважали и ценили не только евреи, но и христиане – он был знаком с Рембрандтом и с королевой Швеции, а для еврея это немало.

А вот теперь посмотри: время Менассии – это эпоха глубокого размышления о приходе Машиаха. Многие ждут Его, и даже христианские богословы заявляли тогда, что Мессия придет в тысяча шестьсот шестьдесят шестом году. А сам знаменитый Менассия бен-Исраэль, человек с хорошими связями, сидит у себя в Амстердаме и думает о Мессии, но и также о замученных в Испании и Португалии евреях, о единоверцах, страдающих в Польше и России и отчаянно нуждающихся в убежище. И тут до него доходит слух, что в Бразилии найдено потерянное колено Израиля. Евреи! В Америке! И он вспоминает пророчество о том, что для прихода Мессии необходимо, чтобы во всех уголках мира расселились евреи. А во всем остальном мире в те времена угадай, где не существовало евреев?

Бинго! Теперь тебе понятно, к чему я веду?

Итак, старый Менассия сносится с Оливером Кромвелем, который к тому моменту одержал победу в гражданской войне в Англии. Он объясняет Кромвелю, что настало время прихода Мессии и в Англию следует впустить его соплеменников. Несмотря на некоторые трудности и заминки, на которых я не буду заострять внимание, ибо у тебя, наверное, уже стекленеют глаза, Кромвель принимает верное решение. К тому моменту ни для кого не составляло тайны, что в Лондоне уже есть евреи – порядка двадцати семей весьма успешных торговцев. Все они считались католиками, но на самом деле сохраняли иудейскую религиозную традицию. Что повлияло на его решение? Либо Кромвель хотел обогатиться за счет преуспевающих дельцов, либо у него родилась идея использовать английских евреев с их кораблями и связями в европейских портах для сбора разведывательной информации… Или же он искренне

желает прихода Мессии. Итак, Кромвель позволяет евреям селиться в Англии. Официально, правда, он не может себе этого позволить: против английский парламент, и с этим ничего нельзя поделать, но вот как бы полуофициально…

Разумеется, общественное мнение немедленно взбурлило. Английские купцы не хотели возможной конкуренции со стороны некоего мифического еврейского пришествия. Запускаются традиционные антисемитские слухи: якобы евреи собираются купить собор Святого Павла за миллион фунтов или употребляют кровь христианских младенцев на своих пасхальных праздниках. Сочинялись даже стихи, где описывалось, как Кромвель накануне казни короля Карла Первого сошелся с евреями, поскольку вполне естественно, что тот, кто хотел распять своего короля, должен водить дружбу с теми, кто распял Спасителя.

Так что с политической точки зрения у Кромвеля нет возможности одобрить какую бы то ни было еврейскую иммиграцию. И тогда он решает позволить тем самым евреям, которые уже проживают в Лондоне под маской католиков, открыто называть себя евреями, но лишь пока они ведут себя тихо и не тащат в столицу своих родственников.

Учитывая историю и тот факт, что до нашего изгнания местные жители неоднократно принимались резать нас в качестве разминки перед Третьим крестовым походом, открыто демонстрировать свое еврейство было, скажем так, весьма сомнительным предложением. Но мало-помалу лондонские евреи начинают открыто рассказывать о своей религии. Но Менассия бен-Исраэль тогда серьезно разошелся с ними во мнениях. Он сам считал, что еврейская диаспора недостаточно смела и многочисленна, чтобы заявлять о себе, и просит Кромвеля об официальном признании. Однако лондонские евреи против этого, так как прекрасно помнят, как теряли своих родных и близких во времена инквизиции. Многие из них лично видели, как пытали их родственников. А так они прекрасно живут в Лондоне, и на том, что называется, спасибо. Конечно, они благодарны Менассии за то, что теперь у них есть разрешение открыто исповедовать

свою веру, но все же многие из них хотели бы, чтобы он угомонился, пока не навлек на всех новую беду.

Менассия бен-Исраэль продолжает настаивать, он пытается побудить Кромвеля к дальнейшим шагам, но все бесполезно. Все его усилия идут прахом, нет никакого расширения еврейства в Англии, нет Мессии, no nada[5]. Полный провал.

Затем умирает сын Менассии, который перебрался с ним в Лондон. Менассия возвращается в Амстердам, где и сам спустя пару месяцев отходит ко Господу в возрасте пятидесяти трех лет.

Ну да, Кромвель тоже берет и умирает примерно в то же время. Вот вам и гарантии безопасности! После смерти лорда-протектора дело идет к реставрации монархии, и на какое-то время все снова начинает выглядеть несколько рискованно.

Так вот, теперь о том, зачем я рассказал тебе эту эпопею (вовсе даже не потому, что мне пришлось выучить ее наизусть для выпускных экзаменов).

Сегодня, да, именно сегодня я держал в своих руках два манускрипта, два письма, отправленных неким малоизвестным раввином самому Менассии бен-Исраэлю, в которых тот сообщает о некотором прогрессе в среде лондонских евреев и призывает адресата не терять надежды. И это не просто два сухих послания, Мариса. Когда я читал одно из них, у меня было стойкое ощущение, что рядом со мной находится автор письма, и я понял, как он дорог мне.

Вот такая вот история. Да, правда, тут есть один осложняющий дело фактор: письма написаны железо-галловыми чернилами. И это представляет жуткую проблему, Мариса. Эти чернила использовали до того, как перешли на сажу. Некоторые их разновидности остаются стабильными веками, а другие просто проедают бумагу. И при этом никто не может объяснить почему, поскольку точно не известно, из чего такие чернила изготавливались. Однако эффект получается странный и непредсказуемый. Ну вот, скажем, сел человек лет триста назад писать письмо, и когда начал,

чернила в его чернильнице были из качественной партии. И теперь, три века спустя, все это можно легко прочитать, ну, разве что буквы слегка расплылись. Но потом писец дошел до второй страницы, и чернила из его нового пузырька оказались дрянными и через триста лет проедят бумагу насквозь. Из листа выпадают отдельные буквы, а бывает, что и все слово целиком растворится, особенно если автор задержал ненадолго перо на бумаге, сделав кляксу, или же увеличил нажим, чтобы выделить слово. А если на целом слове будет пятно, то через три сотни лет это слово просто исчезнет.

Сегодня я открыл древний гроссбух, не зная, что страницы почти полностью испорчены, и он буквально взорвался у меня перед носом. Вся физиономия была в бумажной крошке. А профессор Снежная Королева смотрела так, будто собиралась обезглавить меня своей перьевой ручкой.

Аарон остановился и при неярком свете монитора перечитал написанное. В письме не было видно ни колебаний или сомнений, ни того, как громко тикали часы, когда его руки застывали на клавиатуре, ни непривычной нерешительности, заставлявшей его удалять целые абзацы.

Так что с завтрашнего дня я с головой уйду в эти бумаги. Это должно стать чем-то вроде экскурсии в семнадцатый век, небольшой передышкой от шекспировских штудий, которая, возможно, существенно повлияет на мою диссертацию, когда я вернусь к ней. Мой куратор Дарси, кажется, только доволен.

Напиши мне, расскажи, как тебе живется вдали от пыльных библиотек и противных старых англичанок – там, в Земле обетованной, где мужчины и женщины одинаково храбры, а дрянная авиационная еда, автомобильные пробки и даже налоги идут лишь на пользу евреям.

А.

Он нажал «Отправить» и сразу же пожалел об этом.

Глава четвертая

Лондон

22 ноября 1657 года

16 кислева 5418 года

С Б-жьей помощью!
Достопочтенному Менассии бен-Исраэлю

До нас в Лондоне дошли слухи, что вам удалось добраться до Мидделбурга, однако вы все еще нездоровы.

За оставшиеся мне дни я не смогу достигнуть уровня вашей учености, ведь мне не дано самому открыть врата священных книг, и я вынужден ждать, пока мой ученик прочтет вслух их драгоценные слова. Но все же я позволю себе еще раз поговорить с Вами.

Я не рассказывал вам, да и не расскажу, что выпало на долю отца вашего от рук инквизиторов в Лиссабоне. Но вам и не нужно об этом знать, потому как вы всегда все понимали и трудились на благо нашего народа. И все же вам не следует одному нести на своих плечах бремя ускорения прихода Машиаха, когда все мы со слезами на глазах столпимся встретить Его.

В отличие от меня, вы еще не старик. Позвольте же дать вам совет, чтобы ваше тело и дух могли бы воспользоваться им. Искра учения вашего все еще освещает дорогу, и если она погаснет, то даже слепые почувствуют, как вокруг них сгущается тьма. Умоляю вас, отдохните, дабы снискать исцеление тела и духа.

Жизнь наша – путь в нощи, и неведомо, как долго еще дожидаться рассвета. Путь наш усеян камнями

преткновения, и тела наши отягощены плачем, но мы продолжаем идти. Мы продолжаем идти.

С Б-жьей помощью.

Р. Моше Га-Коэн Мендес

Глава пятая

Лондон

03 ноября 2000 года

По темной столешнице и лежащим на ней рукописям протянулся лучик неверного света. Аарон сел за стол под высокими окнами заставленной книгами комнаты и потер озябшие руки. Комната явно служила библиотекой, и хозяева предоставили ее Хелен и Аарону в неограниченное пользование. Обогревателя здесь не было, а камины и печи, судя по всему, находились в более просторных помещениях. «Неудивительно, что в семнадцатом веке люди умирали молодыми, – подумалось Аарону. – На такой холодрыге немудрено дуба врезать».

За окном мела снежная пыль.

Напротив сидела Хелен Уотт, перед которой лежала отдельная папка. Хелен что-то записывала себе в блокнот. При появлении Аарона она поприветствовала его, подчеркнуто взглянув на свои наручные часы, хотя он и прибыл почти вовремя, несмотря на длинный интервал в движении автобусов. Он открыл ноутбук и разложил бумаги. Хелен сообщила, что уже успела выяснить: этот дом на протяжении тридцати семи лет принадлежал семье Га-Леви – португальским евреям, перебравшимся в Лондон около тысяча шестьсот двадцатого года. Скорее всего, они использовали дом в качестве загородной резиденции, так как в те годы столица ограничивалась городскими стенами, а Ричмонд представлял собой типичную сельскую местность – полдня езды в карете или на лодке вверх по Темзе.

Затем она указала Аарону, с каких документов следует начать (очевидно, она все же решила довериться его навыкам переводчика на это время), и в течение следующего часа не проронила ни слова – даже не поинтересовалась, не пытался ли он раскопать что-нибудь самостоятельно. Он было сам собрался рассказать ей о своих наработках, но решил дождаться более удобного момента – бог с ней, пусть думает, что хочет.

Аарон выбрал наиболее сохранные листы из первой партии и быстро проработал шесть документов. Один оказался на иврите, второй на английском, а четыре остальных – на португальском. У него возникли кое-какие заминки с переводом, но при помощи онлайн-ресурсов он быстро решил эту проблему, несмотря на суровые взгляды Хелен, которые она бросала на него каждый раз, когда Аарон поворачивался к компьютеру. Подошла Бриджет, чтобы помочь ему подключиться к интернету, и ее запястье как бы невзначай коснулось его руки, когда она вводила пароль. Аарон почувствовал, что Хелен наблюдает за ним, и усмехнулся про себя железной тяжести ее взгляда.

Документ, который Аарон начал переводить, представлял собой запись проповеди, выполненную элегантным наклонным почерком с тем же знакомым «алефом» внизу страницы. Он уже начал ощущать некое подобие братства с неизвестным писцом, который, вероятно, день за днем просиживал в такой же нетопленой комнате в доме раввина где-то в Сити, беспрерывно строча сведенной судорогой рукою. Рабский труд во исполнение воли учителя.

Аарон звучно хмыкнул и сделал вид, что не заметил брошенного на него взгляда Хелен.

Он открыл новый файл и начал переводить. Проповедь была посвящена смерти Менассии бен-Исраэля. Далее стояло имя: *«раввин Моше Га-Коэн Мендес, записал ученик Исаак Веласкес»*. Текст проповеди занимал несколько страниц, и там, где отдельные слова были перечеркнуты или переписаны, чернила сильно повредили бумагу. И тем не менее Аарон понял, что вполне может разобраться в тексте. *«Сегодня народ Израиля соберется в печали… Бог утешит скорбящих…»* Он медленно вводил избитые фразы, хорошо знакомые по проповедям отца, в компьютер. Но тут, конечно, было больше души за счет сердечной дани уважения к покойному Менассии. *«Ученый Менассия бен-Исраэль носил в сердце своем память о мучениях его отца, коим тот подвергся в Лиссабоне от рук нечестивых…»*

После этого вступления проповедь переходила от восхваления к осторожному убеждению – как и следовало ожидать, отметил Аарон. За свою жизнь Аарон слышал достаточное количество проповедей, чтобы считать себя специалистом в этом жанре. В детстве он даже нашептывал придуманные им проповеди перед зеркалом в ванной, подражая размеренной манере отца и предвкушая день, когда поразит

того новостью, что тоже собирается (в юношеском воображении Аарон видел себя взрослым, студентом университета, волшебным способом преобразившимся, избавившимся от своих комплексов) взойти на биму[6]. Эта идиллия длилась до одного воскресного утра, когда Аарон увидел сидевшего за столом отца. Тот был уже чисто выбрит и читал газету. Все это Аарон видел каждую неделю, но в тот момент его охватил порыв чисто юношеского негодования: отец благодушно встряхивал разложенную газету, прежде чем потянуться за кофе, и пробегал глазами новости вовсе не в поисках новых истин, а лишь для того, чтобы найти подтверждение своего мнения. Их провинциальная реформатская конгрегация ждала проповедей, описывающих реальный мир и предупреждающих об опасностях, побуждающих к действиям – благотворительным пожертвованиям или нескольким дням волонтерской работы. Но без всякой паники. Окружающий мир, возможно, сложен, но не безжалостен.

«Почитал бы газету, – говорил ему отец, – и, глядишь, вырастешь образованным человеком».

Аарон внял его совету и к четырнадцати годам понял, что кровавое мужество, которого требует от него действительность, не имеет ничего общего с мирными проповедями родителя.

Но, если говорить откровенно, этого мужества не было ни в его мелкотравчатой подростковой робости; ни в его склонности мудрствовать, когда требовалось действие; ни в его показном пренебрежении окружающими в классе, на спортивной площадке или в общении с девушками, которых Аарон сначала впечатлял, а потом озадачивал. Нельзя сказать, что ему это как-то мешало: он был типичным умником, любившим поддеть преподавателя, на потеху школьным товарищам. На первом курсе колледжа он не стушевался, когда ассистент кафедры современной американской истории отвел его в сторонку с видом человека, вынужденного сообщить неприятную, но необходимую вещь: «Как я понимаю, тебе никто не предложил помощь в твоем исследовательском проекте. Запомни, Аарон, к тебе будут относиться лучше, если ты сотрешь ухмылку со своей физиономии!» Последние слова ассистент сопроводил условными кавычками, чтобы показать Аарону, что всего лишь передает мнение некоторых однокурсников (возможно, так бы и следовало поступить, заметил себе Аарон, если бы мне на самом деле нужен был партнер). А его бывшая

подружка в порыве, стараясь побольнее задеть Аарона, даже назвала его тефлоновым.

Однако когда речь заходила об истории, его голос начинал дрожать и срываться. Аарон был рад тому, что не разругался с отцом, – хотя бы потому, что прекраснодушный иудаизм отца не стоил ссоры. Вместо этого он просто спокойно отринул то, к чему его готовили и на место религии и всего того, что с ней связано, – семьи, общины и ее интересов – поставил историю, то есть единственное, на его взгляд, что можно и должно было уважать.

И вот теперь он медленно пробирался сквозь трудности старого португальского наречия Га-Коэна Мендеса. Наклонные линии букв словно бы старались заставить читателя задуматься о его собственных приоритетах.

> Дело, которому Менассия бен-Исраэль посвятил свою жизнь, так же самоотверженно, как мученики отдают свою в пламени костров инквизиции, настолько велико, что способно поддержать и спасти даже самую исстрадавшуюся душу. Поэтому, как бы вы ни были образованны, не думайте, что ваше учение завершено. Ибо ученость – се есть река Б-жья, и мы пьем из нее всю нашу жизнь.

Хотя риторика и содержание проповеди Мендеса были крайне далеки от проповедей отца Аарона, все же она вела к аналогичному выводу:

> Воспитывайте же своих детей! Присоединяйтесь к Братству Храма! Жертвуйте!
>
> Ваш великий враг – невежество, и я никому не стану льстить, говоря, что он умен.

И тут в тексте шла фраза, которую отец Аарона вряд ли осмелился бы произнести перед своими самодовольными прихожанами:

> Имея ныне возможность открыто называть себя евреями, вы должны желать избавления от собственного невежества. Заглянув в пустоту души своей, вы немедленно захотите того, что могло бы заполнить ее в мгновение ока.

> Но именно из-за этого желания вы должны постоянно быть начеку и уметь отличать свет истинного знания от знания ложного. Появятся те, кто продаст вам ложное знание и пообещает быстрое искупление. Однако лишь Б-г выбирает время Своих откровений, и когда Он приведет нас в грядущий мир, это произойдет внезапно и случится не по нашему плану. Воля Б-га и Менассии бен-Исраэля состоит не в том, чтобы евреи делали ставки на пришествие Машиаха, словно игроки в кости, а в том, чтобы мы с вами упорно и смиренно трудились все наши дни.

На этом проповедь заканчивалась. Не было никаких смягчающих оборотов; она не несла ни малейшего утешения.

Потрясенный Аарон еще раз перечитал последние слова. Была ли это попытка Га-Коэна Мендеса еще в тысяча шестьсот пятьдесят седьмом году сделать своим последователям прививку от быстро распространяющейся вокруг лжемессии истерии? В то время Шабтай Цви, один из самых опасных мессий-самозванцев, чьи бредовые идеи взбудоражили еврейские общины по всей Европе, еще не успел набрать много адептов. Но, вероятно, до Га-Коэна Мендеса уже дошли слухи о быстром взлете популярности Шабтая Цви, и он начал разрабатывать контраргументы, каковые позже изложил в более литературной форме.

«Это могло бы заинтересовать научное сообщество», – подумал Аарон, сохраняя файл с переведенной проповедью, и обратился к следующему документу в своей стопке. Нанесенные чернилами повреждения были весьма значительными. Текст был на английском, причем почерк выглядел прерывистым, а кое-где некоторые буквы оказались перечеркнутыми, как будто автор сам исправлял свою английскую орфографию. Внизу последней страницы стояла литера «алеф».

Очевидно, по-английски Алеф писал с трудом. Вполне естественно, если Алеф прибыл в Англию вместе с раввином всего за несколько месяцев до того, как написал это.

Аарон принялся читать.

На смерть ученого Менассии бен-Исраэля.

Переведя первые строки, Аарон понял, что это всего лишь перевод португальской проповеди. Что ж, хорошо – потом он сможет сравнить его со своим собственным переводом и понять, насколько его португальский лучше английского Алефа. «Ты и я, Алеф», – подумал Аарон. Шуточная словесная дуэль через три с половиной века.

Внезапно он почувствовал, что голоден. Аарон встал, отодвинул свой стул далеко от стола, потянулся и демонстративно зевнул.

Хелен подняла на него взгляд.

– Перерыв на обед, – объявил Аарон и, достав из сумки бутерброд, пристроился в углу, подальше от стола, на котором были разложены бумаги.

Хелен уронила очки себе на грудь и спросила с глубоким вздохом:

– И что же вы там нашли?

Аарон развернул свой сэндвич.

– Два письма на португальском, адресованные Га-Коэну Мендесу. Одно касается книг, которые он просил прислать ему амстердамского книготорговца. В другом же говорится о некоем школяре, который хотел бы учиться у Мендеса и даже предлагает взносить за это еженедельную плату. Потом было что-то еще на английском – кажется, счет за покупку свечей.

Аарон откусил от сэндвича и принялся жевать.

– И какие же книги заказывал Мендес?

– «Путь Знания». Это, кажется, *мидраш*[7]. И еще «Опыты» Монтеня. На французском.

Хелен вскинула брови.

– Затем я нашел счет из еврейской книгопечатни в Амстердаме за несколько томов Талмуда и еще бухгалтерскую книгу из лондонского дома раввина. В довольно приличном состоянии, содержит записи примерно за пятнадцатимесячный период – с тысяча шестьсот пятьдесят седьмого по пятьдесят девятый год. Расходы на еду, уголь, дрова и письменные принадлежности, – похоже, у Мендеса было довольно скромное хозяйство, если не считать книг.

Хелен кивнула задумчиво.

– Совершенный контраст с таким домом, как этот.

Аарон вдруг прервался и запрокинул голову, чтобы получше рассмотреть обшитый панелями потолок.

– Интересно, а как там у них наверху? – продолжал он. – Сколько спален, насколько роскошно? Возможно, нелишне узнать, как жила семья Га-Леви…

Он встал, отложив свой бутерброд.

– Вы не имеете права подниматься наверх без разрешения Истонов, – заметила Хелен, оставаясь неподвижной, как статуя.

Как она могла сидеть, когда ей самой не терпелось посмотреть? Просто посмотреть и получить представление о том, каков был быт у людей, хранивших эти бумаги. Но Хелен не двигалась с места, упершись руками в сиденье стула.

Ладно, будь по-твоему. Как-нибудь в другой раз, когда старуха не будет мешаться под ногами.

Она с подозрением взглянула на Аарона:

– Так принято.

Чертовы британцы!

– И конечно же, комнаты выглядят совсем не так, как выглядели в семнадцатом веке.

Аарон ничего не ответил. Пусть для разнообразия послушает его молчание. Он вернулся на свое место и напустил на себя невозмутимый вид.

– Есть ли еще что-нибудь примечательное в этом гроссбухе?

Прежде чем ответить, Аарон выдержал долгую паузу.

– Что меня поражает, – наконец сказал он, – так это то, насколько расплывчато указаны сведения о доходах Мендеса на Кричерч-лейн, особенно если учесть, как тщательно отражены расходы. Нет списка имен учеников и указаний на оплату обучения. Указаны какие-то «пожертвования», и мне кажется, что это и есть доход Мендеса от преподавания. Но это выглядит почти преднамеренно неясно. Если учесть, что Кромвель официально признал существование еврейской общины, то можно сделать вывод о том, что они просто стали терять осторожность.

– Вы просто читали невнимательно, – покачала головой Хелен.

Аарон издал короткий и несколько раздраженный смешок.

– Вы – американец и считаете прямолинейность величайшей добродетелью.

С губ Аарона сорвалось что-то похожее на проклятие.

– Я вовсе не пытаюсь вас оскорбить, мистер Леви, – твердо произнесла Хелен. – Просто констатирую факт. Англичане, кстати, тоже делают подобную ошибку. Говорить правду – это роскошь, доступная тем, чья жизнь вне опасности. А для евреев эпохи инквизиции даже знание о своем еврействе могло оказаться фатальным. Оно могло обнаружиться в том, как ты сидишь, одеваешься; в мимолетном проблеске на твоем лице при упоминании определенного имени. Ну, даже если в Англии с тобой ничего такого особенного не случится – разве что выдворят из страны, – то спустя пару месяцев где-нибудь в Испании или Португалии твоих родственников могут схватить и подвергнуть мучительной смерти.

Что-то как будто схлопнулось внутри нее. Аарону показалось, что Хелен злится, но не на него.

– Англо-американское представление о честности, мистер Леви… – и Хелен замолчала, словно обдумывая слова.

Но, очевидно, Аарон мало чего стоил в ее глазах, чтобы продолжить фразу.

– Что-нибудь еще нашли? – спросила Хелен.

Секунду назад она явно удержала себя от чего-то… но Аарон решил, что ему это неинтересно.

– Проповедь, – сказал он. – Га-Коэн Мендес написал ее после смерти Менассии. В ней содержатся аргументы против лжемессий.

Она подалась вперед в кресле.

– Но прежде чем рассказать о проповеди, – произнес Аарон, с удовольствием наблюдая за выражением любопытства на лице Хелен, – должен заметить вам, что сегодня утром мне удалось узнать кое-что новое о раввине Мендесе. Как вам известно, – продолжал он небрежным тоном, – несмотря на то, что Мендес слыл великим ученым, он был настолько стеснен слепотой, что сумел опубликовать только одну работу – брошюру под названием «Против лжи». Она была напечатана одним из последователей Мендеса в Лондоне уже после его смерти.

Сначала Аарон говорил неспешно, но по мере того, как продолжал, волнение все сильнее захлестывало его.

– Пришлось немного попыхтеть, чтобы найти в интернете оригинальный текст, но мне все же удалось разыскать его. Это нечто, доложу я вам!

Вероятно, памфлет, с которым довелось познакомиться Аарону, был лучшим образчиком возражения против массовой истерии конца семнадцатого века. Сочинение это отличалось ясностью формулировок, основательностью, а местами даже поэтичностью в своих предостережениях против искушений лжемессий. Ее полный текст прилагался к небольшой статье, на которую Аарон наткнулся после долгих поисков – единственной существующей научной статье о Га-Коэне Мендесе. Написанная несколько десятилетий назад, она описывала невзгоды Мендеса, которые обрушились на него из-за преследований со стороны инквизиции; в ней также восхвалялась брошюра «Против лжи» и подчеркивалось превосходство работы Мендеса над менее убедительными антисаббатианскими аргументами того времени. Удивительно, отмечал автор, как писатель такого дарования не издал никаких других работ?

Но прежде всего Аарону бросилось в глаза посвящение.

– Видите ли, – сказал он Хелен Уотт, – Мендес посвятил свою работу Бенджамину Га-Леви.

Хелен ничего не ответила.

– Это же тот самый Бенджамин Га-Леви, – не унимался Аарон, – который владел этим домом!

Хелен приподняла бровь. Аарону показалось, что она будто бы не улавливает связи, однако на лице Хелен явно читалась мысль. Аарон догадался, о чем та размышляла: теперь ясно, как все эти бумаги могли попасть в этот дом. Вероятно, Бенджамин Га-Леви покровительствовал местным раввинам и решил сохранить наследие одного из них.

Хелен задумчиво кивнула.

– А что там сказано в проповеди?

– «Воля Б-га и Менассии бен-Исраэля состоит не в том, чтобы евреи делали ставки на пришествие Машиаха, словно игроки в кости», – процитировал Аарон.

Губы Хелен сложились в едва заметную, но искреннюю улыбку, и Аарону показалось, что когда-то эта женщина была мягче и приятнее.

– Это настоящая находка! Неужели еще в шестьсот пятьдесят седьмом году Мендес предостерегал от поклонения ложным мессиям? Проповедь длинная?

– Четыре страницы. Кроме того, есть еще копия на английском языке. Вероятно, ее перевели для тех, кто родился уже в Англии.

– Обязательно прочтите и английский вариант.

– Само собой, разумеется, но это всего лишь перевод.

– Вы что, не слышали, что я говорила? – выпрямилась Хелен в своем кресле. – Ведь на португальском они могли писать иначе, чем на английском.

«Да-а, Алеф, ты и я… – подумал Аарон. – Вот только твой наставник не был ведьмой».

Он откусил от сэндвича и стал с наслаждением жевать. Было видно, что его трапеза раздражает Хелен.

– А когда придут люди от «Сотбис»? – спросил он.

– Завтра, – сердито бросила Хелен.

Так они и сидели – Аарон жевал, а Хелен ждала, когда он наконец расправится со своим бутербродом. Идиллия, что ни говори.

– А почему вы решили заняться историей? – небрежно спросил Аарон.

Хелен явно уловила фальшь в его вопросе, но тем не менее задумалась, прежде чем ответить. Ее взгляд был обращен в сторону окна, щеки втянулись – Аарон уже знал, что это означает.

Хелен молчала, словно решая, стоит ли ей отвечать.

Наконец на ее лице проступила горькая ухмылка:

– Меня заставили.

Глава шестая

Английский канал

2 октября 1657 года

8 хешвана 5418 года

Как сияет луна! Ее четкий диск окружен ореолом на фоне бездонного черного неба. Свет настолько ярок, что, кажется, он звучит, словно музыка.

В его беломраморных отблесках доски палубы выглядят гладкими. Сверкают верхушки волн, а темные провалы между ними дышат холодом глубин. Над головой вздулись паруса, и их тяжелые тени качаются в такт движению корабля. Тьма, свет и опять тьма. Тени снова и снова накрывают ее тонкие бесплотные пальцы, что неподвижно лежат на планшире.

Ночь словно ждет кого-то, чтобы сказать о том, что и так уже ясно.

Примостившийся на низенькой скамейке у самого борта раввин, кажется, парит над белыми гребешками волн; его лицо, обрамленное седой бородой, приподнимается и опускается в такт дыханию океана.

Почти невидимый в тени снастей, на носу корабля стоит ее брат. С момента отъезда из Амстердама он не сказал ей ни слова, не выказал никакой ласки, как будто боялся, что звук его голоса подрубит его дух и решимость.

В форштевень глухо ударяет волна, и корабль под колким мерцанием звезд поворачивает в сторону темной тверди, что заслоняет горизонт.

Англия…

Цель близка, и от этого сводит живот.

Глава седьмая

Лондон

4 ноября 2000 года

Хелен почувствовала, что начинает мерзнуть. Толстый свитер, который она натянула на плечи, мало помогал, а маленького обогревателя не хватало на всю комнату. Но под высокими окнами было светлее.

Весь день Бриджет ходила мимо рабочей комнаты, цокая высоченными каблуками и раня взор своим вырвиглазной расцветки шарфом. Она постоянно отвлекала Хелен вопросами о том, когда же будет окончена работа, и много общалась по телефону, причем так, чтобы Хелен могла ее слышать. «Простите великодушно, что пришлось изменить планы, но, к сожалению, сейчас это зависит не от меня, – говорила она. – Я искренне надеюсь, что такая задержка не сорвет весь наш проект».

Если Иэн, по всей вероятности, смирился с настойчивым требованием Хелен дать ей три дня на изучение рукописей, то Бриджет не скрывала своего раздражения. Сегодня выходил срок, и Бриджет сообщила Хелен, что закончить исследование бумаг придется раньше, так как представители «Сотбис» должны прибыть уже во второй половине дня, чтобы произвести оценку документов.

Утром, перед тем как отправиться в Ричмонд, Хелен позвонила в приемную Джонатана Мартина, чтобы уточнить, как продвигается дело. Что характерно, трубку поднял сам Мартин, а не его секретарша. Джонатан сообщил, что переговорил с Иэном Истоном и тот показался ему «нормальным человеком» – то есть уступчивым, как это перевела для себя Хелен. Это был любимый типаж Мартина. Также шеф сообщил, что собирается за обедом обсудить вопрос о приобретении документов с вице-канцлером.

Хелен чуть было не рассмеялась: неужели в кои-то веки талант Мартина обходить требования системы сработал в ее пользу?

До последнего времени она пребывала в уверенности, что дорабатывает последние месяцы с этим человеком и их общение будет сведено к минимуму. Еще несколько лет назад она перестала посещать его лекции и приемы – пусть младшие преподаватели угождают ему, а ей уже не интересно бороться за место под солнцем и за отдельные кабинеты. Слава богу, она успеет выйти на пенсию раньше, чем ее отдел переселят в новое крыло здания университета. Все последние годы Джонатан Мартин буквально из штанов выскакивал, чтобы собрать средства на ремонт, связь, творческое освоение рабочего пространства, – все это никак не было связано с изучением истории, а лишь выражало страстное желание Мартина утвердить превосходство его факультета над всем Университетским колледжем Лондона.

А вот теперь он превратился для нее в человека, от которого, может быть, зависит и ее судьба. На прошлой неделе, когда Хелен докладывала ему о найденных документах, Джонатан Мартин молчал целых полторы минуты. Она специально смотрела на часы. Неплохо, если бы Мартин и сам обратил тогда взор на циферблат. Девяносто секунд – тут у любого сердце прихватит. Но Хелен хорошо знала манеры своего шефа.

– Это серьезная находка, – наконец выговорил Мартин, не отрывая взгляда от окна.

«Словно Родену позирует», – пронеслось в голове Хелен.

В тот момент она терпеть его не могла, испытывая острое желание высказаться. Мартин снова замолчал, и Хелен с трудом удержалась от того, чтобы не треснуть своим костлявым кулаком по деревянной столешнице и не потребовать от начальника перестать изображать из себя модель, а заняться прямым своим делом, чем и должен заниматься декан исторического факультета, если еще из ума не выжил.

Наконец он повернулся к ней:

– Да, замечательная находка на излете карьеры, скажу я вам.

Хелен легко поняла истинный смысл этих слов: мол, жаль, что именно эта старушенция Хелен Уотт, которую и на фото-то газетное не поместишь, нашла эти бумаги. Уж скорее бы тебе на пенсию, и никто особенно не огорчится. Вот если бы таким счастливчиком оказался кто-нибудь из молодых специалистов, которых выбирал сам Мартин! Кто-нибудь надежный, на славе которого можно и самому выехать,

сделаться звездой в академическом мире и много лет зарабатывать на своем имени.

Джонатан Мартин справился со своим недовольством – Хелен прекрасно это видела. Затем он взял телефонную трубку и басомпрофундо попросил свою секретаршу соединить его – немедленно! – с заведующим библиотекой. Ожидая ответа, он доверительно сообщил Хелен, что у него имеются кое-какие средства для приобретения этих бумаг. Некий благотворитель, мол, готов выделить деньги для укрепления позиций факультета. Но чтобы успеть приобрести манускрипты раньше, чем это сделает кто-нибудь другой, недурно бы историческому факультету также раскошелиться. Естественно, шеф думал и сам нагреться на этой сделке.

Все это означало, что Джонатан Мартин будет действовать через заведующего библиотекой для того, чтобы обеспечить своим специалистам приоритетный доступ к найденным документам. Это, конечно, прямое нарушение закона о свободе информации, но такая хитрая лиса точно найдет способ обойти это препятствие.

– День добрый, – произнесла с придыханием Бриджет, входя в комнату со стопкой журналов в руках.

Аарон вскинул голову, как бы от неожиданности, хотя, несомненно, прекрасно слышал приближающееся стаккато каблуков. Он улыбнулся Бриджет уголком рта. Хелен невольно загляделась на него. Царственный, дерзкий наклон головы. Гладкие черты лица, оливковая кожа, тяжелые ресницы, миндалевидные глаза, которые в льющемся из окон свете отдавали зеленым. Только выросший в роскоши мальчик мог быть так красив.

Дрор… Но даже его красота не была уникальной.

Бриджет чуть замедлила шаг, но все же прошла дальше и положила журналы на книжную полку, а Аарон, стоя у стола, провожал ее слегка насмешливым взглядом. Затем он медленно, несколько покровительственно повернул голову в сторону Хелен.

Хлопнула входная дверь, и Хелен вздрогнула от неожиданности.

Аарон с заметным раздражением поправил на своих жилистых запястьях перчатки и снова обратился к рукописи, которую читал.

Использовать перчатки потребовала, конечно же, Хелен. В магазине ей предложили на выбор – или простые хирургические, или вот эти, изящные белые, сшитые словно для файф-о-клока.

В них Аарон походил на героя-сыщика из криминального романа или на денди девятнадцатого века. Когда кассир пробил чек, Хелен тут же ругнула себя за каприз.

Аарон стянул перчатки и бросил их, вывернутые наизнанку, на стол. Затем сел, придвинув к себе ноутбук.

– Да вы не волнуйтесь, – произнес он, не поднимая головы. – Не буду я сидеть в электронной почте.

Какое-то время он щелкал по клавишам, а затем всмотрелся в экран.

Хелен с некоторым раздражением, не понятным ей самой, вернулась к лежавшему перед ней письму. Оно было адресовано к Га-Коэну Мендесу. На сгибе сложенной страницы еще оставались следы красной сломанной печати. Чернила выцвели, сделались тускло-коричневыми, но текст читался легко. С одной стороны лист был надорван.

Амстердам
17 февраля 1658 года
13 швата 5418 года

Ученому Га-Коэну Мендесу

Новости о вашем достойном труде доходят до нас в Амстердам. Давид Родригес пишет о том, как вы принимаете детей наших братьев в Англии под шатром Торы и продолжаете дело блаженной памяти Менассии бен-Исраэля. Возможно, не вам суждено будет завершить сей труд, но и оставить его вы не имеете права. В эти дни, когда наши сердца обливаются кровью при известиях о муках нашего народа в Португалии, мы возносим молитвы, дабы усилия ваши не пропали даром и обрели Б-жье благословение. Он да принесет мир и искупление в наши дни, и мы уверены, что так и будет.

Книги, о которых вы просили, мы вышлем к концу месяца. Весьма рады, что вам удалось найти в Лондоне желающих изучать такие тексты.

Но есть один вопрос, который по-прежнему вызывает у нас озабоченность. Родригес с сожалением сообщил нам о Веласкесе, мальчике, семью которого поразил проклятием Б-г и испепелил на костре его родителей. Но только Б-гу ведомы Его пути, и как написано: «Путь Б-га есть свет, окутанный тьмой».

Но Родригеса тревожит присутствие сестры Веласкеса в вашем доме Торы.

Мы понимаем, что в лондонской общине очень мало толковых писцов. Лондон – это пустыня невежества, которую вы покоряете, просвещая ученика за учеником. Возможно и такое, что ни в одной лондонской еврейской семье не найдется сына, который изучал бы необходимые языки. Но дочь Веласкеса находится в таком возрасте, что ей следует помышлять о браке, и нехорошо, если голова ее будет обременена иными образами и идеями. Хотя в еврейском мире и существуют разные мнения по вопросу женского образования, и мы сами признаем, что ее покойный отец благоволил увлечению дочери науками, но даже он не одобрил бы длительное занятие подобным трудом. Я сам присоединяюсь к словам рабби Элиэзера из Талмуда, что слово Торы лучше сжечь, чем обучать ему женщину.

Напоминаю вам, что у этой девушки нет приданого, и даже Дотар[8] отнюдь не горит желанием предоставить его из-за дурной репутации ее покойной матери. И поэтому мы советуем вам задуматься о том, что продолжение ее работы у вас в качестве писца лишает эту девушку возможности выйти замуж.

Мы понимаем, что отыскать подходящего под ваши требования писца нелегко, и если вам не удастся найти такового в Лондоне, мы при первой же возможности направим к вам нужного человека.

Хотя я лишь мельком ознакомился с жизнью семьи Веласкес до того момента, как их родители предстали пред Всевышним, пишу с огромной нежностью по отношению ко всем сынам и дщерям нашего многострадального народа.

С совершенной верой во грядущее Искупление,

Якоб де Соуза

От внезапного прозрения Хелен едва не подпрыгнула на стуле. Она зажмурила глаза, открыла их снова и перечитала текст.

Вероятно, подумалось ей, она ошиблась при переводе, – но нет, все было верно. В письме присутствовали архаизмы, но смысл был понятен. Она придвинула к себе блокнот и проверила даты уже просмотренных документов, помеченных буквой «алеф». Одно содержало просьбу к амстердамскому книготорговцу о двух фолиантах, и дата его написания непосредственно предшествовала дате письма, которое Хелен только что перевела.

Хелен откинулась на спинку стула и вздрогнула от незнакомого ощущения в груди – словно нечто, долго молчавшее, внезапно пробудилось и заявило о себе.

– Мистер Леви! – произнесла Хелен.

Тот как будто не расслышал.

– Алеф – это девушка, – продолжала Хелен.

Аарон оторвал взгляд от монитора компьютера, словно вынырнув из бездны, и рассеянно посмотрел на свою коллегу.

Впервые за время их общения он выглядел растерянным.

Глава восьмая

Лондон

12 ноября 1657 года

6 кислева 5418 года

Эхо гулкого удара разнеслось по всей пристани.

Отсыревшее дерево, прелая солома, топот ног по подгнившим доскам: туго натянув веревки, портовые рабочие стараются оттянуть деревянный ящик от каменной стенки пирса. Раскачиваясь на талях, ящик, сопровождаемый бранью тальманов, медленно опускается в проседающую под его тяжестью шаланду.

Крикливые чайки на фоне рассвета.

Она прикрыла глаза.

Ее юбки совсем не защищают от холода, хотя в Амстердаме они казались довольно плотными. Но здесь, в стылом Лондоне, сырость пробирает до костей. Туфли тоже пришли в негодность, хотя вполне годились для более гладких голландских мостовых.

Ступни болели невыносимо, пока она скользила по неровному булыжнику в сторону реки.

Лица прохожих сливаются в один образ – чужие, непривычные черты, резкие, незнакомые слова. А запертый в ней мягкий язык прозвучал бы здесь пустым звуком.

Едва ступив на английскую землю, она превратилась в тварь бессловесную. Вся нелепость жизни стала пред ее очами. Когда-то давным-давно она могла облегчить это слезами.

Ребе послал ее за братом – тот уже три дня не появлялся в его доме, и учителю был надобен писец.

Казалось, в толпе докеров и рабочих брата ни за что не найти, но она понимала, что нужно глядеть зорче. Исаак, он такой. В Амстердаме отец водил его в порт, чтобы приучить к торговому делу, и

брат схватывал все на лету. Ему тогда было лет десять, но он быстро вписался в скопище портового люда, к большому неудовольствию торговцев в крепких башмаках и местных дельцов, что посматривали на толпу. Как потом рассказывал ошеломленный отец, Исаак буквально прыгнул к разгружаемым ящикам и стал помогать рабочим, хотя те и косились на него, как на сородича купцов, прохаживавшихся неподалеку в черных плащах и широких с перьями шляпах.

Не обращая внимания на взгляды портовых рабочих, поднимавших второй ящик, она миновала эту компанию и прошла дальше по берегу. Затем осторожно обошла невзрачного старика, который смолил борт небольшой лодки. Тот схватил ее было за подол, но она вырвала юбку, а он подмигнул и поднял вверх заскорузлые ладони, – мол, я старик, мне можно. Она зарделась и отвернулась – и тотчас увидала своего брата, который, совсем как заправский докер, вертелся среди других рабочих.

Она знала, что найдет его здесь – как и обещала ребе. Но отчего же так больно ей стало, когда она увидела его среди чужестранцев?

– Исаак! – позвала она.

Тот как-то по-новому приподнял брови, словно не признав ее, но и не отрицая их родство.

У нее сжалось горло. Она никогда не сходилась с людьми так легко, как младший брат, всегда была эдакой тихоней, постоянно извинявшейся, неспособной и слова громко произнести…

Она испытывала необъяснимую тягу к книгам и труду писца – то есть к тем вещам, которые отталкивали большинство еврейских девушек. До приезда в Англию она охотно пользовалась талантом брата находить себе знакомых. Исаак был весьма общителен и всегда представлял ее своим друзьям, рассказывал услышанные анекдоты, угощал ее разными вкусностями, которыми его баловали рыночные торговцы. Но здесь, в Англии, они стали друг другу как будто чужими.

– Исаак!

Она подошла к брату, но руки ее беспомощно болтались вдоль туловища. В Амстердаме она просто дернула бы его за волосы – не для того, чтобы сделать больно, а чтобы просто подколоть его, пусть даже он и был взрослым мужчиной на полголовы выше нее.

Оба его товарища обернулись. Это были коренастые люди, значительно старше Исаака. Должно быть, у них были семьи, а

возможно, уже и нет. Один был пониже ростом, с широкой рябой физиономией и пристальными голубыми глазами; второй же, тот, что повыше, имел редеющую шевелюру, а лицо его отдавало румянцем, характерным для выпивох и тех, кто много работает на свежем воздухе.

Она повернула свой взгляд в сторону Исаака – чертенка, как она его называла, но который уже не был таким озорным, как раньше. Голубые глаза, пшеничного цвета волосы… неужели это ее брат? Исаак сбрил бороду еще несколько недель назад, но она до сих пор не могла привыкнуть к его гладкому подбородку, который напоминал, что он отдаляется от родных корней.

– Тебя ждет ребе, – тихо произнесла она по-португальски.

Рабочие мрачно воззрились на нее: мол, что, еще один инородец?

– Ребе хочет отправить несколько писем, – почти что шепотом проговорила она. – И ты нужен ему, чтобы записывать.

Рабочие угрожающе надвинулись на нее, как бы осознав свое превосходство. Она быстро подошла к Исааку, но тот словно не замечал своих новых товарищей или делал вид, что не замечает. Исаак поджал губы и что-то бегло произнес по-английски, словно начисто забыв, что сестра так и не овладела языком из-за постоянных домашних занятий. Да и зачем он ей здесь, в этих громыхающих доках? Когда-то давным-давно, в Амстердаме, прячась в комнате матери, она пробовала выучить этот язык по сборнику загадочной и сбивающей с толку английской поэзии.

Исаак покачал головой и глухо рассмеялся.

– Я оставил свою правую руку по ту сторону реки! – сказал он по-португальски.

Отведенный в сторону взгляд его, казалось, добавил: «Вместе с тобой…»

– Исаак, – произнесла она дрогнувшим голосом.

– Скажи ребе, что я сейчас занят. Скажи, что я освободил свою комнату и больше никогда не вернусь в его дом.

– То есть ты просишь меня плюнуть в лицо человеку, который нас приютил? – сорвалось с ее губ.

И хоть выражение лица Исаака не изменилось, было заметно, что слова сестры задели его.

Он заколебался на мгновение. И тут она увидела своего брата таким, каким он был раньше. Прямые золотистые волосы, грациозность его тела, запах соли и масла напомнили ей блаженные амстердамские дни, когда Исаака оставляли на ее попечение. Это был прежний озорной Исаак, которого не коснулись ни притеснения домашней прислуги, ни голоса учителей, что перекрывали галдеж своих учеников. Тот самый Исаак, который не знал никакого наказания, кроме мягких попреков отца. Получив тихую отповедь, Исаак обращал свой взор к Эстер, его душа как будто плавилась, а в голубых глазах мерцала просьба – если не об одобрении, то хотя бы о прощении. И Эстер всегда становилась на его сторону. Она откидывала белобрысую челку с его глаз. Помогала ему убрать осколки нянькиного зеркала, а он заменял его на мамино, взятое с ее туалетного столика.

И да, чего тут кривить душой – она сама потворствовала его проказам. Она радовалась свободе брата, хоть для нее это был запретный плод. Как-то раз она застала Исаака, который свесился из окна и обстреливал улицу гнилыми яблоками, взятыми из кухонных отбросов. Она ухватила его за рубаху и стала скручивать пальцами льняную ткань, пока та не обтянула его талию. Исаак попытался отмахнуться, однако вместо того, чтобы оттащить брата от окна, Эстер стала на колени позади него и выглянула наружу – там стоял перепуганный человек, в котором она сразу же узнала синагогального служку, назвавшего однажды ее «неправильной» девочкой, после того как служанка сообщила, что Эстер, читая по вечерам, истратила весь запас свечей. Служка оповестил об этом прихожан после субботней молитвы и затем часто и охотно рассуждал на сей счет, с удовольствием наблюдая за возмущенными взглядами людей. «Эта девочка, – говорил он, – столь же красива, как и ее мать, и за ней нужно присматривать, ибо унаследованный непокорный нрав ее матери может навредить ей».

Не сказав сестре ни слова, понимая, что она его все равно не одернет, Исаак снова прицелился. Эстер еще сильнее вцепилась в его рубаху и ощутила тепло маленького тела, целеустремленного и полного сил, прижалась к нему, ее пальцы крепче сжали ткань, а Исаак подался назад, тяжело выдохнул, так что их дыхания слились вместе, и

коричневое яблоко врезалось в голову служке, который, изрыгая проклятия, ринулся в сторону синагоги.

Разумеется, все соседи были возмущены этим поступком. Но вечером мать как-то по-особенному смотрела на сына, с выражением некоторого удовлетворения. Отец отвел Исаака в синагогу, чтобы извиниться перед служкой. Эстер смотрела из окна, как они выходили из дома, и, пока их не было, стащила из корзины служанки несколько тряпочек и сшила для брата собачку, которую, тихо подкравшись к его постели, оставила у него на подушке.

Игрушка должна была успокоить мятущийся дух брата…

И вот теперь Исаак, совсем взрослый, стоял перед ней. Правду сказать, он возмужал еще задолго до переезда в Лондон. Но за несколько последних недель в его взгляде появилось какое-то новое, строгое выражение – как будто после смерти родителей он ступил на финальный отрезок своего пути. Лишенная коротенькой бородки, его челюсть, казалось, подрагивала от напряжения. Никогда раньше в нем не было ничего неестественного, натянутого – но сейчас его лицо выглядело будто бы сложенным из разных частей. По уголкам рта у него показались тоненькие морщинки, отчего Исаак сделался похож на деревянную куклу-марионетку с шарнирной челюстью.

– Работа писцом совершенно не для меня, – произнес он. – Она вполне подошла бы тебе, родись ты мальчиком. Но не мне. Даже до…

До пожара. Почти два года Исаак ни разу не заговаривал об этом. Сперва холодный и надменный, теперь его голос звучал с надрывом.

– Ребе заставлял меня переписывать стихи из Писания – прекрасное решение выразить почтение мученикам, что погибли от рук инквизиторов!

В его словах, словно бы закручивающихся в спираль, звучала боль одиночества.

– Ребе хочет, чтобы я изложил его благочестивые мысли на бумаге? Так скажи ему, что я предпочитаю другое ремесло, чтобы соответствовать своей репутации убийцы. Скажи ему, что написанные моей рукой слова означали бы предательство. Скажи ему, если захочешь, что я сбрил бороду, – Исаак провел рукой по голому подбородку. – Что я теперь даже не похож на еврея.

Все это время рабочие стояли неподвижно, наблюдая это представление на чужом языке. Один из них усмехнулся, полагая,

вероятно, что перед ним семейная ссора.

Слова Исаака били по ушам с несокрушимой логикой.

– Я уверен, что ты даже не рассказала ему, что у меня нет больше бороды. Уверен, что благодаря тебе он до сих пор думает, что я стану тем, кем он хочет.

Исаак наклонил голову и продолжал:

– Скажи ему, что я пропал и ты не смогла меня разыскать. Пусть думает, что я умер.

Он мрачно улыбнулся.

Эстер так резко замотала головой, что река за плечами брата расплылась в глазах.

Низкорослый рабочий сказал что-то по-английски, шагнул вперед и косо посмотрел на Исаака:

– Твоя жена?

Исаак медленно покачал головой.

Эстер поняла, что у нее больше нет брата.

Не успела она и глазом моргнуть, как коротышка оказался прямо перед ней. Своими толстыми пальцами он крепко сжал ее щеку, словно рассматривал товар на рынке. В ту же секунду ее отшвырнуло назад, и она увидела плечо Исаака, который всадил кулак мужчине в живот. На мгновение пара застыла на месте, а затем рабочий, схватившись за живот, упал и засипел слюнявым ртом.

Второй рабочий бросился вперед, то ли чтобы остановить драку, то ли продолжить. Он грубо оттолкнул Исаака, но Эстер стало ясно, что это было скорее предупреждением, нежели атакой. Однако не успел рабочий перевести дух, как Исаак замахнулся, и тот отлетел и ударился о деревянный ящик, с глухим стуком приложившись о него головой.

Мужчина застонал. Эстер увидела, что его глаза наливаются злобой.

Эстер повернулась и пошла назад той же дорогой. Ступни ее ужасно ныли, отчего она спотыкалась на каждом шагу. С обеих сторон узенькой улочки на нее мрачно смотрели окна лавок и магазинов.

Позади послышались шаги, и она почувствовала руку Исаака.

– Возвращайся домой, – сказала она, ощущая своими измученными ступнями ненавистные камни мостовой.

Мимо спешили прохожие, отовсюду слышались гам и хриплый смех. И этот Лондон теперь должен был стать ее городом. По пылающему лицу Эстер катились слезы: ну почему именно сейчас? После пожара она ни разу не плакала – даже на похоронах родителей. Местные сплетники сразу усмотрели в этом еще одно свидетельство мятежного духа ее матери – а она не могла плакать, потому что огонь, что жег ее грудь, испарял любые слезы, прежде чем они проступали на глазах. Но вот теперь она ощущала непонятную и неодолимую слабость.

– Пойдем со мной домой, – пробормотала Эстер.

– Дом раввина – не наш дом, – устало, безо всякого сарказма ответил Исаак.

Эстер понимала, что брат не станет спорить с ребе. Его враждебность будет сопровождать его всю жизнь.

– Впрочем, – сказал Исаак, – возможно, этот дом станет твоим. Ты можешь… выйти замуж. У тебя будут дети.

Эстер подняла взгляд, но Исаак смотрел не на нее, а в белое небо. Он негромко, словно рассказывая ребенку сказку, проговорил:

– Ты можешь, Эстер. Ты все еще…

Тут он взглянул на нее, и Эстер заметила в его глазах тот блеск, которого не видела уже много лет, тот свет, который говорил, что он понимает ее.

Исаак снова отвернулся, но его слова тронули Эстер.

– Ты другая, ты устроена иначе, – сказал он. – Ты – словно монета, сделанная из камня, а не из металла. Или дом, построенный из пчелиных сот, перьев или стекла – никто в целом мире не догадался бы строить дом из таких материалов, Эстер. Странный, диковинный дом, но все же прочный. А ты всегда была такой. Ты – женщина. А женщинам даны силы, чтобы восстанавливать разрушенное. Женщины не… – он замялся и перевел взгляд с неба на сестру, – женщины, они могут меняться. Не то что мужчины. Мужчина должен быть или героем… или негодяем.

Исаак еще крепче сжал руку Эстер.

– Вот что я хотел тебе сказать, сестра. И это единственное, что я должен был сказать.

Он весь напрягся, и Эстер заметила, как взгляд его обратился к реке, словно ожидавший его на причале труд мог усмирить растущую

внутри ярость.

Он вздохнул, отпустил ее руку и весь как будто окаменел. Впервые Эстер почувствовала, каких усилий ему стоит оставаться спокойным, подавляя желание высвободить все, что скрывалось в его душе и теле. Но он лишь тихо произнес:

– Мужчина приходит в этот мир, чтобы выполнить лишь одно предназначение. Может быть, что-то доброе. Или наоборот. Но, видишь ли, оказалось, что мое предназначение – устроить тот пожар. И значит, я пришел во зло.

Он смотрел сестре в глаза. У Исаака было чистое, гладкое лицо, какое Эстер последний раз видела, когда он был еще мальчиком. Но в нем не было мольбы о прощении.

– Уходя из этого мира, я что-нибудь сделаю. Что-то хорошее. Как Самсон.

По губам его скользнула тень невеселой улыбки.

– Я разрушу какой-нибудь дом порока. Напрочь!

С этими словами Исаак так сильно ударил кулаком по ладони, что Эстер невольно вскрикнула.

– И падет кровля прямо на голову. Или, быть может, я кого-то спасу. Мальчика, например.

От этой мысли у него на мгновение перехватило дыхание.

– Я вскочу на палубу корабля, когда его охватит огонь, и спасу мальчика. И прежде, чем сгорю сам, выброшу его в воду.

В каждом его слове слышалась самая настоящая, неприкрытая ненависть.

Эстер поняла, что Исаак будет грызть себя всю жизнь, пока это не убьет его.

Он повернулся и зашагал к докам.

Она пошла домой, ступая по булыжникам мостовой, как будто они были сделаны из стекла.

Раввин сидел на том же месте, где она, уходя, оставила его. Он повернул в ее сторону голову, но подождал, пока она повесит шаль.

– Твоего брата нет с тобой, – тихо произнес ребе.

– Нет.

За высокими окнами большой комнаты лил начавшийся еще во время ее прогулки дождь, отчего окна казались матово-белыми. В

камине звонко потрескивали поленья. Должно быть, его запалила Ривка, прежде чем уйти по своим делам. Эстер легко могла представить ее себе: туго обтянутые рукавами платья руки, каждое движение которых свидетельствовало о решимости продлить дни угасавшего ребе. А сейчас даже внезапный треск дров в очаге громко напоминал о неусыпной заботе служанки.

Раввин Га-Коэн Мендес сидел у очага. В своем кресле с высокой спинкой он выглядел совсем ссохшимся. Его скулы выглядели как два бледных бугорка, а некогда белая борода отдавала желтизной. Кожа на рубцах под густыми бровями казалась тугой и гладкой, словно у ребенка.

Эстер пододвинула стул поближе к огню и села. Прихотливые сполохи заставляли метаться по полу тени. Она приподняла ногу, закинула ее на колено и расстегнула застежку на туфле. Осторожно потрогала натруженную ступню – даже сквозь ткань чулка было заметно, как она пульсирует.

Короткая, на одну минутку, передышка.

Затем Эстер прошла на кухню, где после Ривки оставалось еще много дел. Но больше всего ей в тот момент хотелось обмакнуть перо в чернила, как Исаак.

Но вместо этого Эстер часами под наблюдением Ривки месила крутое тесто, помешивала густую похлебку с картофелем, а иногда и с куском солонины, присланной еврейским мясником из Амстердама. Для Ривки она каждый день готовила польскую еду без специй, совсем не похожую на то, к чему сама привыкла в Португалии. Специи Ривка велела класть в еду, что предназначалась для раввина и его учеников. Но блюда возвращались на кухню почти нетронутыми: у ребе не было аппетита, а ученики, хоть и взращенные на тяжелой английской пище, не могли оценить нового вкуса. Однако Эстер не умела приготовить ничего лучше, да и сил у нее почти не оставалось.

Оставшись без родителей, Эстер работала прислугой в амстердамских семьях, но, будучи членом общины, все равно чувствовала хорошее отношение к себе: ей поручали более легкую работу, а тяжелый труд выпадал на долю голландских слуг или евреев-тудеско. Но только здесь, в Лондоне, она поняла, какой каторгой на самом деле является работа по дому. Хозяйство, словно бездонная яма, поглощало неимоверное количество дров, угля, крахмала, парусины,

хлеба и эля; все это требовалось для поддержания жизни, которая неумолимо таяла, словно воск горящей свечи.

Если же кухня и очаг, который то и дело норовил погаснуть, не требовали ее внимания, Эстер начищала медные и оловянные кувшины, отмывала кастрюли, мела полы, перебирала постельное белье, таскала на чердак корзины с ним. Ежедневно ей приходилось выколачивать шторы и мягкую мебель, чтобы избавиться от угольной сажи – только в комнате раввина топили дровами, так как Ривка утверждала, что угольная пыль вредит и без того слабому здоровью ребе и она ни при каких обстоятельствах не позволит, чтобы учитель дышал нечистым воздухом, которым были пропитаны все остальные помещения дома.

Постоянно занятая изнурительным трудом, Ривка мало разговаривала с Эстер. Впрочем, она терпеливо относилась к промахам девушки, если какое-либо задание оказывалось слишком сложным для той. Иногда Ривка скупо улыбалась, отстраняла Эстер своей пухлой ладонью и сама принималась за то или иное дело. Однако это не сильно сближало женщин. Было понятно, что расстояние, разделявшее их, непреодолимо и рано или поздно им придется расстаться – девушка из сефардской семьи, хоть и осиротевшая, так или иначе выйдет замуж и заведет собственное хозяйство. Сама Ривка, с редеющими бесцветными волосами, толстая, обладавшая сильным акцентом, никогда, даже во времена далекой юности, не питала особых надежд на сей счет. Выжимая тяжелое и плотное одеяло раввина, потом – чуть потоньше – для Исаака, затем принадлежавшее Эстер, и наконец совсем тонкое для себя, Ривка изредка роняла два-три слова, и ее невнятное бормотание на диалекте тудеско казалось куда более выразительным и веским, нежели скупые фразы на португальском.

Иногда, занятая штопкой, Эстер прерывалась, чтобы послушать, как раввин наставляет своих учеников. *«Моше кибель тора м'синай…»* Эти слова она выучила с голоса ребе. Эстер была еще совсем маленькой, когда отец привел ребе в их дом в Амстердаме. Конечно, она знала его лицо и раньше: раввин Га-Коэн Мендес на краю мужского отделения синагоги, шепчущий молитвы, которые знал наизусть. Если другие раввины оказывались заняты или не хотели принимать учеников, тех отдавали Мендесу Самым маленьким он рассказывал сказки, приводившие детвору в восторг: про Даниила и

льва, Акиву и преданную ему жену, Бар-Кохба и юношей. Мальчикам постарше он поручал читать отрывки из Мишны Торы, а затем принимался выяснять их мнение по поводу прочитанного, пока одни не загорались азартом, а другие не начинали скучать. Некоторые из учеников, пользуясь слепотой Мендеса, вносили несколько легкомысленные изменения в читаемый текст или же пересмеивались, пока учитель что-то говорил. Эти шалости с праведным гневом обсуждались на женской стороне синагоги. Но Эстер слышала, как ее отец говорил, что другие раввины пользуются терпеливостью Га-Коэна Мендеса и подсылают к нему своих самых непослушных учеников. Но Мендес никогда не жаловался. Когда самый непокорный ученик во всей общине – сын Мигеля де Спинозы, – опираясь на собственное толкование основ учения, впал в ересь и был подвергнут остракизму, Га-Коэн Мендес велел отвести себя в синагогу, дабы вступиться за отверженного и смягчить суровость наказания; впрочем, заступничество его оказалось тщетным.

Теперь, слушая шум дождя, что хлестал по лондонским мостовым, она хотела, чтобы ребе Мендес замолвил и за нее словечко перед каким-нибудь судом. Но ради чего? Вся ее амстердамская жизнь ушла в прошлое. Тот стол, за которым она корпела над уроками ребе, превратился в пепел. Каждый текст, что она изучала вместе с ребе, казалось, возносил ее дух и направлял его далеко, за застойные каналы, окружавшие еврейский квартал, к какому-то яркому далекому горизонту. И страстное желание увидеть эти сверкающие дали кружило голову.

Теперь же Эстер прикасалась к книгам в самом прямом, низменном смысле этого слова. Богатая библиотека, которую они привезли с собой из Амстердама, требовала заботы, впрочем, как и все в доме: угольная сажа проникала даже за занавеску, защищавшую длинную полку с книгами. В первый раз, когда Эстер поручили протереть пыль с сокровищ раввина, она отдернула ткань и застыла от изумления, глядя на кожаные позолоченные переплеты. Подаренная амстердамской общиной библиотека представляла собой ряд дорогих томов, оставленных местными евреями. Но поразительнее всего были названия, вытесненные на корешках: *«Пиркей Авот», «Морех Невухим»* и, конечно же, *«Кетубим»*. Были и философские произведения. Рядом с «De la Fragilidad Humana»[9] Менассии бен-

Исраэля стоял том с сочинениями Аристотеля – как будто амстердамские евреи, подарившие такую книгу, полагали, что английские евреи превратились в сущих невежд и им теперь потребуется не только религиозное просвещение, но и обучение самим основам мысли.

Эстер осторожно сняла с полки несколько книг. Их фронтисписы, обрамленные каллиграфами, пестрели автографами амстердамских торговцев, заказавшими эти редкие издания для своих лондонских собратьев – Эстер был уверена, что они никогда не читали этих книг сами. Она открыла мягкий кожаный переплет и обнаружила произведение англичанина Фрэнсиса Бэкона, переведенное на испанский. «Ну вот какая польза от этого роскошного тома, – подумала она, – будет лондонскому еврею?» Не зависть ли заставила ее думать, что подарившие эти книги больше ценят красивый переплет, нежели слова, которые он облекает?

Но тут Ривка, которая увидела, что Эстер вместо того, чтобы вытирать пыль, стоит и мечтает, неодобрительно хмыкнула и отправила девушку выжимать белье.

Не прошло и двух месяцев с момента переезда в Лондон, как слабый огонек надежды, который Эстер привезла с собой, угас окончательно в этих сырых каменных комнатах. До приезда в Лондон Эстер и так-то особенно не выделялась формами, а здесь совсем ссохлась. Случалось иногда, что воздух перед ее глазами темнел, и Эстер приходилось садиться на пол, а стены и потолок буквально обрушивались на нее. Однажды, ожидая, когда пройдет приступ, она взглянула на заветную полку, тома на которой были для нее недосягаемы, как луна, и вдруг ей показалось, что пол, о который она опиралась руками, на самом деле – остров, на который она изгнана из мира, оторванная от всего, что любила. Эстер подумала: а не чувствовал ли того же мятежный де Спиноза? Не помрачился ли и его светлый ум от необходимости зарабатывать себе на жизнь тяжелым трудом? Неужели и его мысли, на что так надеялись раввины, смешались и потухли?

Вопросы глохли в тишине полутемной, освещенной колеблющимся светом комнаты.

Ночами, под звучный храп Ривки, Эстер тихо лежала под одеялом, пытаясь погрузиться в сладкий сон, которого жаждала теперь больше

всего на свете. «Смерть каждодневной жизни»[10]. «Пусть все кончится», – думала она. Если есть милость в этом мире, пусть на сегодня все кончится. От давних штудий остались лишь тени – она уже не могла вспомнить, почему так ценила их. Порой, когда она лежала так в темноте, в ее усталом уме возникала смутная мысль, и – она ничего не могла с собой поделать – Эстер держала ее нежно, как новорожденную, боясь, что та выскользнет из рук, лаская ее, пытаясь спасти от забвения. И все же в конце концов та ускользала – погашенная сном искра.

Сон, похороненный в ночи, как семя света во тьме: рука отца похлопывает по полированному деревянному столу раз, другой. Защищенность, безопасность. Все в прошлом.

Раввин обратил лицо к пылающему огню.

– Раз твой брат решил не возвращаться, прошу тебя побыть моим писцом сегодня.

Она встала и неуверенно подошла к письменному столу, присела на деревянный стул и, помедлив, взяла гусиное перо из горшочка.

Забытое ощущение гладкого стержня, перекатывающегося между пальцами. Сколько лет она не брала перо в руки? Два или больше?

– Начинай письмо в Амстердам, – тихо проговорил раввин. – Шестое кислева.

Эстер взглянула на лежащий перед ней лист бумаги и неуклюжей рукой написала:

6 кислева 5418 года
С помощью Божией

– Досточтимому Самуилу Мозесу, – продолжал раввин.

Она обмакнула перо в чернила и записала. Блестящие черно-синие буквы сгрудились на толстой бумаге.

– Мы с великой благодарностью получили посланные вами два тома. Число учеников наших, с помощью Божией, растет, хоть и медленно.

Эстер снова обмакнула перо и, заторопившись, опрокинула чернильницу. По бумаге растеклась матовая лужица.

Тишину нарушал только треск огня в очаге.

– Что случилось? – спросил раввин.

– Чернильница, – прошептала она.

Он кивнул, а потом склонил голову, так что борода коснулась груди. Эстер не сразу поняла, что он ждет, пока она вытрет пятно и начнет сызнова.

Она взглянула на свою руку. Струйки чернил растеклись по складкам кожи между пальцами, образовав тонкую сетку, напоминающую карту разрушенного города. Неужели раввин не понимает, что способной ученицы, с которой он занимался в доме ее отца, уже нет? Или своими выжженными глазами, затянутыми гладкой бледной кожей, он видит ее все такой же, как тогда?

О, конечно, он попросил ее писать вовсе не потому, что считал достойной. Скорее у него просто не было выбора.

Она встала из-за стола.

– Исаак вернется, – сказала она раввину, стараясь скрыть горечь в голосе. – Он напишет вам письма.

– Твой брат не вернется, – тихо произнес ребе. – Он никогда не питал склонности к чернилам и бумаге. А уж теперь…

Он слегка двинул кончиками пальцев: после того, как случился пожар… Теперь, когда Исаак проклял сам себя… Наступила звенящая тишина.

– Я взял Исаака с собой в надежде, что у него будет новая жизнь, – продолжал раввин, – жизнь, свободная от того, что мучило его в Амстердаме. Ибо милость Всевышнего может освободить нас, – он сделал паузу, словно собираясь с силами, чтобы продолжить, – от любых уз рабства. И вернуть зрение слепым.

Мысли Эстер беспокойно заметались. Как может он так говорить? Неужели его вера настолько сильна, что он чувствует, будто ему вернули зрение? У нее лично не было такой веры. Даже в детстве, когда она слушала пение молитв в синагоге, утешение было ей недоступно. Но все же Эстер почти верила словам Га-Коэна Мендеса, ибо как иначе ему удавалось с такой стойкостью переносить слепоту – не иначе как он обладал неким внутренним зрением, вселяющим надежду на будущее утешение.

Ребе Мендес сидел сомкнув пальцы.

– Исаак не желает принимать то, что я способен предложить ему. И я должен препоручить его заботам Всемогущего. Однако, Эстер, мне сомнительно, что он примет Его заботу.

Раввин повернулся к девушке и добавил:

– Твой брат отдает себя на милость более грубых сил.

И это была истина. Исаак никогда больше не вернется.

– Пиши, – сказал ей ребе. – Я прошу.

Она не шелохнулась. Ей было стыдно своей неуклюжести.

– Я диктовал слишком быстро, – сказал ребе, – и заставил тебя торопиться. Ты не виновата, что разлила чернила.

Испачканной рукой Эстер поставила на место опрокинутую чернильницу, протерла тряпкой стол и взяла чистый лист. Затем она обмакнула перо в оставшиеся на донышке чернила.

– Ученому Якобу де Соузе, – продиктовал ей ребе.

Она записала.

> Я тронут вашей заботой о моем здоровье, коей я не заслуживаю. В моем доме за мною хорошо ухаживают, и я пока что остаюсь здравым и духом, и телом.

Эстер дописала строчку и остановилась в ожидании. Сложенные высоким штабелем дрова отбрасывали четкую тень на стену, волнами накатывало тепло. Даже сидя далеко от очага, Эстер чувствовала его жар. У ее ног под искусно отделанным письменным столом стояла, готовая к растопке, небольшая жаровня для просушки написанных страниц. Племянник раввина хоть и не проявлял интереса к учению своего дяди, не пожалел денег, чтобы превратить это сырое жилище в удобный дом для научного труда.

Эстер вдруг почувствовала, как внутри нее что-то вспыхнуло. Письменный стол превратился в бескрайнее пространство, плато, где еще оставался хот какой-то шанс на свободу. Аккуратная стопка бумаги, стеклянный стакан с перьями, перочинный нож. Палочка красного сургуча. Гладкая текстура деревянной столешницы. Эстер почувствовала, как тело ее наполняется теплом, как молодеет ее увядшая было кожа.

Раввин снова стал диктовать, обратив к ней свои незрячие глаза. Слова, что он произносил, текли через руку Эстер, оставляя на странице четкий черный след.

Ваша озабоченность моим положением – еще одно свидетельство щедрости вашей души. И тем не менее, Якоб, я призываю вас не волноваться обо мне и посвятить себя тем, кто находится в еще большей нужде.

Дошедшие до вас слухи верны – местная община равнодушна к учению. Однако это не поколебало во мне веру в истинности моих трудов. Я понимаю вашу печаль. Говорят, что Менассия бен-Исраэль встретил полное равнодушие со стороны общины. Но мне кажется, что это, скорее всего, страх. Когда я сижу рядом с ними в синагоге, то слышу, как шуршат их руки по ткани расстеленных на скамьях плащей. Они судорожно цепляются за свою одежду, словно боясь потерять ее, если вдруг нужно будет срочно уходить. Я слышу, как они напрягаются каждый раз, когда открывается дверь синагоги: кто-то вошел или вышел, а они испуганно поворачивают головы на шум и только потом снова приступают к святым молитвам. Я говорю это без упрека, в надежде, что мои слова смогут помочь им. Ведь так легко говорить о славе мучеников, находясь в безопасности в Амстердаме. Те раввины, которые так поступают, как я смиренно полагаю, узнали об ужасах инквизиции издалека и не видели все своими глазами. Возможно, они и сами не понимают истинной природы того, о чем говорят. Они утверждают, что должно ненавидеть тех, кто припал к христианской церкви, должно проклинать тех, кто вместо костра выбрал спокойную ночь в своей постели.

Всевышний создал человека по Своему образу. Он создал не только нашу стойкость и нечасто встречающуюся мудрость, но также и наш страх. Да, человек не желает быть гонимым, и это нежелание тоже есть дело рук Б-жьих. Некоторые могут не согласиться со мной. Тогда им проще было бы служить в иной общине, там, где евреи не так запуганы. Я же посвящу свои заботы моей пастве, пусть здесь и не хотят меня понимать. Ибо отвергающий лекарство больной нуждается в ней не меньше, чем тот, кто охотно принимает его.

Перед ее глазами на бумаге тускло поблескивали последние слова ребе.

Тот вздохнул и сказал:

– Скопируй его для меня и подпиши.

Эстер взяла из стопки новый лист и начала переписывать. Ее плоть пронизывал холод от дождя за окном. Водя пером по бумаге, она чувствовала, как работа поднимает ее ввысь из усталого тела и она может видеть самое себя со стороны, откуда-то из-под низкого потолка: девушка, склонившаяся над письменным столом. Молодая женщина пишет, сидя на стуле, на котором должен был сидеть ее брат.

Медленно и уверенно ее рука повторила движение по странице.

Раз, еще раз, и еще.

«Исаак».

Он был уже на пороге зрелости, но его щеки все еще оставались нежными. Однажды он на ночь глядя куда-то собрался и решил захватить с собой сестру, для чего кидал камешки в окно ее спальни. Эстер встала, нащупала ногами туфли и спустилась по лестнице на свет фонаря, что держал в руке Исаак. Огромный почерневший фонарь, явно позаимствованный из какой-нибудь незапертой кладовой, светил неровным светом, отчего тени то сжимались, то резко увеличивались. В неверных сполохах огня вырисовывались и гасли лиссабонские гобелены – мрачные мифологические сцены, расшитые золотыми нитями. Яркие и темные изображения материализовывались, разбегаясь по стенам. В полумраке Исаак казался то старше, то моложе, почти мальчиком с лихорадочно пылавшим лицом… чужаком в этом мире красного дерева и серебряной посуды.

А потом он снова превратился в ее брата и нетерпеливо показал рукой на улицу.

– Ты не простишь себе, если не увидишь этого, – произнес он. – Это на дальнем причале, но если мы побежим, то успеем застать. Там разбились три бочки с рыбой, и птицы… Эстер, ты просто должна это видеть – десять тысяч крыльев, как…

Но она никогда так этого и не увидела. То ли Исаак споткнулся о дверной порог, то ли фонарь был слишком тяжел, то ли его ручка сильно нагрелась, – какова бы ни была причина, пламя беззвучно

вырвалось наружу, сверкающим золотом скользнуло по металлической кромке, лизнуло оконную занавеску и тотчас же устремилось вверх. Прежде, чем Эстер сделала еще один шаг, дверь оказалась объятой огнем. Гобелен превратился в ревущую сцену из черных корчащихся фигур.

И вот Гритген толкает ее в спину и кричит: «На улицу, на улицу, быстро, дети, naar buiten!»[11] Уже будучи в шаге от выхода, Эстер мельком заметила отца, спускавшегося по лестнице. На полпути он остановился и, охваченный пламенем, бросился обратно в спальню их матери.

Потом Эстер оказалась на улице, и ночной воздух холодил ее лицо. В темноте, освещенные огнем, суетились соседи, поливая водой стены дома. Но это было совершенно бесполезно: вода стекала по кирпичу, а внутри дома полыхали ткани и дерево. На мокрых от впустую вылитой воды камнях мостовой отражались блики света. Потом загорелся верх кровли – сначала словно маленькая звездочка в ночи, затем ярче, ярче, и вот огонь взметнулся в небо.

Раздался одинокий истошный крик. Эстер так и не узнала чей.

Брат ушел до того, как крыша обрушилась. Уже на рассвете его нашли спящим на палубе корабля, который должен был утром отдать швартовы. Перепачканного копотью Исаака отвел в синагогу корабельный штурман. Он оглядел собравшихся в изодранной одежде иудеев, распевавших поминальные молитвы, потер свой массивный серебряный крест на шее и, подтолкнув вперед Исаака, застенчиво и печально молвил: «Этот парень еще слишком мал, чтобы отдать свое беспокойное сердце морю».

Но теперь он вырос.

– Я хочу, чтобы ты записывала за мной каждый день, – раздался голос Га-Коэна Мендеса. – Скажи, пожалуйста, Ривке, чтобы нашла другую девушку для работы по дому.

Эстер никак не удавалось сформулировать ответ. Она только рассматривала чернильные пятна, оставшиеся у нее на пальцах. На мгновение она услышала голос Исаака: «Смотри, ты благодаришь брата за свою удачу! Если бы ты хотя бы на мгновение вышла из своих закрытых покоев, Эсти, то полюбила бы свежий ветер больше, чем книги».

Она склонила голову и прочитала молитву, в силу которой не верила: «Да будет угодно Всевышнему направить стопы Исаака в безопасное место!» И пока она сидела в его кресле, где-то в Лондоне в этот момент Исаак торговался о цене за собственную смерть.

Несколько дней, неделя, две недели – больше и не потребовалось. В день стирки Ривка трудилась за двоих, так как сочла излишним тратить деньги на наем новой служанки. Она встала до рассвета и все утро провела, склонившись над бельевыми корзинами, отжимая белье покрасневшими руками. В полдень Эстер ненадолго оставила свое рабочее место, чтобы помочь отнести тяжелые корзины с бельем на чердак. Затем Ривка вышла в промозглую уличную хмарь, чтобы купить новую бельевую веревку. А Эстер трудилась над страницей *«Пиркей Авот»,* читала и по просьбе ребе перечитывала, подчеркивая последнюю редакцию текста, которую по желанию учителя она должна была переписать и отправить его ученику в Амстердам. В этот момент дверь тихонько отворилась и тут же закрылась за спиной Ривки.

Она стояла перед Эстер, не снимая накидки, лицом к лицу, руки в боки. Обычно, разговаривая с девушкой, она была уклончива, но сейчас ее глаза мерцали, будто кто-то отодвинул крышку колодца.

Эстер встала со стула.

– Я ходила искать его туда, где он работал. – Маленькие карие глазки Ривки сделались злыми, словно ее саму раздражали собственные слова. – В доки.

– Исаак? – прошептала Эстер.

– Один из рабочих попытался рассказать мне, как это произошло, но он не знал многих слов. А по-английски… – Ривка помотала головой, словно мул, которого терзает муха. – Может быть, два дня назад. Тот мужчина сказал мне, что это был кто-то, кого Исаак… – Ривка знаком показала: разозлил. – Он сказал мне, что на Исаака напали сзади и ударили ножом. Он не мог видеть, как они подобрались к нему.

Тишина. На мгновение рука Ривки потянулась к плечу Эстер, но та вздрогнула, и рука опустилась, как бы в знак согласия с мыслью, что ни та, ни другая не вынесли бы сейчас утешения.

– Где? – тихо спросила Эстер.

Лицо Ривки сморщилось:

– Его бросили в реку.

Она повернулась и прошла на кухню, прикрыв за собой дверь. Мгновение спустя Эстер услышала душераздирающий крик, а потом – тихое пение.

– Эстер, – произнес ребе.

Но она не могла даже рта раскрыть. Эстер переполняли странные ощущения. В ушах стояла звенящая тишина, а тело словно превратилось в холодный камень. Ей нужно было что-то, что бы согрело ее. Ей было нужно, чтобы голова Исаака прикасалась к ее подбородку. В ее воображении смешались образы: мальчишеское тело, его мрачный взгляд на лондонское небо, когда он предсказывал свою смерть. Он мечтал спасти кого-нибудь. А теперь он ушел, так ничего и не искупив.

Эстер обернулась на тихий голос. Раввин сидел у камина, обхватив свою впалую грудь, а его голова покачивалась из стороны в сторону. Губы его шевелились в молитве.

– Бог утешает вас сейчас? – тихо спросила она.

Эстер полагала, что задает вопрос. Но когда ее голос раздался в тишине комнаты, ей стало понятно, что ее слова прозвучали как обвинение. Ей тотчас же захотелось извиниться, но она позволила этому чувству раствориться в своей душе.

Наступило долгое молчание.

– А тебя? – мягко спросил раввин. – Хотя может пройти ужасно долгое время, прежде чем мы почувствуем Его утешение.

У камина и на кухне раздавались молитва и плач. Эстер представила, как к ней приходит горе. Словно отпускала веревку, за которую держалась. Поддаться своему горю, упасть к чьим-то ногам, молить о пощаде? Но для этого нужна была вера. Вера в то, что в мире существует милосердие.

Эстер было девятнадцать, и она не могла заставить свой разум поверить в утешение, которым легко пользовались другие люди. Огонь сделал их обоих – ее и брата – чрезвычайно хрупкими. И если она сейчас согнется, то сломается окончательно.

Эстер вытерла слезы тыльной стороной ладони. Отныне для нее не осталось последней путеводной звезды, каковою являлся Исаак. Ею овладело какое-то безумие, безумие слов, и если бы только Исаак был

с ней, она доверила бы ему все, каждую свою мысль, каждую неясность, каждую тайну… кроме одной, которую она хранила от него все эти годы, потому что это ранило бы его.

Но вместо этого в голове у нее прозвучал сдавленный голос брата: «Мужчина приходит в этот мир, чтобы выполнить лишь одно предназначение».

Какое же предназначение у нее, Эстер? Отец, мать, брат мертвы. Она поднялась со стула, на котором сидела, – стула Исаака. На нее нахлынула ужасающая, веющая горем свобода, и она приняла ее.

У Эстер оставалось одно только желание: быть рядом с этими книгами. Слышать тонкий шорох пера по бумаге. Найти среди этих утешений тонкую нить, которая некогда принадлежала ей, и следовать за ней к неведомому месту назначения.

Она взяла перо и окунула его в чернильницу. Неприятная мысль пришла ей в голову – эти чернила куплены кровью. Это была цена ее свободы.

Медленно, не спеша, она начала переписывать толкование раввина. Услыхав шуршание пера, ребе повернул к ней напряженное, сосредоточенное лицо.

Эстер тщательно выводила португальские и арамейские слова. Это заняло довольно много времени. Наконец, когда на кухне стихли стенания и молитвы Ривки и в доме воцарилась тишина, Эстер смогла закончить работу.

Она поставила свою подпись и смотрела, как чернила впитываются в бумагу.

«Алеф».

Глава девятая

Лондон

4 ноября 2000 года

Аарон обещал, что не будет делать этого, но все же сделал. Он стал у высокого окна, и его плечо уперлось в нижние стекла. Снаружи седым пеплом вздымались снежные хлопья.

Развернув свой ноутбук так, чтобы Хелен Уотт не могла видеть экран, он проверил перевод двух португальских слов в онлайнсправочнике, потом отключил звук на компьютере и открыл электронную почту. Одним из свежих сообщений было письмо от Марисы, озаглавленное «Профессор».

> Профессор Леви!
>
> Благодарю вас за лекцию, мне так не хватало трехчасовых семинаров в колледже.
>
> Но если серьезно, то я рада, что ты такой напыщенный сукин сын. Я узнала кое-что новое, причем куда больше, чем вынесла из других дискуссий за последнее время. Я застряла тут по программе «Ульпан»[12] в компании двух травокуров и праворадикального фанатика. И с этими людьми мне приходится делить комнату! Поэтому я почти не общаюсь с нормальными израильтянами, и единственное, что меня еще спасает, – «Ульпан» постоянно надирает мне задницу. Ведь для чего меня занесло сюда: я хочу научиться бегло говорить на иврите, пусть даже ценой собственного рассудка. А так жизнь в кибуце довольно монотонна для городской девушки. Конечно, ветерок в вечернем саду – это прекрасно, но запах коровника убивает все очарование. Есть тут у нас методист, который искренне считает, что иностранные студенты – отличная возможность для него поиграть в сержанта-инструктора. То ему не нравится, что нас не было на занятии,

то он целых пять минут читает мне рацею, что вместо того, чтобы убирать камни с поля, я курю сигарету. Он считал меня эдакой американской рохлей и был несколько поражен, когда, обругав меня по-венгерски, получил в ответ то же самое. Бедняга, откуда ж ему знать, что бабушка научила меня выражениям вроде «завальцуй себе яйца»? Никто ничего не понял, а он рассмеялся и сегодня утром угостил меня сигаретой и сказал, что я точно преуспею в этой стране.

Работа преподавателя ESL[13], что я нашла в Тель-Авиве, начнется лишь к весне, так что мне остается только изучать тесты по грамматике, да и полевые работы никто не отменял. А это совсем другое дело, не то что у вас, профессоров.

Держи, пожалуйста, меня в курсе твоих дел. Что там с найденными бумагами? Как твоя Снежная Королева? Надеюсь, в этих текстах будет достаточно сюрпризов, чтобы утереть ей нос. И достаточно, чтобы порадовать Аарона Леви. И это хорошо.

Мариса

Черные остриженные волосы. Длинные линии мышц на спине. Единственный день, когда они были вдвоем.

Каждый понедельник и среду во второй половине дня она сидела напротив него. Стояла промозглая весенняя лондонская погода. Четырнадцать недель продвинутого курса классического иврита – к этому Аарон относился чрезвычайно серьезно. Он стоял, прислонившись к стене, и, чуть приподняв руку, задавал вопросы об архаичных конструкциях глаголов. Профессор и двое аспирантов удовлетворенно кивали, а студенты выглядели совершенно обескураженными. Одну лишь Марису его реплики веселили, хотя Аарон не вполне понимал почему.

В середине семестра она как-то после занятий подошла к профессору Лудману. Аарон задержался на своем месте, чтобы послушать, о чем пойдет разговор. Насколько ему удалось понять, Мариса просила дать ей другое, более подходящее для нее задание. Она прилетела в Лондон из США всего на несколько месяцев, а потом собиралась перебраться в Израиль. На оценки, как заявила она

Лудману, ей было наплевать, так как нынешнюю стипендию для обучения в Лондоне она получила еще до того, как решила ехать в Израиль. Так что теперь ей нужно перестроить свой курс обучения, так как ей нужен живой, современный иврит, а не архаика. Аарон, с трудом сдерживаясь от смеха, ждал, когда Лудман сухим голосом предложит ей поискать что-нибудь подходящее в интернете.

Но вместо этого профессор Анатолий Лудман, ученый средних лет, известный своей строгостью, по-отечески улыбнулся, как бы говоря, что ему понравилось мужество Марисы. А затем предложил ей взять у него материалы по современному ивриту на следующем занятии, что окончательно добило Аарона.

На следующий день Аарон вышел из аудитории вместе с Марисой.

– Ты едешь по студенческой программе? – спросил он, когда они свернули в коридор.

Она остановилась и довольно долго с веселой улыбкой разглядывала Аарона.

– В Израиль, я имею в виду, – приподнял бровь Аарон. – Ясно, что это будет не автобусный тур «Знакомство с Израилем».

Шутка явно не удалась – впрочем, и сам Аарон точно не понимал, в чем она должна была заключаться.

Мариса посмотрела на него своими серо-зелеными глазами и рассмеялась, показав, что прекрасно понимает, в чем тут шутка, хотя совсем не в том смысле, что подумал Аарон.

– Нет, – сказала она. – Это не автобусный тур.

После чего развернулась и ушла.

Той же весной, во время поминальной молитвы в память жертв холокоста он увидел ее среди студентов, что собрались у библиотеки. Аарон сделал вид, что не смотрит на нее… хотя как он мог не наблюдать за Марисой, которая стояла в окружении студентов? Даже неподвижная, словно статуя, она все равно излучала решимость. Слишком уж она выделялась среди молчаливых и благоговеющих однокурсников, напоминая ожидающий искры запал. Ее появление перед собравшимися, а тем более краткая беседа с ребятами из Еврейского общества совсем сбили Аарона с толку. Мариса совсем не была похожа на девушку, которая могла бы запросто общаться с этими энергичными и чересчур серьезными парнями. И только увидев ее на

ступенях в окружении хмурых студенческих лидеров, со свечой в руке, произносящей имена своих родственников, Аарон вдруг понял, что Мариса – внучка тех людей, которые пережили Катастрофу. Он совсем упустил это из виду, возможно, потому, что Мариса не была похожа на тех, кого он встречал в своем колледже «Гилель» или же на мероприятиях в синагоге отца. Обычно это были очень скромные приличные девушки, носившие имена погибших двоюродных сестер и тетушек, чей прах был развеян по всей Европе; круглые отличницы, которые наизусть знали историю своей семьи, вплоть до малейших деталей. Аарон ничего против них не имел, но не имел и никакого желания с ними общаться.

Он смотрел не отрываясь, как Мариса зажгла свечу, а потом взглянула поверх голов собравшихся, словно хотела отдать дань уважения погибшим в полном одиночестве.

Как-то раз сентябрьским вечером, все еще придавленный безрадостным душным летом, Аарон вышел из библиотеки и сразу нырнул в здание художественной школы, намереваясь побаловать себя бесплатным ужином на приеме после лекции – своего рода аспирантская десятина от академии и пропитание на последующие несколько часов. Мысль о вечернем противостоянии с равнодушным Шекспиром вызвала спазм в животе. Он ухватился за перила и стал взбираться вверх по лестнице, смутно надеясь встретить Марису, которую уже дважды замечал в кафе с двумя студентами-искусствоведами. Но на лестничной клетке было пусто.

На площадке второго этажа он, как обычно, повернул налево и тут же резко остановился, скрипнув подошвами ботинок по линолеуму. Через полуоткрытую дверь класса рисования он увидел то, что сначала показалось ему обманом зрения. Тем не менее он подошел к двери и отворил ее полностью. Перед ним стояло изображение обнаженной Марисы. Ее персиково-белая кожа на фоне черной драпировки, все плоскости тела, маленькие твердые груди с сосками цвета меда, казалось, дышали самой жизнью. Фигура выглядела статичной, но из-под ее приподнятых бровей на него смотрел насмешливый взгляд, как бы говорящий: «Да, ты!»

За мольбертом виднелась раскладушка, на которой Мариса, вероятно, и позировала. Через подлокотник стоявшего рядом раскладного стула была перекинута бархатная драпировка.

От резкого запаха сохнущих красок у него закружилась голова. Аарон вдохнул этот запах во всю мощь легких.

Картина была подписана. Родни Келлер – Аарон знал этого талантливого аспиранта факультета изобразительных искусств. Прошлой весной состоялась выставка студентов-искусствоведов (еще одна возможность поесть на дармовщинку), и Аарон мог насладиться работами Родни. Большую часть составляли портреты – люди более яркие, чем в жизни, цвета резкие, контрастные, а взгляды такие пронзительные и прямые, что создавалось впечатление, будто модель смотрит прямо в объектив камеры. Аарон поймал себя на том, что невольно отступил назад… Однако эта картина была другой. Родни отринул свою манеру преувеличивать черты модели и изобразил Марису такой, какая она и была на самом деле, подчеркнув лишь прямолинейную откровенность ее красоты.

В ошеломлении и восторге Аарон стоял перед мольбертом, как вдруг его кольнула нехорошая мысль: а уж не спит ли Мариса с Родни? Или Родни гей? Во всяком случае, Аарон подозревал в нем гомосексуальные наклонности, хотя ручаться было трудно.

Он вышел из студии.

Месяц спустя Аарон встретил Марису после выступления одного израильского журналиста, прочитавшего лекцию на тему: «Наш взгляд: с точки зрения Израиля». Эта встреча была вовсе не случайной, так как Анатолий Лудман объявил об этой лекции еще в конце прошлого семестра, и Аарон видел, как Мариса тщательно записывает дату и время. Он даже слышал, как она сказала кому-то из одногруппников, что улетает в Израиль всего через несколько дней после этого.

Довольно-таки нудная лекция состоялась при почти пустом зале, и Аарону показалось, что Еврейское общество намеренно замалчивало ее, чтобы избежать протестов и скандала, которые бы непременно вызвали тезисы израильтянина. Однако даже эта небольшая аудитория буквально осадила журналиста вопросами и не отступала, пока в помещении не осталась лишь небольшая кучка особо заинтересованных и сам лектор. Отвлекшись, Аарон почувствовал рядом с собой Марису. И точно, она стояла неподалеку, отделенная от него сначала тремя, а потом двумя студентами. Наконец, после прозрачного намека дородного профессора (Аарон был знаком с ним

по кафедре классических дисциплин), все потянулись к выходу, миновав одинокого протестующего, державшего в руках табличку «Сионисты = нацисты», и отправились в ближайший паб.

Аарон подождал, пока Мариса допьет вторую кружку. Он следил за ней на расстоянии, болтая с какой-то студенткой, имя которой даже не удосужился запомнить. И вот когда он подошел к ней, небрежно покачивая своим стаканом, Мариса ухмыльнулась ему прямо в лицо.

– А я все время наблюдала за тобой, – сказала она прежде, чем он успел поздороваться. – Ты не так прост, как кажется с первого взгляда!

Он удивленно улыбнулся в ответ на ее слова, и день вдруг сделался легким, почти невесомым.

– Да ты что? – Аарон облокотился на стойку и поднял свой стакан. – И что это значит?

– А это значит, что ты выглядишь как надутый индюк!

Аарон отхлебнул из кружки. От Марисы вовсю несло пивом.

– Так и что же ты разглядела?

– Я вижу, что в тебе есть нечто большее.

На мгновение ему показалось, что Мариса говорит совершенно серьезно.

Сквозь ее футболку проступали очертания грудей.

– И что же? – спросил он, с удовлетворением отметив, что голос его звучит одновременно вежливо и непринужденно.

Мариса подалась вперед и легонько пошлепала его по щеке:

– Рассказать тебе о тебе? Нет уж, избавь.

Аарон почувствовал, что краснеет, но быстро овладел собой:

– Тогда расскажи мне про Израиль. И не уходи на этот раз.

Мариса отпила из кружки, потом еще и, видимо смягчившись, объяснила, что собирается провести несколько месяцев в кибуце, чтобы пройти языковой интенсив, а заодно заняться волонтерской работой. Это поможет ей стать новым гражданином Израиля – ей надоела еврейская культура в Америке, да и сама Америка тоже, и, кстати, и от Англии она не в восторге. Все это она высказала Аарону даже с некоторым вызовом, который явно читался на ее лице.

– Я хочу быть с людьми, которые знают, что именно им дорого, и не боятся говорить об этом.

На этот раз Аарон постарался держать рот на замке. Он не стал доказывать ей, что и сам знает, что именно ему дорого. Просто не мог… Если бы он открыл рот, то, скорее всего, признался бы, что все, о чем он в данный момент думает, – не выставлять себя дураком больше, чем уже сделал; не видеть, как она – последний проблеск ее образа в его воспоминаниях – идет через двор к выходу мимо протестующего, который к тому времени уже упаковывал свой плакат… Он попросил ее: «Расскажи еще» – и сам испугался, что сморозил пошлость. И она стала говорить, а он слушал или, во всяком случае, пытался слушать. А Мариса сыпала колкими, провокационными вопросами, и Аарон отвечал ей крайне осторожно, словно его подключили к детектору лжи. Он как будто чувствовал, что излишняя развязность, вольность с его стороны может раз и навсегда положить конец общению.

Через час они были уже в ее комнате, и их тела сплетались на скомканных простынях.

Аарон уже не мог точно определить, что изменилось в мире. Он обвел взглядом ее тело, затем свое, и в его груди что-то кольнуло. Определенно, комната теперь выглядела совсем по-новому. Пол все еще был усеян разбросанными вещами, которые Мариса не успела рассовать по чемоданам. Свет, лившийся из оконца над кроватью, словно сливался с сиянием ее кожи, шелестом простыней и ярким миром, который заставлял учащенно колотиться сердце, и все превращалось в невыразимо драгоценную субстанцию из их тел, и слова, что приходили Аарону на ум, – «святое» и «священное» – относились к тем вещам и явлениям, в которые он сам не верил.

Литые икры Марисы лежали поверх голеней Аарона, сама она прислонилась спиной к стене, и Аарон не выдержал и признался:

– Знаешь, я видел твой портрет.

Мариса рассмеялась. Ее лицо было обращено к потолку, так что Аарон мог видеть ее лишь в профиль.

– Возбуждает? – спросила она. – Во всяком случае, люди так говорят.

Он не рискнул ответить и вместо слов загадочно улыбнулся. Мариса продолжала смотреть в потолок.

Люди… Их много?

– Родни – мужик, – произнесла Мариса.

Затем она зевнула, брыкнула ногами и, качнув своим подтянутым телом, спрыгнула с кровати и прошла в ванную.

Мужик. Аарон чуть не рассмеялся от нелепости такого выражения, которое в устах Марисы могло означать все что угодно. Интересно, а слово «люди» подразумевало под собой женщин? Возможно, что да, хотя тут все было возможно. Или же она имела в виду потерявших голову дурачков, вроде него самого… эти ребята, наверное, думали, что случилось бог весть что такое, что земля сдвинулась с места, а для Марисы такое было в порядке вещей – она явно не очень-то смущалась после того, что недавно произошло на этой освещенной золотистым светом смятой постели. Или же, быть может, она имела в виду тех, чьи диссертации мало чего стоили, у которых не спирало дыхание, когда они стояли перед ней обнаженными, – короче говоря, которые не испытывали неловкости (возможно ли такое?) в присутствии Марисы.

Она вернулась, неся два стакана с водой из-под крана.

Как так получалось, что ни в одном ее жесте не было ни малейшего намека на подчинение? Она, обнаженная, принесла ему воду после любовных утех, а просителем был все равно он, и только он.

Перед тем как Аарон ушел, Мариса поставила свой стакан на пол и взяла его пальцами за подбородок.

Он встретил ее взгляд, стараясь не моргнуть.

– Когда я в кого-нибудь влюбляюсь, – сказала Мариса, – то влюбляюсь до конца и немедленно.

В ее взгляде не было даже намека на нежность, но Марису не интересовали чувства Аарона. Она смотрела на него с прямотой человека, который производит какие-то внутренние, личные расчеты, на каковые он никоим образом не мог повлиять.

Аарон упорно не отводил от нее взгляда.

– Но вот в твоем случае я не уверена.

Мариса разжала пальцы, но продолжала смотреть ему в глаза.

– Есть в тебе что-то, и я не понимаю, что это такое.

Прошло несколько секунд. И тут выражение ее лица смягчилось, и Мариса одарила Аарона такой очаровательной улыбкой, что у того заныло в груди.

– А мне не нравится, когда я что-то не понимаю, – добавила Мариса.

И вот теперь он сидел за столом перед белеющим в неверном зимнем свете монитором. Аарон взглянул на тему письма – оказывается, Мариса написала его всего одиннадцать минут назад. По израильскому времени это был ранний вечер, и если поторопиться, то можно получить от нее ответ.

«Спасибо за ответ, – напечатал Аарон. – Мне приятно, что моя лекция пришлась тебе по душе…»

В его памяти вновь воскресли вкус пива, запахи слабоосвещенного бара, ощущение ее ладони на своей щеке. С поразительной точностью он вспомнил обрывки их тогдашнего разговора. Вот Мариса, засунув ноги в сандалиях за перекладину высокой барной табуретки, сидит перед ним, а он стоит рядом с пивом в руке. И тут внезапно что-то изменилось в окружающей действительности – нет, точно это было! Сейчас Аарон был уверен, что вспомнил тот момент. Это произошло как раз перед тем, как Мариса взяла его за руку и повлекла из паба к себе с комнату. Там был какой-то незаметный переход, что-то вроде истории про Марисиного братагея, которую она же сама и рассказала, а потом еще и смеялась… но теперь Аарону было не до того, чтобы вспоминать подробности, ибо стрела памяти уже унесла его далеко, причем туда, куда он и стремился. Отчего же он раньше не вспоминал о той части их разговора? Вот Мариса пренебрежительным тоном рассуждает об американских евреях, а Аарон интересуется, что ж такого она имеет против тех, к чьему племени принадлежит сама? Мариса посмотрела на него, нахмурив лоб, а потом, видимо, решила, что ему стоит дать шанс.

– Только без обид, – заговорщицки прошептала она.

Затем он почувствовал тепло ее руки на своем предплечье.

– Американские евреи наивны, – пояснила Мариса. – Им вовсе не нужна память, не нужна история – ведь это так неприятно! Они просто хотят, чтобы их любили. У них просто бзик на этом.

Она откинулась назад и убрала свою руку, оставив лишь воспоминание о прикосновении.

– Американские евреи слишком падки на внимание, – продолжала Мариса. – Им важно, чтобы их любили просто так.

Аарон было усмехнулся такой пьяной откровенности, но Мариса прищурила глаза, как будто не видела тут ничего смешного.

– Я говорю серьезно, – сказала она. – Пусть в Израиле я и прослыву левачкой, но зато буду общаться и спорить с людьми, которые живут в реальном мире, а не в стерильной пробирке!

Мариса была внучкой людей, которые пережили Катастрофу. И ее злые, исполненные ярости слова о памяти показались Аарону ключом к чему-то важному, к тому, что могло бы их объединить.

Он набрал фразу:

> Я много думаю об этом. Если бы могли смотреть на действительность через призму истории, то и жили бы теперь по-другому. Правильно.
>
> *А…*

Он щелкнул по клавише «Отправить». Чтобы Хелен не бухтела на него, Аарон сделал вид, будто просматривает варианты перевода португальских архаизмов, искоса посматривая на экран.

Прошло три, четыре, пять минут.

Наконец экран моргнул. Ответ от Марисы. Аарон открыл письмо. Всего одна строка.

> Если бы я смотрела на мир через призму истории, то вряд ли бы захотела жить.

Хелен Уотт что-то сказала Аарону, но тот, вскинув взгляд от монитора, ничего не понял.

– В третий раз повторяю: Алеф – женщина.

Голос Хелен едва слышно звенел от сдерживаемого гнева.

Аарон выпучил глаза.

– Наверное, вы просто не понимаете, насколько важен и интересен этот факт.

– Понимаю, – не сказал, а как-то странно пискнул Аарон.

Хелен покачала головой:

– Девушки в те времена не имели возможности получить такое образование, чтобы стать писцом. Должно быть, она оказалась в довольно необычной ситуации…

– И вы можете это доказать?

Хелен поджала губы и указала на подпись.

Аарон натянул на пальцы осточертевшие перчатки и придвинул к себе рукопись. Прочитав, он осторожно передал ее обратно.

– Да, любопытно.

Он понимал, что не стоит так резко реагировать на слова Хелен, но в тот момент ему было все равно.

– Вполне возможно, ее выдали замуж через неделю. Из Амстердама, как и было обещано, прислали какого-нибудь юношу, чтобы тот мог записывать за раввином. Я сомневаюсь, что мы сможем тут что-нибудь выяснить.

Хелен скривилась, но ничего не ответила.

Аарон снова уткнулся в свой компьютер. В его мозгу вихрем проносились доводы, извинения и оправдания. Ему не терпелось открыть электронную почту и объясниться с Марисой. Но вместо этого он открыл файл, над которым должен был работать. Да, надо заняться делом. А уж потом, когда приведет мысли в порядок, можно будет придумать ответ Марисе.

Ругая последними словами проклятые перчатки, Аарон порылся в стопке бумаг и извлек оттуда лист с проповедью Га-Коэна Мендеса. Орфография, даже для семнадцатого века, хромала на обе ноги – скорее всего, писец был либо необразован, либо нетвердо владел английским языком. «Пользуйся словарем, Алеф», – пробормотал Аарон, хотя и сам понимал, что хочет слишком многого – в те времена словари были большой редкостью. Механически он стал сравнивать английскую версию текста с уже переведенной португальской. Работа продвигалась довольно медленно, и все это время Аарон корил себя за то, что отправил письмо Марисе, не подумав. А что, если она обидится? Тогда все, испытание не пройдено.

«Ну вот, Мариса, – думал он, – теперь все мое внимание сосредоточено только на тебе. А этого не удавалось достигнуть пока что ни одной женщине».

«Не такая уж и большая честь», – сказал сам себе Аарон.

Он взял себя в руки и дочитал документ до конца. Португальская и английская версии, в общем, совпадали по смыслу, хотя тот английский, на котором писал Алеф, выглядел поистине чудовищно: «Но вместо того, чтобы трудиться упорно и смиренно в наши дни…»

Сидевшая рядом с ним Хелен, казалось, была поглощена работой.

– Схожу в магазин, поесть что-нибудь возьму, – сказал ей Аарон.

Та, не отвлекаясь от бумаг, кивнула.

– Вам что-нибудь принести?

Предложение мира. Это было в порядке вещей: у аспирантов было принято ухаживать за своими профессорами, хотя Аарон обычно воздерживался от проявления подобных чувств.

Хелен отрицательно покачала головой.

– Вы что, совсем не едите?

Хелен оторвалась от работы и посмотрела на него. Аарон произнес эти слова как бы в шутку, в надежде хоть как-то найти общий язык с Хелен, но голос его прозвучал довольно-таки неприязненно, и даже он сам это заметил.

– Я ем, – немного помолчав, ответила Хелен и вернулась к бумагам.

О черт, где же клавиша, чтобы стереть последние пятнадцать минут?! Он не должен был оскорблять единственного человека, который мог спасти его от Шекспира. Аарон хотел было извиниться, но Хелен упорно не поднимала глаз от своих рукописей. Да и как тут привлечь ее внимание, когда сам Аарон толком не понимает, что конкретно должен ей сказать.

Он надел пальто и вышел на воздух. На улице оказалось холоднее, чем он думал. Чтобы избавиться от тошнотворного ощущения неуверенности в себе, Аарон быстро прошел сквозь полупрозрачную снежную пелену, вошел в бакалейную лавку рядом с пабом «У Просперо» и купил себе сэндвич. Когда он вернулся, Хелен на месте не оказалось.

У них оставался всего час до прихода представителя «Сотбис». Нужно было перевести еще хоть один документ. Аарон повесил пальто на вешалку в прихожей, а еду положил на столик в библиотеке – только перекусить, и снова за работу. Присев за стол, он развернул свой сэндвич, но тотчас же замер.

Ведь это же можно использовать как разменную монету! – промелькнуло у него в голове. У него будут сведения, которые, возможно, понадобятся Хелен, и если она не доведет его до сердечного приступа, то, несомненно, отблагодарит. Как ни крути, они оба не знали, каковы были отношения между Га-Коэном Мендесом и Бенджамином Га-Леви – хозяином этого огромного дома. Возможно, знание того, как жила здесь семья Га-Леви и насколько необычным был этот дом, окажется важным.

Да, Хелен запретила ему выяснять это, но все же…

Да, именно так!

Аарон невольно улыбнулся, встал со стула и, хотя никто не мог его видеть в тот момент, пошел нарочито уверенной походкой.

Лестница была широкой, ступеньки низкими, и подъем от этого казался бесконечным. Подметки его ботинок глухо стучали по толстым деревянным ступеням, представлявшим собою самую прочную конструкцию, которую Аарону доводилось видеть. Неудивительно, что эта лестница пережила столетия. Наверху перед ним открылась широкая площадка. На облупившейся кремовой краске стен виднелись темные прямоугольники от висевших некогда картин и портретов. Широкий проем вел в пустую, обшитую темными деревянными панелями галерею с искусно вырезанными, хоть и покрытыми пылью цветами у пола и потолка. В глубине виднелись четыре полуоткрытых двери, еще несколько были заперты. Аарон подошел к ближайшей и распахнул ее. Дверь бесшумно растворилась и явила его взору маленькую комнату с письменным столом, компьютером и книжными шкафами. Комнатушка вполне могла сойти за современный кабинет, если бы не высокое стрельчатое окно и резное украшение на потолке. Аарон вернулся в галерею и толкнул вторую дверь – двустворчатую, едва различимую на фоне темных панелей. За ней показалась спиральная лестница, которая, вероятно, предназначалась для прислуги, так как вела в хозяйственные помещения дома – кухню, погреб, судомойню. За третьей дверью оказалась просторная, ярко освещенная и элегантно обставленная комната с высоким окном и отдельным камином. Камин был холоден, а пол весь заставлен коробками. Судя по всему, Истоны распаковали не все свои вещи. Аарон заметил, что за нагромождением коробок в дальней части комнаты есть еще одна дверь, в створе которой открывался вид на

соседнюю комнату, также уставленную коробками. За ними виднелся проход в третью. Эта анфилада, нынче непроходимая из-за царившего в ней беспорядка, была, видимо, запроектирована для какого-то дворянина или для женщины: гостиная, за которой следует спальня, а дальше – что-то вроде молельни или чулана, самого уединенного помещения, этакой комнаты для шекспировской пьесы. Самое место для прогулок сомнамбулической леди Макбет или отличное укрытие, чтобы сквозь занавеску проткнуть шпагой Полония. Аарону подумалось, что тот, кто строил этот дом, либо занимал довольно высокое положение в обществе, либо стремился к этому. На противоположной стороне галереи планировка, как полагал Аарон, должна была быть идентичной – одна сторона дома для леди, а другая – для ее мужа.

И в самом деле, за четвертой дверью перед ним открылось просторное помещение, теперь явно служившее Истонам гостиной. Та же резьба, что Аарон видел в первой комнате, и три высоких окна. В центре комнаты располагался диван, несколько стульев и низенький столик, заваленный журналами и немытой посудой. Через широкий открытый проем за ними виднелись небрежно заправленная постель и вещи Бриджет: брошенный на комод шарф, туфли на каблуках… Еще одна дверь вела, как подумал Аарон, в чулан, если только его не успели переоборудовать в ванную комнату.

– О!

Дальняя дверь отворилась, и на пороге появилась Бриджет. На ней был надет зеленый шелковый халат, на фоне которого выделялись распущенные волосы. Какое-то мгновение она стояла недвижима, темнея зрачками своих голубых глаз. Женщина – одна, в расцвете своей красоты, не знающая, с кем проснется на следующее утро…

Спустя секунду на ее лице появилось раздражение:

– Вы вроде должны были работать на первом этаже…

И далее – тишина. Аарон не мог понять, куда могла подеваться Хелен и вернулась ли она уже к рабочему столу. Он видел перед собой лишь гибкий женский стан, гордый, но, впрочем, не без застенчивости.

– Прошу прощения, – сказал он как можно более безразличным тоном.

Шелк халата, словно вода, обтекал тело Бриджет, и Аарон не мог отвести от нее взгляда.

– Вы что-то искали? – подозрительно осведомилась Бриджет, но не без кошачьего оттенка в голосе.

– Хотел посмотреть, сколько комнат в доме, – сознался Аарон.

– А зачем это вам? – улыбнулась Бриджет.

– Нас интересует, кто именно спрятал здесь бумаги. Насколько большим и богатым было это семейство.

Сказав «нас», Аарон подумал, что допустил ошибку – Бриджет могла подумать, что он действует по указанию Хелен, и высказать ей свое недовольство.

– Вообще-то, – продолжал Аарон, слегка улыбнувшись, – это нужно мне самому. Мне кажется, что неплохо было бы ознакомиться с планировкой дома. Я думал, что здесь никого нет. Надеюсь, вы не сердитесь на меня? – добавил он, понизив голос.

Бриджет поджала губы, словно обдумывая, что ответить.

– Сейчас должны приехать люди от «Сотбис», – негромко произнесла она наконец. – Так что извольте удовлетворять свое любопытство где-нибудь в другом месте, а не около моей спальни.

Аарон был рад тому, что не умеет краснеть.

– Да, разумеется, – молвил он.

Она смотрела на него широко расставленными голубыми глазами, украшавшими ее прекрасное лицо. Под тканью халата проступали контуры сосков.

– А вы, я смотрю, чрезвычайно любознательны, – с какой-то особенной ноткой в голосе произнесла Бриджет.

Взять или отказаться? Аарон опомнился и посмотрел женщине прямо в глаза.

– Да, есть такое, – сказал он.

Затем повернулся и вышел из комнаты. Пересекая лестничную площадку, Аарон ощутил, что наконец вышел из ступора, в котором находился с момента получения второго письма от Марисы. «Вот оно, – подумал он. – В разговоре с женщиной я могу оставить последнее слово за собой». Аарон был абсолютно уверен, что Бриджет его совсем не интересует, разве что так, ради игры. Но, черт побери, играть он умел.

По лестнице он спускался неторопливым шагом. Что бы теперь ни случилось, какие негативные последствия ни настигли бы его за проникновение в хозяйские комнаты, он решил вести себя с

предельным хладнокровием. Это было нечто сродни обязательству перед самим собой. Или религиозным обетом. Вот он – Аарон Леви, верховный жрец Спокойствия! Делая следующий шаг, он с удовлетворением отметил слаженную работу мускулов ног. Ему пришла мысль ответить Марисе в сухой и остроумной манере, но не раньше чем через день.

Внизу за столом он увидел Хелен. Она рассеянно взглянула наверх, словно не удивляясь, что его шаги слышатся с другой стороны. Перед ней в беспорядке валялись бумаги, как будто Хелен забыла об аккуратности и произвольно перемешала их. Аарон взглянул на часы – оценщик от «Сотбис» должен появиться через сорок пять минут.

Лицо Хелен выглядело напряженным. Она обратилась к Аарону так, будто они только на мгновение прервались. Прошло несколько секунд, прежде чем тот понял смысл сказанного.

– Следующие шесть документов датированы шестью месяцами позже письма Якоба де Соуза. И каждый из них написан ее почерком и имеет ее же подпись.

Дрожащими пальцами она указала на разбросанные по столу листы. Ее движения выглядели неуклюжими, и Аарон с трудом подавил в себе желание вырвать бумаги из рук Хелен.

– Вот письма. Ведомости. Еще одна проповедь. Заказы на книги. Так что, если я правильно понимаю, Алеф продолжала записывать за раввином как минимум еще полгода после того письма из Амстердама. А вот теперь взгляните сюда.

Хелен указала на лист, исписанный крупным незнакомым почерком.

Аарон увидел перед собой письмо от некоего амстердамского ученого, о котором он никогда не слыхал, датированное только пятым числом месяца шват 5424 года. Письмо было написано на иврите довольно-таки сложным ученым языком. Аарон пробежал его глазами, не разобрав и половины. Темой письма был спор о природе времени в Торе. Из письма следовало, что некая третья сторона в споре утверждает, что Тора в части хронологии описываемых событий противоречит сама себе, и корреспондент решил обсудить эту тему с адресатом, что сулило довольно-таки длительную дискуссию по вопросу о толковании понятия «тысяча лет».

Хелен нетерпеливо двинула рукой.

– Я быстрее не могу читать, – буркнул Аарон.

– Да перейдите же сразу к четвертому абзацу!

Аарон начал читать указанный абзац в самом конце страницы. «Так как Б-г не связан законами природы, а является их творцом, то и может изменять их по собственному желанию. Из этого следует, что движение Солнца или смена времен года лежит за пределами человеческого понимания…»

Аарон задумался над следующими строками, где говорилось о понимании и мудрости.

– Взгляните на поля! – сказала Хелен.

На полях тем же изящным почерком, с которым Аарон был знаком уже три дня, было помечено: «Deus sive Natura»[14].

Аарон воззрился на страницу. Грубый почерк амстердамского раввина, маленькие наклонные буквы на полях. Фраза, написанная на латыни, принадлежала Спинозе – это было одно из его крылатых изречений. Аарон слышал ее на лекции по философии на последнем курсе колледжа. Это высказывание заключало в себе радикальное представление Спинозы о том, что Бог и Природа могут являться одной и той же сущностью. И эта мысль являлась для Спинозы отправной точкой в его рассуждениях о протяженности, детерминизме и о многом другом.

– Ничего не понимаю, – произнес Аарон.

Хелен молча ждала.

– Да как, черт возьми, еврей семнадцатого века, не говоря уже о женщине – если Алеф действительно был женщиной, – мог ссылаться на Спинозу? Его сочинения были запрещены. Тем более надпись сделана на латыни, а зачем, скажите мне на милость, еврейской женщине изучать латынь? Я уж не говорю о том, зачем ей вообще заниматься философией.

И тем не менее невозможно было отрицать, что сделанное на полях примечание Алефа относилось именно к той части текста, в которой говорилось о Боге как об отдельной от Природы сущности, как о ее противоположности.

Аарон задумался.

– Какого года письмо? – спросил он. – Тысяча шестьсот шестидесятого? На тот момент Спиноза еще не опубликовал самых

главных своих сочинений, не правда ли? И кто тогда мог знать о его теориях?

– Португальская община в Амстердаме, которая его и отлучила, – лаконично ответила Хелен.

– Вы полагаете, что Га-Коэн Мендес и его писец были знакомы со Спинозой? – вскинул голову Аарон.

– Община была невелика.

Во входную дверь резко постучали, и этот стук отозвался эхом в прихожей.

Ни Хелен, ни Аарон не пошевелились. Хелен придвинула к себе несколько листов и принялась их изучать.

Дверной молоток ударил снова, затем еще раз. Сверху послышался шорох, потом раздались шаги Бриджет.

– Иду! – крикнула она.

Теперь на ней вместо халата были брюки, голубая накидка и туфли на каблуках. Пройдя мимо Аарона, она даже не взглянула на него.

Хелен по-прежнему сидела уткнувшись в бумаги. Аарон услышал мужской голос, а затем кокетливое воркование Бриджет:

– Вы рано приехали. Ученые, понимаете ли, такой нетерпеливый народ!

Что это было – флирт с незнакомцем или так она пыталась поддеть Аарона? Но он был слишком поглощен своими мыслями насчет прочитанного, чтобы отнестись к этому моменту всерьез. Однако ответ Аарону дала появившаяся в холле дородная фигура оценщика. Это был мужчина средних лет, невысокого роста, прижимавший к себе два портфеля. Кроме портфелей у него была еще стопка пластиковых конвертов для бумаг, которые так и норовили выскользнуть из-под левого локтя. Мужчина остановился посреди комнаты, чтобы их поправить, но едва лишь он сделал следующий шаг, как конверты снова показали свой непокорный нрав. В другой ситуации это выглядело бы смешным, подумалось Аарону. В вошедшем буквально все выдавало натуру книжного любителя, буквоеда. Выглядел он совершенно безобидным и даже по-домашнему уютным. Аарон сразу же возненавидел его. Все их представления об уже изученных документах разлетелись в прах из-за трех латинских слов на полях. Алеф мог быть женщиной, а мог и не быть, мог

переписывать чужие мысли, которые понимал или не понимал, мог разделять или не разделять идеи Спинозы. Аарон понимал, что эта тайна должна быть их с Хелен достоянием, равно как и честь ее разгадки, но теперь и это стало невозможным, так как документы подлежали изъятию. А если оценщик заметит упоминание о Спинозе, то не исключено, что драгоценные бумаги перехватит какое-нибудь другое учреждение или они осядут в частной коллекции, владелец которой попросту ограничит доступ к ним – если, конечно, такое позволено английским законодательством.

Бриджет провела оценщика за лестницу. Не говоря ни слова, Аарон и Хелен встали со своих мест и двинулись следом. Они поспели как раз в тот момент, когда представитель дома «Сотбис» заглядывал за снятую панель.

Наступило долгое молчание.

– Святые угодники! – наконец произнес оценщик.

Аарон проследил за его взглядом – оценщик сначала оглядел верхнюю, лишь частично освобожденную полку, а затем нижнюю, все еще забитую рукописями. Наконец оценщик с кряхтением выпрямился, не отрывая при этом взгляда от полок. На лице его заиграла мягкая улыбка, от которой у Аарона немедленно заболело в животе.

– Добрый день!

Услышав позади себя голос Хелен, Аарон едва не подпрыгнул от неожиданности. Оценщик повернулся, не успев погасить улыбки:

– О, я надеюсь, вы тот самый историк, о котором мне рассказывала миссис Истон?

– Да, – ответила Хелен. – Рада познакомиться.

Она обратила свой взор на Бриджет, которая поджала губы, как бы говоря: «Ну вот ваша миссия и закончилась».

Но на самом деле в напряженном выражении лица хозяйки дома показалось нечто, что немало удивило Аарона. Что-то в поведении или словах Хелен задело Бриджет, чего раньше Аарон не замечал. Но как бы там ни было, он решил не придавать этому большого значения.

Он думал, что Хелен будет настаивать на продлении срока исследования документов – хоть на час, на полчаса, чего тоже было бы достаточно.

– Ну что ж, – сказала Хелен, обращаясь к Бриджет. – Благодарим вас за терпение. Мы уходим.

Хелен направилась обратно в библиотеку. Аарон дошел с ней до дверного проема и остановился в замешательстве. Хелен собирала вещи медленно, спокойно, с расстановкой. Да и с чего ей волноваться, что бумаги перейдут в чужие руки? Все равно, пока этот вопрос будет окончательно решен, пройдет несколько недель, а то и месяцев.

Аарон оглянулся. Бриджет, стоя на лестнице, рассказывала о планах на ремонт дома, а сам оценщик безуспешно пытался совладать со своими конвертами и папками. Рядом с ним лежала стопка бумаг, прошедших сквозь века, чтобы оказаться здесь, в этом доме. Листы казались совсем хрупкими и таинственными, словно новорожденные младенцы. Аарону Леви, недостойному, посчастливилось хоть несколько мгновений подержать их в руках, и теперь все, что он хотел, – снова осязать эти бумаги своими пальцами.

– Мистер Леви?

Хелен уже стояла с собранной сумкой, перекинув через руку пальто.

«Как командовать подчиненными, – подумал Аарон, – так она мастер. А вот как отстаивать научные интересы, когда нужно, так это, видите ли, нет».

В наступившей тишине оценщик ссыпал на стул прозрачные конверты, а затем с трудом опустился на колени, чтобы снять с полки первый документ. И тут Бриджет весело улыбнулась Аарону.

Он встретил ее улыбку равнодушным взглядом и направился в библиотеку. Там Аарон сложил свои заметки, отключил ноутбук и вскоре присоединился к Хелен, ждавшей его у выхода. Дверь за ними захлопнулась – не иначе как Бриджет, предположил Аарон.

Он поравнялся с Хелен на дорожке, что вела от дома. Несмотря на холод, та все еще держала пальто на согнутой руке.

– Значит, вы хотите уйти просто так? А потом ждать и надеяться, что, может быть, нам предоставят возможность еще раз поработать над этими бумагами?

Снег перестал. Земля покрылась тонким белым налетом, а голые ветви деревьев щелкали друг о друга на ледяном ветру.

– Нет. Но я не хотела долго спорить и привлекать внимание к тому, что мы с вами нашли на полях. Оценщик может этого не

заметить. Не каждый специалист, пусть он даже от «Сотбис», сможет найти связь между фразой Спинозы и тремя случайными латинскими словами.

Хелен плотнее застегнула воротник и обернулась назад.

– А нам с вами удалось.

«Запоздалый комплимент», – подумал Аарон.

– Но, мэм, если эксперт от «Сотбис» обнаружит эту пометку, – возразил он, – и решит, что кто-то в лондонской еврейской общине мог обсуждать идеи Спинозы до того, как тот опубликовал их, мы вряд ли снова получим свободный доступ к ним. А их цена вообще станет запредельной. Джонатан Мартин, конечно, попробует уломать вице-канцлера, но и у него не бесконечные возможности.

Уже смеркалось, и в сумерках каменные стены дома приобрели голубоватый оттенок. Там, в библиотеке, оценщик вот-вот приступит к работе. И мысль о том, что эти драгоценные бумаги скоро увезут отсюда, что чудом обретенный тайник останется пустым, наполнила душу Аарона иррациональной тоской.

Он с удивлением заметил, что Хелен смотрит на него едва ли не с сочувствием.

– Да что там, – сказал Аарон, несколько сбитый с толку ее взглядом. Он старался держаться бодро, хотя сил на это почти не было. – По крайней мере, у нас есть преимущество перед другими исследователями, которые этих бумаг и в глаза не видели.

Он думал, что Хелен тут же разразится проповедью о пользе совместных научных исследований, что вернуло бы ему привычное состояние духа, но Хелен лишь мрачно улыбнулась, как бы показывая, что оценила его соревновательный порыв.

Крышу и стены большого, выветренного строения уже поглощала вечерняя тьма. Аарон застегнул куртку и уставился себе под ноги. Когда-то, более трехсот лет тому назад, по такой же заснеженной земле ходили обитатели этого дома. Он ощутил смутное желание увидеть воочию этих людей, пообщаться с ними, как будто это могло согреть его душу и изменить ее неведомым ему самому способом.

– А, все это чепуха, – сказал он, сам не понимая, что имеет в виду: письмо Марисы, довольную улыбочку эксперта или утраченные рукописи. Или свою собственную нежданную скорбь.

Хелен двинулась по тропинке к калитке, и ее трость оставляла на снегу маленькие круглые следы. Аарон пошел следом, стараясь подладиться под ее шаг.

– Зачем, – вопросил он, чувствуя, как голос его начинает крепнуть, – кому-то в еврейской общине изучать труды Спинозы, не говоря уже о том, чтобы записывать его слова? Все контакты со Спинозой и изучение его работ были запрещены. И, как я понимаю, запрет выражался в самых жестких выражениях, на которые только были способны раввины.

Хелен внезапно остановилась, опершись на трость. Аарон подумал было, что она решила перевести дух, но тут увидел ее глаза. Их васильковый цвет стал необычно ярким, а лицо словно ожило под лучами заходящего солнца. Теперь она совсем не походила на бледную ведьму, мучившую Аарона последние три дня. Ее глаза смотрели внимательно, и их выражение сочетало скорбь и дерзновение.

Аарону было чуждо умение промолчать, когда надо. Но в тот момент на него снизошло озарение, и он был благодарен, что удержал язык за зубами.

– Не стоит недооценивать силу и страсть одинокого ума, – твердо произнесла Хелен.

Затем она взмахнула тростью и пошла по дорожке впереди Аарона.

Часть вторая

Глава десятая

2 октября 1659 года

15 тишрея 5420 года

Любовь – недуг.
Моя душа больна
Томительной, неутолимой жаждой.

Уильям Шекспир. Сонет 147[15]

Она приложила руки к неровной поверхности оконного стекла.

Внизу тек поток искривленных игрой света прохожих. Но никто не поднимал головы, чтобы увидеть бледное небо или заглянуть к ней в окно.

Откуда эта тоска?

Она отошла от окна. Потерла руки, чтобы согреться. По всему Лондону распространялись слухи о падении сына лорда-протектора. Лавочники говорили о грядущих переменах. После отречения младшего Кромвеля уже шли разговоры о скором открытии театров и разрешении азартных игр. Жизнь понемногу возрождается, бросая вызов болезненной скованности пуритан. Возможно, скоро отменят и пуританское платье, и снова на улицах запестрят яркие ткани и ленты. А быть может, на престол вновь взойдет король. Впрочем, что с того? Какое ей дело до Лондона и перемен?

Видимые сквозь толстое стекло, фигуры на улице причудливо изгибались, вытягивались, а затем, казалось, взлетали, изогнувшись в воздухе, словно духи или ангелы, стремящиеся по своим делам в недоступные ей миры.

В ее жизни остался лишь огонь, мерцавший в тихой и уютной библиотеке раввина.

Она спустилась по лестнице.

Голос раввина то возвышался, то затихал. Спустя мгновение ребе подтягивали два неуверенных голоса его учеников. «Моисей обрел Тору на Синайской горе».

Сколько же раз она слышала, как эти слова, уступая терпеливым настояниям ребе, повторяет Исаак? А как бы он смеялся, увидев то, что открылось сейчас ее взору! Двое молодых людей – братья Га-Леви, с уже пробивающимися бородами, – декламировали слова, которые вообще-то изучали сопливые мальчишки, только прошедшие свою первую стрижку[16].

На долю секунды ее память воскресила мальчишеский распевный звук голоса Исаака. Она так крепко сжала перила лестницы, что побелели пальцы.

Ей хотелось сжать весь мир до размера булавочной головки.

Оттолкнувшись от перил, словно от причала, она прошла в пока еще достаточно освещенную комнату, села за стол и принялась переписывать письмо, которое еще утром ей надиктовал ребе. Работая, она совсем не обращала внимания на любопытные взгляды братьев Га-Леви. Тем временем раввин изрек следующую фразу, которую заставил их повторить. Один из братьев что-то пробубнил вслед за учителем, второй же молчал.

Раввин остановился, ожидая, пока второй ученик не повторит сказанное.

– А я не расслышал, что вы сказали, – реагировал старший брат, даже не стараясь скрыть своего равнодушия.

Неужели он думал, что слепота раввина скроет от него подобную грубость?

Однако Га-Коэн Мендес просто еще раз прочитал строку, и старший брат монотонно отчеканил требуемое. К нему тотчас же присоединился голос младшего, как бы извиняясь за невнимательность брата.

Эти темноволосые юноши были сыновьями купца Бенджамина Га-Леви. Если верить Ривке, их отправили на учебу к раввину лишь потому, что купцу уж очень хотелось польстить богатому племяннику раввина Диего да Коста Мендесу, вместе с которым он много вложил в торговлю в Новом Свете. Эстер ненадолго отвлеклась от своего занятия, чтобы получше рассмотреть братьев. Младший был худощав, бледен лицом и имел внешность крайне нервного человека. Сначала он

мельком взглянул на учителя, затем его взгляд метнулся к старшему брату и в заключение остановился на Эстер. Но, едва встретившись с ней глазами, младший тотчас же перевел взор на старшего брата, как бы прося совета, что делать дальше.

За старшим Эстер могла наблюдать совершенно свободно – он откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Ему явно было скучно. Ребе тем временем продолжал чтение.

В следующий раз, когда Эстер оторвалась от работы, она увидела, что старший брат подался вперед и смотрит прямо на нее. Его карие с зеленым оттенком глаза светились пронзительно и непреклонно. Они напоминали подернутую патиной латунь. Он выглядел выше и плотнее младшего брата, а его нижняя челюсть говорила о том, что он привык к незамедлительному исполнению своих желаний.

– Кофе! – приказал старший брат, и его голос перекрыл бормотание раввина.

Эстер рванулась было со своего кресла. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что приказание адресовано не ей, а Ривке.

Затем наступила тишина, прерываемая лишь треском поленьев в камине. Юноша слегка улыбнулся Эстер. «Вот мы смотрим друг на друга, – казалось, говорила эта улыбка, – а слепой раввин и не знает». Впрочем, что из того, что он улыбался? Так, только лишь скрасить скуку, потому что старший Га-Леви явно не считал Эстер себе ровней.

И тем не менее Эстер невольно выпрямила спину. Негодование в ее душе смешалось с любопытством.

Раввин тем временем продолжал.

– Мудрецы дали три совета, – вещал он. – Первый: будьте умеренны в суждениях. Второй: возьмите себе много учеников. И третий: возведите ограду вокруг Торы.

Старший Га-Леви все еще лениво смотрел на нее. Он растянулся в кресле, словно утомленный его теснотой, и вздернул подбородок.

Младший неуверенно перевел свой взгляд на Эстер.

Младшего звали Альваро. Старшего – Мануэль. Она ответила ему ледяным взглядом. Мануэля, видимо, позабавила ее непокорность, и он чуть приподнял брови. Так они и играли друг с другом в гляделки, совершенно позабыв о младшем брате.

– Возведи ограду вокруг Торы, – повторила она, не опуская глаз. – Смысл изречения: установи требования, выходящие за рамки Божьих законов. Это показывает рвение мудрецов следовать слову Бога и их желание, чтобы даже тот, кто оступился, выполняя эти дополнительные требования, не рисковал нарушить Божественную волю.

Раввин повернулся в ее сторону и мягко произнес:

– Эстер, я уверен, что Альваро и Мануэль способны истолковать этот отрывок и без твоей помощи.

Она покраснела, но не стала принимать упрек близко к сердцу. Однако от взгляда Мануэля внутри нее пробудилось смутное ощущение голода. Но, по крайней мере, она хотя бы дала понять Мануэлю, что думает о его грубом поведении. Ребе не стоило закрывать глаза на выкрутасы своих учеников, и в этом с ней соглашалась Ривка. В тот же момент, будто вызванная этой мыслью, а не криком Мануэля, та появилась в комнате. Сначала она поухаживала за раввином и только потом поставила по чашечке перед братьями. Эстер знала, с какой болью дается Ривке необходимость поить кофе учеников ребе. Драгоценные зерна, по ее мнению, предназначались только для хозяина в качестве лекарства. И хотя племянник раввина выплачивал им неплохое содержание, каждое месячное поступление воспринималось Ривкой как последнее. Каждую монету она проверяла лично и пересчитывала деньги с таким подозрением, что посыльный бормотал что-то насчет ведьмы-еврейки. Но даже сварливая Ривка понимала, что связи и деньги семьи Га-Леви следует уважать, поэтому подавала кофе по первому требованию.

И только потом, выгребая из котелка кофейную гущу, Ривка давала волю языку: «Святой! Блаженный!» Когда она замешивала тесто для хлеба, ее покатые плечи ходили из стороны в сторону в такт движению рук, и служанка нарушала тягостное молчание, обращаясь к Эстер:

– Они променяли свою веру на золото!

Говоря по правде, Эстер всегда казалось, что Ривка осуждала любого португальского еврея, которому удалось избежать смерти, будь то через искреннее обращение, либо просто притворившимся католиком уже здесь, в Лондоне. Только те, кто был убит или чудом выжил – как, например, раввин, – пользовались у Ривки подлинным

уважением. Изгибая свою толстую спину, тряся выбившимися из-под платка жидкими прядями, Ривка месила тесто с уверенность человека, который знает, что смерть приходит в виде летящих на тебя конских копыт и дубин, а не с предложением выбора. По ее мнению, инквизиция сделала всем сефардам подарок, в котором другим, в том числе и евреям-тудеско, было отказано, подарив возможность выбрать смерть, вместо того чтобы та пришла без предупреждения. Для Ривки и ее польских родственников смерть означала сметающий все на своем пути погром, а отнюдь не священника, предлагающего отречься от иудаизма и таким образом сохранить себе жизнь. Как-то раз, отжимая мокрое белье на чердаке, она сказала:

– В моей деревне все погибли, даже не успев помолиться. Да, так все и было: пришли мужики с дубинами, и деревни не стало.

Эстер ждала продолжения, но Ривка молчала, склонившись над чаном для стирки. Внезапно в воду брызнули тяжелые, похожие на дождевые, капли.

Однако если Мануэль Га-Леви и знал, что Ривка считает его блаженным, то относился к этому равнодушно. И теперь, поднеся чашку к губам, он разом выпил все и скомандовал:

– Еще!

Ривка приняла от него посуду.

Раздался стук в дверь.

Не выпуская из руки чашку, Ривка отворила дверь. Выражение ее лица мгновенно изменилось, словно задули свечу.

– И что же?

Высокий приятный голос напоминал закрученную спиралью ленту. К тому же голос был хорошо знаком, но Эстер все равно удивилась, услышав его на пороге дома раввина.

– Вы разве не получили наше письмо о том, что мы зайдем к вам?

Эстер уже давно перестала поражаться способности Ривки становиться непроницаемой перед лицом амстердамских богачей, никак не реагируя ни лицом, ни телом на их претензии. И теперь с совершенно бесстрастным видом она шире распахнула дверь, впустив в дом дочь племянника раввина Марию да Коста Мендес. Сзади показалась ее мать, Кэтрин да Коста Мендес, распекавшая свою дочь слабым голосом:

– Мэри, ты что же, не придумала ничего лучше, как вручить наше письмо тудеско?

Мэри что-то промямлила в ответ, но голос ее матери продолжал гудеть, прерываемый длинными паузами:

– В следующий раз, Мэри… попроси посыльного… вручить письмо… тому, кто умеет читать!

Эстер на мгновение увидела, как исказилось лицо Ривки, словно от попадания стрелы, но едва женщины переступили порог, оно снова сделалось невозмутимым.

Мать и дочь вошли в комнату. Их элегантные юбки из темной ткани покачивались наподобие колоколов в такт их шагам. Платье Мэри было зашнуровано очень туго, являя взору пышную грудь и белые плечи. Пухлое лицо обрамляли шикарные локоны. Она с жадным любопытством обвела взглядом комнату. Тем временем Кэтрин да Коста передала Ривке лисью горжетку. Еще при входе она сбросила на руки служанке свой плащ и оказалась в тяжелой юбке с фижмами, щедро расшитой серебряной нитью. В памяти Эстер неожиданно воскрес Исаак, который называл таких модниц «tapecaria andadoria» – «ходячий гобелен». Однако тяжелое дыхание Кэтрин, которое было слышно через всю комнату, заставило Эстер усомниться, что ее здоровья хватит надолго, чтобы выдержать вес такого наряда в лондонском климате.

– Кофе, – не сказала, а выдохнула Кэтрин в сторону Ривки.

Та исчезла на кухне.

В суровом молчании Кэтрин оглядела жилище раввина. За исключением глубокого кивка в синагоге или на улице, она никак не проявляла свой интерес к жизни родственника мужа. Даже в небольшой общине португальских евреев семья да Коста Мендес держалась обособленно. Кэтрин, наверное, была единственной из синагогальных матрон, кто совсем не интересовался сплетнями – Эстер не раз замечала, как она неодобрительным взглядом буквально выдергивала Мэри из шепчущейся толпы. Кроме того, семейство да Коста Мендес никогда не приходило в синагогу пешком, хотя этим не гнушались даже самые богатые евреи. Прихожане уже привыкли к появлению этой троицы, вылезающей из роскошной кареты – и даже в шаббат! Первым появлялся дородный, но энергичный Диего, обутый в башмаки на деревянной подошве, украшенный седой шевелюрой;

затем неспешно появлялась Кэтрин, на вид гораздо старше своего мужа, словно годы бежали для нее быстрее. И наконец, коснувшись брусчатки сначала носком туфли, а потом пяткой, уверенная в том, что на нее смотрят, небрежно опираясь белоснежной рукой о борт кареты, выходила единственная дочь Кэтрин, которой удалось пережить всех своих братьев и сестер.

Послышался голос раввина (разглядывая гостей, Эстер даже забыла о его присутствии):

– Кого я имею честь приветствовать в моем доме?

Кэтрин да Коста Мендес царственно повернула голову и посмотрела на ребе. Видимо, она не привыкла объясняться сама, потому что кивком подозвала к себе Мануэля.

Братья встали одновременно – Альваро нервно улыбаясь, а Мануэль неторопливо, хотя и с уважением.

– Кэтрин да Коста Мендес, – объявил Мануэль низким торжественным голосом. – И ее прекрасная дочь Мэри.

В последних словах юноши послышалось что-то похожее на насмешку. Эстер заметила, что лицо Мэри покрылось румянцем.

– Приветствую вас, дядюшка, – по-португальски произнесла матрона.

Раввин встал со своего кресла. Прошло довольно долгое время, прежде чем Кэтрин догадалась, что именно от нее требуется, шагнула вперед и милостиво вложила свою руку в перчатке в его ладонь для поцелуя.

– Добро пожаловать в дом, который ваша семья любезно предоставила нам, – произнес раввин, усаживаясь обратно.

Кэтрин раскрыла было рот, чтобы ответить, но первой заговорила ее дочь, обращаясь к Эстер.

– А мы приехали, чтобы повидать вас! – сказала она так, словно это было бог весть какой радостью.

До сих пор к Эстер никто не приходил, и она не могла даже представить, что от нее могло понадобиться Мэри.

– Но я еще не закончила, – произнесла она, указав на перо и бумагу. – Я переписываю для ребе…

Однако раввин движением головы показал, что Эстер не удастся избежать разговора.

Она встала со своего места, оправила юбку и последовала за женщинами в маленькую боковую комнатку, где Ривка уже поставила на столик две чашки кофе – причем, как обратила внимание Эстер, недостаточно горячего. В комнате не было печки, отчего чувствовались холод и некоторая затхлость. К тому же Ривка обычно держала дверь сюда закрытой, чтобы не уходило тепло из комнаты раввина. Кэтрин заняла стул побольше, что стоял у окна. Мэри плюхнулась на сиденье поменьше, и ее юбка заняла почти все пространство вокруг, оставив лишь чуть-чуть свободного места.

– Присаживайся, – пригласила Мэри.

Эстер опустилась на банкетку. Мэри торжествующе посмотрела на мать, как будто покладистость Эстер явилось весомым аргументом в каком-то их споре, о котором сама Эстер не имела никакого понятия. Затем, придвинувшись поближе, так что складки ее платья совсем закрыли жалкий муслин юбки Эстер, Мэри заглянула ей в лицо. Эстер невольно подалась назад, пока ее туфля не уперлась в деревянную ножку банкетки.

– Как вам кофе? – раздался равнодушный голос Ривки, которая стояла у порога, заложив руки за спину.

В ее интонации не слышалось вопроса, и женщины ничего ей не ответили.

– Сколько тебе лет? – внезапно спросила Мэри.

– Двадцать один, – ответила, немного замявшись, Эстер.

– Всего-то? – недоверчиво протянула Мэри.

Кэтрин бросила взгляд на дочь:

– Я же говорила тебе.

Губы Мэри надулись – она думала, что Эстер гораздо старше.

– Но волосы!

Эстер непроизвольно потянулась рукой к голове, и Мэри рассмеялась:

– Да ты только взгляни на ее волосы, мама! Она ж наполовину седая, будто ей под шестьдесят! Только брови черные. Да ей бы напялить парик, и она вполне сошла бы за джентльмена-роялиста.

Она дернула Эстер за выбившуюся прядь.

– Или, может, это у тебя парик, а, вздорная ты девица?

Лицо Мэри сияло от ощущения собственной дерзости. Она взяла Эстер под руку, словно та была ей приемной дочерью.

– Ну что ж, – сказала Мэри. – Цвет волос можно и восстановить. Так что скоро ты снова станешь черненькой; а то и выбрать любой другой цвет.

Кэтрин, глядя на дочь, нахмурилась, а затем обратилась к Эстер:

– Скажи, а как ты проводишь свободное время? Как развлекаешься?

Наступила тишина.

– Как я развлекаюсь? – переспросила Эстер.

Кэтрин нетерпеливо взмахнула рукой.

– Да никак.

– Так, понятно, – приподняла брови Кэтрин.

– Я не совсем понимаю сути нашего разговора, – сказала Эстер, осторожно высвобождая руку из хватки Мэри.

– Что ж, я объясню, – Кэтрин, выпрямилась и, преодолев одышку, продолжила: – Лондон жаждет безумия и сумасбродств. И я не считаю это чем-то плохим. Город был отравлен моралью, и теперь люди хотят избавиться от пуританских обычаев. А наша Мэри очень увлекающаяся.

Некоторое время Кэтрин смотрела в стену, словно перед нею было окно. Но, как поняла Эстер, этот ступор был лишь способом восстановить дыхание после произнесенной тирады. Даже сквозь толстый слой пудры на лице Кэтрин проступали следы тяжкого напряжения. Эстер захотелось встать, расшнуровать туго затянутый корсет и погладить Кэтрин по широкой спине. Что-то сжалось у нее в груди. Она и не подозревала, что у нее все еще осталось это чувство – желание заботиться о матери.

– Мэри очень любит, – снова заговорила Кэтрин, – быть впереди каждого нового веяния. Но ведь любая молодая женщина, которая намеревается выйти замуж, должна появляться в обществе. В разумных, конечно, пределах.

Эстер заметила, что лицо Кэтрин выражало не нежность, а скорее усталость и страх, которые, казалось, давно победили все материнские чувства.

– Так вот, – продолжала Кэтрин, – моей дочери нужна компаньонка. Как ты, возможно, заметила, я не расположена сопровождать Мэри в ее разъездах по Лондону.

Кэтрин пристально посмотрела на Эстер и отвернулась.

– Мне трудно дышать. Деревенский воздух пошел бы мне на пользу, но у мужа много дел в Лондоне…

В наступившей тишине слышалось тихое дыхание Мэри. Эстер прикрыла глаза, чтобы лучше слышать этот звук. Он напоминал ей дыхание брата, и в ее голову закралась нелепая мысль – а что, если у нее теперь будет сестра?

– Я не смогу быть компаньонкой Мэри, – быстро произнесла она, чтобы отогнать от себя глупую надежду. – Ребе требует, чтобы я работала на него.

– Ребе, – заметила Кэтрин, – отпустит тебя, если мы потребуем. Я думаю, что он понимает, что должен отблагодарить нас хотя бы так, – сухо добавила она, красноречиво обведя рукой комнату.

Мэри снова посмотрела на Эстер:

– Ей нужно научиться одеваться в английской манере.

– Мы позорим их, – вдруг бухнула Ривка со своего места у стены.

Эти слова адресовались Эстер, и яростный взгляд маленьких карих глаз служанки сразу же вывел девушку из состояния задумчивости.

Кэтрин слегка приподняла брови и заговорила, обращаясь к Эстер, будто игнорировать грубость служанки было правилом хорошего тона.

– Дело тут не в тщеславии, – спокойно сказала она. – Хотя тебе могло показаться и так. Ты все еще иностранка и не привыкла к лондонским обычаям. Мы… – она медленно повела рукой, – мы одеваемся и говорим как англичанки. А вы приплываете сюда из Амстердама, обустраиваетесь в доме, который предоставил мой муж, и продолжаете одеваться так, что вам впору вешать на спину табличку с надписью «еврейка». Я считаю, что это ваше дело, хотя другие со мной не согласны. Но если ты будешь сопровождать мою дочь, то мне не безразлично, как ты выглядишь.

– Мама, это касается и меня, – вмешалась Мэри, причем ее голос зазвучал еще приятнее и резче. – Я согласна с остальными. Эти двое нас просто позорят.

Казалось, она возмущена и одновременно озадачена нежеланием Эстер сопровождать ее по Лондону.

– И вот теперь, – продолжала она, – когда все знают, что в Лондоне живут евреи, ты хочешь, чтобы дамы, прогуливающиеся по

Сент-Джеймс, говорили, что местные еврейки одеваются как…

Она помедлила, затем указала на Ривку в чепце и рабочем платье и на Эстер, которая немедленно вспыхнула, поняв, насколько убого выглядит ее наряд.

– Да, одеваются как золотари!

Мэри на секунду замолчала, дав присутствующим насладиться сравнением. Ее круглые щеки, розовые губы и темные брови над блестящими черными глазами казались необычайно красивыми. Но Эстер обратила внимание на то, что сверкающий взгляд Мэри был направлен не на мать.

Видимо устав от своей вызывающей позы, Мэри покопалась в матерчатой сумочке, что лежала подле нее. Затем она выпрямилась, и ее палец с силой прошелся по губам Эстер, размазывая что-то скользкое.

Увидев, как шарахнулась от нее Эстер, Мэри снова рассмеялась.

– Да это же розовая марена, – сказала она. – Вот, смотри сюда.

С этими словами она сунула Эстер стекло в деревянной раме, достаточно широкое, чтобы уместиться на ладони.

Подрагивающее в руке зеркало явило Эстер незнакомый образ, украшенный блестящими темно-красными губами. На какое-то мгновение из зеркала на нее взглянула мать: ниспадающие волосы, черные и опасные глаза. С тех пор, как она последний раз смотрела на себя в зеркало, ее лицо сильно похудело, что сделало сходство с матерью почти портретным. Судя по остававшимся на расческе волосам, прошедшие после пожара годы не прошли бесследно, – но вот то, что она увидела теперь, поражало. Это была настоящая серебряная буря. Эстер невольно дотронулась до нескольких прядок. Все было так, как сказала Мэри, лишь изогнутые брови оставались черными. Лицо было молодым, а вот макушка – старушечья. Неудивительно, что Мэри не смогла угадать ее возраст.

Из зеркальца на нее смотрели большие серьезные глаза отца и широко улыбался рот матери.

– Теперь от тебя будут добиваться поцелуев, – хихикнула Мэри.

Эстер вытерла губы кончиками пальцев. Ей хотелось сказать Мэри что-нибудь резкое, но она никак не могла подобрать слов.

– Ай, зачем ты стерла помаду? – вскрикнула Мэри.

– Да потому что она куда мудрее своей матери, – буркнула Кэтрин.

Эстер должна была понимать, что дурная репутация ее матери последует за ней в Англию. Пойманная в ловушку собственной ярости, Константина сверкает глазами и бросается на все, что видит. Красота и злоба сплелись воедино.

Тем временем Кэтрин, наклонив голову, внимательно изучала застывшую фигуру девушки и, казалось, увидела в ней что-то такое, что ее успокоило.

– Нет, – сказала она с расстановкой. – Эта девушка не будет подражать своей матери, хотя и унаследовала ее красоту.

Мэри оставила кокетливый тон и нетерпеливо спросила:

– Значит, она сможет быть моей компаньонкой?

Кэтрин медленно и задумчиво пошевелила в воздухе пальцами, как будто что-то ее еще тревожило.

– Ну что еще, мама? – ворчливо осведомилась Мэри. – Ты про ее брата думаешь?

Кэтрин только собиралась с ответом, но Эстер уже охватил гнев. Оттолкнув руку Мэри, она встала. Да как эта женщина в щегольском платье смеет судить о жизни и смерти Исаака? Но не успела Эстер раскрыть рот, как Кэтрин решительно кивнула:

– Я разрешаю.

– Нет!

Эстер так крепко сжала кулаки, что ногти впились ей в ладони.

– Эстер?

Надменность исчезла с лица Мэри, и теперь она выглядела потерянной. Ее замешательство несколько смягчило Эстер.

– Я не могу, – выдавила она.

Кэтрин встретилась взглядом с глазами Эстер, словно увидела в ней нечто заслуживающее уважения.

– Можешь, – произнесла она. – У моей дочери такой характер, что иногда ей требуется присутствие рядом человека, лишенного глупого тщеславия. Такого, как ты. У тебя нет тщеславия, но нет и перспектив в жизни. Я предлагаю подходящее дело, которое к тому же повысит твои шансы.

Ну да. На удачный брак.

Кэтрин приподняла брови, ожидая выражения признания ее мудрости.

– Ты молода, – продолжала она спустя мгновение. Голос ее звучал безо всякой нежности, и Эстер задумалась – сколько же дочерей пришлось похоронить этой женщине? – Судьба еще может смиловаться к тебе.

Мэри негромко вскрикнула. Обернувшись, Эстер заметила на ее лице похожее на зависть выражение, словно она догадалась, что только что между ее матерью и Эстер произошло нечто недоступное ей.

Кэтрин прикрыла глаза и кивнула: мол, дело решено.

– Ты немедленно отправишься к портнихе и закажешь пристойное платье.

Кэтрин наклонилась вперед и сделала знак рукой. Чтобы встать, ей требовалась помощь служанки.

Ривка, погрузившись в полное молчание после неожиданной тирады – Эстер даже забыла о ее присутствии, – шагнула вперед и помогла Кэтрин подняться с банкетки.

Некоторое время Кэтрин стояла напротив Эстер. Ее тугой лиф растягивался при каждом вдохе. Что-то мелькнуло на ее лице под толстым слоем пудры – веселое и одновременно заговорщицкое, но тотчас же и пропало. Обмякнув от усталости, Кэтрин взглянула на руку Ривки и отвернулась.

Мэри, поддерживая мать, двинулась к ожидавшему их экипажу. На полпути она остановилась, с опасением взглянув на закопченную каменную стену, которая перекрывала один конец улицы, на нависшие над головой балконы и бледно-серый дым, поднимавшийся от труб кожевенных заводов и застилавший узкую полоску чистого неба.

Раввин все еще сидел в своей комнате напротив камина и читал братьям Га-Леви. «Мир стоит на трех столпах, – говорил он, – изучении Торы, поклонении Богу и сотворении добра». Последние слова ребе перекрыл дикий грохот – это Мануэль уронил на пол свою книгу.

– Прошу прощения, – произнес он бесцветным голосом.

Наступило недолгое молчание, после чего раввин изрек:

– На сегодня урок окончен.

Если даже он и догадывался, что Мануэль намеренно уронил книгу, то его лицо ничем не выдало этой догадки. Братья накинули свои плащи, и раввин позвал Эстер. Однако, вместо того чтобы

поинтересоваться целью и деталями визита родственниц или отмести их претензии на саму Эстер, на что та в глубине души надеялась, он сказал:

– Комментарии отданы в переплет уже две недели назад. Пора бы их забрать.

Это был третий комплект книг, которые раввин выписывал из Амстердама. Такие сочинения предназначались для учеников очень высокого уровня подготовки, каковых в Лондоне не было. Это обстоятельство всегда смущало Эстер – неужели ребе не понимает, что здесь некому читать такие книги? Впрочем, если учитель надеялся, что на этих мощеных улицах ни с того ни с сего прорастет целая плеяда ученых юношей, то это будет только к ее выгоде.

– Я думала, Ривка… – начала было Эстер.

Однако раввин сурово покачал головой, как будто визит да Коста Мендес заставил его наконец признать то, что он и так прекрасно знал: Эстер боялась Лондона. Шли дни, а она не могла даже переступить порог дома, как бы отгораживаясь от города, поглотившего ее брата. Ей стал невыносим дневной свет, и Исаак непременно презирал бы ее за это. Ее отразившаяся в зеркале Мэри бледность только подтверждала такую догадку.

– Эстер! – позвал раввин.

Он указал своими длинными пальцами на высокую полку позади себя. Эстер отсчитала столько, сколько сказал ей учитель, и ссыпала монеты в кошель. Потом она поправила застежки плаща и вышла на улицу, съежившись от неожиданного холода.

Улица выглядела безлюдной. С одной стороны ее перегораживала каменная, потемневшая от времени и копоти стена. На булыжники мостовой падали тени от многоэтажных домов, причем каждый следующий этаж нависал над предыдущим, словно старался побольше затемнить улицу. Между галереями последних этажей виднелась узкая полоска неба, от которой веяло безнадежностью.

Переплетная мастерская, о которой говорил раввин, находилась где-то в Саутварке. Но Эстер знала только, как дойти до реки. Она немного поколебалась, а потом быстро перешла на более оживленную улицу, как будто скорость передвижения могла уберечь ее от прикосновений чуждого города.

Края мостовых были завалены мусором, и с каждым шагом ей в нос шибало новыми ароматами улицы – изволь дышать не дыша… Город, опасный и грязный, навалился на нее, оплел грязными улицами, на которых она потеряла Исаака. Сыновья Га-Леви должны были уже свернуть в переулок за Цехом суконщиков. Эстер ускорила шаги. Хоть она и не очень-то доверяла Мануэлю, но ей легче было спросить дорогу у него по-португальски, чем у кого другого по-английски.

Свернув за угол, она увидела Мануэля и Альваро. На улице они смотрелись куда представительнее, чем на уроке у раввина.

Младший, заслышав стук ее туфель, обернулся. Застенчиво улыбнувшись, он остановил старшего брата, положив свою руку на его рукав. Мануэль обернулся и поприветствовал Эстер кивком, как бы не веря в то, что она осмелится разыскать его. Он удивленно вскинул брови.

– Где тут переплетная мастерская Чемберлена? – бухнула Эстер, отставив церемонии.

– Через реку будет, – ответил Мануэль по-португальски, но с английским акцентом.

Он показал на дорогу, в направлении которой они двигались.

– От главной улицы второй поворот налево. Сразу за хлебопекарней.

Эстер коротко кивнула.

– И будь внимательна, – добавил Альваро, – не пропусти час закрытия ворот, а то всю ночь проведешь за городом.

Я однажды опоздал, и ко мне пристал местный мальчишка с дрыном.

Рассказывая эту историю, Альваро подался к Эстер, словно ища у нее защиты или утешения.

– Он размахивал своей палкой так близко от меня, что я чувствовал ветер. А его друзья кричали, что евреи – прирожденные убийцы и что мы помогли мятежникам отрубить голову последнему королю.

Тем временем Мануэль внимательно наблюдал за Эстер.

– Obrigada, – сказала она по-португальски. – Спасибо за предупреждение.

Альваро покраснел, как вареный рак, и стал разглядывать свои модные ботинки с подвязанными деревянными подошвами.

Мануэль обворожительно улыбнулся Эстер, как будто услышал смешную шутку.

– Они хотели, чтобы Альваро снял штаны, – сказал он по-английски, не утруждая себя переводом. – Им было интересно посмотреть, как выглядит еврей.

Румянец мигом сошел с лица Альваро.

– Я тогда убежал, – просто сказал он, и Эстер увидела, что Альваро давно смирился с удовольствием, которое старший брат получал, унижая его.

– Obrigada, – повторила она, обращаясь к младшему. – Еще раз спасибо, что предупредил.

– Он наяривал, как побитый щенок, – сказал Мануэль.

Альваро и был щенок. Эстер едва сдержалась, чтобы не кивнуть. Однако старший братец был уж слишком жесток к нему.

– А ты бы не побежал? – спросила она Мануэля с лукавой улыбкой.

Она некогда дала себе зарок не поступать так, но в тот момент, когда она смотрела на Мануэля Га-Леви, ей хотелось, чтобы его младший брат Альваро увидел, как с физиономии старшего сползает ухмылка.

– Может, тебе стоило остаться и спустить портки, как они хотели.

Эстер скользнула взглядом к талии Мануэля, а потом еще ниже и вновь подняла глаза, чтобы встретиться с его непостижимым и таинственным взглядом.

– Готова биться об заклад, что ты ничем бы не отличался от обычного англичанина.

Мануэль издал удивленный звук. Его зелено-карие глаза остановились на Эстер. Но она не отвела взгляда, и обжигающее пламя, бушевавшее в ее душе, не лишило ее самообладания. Эту способность Эстер унаследовала от матери, но никогда не испытывала необходимости пользоваться ею. И если даже она правильно догадалась, что лондонская община не подвергала своих детей обрезанию, она не придавала этому обстоятельству особенного значения. Выражение лица Мануэля изменилось – теперь он как будто заново оценивал Эстер. Казалось, ему хотелось ударить ее за то, что она высмеяла его как еврея, но, с другой стороны, ему явно понравилось, как Эстер прошлась взглядом по его фигуре.

Внезапно в ее памяти возник образ матери с ярко накрашенными губами, виденный в карманном зеркальце, и лишил ее всякой решимости. Эстер повернулась и пошла прочь.

– Я слышал о твоем брате, – крикнул ей в спину Мануэль. – Он был не слишком примерным сыном Израиля, да? Это ж надо же – сбежать из дома своего учителя и якшаться с докерами, как скотина!

Эстер шла не оглядываясь.

Улицы то сужались, то внезапно расширялись, заполняясь людьми. Вот из дверей высочил мальчишка и куда-то понесся с отрезом ткани. Впереди вышагивали опрятно одетые служанки со свертками, прачки тащили корзины с грязным бельем. Мимо Эстер пронеслась карета, причем так близко, что она почувствовала, как дохнуло теплом от разгоряченной лошади. У входа в таверну кто-то громко захохотал, а из темных окон пахнуло маслянистым запахом, от которого Эстер стало тепло и скрутило желудок.

Отчего она стала на путь своей матери, хотя так долго старалась избежать его? Ведь даже такая мелочная и тщеславная девица, как Мэри, и то прекрасно понимала, насколько опасно рисковать своей репутацией.

Зеленое платье матери… Этот образ стал для Эстер подобным глотку крепкой водки. Она позволила себе еще одно воспоминание – голос, – и снова ожог: «Эстер, ты такая же, как и я».

Она оскорбила Мануэля Га-Леви, но не только потому, что он разозлил ее, но и чтобы задеть его самолюбие. Эстер не могла не признаться себе в этом желании. Он не нравился ей, но все же ее тело отозвалось на его вызов, равно как и каждая клеточка ее организма, ее мысли, дыхание, пульс – буквально все чувства проснулись в ней, едва она оказалась в городе, от которого пыталась бежать. Это был Лондон, который забрал жизнь ее брата, Лондон пьяного, бессвязного шепота ее матери. Даже звучащий на улицах язык расшевелил то, что давно скрывалось в ее душе и теперь неслышно и быстро ожило.

И с этим оживлением пришли воспоминания. Как можно было любить такую мать – и как теперь не тосковать по ней? Те кумушки в синагоге, которые говорили, что не хотят иметь ничего общего с Константиной, разве не они с удовольствием обсуждали ее известный всей общине характер? Не они ли охотно посещали дом Самуила Веласкеса, причем не только потому, что он был уважаемым купцом,

но главным образом ради возможности полюбоваться диковинной красотой Константины, так соответствовавшей роскошному убранству интерьеров, ощутить одновременно и восторг, и опасность, когда у хозяйки случалось хорошее настроение? Ибо когда Константина Веласкес начинала светиться от счастья, когда она смеялась и играла в гостиной нежнейшие мелодии на спинете, которым научила ее мать; когда выпевала изысканные стихи своим редким легким гортанным голосом, она уже не казалась чужой этому миру, а наоборот – средоточием его души, от которой невозможно было отворотиться. И пусть Константина действительно была вспыльчива и насмехалась над теми, над кем нельзя смеяться; пусть ее бунтарский дух и выражался иногда в кокетстве – она могла пуститься в танец под настроение, приподнимая подол юбки на совершенно непристойную высоту, а разговаривая с мужчиной, могла положить руку ему на грудь, как бы подчеркивая сказанное, и слегка улыбалась, будто не замечая, что бедняга краснеет до невозможности, – но все же большинство гостей понимали терпеливое молчание Самуила и держали рты на замке, пока не выходили из дома.

Одно из самых ярких проявлений бунтарского духа Константины пришлось уже на время Эстер, хотя она была тогда совсем крошкой. Через восемь дней после рождения Исаака Константина стала крестом в дверях спальни, отказываясь отдать младенца для проведения обряда обрезания. К ней послали местных матрон для переговоров – все знали, что в Португалии этот обряд обычно не проводили, чтобы не привлекать лишнего внимания. Конечно, иудаизация теперь выглядела несколько излишней, но разве не являлось обрезание символом обретенной свободы? Константина лишь взглянула на пришедших своими темным глазами и рассмеялась прямо в их серьезные физиономии. Покидая дом Веласкеса, многие плакали и долго обсуждали случившееся для того, чтобы, вернувшись домой, авторитетно сообщить, что у Константины из-за тяжелых родов помутился рассудок.

Дело решить смог лишь махамад[17], издавший *херем*[18], согласно которому семье отступников грозило отлучение и изгнание из общины. Тогда Самуил отобрал сына у своей жены и, несколько растрепанный после разговора, отправился с ним в синагогу. Вслед ему вниз по лестнице летели проклятия Константины: «Да, конечно, ты же и шагу

не можешь ступить без одобрения махамада! И ты теперь цепляешься за иудаизм, как младенец за сиську, – ты уже не тот, кем был раньше! Ты не должен был позволять им ездить на твоем горбу!»

Не успела захлопнуться входная дверь, как Константина велела подать ей бумагу и перо. Быстрым и резким почерком она написала письмо и отправила свою служанку в синагогу с наказом вручить письмо самому достойному на вид раввину, а потом проследить за его выражением лица, когда он будет читать. «И убедись, – крикнула Константина вслед уходящей служанке, – чтобы мой муж тоже видел это!»

Дошло или не дошло послание Константины до адресата, но через час мальчика принесли обратно домой уже обрезанного. Он громко плакал и не мог проглотить даже нескольких капель вина, которым его пытались отпоить. Константина прямо в гостиной поменяла ему пеленки, и, прежде чем препоручить младенца няне, а самой снова приложиться к бутылке, долго укачивала его на руках с какой-то нежной грустью, словно баюкала свой неукротимый дух. Эстер наблюдала за ней с верхней лестничной площадки и, даже когда мать ушла к себе, продолжала сидеть, зажмурившись, представляя себя плачущим младенцем, которого крепко держат на руках.

Когда отец впервые привел в их дом раввина Га-Коэна Мендеса, голос Константины буквально разорвал воздух над головой Эстер:

– Я не разрешала этому человеку переступать порог моего дома!

– Этот человек, – с расстановкой произнес тогда Самуэль Веласкес, – раввин. Он будет заниматься с нашими детьми.

Отец… Густые каштановые волосы, аккуратно подстриженная борода с проседью. Руки, от которых исходил запах анисового масла, кофе и специй, бочки и ящики с которыми он осматривал в порту. Белая блуза, отутюженные брюки, усталые карие глаза…

Первый час, пока Эстер занималась с раввином, отец не выходил из комнаты, словно оберегая их обоих от надвигающейся бури. Лицо учителя поворачивалось в сторону Эстер, напоминая цветок, который медленно следует за движением солнца. Раввин задал ей множество вопросов: знает ли она иврит, какие произведения читала на испанском и португальском? А потом она декламировала ему из принесенной книги, то и дело извиняясь за каждую запинку или ошибку.

Буря разразилась сразу после ухода раввина.

– Не смей говорить со мной так, будто я дура! – орала Константина срывающимся голосом, отчего у Эстер сжималось горло. Одетая в зеленое платье с глубоким вырезом, Константина сжимала холеными руками спинку кресла, где сидела Эстер. – Да, пусть он раввин! Несчастный жалкий человек, потерявший зрение по прихоти священников! И теперь он, да и все остальные хотят, чтобы люди посадили свои чувства на привязь! Никаких визитов, никаких спектаклей, которые нам нравятся, никакой еды, которую хотелось бы попробовать, – и не приведи бог показать свои ноги во время танца!

В комнату, опустив голову, вошла горничная и закрыла окно, хотя тонкое стекло все равно не могло приглушить рвущуюся наружу ярость, к вящему соблазну любопытных соседей.

– Я считаю вопрос о посещении испанских комедий исчерпанным, – сказал Самуил. – Махамад против этого.

– Махамад, – раздалось в ответ из-за спины Эстер, – существует лишь для того, чтобы барахтаться в собственном религиозном дерьме!

– Константина!

– Нет уж! Когда мы с моей матерью бежали из Лиссабона, мы хотели спасти наши жизни. Не еврейские, а обычные, человеческие жизни. Потому что даже если бы мы больше никогда не молились нашему Богу, даже если после пятничного застолья мои тетушки и мать отправлялись бы прямиком на танцы, – Константина быстро подошла к мужу и ткнула его пальцем в грудь, – то и тогда эти попы затащили бы нас в свои пыточные застенки.

Отец отступил перед натиском, и Эстер поняла, что мама пьяна. Отец ничего не сказал больше, но Эстер увидела, как он захлопнул тяжелую дверь своей души, и в комнате сразу стало холоднее.

– Ты привел меня в этот дом как невесту, – кричала Константина еще громче. – И ты решил, что мы должны быть благочестивыми! Но ни один человек – возможно, кроме тебя – не бывает абсолютно благочестивым!

Последние слова Константина произнесла со злорадством.

Эстер положила руки на стол, отвернулась и прикрыла глаза. Ей хотелось понять, что видит раввин за закрытыми веками. И что же, думала она, является истинным значением стиха, который раввин прочитал ей из *«Пиркей Авот»*? Слова раввина вертелись у нее в уме,

словно детали головоломки в поисках соответствующей пары. Что-то в них беспокоило ее, и Эстер не могла привести понятия в соответствие.

– Ты была довольна, когда я нашел для детей учителя французского языка, а для сына – еще и учителя латыни, как и подобает людям нашего положения. И при этом ты хочешь, чтобы я избегал знаний и культуры моего народа. Но ведь твой дед умер не для того, чтобы мы отрекались от наших традиций.

Отец тоже теперь говорил на повышенных тонах. Эстер внутренне содрогалась, ожидая, что он вот-вот выйдет из себя, но все равно прислушивалась к каждому слову.

– В Амстердаме даже женщинам позволено изучать вопросы веры. И если Эстер хочет, то пусть учится. Знаю, многие с этим не согласны, но раввин Га-Коэн Мендес готов взяться за ее обучение. И я, как хозяин этого дома, – голос его сделался мягким, но не утратил решительности, – попросил его заняться ею. Не то чтобы я настаивал, Константина, хотя многие наши соседи считают меня дураком, потому что я терплю твои капризы.

Далее наступила долгая тишина. Эстер вновь зажмурилась и постаралась вспомнить слова, что сказал ей раввин. «Спасение жизни равноценно спасению мира». То есть, как говорят, тот, кто спас хотя бы одну жизнь, спас весь мир. Но если это так, то что тогда имеется в виду под словом «мир»? Сколько их и одного или разного они достоинства? Или же мир одной души столь же велик – или даже бесконечен, – как и мир, вмещающий в себя все Творение? И был ли мир Эстер, населенный ее родителями и братом, равен всему остальному миру, созданному Богом?

Но если все миры равны, то каждый мир, уничтоженный иезуитами, подобен остальным Божьим мирам. Но тогда как же можно быть уверенным, что сила Бога выше силы иезуитов?

Эта мысль напугала ее – уж не приблизилась ли она к еретическим измышлениям? Неужели даже в учебе она следовала по пути своей матери?

А отец продолжал говорить низким, но твердым голосом:

– Константина, мне не нужно напоминать тебе, что бы с тобой могло случиться в Португалии. А наша амстердамская община, против которой ты выступаешь, так или иначе способна тебя защитить.

Константина осталась неподвижна. Казалось, ярость совсем покинула ее, и следом пришла безнадежность.

– Ты запер меня в ящике, полном евреев, – тихо произнесла она.

Несмотря на то что на лице отца была написана усталость, в выражении его все же промелькнуло нежное сочувствие, и Эстер поняла, что любовь его к Константине вовсе не угасла, и если бы та позволила, он готов был обнять ее, чтобы утешить.

– Я не хотел, чтобы это превратилось для тебя в клетку.

Константина промолчала, но тут же ее лицо вновь омрачилось.

Она неопределенно махнула рукой, указывая на раскрытую книгу, что лежала перед Эстер, и коротко приказала:

– Оставь эту ерунду!

Эстер осталась неподвижной.

– Брось, я сказала!

Медленно, словно поднимаясь из глубины, Эстер встретилась глазами с темными глазами матери.

– Что ж, – в голосе Константины прозвучало странное одиночество. Но, несмотря на замешательство, она держалась прямо. – Возможно, ты настоящая еврейка.

И хотя эти слова были обращены к дочери, взгляд ее оставался прикованным к мужу.

– Но ты, Эстер, – продолжала Константина, – ты еврейка с иберийской кровью и родовым гербом.

Самуил как-то поник, словно утратил опору, которая поддерживала его до сих пор.

– Глупо кичиться чистотой крови, – негромко произнес он. – И титулом, купленным твоим прапрадедом, который не смог обезопасить семью.

Что бы ни сдерживало Константину до сих пор, теперь ее уже ничто не могло остановить. С легкой улыбкой, словно нанося смертельный удар, она произнесла:

– Тогда почему бы не рассказать ей, что мой род ведет свое начало от знатного англичанина-христианина?

– Я намерен защищать свою семью от твоего позорного наследия, как раньше, женившись, защищал тебя, – быстро проговорил Самуил.

Он обошел стол и направился к двери, однако Константина успела опередить его. Эстер услышала звук пощечины. Затем удаляющиеся

вверх по лестнице рыдания. Грохот затворившейся тяжелой двери, шум падения чего-то на пол, резкий вопль матери: «Джезус Кристо!» – и ее пьяный смех.

Когда Эстер вновь подняла взгляд, отца в комнате уже не было.

– Прости, – прошептала она в пустоту.

В доме стояла звенящая тишина. В льющемся из окна свете перед Эстер лежали книги, оставленные раввином для занятий. Она стала читать, строчку за строчкой. Сначала затаив дыхание, чтобы не спугнуть пока еще нетвердое понимание написанного. Немного погодя дыхание вернулось к ней.

Теперь, спеша по узким лондонским улочкам, она вспоминала те дни и увлекательные занятия за полированным столом в их амстердамском доме. Мать, заходя в комнату, проскальзывала мимо, не замечая Эстер; Гритген, служанка, аккуратно прибирала за ней.

Закончив с текстами раввина, Эстер принималась за французский трактат о душе, материи и ее протяженности в пространстве, взятый в отцовской библиотеке. Ее удивлял и завораживал контраст между христианским восприятием действительности и более сложными раввинскими текстами, которые Га-Коэн Мендес приносил с собой. Как казалось Эстер, христиане пытались понять механизм человеческой души: какие ее рычаги приводят в движение тело, а какие приводят к Божественному. А вот раввины как раз мало заботились о таких вопросах – их больше интересовало правильное исполнение воли Всевышнего. Как должна проявляться набожность в законах кашрута, в украшении дома или тела, в количестве повторений молитвы; как должны соблюдаться правила поведения в тех или иных обстоятельствах.

Разница между этими двумя концепциями – христианской и иудейской, – казалось, содержала в себе ключ к чему-то, что Эстер пока не могла определить. Должны ли христианин и еврей, душа и измеримый осязаемый мир, оставаться разъединенными? Или все же должна быть какая-то сфера, где человек – даже такой, как Эстер, худая, с вечно холодными руками и грудной клеткой, которая казалась слишком узкой, чтобы вместить достаточно воздуха для дыхания, – так вот, должна же быть некая сфера, где человеку было бы легче понять цель и смысл жизни? И почему раввины запрещали доводы так

называемых отступников, вместо того чтобы принять их к сведению и попытаться опровергнуть?

Старая служанка недовольно фыркала:

– Разве твоя мать не объяснила тебе, что делать с замаранными юбками? Или она слишком интересуется бутылкой, чтобы заметить, что ее дочь уже стала взрослой?

Кровь на пальцах, неприятный запах… пронизывающее ощущение неловкости и стыда. Чтобы отвлечься от тяжких мыслей, она придвигала поближе книгу и старалась следовать за ручейками мысли, которые сводились в потоки новых толкований и аргументов, которые обещали провести ее дальше Херенграхта, мимо затхлых вод городских каналов к истине такой ясности, что Эстер едва удерживала сознание.

Иногда она едва могла что-то промямлить в ответ на вопросы раввина. Иногда ей едва хватало дыхания, чтобы произнести требуемые слова, хотя ребе неизменно выслушивал ее с огромным терпением. В такие дни ее переполняли новые мысли, и Эстер чувствовала, что потолок и стены не вмещают ее и стоит ей заговорить, и весь дом содрогнется.

Но наконец Константина поняла то, о чем служанки знали уже не первый месяц. И уж тут даже Самуил Веласкес не мог ничего возразить жене: Эстер достигла подходящего для замужества возраста, а значит, ее обучение следует прекратить.

Яркий, полный красок мир отныне был закрыт от нее ставнями. Раввин вместе с преподавателями французского и латыни продолжали посещать их дом, но теперь они занимались только с Исааком. И хотя Эстер, занятая вышиванием или другими поручениями по дому, прислушивалась к урокам, они для нее теперь стали эхом утраченного. Притом Исаак оказался довольно-таки невнимательным учеником, и несчастным преподавателям приходилось по нескольку раз повторять с ним простейшие тексты и грамматику. Эстер иногда заходила в комнату для занятий с чаем или кружкой эля для учителя; часто она стояла у порога и подавала брату знаки руками, чтобы привлечь его внимание, однако Исаак никак не реагировал и лишь лениво пожимал плечами.

Книги, по которым училась Эстер, вернули в синагогу, и теперь, когда ей украдкой удавалось добраться до более простых пособий

брата, она вздрагивала от каждого шага, послышавшегося в доме, пока изучала плавные линии еврейских букв или французские и латинские фразы в прописях Исаака. Мать, казалось, почувствовала пробудившуюся в Эстер женственность и теперь смотрела на нее как-то по-особенному. Когда Самуэль Веласкес, чтобы выбить из сына дурь непокорности, взял Исаака с собой в торговый рейс, Константина почувствовала себя хозяйкой в доме.

– Рассказать тебе, Эстер, всю правду о любви? Послушай, что мне рассказала моя мать о том, как любовь разрушила ее сердце и заставило биться мое.

Тем летом в голове и душе Эстер воцарилась тишина – тишина хрупкая и выжидательная. Она растягивалась на дни, на недели в ожидании, что ее наконец кто-нибудь нарушит.

И вот, как будто вызванный этим молчанием, раздался рев, нарастающий рев огня. Ночь, залитая мятущимися сполохами крыша. Прыжок огненного языка от кровли к черному небу, словно оно притягивало его в свои объятия. Все выше и выше…

Потом прошел год. Протянулись пустые, лишенные всяких желаний месяцы. Исколотые иглами пальцы, тупая боль в груди, нетвердый, срывающийся голос. Застывшее, как маска, отсутствующее лицо Исаака. Эстер не могла даже выдавить из себя слово «простите», хотя при жизни матери оно легко срывалось с ее губ. Но теперь… Ей было очень стыдно, что неспособность произнести это простое слово коробит прихожанок синагоги, которые приютили и кормили их с братом.

С каждой неделей ропот становился все громче: что дальше? – вопрошали почтенные матроны. Что будет с этим светловолосым юношей, который держал роковой фонарь? Ведь суд Божий свершился через его руки… но что с ним делать, когда он несет проклятие на своей голове? Он мог бы стать портовым рабочим, но такое занятие было под стать христианам или евреям-тудеско, но никак не выходцу из португальской семьи. Ну а девушка? Вот увидите, как из любимой дочки уважаемого человека она превратится в обузу для всей общины. Почему она не плачет хотя бы по отцу – ну как будет с ней жить ее бедный муж?

Наконец, к великому облегчению кумушек, раввин Га-Коэн Мендес объявил через свою экономку, что берет на себя заботы о

сиротах. И что еще лучше – слепой раввин, который, как бы неприятно ни было это сознавать, сам являлся изрядным балластом для общины, заявил о своей готовности откликнуться на призыв Менассии бен-Исраэля нести свет учения в Лондоне. И хотя мало кто верил в то, что план Менассии увенчается успехом, было бы неплохо, если Лондон стал бы прибежищем для евреев. Кроме того, английская столица могла показаться заманчивой целью для невоспитанных тудеско, чьи вульгарные манеры порядком надоели амстердамской диаспоре.

И вот синагогальный кантор возгласил молитвы за успех начинаний Га-Коэна Мендеса, местные богачи подарили ребе красиво переплетенные книги, и вся троица вышла из-под опеки амстердамской общины.

Плеск волны о борт отходящего корабля многое может искупить.

Она шла по щедро удобренным навозом лондонским мостовым. Миновала потемневший от копоти фасад какого-то здания, вдоль которого прогуливались колченогие коты. Высеченный в камне ангел, затянутый плющом выгоревший дом. С каждым шагом она проникала все глубже и глубже под кожу города, вспоминая себя в юности – длинные юбки, широкие воротники, сходящиеся на шее… Та амстердамская девушка, которой она была до пожара, казалась ей теперь нарисованной фигуркой в рамке. Опущенные глаза ее застенчиво избегали робкого взгляда соседского мальчишки – глупость, дурацкая глупость! А теперь она, которую отец некогда привел в синагогу и с гордостью представил почтенному обществу, превратилась в пепел, мертвую золу. Эстер вспомнила величавую поступь Самуэля Веласкеса, вспомнила даже запах его шерстяного плаща, и у нее сдавило горло.

Да, она была пеплом, который когда-то был девушкой с неопределенными принципами, девушкой без вины виноватой, девушкой, которая отчаянно надеялась, что ее добродетель может гарантировать безопасность. Надеялась, что все буйное, мятущееся, чувственное в ее характере, все, что влекло ее и пугало одновременно, все это неизбежно будет подавлено и побеждено.

По узенькой улочке сновали мальчишки с набитыми песком мешками; раздавались вопли торговца чернилами; через ворота конюшни работники из москательной лавки перетаскивали грязные

баулы с селитрой. Вот молочница, не дождавшись отклика на стук в дверь, прислонилась лбом к серым доскам – вдруг все-таки кому-то понадобится молоко?

Вывески извещали прохожих о товарах: одна представляла собой вырезанную ступку с пестиком, другая была выполнена в форме пивной бочки, на третьей красовались чашки и тарелки – чтобы те из покупателей, кто не умел читать, знали, куда нести свои гроши.

Эстер почувствовала, что мостовая под ее ногами пошла вниз. Сначала уклон был едва заметен, но дальше улица круто нырнула к реке. Когда Эстер подошла к берегу, ей показалось, что дышать становится легче.

Да, возможно, в других районах города пуритане теряли свои позиции не столь быстро, но здесь, у реки, воздух грядущей свободы уже вовсю наполнял легкие. Протяжные команды, выкрикиваемые портовыми рабочими, и стенания чаек, казалось, звенели с едва сдерживаемым вызовом.

В просветах между зданиями поблескивала сталью и свинцом мощная серая река. Над водой маячил портальный кран, паром ожидал у причала пассажиров, под неспешным накатом волн на дне поблескивали какие-то белые обломки, напоминавшие голые кости.

Улица внезапно заполнилась народом, и Эстер с трудом пробивалась вперед. Она совсем было затерялась в толпе, ее несло по каменному коридору; ее толкали сзади и спереди, и наконец она очутилась в каком-то темном и узком проходе, напоминавшем туннель. Это был мост, по обеим сторонам которого ютились торговые лавки, а сверху нависали купеческие дома, закрывая небо над головой. Толпа постепенно замедлялась и углублялась в освещенные светильниками торговые ряды. Эстер не слышала и не чувствовала больше речного потока – вокруг нее теснились мужчины и женщины, которые, нимало не смущаясь, поджимали ее своими телами. Никогда еще до этого ее не касалось столько чужих людей, и Эстер невольно шарахалась от каждого прикосновения. Однако ей все равно некуда было деваться, и в этой давке Эстер вдруг ощутила что-то одновременно опасное и раскрепощающее. Она стала былинкой, ничтожной частицей этой толпы. Частицей, а не еврейкой, выжившей при пожаре, о котором судачили во всем Амстердаме.

Где-то впереди послышалось ржание – чья-то лошадь внезапно показала свой нрав, высоко взбрыкивая задними ногами. Ее хозяин предупреждающе заорал, толпа разразилась воплями, но скоро утихла. К Эстер притерло тощую, как скелет, наполовину облысевшую седую даму; какой-то белобрысый мужчина с растрепанными волосами беззастенчиво толкал Эстер в бок; с другой стороны ее, ничуть не смущаясь, подпирали две кумушки с младенцами на руках.

Когда Эстер увидела издали Лондонский мост, он показался ей широким пространством, с которого можно увидеть весь город целиком. Но на самом деле мост оказался артерией, по которой струился, пульсируя, многочисленный народ, то создавая заторы, то вновь прорываясь вперед. Со всех сторон Эстер толкали, теснили, и она невольно продолжала переставлять ноги, чтобы не упасть. Стиснутая со всех сторон чужими людьми, она иногда обмирала от внезапно охватившего ее страха, но незнакомые запахи, грубая ткань одежд и больно толкающиеся руки увлекали ее по течению, и тепло незнакомых тел согревало ее.

Сквозь просвет между двумя лавками виднелись река и весь Лондон по обе стороны моста. Город простирался далеко за крепостные стены, его здания густо облепляли речные берега. Под мостом послышался тяжелый грохот водяных валов, и Эстер увидела, как серые мутные волны бьются об устои, притом вниз по реке вода стояла гораздо ниже – примерно на высоту роста мужчины. Вода, подобно расплавленному стеклу, мчалась так бурно, что создавалось впечатление, будто сам мост вот-вот унесет вниз по течению. Толпа вновь подхватила ее, но Эстер, даже не успев привыкнуть к сумраку галереи, увидела впереди бледный проблеск выхода.

И женщины, и мужчины вокруг нее то освещались лучами солнца, то скрывались в тенях – и все они были и здесь, и где-то в ином мире, живые и отчужденные, и лица их озарял свет, и они были прекрасны. На мгновение Эстер показалось, что в этом темном туннеле люди отбросили присущую им настороженность и обступили ее, желая поделиться своими страстями и надеждами, жизнями и смертями… И в это мгновение она поняла, что готова простить их за все, за все ее страхи, что отталкивали ее от города. Ее сердце сжалось от сочувствия. В какой-то момент она была уверена, что мост готов сорваться со своих опор и унести их всех за пределы города. Но это

был всего лишь шум воды, отхлынувшей от речных берегов. В воздухе снова стали слышны крики чаек, брань портовых рабочих и сухой стук друг о друга деревянных барж. Ноздри Эстер пронзал запах речной воды, которая бурным потоком смывала очесы бытия. И она впервые в своей жизни поняла – это и есть свобода, та свобода, что искал ее брат.

Лондон кипел жизнью. И теперь эта жизнь проникла в ее существо. И она возбудила в ней желание, пламя, что полыхнуло через границы, некогда очерченные ею самой.

Эстер мучилась вопросом – а может ли желание быть неправильным, греховным, если оно присуще любому живому существу? Существо рождается, чтобы дышать, чтобы питать самое себя. Не должно ли оно указывать на цель жизни – быть поводырем совести? И само отрицание его не сделается ли скверной?

Ей казалось, что она впала в ересь – но то были ее собственные мысли. И тут ее словно ударило изнутри: вот в этом-то и есть истина – в этих теплых телах, в прикосновении рук, в том, что ей захотелось прижаться губами ко ртам тех, кто шел рядом с ней, и в этом прикосновении понять язык, на котором они говорят. Где-то далеко, за этим мостом ее ждали книги, еще не прочитанные и не подвергнутые сомнению – и не оспоренные, – поскольку теперь перед ней мало было невозможного, и Эстер полагала, что книжные мудрецы весьма слабы в понимании того, что больше всего ее интересовало, а именно воли, которая управляет существующим миром и приводит его в движение. Она прикрыла глаза и вся отдалась на волю толпы, что несла ее по своей воле, – и даже тогда ей виделись под закрытыми веками убористо исписанные страницы, и в ушах ее звучали голоса былых мыслителей. Каждый абзац, исполненный чернильного восторга, обрисовывающий очертания видимого мира на желтой как слоновая кость бумаге, черные отпечатки рассуждений. Но тем не менее в ее воображении руки, что переворачивали те страницы, были не ее, а чужими. И Эстер даже не смогла бы в тот момент ответить, чего хотелось ей больше – ощущать бумагу руками или написанные слова разумом.

А потом снова был свет, дневной, бледный… Шум речных вод остался позади, а спереди уже раздавался стук копыт по булыжникам брусчатки. Эстер поняла, что очутилась на другом берегу. Перед нею высились ворота, и она сразу не смогла осознать, что за зрелище ей

открылось. То ли камни, то ли древесные комли, то ли что-то еще, тронутое тленом, насаженное на пики. Смоляные волосы, обвисшие щеки напоминали обугленную бумагу… Головы. Залитые дегтем головы казненных за государственную измену преступников. Душу Эстер пронзил ужас, и она едва не грохнулась оземь. Ранее до нее доходили слухи, что правительство таким образом расправляется с неблагонадежными гражданами, – но вот сейчас она не могла ни отвести взгляд, ни пройти под этими зловещими свидетельствами правосудия. У одной головы был перекошен рот, а почерневшие глаза почти вылезли из орбит, что было бы невозможно для живого человека, не познавшего цены своих убеждений. Эстер едва не стошнило. Но живые тела продолжали подталкивать ее вперед, живые люди стремились на противоположный берег, не обращая внимания на покачивающиеся над ними полусгнившие черепа, намекавшие на то, что, возможно, скоро к ним прибавятся новые головы искателей правды. Эстер хотелось кричать в голос: да пусть никогда не узнается ваше истинное помышление, ибо петлей и огнем оно вознаградится!..

И все же ей хотелось понять, что именно подвигло этих людей на столь жуткую смерть.

Однако толпа несла ее дальше. Эстер потеряла равновесие, споткнулась и вдруг почувствовала себя одинокой на сквозящем ветру. Ужасные головы остались далеко позади, а вокруг нее обезлюдело. Она стояла на противоположном берегу, содрогаясь от неприятных прикосновений чужих тел, ног и рук.

Сотен рук, живых и мертвых.

Глава одиннадцатая

Лондон

1 декабря 2000 года

В хранилище рукописей царила тишина. За столами хлопали глазами невыспавшиеся аспиранты. Изредка слышалось шуршание переворачиваемых страниц. Кто-то скрипел карандашом, кто-то, потягиваясь, хрустел суставами, кто-то страдальчески вздыхал.

Хелен сидела за широким столом. На коричневой подложке перед ней лежала, сшитая толстым шнурком, рукопись из дома Истонов. Накануне вечером ей позвонила заведующая библиотекой, Патриция Старлинг-Хейт, и сообщила, что первая партия документов готова для исследования. Хелен приехала как раз вовремя – массивная дверь хранилища уже была отворена, и, ежась под совиным взглядом библиотекаря, Хелен выложила все свои письменные принадлежности, отдала сумочку и отключила мобильный телефон, и только после этих процедур та соизволила подняться с места и выдать ей требуемые бумаги.

Хелен уже успела прочитать три документа. Аарон тоже не отставал. На его рабочем месте лежало несколько бумаг, хотя сам он куда-то испарился. Впрочем, до закрытия библиотеки оставалась возможность прочитать еще несколько писем.

Заведующая снова прошествовала мимо. Как только она скрылась из виду, Хелен наклонилась над столом и украдкой втянула ноздрями воздух. От крохотного томика религиозных стихов исходил едва уловимый запах тлена – как на пожарище, когда огонь уже потушили, но запах опасности еще остался.

Хелен откинулась на спинку стула, наслаждаясь мыслью о том, что вся коллекция документов находится в консервационной лаборатории двумя этажами выше. С самого начала все складывалось удачно – особенно то, что стоимость документов оказалась хоть и высокой, но не запредельной. Оценщик заметил, что документы

относятся к периоду Междуцарствия и последовавшей Реставрации, и это, возможно, увеличило стоимость бумаг на тысячу фунтов. Однако Джонатан Мартин, ведомый своим неизбывным стремлением обойти Университетский колледж, умудрился изыскать дополнительные средства в закромах исторического факультета. Этих денег, вкупе со звонком проректора, хватило, чтобы побороть сомнения заведующей насчет приобретения находки. Конечно, если бы оценщик заметил ссылку на Спинозу, то Хелен вряд ли бы удалось вытребовать дополнительное время для ознакомления с бумагами. Но оценщики, равно как и специалисты по хранению, смотрели на документы как на артефакты – и лишь историки могли понять их истинное значение.

Но ключевые решения, когда дело касалось документов, выносили все же сотрудники библиотеки. И Хелен прекрасно понимала, почему Патриция Старлинг-Хейт, с которой она за несколько десятков лет едва перемолвилась парой слов, теперь выглядит особенно сурово. На ее месте Хелен бы рвала и метала. Действительно, для заведующей было несколько унизительно получить требование Джонатана Мартина приобрести какие-то бумажки, имеющие весьма отдаленное отношение к имеющейся коллекции (документы времен Междуцарствия можно было найти в Государственном архиве). Но как только состоялось оформление сделки, Мартин настоял на том, чтобы бумаги прошли консервационную обработку в первую очередь. Заведующая лабораторией – Патриция Смит – попыталась объяснить Мартину, что руководит лабораторией все же она, а драгоценные документы семнадцатого века вполне могут и подождать.

Хелен могла представить себе реакцию обеих Патриций, когда Джонатан Мартин не только не внял их доводам, но ясно дал понять, что каждый документ должен быть доступен для исследования, причем лаборатория и хранилище редких рукописей обязаны информировать все заинтересованные стороны о ходе процесса консервации (Мартин уже успел пообщаться с журналистами, объявив им о важнейшей исторической находке семнадцатого столетия). Разумеется, добавил он, в соответствии с законодательством, материалы должны стать достоянием общественности немедленно, но в данный момент им требуется специальная обработка в лаборатории.

Да, именно так, по воле амбициозного начальства и попирались законы о свободе информации, однако Хелен не могла не признать, что

все происходящее было ей на руку. Ирония судьбы заключалась в том, что она внезапно сделалась объектом особого внимания шефа, что не могло не льстить, хотя и почивать на лаврах было еще рано.

Так что царившая в помещении библиотеки атмосфера отнюдь не облегчала дыхания, особенно если учесть моральное состояние начальственных дам. Впрочем, ничего особенного тут не было: обе недолюбливали специалистов-историков. За многие годы работы Хелен порядочно наслушалась ламентаций на тему того, что историки рассматривают документы исключительно как источник информации, а не как памятники, имеющие самостоятельную ценность. Историки полностью теряли интерес к тому или иному свидетельству после того, как выкачивали из него всю нужную информацию. Патриция Старлинг-Хейт, например, однажды узрела комок жевательной резинки, прилепленный к странице иллюстрированной рукописи шестнадцатого века. А Патриция Смит, занимавшаяся пятнадцатым веком, горько сетовала на то, что могла бы спасти бесценную реликвию, если бы не гадкий ученый-историк, склеивший порвавшуюся бумагу куском скотча. Однажды в лифте Хелен повстречала разгневанную хозяйку лаборатории, которая не поленилась спуститься на несколько этажей, чтобы задать взбучку студенту, случайно проткнувшему карандашом лист какой-то рукописи. После зловещей паузы она положила перед опешившим историком поврежденный листок, словно врач, укладывающий пациента на кушетку, и даже не сказала, а каким-то свистящим шепотом сообщила, что на восстановление документа у нее уйдет не один час. Проследив за озабоченным взглядом провинившегося, Патриция не преминула намекнуть (при этом она напоминала самку, защищающую своего детеныша), что об успешной защите диссертации бедняге на время придется забыть.

Надо заметить, что Хелен, в принципе, одобряла такую строгость – где-то в глубине души она была солидарна с обеими Патрициями, ведь их непростая жизнь во многом напоминала ее собственную. Старлинг-Хейт во время войны была оставлена на попечение своей старшей сестры, пока их мать работала шифровальщицей в Блетчли-парке[19]. Патриция Смит воспитывала дочь, которая мнила себя балериной, а ее сын, некогда изгнанный из библиотеки, куда приходил спать, сидел на пособии по безработице.

О том, что обе Патриции думали о ней самой, Хелен не имела ни малейшего понятия.

Впрочем, в этот день она поняла одно: ее определенно считали за врага.

Раздался громкий хлопок, и Хелен вздрогнула от неожиданности. Бледный и тощий студент замер в полушаге от предательской двери, вытянув руку, словно пытаясь исправить свою оплошность. Пронзенный негодующим взглядом Старлинг-Хейт, он застыл, как зверек в свете фар.

Хелен скептически покачала головой и вернулась к работе. Книга была издана в тысяча шестьсот пятьдесят восьмом году. Перевод с иврита на португальский был выполнен неким Семионом де Эррера: «Благословенны живущие в Доме Твоем… Благословенны те, кто следует за Словом Господним…»

Обложка, обернутая в красную, цвета крови, кожу, заскорузла и покоробилась. Края страниц отливали золотом. И если не обращать внимания на потемневшие уголки первой и последней страниц, там, где бумага соприкасалась с кожей обложки, состояние книги было весьма удовлетворительным. Чернила не слишком испортили бумагу, только на обратной стороне иногда проступали следы пера, словно эхо начертанного стиха, – слова не оставались на своем месте, а продолжали звенеть, подобно звуку в колоколе.

Хелен сосредоточилась на новых строках. Текст был не очень сложный – в основном он представлял собой акростихи, многие из которых Хелен знала, хотя и не встречала именно в этом переводе. Но все же что-то ее смущало, хотя Хелен и не могла внятно сформулировать, в чем заключалась проблема. Работа, в общем, шла как по маслу, и она могла ответственно заявить, что в паре с Аароном им удастся ознакомиться со всеми документами до окончания срока действия разрешения. Но беда была в другом: бумагам уже присвоили инвентарные номера, что нарушило их первичный порядок расположения. Хелен с первого же момента показалось, что тот, кто разместил архив так, а не иначе, имел свои соображения на сей счет. Но вот теперь, после обработки документов, логика неведомого послания была нарушена, и Хелен чувствовала себя как человек, который пытается разглядеть большую картину через узенькую щелочку. Нынешняя молодежь, вроде Аарона, думала Хелен, именно

так и читает новости на своих компьютерах. А что там видно? Лишь заголовки да несколько строк текста. То ли дело газетный разворот, который дает ощущение нормального контакта с миром…

– У вас осталось пятнадцать минут, – объявила Патриция Старлинг-Хейт, неожиданно возникнув прямо перед Хелен.

– Страницу переверните, пожалуйста.

Патриция, несколько смягчившись, выполнила просьбу. Уже несколько лет Хелен не рисковала прикасаться к исследуемым бумагам, так как из-за тремора боялась повредить ценный документ. Патриция вежливо наклонила голову и удалилась.

В кабинете появился Аарон. Минут сорок тому назад он, ничего не сказав Хелен, просто встал и вышел, а теперь имел такой вид, будто самовольные отлучки с рабочего места являются привилегией американцев. Он отодвинул свой стул подальше от Хелен и положил перед собой подложку с лежащим в центре письмом.

– У нас есть только пятнадцать минут, – вымолвила Хелен.

Аарон вынул из кармана авторучку и, самодовольно ухмыльнувшись, щелкнул ею о нижний край столешницы. Хамство было его нормальной реакцией на замечания Хелен. Кроме того, он, нимало не смущаясь, с присвистом сосал леденцы, стоило лишь Патриции отвернуться. А сегодня он вообще сам взял документ и переложил его на другую подложку.

«Ладно, эти библиотечные мегеры так или иначе сделают из тебя отбивную», – подумала Хелен, стараясь сосредоточиться на тексте. Она записала перевод очередного стиха в блокнот. Это давалось ей с трудом, строчки ложились с большим интервалом, отчего страницы летели одна за одной, словно у неумелой школьницы, марающей прописи. Хелен крепче сжала пальцами огрызок своего карандаша, досадуя на свою медлительность. Впрочем, это вряд ли было следствием действия леводопы[20], так как Хелен перестала глотать таблетки еще несколько недель назад, что вызвало недовольство доктора Хэммонда. Зловредный препарат оставлял в мыслях Хелен существенные пробелы, и ей казалось, что она путешествует по бескрайнему океану, лишь изредка наталкиваясь на крошечные островки памяти. Нельзя сказать, что ощущение это было таким уж неприятным, и в этом-то и заключалась проблема. Просыпаясь посреди ночи от тишины, царившей в ее мыслях, Хелен впадала в

ярость. Она не могла определить границы собственного разума. Та тишина, что мучила ее, означала поражение. И Хелен дожидалась утра, дрожа от ужаса в своей тонкой ночной рубашке. Она боялась снова уснуть, чтобы не потерять окончательно остатков сознания, и руки ее попеременно тянулись то к горлу, то к вискам.

Доктору Хэммонду она сказала, что предпочитает тремор, чем такое состояние.

Однако сегодня ее разум был так же устрашающе пуст. Да что ж это такое?! Хелен хотелось встать и пройтись по кабинету, чтобы размяться, но она боялась, что на нее нарычит Патриция – мол, хождение представляет опасность для старинных бумаг. Да, какая же ирония судьбы: ей повезло обрести бесценные документы, но поздно – не осталось сил. Последнее время Хелен перестала бороться с усталостью. Вместо того чтобы встать и пройти в соседнюю комнату за какой-нибудь понадобившейся вещью, она предпочитала вообще обойтись без нее. Или несмотря на то, что картридж в принтере уже дышал на ладан, Хелен использовала его до последнего, хотя ничто не мешало ей съездить в магазин и купить новый. Она была слишком слаба – эта мысль впервые посетила ее, – чтобы сложить воедино кусочки головоломки, каковую являли собой древние манускрипты.

У Аарона заверещал мобильник. Хелен вздохнула. Обе Патриции, словно валькирии, безмолвно появились из ниоткуда, одновременно указывая на распечатанное предупреждение о запрете сотовых телефонов. Аарон посмотрел на дисплей, выключил телефон и, застенчиво пожав плечами, сунул в карман, сделав вид, будто просто забыл о нем.

Обе Патриции сверкнули глазами, но отступились.

Хелен встала со своего места, подошла к Аарону, который еще не успел убрать с лица ухмылку, и заглянула в лежавший перед ним документ. Это был список книг, содержащих правила по соблюдению Песаха.

– Писала не Алеф, – заметила она.

– Да, вероятно, это сменивший ее писец, – кивнул головой Аарон. – Думаю, к тому моменту она уже перестала заниматься этим делом.

– Нет, – возразила Хелен, несколько резче, чем намеревалась. – Возможно, Алеф уже не работала у раввина, но писать не перестала.

– А вам-то откуда знать? – спросил Аарон, возведя глаза к потолку.

Судя по всему, замечание задело его.

– Вы же видели ссылку на Спинозу?

Хелен попыталась правильно сформулировать мысль: если уж женщина рискнула упомянуть три слова из сочинения запрещенного философа в письме раввина в тысяча шестьсот пятьдесят восьмом году, то она бы не остановилась на этом.

– Нет, Алеф не могла просто перестать писать.

Аарон скептически покосился на Хелен. Да и она сама понимала, что ее рассуждения выглядели нелепыми и даже кое в чем небескорыстными. Помешать Алеф продолжать работу могло множество обстоятельств, и со стороны Хелен было несколько самонадеянно приписывать свои желания девушке семнадцатого века.

– Все, что нам с вами известно, – промолвил Аарон, – так это факт, что женщина некоторое время проработала писцом. И это само по себе удивительно и необычно. Я хочу сказать, – тут он приподнял бровь и посмотрел на Хелен сверху вниз, – что ее упоминание о Спинозе, по вашему мнению, свидетельствует о бунтарском характере этой девушки. Но вполне возможно, что она просто была вынуждена записывать продиктованные ей слова. Или же раввин заметил, что, мол, до него дошли слухи, будто бы Спиноза развивает пантеистическую идею, и надо бы написать возражения на сей счет, так что пометьте для себя, чтобы не забыть. И девушка записала это напоминание на первом листе, что оказался у нее под рукой.

Конечно же, слова Аарона были весьма близки к истине. Пока что… Было что-то в этом молодом человеке, что смущало Хелен, хотя она не рисковала признаться ему в такой мысли. Только теперь она вспомнила, что собиралась избавиться от него после трех дней, проведенных на квартире у Истонов, – пусть даже он и проявил себя высококлассным специалистом, но Хелен спокойно могла бы подобрать себе более сговорчивого помощника. Но почему-то не сделала этого и теперь мучительно пыталась припомнить, по какой причине.

– Американцы, кажется, называют это «нестандартным мышлением», – сказала она.

Вместо ответа Аарон дернул плечом, как бы говоря: «Но не я».

– Мы закрываемся, – раздался голос Патриции.

Без особых церемоний заведующая библиотекой отобрала подложку с рукописью сначала у Хелен, а затем и у Аарона, предоставив им собирать вещи.

В кабинете у Хелен Аарон распечатывал на подрагивавшем принтере сделанные за минувший день переводы, когда кто-то постучался в дверь. Открыв, Хелен увидела перед собой секретаря Джонатана Мартина. Это была весьма миловидная женщина средних лет по имени Пенелопа Бэбкок, с очаровательным взглядом лани.

– Я решила заглянуть к вам, – произнесла Пенелопа, вежливо улыбнувшись идеально накрашенными губами, – сообщить, что Джонатан Мартин собирается предоставить рабочей группе Брайана Уилтона доступ для работы с ричмондскими рукописями.

– Что, простите? – выдавила Хелен, сжав дверную ручку.

– Брайан Уилтон, – повторила секретарь, – теперь допущен к работе с документами из Ричмонда.

Хелен что-то неопределенно промычала.

– Брайан приступит к работе со следующей недели, – добавила Пенелопа, улыбаясь уже во весь рот. – Уверена, что он и его ребята не помешают вам.

Хелен ничего не ответила, и Пенелопа недоуменно вскинула брови.

– Как вам известно, – сказала она, – Брайан – ученик Мартина. А Джонатан всегда любезно предоставляет своим бывшим студентам возможность проявить себя.

Судя по всему, Пенелопа сильно повздорила со своим шефом из-за того, что тот не предупредил Хелен о миссии Брайана Уилтона, и теперь старалась как-то загладить промашку. Вообще, Пенелопа очень внимательно относилась к своей работе, и, как подозревала Хелен, причиной тому были постоянные разговоры сослуживцев о ее отношениях с Джонатаном, и глупо было бы упрекать ее за это.

Однако какими бы мотивами ни руководствовалась Пенелопа, Хелен следовало поблагодарить ее, согласившись с тем, что благоволение шефа к своему бывшему наперснику являлось истинным проявлением рыцарственности. Но Хелен продолжала молчать, будучи

не в силах вымолвить хоть слово. Так, ничего не сказав, она затворила дверь перед смазливым лицом Пенелопы.

Прижавшись лбом к двери, Хелен почувствовала, как от осознания совершившегося предательства ее пробрала дрожь. Ощущение было такое, словно с плеч соскользнуло что-то теплое, согревающее, поддерживающее жизнь. На мгновение ей вспомнилось, как она стояла перед лестницей в доме Истонов, как перед нею открылся тайник, наполненный приглушенными голосами, которые были заточены в ловушке некогда роскошного дома.

Рукописи терпеливо ждали несколько столетий, чтобы их перевели – именно она! Но не глупость ли полагать, что эти страницы, свидетельства существования давно исчезнувшей еврейской общины, были написаны лишь для Хелен, чтобы наконец умиротворить ее сердце после стольких лет? И не слишком ли пафосно считать, что она положила ради них свою жизнь?

Может, и так. Возможно, она отчаянно нуждается в этой иллюзии – верить, что еще не все надежды похоронены.

Аарон стоял у стола с распечатками переводов. Хелен показалось, что он хочет что-то сказать, но он промолчал.

Она села, открыла блокнот и растерянно воззрилась на страницу, исписанную по-детски крупными каракулями. Аарон, как будто догадавшись, что коллеге нужно некоторое время, чтобы прийти в себя, поставил на пол сумку и принялся разбирать бумаги.

Хелен пробежала глазами несколько страниц. Аарон продолжал хранить гробовое молчание.

– Вы понимаете, что сейчас сказала Пенелопа? – услышала она свой голос.

Аарон, не меняя позы, взглянул на Хелен с такой нежностью, что у нее перехватило дыхание.

– Думаю, все будет в порядке, – произнес он. – Это целиком ваше достижение. Да и кроме того, самое важное – это ознакомиться с документами *in situ*[21]. Так что у нас имеется кое-какое преимущество.

И здесь она была согласна с Аароном. Он действовал на нее успокаивающе, словно старший брат, который всегда придет на помощь.

Аарон выпрямился и протянул ей два листка с текстом. Хелен молча просмотрела их – в первом письме, адресованном раввину Га-

Коэну Мендесу, амстердамский книгопечатник запрашивал, сколько лондонской общине требуется молитвенников, а второе подтверждало количество отправленных книг.

Пока Хелен читала, Аарон смотрел в сторону от ее рабочего стола. Наконец она закончила и сложила бумаги:

– Хватит на сегодня.

Но Аарон, как ей показалось, не спешил уходить. Он согнул шею, намотал шарф, застегнул пальто и сложил бумаги в свою сумку. Потом, распрямившись, указал на картинку, что висела над камином:

– И все же, почему именно Масада?

Хелен взглянула на изображение горной вершины и вдруг поняла, как с годами сильно поблек эскиз. Она даже не знала, как звали самого художника. Это был солдат в увольнении, который развернул на капоте джипа альбом для рисования и старательно заполнял его страницы. Хелен нетрудно было убедить его отдать ей один из рисунков – в пятьдесят четвертом она была весьма привлекательной особой, и рябоватый боец, который вблизи выглядел еще более худым, чем издалека, видел только бедра девушки, обтянутые юбкой, не замечая металла в ее глазах.

Теперь, скорее всего, тот смущенный солдатик, в чью мозолистую руку Хелен вложила несколько монет, давно уже нянчит внуков, если жив, конечно. Ведь прошло уже столько лет… Хелен села обратно, не сводя глаз с силуэта горы.

Аарон подошел ближе к рисунку, и его подстриженные кудри закрыли обзор. Сегодня он был необычно мягок – Хелен не могла не заметить этого. Он словно собирался против воли задать некий вопрос.

– Мне кажется, – медленно произнес он, – что этот пейзаж вам весьма дорог.

– Это почему же? – резко спросила Хелен.

Аарон повернулся, и она поразилась нерешительному выражению на его лице.

– У меня там подруга. Немного дальше, к северу. Живет в кибуце.

Но Хелен была на сто процентов уверена, что у таких, как Аарон, не бывает просто подруг. Нет, либо близкие девушки, либо обозленные бывшие…

Аарона явно что-то терзало изнутри. Какая-то история, которая рвалась наружу, но которую он не мог рассказать. Ему как будто

хотелось, чтобы Хелен зацепилась хоть за что-то в их разговоре.

– Я ездила туда туристкой, – сказала она.

От собственной лжи ее передернуло, а душу кольнуло сожаление.

Аарон как-то странно посмотрел на нее, словно не веря, что такая, как Хелен, могла быть туристкой, то есть человеком, способным делать что-то только ради собственного удовольствия.

Хелен кивнула на бумаги, лежавшие на столе:

– Вы можете идти.

Аарон чуть замялся, а потом вышел, притворив за собой дверь.

Хелен взяла со стола авторучку, поставила ее вертикально, слегка прижала пальцем и некоторое время держала ее в таком положении. Затем поднялась на ноги, уже не в силах справиться с собой. Ее всю трясло.

Почему бы не рассказать Аарону все?

Вопрос был просто безумным, но Хелен безжалостно для себя ответила на него положительно. Она рано поняла, что в мире нет того, кто мог бы проникнуть в человеческую душу и исправить ее. Можно превратиться в самое жалкое существо, но никакой бог или святой не протянет тебе спасительную руку и не остановит тебя. А если нет такого внешнего ревизора, то, значит, нужно упорно и беспощадно препарировать свою душу самостоятельно. Именно так она и поступала при каждом значительном повороте в своей жизни – и вот снова ей суждено предстать перед собой в виде безжалостного следователя, даже если ей придется затронуть те немногие нежные чувства, которые еще оставались в душе.

Действительно, почему бы ей и не рассказать Аарону свою историю – тогда будет шанс на то, что хоть какая-то искорка, частица того, чем некогда была Хелен Уотт, продолжит жить после нее? Или же Хелен боялась воскресить в памяти то время, когда ей пришлось принять решение, которое виделось тогда единственным и несомненным, – если же теперь станет ясно, что Хелен оказалась неправа, то это станет для нее катастрофой.

Когда последний раз у нее возникало искушение нарушить молчание? Хелен уже и не помнила. То, что в свое время пылало и кипело в ее душе, давно прогорело и остыло, а привычка держать язык за зубами с течением долгого времени превратилась во вторую натуру.

Значило ли это, что Хелен собиралась унести свое прошлое с собой в могилу? Определенно. Только могила. И тогда все наконец закончится.

Прах…

Сколько раз с тех времен клетки ее тела заменялись новыми? Впрочем, какая разница? Она до сих пор продолжала чувствовать сухую жару, давящую на раскаленные крыши армейских бараков, джипы, запыленную форму цвета хаки… Чистка огурцов тупыми ножами, препирательства поваров на кухне, резка помидоров, от которых саднило царапины на руках, и обезжиренный кефир, ставший всеобщим проклятием в молодом еврейском государстве. Однообразная еда, буквально одно и то же каждый день, и однажды какой-то танкист взобрался в столовке на стул и продекламировал стихи о метеоризме, а кто-то из поваров запустил в него грязной тряпкой, и который уже раз из репродуктора доносится «Финджан»[22] в исполнении группы «Геватрон», и люди плачут по ночам, – спустя одиннадцать лет после окончания войны люди продолжают оплакивать своих отравленных в газовых камерах братьев, своих расстрелянных и сброшенных в ямы матерей. Слушая эти рыдания, Хелен часами смотрела в темный потолок, пока как-то раз одна девушка с черными глазами и вечно стиснутыми зубами (кажется, она была из разведотдела) не рявкнула во тьму: «Угомонитесь вы там!» – и на койках постепенно все затихло, и слышно было лишь сонное посапывание. И только Хелен не могла уснуть. Она вставала и смотрела в окно или выходила на воздух, чтобы пройтись по территории базы, сопровождаемая хмурым взглядом часового, над головой которого сияли яркие звезды.

Но вот когда над пустыней вставало солнце, постепенно гася звезды, одинокие ночные всхлипы сменялись дружным хором: «Мы!» Мы строим еврейскую нацию! Мы заставляем цвести пустыню! «Мы» было самым сильным, смертоносным словом, и подвиги, которые совершались под этим лозунгом, были ошеломительны, прекрасны и исполнены любви. И арабы, что проходили мимо по пыльным дорогам, отводили глаза или смотрели себе под ноги. А белая английская кожа Хелен выгорала на солнце, ее нос наполняли запахи пустыни, и она ощущала себя соучастницей, свидетельницей истории, и люди вокруг нее боролись, пели, ссорились, а она старалась удержать себя от искушения…

Добровольцы, приехавшие вместе с Хелен, – канадец, англичанин, пятеро американцев и итальянец – все были евреями. Они подписались на работу в кибуце, однако так и не попали в него. Минут сорок они просидели в душном автобусе, любуясь на далекий пальмовый сад, что возвышался над белой как мел пустыней. Снаружи гоготала толпа обутых в сандалии израильтян, пускающих клубы сигаретного дыма. Наконец тот из них, кто знал по-английски, вскочил на ступеньку автобуса и объявил, что нынче в кибуце и так избыток добровольцев и коек на всех не хватает. Но есть, добавил он, еще один вариант. Кто-то подсказал, что неподалеку расположена военная база, где как раз не хватает рабочих рук. Люди из кибуца быстро посовещались и согласовали отправку туда новеньких. Кто-то захлопал.

Был уже полдень, когда автобус, громыхая, вырулил на главное шоссе.

– Поставьте нас туда, где от нас будет как можно больше толку! – нараспев произнес высокий канадец по имени Уолтер.

Офицера, занимавшегося адаптацией добровольцев, звали Дрор. Вечером, после прибытия новичков он выстроил их на усыпанной камнями площадке. Залитый оранжево-розовым светом заката, он с недовольным видом расхаживал перед строем в пыльной форме цвета хаки. Дрор был подтянут и прям как палка, но добровольцы стояли «вольно».

– Посмотрите вокруг! – сказал офицер сначала по-английски, потом на иврите.

Новоприбывшие послушно завертели головами. Несколько десятков невысоких зданий, радиомачта, водонапорная башня, за которой стояли танки.

Дрор указал на восток, где темнели холмы. Понизив голос, он то говорил по-английски, то переходил на иврит, вглядываясь в лица людей.

– Вон там, вон, где темная гряда камней, – это Иордания. На юге, – Дрор повернулся в другую сторону, – Саудовская Аравия. А вон там – Египет. На севере – Сирия и Ливан. Полдня пути.

Он перевел взгляд на строй:

– На том месте, где вы сейчас стоите, недавно была война. И она не закончена.

Дрор чем-то напоминал благородного и стройного библейского героя – густые черные волосы, высокий лоб, красивое угловатое лицо.

– Наша база невелика, – продолжал Дрор, – но именно от нас зависит безопасность этих территорий. Если вы продержитесь здесь полгода, то поймете, что я имею в виду. Но если вы думаете, что приехали сюда отдохнуть, – лучше сразу езжайте домой. Там, откуда вы родом, люди обращают внимание на ранг и престиж. Здесь же вам могут поручить такую работу, которая может показаться вам ниже вашего достоинства. Если так, то уходите сейчас. Но ведь кто-то должен чистить гальюны? Кто-то должен стирать? У вас на родине уже забыли, что один человек способен менять мир. Но здесь все, что бы вы ни делали, имеет огромное значение. Каждая вещь, всякая работа – это творение.

В этот момент перед строем вышел член кибуца, который привез их на базу:

– Я сегодня вернусь в кибуц, но вы не переживайте, – сказал он по-английски. – Мы сделаем все, чтобы обещанные вам образовательные программы, выезды и все остальное, что обещал волонтерский комитет, было реализовано. А Дрор, как бы мрачно сейчас он ни смотрел на вас, позволит мне уговорить его освободить вас от дежурств.

С этими словами он хлопнул офицера по плечу и добавил:

– Дружище, ты тоже сможешь поучаствовать в наших мероприятиях. Будешь нас охранять. Заодно отдохнешь от службы.

В ответ Дрор нахмурился, покачал головой – и вдруг широко улыбнулся. Он взмахнул рукой, словно собираясь свернуть тому шею, но этот жест оказался братским объятием. И приятели направились в сторону столовой.

Хелен работала на кухне. Она нарезала помидоры и мыла персики, что привезли из северного кибуца. От прикосновений к их пушистым шкуркам ее руки от ладоней и до плеч покрылись мелкой и весьма болезненной сыпью. Во время обхода Дрор обратил внимание на ее жалкие попытки справиться с горой фруктов и позвал:

– Нурит!

Нурит, занимавшаяся готовкой, отставила кастрюлю с вареной свеклой и подтолкнула Хелен к горе огурцов. Она вложила новенькой

в руку нож с таким снисходительным выражением, как будто уже убедилась в полной непригодности Хелен к какому-либо созидательному труду.

Дрор задвинул ногой ведро в угол, чтобы об него никто не споткнулся, и, усмехнувшись, произнес:

– Вот он, наш английский цветок!

И вышел из кухни.

Хелен трясущимися руками принялась чистить огурцы, крепко сжав губы от обиды.

Над Хелен на втором ярусе спала Мюриэль. Война застала ее в Румынии совсем девочкой. У Мюриэль была одна особенность: она никогда не раздевалась даже перед солдатами-женщинами, впрочем, о причине этой причуды у нее никто и не спрашивал. На лице девушки всегда было выражение сдержанной оживленности, которое Хелен наблюдала только у жителей Центральной Европы, – пронзительная уверенность в том, что жизнь продолжается, несмотря ни на какие беды.

Когда солдатам стало известно, что Хелен не еврейка, никто никак особенно не отреагировал – некоторые даже одобрительно покивали. И лишь Мюриэль отнеслась к этому негативно. Узнав, что Хелен будет ее соседкой по койке, она громко и недвусмысленно выругалась. Как-то раз она, сидя на верхнем ярусе, пролила воду, залив постель внизу. Потом, остригая волосы, засыпала всю подушку Хелен. Та всю ночь проворочалась, страдая от колючих обрезков – словно Мюриэль мстила ей за то, что та спала девятнадцать лет на кремовых простынях в спальне с кремовыми обоями… или за тот возглас матери Хелен за завтраком: «Это что, все из-за Ноттинг-Хилла[23]?!»

Решение Хелен ехать в Израиль было связано с беспорядками; с хоралом «Блаженны непорочные», исполненным на школьном концерте в богато украшенной часовне, последние ноты которого были заглушены формальными аплодисментами… А потом последовал разрыв с подругой детства, которая обиделась на нее только за то, что Хелен ушла с вечеринки, показавшейся ей скучной; потом Хелен спрятала авиабилет в словарь иврита, уверенная в том, что ее заботливые родители не станут рыться в ее вещах, – да мало ли было

причин, которые сподвигли Хелен бежать от омерзительной и непонятной действительности.

По утрам, когда все ждали, пока Мюриэль переоденется в туалетной кабинке, Хелен рассматривала свое бледное отражение в кривом зеркале над раковиной, пытаясь вытравить из него английскую максиму: вежливо аплодировать и всегда быть выше спора.

Прошло несколько недель. Хелен перевели с кухни на полигон для сбора отстрелянных гильз. Затем она кидала камни в кузов медленно ползущего рядом грузовика: нужно было очистить поле, на котором планировалось строительство аэродрома. Она слушала болтовню девушек и с каждым днем все лучше понимала их язык, хотя даже не пыталась встрять в чужой, исполненный радости и надежд разговор.

На полигоне она вместе с другими добровольцами обучалась у Дрора практической стрельбе. Отдача маузеровской винтовки была довольно сильной, но она чувствовала себя неплохим стрелком: все ее пули угодили в грудь и голову ростовой мишени. Дрор одобрительно кивнул, похвалил ее и переключился на остальных.

В полукилометре от базы Хелен и еще несколько девушек вручную замесили бетон и сделали стяжку пола для будущего барака – хотя зачем он был там нужен, им никто не объяснил. По окончании работы их направили на другие задания – так прошло еще несколько недель. Дрор очень негодовал на офицера-интенданта, который тянул с поставкой материалов для стен и крыши барака. В конце месяца Дрор поручил девушкам покрасить пол. Всю их команду вновь привезли на участок строительства и снабдили краской, кистями, водой и одним пистолетом – для самообороны.

Бетонный пол посреди пустыни, а вокруг ничего, кроме камней да пыльной дороги. Выполнив половину работы, девушки присели на лишенную малейшей тени каменистую землю. Солнце стояло уже высоко, и гимнастерка Хелен промокла от пота. Ближе к полудню приехал Дрор и привез бледно-зеленую дыню. Он разрезал ее ножом на капоте джипа, и девчонки ели сочные ломтики прямо руками. Дрор молча курил, опершись на крыло автомобиля, а когда все доели, собрал корки в полиэтиленовый пакет.

– Теперь пейте, – сказал Дрор, показывая на полную канистру с водой, что стояла рядом с окрашенной стяжкой.

Хелен со своими товарками послушно наполнили фляги.

– Это верблюжья моча! – заявила Мюриэль.

Дрор хохотнул, как будто разговаривая с неразумной и дерзкой сестренкой:

– Ну и пей тогда верблюжьи ссаки!

Мюриэль дернула подбородком, и все остальные девушки осеклись.

– Это испортит цвет лица.

– Да возжаждут во пустыне…

– Если будет надо, мы выпьем.

– Тогда пей, – устало, но твердо, словно оканчивающий семейный спор отец, ответил Дрор.

Хелен обратила внимание на то, как напряглось лицо Мюриэль – та явно была обижена на Дрора… и влюблена в него. И еще ей стало ясно, что, судя по тому, как Дрор неторопливо устраивался на водительском сиденье, он предпочитал не знать об этом факте.

– Пейте, – сказал он, заводя мотор. – Едва ваш организм почувствует жажду, он уже обезвожен. Это все-таки пустыня. Не будьте дурами. Пустыня не щадит глупых.

Эта мысль, казалось, раздражала его, и он говорил отрывисто и жестко. Дрор развернул джип по короткой дуге и двинулся обратно на базу.

– Хайль Гитлер! – крикнула ему вслед Мюриэль.

На мгновение машина клюнула носом, но Дрор с непроницаемым лицом продолжил свой путь.

– Проживи два года под бомбежками, – не унималась Мюриэль. – Вот тогда я, может быть, послушаюсь твоих советов!

Горизонт застилало белое облако пыли, поднятой колесами джипа.

– Да что на тебя нашло? – удивилась одна из девушек. – Он потерял на войне мать и сестру.

По лицу Мюриэль было видно, что она ничего не знала об этом. Но тем не менее она хрипло рассмеялась, взяла флажку своей соседки и разбрызгала ее на каменистую землю.

Хелен молча наблюдала, как испаряется вода.

Когда земля полностью высохла, хозяйка фляги смиренно пожала плечами и молвила:

– А ведь он симпатичный парень. Жаль только, что малость того…

Той ночью Хелен слышала, как на своей койке тихо плачет Мюриэль.

Хелен пришло письмо от отца:

> Твоя мать сказала мне, что ты до сих пор не назначила дату своего возвращения. Твое путешествие несколько затянулось, и кажется, что пришло время окончить его. В жизни каждого человека есть свой путь, и с него нельзя надолго сойти без негативных последствий. И поэтому мы с мамой просим тебя прямо сейчас забронировать обратный билет. Ждем твоего возвращения.

Хелен провела на базе уже два месяца. Однажды в столовой, покрывая лязг металлических подносов, раздались крики. Как выяснилось, танкист, перегнувшись через стойку, выговаривал рыжеволосой посудомойке что-то по поводу сползших друг с друга подносов, в результате чего он пролил горячий суп. Посудомойка выглядела совершенно безмятежной, даже когда вопли танкиста переросли в рев.

Хелен наполнила свою тарелку резаными помидорами и огурцами и подошла к волонтерскому столику.

– В чем дело-то? – осведомилась она, присаживаясь.

Студент-еврей из Италии в очках с толстой черной оправой пожал плечами:

– Да вон тот парень, – он указал на солдата, – был в лагере еще ребенком. А эти ребята нипочем не успокоятся, пока не выгребут все без остатка.

Он посмотрел на Хелен и добавил:

– А чего еще от них ожидать?

Интересно, подумала Хелен, есть ли какой-то предел, перейдя который она сможет понять этих людей? Она стала смотреть, как едят еврейские добровольцы.

Крики прекратились. Солдат-танкист медленно прошел между столами и сел в самом дальнем конце обеденного зала. Однако

посудомойка еще не закончила, – перегнувшись через прилавок, она дождалась, когда в ее сторону повернется достаточно любопытных голов, а потом, устремив пристальный взгляд на танкиста, покрутила пальцем у виска: мол, дурак ты, и больше ничего.

В мгновение ока солдат вскочил со своего места, схватил металлический кувшин и, держа его перед собой, словно палицу, ринулся к стойке. У Хелен что-то кольнуло в животе, когда он пронесся мимо нее и перепрыгнул через стойку. Выругавшись, посудомойка увернулась от удара и захлопнула перед носом танкиста кухонную дверь. С диким грохотом тот треснул кувшином по дверному полотну. Рядом стояла открытой вторая дверь, но танкист упорно продолжал молотить покореженным сосудом по возникшей перед ним преграде. То ли он хотел напугать этим зловредную посудомойку, то ли вынести дверь напрочь. Кувшин совсем потерял форму, расплющился и вдруг лопнул. Брызнула кровь. Через мгновение через стойку перемахнул Дрор и попытался скрутить танкиста.

Сцепившись, оба тяжело повалились на цементный пол.

Еще пару секунд спустя Дрор поднялся на ноги и с выражением боли на лице стал отряхивать свою рубашку. Одной рукой. Затем едва заметным жестом, словно не желая унизить противника, он приказал тому встать.

Хелен было подумала, что танкист плюнет офицеру в лицо – такой яростью сверкали его глаза, когда Дрор сбил его наземь. Но когда солдат встал рядом с Дрором, ярость в его глазах потухла и взгляд стал ясным. Солдат опустил голову и молча стоял, а Дрор аккуратно, даже деликатно вытащил злополучный кувшин у него из рук. Затем, обмотав поврежденное запястье танкиста кухонным полотенцем, он вывел парня через главный вход столовой и повел по направлению к кабинету командира.

После обеда Хелен, вооружившись шваброй и тряпками из подсобки, что располагалась за кухней, принялась наводить порядок в свете одинокой тусклой лампочки, горевшей на фоне грязноватого потолка. Мимо ее сандалий иногда пробегали тараканы размером с большой палец ноги, и их черные панцири поблескивали в слабом свете.

Зайдя в кухню через заднюю дверь, чтобы закончить уборку, она увидела Дрора, который стоял один посреди обеденного зала, прижимая руку к груди. Он выглядел так, будто бы зашел сюда, в этот храм с никелированными столешницами и перевернутыми пластиковыми контейнерами, с некоей целью, да только забыл с какой.

Хелен прошаркала сандалиями по крашеному цементному полу и наклонилась за ведром с грязной водой. Вылив его в раковину, она вновь стала наполнять ведро, слушая, как звонко плещет о металл вода. Подняв глаза, она увидела, что Дрор внимательно наблюдает за ней, словно раньше и не подозревал, что рядом с ним есть кто-нибудь живой. А быть может, ему просто было очень больно, так как свою поврежденную руку он рассеянно поглаживал, как ласкают маленького ребенка, чтобы тот перестал плакать. Дрор всегда выглядел очень уверенно и твердыми шагами приближался к своей цели, и теперь, застав его в минуту рассеянности, Хелен не знала, как вести себя.

Не отрывая взгляда от швабры, она макнула ее в холодную воду, отжала потяжелевший серый ворс и раскинула его по полу, стирая кровавые брызги. Тем временем Дрор сосредоточенно смотрел на Хелен, как будто искал в ее действиях ключ к некоему пониманию, которое пока не мог найти.

Хелен домыла пол и уперлась шваброй в ноги офицера. Она подняла голову.

– Никогда еще не видел такого искреннего лица, – произнес он с выражением облегчения, словно эта мысль, наконец прояснила его разум.

На следующий вечер он явился в расположение части с загипсованной рукой. Солдаты на террасе перед столовой курили и слушали музыку. Хелен пристроилась в сторонке, потягивая персиковый нектар из банки. Шестеро солдат танцевали на открытой площадке, в пределах слышимости проигрывателя, в компании американских добровольцев, неуклюже шлепавших ногами, отставая от ритма. В воздухе пахло пылью, эвкалиптом и солдатскими папиросами. Кто-то поставил запись песни *«Эрев Ба»*[24], и раздался одобрительный гул. Из-под тени со своих скамеек вышли еще солдаты и присоединились к танцующим, которые, выстроившись в изогнутую линию, то сходились, то расходились мелкими шажками. Американцы отошли в сторону, чтобы посмотреть на танцоров. Хелен увидела, что

Дрор зажмурил глаза и сидел так долго. Потом он поднялся с лавки, где курил в одиночестве, каблуком затушил папиросу и, ни на кого не глядя, занял место среди танцующих. Танцоры в форме цвета хаки шагали и покачивались в наступивших сумерках, и Дрор двигался вместе с ними, бесшумно поворачиваясь в темноте, вытянув перед собой руку в белом гипсе, а другая его ладонь была прижата к груди, как бы выражая совершенную невинность.

Когда совсем стемнело, он подсел к Хелен и острием ножа очистил апельсин, ловко орудуя здоровой рукой. Несколько танцоров еще двигались в тусклом свете лампочки. Дрор поделился дольками с двумя солдатами, которые сидели между ним и Хелен, а те передали несколько долек ей. Хелен ощутила глубокую, невероятную сладость на губах.

Когда она повернулась в его сторону, Дрор уже шел прочь.

Утром добровольцев отвезли на потрепанном синем автобусе на осмотр достопримечательностей пустыни. Это была часть образовательной программы, над которой немало потрудился координатор добровольческого движения, сидя за столом напротив Хелен в Лондоне. Это было всего лишь два месяца назад, но Хелен казалось, что прошла уже тысяча лет. Группа должна была посетить Масаду, побережье Мертвого моря, Эйн-Геди и предполагаемое место для устройства заповедника в Хай-Баре, а завершиться поездка должна была туром по Эйн-Радиану. Путешествие должно было продлиться несколько дней, но его пришлось сократить до двенадцати часов – как выяснилось, автобус был нужен кибуцу до конца недели.

Начало поездки было запланировано на раннее утро, однако водитель автобуса обнаружил поломку. Целый час его ноги торчали из-под днища автобуса. Дрор, представитель кибуца и гид Израильского туристического бюро сидели рядом по-турецки, курили, сплевывали шелуху от семечек и время от времени передавали водителю нужный инструмент. Хелен тоже сидела на пыльной земле среди остальных и ждала. Какая-то американка пыталась заговорить с Дрором о своих впечатлениях об Израиле, но вскоре обиженно замолчала, как, впрочем, делали все американцы, чувствуя, что израильтяне не хотят их слушать.

Когда они приблизились к Масаде, солнце стояло уже высоко. Вокруг расстилалась каменистая, безжизненная пустыня, и вид горы из окон автобуса заставил умолкнуть все разговоры. Туристы молча вышли наружу, и на них тотчас же обрушились обжигающие солнечные лучи.

Хелен доводилось видеть горы и повыше, но ни одна из них не выглядела столь неприступной, как это плато, окруженное бледными утесами. Грубо высеченные скалы на фоне горизонта, казалось, создавали непреодолимую, вечную тишину. Хелен почувствовала себя крохотным комочком, в котором билась настойчивая, но хрупкая жизнь.

Они лезли наверх в шортах и шляпах, их сандалии побелели от пыли. Тропа змеилась и была слишком узка, и с каждым шагом, пока они поднимались к плоской вершине, становилось все жарче. Никто не позаботился взять с собой достаточное количество воды, все едва передвигали ноги, чувствуя, как обсыхает на коже пот.

Проводник наконец собрал всех на самом плато, под безжалостно палящим солнцем. Далеко внизу буро-серая пустыня, казалось, дрожала и плавилась от жары. Пурпурной линией вдалеке выделялось побережье Мертвого моря. Проводник, промокнув лоб сложенной матерчатой шляпой, начал свой рассказ. «В первом веке нашей эры, – сказал он, – после того, как римляне захватили Иерусалим и поработили его жителей, горстке евреев все же удалось бежать сюда, чтобы дать последний бой в одной из самых знаменитых и неприступных крепостей Ирода. Здесь, на вершине горы, были оборудованы цистерны с водой, кладовые, жилые помещения и даже бани». Гид заметил, что в настоящее время планируются более детальные археологические исследования, но сейчас требуется подключить свое воображение, чтобы представить то, о чем он собирается рассказать.

Хелен чувствовала, что Дрор наблюдает за ней. Их взгляды на мгновение встретились, но глаза Дрора тотчас же сделались равнодушными, и он стал смотреть в другую сторону.

– Могущественная римская армия, – продолжал нараспев рассказывать гид, – которая смогла взять Иерусалим всего за несколько дней, провела у этих скал почти год, прежде чем пал последний защитник твердыни. И в то самое время, пока римляне страдали от

жажды внизу, еврейские воины имели в изобилии воду из подземных цистерн и прекрасно жили за счет продовольственных запасов, собранных общеизвестным своей осторожностью Иродом. Римляне привели в это место дополнительные части, призвали инженеров, вода раздавалась по строгой норме – и это все ради того, чтобы раздавить последнюю крошечную группу евреев, которые осмеливались исповедовать свою религию. Когда же римляне завершили земляные работы и приготовили тараны, чтобы разрушить крепостные стены, оборонявшиеся при сполохах римских костров поняли, что положение их безнадежно. Тогда их предводитель Элиезер собрал оставшихся мужчин. «Настала пора, – сказал он, – чтобы лишить римлян возможности убить или поработить нас. Давайте сейчас выберем смерть с честью и сделаем самое доброе, что только можем сделать для своих жен и детей». И по призыву Элиезера каждый мужчина убил свою жену и детей. Затем, по жребию, мужчины стали резать друг друга. А последний оставшийся в живых – как велел Элиезер – должен был поджечь продовольственные склады, чтобы голодный враг не смог воспользоваться этими запасами. Пусть лишь одна кладовая и одна цистерна с водой останутся нетронутыми, чтобы поиздеваться над римским войском. Пусть они найдут еду и переполненную цистерну, а рядом – аккуратно уложенные в ряд тела защитников и поймут, что евреи предпочли смерть римскому рабству и их богам.

И вот когда римские солдаты ворвались в крепость, они увидели только клубы дыма и услышали лишь тишину.

Гид оттолкнулся от каменной стены, на которую опирался. В наши дни, сказал он, израильские солдаты приносят воинскую присягу под девизом: «Масада больше не падет».

Простиравшиеся со всех сторон до самого горизонта равнины колыхались в горячем мареве.

– И тем не менее, – негромко произнес Ави, невысокий жилистый американец, поворачиваясь к своим компатриотам, – разве может любящий человек убить того, кого любит?

Гид вскинул голову. Ави понял, что его услышали, покраснел, однако продолжил:

– Я хотел сказать: какой мужчина способен на подобное?

Дрор едва слышно хмыкнул. Он бросил докуренную папиросу, с силой втоптал ее каблуком в пыль и, положив окурок в карман,

отвернулся от американца.

Гид какое-то время молчал, а потом вдруг проговорил тихим голосом:

– А вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы дать любимому человеку умереть от рук того, кто его ненавидит?

Американец смолк и стал смотреть на пустыню.

Глянув на часы, проводник мотнул головой в сторону тропы. Без лишних слов группа отправилась в обратный путь, гуськом пробираясь к подножию горы.

Дрор спускался по извилистой дорожке, держась впереди Хелен. Она следовала за ним, стараясь подстроиться под его быстрый темп, хотя ноги ее скользили по крутому склону, а голову нещадно пекло солнце. Ее кто-то дважды позвал по имени из шедших сзади, но она не обернулась. С каждым шагом она убегала от первого века, века мученичества и страданий, и ужасная история соскальзывала с ее разгоряченных плеч, пока земное притяжение увлекало ее вниз. Дрор чувствовал себя на тропе, словно был рожден, чтобы преодолевать каждый ее изгиб. Это было словно его первородное право – спуститься с горы, не свернув себе шею. Хелен понимала, что следовать за ним в таком темпе небезопасно, но все же не замедляла шаг. В конце концов, плевать, если даже сломает себе ногу. Это было бы даже здорово. Ей страстно хотелось слететь с этой горы, пронзить иссушенный, яркий и до невозможности романтичный воздух пустыни и разбиться об эти камни. Тогда Дрору придется наконец остановиться и поговорить с ней.

Земля неслась на нее, подошвы стучали по камням, и плоская равнина приближалась с ужасающей скоростью. Хелен точно не знала, что скажет, когда догонит Дрора, но точно понимала, что должна догнать его.

Он исчез в автобусе.

Хелен остановилась на стоянке, громко дыша в тишине. Ее медленно окутывал жар, словно между ее телом и пустыней стерлась какая-то существенная граница. Когда шаги остальной группы стали слышны на каменистой тропе, она встала с ровно бьющимся сердцем.

На полпути к Эйн-Гед и Хелен поднялась с места и прошла по салону вперед, туда, где гид чертил желтым от никотина пальцем по

карте, показывая водителю маршрут. Гид недоуменно обернулся в ее сторону, но Хелен не стала тратить время на церемонии.

– Если в Масаде погибли все евреи, – спросила она, – то откуда вам известно, что именно там произошло?

Проводник постучал ногтем по своей измятой карте и вздохнул. Но если на вершине горы он был торжественен, как патриарх, то сейчас снова стал обычным человеком.

– Это записал историк Иосиф Флавий, – резко ответил он. – А он услышал об осаде и взятии Масады от двух евреек – старой и молодой, которые спрятались в пещере вместе со своими детьми во время резни. Из-за своей трусости они попали в руки римлян и были обращены в рабство.

Автобус вывернул на дрожащий в знойном мареве поворот. Гид покосился на обочину, затянулся сигаретой и задумчиво выдохнул дым прямо в лицо Хелен.

– Они обе были предателями, – сказал он. – Но, по крайней мере, сделали хоть что-то хорошее, сохранив эту историю для потомков.

Кто-то в хвосте автобуса жаловался на заклинившее окно. Кто-то попытался запеть, но другой волонтер сказал, что у него болит голова, и попросил замолчать.

– Почему? – спросила Хелен.

Гид, который было наклонился к водителю, чтобы что-то сказать тому, обернулся:

– Что «почему»?

– Почему вы называете тех женщин предателями?

Краем глаза она заметила, как Дрор, сидевший напротив, метнул в ее сторону взгляд, но не стала поворачиваться к нему.

– Почему желание жить есть проявление трусости? – выпалила она.

Гид устало посмотрел на нее, медленно покачал головой и вернулся к разговору с водителем.

На обратном пути Хелен прошла мимо Дрора, но тот сделал вид, что поглощен созерцанием пейзажа, и даже не взглянул на нее.

В тот вечер Хелен чувствовала себя вконец разочарованной. Впервые ей захотелось бросить все и уехать. Пустыня, говорившая с ней на ее языке, как казалось Хелен, на самом деле говорила чуждым, неизвестным языком шепота и намеков.

Хелен встала с койки. Среди пустынных растений, названий которых она не знала, слышалось дыхание ночи. В свете единственной лампочки, что мерцала у входа в столовую, сверкнули глаза шакала по ту сторону ограды. Хелен отвернулась. Тишина, царившая на базе, сделалась абсолютной. Из дальнего угла столовой появилась мужская фигура в форме. Нерешительным шагом фигура приблизилась к Хелен, и на загипсованной руке тускло отражался свет. Хелен захотелось бежать.

Однако она не сделала этого, остановившись в сомнении, и Дрор уже стоял перед нею. Он стоял совершенно неподвижно, словно извиняясь за то, что бежал с горы, спасаясь от нее.

Хелен вздернула подбородок, как солдат, стоящий по стойке смирно. Ей хотелось проучить его, немного поиздеваться. Воздух между ними был словно живое существо и хорошо передавал присутствие Дрора.

На его лице промелькнуло вопросительное выражение. Затем он сделал шаг навстречу и поцеловал ее.

Ночное небо светилось над гребнем его черных тугих кудрей. Хелен подняла руку и наткнулась на гипс, прохладный и гладкий, словно камень или выветрившаяся кость. Одинокий кипарис наклонился и закрыл собой звезды. Затем кипарис с приглушенным шелестом пронесся над яркими звездами, и Хелен ощутила теплую живую кожу, теплое тело, и что-то в ней поддалось.

Хелен никому ничего не рассказывала – она знала, что он так хочет. То, как его голос все еще дрожал от удивления, когда она здоровалась с ним, словно после их последней встречи она могла забыть его имя и исчезнуть; то, как он притягивал ее к себе за поясницу; его тихий радостный смех, когда она поддразнивала его за слишком суровое отношение к добровольцам; то, как он смеялся не столько над ее словами, но и над самим ее смехом… все это должно было остаться между ними. Ему не нужно было просить ее об этом. Даже если ей бы захотелось, то как она могла объяснить свою неожиданную метаморфозу, что каждая молекула ее тела выстроилась в определенном порядке, словно железная стружка в объятиях магнитного поля?

Каждый день она все так же резала овощи, разливала по ведрам кефир, собирала в самую жару стреляные гильзы, но теперь все вокруг приняло новые очертания. Окружающий мир изменил свою географию и разделился на те места, где они могли незаметно встречаться, и на бесплодные участки, где приходилось делать вид, что она не замечает его, его негромкие разговоры с другими офицерами при входе в столовую или то, как он приподнимает голову, заслышав шум мотора на горизонте.

Дни шли за днями, и Хелен рассчитывала время до следующего мгновения, когда они снова окажутся вдвоем. Откладывая в сторону кухонный нож, Хелен смотрела в окно на пустыню, и ей казалось, что вот-вот все старое рухнет и превратится во что-то новое, другое, иной путь существования в этом мире – новое воплощение скал и неба, кипариса и топливной цистерны, и все придет в согласие и гармонию. И был свет, падавший из широкого окна кухни, и тонкие струйки горячего воздуха, поднимающиеся от раскаленного лобового стекла джипа, и холодный вкус грушевого нектара в полутемной столовой, и в основе всего – нежность.

В Яффе они вышли из автобуса в сонную послеполуденную жару. Это был первый раз, когда их выходные совпали. Всю дорогу от Беэр-Шевы они сидели касаясь друг друга ногами. Дрор смеялся над ее неумением правильно произнести букву «р» в его имени, она же забавлялась тем, что Дрор не в состоянии выговорить ее фамилию – у него получалось «Ватт» вместо «Уотт». Дрор развернул заготовленные свертки с лавашем и солеными огурцами. Только когда они отъехали достаточно далеко от Беэр-Шевы, так что не рисковали столкнуться с людьми с базы, Дрор взял Хелен за руку и уже не отпускал. Пейзаж за окном менялся от пустынного к прибрежному – появились скалы, рядом чувствовалось море.

Дрор тихонько напевал что-то на иврите, а потом и на польском, отбивая ритм коленом. Потом он умолк.

Без военной формы Дрор выглядел как-то необычно – хлопчатобумажная рубашка с короткими рукавами, бледная после гипса рука, свернутое пляжное полотенце на соседнем сиденье. Хелен испытывала необычайную нежность к нему, и называла его Фрэнки Лейном[25], и отказывалась объяснить, почему именно Фрэнки Лейн.

Дрор смутился, и она рассмеялась, и в тот же момент ей пришли на память слова, слышанные еще в школе: «Как прекрасно все человечество».

Дрор знал дорогу к берегу, но сначала они остановились у тенистого ресторанчика возле часовой башни, чтобы пообедать. Тарелки они поставили на низкую каменную стену, с которой открывался вид на апельсиновую рощу, сквозь деревья которой просвечивало море. Хелен из любопытства добавила к фалафелю темно-зеленый соус «хариф» – Дрор еще попытался остановить ее, спросив, уверена ли она в том, что делает. Английский цветок, что уж тут… Но Дрор знал, что говорил, – при первой же попытке проглотить смазанный соусом кусок глотку Хелен обожгло адским огнем. «О боже!» – только и смогла она выдавить из себя, обливаясь потоком слез. Дрор было посмеялся, но вскоре уже поил Хелен водой из бутылки. Большим пальцем он обтер соус с ее верхней губы, а потом пошел к хозяину ресторана за льдом, так как жжение все не утихало.

Неподалеку от берега у скал Андромеды виднелись одинокие рыбаки-арабы с удочками в руках. У каждого был персональный помост, возвышавшийся посреди волн, и рыбаку оставалось лишь вытаскивать рыбу да ждать, когда кто-нибудь из друзей или родственников подберет его на лодке.

Под их пристальными взглядами Дрор провел Хелен к самой воде.

Ей доводилось плавать в океане, но здесь она оказалась не подготовлена к той мощи и скорости, с которой волны подхватывали ее тело, то удерживая на своих ладонях, то опуская вниз куда глубже, чем она ожидала. Хелен схватила Дрора за руку, и он потянул ее к песчаной отмели, где баюкал ее, словно ребенка, качая на волнах. И Хелен почувствовала, что внутри нее поселилось что-то дикое.

Через некоторое время Дрор вдруг прошептал ей на ухо: «Пойдем».

Потом они лежали рядом на узком полотенце. Если бы он захотел, то мог бы стать фотомоделью: поджарый и мускулистый, закаленный бесконечными тренировками, ни одной складочки, скульптурные черты лица.

Хелен положила голову ему на грудь. Подушечки ее пальцев чувствовали биение его сердца. Дрор прикрыл ее руку своей.

Ветер зашел с другой стороны, и ветви апельсиновых деревьев потянулись к воде. Из ниоткуда прилетела пчела, села на руку Дрора, а потом попыталась уютно устроиться у них между ладонями, но испугалась и прянула назад, заставив их расцепить пальцы.

Маленькая пчела с прижатыми к спинке крыльями, совершенно беспомощная против ветра, цеплялась за ладонь Дрора, которая оставалась последней надежной защитой и опорой между ней и океаном.

Дрор, облепленный песком, встал и, спрятав пчелу в кулаке, пошел к апельсиновым деревьям, чтобы отнести насекомое в безопасное место.

Потом он вернулся, разглядывая свою руку.

– Что, ужалила?

Он молча кивнул.

– Но ведь она же тогда умрет!

Едва произнеся эти слова, Хелен поняла их абсурдность. Как будто этот мир должен быть справедливым к своим творениям!

Дрор развернулся и побежал к воде. Несколько минут он продирался сквозь накатывавшие волны, а потом откинулся на спину и позволил воде унести его.

К одной из скал Андромеды на лодке подошел мальчик с корзиной, в которой был приготовлен обед для рыбака. Тот отложил свою удочку и благодарным жестом приобнял мальца за шею. У самой кромки воды показались две девушки рука об руку, увитые длинными косами. Выше по берегу мужчина средних лет, словно выдубленный солнцем, брел под апельсиновыми деревьями, неся с собой что-то, напоминающее закрытый поднос. Поймав любопытный взгляд Хелен, он улыбнулся, подозвал ее к себе и передвинул свой лоток ближе к животу. Мужчина говорил поарабски. Хелен подошла ближе и увидела, что на лотке разложено множество каких-то мелких вещей, напоминавших древности. Где-то виднелись разноцветные камни, а по большей части были лишь пустые оправы.

– Ну что ж, довольно мило, – сказала Хелен.

Однако лоточник, скаля гнилые зубы, лишь качал головой, явно не понимая ни по-еврейски, ни по-английски. Он настойчиво указывал ей в сторону ресторана, а вернее, в сторону улочки, что находилась чуть

дальше: мол, там стоит его машина, где уж наверняка найдется то, что нужно.

– Gveret, bvakasha[26], – повторял он до бесконечности. Похоже, это были единственные слова на иврите, которые он знал.

Хелен последовала за ним, удаляясь от побережья все дальше и дальше. Конечно, думала она, вряд ли у этого чудака найдется что-нибудь стоящее, но ей страшно хотелось порадовать Дрора неожиданным подарком. В багажнике машины, таком же неряшливом и грязном, как и сам хозяин, лежал небольшой чемодан. Повозившись, мужчина открыл его, явив целую кучу более интересных предметов: там были и кувшины, и металлические чашки, и богато украшенные медальоны. Хелен долго перебирала эту груду вещей, а продавец натужно сопел у нее за спиной, прежде чем ей приглянулась маленькая серебристая фоторамка с узором в виде виноградных лоз. Хелен заплатила, не торгуясь, хотя и понимала, что вещь стоит гораздо дешевле. Впрочем, запрошенная сумма все равно была невелика, и Хелен, помахав рукой довольному торговцу, вернулась на пляж.

– Хелен!

Дрор, все еще мокрый после купания, с полотенцем на плечах, отбежал от какого-то человека, с кем только что напряженно разговаривал (это оказался хозяин того самого ресторана, где они обедали), и бросился к ней. Его лицо исказила гримаса недоверия и ярости, и Хелен вдруг стало не по себе.

– Что такое? – попыталась улыбнуться Хелен.

– Ты вообще о чем думала?

Хелен обернулась. Араб и его автомобиль исчезли.

– Просто я смотрела в его машине разные вещи.

– То есть ты хочешь сказать, что одна села в машину с незнакомцем?

Она посмотрела на Дрора.

– Я не садилась к нему в машину. Ведь все в порядке, разве не так?

– Да ты вообще хоть что-то соображаешь?

Хелен открыла рот. Она никак не могла понять, что могло за мгновение так сильно изменить настроение Дрора.

– Светловолосая англичанка с израильским евреем, – не унимался он. – Прекрасный повод, чтобы взорвать бомбу. Или же еще хуже – ты

что, хочешь, чтобы тебя взяли в заложники?

– Кто бы взял меня в заложники? Этот старый хрыч?

– Ты говоришь об этом так уверенно, когда все позади. Но если тебе плевать на свою безопасность, то…

– Да чем он хуже того же араба, который накормил нас обедом?

– Я был в ресторане у Ахмеда не раз. Его тут все знают. Кстати, он сам вызвался помочь мне искать тебя.

Хелен не знала, что ответить на гневные слова Дрора.

– Только подумай о том, что могло с тобой случиться.

Голос Дрора звучал словно у взрослого, отчитывающего ребенка, хотя он был всего на пять лет старше Хелен.

– Не понимаю, – сказала она ему тихо, – почему мысль о том, что мне грозит опасность, заставляет тебя смотреть на меня так, как будто ты меня ненавидишь.

Они поехали на автобусе в пустыню. Полуденная жара давила на металлический автобус; она наклонила голову ближе к окну, которое открыла до упора. Когда они преодолели большую часть расстояния до Беэр-Шевы, Дрор поднял руку и положил поверх ее – но это был тяжелый, исполненный долга жест. Через мгновение она убрала руку.

Она думала, что на базе их пути разойдутся, но вместо этого он привел ее в пустую казарму на безлюдной северной стороне, где они проводили украденные часы в последние недели.

Сразу за дверью она остановилась.

– Не прикасайся ко мне, – сказала она, – если это для тебя пытка.

Хелен хотела показаться ироничной, как женщина в кино, но ее голос дрогнул.

Дрор отпустил ее и толкнул тонкую металлическую дверь. Вспышка яркого солнечного света – и дверь с грохотом захлопнулась, оставив Хелен в кромешной темноте.

Выйдя наружу, она увидела, как он, с сигаретой в руке, смотрит в пустынные дали. Дрор не обернулся на ее шаги.

– Я хочу, чтобы ты поняла, – сказал он.

«Конечно», – подумала Хелен. Разглядывая Дрора, она пыталась представить себе, как могли бы выглядеть его мать или сестра: те же темные кудри и черные глаза, но на фоне более мягких черт лица.

– Прости меня, Дрор, – сказала Хелен.

– А, не стоит!

Дрор бросил окурок на землю и растер его подошвой сандалии.

– Когда я целую тебя, я просто мужчина. И я не ношу их всех с собой постоянно. На этой неделе я почти и не думал о своих родных.

Хелен почувствовала в его голосе простое человеческое горе, но ничего не ответила.

Некоторое время они оба молчали. Затем Хелен вдруг услышала собственный голос:

– Тебе одиноко со мной? Потому что я не еврейка?

Дрор ничего не ответил, а когда Хелен заговорила снова, ее голос – к собственному ее же удивлению – зазвучал не нежнопросительно, а обвиняюще:

– То есть ты хочешь сказать, что не можешь мне доверять?

– Это не вопрос доверия. Это… – Дрор помедлил и вздохнул. – Понимаешь ли ты, Хелен, к чему ты прикасаешься, когда дотрагиваешься до меня?

– Да, ты прав. Я не понимаю. Нацисты превратили твой мир в пепел и ужас, и тебе пришлось пройти через все это. И потом ты решил остаться в этом мире? В мире, где никто не может пересечь границ… и… или прикоснуться друг к другу. Да, Дрор?

Он повернулся в ее строну, замер, и его лицо исказилось от ярости.

– Думаешь, я бессердечная?

Дрор медленно втянул воздух ноздрями:

– Да.

Хелен всю трясло, но ее слова звучали твердо, как будто ей ничего не стоило сохранять спокойствие.

– Я не бессердечна. И уж совсем не ожидала, что ты сможешь спутать бессердечие с правдивостью.

Через равнину, что расстилалась за забором из колючей проволоки, брело стадо коз. За козами следовал худощавый мальчик-пастух в белом уборе, держа у бедра палку. Дальше горизонт был пуст.

– Ты права, – отозвался Дрор и посмотрел на нее. – Когда видишь то, что не имеет для тебя никакого смысла, ты об этом говоришь. Продолжай в том же духе, – добавил он, помолчав.

Его красивое лицо смягчилось. Хелен почувствовала, как его горе осторожно пригрелось у нее на руках.

Ей захотелось извиниться, сказать Дрору, что она сморозила глупость, попросить его рассказать ей больше, рассказать ей все, пока она сама не почувствует то же, что и он.

Дрор немного отстранился, а затем слепо потянулся к ее губам.

И когда в ту ночь она вместе с ним скользнула на колючее одеяло, у нее создалось впечатление, будто она низверглась с высоты небес. И Дрор встретил ее там, и прикосновения его были божественны.

Но на той же неделе их тайна престала быть таковой. На скамейке сидели Нурит и ломака Дов с бомбосклада, и оба во все уши внимали американскому добровольцу Ави. Рядом с этой троицей на лавочке примостилась, обхватив туловище руками, Мюриэль, дожидаясь момента, чтобы огласить суровый вердикт.

Хелен со своего места на краю другой скамейки могла слышать лишь одно слово: «Дрор», – и оно звучало как обвинение в предательстве.

На какой-то миг взгляд Мюриэль остановился на Хелен.

Сам Дрор сидел на некотором расстоянии от Хелен, настороженно сжимая в руке нетронутую бутылку с содовой. Он тоже почувствовал перемену в настроении собравшихся. Хелен молча наблюдала, как выражение надежды на его лице сначала как-то потускнело, а потом сменилось гневом.

Ави повернулся к Мюриэль и довольно громко – так, чтобы даже кассирша за стойкой замерла, – произнес:

– Ну, это еще не значит, что добровольцы-неевреи приносят нам пользу.

Дрор постучал ногтями по своей бутылке. Затем еще раз. Потом встал и обратился к Ави и двум десяткам солдат, которые повернули к нему свои лица, исполненные страха и доверия, как будто к старшему брату.

– Неевреи находятся здесь по своему выбору, – заявил Дрор. – Вот мы все время говорим о героизме. А кто бы из вас вот просто так решил бы изменить свою судьбу и отказаться от личной безопасности?

Никто ему не ответил, но на лицах собравшихся все еще сохранялось осуждающее выражение.

Дрор повернулся и вышел из столовой.

Хелен не вставала со своего места, пока все не вышли. Никто ничего не сказал ей, хотя пару быстрых взглядов, брошенных в ее сторону, она все же заметила. Даже ей доводы Дрора показались довольно-таки слабыми. Еврейские добровольцы ведь на самом деле отказались от комфорта и спокойной жизни – взять тех же Уолтера из Канады и Марию из Италии или американца Ави, фамилия которого была Эйб; других его соотечественников; Дэвида, родившегося в Лондоне… Все эти ребята покинули свои насиженные места, где могли бы вполне комфортно существовать, – но все они решили остаться в этой пустыне. Для них волонтерская работа была способом начать новую жизнь в качестве граждан Израиля. И они бросились в это пекло очертя голову, ибо каждый должен был принять участие в грядущей драме, так как война была неизбежна. Как однажды мрачно высказался Ави, он приехал сюда только лишь потому, что личная безопасность для него не имела никакого значения после того, как он узнал, насколько легко и безнаказанно можно убивать евреев. И здесь их цели расходились с намерениями Хелен, для которой вся эта авантюра являлась ее личным бунтом, попыткой начать новую, взрослую жизнь.

До того, как все началось, прошла неделя. До того, как она проснулась от голоса Дрора, который в жаркой темноте барака с неуклюжей тщательностью зачем-то застегивал пуговицы на ее гимнастерке. Неделя притворного отворачивания глаз даже тех девушек, с кем она была дружна. Однажды Хелен разлила воду из ведра на кухонный пол, но Нурит даже ничего не сказала ей – так велико было ее уважение к Дрору. Неделя напряженности, которую Дрор, казалось, вовсе не замечал – при виде Хелен он улыбался, а когда прикасался к ней, то создавалось ощущение, будто он прикасается к величайшей драгоценности. Хелен лежала рядом с ним и видела, как на его шее бьется жилка, и в тот момент ее страх испарился. Вот она наконец там, где можно лежать обнаженной и спокойно смотреть в темные глаза мужчины рядом с нею, и знать, что они поклялись друг другу в истине. Впервые с тех пор, как она почувствовала себя взрослой, Хелен поняла, что ей не страшно жить. Она произнесла вслух: «Я жива», – и два еврейских слова словно выпали из нее, подобно двум камнямблизнецам в тихой пустыне.

Она проснулась от взгляда Дрора. Инстинктивно Хелен подтянула одеяло к груди и села.

– Ты знаешь, сколько нас погибло?

Сперва ей показалось, что она ослышалась.

– Каждый третий.

Дрор говорил тихо, но с таким напором и чувством, что Хелен стало не по себе.

– Каждый третий еврей во всем мире. Там, где я родился, в Польше, погибло девять из десяти.

Хелен ждала, не зная, что сказать. Дрор наблюдал за ней с выражением, которое Хелен никак не могла определить.

– Да. И твоя мать тоже. И Несса… Он сморгнул.

– А ты знаешь, сколько нас погибло здесь в войне за независимость? Когда нас атаковали с пяти фронтов сразу.

– Дрор, – отозвалась Хелен. – Ты говоришь так, словно речь с трибуны произносишь.

Дрор встал, и она заметила, что он уже одет. Он медленно прошелся перед ней, словно следователь на допросе. Затем остановился.

– Я хочу, чтобы ты знала. Знала, во что ввязываешься.

Она хотела было сказать, что тоже пережила войну, но потом ей стало стыдно. Она мало что помнила о блицкриге: рука матери, задергивающая тяжелую занавеску, чтобы отгородить ее от ревущего, стенающего мира снаружи, гладкая ручка чемодана с персональной биркой, котенок, что жил в соседском сарае, женщина, приютившая троих чужих детей… Хелен забыла, как завязывать шнурки на ботинках, и старшая девочка показывала ей, как это делать.

– Хелен, – продолжал Дрор, как бы читая ее мысли, – я говорю о том, что это не просто война, которая начинается и заканчивается. Это не то, что было в Англии. Назови мне страну, и я скажу тебе, когда там люди стали одержимы идеей уничтожения евреев. Знаешь ли ты, что в России нацисты нанимали местных, чтобы те помогали им топить наших, пока не додумались до более эффективных способов? Только в Бабьем Яре тридцать тысяч человек за два дня.

Он помолчал.

– Топили…

– Дрор, остановись, – произнесла она.

– Только попробуй представить себе.

Хелен уставилась на него.

– Я представляю, – продолжал он. – Утопление должно было производиться индивидуально. А ты представляешь, что нужно, чтобы удерживать за волосы женщину, мужчину или ребенка? И не секунду, не мгновение, пока ты не успеешь сообразить, что происходит. Когда человек тонет, он пытается сопротивляться.

Его голос дрогнул.

– И ты должен держать, пока человек не перестанет бороться. Хелен старалась не представлять себе этого, но у нее слабо получалось. Она почувствовала, как у нее сжались сухожилия на шее. Чувствуя надвигающуюся панику, она поднесла ладони к лицу, чтобы отгородиться от ужаса.

Дрор сел рядом так тихо, что она даже не заметила.

– Мне нужно, чтобы ты понимала, – сказал он.

– Зачем ты мне это рассказываешь?

Он прикрыл глаза.

Хелен села напротив него, подтянув одеяло почти до шеи. Тут она впервые задумалась, не втягивает ли своими чувствами Дрора во что-то неправильное. Мягкость ее груди, тепло ее кожи могли обмануть его, ввести в заблуждение, исказить его видение мира, в котором необходима твердость.

Отбросив эту мысль, Хелен потянулась к нему и позволила сомнениям покинуть ее. «Вот так, так и так, – думала она, прикасаясь к его телу. – Иди же ко мне, иди…»

Следующим вечером они, взявшись за руки, проделали казавшийся бесконечным путь от столовой до комнаты Дрора. Это была первая ночь, проведенная в его жилище. Входя в здание офицерского корпуса, они не прятались от посторонних взглядов. Их любовь той ночью была медленной, неторопливой, как признание. Хелен долго не могла заснуть, глядя на черное небо над пустыней, где звезды сливались в бесконечность. Дрор тоже не спал, и его темные глаза поблескивали в темноте.

На той неделе на полигоне она бросала гильзы в мешок, слушая под палящим солнцем приглушенное позвякивание металла. Пот стекал по спине и груди, а перед глазами тянулась линия горизонта. От него невозможно было уйти, спрятаться. Не было никакого смягчения,

затуманивания действительности. Вот почему она оказалась здесь, вот зачем ей надо было покинуть Англию. Ей нужно было оказаться в том месте, где никакая, даже вежливая ложь невозможна. И вот награда за это – то, чего она так жаждала, – любовь. Синоним честности. Разве Дрор не изложил ей самые суровые истины? Отстрелянные гильзы выскальзывали у нее из пальцев, а в ее воображении вставал образ на фоне голой пустыни: несгибаемый человек с горячим сердцем. Она дала ему обещание, и теперь оно было вшито в ее тело, словно сухожилие: я никогда не солгу тебе.

В конце недели Дрор отдал ей запыленную книгу.

– В этом нет необходимости, – сказала Хелен, отворачиваясь.

Они сидели в его комнате. Их выходные снова совпали – так думала Хелен, пока Мюриэль не ляпнула со своей койки, что, мол, Дрор Всемогущий повелевает временем своих добровольцев для его собственного удовольствия. Несмотря на явный намек, никто из девушек ничего не сказал в ответ. Солдаты, за исключением Мюриэль, никак не комментировали сложившуюся на базе ситуацию и, проходя мимо Хелен, делали вид, что ее просто нет. А если их взгляды пересекались, то выражение глаз было абсолютно нейтральным. Казалось, все ждали какого-то сигнала, который возвестил бы о разрешении кризиса.

И вот теперь в комнате одетый в штатское Дрор протягивал ей книгу:

– Я нашел ее в Беэр-Шеве, – объяснил он. – Я пытался объяснить тебе по-своему, но… – Он глубоко вздохнул. – Ты говорила, что любишь читать. Вот, может быть, так ты поймешь…

Хелен прочитала название. «История еврейского народа». Она нарочно громко рассмеялась, чтобы показать, что ей непонятен его серьезный настрой. Но когда она подняла голову, то увидела перед собой суровое лицо, на мгновение напомнившее ей лицо офицера, который инструктировал их по прибытии на базу.

То гд а она подняла руку и отсалютовала ему.

Но Дрор не засмеялся.

– Это очень важно, – сказал он. – Ты должна знать, на что идешь.

Книгу до нее явно уже читали: обложка была сильно потерта, буквы в названии выцвели.

– Дрор, но ты же понимаешь, насколько все это абсурдно?

Он ничего не ответил.

– Ты хочешь, чтобы я ознакомилась с еврейской историей, чтобы решить, любить тебя или нет? Да я и так уже все прекрасно знаю об этом.

Дрор продолжал хранить молчание. И Хелен понимала, что ей придется произнести эти слова.

На мгновение ей казалось, что он вот-вот опустится на край кровати и заговорит с ней. Но Дрор стоял, и на лице его был изображено напряжение, которого Хелен решительно не понимала.

– Ты не знаешь, что делаешь, – сказал он.

– Нет. Ты ошибаешься, Дрор, и ты сам это прекрасно понимаешь, – крикнула она сорвавшимся голосом. – Ты разговариваешь со мной, как оратор на трибуне.

Она указала на книгу.

– И какое это имеет отношение к нашей любви? Это просто страх. Ты боишься, – она указала на Дрора, потом на себя, – боишься этого.

Произнося эти слова, Хелен задавалась вопросом: кого, собственно, она обвиняет – себя или его? Разве она сама не испытала едва заметного облегчения, когда чувство, которое она не знала, как сдержать, тогда, в Яффе, было подавлено прорвавшимся гневом Дрора?

Но вдруг его лицо перекосила гримаса, и стало ясно, что слова попали в цель.

– Хелен, – спросил он, – как ты думаешь, что такого могло бы случиться в жизни, что испугало бы меня сейчас?

Ничто не нарушало царившую в казармах тишину.

– Пожалуйста, скажи…

Он принес ей ужин в комнату и поставил поднос рядом, а Хелен сидела на его койке в своем тонком сарафане и читала. Дрор аккуратно разложил салфетку, приготовил прибор, а потом тихонечко удалился. При других обстоятельствах такая забота могла бы показаться деланой или смешной, но в тот момент Хелен было не до шуток.

Хелен перелистывала книгу, словно ребенок, который вынужден выполнять условия несправедливо наложенного на него наказания. Из окна она могла видеть прислонившегося к дереву Дрора в синей

рубашке с коротким рукавом, курящего одну сигарету за другой. Он хотел, как понимала Хелен, чтобы она ознакомилась с историей его народа и либо приняла ее, либо сразу же сбежала – до того, как они станут настолько связаны друг с другом, что никакая хирургическая операция не сможет разделить их, не убив.

Хелен ознакомилась с предисловием, но слова ускользали от ее понимания, не неся никакого смысла. Дрор хотел, чтобы она проработала каждое предложение? Хорошо. Хелен заставила себя открыть вторую страницу, затем третью. Дрор хотел беспристрастности, но Хелен впервые в жизни не послушалась. Она и так знала, какой финал этой истории она хочет, и не собиралась отступать, несмотря ни на что. Да, она непременно прочтет книгу, что предложил ей Дрор, и скажет ему, что, какие бы ужасные истины ни приводились на ее страницах, какими бы ни были доказательства и логика, они все равно могут быть вместе.

Хелен расписала ручку на странице блокнота, что принес ей Дрор, и начертала там свое имя резкими, злыми буквами. Спустя еще несколько минут она набросала ряд заголовков, чтобы отслеживать периоды еврейской истории, о которых читала. Израильское Царство. Расселение евреев с территории Палестины. Греки и эллинизация.

Ее зацепил рассказ о Маттафии[27] и иудейских мучениках. Сама того не желая, Хелен прочла его. Как ей стало ясно, в изгнании, в пустыне говорить о своих убеждениях означало смертный приговор. Хелен буквально впитывала в себя слова и продолжала читать. Гнев ее мало-помалу гас. Какой бы смысл она ни хотела придать истории – все потом, она обязательно вспомнит. Сейчас все внимание ее было приковано к самим рассказам о событиях, что происходили на этих знакомых суровых землях. Она записывала имена и даты, как будто воскрешая своим пером душераздирающие факты, которые запечатлевались в памяти и обретали живой смысл.

Дрор втоптал окурки в пыль и принялся ходить туда-сюда.

Какой же податливой была она тогда! Каждое дыхание ее – движение на тонком матрасе Дрора или переворот книжной страницы – все еще подразумевали обмен мыслями, попытку установить отношения.

Когда Дрор вернулся, неся два стакана мятного чая, Хелен захлопнула книгу и спрятала от него свои заметки.

– Все это бессмысленно, Дрор, – сказала она.

Тот покачала головой и помешал ей чай, подняв со дна стакана темные чаинки.

– Расскажи мне о твоей сестре, – попросила Хелен, глядя, как листочки снова погружаются на дно. – Это и есть еврейская история, которую я хотела бы знать. Это твоя история.

Неторопливым жестом человека, который сдерживает себя, чтобы не расколотить находящийся в руках предмет, Дрор поставил на стол чашку.

– Мы сможем поговорить обо всем, – мягко произнес он. – Но только после того, как ты дочитаешь.

И она читала – днем и вечером, лихорадочно заставляя себя сосредоточиться на книге. Дрор спал рядом, прижавшись к ней своим телом, и единственным движением его было поправить подушку, чтобы свет не падал на глаза. Кончики его пальцев дотронулись до ее бедра, но это было единственное прикосновение, которое он позволил себе после того, как принес книгу.

Хелен читала, пока звездное небо не окрашивалось предрассветной синевой.

Перевернув наконец последнюю страницу, она почувствовала у себя на щеках слезы разочарования.

Единственная страница, на которой она делала свои записи, оказалась исписанной с обеих сторон. Хелен перевернула ее – и точно, все строки заполнены, исписаны даже поля. А потом текст пошел снизу вверх между уже заполненными строками.

Проснувшись, Дрор принес завтрак: кефир, лаваш и разрезанный соленый огурец. Еда была аккуратно разложена на синих пластиковых тарелках из столовой. Потом он поставил на стол стаканчики с кофе.

– Ну, и что тебе удалось почерпнуть? – мягко спросил он.

Хелен еще не доводилось видеть на его лице выражение испуга.

– Ты читала о Дрейфусе[28]? О «Белой книге»[29]?

Она кивнула.

Дрор внимательно посмотрел на нее:

– Значит, ты видела, как все меняется безо всяких изменений? Все становится только хуже, и ловушка с каждым годом захлопывается все сильнее. Хелен, зачем тебе это?

Хелен молчала.

– Но ты же видишь?

– Что я должна видеть? Считать любовь к тебе проклятием?

– Мне нужно, чтобы ты увидела правду.

– А, что ты хочешь отпугнуть меня?

У нее сдавило горло, но она продолжала:

– Ты не хочешь отпустить от себя даже, – она взмахнула рукой, растопырив пальцы, – даже миллиграмм ужаса!

Ее пальцы наткнулись на край чашки, и кофе пролился ей на ноги и на исписанную кругом страницу. Ярко-синие чернила расплылись, и написанные слова растворились в небытии.

Хелен заплакала, и Дрор со сдавленным звуком столкнул чашку, книгу и блокнот со своей кровати, и потом, когда они были снова в объятиях друг друга, его голос напоминал ей шелест дождя: «Прости, прости, прости…»

Однажды днем Мюриэль подкараулила Хелен возле уборной. Мюриэль цепко схватила ее за руку, не скрывая враждебности.

– Ты что, не в курсе, что Дрор собирается работать в разведке? Понимаешь, он им нужен, ведь он классный спецназовец. Или он не сказал тебе, что приступает к работе в июне, что ему придется полжизни провести под прикрытием в других странах? И что его жена никогда не узнает, чем на самом деле он занимается? Ты хотя бы слышала о «Моссаде» – или англичане слишком изысканны для того, чтобы знать о подобных вещах? Ну, тогда я объясню тебе: это мужчины, которые, как правило, оставляют своих жен вдовами, а жена никогда не узнает, даже где он похоронен, потому что у разведчиков не бывает могил!

Хватка Мюриэль оказалась настолько сильной, что Хелен перестала чувствовать свой пульс. Она попыталась вырвать руку, но девушка только крепче вцепилась ей в запястье. Она находилась словно в некоем трансе, и Хелен уже тогда понимала, что Мюриэль сильно пожалеет о своих словах, когда образумится.

– Думаю, Дрор не говорил тебе об этом. Но еще до твоего приезда ради благородной миссии он сказал Ур и, что хотел бы посвятить свою жизнь национальной безопасности. Что он хочет делать то, что нужно нашему народу, чтобы наша страна не превратилась в еще одну ловушку для евреев.

Услышав последние слова, Хелен забыла о боли в руке.

– Да он готов броситься со скалы ради нашей страны, – не унималась Мюриэль. – И он сделает это в любую минуту, как только его об этом попросят. Наверное, его пошлют в Восточную Европу, может, на несколько месяцев, а может, и на несколько лет. А ты думала завести с ним романчик, да? А он, часом, не говорил, что ты всегда будешь на втором месте? И он никогда не будет любить тебя так, как он любит нас, евреев!

Хелен наконец освободила руку и бросилась в казарму, не заботясь больше о том, что ее могут заметить. Дрор лежал на кровати и читал газету.

– Ты хочешь бросить меня? – бросила она с порога. – Хочешь сбежать и погибнуть за свою страну?

Дрор спокойно сложил газету и отложил в сторону.

– Мюриэль сказала мне, что ты хочешь сделать меня вдовой – ты к этому меня готовишь?!

В глазах Дрора сверкнула печальная искорка, которая смутила Хелен. Она сокрушенно покачала головой – разве он ничего не возразит? Она же бежала сюда в надежде на то, что он скажет, что все это одно сплошное недоразумение, и она упадет в его объятия, и все останется позади.

– Хелен, – негромко произнес Дрор. – Я не лгал тебе. Я действительно хочу работать на мою страну, если меня возьмут… Но…

Разговор шел слишком быстро, и Хелен не могла уловить смысла произнесенных слов. В них было что-то чуждое ей – но разве она сама не была этим людям чужой? Хелен охватило чувство одиночества, и ей снова захотелось услышать шорох дождевых капель. Англия… Скалистый пейзаж, что был виден из окна комнаты, заставлял ее сердце биться чаще, чем вид на родную зелень. Боялась ли она именно этого? «Если я не буду уверена в нем, – подумала она, – то ничего не смогу сделать».

– Ты хочешь сказать, – спросила она резче, чем нужно, – что я всегда буду для тебя второй? И никогда не смогу понять тебя, так как я не еврейка? Но я никогда не смогу быть…

– Ты…

Дрор встал с кровати, бессмысленно размахивая руками.

– Хелен, все, что я хочу, так это быть честным с тобой. Я хочу, чтобы ты видела самое неприглядное, чтобы ты имела возможность уйти, если тебе невмоготу. Но это не значит, что… если ты решишь остаться со мной, мы сможем…

Единственное, чего она хотела в тот момент, – снова задеть его, чтобы он сдался и обнял ее, чтобы снова шептал свои «прости» за слова Мюриэль о том, что она потеряла Дрора, что Дрора больше нет для нее. Она представила себя на пустой кухне много лет спустя, сидящей перед радиоприемником, вещающим ей о стране, которую она все равно никогда не поймет.

– У тебя дыра в том месте, где когда-то было твое сердце, – сказала она рваным, отвратительным голосом. – А на его место ты поставил историю.

В ответ – тишина, от которой зазвенело в ушах. Потом Дрор просто сказал:

– Нет.

Он открыл глаза и посмотрел на нее.

– Ты в моем сердце, Хелен. Но я не тот, кем был. Я… Его голос сорвался.

– Я ненавидел это ощущение, – продолжал он, постепенно повышая голос. – Ненавидел. Думаешь, я не понимал, что со мной происходит? Разве можно не заметить, как жизнь мнет твое сердце и душу?

Хелен прекрасно понимала, как ему больно, и ненавидела себя за свою откровенность. Она любила его, любила, как никого в своей жизни, и знала, что он не виноват, и готова была положить голову на бетонный пол барака под его стоптанные солдатские ботинки.

Дрор умолк. Какое-то мгновение он стоял неподвижно, а затем жестом указал ей на дверь.

И вот солдат рисует силуэт Масады на капоте своего джипа. Чемодан и билет до Лондона у нее в машине, которую она взяла напрокат, чтобы доехать до аэропорта. Пустыня навсегда осталась позади. Хелен ощутила нечто стальное в своей улыбке, хотя заметила, как глаза солдата-художника заблестели от глупого вожделения при виде ее блузы и юбки, столь непривычных после нескольких месяцев

ношения военной формы. Солдат протянул ей один из своих эскизов, и Хелен почти вырвала листок у него из рук.

В тот долгий первый рабочий день Аарон поинтересовался, как история стала для нее делом жизни.

Хелен взяла пальто, сумочку и трость с затертой с одной стороны рукояткой. Затем выключила свет и заперла дверь кабинета.

На улице она прислонила трость к перилам и попыталась поплотнее застегнуть пальто, чтобы не прохватило холодным ветром. Сунула руки в карманы, перевела дух и натянула перчатки. Потом оперлась на трость и медленно побрела к машине.

Глава двенадцатая

Лондон

6 декабря 1663 года

7 кислева 5424 года

Она откинула полог – деревянные кольца глухо стукнули.

Каменный пол был холоден как лед. Она коснулась его босыми ногами и встала с постели. В темной комнате ее дыхание казалось невесомым. С кровати Ривки доносились тяжелые вздохи. Эстер потянулась и нащупала подоконник. Стекла в окне пропускали слабый свет, больше похожий на сумерки.

Над городской стеной тускло бледнело лунное пятно. Внизу, на улице, послышался хриплый смех возвращавшихся из таверны пьянчуг. Она плотно закуталась в шаль и двинулась на ощупь вдоль стены, пока наконец не оказалась на холодной лестнице.

Погасший очаг дополнял пустоту кабинета раввина. На мгновение она задержалась на пороге. Даже сейчас этот момент был ей особенно дорог. На занавешенных полках ее безмолвно ожидали книжные переплеты. Эстер шагнула в комнату и вдохнула холодный воздух. Возле камина она нашла свечу и огниво, и вскоре комната озарилась светом, отпугнувшим тени. На столе лежали тома, которые она недавно принесла из переплетной мастерской. Наутро она должна прочитать их ребе. Эстер задернула ближайшие полки и провела пальцами по переплетам сложенных на столе книг. Первая из них была на португальском: «Consolação às Tribulações de Israel»[30]. Следующая, *«Кеце га-Арец»,* на иврите. Потом на французском: «Начала философии»; за ней шел «Звездный Вестник», написанный на неудобоваримой латыни, которая, после месяца борьбы, начала постепенно уступать ей.

За последние годы что-то все-таки пробудилось в ней, что-то зацепило ее – город, книги… Неужели раввин мог об этом догадаться?

Последнее время как минимум раз в месяц раввин требовал, чтобы она отправлялась в Лондон заказывать в переплет новые книги, которые продолжала присылать амстердамская община, или же приобретать новые рукописи в счет поступлений от своего племянника. Эстер боялась, что рано или поздно настанет день, когда ребе осознает свою ошибку, ибо количество книг росло, и расходы на них становились все больше, что не могло не сказываться на благополучии семьи. Сам раввин мог посвящать им всего по нескольку часов в день, пока его не смаривала усталость. Учеников становилось все меньше, а братья Га-Леви – двое из пяти оставшихся слушателей – приходили как бог на душу положит. Но в остальном, если не считать страсти к книгам, ребе оставался вполне благоразумен, и, как рассудила для себя Эстер, человек, который провел, в общем-то, безрадостную жизнь, теперь имел право совершать дорогостоящие покупки, тем более что у него был какой-никакой доход.

С каждым посещением Лондона город постепенно открывался ей, и скоро его улицы перестали пугать Эстер. Она часто задерживалась у лотков книготорговцев, чтобы перевести дух; запах книг не оставлял ее, несмотря на годы страданий и траура. Теперь же Эстер наслаждалась вкусом латинских и английских слов на языке, беззвучно проговаривая их про себя.

Вокруг нее толпились другие покупатели, они водили пальцами по печатным строчкам, и их прикосновения к бумаге казались ей нежными и даже благоговейными. Но как бы Эстер ни любила книги, она помнила, что у евреев священные тексты неприкосновенны. Женщина вообще не имела права брать в руки Тору, да и мужчина мог читать Писание исключительно при помощи деревянной или серебряной указки. Однако здесь, в Лондоне, неверные свободно могли водить пальцами по самым святым словам.

Когда раввин впервые послал ее в книжные лавки у собора Святого Павла, Эстер не дерзала прикасаться к христианским изданиям, и только через несколько недель она осмелилась взять в руки сначала одну, а потом и еще несколько книг. Она открывала их и подолгу стояла, глядя на печатный текст. Поначалу она боялась даже прикоснуться к строчкам, словно они могли обжечь ее пальцы, но

вскоре все же решилась. «Мы сочли уместным рассказать в этой книге о нашей вере…» Что это за странные голоса, думала Эстер, которые ищут внутри себя, как будто истина может быть в духе и разуме, а не в наставлениях общества? Она с трудом расшифровала сентенции английского христианина Джона Джуэла. «Сумма логики» давалась непросто, но скоро, используя скудные знания латыни, преподанные ей Исааком, она смогла вникнуть в общую суть. Потом ей в руки попала книга, написанная благочестивой христианкой Джулианой из Норвича, замурованной некогда своими же братьями-христианами – неужели такое действительно могло быть? Эта женщина рассказывала о своих видениях: «Прислонись к окошку в заточении и исповедайся, дабы приобщиться к мудрости…»

Воздух в переплетной мастерской согревался не только огнем, что пылал в очаге, но и дыханием посетителей, что сновали по узким проходам ее, собираясь у столов с пергаментами, разрозненными тетрадями и обрывками кожаных переплетов. Тома в более дорогих обложках дожидались покупателей, чьи инициалы красовались рядом с именами авторов. Эстер познакомилась с сочинением ван ден Эндена, который описывал в своей работе идеальное человеческое общество. Несколько недель на прилавке дожидался своего хозяина экземпляр «Анатомии меланхолии» Роберта Бертона, украшенный витиеватыми чернильными росчерками на фронтисписе. Эстер ногтем подцепляла случайную его страницу и внимательно изучала то, что выпало ей на этот раз. Кроме того, ее внимание привлек набор книг в темно-зеленом переплете, обрезы которых были выкрашены в красный и пурпурный цвета: Декарт, Галилей, Уильям Алебастер, Уильям Шекспир.

Когда раввин посылал ее за чернилами, бумагой или перьями, Эстер не упускала случая, подхватив под мышку покупки, погулять на книжных развалах. Как же отличались эти прогулки от походов в компании Мэри по ателье и сапожным мастерским. Мэри без умолку болтала о своих знакомствах, и Эстер едва ли что могла увидеть из окна кареты семейства да Коста Мендес. Но вот когда она отправлялась в Лондон одна, то ее глазам открывались совершенно изумительные картины: то команда докеров разгружает ярко размалеванную баржу, перетаскивая на спинах бочонки с сельдью, то мимо пройдет какой-то мавр с лиловыми вывороченными губами, улыбаясь ей во весь рот – они оба рассмеялись и разошлись, не сказав

друг другу ни слова. Эстер остановилась у лотка толстой усатой торговки и купила у нее сливу – не потому, что ей захотелось есть, а лишь ради того, чтобы понаблюдать за ее жестикуляцией и за тем, как сложились ее губы после того, как она закончила говорить.

Она наблюдала за двумя школярами, сидевшими на корточках у самой реки и игравшими в запрещенные пока еще кости. Неподалеку горланила пьяная компания, чокаясь металлическими кружками, вознося хвалу возвращению короля и тем грешным удовольствиям, которые сопутствуют ему: кеглям, костям и травле медведя. Каждое удовольствие непременно полагалось как следует спрыснуть, оглашая округу немелодичными воплями.

Вернувшись к себе на Кричерч-лейн, она садилась за письменный стол и работала, глядя, как Ривка снует из комнаты в комнату. Ее перо под невидящим взглядом раввина сухим скрипом отвечало на его слова – и этот звук напоминал шуршание мыши, прогрызающей выход наружу. Эстер закончила письмо достопочтенному Йонахану Исраэлю. Затем раввину Аврааму бен-Порату. Ребе также попросил ее написать одному каббалисту в Гамельн по вопросу нумерологического анализа одного из стихов «Брейшит»[31], потом продиктовал письма нескольким молодым и пока что еще малоизвестным ученым, которые спрашивали у него совета по разным поводам. Эстер удивилась, когда раввин попросил ее написать письмо в Совет Четырех Земель[32] в Ярослав – речь шла о нарушении ашкеназского закона о Пасхе, – то есть ее учитель не брезговал общаться с тудеско, хотя это резко осуждалось амстердамскими раввинами-сефардами.

Увлеченная работой, Эстер чувствовала возбуждение, доводившее ее до дрожи, тогда как раввин оставался совершенно спокоен. Ему была присуща терпеливая сосредоточенность, и присутствие девушки совсем не смущало его. Выписывая слова под диктовку ребе, она ощущала его ум – ясный, всепоглощающий и лишенный какой-либо гордыни. Рассуждения учителя, правда, не отличались блистательной риторикой или резкими обвинительными выпадами, которыми так и сыпали знаменитые амстердамские раввины Абендана или Абоаб да-Фонсека. Га-Коэн Мендес в мягких выражениях демонстрировал смирение, которое, как полагала Эстер, вело его к настоящей славе. «Конечно, – так заканчивал учитель свои размышления, – уважаемые оппоненты могли бы привести лучшие аргументы, пусть только они не

забудут ответить своему престарелому другу в Лондон и поделиться с ним своей мудростью».

Закончив с письмами, раввин попросил Эстер почитать ему комментарии. Она произносила вслух витиеватые фразы на арамейском языке, ломая голову над их содержанием, а ребе думал. «Ты чувствуешь здесь контраргумент? – иногда спрашивал он после продолжительного молчания. – Зачем они обсуждают такое нелепое предположение, хотя в нашем мире подобной ситуации никогда не возникнет?» Эстер чувствовала. Ее одолевали воспоминания – она, еще совсем юная, безгрудая, подошвы туфель едва достают до пола, и влажный весенний амстердамский воздух так и липнет к коже… «Какова цель учения?» – спросил ее раввин. «Чтобы дух облачился в разум, который согревает больше, чем невежество», – ответила она. «Но в тексте, что мы изучали, – возразил раввин, – говорилось о знании, а не о разуме». «Но разум согревает больше, ибо он сеет знания, – парировала Эстер, – в то время как знание ничего не может вырастить вне себя».

Раввин нахмурил брови, но тут же улыбнулся. «У тебя ясный ум», – наконец изрек он.

Эти слова витали вокруг нее и согревали душу, пока они работали вместе.

Накануне раввин попросил ее достать с полки увесистую «Исповедь» Августина и велел читать. Эстер медленно стала выговаривать латинские слова. Полдень был наполнен ими, полдень парил, словно райская птица в небе. «Noverim te, noverim me»[33]. Раввин иногда прерывал ее, чтобы подправить произношение. А когда Эстер закрыла книгу, он сказал:

– Да, Эстер, я побаиваюсь этих священников. А ведь в Лиссабоне я читал эти произведения, и, хотя многие осуждали меня за это, полагаю, что не стоит опасаться таких книг и языка, на котором они написаны. Если люди излагают на латыни свои идеи и верования, то и еврей может владеть ею. И я не позволю тому, что лишило меня зрения, лишить еще и разума. Если человек, неважно какой национальности, возжелает познать Бога, то его речи заслуживают того, чтобы быть услышанными.

Эстер потрогала корешок книги, что лежала перед ней на столе. Ее память бередили воспоминания о разговорах, что она слышала в амстердамском порту.

– Даже речи такого человека, как де Спиноза? – спросила она.

Лицо раввина напряглось, однако Эстер не обратила на это внимания. Она все пыталась восстановить в памяти обрывки разговоров, которые ей удалось подслушать у соседей после того рокового пожара. О самом Барухе де Спинозе она мало что помнила. Конечно, она видела его и в старшем возрасте – наверняка встречала на улице или могла видеть в синагоге. Но все это было до его изгнания. Барух был старше нее, и в те времена ему исполнилось то ли тринадцать, то ли четырнадцать лет. Как-то раз он провожал раввина от синагоги до ее дома. Эстер запомнила лишь темные глаза, спокойно вбиравшие в себя окружающую действительность. Его фигура казалась слишком хрупкой, несуразной, неспособной вынести все то, что горело у него в душе, о чем какое-то время спустя услышала Эстер.

– Де Спиноза, – отозвался раввин, – выставлял напоказ свои сомнения.

Раввин говорил, подбирая каждое слово, словно ему был не по душе весь этот разговор.

– Мне не удалось повлиять на мнение других раввинов, чтобы к нему отнеслись мягче. Да и самого Спинозу я пытался вразумить, однако без толку. Он сам выбрал изгнание и, как следствие, смерть, – закончил раввин.

Но разве не говорили, думала Эстер, что Спиноза отринул свое еврейское имя и ведет свои богомерзкие дебаты в пивных, нарекая себя Бенто – а то и вовсе Бенедиктом? Разве не говорили о нем, что он учился у бывшего иезуита ван ден Эндена, который слыл едва ли не атеистом? Как же тогда причислять Спинозу к мертвым?

Из кухни донесся голос Ривки: ужин готов. Раввин с заметным усилием отвлекся от беспокоящих его мыслей и повернулся в сторону Эстер с умиротворенным лицом.

– Не думаю, что тебе опасно читать христианские сочинения. Но все же не следует объявлять о том, что именно я познакомил тебя с подобными книгами. Если об этом станет известно в Амстердаме, то

наши братья захотят отстранить тебя от работы, хотя пока они закрывают на это глаза.

Это был первый их разговор, в котором раввин намекнул на ее пол. Она молча выслушала эти слова, боясь, что возражения могли бы лишь утвердить учителя в мысли прекратить их ежедневные штудии.

И вот теперь при свете свечного огарка перед нею лежали книги: Августин, Декарт… Эстер положила на их обложки свои руки – они вновь приобрели былую нежность, будучи избавленными от работы по дому. Их томило иное желание, желание прикоснуться к каждой странице, провести пальцами по чернильным строкам…

От свечи оставалось еще больше половины. Значит, можно будет читать целый час, а то и дольше, если удастся разыскать в ящике письменного стола еще одну свечку. Интересно, сколько она уже нажгла свечей за последний месяц? Ночные бдения над книгами становились для Эстер все более желанными, поскольку только тогда она могла вникнуть в смысл написанного без риска, что ей помешают. Поборов свинцовую тяжесть первого своего сна, она заставляла себя подняться с постели и спускалась в кабинет раввина. Оказавшись в заветной комнате, она снимала с полки тома и читала, пока глаза не наливались свинцом, источая слезы от напряжения.

Эстер не смогла устоять перед соблазном зажечь вторую свечу – нет, ну в самом деле, неужели расходы на содержание их дома так уж велики, что какая-нибудь свечка может подорвать бюджет? Эстер купит новую свечку, когда ее снова пошлют в Лондон. Молясь, чтобы Ривка не обнаружила недостачу свечей, Эстер умиротворенно вздохнула и открыла «Исповедь».

Борясь с пылким глаголом Августина, она и не заметила, как растаял оставшийся огарок. Но в речи Августина было что-то такое, чего она никак не могла ухватить, смысл слов ускользал от нее. В дело пошли вторая и третья свеча, и расплавленный воск наплывал на застывшие напластования старых свечей. Декарт… Но нет, надо вернуться к Августину, поскольку надо выучить его длинноты наизусть, ведь латынь – это язык, связывающий мыслителей, и она была готова раскрывать его тайны, пока не овладеет ими. И Эстер продолжала читать, и возвышенные чувства пробегали по ее телу, заставляя трепетать, хотя она изнемогала от любопытства и усталости. Когда же наконец погасла четвертая свеча, то наступившая темнота

раздвинула пространство комнаты до бесконечности, и Эстер закрыла книги, на ощупь ища свободные места на полке. Затем она тихо проскользнула в свою комнату и преклонила отяжелевшую голову на подушку. Ей казалось, что мир вокруг нее пульсирует, то сжимаясь, то расширяясь.

Утром она чувствовала себя словно одеревеневшей – ни солнечный свет, ни щебетание скворцов на крыше не могли разбудить ее. Сон смог прервать только шлепок ладони Ривки по стене. Потом, на кухне, замешивая тесто, Эстер чувствовала, как темнеет в глазах, стоило поднять голову; видимый мир грозил навсегда закрыться перед ней. Но тем не менее в голове бился один вопрос, словно ложка в деревянной миске: отчего раввины, стараясь понять волю Божью, или тот же Августин в своих рассуждениях о строении человеческой души, не думали как Декарт? Почему они ничего не могли принять за данность? Должен ли истинный поиск основываться на уже написанных текстах и традициях, или же разум способен сам по себе воспринимать все, что требуется для постижения мира? Какой путь вернее ведет к истине? Ложка стучала по краям миски, мысли бились в голове, а губы сами по себе шептали латинские изречения.

– Что за дьявол, – услышала она португальский говор Ривки, – пробрался ночью в наш дом и сожрал все свечи в кабинете раввина?

Эстер обмерла, и квадратная физиономия Ривки расплылась перед нею бесформенным пятном.

– Или наш слепой ребе светил себе по ночам?

Голос служанки дрожал от гнева. Эстер только и могла различить темные поры на носу Ривки.

– Это он, что ли, накапал воском на стол, чтобы за ним прибирали?

Эстер прижала миску к груди. Она наконец увидела полностью лицо Ривки, усталое, искаженное яростью и болью.

– Мы живем в этом ужасном городе, – продолжала грохотать Ривка, – в этом мерзком холодном доме, который рано или поздно сведет нашего хозяина в могилу. А ты в это время тратишь его деньги на свои книжные забавы!

Эстер не нашлась что ответить.

– Если учитель хочет, чтобы вместо мужчины работала ты, – тут Ривка перевела дыхание, и Эстер показалось, что та едва сдерживает слезы, – то я уважаю его выбор. Я не против, чтобы ты работала для его блага. Но я не позволю тебе воровать у человека, – в голосе Ривки послышались угрожающие нотки, – у того, кто единственный из вас, сефардских господ, имел сердце позаботиться о сиротах.

– Ривка, я не такая…

– Такая! – взвизгнула Ривка.

Казалось, ее саму поразил звук ее голоса. Немного оправившись, Ривка заговорила более спокойно:

– Да, ты такая. Это твой долг. Ты же португалка. И рано или поздно у тебя откроется дорога в жизнь. Ты выйдешь замуж – как любая другая девушка – и забудешь старого раввина. Да все вы такие…

Раздалось едва слышное шарканье по каменному полу. Обе женщины обернулись.

На пороге стоял раввин. Его тощая шея выглядела совсем тонкой, а из-под ворота рубахи виднелись седые волоски.

– Она читает по ночам по моей просьбе, – негромко сказал он, обращаясь к Ривке.

Та от удивления распахнула рот.

– Эстер учится, – продолжал раввин, – учится по ночам, чтобы днем исполнять свои обязанности писца должным образом. И это свидетельствует о ее преданности моим недостойным усилиям.

Он повернулся к Эстер, и ей показалось, что лицо учителя приобрело невинное выражение, словно у ребенка.

– Я должен извиниться перед тобой, – сказал раввин. – Видишь ли, я оказался несколько легкомыслен и не объяснил тебе, что работать по ночам не следует. Прошу тебя, читай днем. Дело даже не столько в трате свечей, сколько в том, что ночные бдения не способствуют крепости здоровья.

– Вы знали, что она читает по ночам? – хрипло спросила Ривка.

– В моем возрасте уже не до сна, даже если обо мне заботятся как о короле, – едва заметно улыбнулся раввин. – Но я не заслуживаю такой преданности, Ривка. Впрочем, я очень благодарен тебе.

Ривка плотно закрыла глаза и долго так стояла перед учителем. Потом, не сказав ни слова, тихо вышла на кухню.

В то утро раввин занимался с учениками. После занятий он устроился в кресле и как будто задремал. Эстер хотелось поблагодарить его, но она не могла подобрать нужных слов. Поэтому она просто сидела у ног учителя, следя за тем, чтобы в очаге не погас огонь, и время от времени поправляя спадающее с плеч ребе одеяло. Она подливала в чашку воду, хотя раввин почти не пил. Заботы об учителе так поглотили ее, что Эстер совсем забыла о визите Мэри, и когда та постучала в дверь, она, отворяя одной рукой, другой пыталась подтянуть шнуровку платья.

Мэри, напудренная, с аккуратно уложенными черными кудрями, хмуро посмотрела на наряд Эстер.

– Вечно ты в одном и том же! Ну и хорошо – значит, есть повод пойти к портнихе!

Она обернулась в сторону приоткрытой двери и добавила:

– На этой неделе мы с мамой побывали на двух приемах, и теперь тебе понадобится соответствующая одежда, а не эти лохмотья для прислуги.

Эстер задумалась: уж не имела ли Мэри в виду, что здоровье ее матери оставляет желать лучшего? Она открыла было рот, чтобы прямо спросить об этом, но Мэри уже тащила ее в экипаж. «Зачем вообще нужна карета, – подумала Эстер, – если пешком выйдет в два раза быстрее?» Однако Мэри явно предпочитала тряску по булыжникам мостовой скорости перемещения.

Как только Эстер устроилась на сиденье, Мэри пустилась в разглагольствования:

– Ты знаешь, что мне сказала Изабелла Родригес? Представляешь, Пьер Альварес ухаживает за Ребеккой Нонес!

Мэри уселась, по обыкновению, спереди и с любопытством уставилась в окно.

– А знаешь вот еще что? – тарахтела она. – Этот Пьер надел на свидание до того надушенные перчатки, что Ребекка постоянно чихала. А платка-то у нее не оказалось, и ей, чтобы не осрамиться, пришлось утираться подаренным красным цветком, от которого на носу осталось красное пятно! А поскольку ее недолюбливают за скверный характер, то никто, даже ее кавалер Пьер, не сказал ей об этом. Что, неужели не слышала?

Поскольку у Мэри была привычка заканчивать каждое высказывание вопросом, превращая свои монологи в некое подобие беседы, Эстер решила промолчать.

Вдруг, издав радостное восклицание, Мэри застучала в спину кучеру, чтобы тот остановил экипаж. Затем, высунувшись в окно, она окликнула двух девушек и позвала их к себе в карету. Девушки были знакомы Эстер – она видела их в синагоге. Одеты они были хорошо, хотя и не с таким шиком, как Мэри. Девицы нырнули в салон, окинули удивленным взглядом Эстер и расселись по обе стороны от Мэри, изобразив на лицах напряженное внимание.

Карета тронулась, и круглолицая, с красивыми пышными каштановыми кудрями барышня по имени Эмили принялась расхваливать платье и прическу Мэри, причем с таким жаром, что та даже несколько смутилась. Затем Эмили, полностью оборотившись к Мэри, отчего та невольно сморгнула, вопросила:

– Ты что, отказала Джозефу Левиту? Говорят, что к вам пожаловала вся его семья сватать тебя!

Мэри, успевшая оправиться от неуемных комплиментов подруги, небрежно усмехнулась:

– Да ну его, сморчка!

Обе приятельницы недоверчиво вздернули брови. Семья Левит уже несколько недель как поселилась в Лондоне, и Эстер, видевшая Джозефа в синагоге, могла сказать, что он весьма недурен собой.

– Или это из-за того, что он венецианец? – спросила вторая приятельница, которая выглядела несколько изможденной по сравнению со своей товаркой. – Мой отец не стал бы возражать, если бы я вышла за венецианца. А твоему-то что не понравилось?

– Наверное, он показался ему недостаточно хорош, – хмыкнула Мэри.

Она говорила игриво, но в голосе чувствовались мрачноватые нотки. Если верить рассказу Ривки о разговорах в синагоге, то семья Левит оказалась не столь богатой, как рассчитывали да Коста Мендес. И что там ни думала себе Кэтрин, отец Мэри отмел притязания Джозефа на руку его дочери.

– Ну а кто тогда тебе пара, если не Левит? – глядя в глаза Мэри, осведомилась Эмили.

Какое-то время в карете царило молчание.

– Что, кузен Марии Оливеры? Ребекка Кансио видела, как ты беседовала с ним и его сестрицей, когда те прошлый раз были в Лондоне.

Мэри сосредоточенно смотрела в окно кареты, однако едва заметная улыбка говорила о том, что двоюродный брат Оливеры куда милее ей, чем «сморчок» Левит.

– Да он же вроде с кем-то уже помолвлен в Амстердаме? – воскликнула Эмили (не без некоторого удовлетворения, как заметила Эстер). – А ты разве не знаешь?

Мэри в ответ лишь усмехнулась. Но когда они высадили девушек через несколько кварталов после синагоги, Мэри прислонилась к окну со вздохом облегчения.

Потом, в мастерской портнихи, пока та порхала вокруг нее, прикидывая, какая ткань подойдет к новому наряду, Мэри утомленно посматривала на улицу, рассеянно отвечая на расспросы о плиссировке и кружевах. В какой-то момент она потянулась к своей сумочке и, придвинув ту к себе, расстегнула деревянный замочек своими ровными мелкими зубами с такой томной чувственностью, что портниха с зажатыми во рту булавками отвела взгляд.

Наконец настала очередь Эстер. Она примерила платье с кринолином, а Мэри, усевшись на козетку, с интересом, будто ребенок, разглядывала ее фигуру. Мэри сделалась похожей на робкую девочку, которая стесняется задать вопрос старшей сестре.

Но вот, поправив платье на коленях Эстер, она вдруг спросила:

– Как ты думаешь, любовь действительно существует?

От неожиданности такого вопроса Эстер прыснула со смеху.

– Я хочу сказать, – продолжала Мэри, не обратив внимания на хихиканье Эстер, – вот если женщина полюбит мужчину, может ли она выйти за него замуж, не спрашивая посторонних? Или нет?

Портниха – сухая опрятная старушка – замерла. Но Мэри не обращала на нее никакого внимания. Взгляд ее был прикован к Эстер.

Портниха молча продолжила затягивать корсет вокруг талии девушки.

– Нет, – сказала та, помолчав. – Да и какой смысл стараться?

– Разумеется, я не утверждаю, что следует выходить замуж как попало, – поспешно возразила Мэри, словно стараясь заглушить голос Эстер. – Да, брак – это дело серьезное. Но я говорю сейчас о любви. И

если ты даже потеряешь от этого голову… это не означает, что ты поступила глупо. Быть может, любовь, – тут Мэри сделала неопределенный жест рукой, – это хорошо.

Эстер почувствовала, что слова Мэри больно укололи ее в самое сердце.

– Женщине негоже даже думать о таких вещах! – выпалила она.

В наступившей тишине было слышно, как портниха наматывает нитку на катушку.

– Ты не права, – промолвила Мэри.

Да неужели? Эстер боялась, что ее слова на самом деле окажутся правдой.

Раздался треск разрываемой нитки, и мир вокруг как будто замер. Эстер почти перестала дышать. Мэри подошла ближе.

– Ты не права, – негромко повторила она. – И ты сама это прекрасно понимаешь. Ты просто морочишь мне голову, маленькая дрянь.

С этими словами она протянула руку и ущипнула Эстер так, чтобы у той на скуле остался багровый след. Портниха побледнела.

– Никогда больше не делай так, – прошептала Эстер. – Иначе я перестану с тобой общаться. Я тебе не прислуга!

Мэри вспыхнула, не зная, что ответить.

В дверь мастерской кто-то постучал, и портниха бросилась открывать. Мэри отступила на шаг и почти крикнула:

– То есть ты считаешь мою мать идиоткой?

Эстер слышала, что в синагоге поговаривают, будто Кэтрин мечтает уехать из Лондона, но терпит ради своего мужа, который имеет в городе деловой интерес. Неужели Мэри хочет, чтобы она сказала ей об этом?

– Твоя мать задыхается, – с расстановкой произнесла Эстер, – задыхается в Лондоне. Но ради мужа…

Глаза Мэри потемнели от гнева. По всему было видно, что слова Эстер задели самое ее больное место. Эстер поняла, что та хотела услышать лишь слово «нет», – но было уже поздно.

– А что твоя премудрая матушка говорила тебе насчет любви? – рыкнула Мэри.

В этот момент в мастерской снова появилась портниха. Она набросила на голову девушки платок и стала прикалывать его к

прическе булавками. Эстер сделалось неприятно, но она крепко сжала губы.

Мэри поцокала языком, и через мгновение Эстер почувствовала, как та оказалась позади нее, выдирая булавки из приколотого платка.

– Дайте гребень, – попросила Мэри портниху.

Та принесла требуемое и тотчас же выскочила вон на новый стук в дверь.

Мэри, сосредоточенно насупившись, расчесывала волосы Эстер у каждого уха, словно это являлось сейчас ее главной задачей. Неумелыми движениями она разделяла и собирала пряди, то и дело цепляя уши Эстер зубьями расчески.

– Извини, – пробормотала она, продолжая работать гребешком.

Эстер было вскочила, не выдержав прикосновений к своим волосам. Но какое-то странное чувство смиренности заставило ее застыть на месте. Сколько же лет прошло с тех пор, когда косы ей заплетала Гритген, ласково придерживая рукой волосы? Не будет у нее больше такой подруги…

Тонкие зубья гребня, которым орудовала Мэри, не подходили для густых и волнистых волос Эстер. И все же, несмотря на болезненные рывки, Эстер прикрыла глаза. На мгновение она воспрянула духом, отчего ей захотелось вразумить томную и вычурную Мэри, чтобы та смогла сама услышать не совсем трезвый голос Константины в тишине ночи. Быть может, до нее дойдет, что любовь действительно способна быть злом?

– Она советовала мне, – наконец ответила Эстер, – не быть дурой.

Движения Мэри замедлились.

– А моя мать считает меня дурой, – сказала она. – Но я-то знаю, что это не так.

Гребень снова прошелся по волосам Эстер, но уже не так уверенно.

– Ты задумывалась ли когда-нибудь, – спокойно спросила ее Эстер, – может ли наша воля что-либо изменить? Или способны ли мы самостоятельно определить, кто мы такие на самом деле в этом мире?

– Ты-то сама веришь, что кто-то сможет ответить на твои вопросы? – хмыкнула Мэри.

– Я хотела спросить, можем ли мы быть самими собой.

Мэри сильно потянула Эстер за волосы:

– Я сама выбираю, кем мне быть!

Эстер понимала, что отвечать не стоит. Но в то же время в ее груди зловеще шевельнулась жалость к себе. Она, конечно, и не сомневалась, что любовь существует на самом деле. Нет, это не шторм на море, от которого одни прячутся в безопасных гаванях, но большинство гибнет в открытом море. Эстер хотелось быть подобной Мэри. Мэри, которая умела мечтать. Да вообще любой женщиной, кроме себя!

А больше всего на свете ей хотелось забыть пьяный голос матери…

«В Лондоне». Констанция неторопливо глотает темно-красную жидкость, и кажется, что ей больно глотать. Она откидывается на подушки, распустив свои длинные темные волосы.

«Он жил в Лондоне».

– Моя мать родилась от опрометчивой, неразумной любви, – произнесла Эстер.

Этого не следовало говорить, но было уже поздно.

Губы Мэри расплылись в неуверенной и одновременно полунасмешливой улыбке. Неужели это правда? Надо же – ляпнуть такое, о чем никто и заикнуться-то не посмел бы, даже если так и было.

– Она сама рассказала мне об этом, – продолжала Эстер серьезным тоном. – Хотя из-за вина едва могла говорить.

Услышав о подобном сраме, Мэри сдавленно рассмеялась, но тут же умолкла. На ее лице промелькнуло что-то важное, даже торжественное. Благодарность. Мэри осторожно провела руками по волосам Эстер, словно боясь разогнать ореол такого поразительного откровения.

А Эстер смотрела в зеркало, наблюдая за работой Мэри. Да, она сказала чистую правду. По крайней мере, то, о чем она уверенно помнила. Голос Констанции в пустом доме. Самуил и Исаак ушли, прислуга отпущена. Констанция неверным движением откупоривает бутылку. Длинные тонкие пальцы матери на богато украшенных кубках – один для нее, другой для Эстер. Несколько согревающих глотков, серебристый, плутовской смех. «А знаешь ли, Эстер, что у меня есть книга английских стихов? Но больше я ее не читаю… Эта книга принадлежала моей матери. Подарок от любимого человека. Но

она уже была не в силах даже открыть ее, и я выпросила книгу. Зачем? Потому что я была уверена в том, что Англия рано или поздно станет моим домом. Когда он позовет меня – мой настоящий отец…»

– Моя бабка, – сказала Эстер, глядя на Мэри в зеркало, – была родом из Лиссабона. Однако ее муж, тамошний купец, вдвое старше нее, вел дела в Англии, и ей пришлось сопровождать его в Лондон. И здесь ей встретился некий англичанин, которого она полюбила.

Мэри, не издав ни звука, провела гребнем по волосам Эстер.

– И от их любви родилась моя мать. Она выросла в Лиссабоне и называла отцом другого человека. Однако бабка рассказала ей всю правду.

Эстер нашла в зеркале взгляд Мэри.

– Мать родилась от большой любви, Мэри, но эта любовь не смогла бы их прокормить.

Константина… Миндальный разрез глаз, целый потоп льющихся на плечи волос. Вот она пьяным движением дергает за веревку, чтобы опустить балдахин. Велит Эстер расшнуровать ей платье, что та и делает, боясь прикоснуться к оливковой коже матери, чтобы не разрушить их доверительную близость.

«Я видела своего настоящего отца один раз. Один только раз!»

Рассказ ее матери о совершившейся измене раскачивался в памяти Эстер, словно корабль на морских волнах.

«Мать отправилась со мной в Лондон, чтобы разыскать того англичанина. Его глаза, Эстер, его глаза были не просто карими – они были цвета торфа или темного дерева!»

Руки Мэри остановились сами по себе:

– Но зачем все это нужно было твоей бабке? – выпалила она.

Эстер немного поколебалась, а затем сказала:

– Моя мать говорила, что была любовь, которая заставляла обоих страдать оттого, что они были связаны узами брака с другими людьми. Тот англичанин, ее отец, был незнатного происхождения, но славился умом и проницательностью во всем, что бы ни делал. И ненавидел все, что его ограничивает. Моя бабка оказалась такой же. Но в конце концов их любовь принесла им лишь страдания. А потом бабка, Лизабета, вернулась в Лиссабон с ребенком – моей матерью.

– Но впоследствии они все же увиделись? – настаивала Мэри. – Разве не так?

– Да, но только через много лет, – кивнула Эстер. – Это случилось, когда инквизиция в Лиссабоне убила ее мужа. Бабка разбудила мою мать среди ночи, и они бежали на корабле в Лондон, где бабка пыталась найти того англичанина. Однако его друзья не захотели помочь Лизабете.

– Но все-таки его же нашли? – заметила Мэри. – Ведь нашли же!

– Моя мать была тогда совсем девочкой! Вряд ли она многое понимала. А то и вообще могла досочинить.

– Нет, не думаю. Расскажи.

В зеркале Эстер увидела восхищенное лицо Мэри.

На мгновение шепот Константины наполнил уши Эстер, словно шум моря в раковине: «Моя мать напевала эту песню, убаюкивая меня во время штормового перехода в Англию: „Я знаю душу отца твоего – он великий человек. А ты родилась, Константина, от большой любви…“»

– Мать говорила, что чувствовала доброту своего настоящего отца, хотя нельзя сказать, что он слишком заботился о ней. Говорила, что находиться среди этих двух людей было все равно что стоять посреди течения реки, когда вода мягко сбивает тебя с ног, если ты не держишься за что-нибудь.

Мэри одобрительно кивала – это была та самая любовная история, которую она и надеялась услышать.

Эстер замолчала, но Мэри потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать это.

– А что было дальше? – спросила Мэри. – Он взял их к себе, да?

Эстер отвела взгляд от зеркала. В ее голове бились слова Константины: «Я ненавидела его за то, что он не перевернул мир, а отрекся от нас».

– Нет.

Снова посмотрев в зеркало, Эстер заметила, как застыло лицо Мэри.

– Он что, не знал, какая судьба ждала их в Лиссабоне?

– Бабка решила не говорить ему.

– Но как… – начала было Мэри и осеклась, стараясь описать словами подобную нелепость. – Но почему? – наконец вырвалось у нее.

– Мать сама так этого никогда и не поняла.

– Да потому что такое вообще нельзя понять, Эстер!

– Еще я знаю, что Лизабета обвинила того англичанина в том, что тот обманул ее своими обещаниями вечной любви. Тот, в свою очередь, ответил ей тем же. Он сказал еще, что, мол, несвободен в своих поступках, а потом попросил время, чтобы обдумать ситуацию. Он даже предлагал деньги, но Лизабета из гордости отказалась. И она ничего не рассказала ему о том, как священники резали на ремни кожу ее мужа.

Эстер снова вспомнился дрожавший от горечи и удивления голос Константины: «Почему мать не рассказала ему об опасности, что подстерегала нас? Почему, Эстер? Или же она хотела проверить, насколько сильна его любовь? О, ни у кого во всем мире не было столько упрямства, как у нее! Она стояла, положив руки мне на плечи, и я спиной чувствовала, как бьется ее сердце. И англичанин плакал, а я видела слезы у мужчин лишь при смерти, а он все смотрел и смотрел на меня, и я заметила, что он стар и слаб».

– Бабушка, – сказала Эстер, – не хотела, чтобы любовь поймала ее в ловушку. Сердце, говорила она мне тогда, всегда свободно, и если попытаться совершить над ним насилие, оно взбунтуется. И еще она говорила, что хотела бы, чтоб этот англичанин всегда видел ее красивой и радостной, а не жалкой и поруганной, так как воспоминания о тех днях любви были драгоценны.

Дождавшись, когда Эстер закончит, Мэри сердито дернула плечом:

– А я бы рассказала ему все. И тогда любовь спасла бы нас.

Досадливо поморщившись, она снова принялась за прическу Эстер. Несколько минут прошли в молчании. Затем Мэри угрюмо спросила:

– И что было потом?

– Лизабета и моя мать отплыли обратно в Лиссабон. К инквизиции…

– Ну, а дальше?

– Мне кажется, – сказала Эстер, – у моей бабки были еще любовники, хотя и не такие, как тот англичанин.

– О, еще? – как-то нехорошо хихикнула Мэри. – А знает ли ваш раввин, кого он пригрел под своей крышей?

– Думаю, что да, Мэри, – вскинула голову Эстер.

Мэри снова принялась за расчесывание.

Однако с неожиданной для нее самой смелостью Эстер продолжила:

– Моя мать считала себя мудрее собственной матери. Она покинула Лиссабон и без любви вышла замуж за моего отца. Она считала его никчемным человеком, который вряд ли осмелится пренебречь ею. И она так же легко изменяла ему, когда ей надоедало быть верной женой. Она сама призналась мне.

Константина. Мерцающий огонь свечи. «Видишь, Эстер, вот так я и узнала, что случилось с моей матерью. И я изменила свое сердце. Я научилась вести себя в любовных делах так, чтобы не стать жертвой».

Считала ли Константина, что говорила той пьяной ночью с Эстер именно о любви? В ее словах не было любви, а звучала лишь злоба. И когда небо над Амстердамом стало светлеть и часы неожиданных откровений матери истекли, Эстер вдруг почувствовала себя совершенно трезвой. И, выслушав последний рассказ Константины о неверности и предательстве, она навсегда запечатлела его в своем сердце.

«Когда я пришла к матери незадолго до ее смерти, Эстер, ты представляешь, что она мне сказала? Она упрекнула меня за мое недовольство, за мою злобу. Меня, которая всю жизнь жила с ее горем! Но она сказала, что ошиблась во мне, так как я не смогла научиться ненавидеть тюрьму, будь она создана инквизицией или же собственным сердцем.

Я сказала ей, что поступила именно так как раз для того, чтобы избежать этой самой тюрьмы, тюрьмы сердца. „Я поступаю так, – сказала я ей, – чтобы любовь не подвела снова, как подвела нас раньше“.

Мать покачала поседевшей головой, словно я сказала какую-то глупость. „Нет, Константина, – ответила она, – любовь не подвела нас с твоим отцом. Ничего не получилось лишь потому, что мы слишком много от нее требовали. Мы хотели, чтобы любовь переделала мир“.

Мать говорила так, будто хотела выжечь в моем сердце новую истину взамен истершейся старой. „Я написала, – сказала она, – написала письмо твоему отцу незадолго до его кончины. Я все ему рассказала: как мы бежали из Португалии и все, что творилось тогда в Лиссабоне. Он же ничего не знал об этом. В Англии не сообщали о

положении евреев. Его ответное письмо, казалось, рыдало словами. Он писал, что если бы я тогда рассказала ему всю правду, то он непременно помог бы нам. Но, Константина, я не могла, ибо любовь не ставит ни капканов, ни силков. Я не смогла бы жить в Лондоне как его тень, как его тайна, без него рядом с собой. Разве ты не понимаешь? Этот мир победил нашу любовь. И в моем сердце нет горечи – только печаль“».

Комнату залили рассветные лучи. Константина допила вино и поставила кубок на стол. Она казалась раздосадованной, но взгляд ее выражал замешательство. Внезапно она крепко схватила Эстер за плечо: «Я ожесточила свое сердце, Эстер, чтобы не быть дурой!»

От усталости и выпитого вина Эстер потеряла контроль над своими эмоциями. Комната плыла и шаталась перед глазами. Константина вздрогнула, как будто в выражении сострадания на лице дочери увидела горестные узы собственного духа. И это был единственный раз, когда Эстер почувствовала переполнявшее мать сожаление.

Не прошло и полугода, как случился пожар.

Самуил Веласкес, развернувшись на лестнице, ищет в дыму дверь, за которой спит его жена. Бег наперегонки с яростным пламенем…

Эстер машинально вскинула руку, словно призывая их обоих вернуться.

Услышав, как Мэри позвала ее, она открыла глаза.

– Какая была твоя мать? – спросила Мэри.

Эстер уже мало что помнила из того, что рассказала. Поэтому просто сказала:

– Она ничего не прощала. Одно прикосновение к надежде на великую любовь сломало ее.

Сделав движение рукой в воздухе, она опустила ее.

Посмотрев в зеркало, Эстер поняла, что с прической закончено. Спереди волосы были элегантно убраны назад и каскадом ниспадали по бокам. Обе щеки прикрывали длинные локоны, напоминавшие уши спаниеля. Затылок оттягивал назад тяжелый пучок.

Мэри стояла позади, опустив руки.

– Вот… – произнесла она в некотором замешательстве.

Повисла тишина. Обе девушки застыли.

– Ты когда-нибудь любила? – едва слышно спросила Мэри.

– Нет.

Мэри медленно покачала головой, как бы признаваясь: она тоже.

– Мы сами выбираем, кем быть, – сказала она, разгибаясь и заглядывая в зеркало. – Я могу выбирать. И ты тоже, – мгновение спустя добавила она.

Эстер хотела было возразить: ее мать считала, что познала любовь, и это заблуждение погубило ее. Но она промолчала. Как и Мария, она вдруг почувствовала желание довериться своим чувствам. Почувствовать любовь и отдаться блаженству.

Снова наступило молчание. Мэри потянулась, чтобы заправить невидимую прядь волос Эстер, и на секунду задержалась, будто выискивая еще одну. Но вскоре ее руки стали двигаться все медленнее, пока совсем не остановились, словно боясь прикоснуться к чему-то столь прекрасному и соблазнительному.

– Вот, – повторила Мэри и сошла с приступки.

Домой Эстер шла, словно спасаясь от грозы. Дверь закрылась тяжело – на нее пришлось надавить, словно сопротивляясь сильному ветру.

В душе ее царил хаос. Но тишина кабинета раввина несколько успокоила Эстер.

В очаге горел слабый огонь. Раввин спал в своем кресле.

Наконец сердце Эстер забилось ровно.

На столе у двери лежало запечатанное письмо, доставленное в ее отсутствие. Конечно же, Ривка положила его туда, чтобы Эстер прочитала раввину.

Она взяла из ящика стола небольшой нож, вскрыла письмо и стала читать написанное нервным почерком:

Раввину Га-Коэну Мендесу из Лондона

Приветствую Вас и да пребудет с Вами Б-жье благословение!

Являясь двоюродной сестрой ныне покойной матери Катрин да Коста и, следовательно, будучи знакома со многими семьями лондонских евреев (хотя мой вдовий

пенсион позволяет мне жить лишь в деревне), пишу вам с почтительным предложением, которое, возможно, вас порадует.

В беседе с одним из членов вашей общины во время собрания, на каковое я была любезно приглашена, я услышала от него теплый отзыв об одном из ваших домочадцев. Буду с вами откровенна: такие разговоры являются весьма благодатной почвой для обсуждения возможности заключения брака между вашей подопечной Эстер Веласкес и одним молодым человеком из лондонской общины. Вы, конечно же, понимаете, какое это благо и какая удача для девушки, у которой нет даже приданого. Благодаря этому браку девушка могла бы начать жизнь матери в Израиле[34]. И хотя брак этот маловероятен из-за ее скудных средств, я все же призываю вас подумать о том, чтобы воспользоваться моими услугами, причем как можно скорее, пока молодой человек не утратил интереса. В свою очередь, уверяю вас, что приложу все усилия для достижения успеха. Молодой человек, о котором идет речь, естественно, желает, чтобы все было сделано в пределах благоразумия. Он был весьма удивлен моим предложением уладить это дело, впрочем, быть может, его это несколько развеселило.

Могу ли я заняться этим делом и написать вам, когда в следующий раз соберусь в Лондон? Гонорар за мои услуги не превышает обычного размера, назначаемого в таких случаях. Хотя, конечно же, такой подарок, как удачное замужество девушки безо всяких перспектив, бесценен.

Жду Вашего ответа.

С уважением, Изабелла Мендоса

Дочитав письмо до конца, Эстер почувствовала, как по ее груди прошла ледяная волна. Как может какой-то незнакомый человек одним махом изменить ее жизнь, выдав замуж за неизвестного юношу и навсегда разлучив ее с раввином, потрескивающим камином и книгами?

В голове разрасталась мысль, пока не заполнила ее всю: нет.

Раввин пошевелился. Словно чувствуя малейшее его движение, из кухни тотчас же появилась Ривка и опустилась на колени у очага, подкладывая дрова.

Эстер отложила письмо.

– А вот и я, – отозвалась она на тихий голос ребе.

Он поманил Эстер поближе к огню. Ривка принесла ему чаю, и раввин долго пил. Эстер ждала, когда он спросит ее о письме, но тот молчал, и через некоторое время Эстер поняла, что учитель ничего не знает.

В камине трещало пламя. Ривка собрала горящие поленья в кучу, как будто хотела получше согреть тощее тело хозяина. Эстер еще долго сидела напротив раввина, пока от жара у нее не заболели глаза. Она размышляла о том, страдали ли глаза учителя от раскаленного воздуха, исходящего от ревущего пламени, или навсегда погасившее его взгляд железо лишило их заодно и чувства боли? А если он перестал ощущать боль, то, может быть, его остальные чувства притупились, чтобы желать всего, чего он уже не мог иметь?

Из камина раздался громкий щелчок. Эстер вздрогнула.

– Полагаю, – тихо, не шевелясь, произнес раввин, – что эти каменные стены неподвластны огню.

Даже слепой, он все равно почувствовал ее испуг.

– Давайте почитаем, – сказала Эстер резче, чем собиралась.

А ведь всего несколько часов назад она не могла найти слов, чтобы выразить свою благодарность раввину. Теперь же ее трясло с досады. Эстер встала, подошла к столу и взяла тоненький том комментариев к Ионе, который они с ребе начали обсуждать несколько дней назад.

– Тебя что-то беспокоит, – сказал раввин.

– Нет, – тихо произнесла она, не в силах заставить свой голос звучать громче.

Раввин помолчал, а потом заметил:

– Кажется, сегодня мой ум слишком слаб, чтобы читать комментарии.

Эстер отложила книгу.

– Тогда, быть может, почитать псалмы?

Лекарство, которое он давал ей, а не себе. Го рл о сжалось от чувств, которым Эстер не могла подобрать название.

– Слова молитвы подобны птицам, – тихо промолвил учитель. – Им должно парить.

Она не верила, что это так. Птицы могли вылететь из горящего дома. И если бы молитва обладала такой способностью, то ее отец был бы еще жив. А тогда была бы жива и Константина, пусть обозленная, сбитая с толку. Если бы молитва была птицей, то Исаак не погиб бы.

Прежде, чем осознать, что говорит, Эстер повернулась к раввину и спросила:

– А что вы видите под веками глаз своих?

Наверное, впервые в молчании учителя обнаружилось беспокойство. Эстер ощутила едва заметное, но острое удовлетворение и устыдилась его.

– Я не буду сразу отвечать на твой вопрос, – сказал раввин. – Но скажу о том, что почувствовал, когда потерял зрение. Я понял, что отныне многое в этом мире недоступно мне, ибо мои руки никогда больше не перевернут страниц книги, не будут испачканы приятно пахнущей темной тяжестью чернил, которую я полюбил с тех пор, как помню себя. Я оказался в пространствах, некогда знакомых мне, и шел по ним, выставив перед собой руки, и постоянно на пути моем встречались препятствия. Вот то, что я тогда научился понимать, Эстер. И учусь понимать до сих пор.

Эстер замерла от стыда, устрашенная такими словами.

– Расстояния между вещами очень велики, – продолжал раввин. – Они огромны.

Теперь его незрячие глаза были обращены к огню.

– Эстер, не сожалей о своей несвободе.

Неужели он умеет читать мысли? В то утро, после разговора с Ривкой, Эстер обыскала ящик в кабинете учителя в надежде найти в нем хоть одну свечку. Но Ривка не оставила даже лучинки.

– Ты учишься так, как не могут учиться другие женщины, – говорил раввин, – но тебе нужно большее. Твой ум нетерпелив. И пусть хоть весь Амстердам не согласится со мной, я скажу, что это рвение дано тебе свыше. Но и у него должны быть пределы. Иногда душе полезно удовольствоваться собой, очищаться и гореть внутри самой себя, не получая всего, чего она желает.

Он оборотился к ней, и Эстер почувствовала его трезвое и проницательное внимание.

– Лондонские евреи, Эстер, не хотят меня. Они считают, что я пришел громить их за то, что они пренебрегли теми или иными обычаями. Но вскоре они получат желаемое: уважаемого ребе для своей синагоги, который скажет им о величии и напомнит о славе нашей традиции. И при таком учителе они обратятся в сердцах своих – только очень нескоро – к преданию. Но они не желают, чтобы им проповедовал такой, как я.

Раввин по-прежнему сидел обратившись к Эстер. Кожа его лица белела в свете камина.

– Я сделаю все, что от меня зависит, – сказал он. – Я буду служить им до тех пор, пока они будут терпеть мое присутствие. Я не буду, да и не заслуживаю того, чтобы спорить о более широком значении моего учения.

– Но вы заслуживаете их уважения, – с сердцем произнесла Эстер. – Они должны собираться перед вашей дверью в ожидании прикоснуться к вашему учению, умоляя вас прочесть проповедь. Вы – ученый, который претерпел пытку за свою веру, а они продолжают открыто носить кресты на улицах города, где им нечего опасаться инквизиции.

В этот момент в ее душе любовь к раввину вспыхнула с новой силой вплоть до желания бороться за него.

– Как они смеют презирать мученика?

При этом слове раввин вздрогнул, и его лицо сделалось жестким. После долгой паузы он произнес:

– Я не мученик.

– В смысле…

– Я умолял их о пощаде.

Наступило долгое молчание.

– Тогда, в Лиссабоне, я произнес слова, которые первыми пришли мне в голову. Я не отрекся от своей веры под пыткой, но и не исповедал ее. Слова просто сыпались у меня изо рта безо всякого смысла.

Раввин снова надолго замолчал.

– Я так и не понял, почему меня отпустили, – продолжил он наконец. – Может быть, пожалели, потому что я был очень молод. А может, потому что, стеная под их инструментами, я произнес те самые слова, которые они так жаждали услышать.

Раввин сидел все так же неподвижно. Эстер видела, как по его лицу пробежала какая-то то ли тень, то ли судорога, свидетельствовавшая о внутренней борьбе, – и исчезла.

– Я не помню, чтобы когда-нибудь произносил имя их бога, – сказал он, – но, впрочем, быть может, все же сделал это. У меня нет другого объяснения, почему меня оставили в живых.

Однако я уверен, что назвать имя их бога было куда менее трусливым поступком, чем то, что я сделал потом, – раввин содрогнулся, и его веки сморщились, словно они все еще прикрывали его сожженные глаза. – Я умолял их о пощаде. И это после того, как мои родители остались тверды в своей вере.

Эстер, не раздумывая, шагнула вперед и положила руку на руку учителя.

– Меня отпустили, сказав, что зрение – это довольно-таки небольшая цена за мою жизнь. Один из священников, самый молодой, прежде чем выжечь мне глаза, выразился так: «Пусть последнее, что ты увидишь, будет всегда напоминать тебе об истине, которую сейчас ты примешь из рук Божьих!»

Он сидел беззащитный, как ребенок. Хрупкая его шея венчала исхудалые плечи.

– Да, все было именно так, как он и сказал. То, что я видел последний раз в жизни, осталось со мной навсегда. Я вижу это даже сейчас, Эстер, прямо сейчас.

Что он мог видеть? Но Эстер поклялась себе никогда не спрашивать.

Огонь понемногу утихал, и воздух над очагом слегка подрагивал.

– Псалмы, – произнес раввин.

Эстер подошла к полке и взяла маленькую книгу в потертой обложке. Книга словно ждала ее, хотя стены комнаты, казалось, только что пошатнулись от рассказанной ужасной истории.

– Номер тридцать три.

И она пела вместе с раввином.

Позже, когда Ривка, уговорив учителя, медленно за руку вывела его на улицу, Эстер осталась одна в кабинете и долго стояла на одном месте.

А затем снова развернула письмо вдовы.

Задумывалась ли она о юноше, который разговаривал о ней с Изабеллой Мендоса? Да. Скорее всего. Отрицать было бессмысленно. Глупо было бы притворяться, что девичьи мечтания Мэри не совпадают с ее собственными.

Нет, Эстер не могла позволить себе стать подобной другим девушкам. И она еще не знала, существует ли страсть, не требующая страшной цены. Неужели эта вдова, написавшая письмо, позволила управлять собой чувствам? Но какой бы выбор в своей жизни она ни сделала, какие бы надежды ни питала, у нее ничего не получилось. И поэтому теперь ради заработка ей осталось только заниматься расстановкой новых ловушек, совершенно не интересуясь судьбами попавших в тенета жертв.

«Для женщины это очень опасно», – подумала Эстер.

Верила ли она в это?

Эстер перечитала письмо и бросила его в огонь.

Так, в одно мгновение, она предала своего учителя.

Глубоко дыша, Эстер смотрела, как горит бумага. Вот та скорчилась, свернулась от жара, поднялась вверх в потоке горячего воздуха и опала – единственный листок бумаги, который мог вырвать Эстер из уютного гнезда дома раввина.

Глядя на сотворенное ею, она содрогнулась. Но если бы ей потребовалось протолкнуть бумагу подальше в огонь, она без колебаний протянула бы руку. Эстер смотрела, как письмо превратилось в тонкую паутину пепла и пропало в тлеющих головешках.

Сделанный ею выбор стал комом в теле Эстер, словно горькое лекарство, которое она решилась проглотить. Но пока было слишком рано говорить, примет ли его тело.

Глава тринадцатая

16 декабря 2000 года

Н-да, Мариса, ты просто заинтриговала меня. Сначала твое сообщение о запланированных экскурсиях на север, а потом внезапно ты пишешь, что покидаешь программу кибуца. Дальше я узнаю, что у тебя планы съездить в пустыню, но после приходит письмо, что ты собираешься стать волонтером в каком-то женском приюте. И все. Дальнейшее – молчание. Может, ты стала ортодоксальной еврейкой и теперь носишь платок и собираешься стать матерью восьмерых детей? Ну, или стала участницей панк-группы и живешь в Тель-Авиве на широкую ногу.

А я работаю над документами под началом милейшей Хелен Уотт. Некоторые бумаги не представляют собой ничего особенного, но зато другие весьма интересны. Однако мы только сейчас начали составлять более или менее полную картину – что это за бумаги и почему они оказались под лестницей в Ричмонде. В семнадцатом веке от Лондона до тех мест был ни много ни мало день пути.

В одном из документов есть несколько пока еще необъяснимых ссылок, которые, по мнению профессора Уотт, будут иметь огромное значение. Я пока не уверен, но есть предположение, что мы нашли документы, исполненные писцом-женщиной. Если это так, то наша работа после публикации вызовет настоящий фурор. Несомненно, сей факт продвинет науку в данной области, и с точностью сто процентов можно сказать, что любые статьи, которые мы напишем по этому материалу, попадут в серьезные издания.

Это обстоятельство несколько облегчает общение с Хелен Уотт. Порой казалось, что она вот-вот размякнет и станет вести себя как нормальный человек, но я жестоко ошибся в своих предположениях. Трудно представить, что у

нее есть дом. Мне представляется, что, выйдя из своего кабинета, она сворачивает за угол и сразу же оказывается на полке в хранилище особо злостных зануд. Лишь к утру она вновь превращается в человека и приступает к работе. Боже, спаси нас (обрати внимание, как я англизировался!) от старой академической гвардии! Она именует тайно исповедовавших иудаизм в семнадцатом веке «криптоевреями», причем произносит это слово так, как будто рассуждает о некоем препарате под микроскопом. Ктувим[35] она именует «Агиографами» – вероятно, для того, чтобы показать мне, будто она не из тех сентиментальных религиозных типов. Евреев она рассматривает, словно это жучки из ее коллекции, приколотые к картонке булавками. Ну что ж, придется попробовать разжевать этот британский сухарь. Я искренне рад, что мне довелось работать над этим проектом. И ей нужны мои навыки.

Последняя часть письма была ложью. Или нет? Может быть, сегодня Хелен Уотт вдруг возьмет и похвалит его за то, что он не только переворачивает для нее страницы документов?

Да куда там! Буквально вчера он застал Хелен за тем, что она перепроверяла один из его переводов. Какой смысл нанимать аспиранта, восемнадцать лет изучавшего иврит, испанский и португальский языки, если ты сомневаешься в его знаниях?

С другой стороны, если у тебя самого вышел затык с диссертацией, то все лучше переворачивать страницы, чем ничего.

Мысли его ходили по кругу, как автобус по кольцевой развязке. Понадобилось совсем мало времени, чтобы его размышления направились по этому маршруту. Несколько тошнотворных месяцев в Лондоне – и к горлу у него уже подступала желчь. Аарон провел в библиотеке три-четыре недели, пытаясь найти связь между шекспировским Бассанио из «Венецианского купца» и еврейской семьей Бассано – и только лишь для того, чтобы обнаружить, что другой ученый исследовал этот вопрос… и установил, что Бассано вовсе не был евреем.

Тогда Аарон взялся за «Бурю». Он предположил, что магические книги и волшебное одеяние Просперо могут иметь еврейские

источники, однако скоро установил, что и здесь он ошибался. Хуже того, до него дошло, что он совсем не понимал смысла пьесы, так как не мог до конца поверить в то, что Просперо отказался от своей магической силы. Аарон не смог разобраться в смысле кульминации «Бури» – он не мог согласиться с тем, что такой персонаж, как Просперо, добровольно сломает свой волшебный жезл и откажется от способности ослеплять, мстить и привлекать к себе тех, к кому он испытывал неодолимую страсть, – так что, если он не смог разобраться даже в поверхностном смысле текста, который большинство критиков считали одним из выдающихся произведений Шекспира, то постичь более глубокие смыслы нечего было и надеяться.

«Бурю» пришлось оставить в покое.

Дарси постарался успокоить, утешить его, насколько способен на подобное отношение британец. Поглаживая свою обрамленную редкими седыми волосами лысину, Дарси сказал Аарону с неприсущей ему теплотой, что для тех, кто выбрал для себя суровый путь научного знания, неизбежны темные периоды. Но, добавил Дарси, он уверен, что Аарон в конце концов обязательно справится.

И, хлопнув его по плечу, Дарси вывел Аарона из кабинета и вернулся к своему обеду.

Да, куда проще заниматься темами помельче, чем пытаться сказать что-то новое о Барде[36], вокруг имени которого академические шарлатаны плясали, словно железные опилки вокруг магнита. Как-то раз на вечеринке с пивом и чипсами один парень, который знал о репутации Аарона как одного из «бардопоклонников», похвастался, что он сам опроверг три теории о личности Темной Леди и Светловолосом Друге и скоро займется установлением личности любовниц и любовников Шекспира. Однако, когда Аарон стал уточнять подробности, паренек повел себя уклончиво, как будто Аарон собирался украсть его идеи. Но он напрасно волновался, так как, по мнению Аарона зацикливаться на давно умерших людях – даже если ты оказался столь проницательным ученым, что предположил, будто Шекспир писал свои сонеты не просто из головы, а упоминал в них реальных людей, которых любил, – это просто пустая трата времени. И выяснение того, кто нравился Барду и с кем у него что-то было, не добавило бы новых значимых черт к образу и значению великого

поэта. Пусть сонеты, посвященные Темной Леди и Светловолосому Другу, говорят сами за себя и остаются универсальными посланиями, не нуждающимися в контексте.

Впрочем, разве сам Аарон не понимал бессмысленность собственной диссертации? Чем отличаются исследования того парня и его попытки найти связь между шекспировскими произведениями и давно канувшей в Лету еврейской общиной? Возможно, ему следовало бы поблагодарить Хелен Уотт за то, что она предоставила ему своего рода временное убежище в научной деятельности.

Более трех недель назад Мариса написала ему, что летом собирается приехать в Лондон на свадьбу друга.

Аарон представил себе ее.

Представил, как она входит в его лондонскую квартиру и ставит на пол свою дорожную сумку.

Как она глядит на него и смеется.

Представил ее обнаженной.

Представил ее лежащей.

Лежащей на черных бархатных драпировках, как изобразил ее Родни Келлер.

Все-таки интересно, гей Родни Келлер или нет?

И опять автобус на кольцевой развязке…

> Однако в нашей работе возникла одна проблема, – *писал Марисе Аарон.* – Мы оказались не единственной группой, которая работает над этими документами. Декан исторического факультета собирается предоставить доступ к бумагам еще одной группе. Ну и само собой, никто даже слышать не хочет о совместной работе! Хелен Уотт едва не взорвалась, когда услышала фамилию конкурента (я могу ответственно заявить, что ее губы сделались тоньше на три микрона). Но мне все же кажется, что она напугана. Может, все-таки она человек?
>
> Что же касается меня, то я целыми днями корплю над материалом в читальном зале, тихом, как собор. Работать нужно кропотливо, но быстро. Как там у Гёте? «Не торопись; не отдыхай». Я и не отдыхаю, но сама представь, что значит

невесть сколько часов, проведенных наедине с трехсотлетней бумагой и компьютером!

Аарон положил пальцы на клавиатуру и попытался описать то, что чувствовал день за днем в зале с редкими книгами. Гробовая тишина, столы, за которыми сидят отощавшие студенты с испорченной осанкой; перед Аароном лежит специальная подушка, на которую он с удовольствием опустил бы голову. Он пытался объяснить Марисе, каково это – сидеть и читать документы, даже прикасаться к которым нельзя. Пометки можно делать только карандашом. Тот, что ему выдали, имеет на себе следы зубов какого-то неизвестного ученого, отчего напоминает по форме спираль. И вдруг во время работы чувствуется, что тебя вот-вот захлестнет какая-то безумная мысль, новая идея, и захочется вскочить со своего места и броситься за нею во что бы то ни стало. Чувство одновременно мучительное и опьяняющее.

Аарон искал слова, которые точно передали бы его состояние и при этом были бы понятны Марисе. Но ничего на ум не приходило. Но вдруг его пальцы дрогнули, стукнули по клавишам, и Аарон увидел, как по экрану компьютера побежали буквы, сложившиеся в слова: «Никогда не недооценивайте страсть одинокого ума».

Сначала он хотел стереть их, потому что напечатал высказывание Хелен Уотт только для того, чтобы прочувствовать его, словно пробовал чужие перчатки на своих руках.

Но, набрав текст, он все же решил отправить его, выдав слова за свои.

Если я правильно понял твое предыдущее письмо, – *добавил он,* – то ты явно испытываешь ностальгию по Лондону. Что ж, если приедешь, то не пожалеешь.

А.

Аарон нажал на клавишу «Отправить», и письмо ушло в безвозвратную пустоту.

Уставшими от работы глазами Аарон смотрел, как Патриция выкатывает на стол карандаши.

– Послушайте, без обид, но этим совершенно невозможно писать, – сказал он, демонстрируя свои стертые пальцы.

Патриция перевела бесстрастный взгляд на карман рубашки Аарона, откуда выглядывал его собственный круглый карандаш. Ага, контрабанда! Едва заметно ухмыльнувшись, она извлекла из кармана Аарона запрещенный предмет и спокойно повернулась к нему спиной, оставив наедине с ветхой, плохо читаемой бумагой, датированной тысяча шестьсот пятьдесят девятым годом, и тремя коричневыми шестигранными огрызками длиной в палец.

– Эй! – всерьез разозлившись, крикнул Аарон.

Патриция и ухом не повела.

– Заигрывает… – негромко произнес Аарон, когда хранительница зала была уже вне пределов слышимости.

Происшествие немного развеселило его.

Аарон снова принялся за работу. Первое письмо, что лежало перед ним, было на португальском, и перевод был готов уже через полчаса. Аарон проглотил две таблетки ибупрофена – от напряжения у него начинало стучать в висках.

18 марта 1665 года
3 второго адара 5425 года
Амстердам

Раввину Га-Коэну Мендесу

По прошествии стольких лет вы, конечно же, не вспомните своего недостойного ученика, который, однако, не забыл вашей доброты и заботы. Знания, что вы передавали, всегда были истинным светом для тех, кто имел честь постигать ваше учение.

Ваши ученики распространяли впоследствии его сияние, так же как несколько зеркал умножают мерцание одной свечи, увеличивая его в тысячи раз.

В кагале[37] Амстердама я – всего лишь скромный учитель, но служить здесь в поддержку идей великих раввинов для меня – великое благословение. Они обратили ко мне просьбу ответить на ваше письмо.

Вам будет приятно узнать, что ребе Соломон до Оливейра полностью согласен с вашими методами преподавания иврита и дает вам отсылку на его работу, посвященную этому вопросу, «Сарсот Габлут», о которой вы, наверное, еще не слышали. Что же до других вопросов, которые вы поставили, у нас продолжаются споры о том, наступит ли Мессианская Эра в 5425 году или же в году грядущем? Однако же, как бы там ни было, пыл многих спорящих, включая и меня, все возрастает. Даже раввины Абоаб и Оливейра создали молитвы, которые включены в новые книги. Из вашего письма становится понятно, что ни вы, ни многие другие в лондонской общине еще не готовитесь к пришествию Искупителя, – однако мне сообщили, что ваш город замер в созерцании небесного знамения, каковое видели и мы в Амстердаме. И хотя я и не в состоянии убедить столь ученого человека, как вы, в значимости такового знамения, которое ваши глаза не могут видеть, но все же я должен сделать это. Значение яркого маяка Б-га для наших небес нельзя недооценить.

Возведя глаза горе,

Якоб Родригес

Аарон закончил перевод и сделал пометки в своем блокноте. Причастность Абоаба и Оливейры к истерии о лжемессии уже была надежно задокументирована, но тем не менее это письмо было неплохим тому доказательством.

Аарон запросил следующее письмо с более ранней датой и, выпив воды и немного размяв затекшие ноги, принялся за перевод.

13 марта 1665 года
26 адара 5425 года
Амстердам

Раввину Га-Коэну Мендесу

Раввин Исаак Абоаб да Фонсека получил ваш отчет о возвращении лондонской общины к традициям, которое, по воле Б-га, окажется успешным.

Рабби Абоаб поручил мне направить вам это письмо, поскольку его труды во имя нашей благословенной амстердамской общины почти не оставляют ему времени для корреспонденции.

Мы с вами лично не знакомы, но я хорошо осведомлен как о ваших заслугах, так и о страданиях, которые вы претерпели от проклятой инквизиции, а равно и о преданности, что вы проявили во время служения в Лондоне, – да будет она вознаграждена в грядущем мире! Однако я должен сообщить вам, что махамад уже передал нам все, о чем вы говорили в вашем последнем письме; теперь же, когда в общину в скором времени войдет достопочтенный Саспортас, мы, конечно же, будем очень рады получать такие же послания и от него. Ваш возраст заслуживает того, чтобы вы отошли на покой – достопочтенные старейшины вашей общины делают все, что требуется. Бенджамин Га-Леви, чье имя, как вам известно, пользуется большим уважением, сообщает нам о школе Эц Хаим[38], недавно основанной в Лондоне на щедрые пожертвования таких же людей, как и он сам. Также он пишет нам, что забрал обоих своих сыновей из-под вашего ученого попечения и отправил их на учебу в это заведение, дабы показать общине силу Совета еврейского образования.

Счастлив тот учитель, чьи ученики смогли превзойти его, и вы достойны самой большой похвалы, ведь эти мужи Израилевы, несомненно, усвоили все, чему вы их научили.

Что до Вашего вопроса о том, сможем ли мы опубликовать книгу ваших поучений в Амстердаме, скажу, что для нас это будет большой честью, если это будет сочтено уместным. Вам, несомненно, известно, что махамад, стремясь защитить добродетель общины вашего города, запретил публикацию любой работы без предварительного ее согласования. Но я уверен, что когда вы покажете махамаду дело рук ваших, то вопрос о напечатании книги будет решен.

Я с уважением жду известий на сей счет от вашего махамада.

И наконец, в ответ на ваш вопрос, сообщаю вам, что всякие сношения с еретиком де Спинозой запрещены навечно, и запрет этот касается всех без исключения. Время не уменьшает опасности от общения с ним и не делает его самого склонным к убеждениям мудрости. Он покинул наш город, и души наши успокоились. Этот вопрос поручил мне прояснить ребе Абоаб.

Во имя пришествия Искупителя, молва о котором дошла и до Амстердама, я, юноша, трепещущий при приближении Вечности,

Авнер бен-Самуил

Аарон закончил перевод. Разумеется, упоминание о Спинозе не могло не привлечь его внимания. Интересно, что скажет по этому поводу Хелен? Хотел ли кто-то из дома раввина – Алеф, быть может? – установить контакт со Спинозой, несмотря на его отлучение за ересь? Впрочем, маловероятно. Скорее всего, сам раввин, который мог обучать Спинозу в бытность свою в Амстердаме, спрашивал о возможности черкнуть пару строк своему бывшему ученику. Но в любом случае этот момент уже представлял собой тему для отдельной работы или статьи, поскольку любой документ, где содержался хотя бы намек на Спинозу, мог переродиться в научную публикацию. С одной стороны, этот факт радовал, но Аарон не мог не признаться, что письмо несколько раздражало его. Что, Абоаб или Оливейра не могли лично ответить Га-Коэну Мендесу? Или раввины семнадцатого века не имели понятия о профессиональной вежливости? Неудивительно, что при таком отношении Га-Коэна Мендеса просто вытеснили с его места и лондонская община пригласила знаменитого Саспортаса на должность первого хахама[39] в их синагоге.

«Им же хуже», – думал Аарон. Не прошло и года, как великий Саспортас бежал из Лондона от эпидемии чумы и больше уже никогда не вернулся. Так что лондонским евреям лучше было бы придерживаться их старого Мендеса, а не соблазняться знаменитостью.

Он попросил принести ему следующий документ с кодом RQ206. Через минуту Патриция принесла стопку из шести или семи рукописных страниц и положила ее на подложку перед Аароном.

23 марта 1665 года
07 нисана 5425 года

Даниэлю Лузитано

Размышляя над вашим письмом, я чувствую, как все больше и больше растет моя печаль. Поэтому, как я надеюсь, вы простите нагромождение моих посланий одно на другое, ибо мысли мои мечутся, словно овцы в загоне, когда рядом бродит волк. В темноте своих глаз я вижу, возможно, слишком яркую картину заблуждений, что овладели вашей общиной во Флоренции. Это недуг не только души, но и тела, ибо тот, кто собирается в грядущий мир прежде, чем тот наступит, предает свою жизнь в этом. До меня уже давно доходят слухи о Шабтае Цви, но я неразумно молчал, в чем жестоко теперь себя упрекаю, так как, чтобы разбудить дремлющий дух мой, понадобилось второе свидетельство от моего любимого ученика о возникшей угрозе. Мой скромный ум всегда в вашем распоряжении, чтобы оказать необходимую помощь. Поэтому я воздвигну свои дополнительные возражения.

Аарон продолжал водить глазами по строчкам. Га-Коэн Мендес усердно, но терпеливо излагал свои доводы. Он утверждал, что Шабтай Цви был самозванцем. Истинного же Мессию, посланного Всевышним, можно узнать по определенным чертам, среди которых – отсутствие стремления к земной власти. По мере того, как Шабтай Цви провозглашал себя Мессией среди евреев от Смирны до Салоник и Алеппо, его слава привлекала внимание общин в Европе, и он становился все более опасным соперником, играющим надеждами изверившихся людей.

Эти аргументы попадались Аарону и раньше, поэтому он перевернул еще два листа. Но на четвертой странице остановился и

отложил карандаш.

Ему уже доводилось видеть подобные рукописи. В тех краях, где бумага была весьма дорогим товаром или ее не хватало, писец просто переворачивал исписанный лист вверх ногами и продолжал писать между строками. Но Аарон еще никогда не видел столь густо исписанного документа. Верхняя часть страницы была заполнена фразами на португальском, но в середине ее появился другой текст, словно проросший между ранее написанных строк, как некий контраргумент, возникающий из неведомых глубин. Страница сразу переполнилась строчками, и португальский язык раввина стал перемежаться с другим посланием. Аарон наклонился ниже. Перевернутый текст был составлен на иврите за исключением одной строки на английском языке. Почерк был знакомый. Явно писал Алеф, однако, то ли от спешки, то ли от излишнего усердия писца, буквы имели сильный наклон. Аарон стал переворачивать следующие страницы так быстро, насколько позволяло их состояние, просматривая каждую строчку и сличая тексты. Португальское и еврейское послания были написаны в противоположных направлениях, их логика сначала шла параллельно, потом стала расходиться, а выводы и вовсе противоречили друг другу.

– Патриция! – позвал Аарон.

В ответ – тишина. То ли не слышит, то ли не хочет слышать, пользуясь своим превосходством.

– Патриция, – повторил он с непривычным смирением.

Та наконец подошла.

– Пожалуйста…

Он беспомощно развел руками: мол, разложите документ.

Патриция удивленно посмотрела на него, но через мгновение поняла. Она вынула из кармана хлопчатобумажные перчатки, разделила страницы и аккуратно положила каждый листок отдельно. Аарон, сжав в пальцах огрызок карандаша, начал расшифровывать еврейский текст. Патриция заглянула ему через плечо и ненадолго замерла, словно загипнотизированная причудливой игрой разных текстов и языков.

Аарон, забыв про истертые пальцы, переписал фразы на иврите, что были на четвертой странице, пытаясь понять смысл написанного. Это была заключительная часть то ли какой-то декларации, то ли

исповеди, однако какое отношение эти фразы имели к португальскому тексту, он не мог сказать. Значение фразы на английском тоже было непонятно. Он попросил Патрицию перевернуть лист вверх ногами, чтобы прочитать весь португальский текст; потом Патриция вернула бумагу в исходное положение, чтобы был виден текст на иврите. Аарон перепроверил транскрипцию, кое-что повычеркивал, а куда-то добавил примечания.

Он снова и снова возвращался к шестой – последней – странице португальского письма. Под размашистой подписью раввина и инициалом «Алеф» стояло украшенное завитком слово «fi nis» (конец). Но если бумагу развернуть на сто восемьдесят градусов, то тем же элегантным почерком на иврите написано: *«И вот я начинаю».*

И вот я начинаю.

Я одна в этом большом городе.

Я – перо, которое движется по странице.

Раввин диктует. Я записываю. В этом заключается моя работа, мое убежище. Я пишу для человека, которого не чтят те, кто обязан ему.

Я могла бы воздать ему должные почести.

Но нет. Вместо этого я задаю вопросы, запретные для мужчин, хотя и не нарушаю закон.

Слова, что выходят из-под моего пера, – это вся моя жизнь.

Я не породила никакой другой жизни в дни свои, и, думаю, этому не бывать.

В этот день Мануэль Га-Леви, человек, способный почистить себе ботинки сборником стихотворений, пришел к раввину и, смеясь, стал рассказывать, что его брата забрали в матросы. Все эти годы я наблюдала за Га-Леви и знаю силу его презрения ко всем, у кого более чувствительная натура.

Однажды он сделал мне предложение. Я отказалась. Тогда он спросил, кто я.

Я ответила – пустой сосуд.

Но это не так. Я – сосуд, исполненный желания.

Я пишу. Если бы вы знали, что я пишу между строк самого раввина, я была бы причислена к сонму самых

нечестивых душ. Но прощения мне не надобно. Если такова природа Б-жьей Вселенной, полагающая, что наша жизнь должна быть ложной, чтобы остаться истинной, то пусть совесть моя станет чиста и откровенна, как мое сердце.

«Ведь тот, кто вынужден слова беречь,
Одну лишь истину влагает в речь»[40].

Проверив перевод всего текста, Аарон вышел из зала редких книг и отправил сообщение Хелен. Через пару минут он отправил второе сообщение, а потом и третье, заодно прочитав на автоответчик начальные строки «перекрестного» письма. Аарон был раздражен до крайности. Он уже собирался набрать четвертое, когда его телефон зазвонил.

– Мистер Леви?

Сколько же времени ей потребуется, чтобы обращаться к нему по имени? Сообщения, что он ей отправил, мгновенно возбудили бы интерес у любого историка. Но Хелен не задала ни одного вопроса. Она просто пригласила его к себе в кабинет.

Лавируя в толпе студентов, заполнявших узкие дворики, Аарон представил себе, какой профессор Уотт была в детстве. «Нет, мама, лучше я открою свой рождественский подарок через месяц».

Аарон постучался в дверь кабинета, но никто не отозвался. Тогда он прислонился к стене рядом с дверью, потом соскользнул вниз, сел в пустом коридоре, скрестил ноги и открыл ноутбук.

Аарон, я не готова общаться с тобой сейчас. Извини за прямоту, но тебе не стоит тратить время на письма.

Мариса

Аарон механически прочитал сообщение, но слова так и не дошли до его сознания. Он перечитал еще раз. Закрыл и открыл глаза. На экране были те же слова.

В коридоре послышался стук трости Хелен. Аарон захлопнул ноутбук, встал и молча последовал за ней в кабинет.

Хелен села за стол. Аарон – в деревянное кресло напротив. Ему показалось, что старая профессорша выглядит нездоровой, однако под ее немигающим взглядом отринул эту мысль.

– Ну, и что вы там такого нашли? – спросила она.

Аарон начал рассказывать про исписанный документ и стал постепенно приходить в себя. Сбившее его с толку письмо Марисы отошло на второй план… впрочем, он понимал, что это ненадолго. А пока Аарон описывал свою находку, и к нему вернулось то чувство восхищения, которое он испытал в библиотеке. Два текста сливались в гармонии – и это было похоже на произведение искусства. Письмо читалось как стихотворение: четкие строки личного дневника, стоящие отдельно друг от друга, словно острова. Возможно, это были просто мысли женщины семнадцатого века, но что-то в них напоминало зашифрованное послание. Вообще, вся эта коллекция документов намекала на чью-то весьма драматическую историю, но вот заключительная фраза на английском оказалась цитатой из шекспировского «Ричарда II» – Аарон специально проверил в интернете. Что же касается слов о желании, то он, Аарон, лично полагал, что это могла быть отсылка к «Этике» Спинозы, хотя «Этика» впервые была опубликована спустя более десяти лет после ее написания. И тем не менее тот, кто создал этот документ, использовал философский лексикон. Подобного рода рассуждения не позволялись евреям, тем более женщинам.

Аарон закончил свой доклад, но Хелен Уотт молчала. Она смотрела в окно, и ее лицо сделалось похожим на каменную маску, что говорило о крайней сосредоточенности.

Аарон решил переждать ее молчание. Если Хелен сохраняет полнейшее спокойствие, то и ему нечего суетиться.

За его спиной с упрямой медлительностью тикали часы, и Аарон почувствовал, что теряет терпение. Сама тишина разрушала его уверенность в себе. В его сознание ворвались слова Марисы и уже не покидали его. Чем он мог обидеть или разочаровать ее, что она даже не хочет читать его послания? Мысль о Марисе ударила его, словно обухом. Аарон невольно покачал головой, не обращая внимания на пристальный взгляд Хелен.

Который, правда, так ничего и не выражал.

Если мысли о Марисе приводили его в замешательство, то сегодняшняя находка, наоборот, придавала уверенности. Неужели Хелен не понимает, что он обнаружил? Такой дневник был очень редким явлением в еврейских общинах раннего Нового времени. Еще не было еврея Августина, Юлиана Норвичского, Терезы Авильской. Был, правда, Леон из Модены; однако единственным известным дневником, созданным женщиной до восемнадцатого века, были скучнейшие записи Глюкл из Гамельна, содержащие моралистические выкладки и рассуждения о приданом. Разве Хелен невдомек, что у нее в руках? А если в других бумагах найдется еще больше подобных записей – пометок на полях, между строк или, быть может, какой-нибудь более или менее связный отрывок, из которого можно было бы понять, что Алеф имела в виду, говоря о «нечестивых душах»? Тогда это была бы новая Глюкл, только без убогого ее материализма. «Молодая Глюкл, склонная к мелодраме и увлекающаяся философией» – так бы Аарон написал в своей диссертации.

– Это может быть новая Глюкл, – сказал он Хелен.

Та ничего не ответила.

– А в сочетании с информацией из письма Га-Коэна Мендеса о саббатианском кризисе во Флоренции…

Хелен продолжала упорно молчать.

– Флоренция, – резко продолжил Аарон, – до тех пор считалась свободной от саббатианства. Так что наша находка становится еще более важной.

– Правильно. По всем пунктам правильно, – наклонила голову Хелен.

Аарон недоуменно уставился на нее. Хелен смотрела в сторону.

– Это может быть новая Глюкл, – снова начал Аарон, уже не скрывая раздражения, – и у нас еще есть информация о влиянии Шабтая Цви на флорентийскую общину. Любой из этих фактов – уже само по себе важное открытие. А если сразу два…

Все еще глядя в окно, Хелен сказала:

– Завтра с утра проверю перевод с португальского.

Аарон сидел выпрямившись в кресле. Его снова охватило какое-то тягостное ощущение, что-то связанное с Марисой, но что именно, он еще не осознавал. Аарон с трудом сдерживал внутреннюю панику.

– Это все, что вы хотите сказать?

Хелен продолжала смотреть в окно, словно не слыша его. Создавалось впечатление, будто она ждет, когда Аарон выйдет, потому что, как и Мариса, не желает с ним общаться.

– То есть вы не хотите мне верить, пока не проверите мое знание языков?

Ладони его внезапно сделались горячими.

– Так, что ли?

Хелен приподняла бровь, словно заслышала какой-то отдаленный звук.

– Что ж, – продолжал Аарон, – если вы не доверяете мне как ученому, то скажите прямо сейчас.

Хелен недоуменно посмотрела на него, как будто вопрос о доверии раньше не приходил ей в голову.

– Нет, я просто сказала, что проверю перевод, прежде чем мы продолжим работу, – с неожиданной мягкостью произнесла она. – Это просто вопрос научной добросовестности.

«Да, черт возьми, добросовестнее не придумаешь, – подумал Аарон. – Да шла бы ты…»

Хелен снова погрузилась в себя, словно не замечая, что напротив нее сидит человек с такой ненавистью во взгляде, которую вряд ли испытывал к кому-нибудь другому. От охватившей его ярости Аарону хотелось выскочить из кресла, пальцы его вцепились в колени, будто перед ним размахивали кулаками, а не убивали оглушающим равнодушием. И это – Хелен Уотт, знаток еврейской истории, у которой на стене висит картинка с изображением Масады, словно доказывающая ее любовь к израильским мученикам. Как же он устал от англичан, которые прямо обожают евреев! Как же она ему надоела! Но Аарон решил, что не выйдет из кабинета, не высказавшись.

– Вы понимаете, что все это означает? – спросил он, уже не скрывая требовательной интонации в голосе.

Хелен резко повернулась к Аарону, отчего его тело напряглось, словно защищаясь.

– Да, молодой человек, – тихо произнесла она. – Я все время это понимала.

Возможно, был некий момент, когда Аарон мог бы остановиться, избежать конфликта, и этот момент изменил бы все. Но когда он

открыл рот, чтобы ответить, то понял, что этот момент безнадежно упущен.

– Вы вполне могли нанять ребенка, чтобы тот переворачивал для вас страницы! Вот-вот, именно. Они стоят дешевле, чем аспиранты, и не возражают против того, чтобы ими командовали те, кто сам не способен сосредоточиться. И так даже лучше, – продолжал он, уже не заботясь о выборе выражений и желая лишь досадить этой надменной женщине, доводившей его до отчаяния, – дети не спорят с британцами, которых хлебом не корми – дай порыться в чужой истории без малейшего…

– У меня такое же право исследовать историю еврейского народа, как и у вас, – отрезала Хелен. – И, возможно, даже побольше, потому что я много старше вас.

Но Аарону было все равно:

– Вы говорите как колонизатор!

Аарона часто подводила его неспособность держать себя в руках и контролировать вспышки гнева, особенно в юности. Он мог прожить год-два без каких-либо конфликтов и даже начинал верить, что и вправду «тефлоновый». И вдруг ни с того ни с сего он взрывался, совершенно не задумываясь о последствиях. До сих пор судьба его щадила, и такие эскапады оставались безнаказанными – Аарон «выделывался», как правило, перед теми, кто мало чем мог навредить ему. Поэтому он спокойно переходил к следующей жертве, следующему наставнику или преподавателю, к следующей учебной группе, оставляя после себя лишь едва слышный ропот ассистентов или советников, у которых он вряд ли когда-нибудь попросил бы рекомендаций, а их негативное мнение не могло отразиться на его будущем. И теперь он чувствовал то же самое, стоя перед лицом Хелен Уотт, и не хотел останавливаться. Наоборот, ему хотелось раздуть пламя повыше да посильнее и посмотреть, насколько далеко оно достанет – то есть как быстро все это предприятие, фантастический клад под лестницей, золотой шанс спасти свою застопорившуюся академическую карьеру, который дал этой ожесточенной женщине такую власть над ним, превратятся в пепел.

Щеки Хелен Уотт пошли бледными пятнами.

– Мистер Леви, вы забываетесь!

– Бред сивой кобылы! – вскричал Аарон, вскакивая на ноги. – Бред! – повторил он, словно рассматривая это слово с другого ракурса. Это придало ему бодрости. Он видел, как от злобы затрепетали ноздри Хелен, и это еще больше укрепило его.

– Вся эта история принадлежит мировой еврейской общине. Флоренция, саббатианский кризис, – говорил Аарон, выплевывая слова. – Раввины рассылают свои рекомендации по всей Европе. А вы соглашаетесь с Джонатаном Мартином, чтобы обойти Закон о свободе информации, потому что вам не хочется делиться открытиями с еврейскими учеными. Да вы вообще ни с кем не хотите делиться!

Аарон понимал, что слова, что он произносит, работают против него, но ему было уже все едино. Ему хотелось утереть нос Хелен. И кроме того, он вдруг почувствовал соблазн отдаться реальности, поплыть по течению. К черту докторскую степень. К черту Шекспира и к черту Хелен. К черту промозглую Англию с ее промокшими от дождей очередями и отдельными личностями. К черту историю – он прекрасно может обойтись и без нее.

Единственное, что щемило его душу, пока он извергал свои обвинения, так это воспоминание о документах, которые тугими слоями покоились в аккуратно заколоченной нише под лестницей в Ричмонде. Бумага, заполненная волнами строк, написанных неизвестной рукой, говорившая с ним через тревожное молчание столетий…

Аарон украдкой сморгнул.

– В университет, – сказал он, – поступили запросы от Еврейской теологической конференции в Нью-Йорке и от Гарвардского факультета иудаики. Об этом постоянно говорят обе Патриции, вы не можете об этом не знать. Если вы так любите еврейскую историю, то, по крайней мере, могли бы убедить Мартина ускорить публикацию статей, чтобы темой мог заняться максимально широкий круг ученых. Но вы даже палец о палец не ударили.

Хелен напряженно выпрямилась:

– Это не только еврейская история. История как таковая принадлежит всем людям.

– С вашей стороны, конечно, это так, особенно когда отталкиваешь других от стола. Вы что, провели летний отпуск в Израиле? Или раз в жизни прочитали еврейскую газету, скушали

кошерный хот-дог или, – тут инстинкт, словно система теплового наведения ракеты, подтолкнул его к верному выводу, – у вас был бойфрендеврей. Так это не имеет никакого значения! Это отнюдь не означает, что вы имеете исключительные права на еврейскую историю.

Аарон сделал паузу, сглотнул и добавил:

– Вообще!

На щеках Хелен показался едва заметный румянец.

– Вы что, хотите сказать, что я наживаюсь на чужом наследии? – спросила она таким тоном, будто ответ для нее не имел никакого значения.

Аарон понял, что попал в самую точку. Он почувствовал удовлетворение, оттеснившее все остальные эмоции и на время сдержавшее уже подкатывавшую волну сожаления.

– Так что? – спросила Хелен.

– Я пойду, пожалуй.

Он поднял свою сумку с книгами.

– Можно будет завтра все спокойно обсудить.

Он знал, что этого не случится. Он уйдет с гордо поднятой головой. Приведет в порядок дела и скажет Дарси, что больше не работает с профессором Уотт. А потом пойдет дальше – скажет Дарси, что оставляет тему Шекспира. А почему бы и нет? Хватит ли только у него на это духу? Но кто может ему запретить?

Аарон закинул сумку на плечо и представил себе телефонный разговор с Марисой – в своих мечтах он уже убедил ее поговорить с ним, – где расскажет ей о том, с каким шумом бросил свою научную карьеру. Может быть, узнав, что Аарон переродился и стал новым человеком, Мариса предложит ему провести вместе время в Израиле в поисках приключений или поездить по миру. Что, в конце концов, мешает ему выбрать другую, новую жизнь?

Ничего. Кроме одного нюанса: он никогда не хотел иной жизни.

Аарон почувствовал, что его возбуждение достигло апогея, точки равновесия. Впереди, как он догадывался, ждал неизбежный спад.

Неужели Мариса разгадала его суть? Из всех женщин, которые когда-либо были с ним, она одна смогла понять, чего он втайне боится, что Аарону Леви не хватает мужества для реальной жизни. Что он не мыслит себя без похвал, без неуклонного продвижения к степеням и званиям, без соревнования ради некоей высшей цели.

Об этом никто не догадывался, кроме Марисы, которая, раскусив Аарона, решила больше не иметь с ним ничего общего.

И, возможно, еще Хелен. Да, она тоже догадалась.

И вот теперь, когда в его крови стихла адреналиновая буря, когда он стоял перед профессором Хелен Уотт, опустив руки вдоль тела, а сердце все еще продолжало колотиться по инерции, Аарон чувствовал подступающий страх от того, что только что сделал. Он четко и ясно осознавал произошедшее. Высокомерие – та черта его характера, что позволяла ему всегда выходить сухим из воды вследствие проявлений мальчишеского характера, – все-таки сделало свое дело. В его карьере отныне проделана зияющая брешь, залатать которую ему будет не по силам. О его выходке непременно узнает Дарси, и вряд ли ему удастся отстоять Аарона перед начальством. Значит, учебе, возможно, конец. Но что же подталкивало Аарона к такому исходу?

– Вы полагаете, мистер Леви, что если бы у меня действительно был роман с еврейским мужчиной, то я непременно должна смотреть на евреев свысока, как колониалист, о чем так любит рассуждать ваше поколение?

Голубые глаза Хелен сверкнули ледяными кристаллами. Аарон невольно скрестил руки на груди, словно защищаясь от холодного дуновения.

– Да, у меня был роман. Я любила еврея, мистер Леви. И что, по-вашему, это препятствует научной объективности?

Аарон с трудом заставил себя сосредоточиться на ее словах. Для него они не имели никакого смысла, как если бы она сказала, что в молодости была клоуном или цирковым акробатом. Ему хотелось поскорее закончить разговор. Он никак не мог понять, почему речь зашла о таких вещах, и ему было в высшей степени безразлично, кого и когда любила Хелен Уотт, если она вообще способна любить. Он хотел тишины, хотел остаться наедине с собой, чтобы осмыслить произошедшее и попытаться понять, чем это может для него окончиться.

– Ну… жизнь – сложная штука, – сказал он Хелен.

Она не отрываясь смотрела на него.

– Возможно, – неуверенно продолжал Аарон, – если бы он не порвал с вами, то тогда…

Бледной рукой Хелен сжала трость и встала, оказавшись несколько выше ростом, чем привык видеть Аарон.

– А с чего вы, мистер Леви, взяли, что он порвал со мной?

У Аарона возникло ощущение, будто он внезапно проснулся. Услышав последние слова, он понял, что допустил ужасную ошибку. Его затошнило.

– Нет. Я сама оставила его, – произнесла Хелен с особым нажимом.

Аарон прислонился к стене, как будто ожидая, что та раскроется и выпустит его вон из кабинета. Он не хотел спрашивать, почему и когда Хелен ушла от своего возлюбленного и какое это имело значение. Он не хотел этого знать. Но он не мог оторвать взгляда от раскрасневшегося ожившего лица Хелен.

Вот так все и вышло. Хелен решила не уносить с собой в могилу свою историю, а передала ее в руки Аарона Леви – почти юноши, который едва ли созрел для того, чтобы испытывать серьезные чувства. Да, глупый, бестолковый выбор.

С годами Хелен незаметно для самой себя пришла к пониманию, что Дрор пытался что-то сказать ей, донести до нее некую мысль. Он любил ее и был готов предложить выход из сложившегося положения. А она колебалась, уходила от разговора. Это она поверила ревнивым словам Мюриэль; она поверила шуму ветвей кипариса, в шорохе которых ей послышалось, что она тут чужая; она поверила искаженному отражению своего бледного лица в кривом зеркале, висевшем в казарме.

Дрор бросился за ней из своей комнаты. Он звал ее по имени, хотя вокруг была масса народу, схватил ее за руку, хотя к ним с любопытством присматривались солдаты. И он сказал ей шепотом, так, чтобы могла слышать одна она: «Ты видишь теперь, кто я. И видишь мой мир. Если ты захочешь быть со мной, то я стану твоим в одно мгновение». И он смотрел ей в глаза, словно не было вокруг посторонних зрителей, военной базы – они стояли посреди голой и звенящей от жара пустыни. «Я люблю тебя, – сказал Дрор. – Я никогда не произносил этих слов, потому что хотел сказать их только одной женщине в своей жизни. Я хотел быть уверен».

Его сосредоточенный взгляд придавал лицу почти что свирепое выражение, но темные глаза излучали невыразимую нежность. Хелен повернулась к нему, и Дрор обхватил ее руками: «Ты можешь понять меня?»

А потом – его руки на ее пояснице. И взгляд – убийственный, проникающий в душу.

Он сделал шаг вперед, и когда его объятия сомкнулись и доверие его превратилось в физическую величину, обретя вес, сердце Хелен забилось в панике, пока у нее не зазвенело в ушах, и она вдруг почувствовала страх перед человеком, который очень быстро что-то говорил на чужом языке, то ли о любви, то ли о страхе – нет, решительно ничего нельзя было разобрать в его речи! И она вырвалась из его рук и оставила его там, где он был.

– Но почему? – недоуменно спросил Аарон.

У него пересохло в горле, и слова выпадали едва слышно.

Хелен долго смотрела на него, но Аарон не мог понять, что выражает этот мятущийся взгляд. Хелен повернулась и жестом указала на рисунок, что висел над камином.

Выцветший силуэт горы Масада… Немые линии ее отрогов свидетельствовали о трагедии для тех, кто умел читать. Да, жесткий выбор. Жестокий. Самоубийство или рабство. Свобода или жизнь – либо одно, либо другое.

– Потому что, – сказала Хелен, – останься мы вместе, он перерезал бы мне горло.

Часть третья

Глава четырнадцатая

Лондон

6 февраля 1665 года

21 швата 5425 года

Носком туфли Эстер пнула обломок булыжника, которым была прижата бумага, чтобы ее не унесло ветром. Эстер подобрала листок и прочитала: «Воззвание лондонского махамада».

Она негромко рассмеялась. Ну кто, как не Мэри, могла провернуть эту штуку, пока Эстер писала письмо под диктовку раввина? Но если раньше Мэри меняла платья по собственной прихоти, то теперь по той же причине она превратилась в негласного посыльного махамада и доставляла его прокламации и прочие энциклики в еврейские дома на Бевис-Маркс, Бери-стрит и Кричерчлейн. Эта задача не случайно обязывала Мэри посещать места, где она могла бы собрать свежие сплетни или проявить свое очарование там, где жил чей-нибудь неженатый двоюродный брат или племянник. Эстер представила себе, с какой поспешностью Мэри придавливала камнем лист бумаги у дома раввина, даже не постучав в дверь. Здесь ей искать было явно нечего.

Эстер прочитала первую страницу брошюры, написанной на португальском с редкими вставками на иврите. «Да будет известно, – говорилось в брошюре, – что лондонские евреи не должны проводить время в лупанариях, как остальное столичное общество. И их женщины не должны появляться вне своих жилищ с обнаженным телом, равно как не должны позволять иноверцам смотреть на свои волосы – им предписывается появляться на улице только с покрытой головой».

Эстер готова была побиться об заклад, что Мэри разносила эти прокламации с благочестиво накинутой шалью, а под нею ее напудренные груди были прикрыты лоскутом в виде полумесяца.

Мэри могла выдержать несколько часов такой работы, но потом спешила предаться удовольствиям, щедро предлагаемым большим городом. И в самом деле, даже несколько часов трезвости большинству лондонцев казались слишком долгими. Лондон основательно преобразился после реставрации монархии, и Эстер теперь с трудом могла вспомнить, как город выглядел раньше. Король и его фаворитки предавались веселью, и весь Лондон им подражал. Еда, песня, жесты, костюм – все носило следы вычурности и замысловатости. Джентльмены буквально утопали в кружевах и лентах; женщины от совсем молоденьких и до почтенных матрон щеголяли в платьях из дорогих ярких тканей – все блистало и переливалось разноцветьем, за исключением одежд пуритан и квакеров; и вся эта роскошь буквально испытывала городские стены на прочность – сможет ли Лондон выдержать новые изыски?

И вот против этого изобилия наслаждений и соблазнов выступил новый махамад синагоги. Не утративший природной элегантности даже в скромных одеждах, недавно прибывший в столицу ребе Саспортас, прогуливавшийся по улицам в темной мантии и кипе в компании с богатейшими прихожанами, которые обсуждали планы строительства нового здания синагоги, как казалось Эстер, делал лондонскую общину все больше похожей на амстердамскую.

Небольшой круг мужчин, которые составляли махамад, резко осуждал совместные молитвы с евреями-тудеско, учение Шабтая Цви и провозглашал новые правила в области общественной жизни, касавшиеся одежды, танцев, музыки и, конечно же, театра. Эстер невольно вспоминала язвительные реплики Константины насчет амстердамских компатриотов: «Вы только гляньте, как быстро они вообразили себя судьями!» Многие лондонские евреи еще не ощутили себя частью общины – Ривка сказала, что Саспортас пригрозил отлучением тем, кто отказался от обрезания, из-за чего в народе пошли нездоровые волнения. И в самом деле, большинство прихожан умильно кивали, слушая проповеди нового раввина, а затем отправлялись по домам, чтобы и впредь оставаться во грехе. Молодежь же, сохраняя внешнее благообразие, вовсю посещала лондонские злачные места.

Но как бы там ни было, именно эти распоряжения махамада, отдававшие кислятиной аптекарских лекарств, помогли Эстер

исполнить задание, с которого она сейчас вернулась в дом раввина. Накануне она заглянула в комнату учителя, где застала старика сидящим перед камином в совершенной праздности. Последнее время у него почти не осталось учеников, так как молодые люди предпочитали посещать уроки Саспортаса или общаться с богатыми наследниками в Эц Хаим. Эстер смотрела, как раввин сводит и разводит руки, и ее посетила одна мысль.

– Учитель, а не стоит ли нам изложить ваше учение в виде книги? – спросила она.

Раввин медленно поворотился в ее сторону. Эстер обратила внимание на то, как сильно он сдал за последнее время, словно прошедшая зима окончательно истощила его силы. И хотя раввин ни разу не пожаловался ей на слабость, тело его совсем сгорбилось, а лицо приобрело восковую бледность.

– Я имею в виду ваши комментарии к Торе, – пояснила Эстер. – Или к Мишне. Мы напечатаем их, и ваши мысли останутся для потомков и сделаются доступными для учащихся далеко отсюда.

Сначала раввин молчал. Но когда он наконец заговорил, голос его зазвучал страстно.

– Возможно, – сказал он. – Возможно, мои слова и помогут ученикам узреть мудрость тех, кто превыше меня.

Какое-то время раввин прислушивался к потрескиванию огня в очаге, но, видимо, охвативший его порыв утих.

– Нет, Эстер, – тихо произнес он.

– Да почему?

– Авторитет ребе Саспортаса ныне велик, и не мне воздвигать против него свой голос.

Ребе помолчал, обдумывая следующие слова.

– Махамад, – продолжал он, – обязан проверять все, что пытаются издать евреи нашей синагоги, а это означает, что я не смогу напечатать свои сочинения без одобрения Саспортаса. Мне бы не хотелось, чтобы он думал, будто я пытаюсь сместить его.

Эстер поняла, что учитель не желает толкать ребе Саспортаса на греховный путь, запрещая неугодную книгу. Га-Коэн Мендес ни разу не упрекнул своего соперника, хотя Саспортас за несколько месяцев своего пребывания в Лондоне так и не нанес визит престарелому раввину. Мало того, учитель ни разу не высказался по поводу учения

Саспортаса, хотя Эстер видела, как напрягалось лицо ребе, когда новый раввин, красуясь высоким лбом и сладкозвучным голосом, читал свои красноречивые, но совершенно холодные по духу проповеди.

В комнате снова наступила тишина, надежно отгородив раввина и Эстер от городского шума.

Раввин приподнял вверх сложенные ладони.

– А может быть, – предложила Эстер, – вашу книгу издадут в Амстердаме? Я напишу ребе Абоабу.

Лицо раввина исказилось тоскливой гримасой. Эстер прекрасно понимала, чего он хотел: учить. И быть услышанным.

– Благодарю тебя, – произнес он.

Конечно, он был не против. Эстер слегка зарделась.

– Ваши ученики будут рады, – сказала она. – Они хотят, чтобы ваше учение жило.

– Не все, Эстер, – ответил раввин, болезненно улыбнувшись. – Но все равно, я благодарен тебе за эти слова.

Он снова погрузился в молчание.

– Вы имеете в виду де Спинозу? – наконец вымолвила Эстер.

Мендес кивнул.

– Расскажите про него, – попросила Эстер, сгорая от любопытства. – Каким он был?

Вошла Ривка со стаканом кофе для раввина. Тот подождал, когда она покинет комнату, и медленно начал:

– Даже когда он был совсем мальчишкой, я чувствовал, что он умнее меня. Если бы мне удалось передать ему больше, он не стал бы на тот пагубный путь. Но я не сумел.

Раввин помолчал и затем добавил:

– Но каким мудрецом он мог бы стать, Эстер! Да и сейчас может, если бы захотел. Его отлучили, а ведь он был бы величайшим светилом. Перед оглашением приговора он посетил меня – я отправил ему письмо о том, что хотел бы поговорить с ним. Он мог остаться в общине, если бы пересилил свое желание побольнее уколоть тех, кого считал заблуждающимися. Но он, хоть и остался предельно вежлив, не внял ни одному моему слову. На мой взгляд, он зашел еще дальше в своей ереси, куда дальше, чем понимали другие раввины. Deus sive Natura – Бог или Природа. Он буквально проткнул этой мыслью всю

нашу традицию. Он утверждал, что Бог и Природа неразличимы, и пошел еще дальше – постарался объяснить мне, что человек полностью определяется Природой, а следовательно, лишен собственной воли. Он отрицал чудеса, святость Торы, стойкость души, спасение и наказание. Мне кажется, Эстер, что он полагал, будто преподносит дар истины. Я не смог переубедить его…

На лицо раввина легла печать сожаления.

– Не смог…

За кухонной дверью сделалось тихо.

– То, что они не смогли удержать одного из своих сыновей, – позор для амстердамской общины, – сказал раввин. – Но они не могли согласиться с его представлениями о Боге. Я пытался образумить их. Я отправился в синагогу и сказал всем, включая членов махамада, что Бог не поразил гневом своим де Спинозу. И в самом деле, Бог поддерживает взгляды Спинозы, поскольку тот до сих пор спокойно может ходить по земле, ибо Бог знает, что истина всегда побеждает непонимание. Так что и нам должно привечать даже еретиков в скинии нашего собрания, покуда они не узрят истину. Но те, даже не изучив его предположения, изгнали Спинозу из общества. «Божья ревность восстанет против него», – сказали они.

– И что же в словах Спинозы так разозлило раввинов? – задыхаясь, спросила Эстер, чувствуя, как бешено колотится ее сердце.

Га-Коэн Мендес поднял руку, словно стараясь уклониться от ответа. Но рука упала ему на колени, и он произнес слова, которые можно было посчитать богохульными:

– Бог не вмешивается в жизнь людей.

И в ту же секунду что-то внутри Эстер ясно сказало: Бог боится. Она едва ли могла осознать внутренний голос, но мысль успела прочно поселиться в ее голове.

– А что, если бы вы еще поговорили со Спинозой? – поспешно сказала Эстер. – Поделились бы с ним своими мыслями…

Раввин едва заметно улыбнулся:

– Не думаю, что мои доводы смогут его убедить. Однако я хотел бы вновь услышать его голос. И сказать ему, что я пытался убедить общину не изгонять его.

Тут Эстер поняла, что раввин больше не хочет говорить на эту тему. Но все же у нее остался вопрос (она расстелила одеяло на

коленях учителя и вложила ему в руку забытую чашку кофе): а что, если бы она сама могла переговорить со Спинозой, с тем, кто осмелился бросить вызов раввинам?

Ей уже было понятно, о чем спрашивать. Ведь никто, даже учитель, не мог объяснить ей, как так получилось, что справедливый Бог сделал юношу орудием смерти? Исаак, ее брат Исаак был доказательством того, что Бог либо безразличен к человеческой жизни, либо не в силах изменить ее ход. Неужели де Спиноза пришел к тому же выводу? Но ведь Бог, как гласила традиция, обязательно должен желать благополучия Своим творениям. Иначе… либо Бога нет, либо Бог ничего не может сделать, чтобы победить мировое зло.

Дрожал ли Бог в страхе от рева огня и воплей толпы? Дрожал ли Он от ярости и смятения?

Добавив в письме вопрос о возможности связаться со Спинозой, Эстер уверяла себя, что делает это ради своего учителя. И если ответ будет положительным, раввин, несомненно, удивится возможности списаться со своим бывшим учеником. Так Эстер убеждала себя, составляя послание к одному из амстердамских раввинов, который голосовал за изгнание мыслителя. Возможно, думала Эстер, глядя, как высыхают чернила, теряя свой влажный блеск, такая беспощадность амстердамской общины была всего лишь показным актом, призванным послужить предупреждением другим. Разве могли тамошние раввины быть охвачены такой яростью к своему собрату за его идеи? Ведь подобная нетерпимость присуща христианам, но не евреям.

Она с некоторой досадой запечатала письмо. Никто доселе не мог ответить ей на вопросы, которые градом колотили прямо в душу. Но теперь у нее была надежда, что еретик де Спиноза придет на помощь.

Утром, когда она шла к нарочному, в ее мозгу бесконечно повторялись слова брата, как бы прощая ее. «Ты – монета из камня… дом из сот, перьев или, может быть, стекла». Если бы только озорной дух Исаака мог проникнуть в нее, оживив зажатую упрямую душу… Не тот из них умер, ведь Исаак был лучше нее.

Письмо ушло в Амстердам, и его было уже не вернуть.

Эстер стояла на пороге с брошюрой махамада в руке. «Женщины не должны позволять посторонним видеть свои волосы, им надлежит держать голову покрытой. Мужчины, со своей стороны, не имеют права посещать театры».

Она захлопнула за собой тяжелую дверь, сбросила плащ. Брошюра махамада полетела в камин, и Эстер долго смотрела, как медленно загибаются, обугливаясь, углы ее листов. Сквозь слова прорывались желтые языки пламени с темной сердцевиной, затем страница приподнималась, чернела, белела и наконец исчезала.

– Вот загадка…

Эстер тихо вскрикнула. Она думала, что раввин спит.

Он сидел в углу, скрытый тенью. Лицо его было обращено к пустому свету окна напротив кресла. Раввин напоминал птицу, ожидающую воздушного потока, который должен поднять ее в небо.

– Почему Господь создал огонь столь жадным до бумаги? Эстер почувствовала напряжение.

– И пока огонь горит, его голод никогда не утоляется.

Раввин подождал ее ответа, потом вздохнул и произнес:

– Я буду молиться, чтобы постигнуть тайны Божьи.

– Я сожгла послание махамада, – негромко сказала Эстер. – Там речь шла о женской одежде, театре и тому подобном…

– Ты сжигаешь только то, что должно быть предано огню, – ответил раввин.

Эстер ничего не ответила. На улице разъезжались две телеги, и комнату наполнил грохот железных шин по брусчатке мостовой.

– Пока тебя не было, ко мне приходила женщина, – сказал учитель. – Изабелла Мендоса, вдова. Она приехала в Лондон, чтобы повидаться со своим двоюродным братом, но захотела переговорить и со мной. Она сообщила, что в течение этого года отправила несколько писем с предложением найти для тебя пару и весьма обижена тем, что так и не получила ответа. Может, ее письма потерялись при доставке?

«Кухонные отбросы, помои!» – надрывался на улице ассенизатор.

– Простите… – произнесла Эстер.

Учитель задумался, потом кивнул:

– Я верю тебе, Эстер. И прощаю.

Она ждала.

– Я сказал ей, что подумаю и дам ответ.

Эстер замерла, ее позвоночник, казалось, превратился в каменный столб. Она сделала ладонями движение, будто отталкивала слова раввина.

– Я не хочу этого, – сказала она. – Не сейчас.

Лицо учителя было обращено в ее сторону. Эстер чувствовала тяжесть его мыслей. Может, ей просто тихо уйти, оставив раввина наедине с пустой комнатой?

– Но что же ты думаешь о будущем? Чего ты хочешь? – наконец спросил он.

– У меня нет желаний, – поспешно сказала Эстер.

Раввин едва заметно улыбнулся такой ее непокорности, но тут же принял серьезный вид.

– А как же брак? – спросил он.

Звуки улицы стихли.

– Рано или поздно я умру, – произнес учитель в наступившей тишине.

Эстер сделала шаг в сторону двери, но не смогла заставить себя оставить учителя одного.

– И тогда этому дому придет конец, – продолжал раввин. – Племянник не будет содержать его после моей смерти.

Раввин сжал пальцами лицо.

– Я думал только о себе и пренебрег твоим благополучием.

– Но…

Учитель опустил руку:

– То, чему ты научилась здесь, бесполезно в браке. Это может оттолкнуть женихов. Но я позволил тебе продолжить работу и таким образом лишил тебя перспектив. Ты, Эстер… – раввин взмахнул рукой, – весьма способная ученица. Может быть, тебе и невдомек, но я многих учил и знаю, о чем говорю. Учиться, обладая способностями, – все равно что сбежать из тюрьмы, но лишь на время. Я ценю твою любовь к учебе и доброе отношение ко мне, – продолжал раввин с решимостью, которая наполнила душу Эстер ужасом, – но я позволил себе забыть о цене, которую тебе пришлось заплатить. Выходи замуж, Эстер. Я благословляю тебя. И прошу прощения.

– За что?

– За то, что я испортил тебе жизнь.

– Но ведь я сама так хотела.

Раввин покачал головой:

– Сейчас в тебе говорит страх. Ты много потеряла и теперь не хочешь терять и этот дом. Я тебя понимаю, но у тебя нет другого будущего. После моей смерти Ривка сможет продолжать заниматься

тем, что делает сейчас, – стирать, печь или прислуживать в чьем-нибудь богатом доме. А ты? Достаточно ли крепок твой организм, чтобы заниматься грубым трудом? Ривка говорит, что нет, и мне кажется, она права. Она говорила мне, что у тебя кружится голова от напряжения.

Раввин покачал головой:

– Я больше не могу жить только для себя. Не хочу обрекать тебя на голодную смерть.

Эти слова накрыли Эстер, словно гробовая крышка.

– Пройдет немного времени, и ты сама будешь рада такому выбору. И когда ты состаришься, будет кому ухаживать за тобой, как ты и Ривка сейчас ходите за мной.

Учитель протянул руку:

– Я признателен тебе и Ривке за вашу заботу. Конечно, я понимаю, что прекращение наших занятий огорчит тебя, так же как и меня.

Учитель сжал губы.

– Возможно, – начал он и запнулся. – Возможно, после моей смерти и после того, как ты поставишь своих детей на ноги, если будет на то воля Божья, у тебя снова появится время для научных занятий.

– А вы останетесь один на один с темнотой, – сказала Эстер.

Учитель кивнул и добавил:

– Я сделаю все со своей стороны, чтобы подыскать для тебя подходящего жениха.

Эстер громко рассмеялась.

– Твоя мать слыла красавицей, – несколько смущенно промолвил раввин. – Не думаю, что мужчины будут чураться тебя.

Как странно, что после стольких лет, что раввин знал Эстер, он даже не имел понятия о цвете ее глаз.

– Я не красавица, но и не уродина, – сказала ему Эстер. – Но мне все равно, что думают о моей внешности, и я этого не скрываю.

– Вдова Мендоса, – неспешно заговорил учитель, – говорит, что у нее на примете есть некий молодой человек, который, как она утверждает, не будет на тебя в претензии за занятия наукой, если ты отринешь наши штудии и сосредоточишься на доме и семье. Мендоса не назвала его имени, поскольку ни я, ни возможный жених еще не договорились со вдовой о ее гонораре. Так что все, что у нас сейчас есть, – лишь ее слова. Однако, как мне кажется, независимо от того,

желанно ли ее участие в этом деле или нет, она искренне верит, что ваш брак возможен.

Лицо раввина глядело безо всякого выражения. Огонь в камине почти совсем заглох, оставив после себя угли, но Эстер даже не потянулась, чтобы разворошить их.

– Мне хорошо понятно твое желание учиться дальше, – сказал раввин, – но, Эстер, ты должна обдумать свой выбор. Я не могу лгать, говоря, что Бог создал тебя человеком, способным зарабатывать себе на жизнь профессией ученого. Бог сделал нас вечно голодными. Но мы насыщаем себя, чтобы жить. Поэтому я был вынужден умерить свои желания после того, как потеря зрения сделала для меня невозможной карьеру ученого или стезю отца семейства.

Его голос понизился до шепота:

– Мне очень жаль, Эстер. Ведь это я заставил тебя поверить, что ты сможешь быть ученым. Но ты и в самом деле талантлива.

– Вы тоже, – ответила в бессильной ярости Эстер. – Но теперь некому станет записывать слова, исходящие из ваших уст.

Старик склонил голову набок:

– Я не буду заставлять тебя выходить замуж, Эстер. Но и ты больше не сможешь записывать за мной.

В неверном, льющемся из окна свете его кожа выглядела почти прозрачной.

– Я согрешил, ибо был самолюбив. За что и прошу у тебя прощения.

Хлынувшие слезы ослепили Эстер. Она встала и, не зная, куда ей направиться, вышла на улицу, захватив плащ. А дверь дома раввина так и осталась открытой.

Порывы теплого ветра метались по закоулкам городских улиц. Тяжелая завеса угольной пыли взметнулась высокого над крышами домов, словно разорванная занавеска; длинные темные рукава ее распадались на части и плавали в воздухе, напоминая неведомые живые существа. Ядовитые и зловонные запахи кожевенных заводов и печей были сметены за городские пределы, и откуда-то веял свежий ветер, делая лондонский воздух чистым и прозрачным, что не могло не сбивать с толку привыкших к вони жителей. Казалось, весь Лондон высыпал в тот день на улицу; одры и клячи тянули громыхающие

телеги под нестройные возгласы погонщиков, а стаи голубей то и дело вздымались в небо и снова садились, напоминая беспокойные волны.

Эстер шла переулками, все еще полуслепая от слез. Она с трудом понимала, где находится. Ее путешествие не имело конкретной цели – она хотела лишь избежать шумных скоплений людей. Наконец она решила идти в парк, где уже дважды была с Мэри, которая любила покрасоваться под сенью густых ветвей. Дорога была известной, хотя Эстер видела ее только из окна кареты. Она шла быстро, чтобы глаза побыстрее просохли. Чипсайд, Ньюгейт, Холборн… но по мере того, как улиц становилось все меньше, народ, как ни странно, все прибывал. Ей казалось, что потоки незнакомых людей, вытекавшие из переулков, собирались лишь для того, чтобы поглазеть на странную девушку из Амстердама, которая не желает идти замуж. Но люди вовсе не замечали ее, и вскоре Эстер отбросила дурацкую мысль.

Войдя в парк, она обратила внимание, что его дорожки запружены гуляющими, будто первое теплое дуновение весны стало для людей общим праздником. То тут, то там попадались фабричные в измазанных рабочих фартуках и запыленных очках; помимо людей вокруг было полно животных – метались по сторонам спаниели на поводках, чинно вышагивали борзые в сопровождении своих болтающих хозяев, Эстер заметила даже одетую в рубашечку обезьяну на привязи, плетущуюся за подагрическим старичком. Вдоль парковой ограды выстроились вереницы карет, среди которых оказалась и карета да Коста Мендес. Эстер с некоторой жалостью к себе подумала, что Мэри, должно быть, нашла себе вместо нее другую компаньонку, более подходящую по темпераменту.

Эстер двинулась по дорожке. Впереди и сзади нее шествовали незнакомые люди, отовсюду слышались веселые восклицания, в нос бил запах свежей, размешанной ногами гуляющих земли. Некоторые были даже в нарядах, с напудренными лицами и в искусно завитых париках – компании разделялись, а потом вновь соединялись, напоминая птичьи стаи или обрывки угольных облаков над головой.

Как долго шагала Эстер по раскисшим тропинкам? Страх вытеснил из ее головы способность трезво мыслить, и она видела лишь чужие лица, слышала крики и ощущала ритм собственных шагов.

И вот наконец среди незнакомцев возникло лицо Мэри, а потом и лица ее знакомых, которых Эстер хорошо знала. Ее окликнули, она остановилась и увидела, как четыре пары несут свертки с едой для пикника. Мэри вышагивала под руку с Мануэлем Га-Леви – она быстро взглянула на Эстер и тотчас же отвела глаза. На ее лице Эстер прочитала выражение, о котором у нее не хватило духу задуматься, но точно имевшее отношение к спутнику Мэри. Мануэль, в свою очередь, уставился на Эстер пристальным взглядом, который она уже успела забыть, так как последний раз братья Га-Леви посещали дом раввина более года назад. Едва ли не наступая старшему брату на пятки, следом семенил Альваро. За прошедшее время он превратился из ребенка в ребенка-юношу. Под руку его держала высокая и чересчур порывистая на вид девушка из семьи Канчио, которую Эстер видела в синагоге. Альваро вперился в Эстер взглядом, словно она соткалась перед ним из небытия. Его лицо омрачилось какой-то тоской, и он споткнулся на месте, заставив свою спутницу остановиться.

– Добрый день, – поздоровался он по-английски.

Эстер кивнула ему в ответ.

– Вам что, нехорошо? – озабоченно спросил юноша.

Светло-коричневое пальто, сапожки, вьющийся парик, бледные щеки и худоба делали его похожим на мальчика, играющего во взрослого мужчину. Эстер развернулась и пошла было дальше – разговаривать с Альваро ей совсем не хотелось. Да и какой от него толк?

– Нет, серьезно, вам действительно плохо, – повторил он, округляя глаза.

– Со мной все в порядке, – отрезала Эстер.

Альваро сказал что-то своей спутнице и отошел от нее. Девушка с угрюмым выражением присоединилась к остальной компании, которая успела устроиться на скамейке. Впрочем, Эстер успела заметить, как она обернулась и посмотрела на нее с видимым любопытством.

– Даже если вам и неприятно мое общество, – произнес Альваро, приблизившись к Эстер, – все равно спасибо, что дали возможность хоть ненадолго отстать от них.

Эстер подивилась легкой тени озорства, что пробежала по лицу Альваро, но оно сразу же приобрело серьезное выражение, словно юноша испугался собственной откровенности.

– А почему ты не хочешь вернуться к своей спутнице, – бросила Эстер, – чтобы приударить за ней?

Альваро открыл было рот, чтобы ответить, но тут же осекся.

Эстер покоробило от собственного сарказма, и она тут же покачала головой. Нет смысла вымещать свой гнев и ярость на том, кто не осмеливается защищаться. Однако злоба по отношению к Альваро имела другую причину: пусть он трус и ничтожество, но перед ним скоро откроется широкая жизненная дорога.

Эстер повернулась к юноше:

– Зачем я тебе нужна? Иди вон к той, – тут она показала на увитую лентами девушку на скамейке, – или найди себе кого-нибудь еще. Хоть десяток, хоть сотню! Найди себе наконец невесту.

На бледном лице Альваро появилось выражение замешательства, смешанного с испугом. Но вместо того чтобы возмутиться, он тревожно впился взглядом в Эстер, словно ожидая от нее разрешения сказать то, что у него явно накипело внутри.

– Я мог бы жениться, – сказал он, – если бы был достаточно благоразумен.

– А я нет, – резко ответила Эстер.

Альваро посмотрел на нее так, будто глазами пытался выразить то, что не осмеливались вымолвить его губы.

Его компания, видимо, решила отправиться в глубь парка, и теперь они звали Альваро к себе. Мануэль выкрикнул что-то издевательское в адрес младшего брата, но его голос заглушили порывы ветра. Спутница Альваро поднялась со скамейки, и даже издалека было заметно, как она раздражена происходящим.

– Я проклят, – прошептал юноша Эстер. – И никогда у меня не будет того, о чем я мечтаю.

– Отчего же? – громко произнесла Эстер и в тот же момент, увидев его воспаленный взгляд, заподозрила в Альваро своего таинственного и пока что безымянного жениха.

Тот жалко и доверительно взглянул ей в глаза, и Эстер не нашлась что добавить к своему вопросу.

Вокруг, словно морской прибой, рокотали чужие голоса.

– Я проклят, – повторил Альваро и отвернул свои блестящие глаза.

Эстер наблюдала, как девушка взяла Альваро под руку и повела по дорожке к остальной компании.

В животе что-то неприятно кольнуло.

А что? Она могла бы выйти замуж за такого Альваро. Он добр, и у него есть состояние. Значит, и ее жизнь будет счастливой.

Так… но разве вдова Мендоса не говорила, что жених хочет, чтобы она, Эстер, отказалась от научных штудий?

Когда-то давно, пока огонь не уничтожил покров притворства и лицемерия, Эстер могла бы стать образцовой женой, способной побороть свое желание учиться, вежливо отвечать и заявлять, что она счастлива с тем, что ей доступно. Но теперь она была совсем другим человеком. Ее сердце, человеческое сердце – то же, что у ее матери, бабушки, да и ее собственное, – стало вместилищем настоящего сонма желаний. И этому Эстер могла противопоставить только разум. Слова, книги, мысли. И пусть ее собственная карта жизни, прочерченная живой линией человеческого ума, будет выглядеть ничтожно малой, словно буквы, выцарапанные ногтем на стене темницы.

Перед ее внутренним взором то и дело возникал образ Альваро Га-Леви, его овечий взгляд, его дом, дети, неотрывно смотрящие на Эстер, которая будет вынуждена притворяться матерью, – и от таких видений она невольно ускоряла шаг. Нет, этому браку точно не бывать!

Да, она ненормальная, не такая, как все девушки. Но так и должно быть.

Через некоторое время Эстер оказалась среди лотков с выпечкой и фруктами и почувствовала посасывание в желудке. Но, выскочив из дома раввина, она прихватила только свой плащ, начисто забыв про деньги. Холодало, и хотя из разных уголков парка все еще доносились веселые голоса, люди постепенно расходились по домам.

Зеленые ветви деревьев уже окутывались сумерками. Что теперь? Как выжить? Прошла всего пара часов, как Эстер вышла из дома раввина, оставшись без еды и крова, и вот результат. Ее душило понимание того, что старик прав. Либо замужество, либо каторжный труд служанки – вот и весь ее выбор.

Некоторое время Эстер бессознательно наблюдала за дородной женщиной, которая была одета в ночную рубашку и накинутый поверх нее плащ. Плечи женщины покрывал соболиный палантин, руки она спрятала в меховую муфту, а верхнюю часть ее лица скрывала черная маска. Само собой, это должна быть какая-то богатая дама, не желавшая, чтобы ее узнали, но тем не менее оказавшаяся не в силах

устоять перед благоуханием весеннего воздуха – еще одна душа, на несколько мгновений отдавшаяся свободе сырого зеленого парка.

Подойдя ближе, Эстер заметила что-то знакомое в грузной походке, пухлых щеках и горделивой посадке головы. Девушка сделала еще несколько шагов, и из-под маски на нее глянули знакомые водянистые глаза. Дама с видимым усилием притормозила.

– А что, сегодня лондонским воздухом вполне можно дышать, – проговорила она.

Конечно, это была Кэтрин да Коста Мендес, мать Мэри. Ее глаза смотрели на Эстер с выражением человека, которому уже все равно – судить других или быть самому судимым. Эстер обратила внимание, что Кэтрин шла под уклон тропинки.

– Приятно видеть, что вы уже достаточно здоровы, чтобы отправиться на прогулку, – произнесла Эстер, понимая, что эти слова вряд ли обрадуют Мендес, – однако у нее уже не оставалось сил, чтобы деликатничать.

Кэтрин одобрительно что-то проворчала, но заметила:

– Да куда там! И все ж нужно присмотреть за дочерью на гулянии. Думаю, она немного пообождет меня, – добавила она, указав подбородком в сторону кареты, где уже, должно быть, сидела Мэри.

На несколько мгновений ее взгляд задержался на Эстер, и между женщинами проскользнуло молчаливое признание того, кем была Мэри и кем уж точно не была.

Они некоторое время простояли друг напротив друга, и Эстер могла слышать тяжелое дыхание Кэтрин. Становилось темно, и многие из прогуливавшихся дам боязливо спешили к выходу. Трое из них юркнули мимо, как будто только сейчас заметили приближение ночи. Приподняв платья, из-под подолов которых виднелись элегантные туфли, барышни быстрым шагом вышли за пределы парка, с рассеянным любопытством окинув взглядом Кэтрин и Эстер. Девушки вышли за ограду, причем одна из них болтала и крутилась вокруг своих товарок, хотя, кроме смеха, ничего с такого расстояния уже не было слышно. Женщин на улице стало совсем мало, да и одетые более-менее прилично мужчины тоже спешили удалиться.

– Кстати, а что ты тут делаешь? – спросила Кэтрин. – Или что-то случилось?

– Просто захотелось прогуляться по парку.

Глаза Кэтрин сверкнули из-под маски, оглядев девушку с головы до ног.

– Я тебя умоляю – в сторону церемонии! У меня уже не осталось сил на притворство.

Кэтрин отдышалась и вдруг мрачновато улыбнулась:

– В свое время мне часто приходилось лгать. Теперь же эта ложь отслаивается от меня, словно ржавчина. Не выношу больше пустых сплетен… и этот факт теперь весьма раздражает мою дочь.

Кэтрин испустила тяжелый вздох.

– Но все же меньше, чем остальное.

Она всмотрелась в лицо Эстер и кивнула, как будто бы нашла в его выражении подтверждение своим словам.

– Так что мы с тобой можем говорить друг другу правду – в этом нет ничего страшного. Понимаешь, скоро все, что ты скажешь мне, отправится вместе со мной в могилу. Поэтому я… – тут ее лицо на мгновение снова исказила гримаса, – я хотела бы услышать от тебя правду.

В парке уже стало тихо. Даже в маске, борясь с одышкой, Кэтрин все равно сохраняла горделивую осанку, которая невольно вселяла почтение.

Тут тишину нарушил чей-то громкий смех. Две дамочки в низких корсажах и ярко-красных юбках, выдававших их ремесло, уводили своих кавалеров в тенистые заросли.

– Почему вы настаиваете на том, чтобы Мэри выбрала именно меня в компаньонки? – спросила Эстер. – Теперь, когда она зовет меня с собой, то утверждает, что это по вашему настоянию.

– Ты можешь думать все что угодно, – медленно и с чувством произнесла Кэтрин, – но имей в виду, что я далеко не дура, которая склонна верить призракам и предзнаменованиям.

Эстер молча кивнула, и Кэтрин твердым голосом сказала:

– Мне был сон, будто я лежу в могиле. Но тем не менее я видела птиц на крышах домов и тут поняла, что Мэри нужна моя помощь. И я перелетала с крыши на крышу, ища того, кто бы мог помочь моей дочери.

Кэтрин снова тяжело перевела дух.

– Никого не было. Никого… А потом я проснулась.

Тени ночных деревьев казались страшными. В сумраке маска Кэтрин сделалась еще чернее, и Эстер могла вообразить, что же кроется за нею: бархатные глаза отца или изогнутые брови и болезненный взгляд матери. Могла ли Кэтрин знать, как напоминали ее сны видения самой Эстер, которые так часто заставляли ее просыпаться в ужасе? Мать в зеленом платье, голос отца, зовущий ее по имени… Брат в лондонских доках, который все зовет и зовет ее, и звук его голоса отдается настойчивой просьбой.

Тогда Эстер сказала, что призраки и тени должно отсекать холодным лезвием разума. Что сны ничему не учат и ни о чем не предупреждают.

– Эта чепуха лишь сбивают людей с толку и лжет.

На мгновение взгляд Кэтрин оценивающе скользнул по лицу Эстер.

– Наверное, ты правильно считаешь все эти бредни чепухой. Но мне никак не забыть тот сон – очень уж он отличается от всего, что снилось мне последние годы. Мэри нужна компаньонка. Я хочу, чтобы ею стала ты.

Эстер порывисто вздохнула. Глупо, глупо было даже на мгновение предположить, что Кэтрин может предложить ей дружбу. Для да Коста Мендес Эстер была всего лишь служанкой, чтобы решать проблемы Мэри.

– У вашей дочери есть все, что нужно, – упрямо возразила Эстер. – Даже если она и не выйдет замуж, у нее останется наследство и средства к существованию. Я не вижу поводов для жалости.

Эстер редко осмеливалась произнести это слово – даже после смерти родителей и брата. Жалость… ее едва не скрутило от нахлынувшего негодования. Жалость – это костыль, который только ее раввин и может предложить человеку.

Кэтрин отступила на шаг назад, будто защищаясь от слов Эстер.

– Я родила пятерых детей, – сказала она, и ее губы сжались в нитку под маской. – Или тебе это неизвестно? И только Мэри, самая младшая, прожила больше шести лет.

Лицо Эстер осталось бесстрастным.

– Эстер, послушай меня! Я больше не могу быть пастырем для другой души. И даже матерью. Что у меня осталось? Лишь

возможность испустить дух. Тебя я не жалею, хотя, быть может, ты действительно заслуживаешь этого.

Кэтрин снова вздохнула и продолжила:

– Во мне больше нет жалости ни к кому. Пропала она, – добавила старуха, словно пытаясь объяснить самой себе этот факт.

– А как же ваш муж? – удивилась Эстер. – Он-то точно должен помочь Мэри!

– Мой муж, – ответила Кэтрин, – вряд ли станет заботиться о Мэри после того, как меня не станет. Он-то и сейчас мало вспоминает о ней, хотя я стараюсь освежать его память. Поэтому мне нужен другой человек. И я не хотела бы доверять заботу о Мэри барышне с перспективами.

– Возможно, вы удивитесь, но у меня есть перспективы, – не удержалась Эстер. – Мне сватают жениха. Но я сказала раввину, что не пойду замуж.

– Вот дура! – в свою очередь выпалила Кэтрин. – Ну и как же ты думаешь жить?

– Я хочу учиться, – негромко ответила Эстер.

Кэтрин чуть слышно крякнула от неожиданности, но спустя мгновение взмахнула тростью и зашагала дальше.

Они медленно взошли на холм. Откуда-то послышался шум борьбы, шорох травы и крик – то ли восторга, то ли испуга. В ночи парк совсем преобразился; стали видны огни от фонарей, которые держали в руках какие-то фигуры у самой ограды, однако этот свет совсем не вселял чувство безопасности, а имена, что фигуры выкрикивали, звучали словно на чужом языке. Эстер шла, примериваясь к шагу Кэтрин, вся отдавшись на волю судьбы.

Кэтрин неожиданно остановилась.

– Я знаю, о чем ты говоришь, – сказала она. – Впрочем, ты все же превзошла мои ожидания. Иногда женщине удается добиться своего и без мужского покровительства. И если ты найдешь способ жить так, как тебе хочется, – тут она пристально посмотрела на Эстер, – пусть это и противно естеству, ты вынесешь на своих плечах скрытые желания многих тысяч женщин. Но учти, что тебя будут проклинать, как самого дьявола.

Ветки над головой и сама маска Кэтрин почти растворились в темноте, доносилось лишь ее натужное дыхание.

– Ищи любую возможность. Любую щель, куда только можно пролезть.

Во тьме слышался шорох ткани – это Кэтрин, опираясь одной рукой на трость, вскинула другую. Щеки Эстер коснулись прохладные, чуть подрагивающие кончики пальцев и тотчас же пропали.

Наконец парк остался позади.

Сидя плечом к плечу с Кэтрин да Коста Мендес, Эстер наблюдала из окна кареты, как город постепенно погружается в мрак ночи. С сиденья напротив на них посматривала с угрюмым любопытством Мэри, переводя взгляд с матери на Эстер.

Ветер, терзавший город днем, наконец стих, и все вокруг погрузилось в сон…

Когда она вошла, раввин сидел у камина, словно не двигался с места после ее поспешного побега. Ривка запалила очаг, и комната была наполнена необычным для столь позднего времени оранжевым светом.

– Господь все ж сохранил тебя, – хрипло произнес старик. – Я ждал тебя и не мог уснуть.

Эстер тихонько прикрыла за собой тяжелую входную дверь. Затем неспешно повесила плащ на крючок.

Раввин с трудом поднялся из своего кресла – его тело чрезвычайно напоминало оживший скелет.

– Кто же из ангелов смог провести тебя в целости среди воров и ночных убийц?

– Я не выйду замуж, – вместо ответа сказала Эстер.

Лицо учителя опечалилось.

– Именно так я и полагал, Эстер. Я обидел тебя своими словами.

Девушка промолчала.

Какое-то время в комнате царила тишина, нарушаемая лишь треском пылающих поленьев. Раввин нащупал прислоненную к стене трость.

– Не хочешь разговаривать – так и я тоже помолчу.

Он медленно прошел через кабинет и исчез в темной спальне.

Эстер очень хотелось пойти вслед за ним, чтобы зажечь ненужную лампу и опустить его трясущуюся голову на подушку. Но вместо этого она запалила в камине лучинку и, держа ее перед собой

задубевшими от холода бледными руками, поднялась по лестнице к себе.

Глава пятнадцатая

17 декабря 2000 года

Лондон

Она поднесла страницу ближе к глазам, чтобы прочесть слишком бледную распечатку.

«Итак, я начинаю».

Перед ней на столе лежала автобиографическая рукопись еврейки-сефарда семнадцатого века. Конечно, Аарон оказался прав – это была замечательная находка, что стало понятно, когда накануне утром она прочитала его последнее голосовое сообщение.

Только слова Аарона смогли вывести ее из оцепенения после беседы с доктором Хэммондом. Как всегда, Хелен записалась к нему на утренний прием, чтобы как можно скорее забыть его рекомендации; от доктора она планировала поехать прямо в библиотеку. Но едва Хелен вышла из врачебного кабинета, как ее охватила непомерная усталость, отчего она с трудом могла сосредоточиться на дороге. Хелен сжимала руль, почти не замечая других машин. Навалившаяся на нее слабость как будто удерживала от недавних воспоминаний о словах Хэммонда или, что еще страшнее, о выражении его лица, с которым он произнес их. Неожиданно для самой себя Хелен направилась не в университет, а к себе домой. Поднявший по невероятно крутым ступеням, она отперла узкую дверь своей квартиры. Руки и ноги налились свинцом. Она толком не спала уже несколько недель. Не была ли эта чудовищная усталость трещиной в ее защитной броне, которую заметил доктор Хэммонд, намеком на то, что настал тот день, когда он начнет в приказном порядке требовать соблюдения своих требований?

Хелен вошла в квартиру, прошла через кухню, миновала прохладный коридор и наконец добралась до спальни, где опустилась

на кровать, служившую ей сорок лет. Что, если бы она не пошла сегодня к врачу? Мысли ее текли очень медленно, словно тени в глубинах сознания. Или она решила больше не видеть устрашающую гору злосчастных документов и рукописей, на которые, как Хелен понимала, у нее не хватит сил? Закрыв глаза, она позволила тиканью часов заполнить ее слух и вскоре провалилась в сон, которого ей так недоставало последнее время.

Ее разбудило третье сообщение от Аарона, в котором тот нетерпеливо процитировал несколько строк из одного документа и просил, чтобы Хелен срочно ознакомилась с рукописью. Хелен сунула ноги в туфли, буквально втянула себя в машину и двинулась сквозь пробки. Поздоровавшись с Ааароном, она почувствовала, что едва может связно выражаться, не говоря уже о том, чтобы найти слова одобрения. Да. Он был прав. Да, обнаруженный Ааароном документ кардинально изменил все, что до этого знали о жизни, мировоззрении и образованности сефардских женщин семнадцатого века. Хелен была просто обязана выразить благодарность своему помощнику.

Но вместо этого она потеряла его.

Конечно, Аарон и сам был хорош. Но если Хелен когда-либо и воображала, как ей будет приятно сбить спесь с мистера Леви, то она ошиблась. Он избегал смотреть ей в глаза и сидел как-то странно скособочившись. Наконец он протянул ей свой перевод документа, буркнул, что нужно заменить картридж в принтере, и вышел, не сказав больше ни слова.

После того как за Ааароном закрылась дверь, Хелен долго сидела, положив руки на колени и слушая ровное гудение обогревателя. Взгляд ее рассеянно блуждал по кабинету, не сосредотачиваясь ни на чем. Ей потребовалось целых десять минут, чтобы прийти в себя и открыть первую страницу перевода.

Распечатка оказалась настолько бледной, что ее едва можно было прочитать. След разума и духа семнадцатого века, утраченный почти на три столетия и наконец спасенный… лишь для того, чтобы исследованию его помешал израсходованный картридж принтера. Смешно! Но Хелен было не до смеха – уже много лет. Было ли это проблемой? Ее отсутствие чувства юмора и жесткость, вероятно, и помешали отдать должное Аарону за его открытие. Поэтому он, наверное, и ушел со смиренным выражением, которое Хелен никак не

ожидала увидеть на лице Аарона Леви. И момент его триумфа обратился для него поражением… Когда же она, Хелен, успела стать такой неблагодарной?

Она знала когда. Точно помнила – эта метаморфоза произошла с ней весной, четыре года назад, вскоре после того, как она узнала о смерти Дрора. Статью – да что там! – даже не статью, а всего пару абзацев в интернете Хелен нашла, когда ввела имя Дрора в поисковый запрос.

В новостях трехмесячной давности Дрор был назван «бизнесменом», отчего Хелен едва не расхохоталась в голос, прежде чем прочитала дальше.

В сообщении говорилось, что Дрор погиб в автокатастрофе, когда его автомобиль случайно съехал с дороги где-то под Москвой.

Сначала Хелен не поверила новости. Дрор не мог умереть без ее ведома. Она не верила в паранормальные явления, но теперь никак не могла понять, насколько мир опустел без лица Дрора, его тела, рук, взгляда… Но это было так.

В том, что смерть Дрора была не случайна, Хелен даже не сомневалась. Ему явно «помогли» вылететь с трассы, когда он ехал выполнять какое-нибудь задание.

Писали, что тело Дрора было передано русскими в обмен на что-то – но вот на что именно, Хелен никак не могла вспомнить. Последующие несколько недель, просыпаясь среди ночи, она даже не могла понять, кто из них умер. Впадая в неглубокий сон, она видела Дрора то на работе, то в кругу его шумной семьи; видела, как лицо его омрачается печалью при воспоминании о ней, – и желание избавить его от этой печали поднималось в душе ее, как темные воды из глубокого колодца, пока Хелен вновь не просыпалась и, измученная, принималась листать сборник сонетов Шекспира.

> И, если перечтешь ты мой сонет,
> Ты о руке остывшей не жалей.
> Я не хочу туманить нежный цвет
> Очей любимых памятью своей[41].

Хелен охотно пожертвовала бы своим местом в сердце Дрора – стерла бы все воспоминания о том, что когда-либо существовал такой человек, как она сама, – если бы это облегчило ему жизнь. Но Дрор никогда не забывал о ней. В этом она была уверена.

Той весной она впервые ощутила тяжесть в ступне. Все началось с едва ощутимого прикосновения, легкого, но настойчивого – как будто кто-то, любивший ее сильно и нежно, положил два пальца на подъем правой ступни, как бы говоря: «Ты уверена?»

Хелен приподняла ногу, и невидимые пальцы уступили без сопротивления.

Но скоро тяжесть стала ощущаться все сильнее. Утром, вставая с постели, Хелен чувствовала, что ступня как будто стала тяжелее.

Но, хотя она начала подволакиваться, Хелен усилием воли заставляла себя идти, и недуг уступал.

Врачи, к которым Хелен обращалась, говорили ей: «Радикулопатия», добавляя слово «идиопатическая». Эти термины звучали смешно, пока до нее не дошло: смех смехом, а доктора-то не могут точно определить происхождение болезни. Хелен чувствовала, что медики не могут определить симптомы и не доверяют ей, прикрываясь покровительственной вежливостью, которая, по ее мнению, была еще хуже, чем насмешка.

Только год спустя, когда Хелен стало трудно ходить и она превратилась в бледную копию покойника, но зато научилась скрывать перед коллегами боль и дрожание конечностей, диагноз был наконец поставлен. Хелен выслушала заключение доктора Хэммонда молча, чем вызвала неудовольствие последнего, так как врач нервничал из-за того, что его пациентка не задает вопросов. Ни о чем не спрашивала она и накануне, пропустив рассуждения Хэммонда мимо ушей.

Был полдень пятницы. Хелен сидела за рабочим столом и держала в руках перевод Аарона. Вчерашняя перепалка все еще эхом отдавалась у нее в голове. Она никак не могла понять, как Аарон – а может быть, она сама? – вышел на разговор о Дроре. Все, что Хелен могла восстановить в памяти, – ощущение, будто что-то поднимается изнутри нее и неудержимо выплескивается наружу, потому что она и не хочет это останавливать.

Хелен заставила себя сосредоточиться. Она проверила десяток студенческих работ по раннему Новому времени; ей хотелось поскорее

освободить свой разум и рабочий стол, чтобы заняться документами, которые, как она понимала, поглотят все ее оставшиеся силы. По правде говоря, попытка быстро проработать эти рукописи, чтобы отбиться от притязаний Уилтона и его команды, казалась совершенно безнадежной. Аарон Леви, вероятно, объявит о прекращении сотрудничества по электронной почте. Это стиль его поколения, предпочитающего общаться с людьми через безопасный интернет. Или просто не появится в хранилище редких рукописей, оставив очевидное невысказанным. Хелен не могла определенно сказать себе, жалеет ли она, что он ушел. Ясно было одно: его решение станет серьезным ударом по работе Хелен, а возможно, и роковым.

Она раздраженно поднесла лист с переводом ближе к свету.

> Слова, что выходят из-под моего пера, – это вся моя жизнь.
>
> Я не породила никакой другой жизни в дни свои, и, думаю, этому не бывать.

В тусклом свете кабинета Хелен охватило какое-то иррациональное предчувствие. Чтобы избавиться от гнетущего ощущения, она встала из-за стола. Слова перевода звучали пугающе. Хелен с опаской пробежала страницу взглядом, как будто написанное могло разрушить представления не только об общепринятой мудрости ученых раввинов семнадцатого века, но и о том, что Хелен знала (или думала, что знает) о своей собственной жизни.

В дверь громко постучали.

Хелен взяла трость, чтобы удержать равновесие. Потом послушно, словно маленькая, открыла.

На пороге стоял Джонатан Мартин.

– Доброе утро!

– Доброе утро, – не сказала, а как-то пискнула Хелен.

Мартин был невысок, но в тот момент он величественно возвышался в дверном проеме. Лицо Мартина под шапкой густых седых волос, несмотря на морщины, выглядело на удивление здоровым. Хелен часто задавалась вопросом, почему ее начальник всегда выглядит так, как будто только что вернулся с южного курорта.

Таким он и стоял перед нею: модные очки без оправы, толстое обручальное кольцо, прямая линия пуговиц рубашки в том месте, где она была заправлена в брюки под распахнутым пиджаком, – ни следа живота, свойственного мужчинам его возраста.

От улыбки Мартина Хелен вздрогнула.

– Мне показалось, я должен сообщить вам о том, что Брайан Уилтон и его группа сегодня приступают к изучению манускриптов. Полагаю, их работа не создаст вам помех.

– Вы полагаете?

– Да, разумеется. С Уилтоном общее дело пойдет быстрее.

Хелен вытянулась настолько высоко, насколько смогла.

– Только не надо про общее дело!

– Я немного удивлен вашей собственнической манерой, – спокойно ответил Мартин. – Чем больше ученых исследуют эти документы, тем будет лучше, разве нет?

Конечно, Хелен так не думала. Будь ее воля, ни Мартин, ни кто-либо другой из честолюбивых ученых даже близко не мог бы подойти к этим манускриптам. Однако она все же придержала язык. Мартин был мастером в своей игре. Он отлично знал, кто бы что ни думал о Хелен – о ее яростном отстаивании ведомственных запросов, о настойчивом стремлении разнообразить список допустимых квалификационных языков, о прочих не менее упорных сражениях, – она никогда не устраивала сцен. Да, Хелен Уотт могла облить своего оппонента презрением, но ни разу за все прошедшие годы не повысила голос. Джонатан Мартин обошел ее на повороте и, очевидно, пришел, чтобы лично передать свое послание и получить от этого удовольствие. Вероятно, Хелен раздражала его куда сильнее, чем сама думала. При других обстоятельствах она приняла бы такую мысль за комплимент.

– В этом году вы, кажется, уходите на пенсию? – осведомился Мартин, сверкая линзами очков. – И нам с вами хорошо известно, что изучение этих документов потребует весьма длительного времени.

– Я смогу работать и на пенсии, – спокойно ответила Хелен. – Мне не потребуется пособие от университета. Все, что нужно, – это постоянный доступ в библиотеку.

Мартин снова улыбнулся, но уже сочувственно.

– Хелен, это же непрактично, – сказал он. – А вы женщина прагматичная.

Его слова задели Хелен. Собственно, на это Мартин и рассчитывал, назвав ее по имени после двух десятков лет совместной работы, в которые обращался к ней не иначе как «коллега». Все, на что рассчитывал Мартин, – выбить у Хелен почву из-под ног.

Она выглянула в коридор и увидела, как Джонатан Мартин, коротко постучав, исчезает за дверью кабинета Пенелопы.

Как она и подозревала, в хранилище редких рукописей уже вовсю хозяйничал Уилтон со своими тремя аспирантами. Они стояли по двое с каждой стороны стола и что-то рассматривали: девушка с бледно-розовой помадой на тонких губах, напоминавшая мышонка, двое молодых людей и, конечно, сам Уилтон, выглядящий едва ли старше своих помощников. Сколько же времени прошло с тех пор, когда пересеклись пути Хелен и Уилтона? Кажется, два года. Неужели Хелен так давно не посещала факультетские собрания?

Она сразу же отметила, что у всех мужчин, включая Уилтона, великолепные волосы. У последнего шевелюра была темно-каштановой, отливавшей глянцем, и волнами спускалась от макушки к ушам. Откуда у ученого-историка могут быть такие волосы? Ухоженные, красивые, но без женственности. Двое его помощников носили более скромные прически, однако было видно, что оба следят за своей внешностью. И только девушка выглядела несколько увядшей и не могла претендовать на звание настоящего шедевра природы.

До этого дня Хелен, в общем-то, ничего не имела против Уилтона, за исключением разве что его карьеризма. Будучи аспирантом, он всегда первым и с видимой искренностью смеялся шуткам наставников, остроумно соглашался с большинством на собраниях, где присутствовали аспиранты, и чаще других предлагал свою помощь. Но, несмотря на это, он пользовался популярностью среди однокурсников. Как-то раз Хелен сидела на скамейке возле входа в свой отдел. Она побоялась сразу идти до машины и присела, чтобы перевести дух. И вот тогда Уилтон, приобняв за плечи двух студентов – а все это происходило в двадцати ярдах от Хелен (какой же невидимой она стала!) – и мотнув головой в сторону дородной секретарши средних лет, которая прошла в сторону автопарковки, сказал, что

может определить бабу со скверным характером только лишь по количеству крючков на застежке ее лифчика. «У нас на истфаке нет ни одной женщины, у которой было бы меньше трех! То ли дело кафедра романских языков! Нет, вы видели последнюю протеже Каслмена на праздничной вечеринке? А? – шелковая блузка и бретельки из зубной нити!»

Его товарищи расхохотались, и Уилтон похлопал одного из них по спине, но тут же заметил Хелен, смотревшую прямо на него.

Она вспомнила, что у Уилтона хватило воспитания покраснеть. Однако она была уверена, что этот эпизод не задержится надолго в его голове. Такие, как он, не слишком-то были склонны к раскаянию. Аарон, например, великолепно вписался бы в эту компанию…

Хелен собралась с духом и прошла мимо великолепной группы Уилтона, стараясь не вытягивать шею, чтобы рассмотреть, что за бумаги они там изучают. И тем не менее по ее устремленному вперед взгляду можно было легко понять масштаб ее поражения.

Она расслышала шорох карандашных грифелей по столу – бывшему ее столу. Четыре карандаша, четыре коричневые подложки. Команда Уилсона работала сразу над четырьмя документами. «Да, – подумала Хелен, – вряд ли я успею выяснить историю Алефа раньше, чем ее раскусят эти молодцы». Она даже не допускала мысли о том, что неважно, кто первым сделает открытие. Это было очень важно. Хелен захотелось сжать свои онемевшие руки и рявкнуть «это мое!» так, чтобы эти лощеные головы разом повернулись в ее сторону.

Хелен остановилась и машинально развернулась в паре шагов от края стола, глядя собравшимся в глаза.

Все трое аспирантов недоуменно уставились на нее. Уилтон же неопределенно кивнул и снова вернулся к работе, поняв, кто стоит перед ним. На мгновение он замер, а потом болезненно раздвинул губы, что означало улыбку. Затем он поднял руку («Да что он делает?» – подумала Хелен) и небрежно отсалютовал, как бы призывая к соперничеству. Мол, здравствуй, товарищ, рады тебя видеть, и пусть победит сильнейший. Спортивный жест, ничего личного. Да, конечно, но Уилтон точно не пожелает слушать ее теории о найденных документах, пока не создаст свою. И это будет целиком заслуга его команды, ни о каком сотрудничестве и речи не шло.

Хелен молча наблюдала, как опадает рука ее неприятеля.

Он снова улыбнулся, но уже не так широко, и, неуверенно поддернув манжету пиджака, вернулся к работе.

Хелен подошла к столу библиотекаря, взяла огрызок карандаша и лист бумаги, на котором написала номер нужного ей документа. Затем протянула листок Патриции Старлинг-Хейт.

Та взглянула на номер.

– Документ сейчас в работе, – сообщила она Хелен.

Хелен почувствовала, как ее губы пересохли от такой новости.

Как, всего несколько часов работы в библиотеке – и Уилсон уже добрался до бумаг, на которые у нее с Аароном ушло две недели? Она и подумать не могла, что ее так быстро отодвинут в сторону.

Хелен помолчала, пока не убедилась, что может говорить спокойно:

– Тогда попрошу следующий документ из каталога.

– А почему бы вам не спросить его? – спросила Патриция, не двигаясь с места.

Хелен вздернула подбородок. Какой смысл был в ее строгом воспитании, если она не могла проявить властное достоинство, когда этого требовала ситуация?

– Он, – сказала Хелен, – не помощник мне в этом деле.

Губы Патриции сжались в куриную гузку. Она посмотрела на Хелен поверх очков, а та попыталась припомнить, когда последний раз ей кто-нибудь осмеливался смеяться в лицо.

– А у меня сложилось впечатление, что он был вашим единственным помощником и союзником. Честно говоря, приятно было смотреть, как вы работаете.

Хелен через стол посмотрела Патриции в лицо. Двадцать лет она смотрела в это круглое непроницаемое лицо, и только теперь до нее дошла ужасная мысль, что Патриция припоминает ей прошлое.

– Профессор Мартин, – внушительно произнесла Хелен, – принял решение касательно доступа к документам. Я работаю с ними одна.

– Жаль, – сказала Патриция.

Однако на лице ее не было ни тени жалости. Хелен узнала в ней себя – женщину, которая в равной степени холодна как к другим, так и к себе. Вместо жалости было нечто другое: неподдельный интерес. Что давало, хоть и слабую, возможность установления товарищеских

отношений. Хелен впервые пришло в голову, что Патриция ей почти ровесница и что на ее рабочем столе нет фотографий детей и внуков.

– Я всегда думала, что вы – единственный человек в университете, которому чужды эгоистические побуждения, – сказала Патриция, не опуская твердого взгляда голубых глаз. – Вы, возможно, единственный преподаватель, искренне преданный работе, а не собственным амбициям.

– Хорошо, это… – начала было Хелен, с трудом обретя голос.

Но Патриция еще не закончила.

– Я терпела его невоспитанность, думая, что он необходим вам в работе, – продолжала она, причем на ее поджатых губах мелькнула тень злой улыбки. – Хотите, я прямо сейчас конфискую у него запрещенные карандаши? Или мобильный телефон? А то и канцелярский нож, который наш американский бойскаут упорно таскает с собой? А еще он прячет по карманам авторучки.

Хелен повернула голову и увидела за маленьким столом между двумя выступающими книжными шкафами Аарона. Его знакомая худощавая фигура склонилась над исписанным толстым пером документом, лежавшим на коричневой подложке. Курчавая голова была опущена, и он кусал кончик карандаша. Даже со спины было заметно, как он напряжен.

Хелен поразилась тому облегчению, что она испытала, увидев Аарона.

Он приподнял голову, и впервые на его лице не было заметно ни эгоизма, ни враждебности, ничего, кроме какой-то робкой, смиренной растерянности. Взгляды их встретились, затем Аарон снова склонился над работой. Это была его просьба о прощении.

Из горла Хелен вырвался невольный лающий смех.

Лицо Аарона озарила знакомая дерзкая улыбка.

Хелен снова повернулась к Патриции, чувствуя, как теплеют щеки.

– Кажется, – сказала она, – я неправильно поняла, кого вы имели в виду.

– Да, похоже на то, – на удивление бесстрастно ответила библиотекарь.

Оставив Патрицию, Хелен подошла к столу Аарона и заглянула тому через плечо. Он читал текст на португальском. Еврейский

вариант, соответственно, шел снизу вверх.

– Ну, что нового? – спросила Хелен, присаживаясь на соседний стул.

– Да вот перепроверяю свой перевод, – тихо произнес Аарон. – Кое-что нужно подправить. Но вам следует посмотреть вот на это.

Рядом на столе лежала еще одна подложка с другой рукописью. Аарон пододвинул ее ближе к Хелен.

– Я получил особое разрешение Патриции брать по два документа одновременно. И даже не спрашивайте, как мне это удалось.

Он поднес палец к губам, как бы поклявшись молчать.

– Мне кажется, она в меня влюблена!

– Что-то я в этом сомневаюсь, – отозвалась Хелен.

Как заклятым врагам удалось снова стать коллегами? Впрочем, Хелен не была уверена, что это действительно произошло, равно как и в том, к добру ли… Но она твердо знала, что уж точно сейчас не хотела бы сидеть одна за этим столом.

– Я попросил оставить у себя письмо с перекрестным текстом, – сказал Аарон, – поскольку побоялся, что до него доберутся чьи-то загребущие руки.

– Вы имеете в виду рабочую группу Уилтона? – осведомилась Хелен, стараясь казаться равнодушной.

Неожиданно Аарон повернулся всем телом в сторону Уилтона и его помощников, чтобы никто не усомнился, кого именно он разглядывает.

Двое аспирантов-мужчин покосились на Аарона, который ответил им улыбкой Чеширского кота.

Он плюхнулся обратно на свой стул и сказал Хелен:

– Просто сборище идиотов.

Эхо его голоса прокатилось по всему залу хранилища. Небрежно, будто бы никто не слышал его слов, Аарон добавил:

– Если быть объективным, конечно.

– Это что, американское выражение типа «пусть победит лучший»? – осведомилась Хелен.

– Нет, – отозвался Аарон.

Хелен чувствовала на своей спине взгляды: то команда Уилтона пыталась понять, издеваются над ними или просто шутят. Она слабо улыбнулась.

Но улыбка продержалась на ее губах недолго: Хелен понимала ситуацию лучше, чем хорохорящийся Аарон. Ведь Джонатан Мартин мог в любой момент ограничить им доступ к документам. А Аарону нужно как-то закрепиться на факультете, и ему не следовало бы сжигать мосты из-за нее. Рано или поздно он и сам догадается. Но пока, во всяком случае, он был с ней.

– Так что там еще за документ?

– Вам понравится, – сказал Аарон.

С этими словами он пододвинул к Хелен подложку с бумагой. Хелен заметила темные пятна у него под глазами. Аарон выглядел усталым, юным и искренним. Накануне, хлопнув дверью ее кабинета, он ушел побежденный, огорченный, но все-таки сохранил свой самодовольный вид, что сильно разозлило Хелен. Однако теперь ее поразил подавленный вид Аарона, как у зашедшего в тупик человека, которому осталось лишь обреченно ждать, что же произойдет дальше. Когда он заговорил, голос звучал совсем тихо, как будто его сдерживала какая-то неудача.

– Помните того Мануэля Га-Леви, о котором шла речь в перекрестном письме? Так вот, судя по всему, у него случилась ссора с его младшим братом. Вот почему Мануэль искал его. И еще тут есть намеки на причину ссоры.

Прежде чем обратиться к лежавшей перед ней рукописи, Хелен на мгновение задержалась. Она никак не могла понять, с чего Аарон решил взойти вместе с ней на эшафот. Неужели ему некуда больше идти?

Господи, кажется, у них есть нечто общее…

Глава шестнадцатая

20 марта 1665 года

Лондон

Собираться надолго в этом месте было бы неразумно. Однако солнце так щедро проливало свой согревающий свет на булыжную площадь перед синагогой, что разморило всех, даже Ривку, которая, прикрыв отяжелевшие веки, поддерживала под локоть раввина. Эстер отошла от толпы и пристроилась неподалеку от компании пожилых женщин.

По отдельности каждый из собравшихся здесь легко мог сойти за англичанина или англичанку, хотя и имеющего иностранное происхождение – необычные черты лица, смугловатый цвет кожи. Впрочем, такие особенности терялись в завитках английского парика мужчины или в сшитых по английской моде дамских нарядах. Но, собравшись вместе, английские евреи тотчас же выдавали себя: миндалевидные глаза с темными ресницами, носы с горбинкой и опущенные уголки рта, свидетельствовавшие о каком-то древнем горько-сладком знании.

Были ли такие сборища безопасны? Сошлись, разошлись, снова собрались вместе. Птицы на крыше…

Несколько женщин, стоявших рядом с Эстер, обменивались новостями о своих родственниках. Эстер невольно прислушивалась, моргая от непривычно яркого света. И лишь только уважаемый раввин Саспортас с тяжелыми мешками под глазами, украшенными дугообразными густыми бровями, выделявшимися под войлочным яломком, казался совершенно невосприимчивым к ласковым прикосновениям солнечных лучей. По своей привычке он сразу после молитвы уходил и трапезничал за закрытыми ставнями. Вот и теперь он со своей небольшой свитой быстро повернул за угол и исчез. Главный раввин ожидал от своих прихожан поклонения и признания его авторитета, но вместо этого они вежливо благодарили его за

проповедь, взносили богатые дары и сразу же после этого залезали в ожидавшие их кареты и, нарушая субботу, отправлялись по своим делам, нимало не боясь, что на следующей неделе Саспортас может обрушить на их головы гнев.

Эстер, не вникая, слушала разговор женщин, обсуждавших строительство нового здания синагоги с нормальным балконом для женщин[42]. В этот день, впрочем, как и каждую субботу, Эстер едва держалась на ногах, словно только что сошла с корабля и в ее ушах до сих пор отдается морской прибой. Всю прочую неделю вокруг нее бушевал поток домашней работы, и приходилось отдавать все силы, чтобы остаться на плаву. Хлеб, мука, эль, дрова и уголь, нитки, иголки, шитье и штопка… Став снова обычной прислугой, Эстер поняла, как тяжело было Ривке одной, пока она записывала за раввином.

По утрам Ривка будила ее затемно, и Эстер ставила на огонь бак с замоченным в щелоке бельем, а затем до самого рассвета работала на кухне. В базарные дни Эстер обходила все окрестные рынки, пока у нее не начинали отваливаться ноги. Зато теперь она научилась торговаться на английском языке и даже стала понимать остроты, что отпускали торговцы. Однако на большее она уже была неспособна – любая мысль, не относящаяся к домашнему хозяйству или к покупкам, мигом растворялась в голове, а книги раввина оставались за запертой дверью. Эстер превратилась в автомат для работы. Даже по ночам, когда домашние хлопоты заканчивались, она, лежа в постели, пыталась хоть как-то сосредоточиться на учении, но неизбежно проваливалась в сон. Звучавшие еще недавно стихи развеялись, рассыпались на отдельные слова и исчезли. Сон затворял ее сознание, словно дубовые ставни – окно. Днем, проходя мимо раввина, который все так же сидел в своем кресле, она останавливалась рядом только лишь для того, чтобы подбросить в огонь дров или поставить перед учителем блюдо с едой. Тот сидел неподвижно с еще больше побледневшим лицом, прислушиваясь к ее шагам, словно ловя сигнал о том, что ему простили причиненное зло. Но Эстер более не задерживалась в кабинете. На кухне она вымывала соль из шмата масла, разламывала и растирала куски сахара, ставила сушиться свежесмолотую муку. Как-то раз утром, выжимая с Ривкой выстиранную простыню, она услышала от той о смерти Кэтрин да Коста Мендес, но даже не оторвалась от работы.

И вот теперь отец Мэри – смуглый Диего да Коста Мендес грелся в солнечных лучах и оживленно беседовал с другими мужчинами. Его дочь стояла неподалеку среди увитых лентами девушек, но он едва ли взглянул на нее. Сама Мэри весело болтала со своими товарками, но что-то в ее голосе выдавало неуверенность. Эстер слышала, как ее реплики не к месту, с некрасивой поспешностью, врезались в разговор, словно грабители.

После смерти Кэтрин у Эстер почти не осталось возможности поговорить с Мэри. Когда Эстер отнесла подношения, что собрала Ривка, в дом покойницы, слуги приняли дары, но сама Мэри даже не вышла к ней. Все последующие недели она удостаивала Эстер лишь едва заметным кивком в качестве приветствия. Поэтому Эстер понимала, что здесь, у синагоги, ей негоже подходить к подругам Мэри, так как они давно и ясно дали понять, что не рады ее присутствию. Их взгляды критически скользили по ее серебристым волосам, как будто очевидное нежелание Эстер выходить замуж было подобно заразной болезни.

Эстер, как и все остальные, понимала очевидное: будущее Мэри под угрозой. Нормальные отцы, овдовев, беспокоились о дальнейшей жизни своих дочерей, тогда как Диего да Коста Мендес, казалось, вовсе не обращал никакого внимания на судьбу Мэри. Почти никто не сомневался в том, что вскоре Мендес выберет себе молодую жену, которая родит ему новых детей. На прошлой неделе Эстер краем уха услышала, как одна из почтенных прихожанок заикнулась о том, что вроде как в провинции есть одна дама, к которой сватался да Коста Мендес, – и он в самом деле дважды ездил туда, хотя со смерти Кэтрин прошли лишь недели.

«В деревню, нет, вы слышали?! – голос сплетницы понизился до неодобрительного шепота. – А блаженной памяти Кэтрин мучилась все эти годы от лондонского воздуха. И этот… не желал вывезти ее из города!»

Женщины осуждающе покачали головами, но ничего не сказали: хотя семейство да Коста Мендес и не вызывало ни у кого особой симпатии, ссориться с ними никому не хотелось.

Эстер, сморенная от недосыпания, стоя рядом с приутихшим сборищем кумушек, вдруг услыхала обрывки фраз, донесшиеся от

компании подружек Мэри, голоса которых усиливала каменная стена, под которой они стояли.

– Это просто непристойно! – возмущалась Эмили Валенция, накручивая на палец один из своих длинных каштановых локонов. – Так все говорят, и я уверена, что это истинная правда!

– И что, она ходила туда? – удивилась высокая угловатая девушка из семьи Канчио и расхохоталась. Другие девицы тоже рассмеялись явно на публику, стреляя глазами в узкую перспективу улицы, где в отдалении стояло несколько юношей в намеренно небрежных позах.

– Ты уверена? – продолжала Канчио уже более спокойно, причем удивление на ее лице не было наигранным. – Но как ее отец допустил такое?

– Так он сам и сопровождал ее! – воскликнула Эмили. – Вместе с матерью! Вся семья была в сборе.

Сара Канчио, крупная женщина, что стояла в тот момент рядом с Эстер, внимательно следила за разговором девушек и теперь высунулась из толпы, чтобы одобрительно кивнуть.

– Театр – это непристойность! – бойко воскликнула она.

Под толстым слоем пудры, в котором капли пота прорезали многочисленные бороздки, проступало честное и исполненное гнева лицо.

– Театр оказывает дурное влияние на девушку и, что еще хуже, на ее репутацию. И так там было довольно мерзко, но после того, как на сцену стали допускать женщин, я вообще не представляю, что за сброд теперь собирается в зрительном зале!

Девица Канчио отступила в круг своих подружек, судя по всему, недовольная замечанием матери.

– И все же половина лондонских джентльменов посещает театр, – возразила она. – Ты же хочешь, чтобы я удачно вышла замуж?

– Из наших людей никто не будет провожать тебя до этой клоаки! – мрачно усмехнулась мамаша Канчио. – Пусть христиане оставляют свои души в навозной куче!

Решительные и одобряющие кивки других матрон подтвердили: да, театр не предназначен для дщерей синагоги.

Словно по сигналу, собравшиеся вдруг стали расходиться. Пожилые женщины поспешно обнимались, девушки торопливо целовались в губы и напоследок поправляли друг дружке выбившиеся

локоны. Подруги Мэри уже давно присоединились к своим семьям и разъехались, и она стояла одна, не сводя глаз с отца. Диего да Коста Мендес разговаривал со своими собеседниками, даже не замечая дочери. Она стала для него такой же невидимой, как и ныне покойная жена. А возможно, и всегда была такой.

Лицо Мэри вдруг исказила гримаса невыносимой боли. Она справилась с приступом и резко повернулась:

– Ты чего смотришь? – гневно спросила она Эстер.

Эстер так привыкла быть невидимой, что вздрогнула от неожиданности.

– Потому что твой отец уж точно на тебя не посмотрит, – немного поколебавшись, ответила она.

Мэри потеребила складки корсажа, словно ища, что бы поправить. Эстер показалось, что та сейчас залепит ей пощечину.

Но вместо этого Мэри до боли сжала ей запястья.

– Пошли, – сказала она.

– Куда? – спросила Эстер, хотя, увидев решительное выражение лица Мэри, уже поняла, каков будет ответ.

Два дня спустя Эстер, садясь в карету, заметила, что Мэри высматривает что-то через окно. На Мэри было синее атласное платье, которое выгодно оттеняло ее розоватую кожу и черные брови. Девушка сидела неестественно прямо, и причиной этому был слишком туго затянутый корсет, сжимавший талию – в соответствии с модой. На груди у Мэри покоился маленький серебряный крестик, которого Эстер раньше никогда не видела. Такие украшения носили многие прихожане синагоги, когда гуляли по Лондону, однако Эстер была уверена, что Мэри не надевала ничего подобного при жизни матери. Мэри рефлекторно погладила крестик пальцем, как будто прикосновение к нему придавало ей смелости бросить вызов этому миру, который так ее пугал.

Эстер устроилась на своем месте, но Мэри посмотрела куда-то мимо нее.

– Да какое ей дело, если мы и поедем? – пробормотала она.

Эстер проследила за взглядом Мэри, направленным к высокому окну дома раввина, и увидела в нем затененную фигуру Ривки.

– Она дала мне сегодня выходной, – сообщила Эстер, – чтобы я могла сопровождать тебя.

– Ты говоришь так, как будто это невесть какое благодеяние с ее стороны, – проговорила Мэри, сжав крест в ладони и по-прежнему не отрывая взгляда от окна.

– Ривке очень тяжело без посторонней помощи.

– Я занимаюсь воспитанием члена ее семьи, – фыркнула Мэри, – и не нуждаюсь в ее милостях!

С этими словами она взглянула на Эстер и добавила:

– Или чьих-нибудь еще!

Эстер промолчала.

Карета между тем тронулась.

– А если ты считаешь все это таким легкомыслием, то почему тогда тут сидишь?

Улица медленно проплывала мимо. Сама не понимая, хорошо или дурно она поступает, Эстер сказала:

– Из-за твоей матери.

– При чем тут моя мать? – вспыхнула Мэри.

Немного поколебавшись, Эстер все же сказала, смягчив голос, насколько сумела:

– Твоя мать однажды рассказала мне, что видела сон. И она попросила меня присмотреть за тобой.

Лицо Мэри превратилось в застывшую маску:

– Я тебе не верю.

Она заморгала и повернулась к кучеру – худощавому желтолицему молчаливому мужчине:

– Быстрее!

Он причмокнул, и карета, покачиваясь, двинулась вперед по узким улочкам в сторону Вестминстера.

– Если бы моя мать знала, что твоя родилась вне брака, она бы никогда не позволила тебе общаться со мной, – наконец сказала Мэри.

Она впервые напомнила Эстер об этом после того давнего разговора у портнихи. Эстер понимала, что эти слова были произнесены, чтобы задеть ее за живое, но в то же время они несли еще один смысл: Мэри сохранила тайну Эстер и не раскрыла ее даже собственной матери.

– Твоя мать хорошо относилась ко мне, – заметила Эстер, – хотя и знала, что у меня нет никаких перспектив.

– Это так, у тебя точно нет никаких перспектив, – отрезала Мэри.

Эстер снова промолчала.

Мгновение спустя Мэри махнула рукой, словно в немом извинении.

– И все-таки ты можешь выйти замуж, как мне кажется, – сказала она без злобы.

Мысль эта, казалось, придала ей бодрости. Она вся повернулась в сторону Эстер:

– Это очень даже возможно, даже без приданого, понимаешь ли! Ты могла бы просто заботиться о престарелом муже. И даже иметь от него детей, а если он окажется достаточно богат, вы смогли бы нанять слуг, пока ты сама держала бы на себе весь дом. Ты забыла бы все, что было до свадьбы, – чем не жизнь, а? Только представь себе!

Карета покачивалась по булыжной мостовой. Эстер представила себе грядущие «перспективы».

– И как же, – елейным голоском осведомилась Мэри, – мать рассчитывала, что ты будешь за мной присматривать?

– Не знаю, – сказала Эстер.

Обе девушки молча смотрели в окно на проплывавший мимо город. Внезапно Мэри фыркнула:

– Ага, сопровождая меня на непристойные комедии!

Она захохотала каким-то мрачным, нездоровым смехом. Смех этот удручающе подействовал на Эстер, которая услышала в нем голос несчастной женщины, которая готова разрушить собственный дом, лишь бы увидеть, как он рухнет.

Задолго до того, как они вошли в резные двери театра, до них донесся запах пота от собравшейся там публики. Мэри зажала нос белым платком, с трудом нащупала несколько монет и сунула их в грязную ладонь толсторожего привратника, который, принимая деньги, подмигнул девушке.

– За это ты вряд ли увидишь то, на что пришла посмотреть, – ухмыльнулся он, пропуская Мэри.

Та ответила ему ослепительной улыбкой, в которой Эстер заметила беспокойство.

Они немного опоздали – представление было уже в самом разгаре. Толпа напирала, и Эстер, последовав за Мэри, поняла, что та заплатила за места среди самого отребья. Однако времени для сомнений и предположений не было. На передней части сцены выступали канатоходцы: двое мужчин средних лет с сосредоточенными лицами то появлялись из тени, то пропадали снова. В Амстердаме Эстер видела канатоходцев, но те во время представления смеялись и дурачились. Эти же имели на лицах торжественное выражение, отчего выглядели несколько угрожающе; они кувыркались, выделывая плавные фигуры высоко над толпой, словно жрецы немого, но могущественного культа. Сквозь тонкий голос аккомпанирующей флейты и монотонный бой барабана слышался скрип канатов. Тела актеров сворачивались и разворачивались, творя в воздухе мрачный обряд.

Эстер рванулась вперед, стараясь не отстать от Мэри, но та довольно быстро пробиралась меж зелеными зрительными скамейками без спинок, не обращая внимания на попадавшиеся то тут, то там открытые горшки для мочи. Эстер толкали, пихали, но уступали дорогу. Она боялась обернуться, однако, высоко подобрав юбку, следила за действом над сценой. Под ногами хрустели устричные раковины, ноги скользили, попадая в невидимые лужи. На скамейках сидело не так уж много народу – большинство предпочитало забраться на них с ногами или торчать в проходах. Вокруг толпились мужчины – один из них случайно толкнул Эстер, а потом обхватил приятеля за шею и завопил:

– Знаешь, как отличить мужика от бабы? Надо пощупать вот эти булочки, сэ-эр!

Со всех сторон плеснуло хохотом. Эстер, не оглядываясь, бросилась вперед, стараясь не отстать от Мэри, которую она все время окрикивала резким и хриплым шепотом. Она не успела опомниться, как оказалась у самого края сцены.

Теперь обе девушки стояли у партера. Среди зрителей то и дело попадались женщины, по нарядам которых было нетрудно догадаться о том, как они зарабатывают себе на жизнь. Наверху, в темных галереях, рядом с хорошо одетыми джентльменами сидели расфранченные дамы; некоторые из них осмелели настолько, что приподняли свои маски и рассматривали акробатов. Эстер отвела взгляд от верхних рядов, как раз чтобы заметить оранжевый платок,

пущенный кем-то из партера. Платок зацепился за натянутый канат, куда и был нацелен, сжался, скрутился, словно прячущаяся в раковине мидия, и танцор на мгновение замер, стараясь сохранить равновесие, причем тень его на стене театра извивалась, словно висельник в петле. Тень то сжималась, то снова расширялась, пока наконец акробат не выровнялся, чтобы продолжить свой медленный величественный танец.

Мэри не отрываясь смотрела на сцену, замерев, словно в трансе.

Раздался глухой удар невидимого барабана – оба акробата, перевернувшись в воздухе, звучно приземлились на подмостки, резко поклонились и исчезли за авансценой. На сцене появились облаченные в костюмы актеры и дружно стали декламировать первые строки пьесы:

– А теперь восхвалим честных людей!

– Я и в самом деле честный человек! – пропел актер из центра массовки.

Спектакль начался. Слова актеров почти утонули в непристойном смехе, доносившемся из зала и с галерей. Первым по сцене прошелся актер с размалеванным, как у клоуна, лицом, игравший галантного кавалера по имени Фредерик Фролик. К своему удивлению, Эстер понимала большую часть их болтовни.

– А если дура выйдет за меня, клянусь, ее я одурачу!

Толпа в партере одобрительно загудела, с балконов раздались разрозненные аплодисменты. Актеры, войдя в свои роли, подчеркивали каждую грубоватую фразу, что вызывало бурный восторг толпы. Они, будто корабль в штормовом море, взбирались из бездны площадного юмора на вершины высокоморальных заключений, чтобы радостно нырнуть обратно, сохраняя тем самым ритм пьесы.

– Мужчины счастье у него в руках? Смотри же, что в моих!

Среди актеров-мужчин на сцене появились две актрисы в платьях с декольте. Одна носила светлые локоны, другая – темно-каштановые. Они играли в амплуа инженю[43] и отбивали каждое покушение на свою добродетель с наигранной наивностью. Эстер не заметила в таких барышнях ничего особо вызывающего, их платья почти ничем не отличались от одежд женщин, что сидели на балконах и галерее. Но уже само то, что они находились выше уровня зрительного зала, доводило присутствовавших мужчин до исступления, и они, позабыв о

всяких приличиях, рвались к сцене, протягивая целый лес огрубелых рук.

– Какая гадость! – пробормотала Мэри, придвинувшись так близко, что Эстер чувствовала каждый ее вздох.

Сцена опустела, и на ней возник бойкий мужчина неопределенного возраста в длинном завитом парике, с худым лицом и потными красными, словно у пьяницы, щеками. Он произнес длиннющую речь, которую, казалось, досочинял на ходу, чтобы отвлечь внимание зрителей, пока за занавесом авансцены устанавливают декорации. Он начал с размышлений о любви – наихудшей и самой восхитительной из человеческих глупостей, а затем перешел к детальному описанию качеств идеального любовника, что окончательно разозлило аудиторию. Когда он перешел к тому, что настоящий мастер амурных дел должен быть щедро одарен телесно, из зала ему в голову прилетел какой-то огрызок. Конферансье как ни в чем не бывало отмахнулся и продолжил говорить, что повлекло новый мусорный шквал из партера. Наконец вступительная речь закончилась, и оратор удалился, попутно сметая отбросы внутренней частью стоп, отчего его походка превратилась в веселый танец. После в зал выбежали трое актеров и запели задорную песенку, смысл которой сводился к тому, что если, мол, твоя возлюбленная не добра и не мила, то она достойна любви разве что какого-нибудь шалопая Джека.

Чья-то жесткая рука прихватила Эстер за талию и поползла выше. Девушка в панике с силой вцепилась в нее ногтями, и обладатель мозолистой длани быстро удалился.

– Нам надо уходить, – прошептала Мэри, не отрывая, однако, от сцены завороженного взгляда.

Певцы ушли, и Эстер увидела нечто странное.

На авансцену вышла одетая в мужской костюм женщина – блондинка с локонами, которая несколько мгновений до этого расхаживала по сцене в ярко-желтом платье. Теперь же ее волосы были собраны сзади и схвачены узлом, грудь прикрыта тяжелым камзолом, золотые рукава которого скрывали тонкость рук. Вероятно, она должна была изображать миловидного придворного юношу.

Крики зрителей почти полностью заглушили слова актрисы; она замолчала и стала на месте, явив залу несуразицу своих широко расставленных ног.

– Эй, рыбий хвост! – крикнул какой-то мужчина, и актриса изящно повернулась в его сторону.

Театр буквально содрогнулся от рева мужских глоток, что, не прекращаясь, отдавался в ушах Эстер.

Наконец зал успокоился, и актриса продолжила свою речь. Сверкнув решительным взглядом, она поведала зрителям о цели, которую преследует ее персонаж. Ввиду некоего поворота в сюжете ей потребовалось выдать себя за мужчину, чтобы обманом завоевать доверие своего жениха и узнать его истинные чувства к ней.

Женщина в мужском костюме! Какую же власть приобрела она в пьесе путем простой смены одежды! Но для нее вся эта авантюра была продиктована всего лишь тщеславием: узнать мнение недостаточно пылкого кавалера.

Будь у Эстер такая возможность, она использовала бы ее по-другому.

Актриса закончила свою речь, а затем с ошеломившей Эстер простотой вышла на авансцену, словно фигура, выходящая из портретной рамы в живой, дышащий мир. И пока шло действо и другие герои выходили из-за кулис, чтобы быть обманутыми сменой ее костюмов и сюжетными поворотами пьесы, Эстер положила руку на подмостки, чтобы убедиться, что все происходит по-настоящему. И тогда ей пришла в голову идея, столь же простая, сколь и трудновыполнимая. Эстер вцепилась в сцену, пока у нее не заболели пальцы.

Когда спектакль закончился, публика отхлынула от них и потекла к выходу. Раскрасневшиеся лица вновь становились благообразными, а толпа постепенно превращалась из буйного, исполненного страстью существа – публики – в обычных мужчин и женщин, моргавших от света, что проникал с улицы, и спешивших к себе по домам.

Рука Эстер до сих пор держалась за край сцены. Девушка слышала, как театр постепенно затихает. Над ней парил купол крыши, ниже шел частокол искусно вырезанных столбов, поддерживавших своды галерей. Эстер разглядела даже брошенную женскую маску, которая смотрела на нее пустыми раскосыми прорезями для глаз.

Рядом что-то заворочалось. Эстер повернулась, и как раз вовремя, потому что перед ней возникло бледное, словно полная луна, лицо Мэри.

Подхватив ее на руки, Эстер с трудом удержала ускользающую тяжесть. Ее шатало из стороны в сторону, пока Эстер пыталась найти более или менее чистое место, чтобы положить сомлевшую подругу. Но пол был весь засыпан устричными раковинами и вылившейся из горшков мочой. Эстер приложила последние усилия и вытащила Мэри на сухое место, подложив ей под голову свернутую шаль.

Мэри едва дышала. Эстер, наклонившись, смотрела, как трепещут ее веки. На авансцене тем временем двигались какие-то тени – то актеры готовили костюмы и декорации для завтрашнего спектакля. Эстер заметалась, но последние из зрителей, кто еще не успел покинуть партер и галерею, совсем не обращали на нее внимания. Но без посторонней помощи ей не донести Мэри до ожидавшей их кареты, а оставить девушку одну в здании театра, пока она будет бегать за кучером, Эстер ни за что бы не согласилась.

В спину ей ударилось что-то маленькое, но твердое. Эстер обернулась и увидела, как за пологом занавеса исчезает худощавая фигура. У ее ног лежал сверток, внутри которого обнаружился грязно-белый кубик. Эстер осторожно понюхала: нюхательная соль. Она сунула кубик Мэри под нос, и через несколько мгновений та открыла глаза и выругалась.

Еще несколько минут ушло на то, чтобы Мэри окончательно пришла в себя и поняла, где находится. Заметив на лице Эстер выражение облегчения, она снова повторила проклятие, приподнялась на локтях и перевела дух.

– Какой позор, – шевельнула губами Мэри.

Что именно она имела в виду – пьесу или окружающий ее бардак, Эстер не поняла. Мэри попыталась встать, но из-за слабости ей пришлось присесть на скамейку. Она нахмурилась, переживая свое унижение. Эстер подхватила ее за локоть, но Мэри, оглядевшись, высвободила руку.

– Дай я хоть корсет тебе развяжу, – предложила Эстер.

– Ой, да перестань! – отшатнулась Мэри. – Ну устала я немного, что ж тут?

Она заметила, как Эстер покачала головой, и несколько смущенно прибавила:

– Утром я буду у нас в саду. Приходи.

– Это с каких пор Мэри да Коста Мендес работает садовницей? – рассмеялась Эстер.

– Да клянусь тебе, именно так!

В это время к девушкам приблизился худощавый актер, что дал Эстер нюхательную соль. Продолжая стирать с лица остатки грима, он спрыгнул со сцены в партер и протянул руку. Эстер отдала ему соль.

Актер отнял от лица полотенце, и Эстер увидела, что перед нею тот самый человек, который предварил спектакль бессвязным монологом о любви, за что и поплатился целым шквалом огрызков и прочей дряни, что швыряли в него из зала. Теперь, убрав с лица грим, он, казалось, лишился озорного духа и выглядел полной противоположностью своего сценического образа. Частицы краски подчеркивали его морщины, и Эстер видела перед собой лишь немолодого уже, невысокого роста, потрепанного жизнью человека. Вместо развевающегося парика на голове его виднелись седеющие, некогда каштановые, зачесанные назад волосы. В его движениях не было и следа той юношеской грации, которая так молодила его на публике. Шелковая рубашка была заштопана, а панталоны сильно потерты.

Актер внимательно оглядел Мэри, не упустив ничего – от лоснящихся волос до изящных туфелек. Его лицо озарила лукавая улыбка. Актер быстро протер от краски шею и сказал:

– С воскресенья вы – третья! Правда, большинство дам предпочитают падать в обморок в галерее, а не в партере.

По бледным щекам Мэри разлился румянец – по всему было видно, что она ищет остроумный ответ.

– Я имею привычку падать в обморок поближе к земле!

– А! И красота, и мудрость!

Мужчина подал ей руку; Мэри вспыхнула, но приняла. Они отошли на несколько шагов в сторону, словно дело было на прогулке в парке, а не в театральном партере.

– Так если я правильно понимаю, вы лишились чувств из-за наших рассуждений? – произнес актер таким тоном, словно все еще находился на сцене.

– Она потеряла сознание от давки, – вставила Эстер.

– Или же вас сподобило на это наше остроумие? – игриво осведомился лицедей. – Ведь только вы можете знать, отчего такое с

вами приключилось.

Губки Мэри уже сложились в кокетливую гримаску.

– Мэри, нам пора, – произнесла Эстер: нужно было развеять внезапное очарование незнакомца, пока Мэри не попала под его влияние.

Мэри недовольно посмотрела на нее. Мужчина, в свою очередь, одарил Эстер великодушной улыбкой, словно прощая ей завистливую выходку:

– О, вы тоже можете присоединиться к нам, если вам будет угодно. Или вы не в восторге от нашего мастерства?

Эстер ответила с серьезностью, которой и сама не ожидала:

– Я не хотела бы поносить вашу игру, если не говорить о декламации посредственных стихов из пьесы весьма посредственного автора.

Зал огласился хохотом актера:

– Да уж, комплимент что надо! Но я не буду спрашивать вашего мнения о спектакле, ибо боюсь его услышать. Возможно, вашим друзьям нравятся колкости. Однако мне нравятся милые дамы.

Говоря, актер смотрел только на Эстер, но та заметила, что его слова подействовали на Мэри, которая сразу же заулыбалась.

На сцене появились и остальные актеры. К ним подошла женщина со взбитыми бесцветными волосами и усталыми глазами, в которой едва ли можно было узнать нагловатую актерку, недавно прогуливавшуюся по сцене в панталонах.

Женщина ловко спрыгнула со сцены, небрежно чмокнула актера в губы, не обратив никакого внимания на то, что он держал Мэри за руку, и поспешила прочь, обронив на прощание: «Томас, любовь моя, увидимся завтра!» Мэри же стояла как вкопанная, и недовольство на ее лице постепенно уступало место любопытству.

На сцене оставались еще двое, поджидая Томаса. Один, высокий и бородатый, похожий на испанца, явно испытывал нетерпение. Другой, худощавый англичанин с короткой прической, без бороды, в скромной, но опрятной одежде, спокойно следил глазами за Томасом с характерной отстраненностью, что делала его похожим скорее на священника, нежели на артиста.

– Томас, что тебе нужно от двух евреек? – воскликнул высокий.

В его басовитом голосе звучали веселые нотки, однако Эстер показалось, что губы незнакомца кривятся в неприязненной гримасе. Узкое лицо актера обрамляла борода, которая, казалось, старалась дорасти до самых бледных, немигающих глаз.

– Каких евреек? – недоуменно хохотнул Томас. – Эта вот носит крест!

– Ну да. Они все так делают, когда хотят за наших прикинуться!

– И это правда? – заинтересовался Томас, вглядываясь в лицо Мэри, но та отвернулась.

Эстер напряглась, но ответила прямо:

– Да, именно так.

– Еврейки, – присвистнул Томас. – А говорят, что кур доят. Кто бы мог подумать, что я найду себе жидовку?

Худощавый мужчина, что держался позади остальных, негромко произнес:

– Честь имеем познакомиться. Меня зовут Джон Тильман. А это – Томас Фэрроу и Эстебан Бескос.

Однако Томас не обратил на слова коллеги ни малейшего внимания.

– Разрази меня гром! – воскликнул он, стуча рукой по доскам авансцены. – Надо же – крещеная еврейка и ее суровая наставница!

Томас взмахнул рукой в сторону Эстер, а потом отступил на шаг от Мэри, чтобы получше рассмотреть ее. Та испуганно шарахнулась от него, но Томас успокаивающе махнул рукой. Мэри смущенно выпрямилась, и тут Эстер заметила, что взгляд комедианта упал на отделанное драгоценными камнями кольцо и жемчужный браслет на руке у ее подруги.

– Ей уже лучше, так что спасибо вам, – сказала Эстер, беря Мэри за руку и направляясь к выходу.

Так они и шли до самых дверей – Эстер держала подругу за одну руку, а Томас, стараясь не отставать, уцепился за другую. Двое других актеров следовали на некотором расстоянии.

– Однако вы так и не высказали ваше мнение о спектакле и тех идеях, которые мы вложили в него! – обиженным тоном промолвил Томас, обращаясь к Эстер, хотя было ясно, что говорит он для Мэри. – Под нашими шутками кроется глубокая философия, – добавил он, не сводя глаз с богатых украшений Мэри.

– Какое может быть наше мнение! Никакое! – воскликнула Эстер, берясь за дверную ручку.

– Как так «никакое»? – возмутился Томас, причем его негодование на этот раз было очень похоже на подлинное. – Знаете, ваше невежество для нас весьма оскорбительно!

– Никакого мнения вы не услышите, – повторила Эстер, больно ударившись локтем о тяжелую дверь, но не выпуская руки Мэри. – Хотя, если вам угодно нести подобную чушь и называть это философией, то этот балаган – самое подходящее место для таких выступлений.

С этими словами Эстер потянула Мэри за собой.

Томас стал на пороге и небрежно бросил:

– К счастью для пьесы, мы не использовали в ней ваших выражений. А то впервые в истории театра мы стали бы свидетелями того, как английская пьеса была бы повешена, вздернута на дыбу и четвертована!

Бескос одобрительно фыркнул.

– Если бы вы употребили «наши» выражения, как вы сейчас изволили заметить, – натянуто произнесла Эстер, – то ваша пьеса, возможно, могла бы произвести впечатление на публику вместо того, чтобы отправить их по домам несолоно хлебавши!

Эстер никогда еще не чувствовала такой свободы выражения на чужом для нее языке, да и вряд ли раньше она осмелилась бы разговаривать с англичанином в подобном тоне. Но ей очень хотелось домой, и это желание победило застенчивость, отчего ее язык выговаривал слова безо всяких препятствий.

– И как только ваши зрители поймут, что пьеса – дрянь, – продолжала Эстер с пылающим лицом, – им станет ясно, что они остались без денег, что уплатили деньги впустую, тогда как вы потратите их шиллинги на выпивку, которой хватило бы на то, чтобы спустить на воду целый флот. Комедия – это, конечно, прелестно, но только если вы подаете ее без претензий на что-то большее. Называйте это дело развлечением, но уж никак не философией!

– А она понимает суть нашего с тобой ремесла! – громко рассмеялся Бескос, хлопая Томаса по плечу. – Удачно сказано, нет слов!

Тот демонстративно отряхнулся, а затем играючи шлепнул Бескоса по руке.

Эстер тем временем уже вывела Мэри вон, но на улице та с негодованием отпрянула от нее.

– Вот грубиянка, – заявила она Томасу. – Чистое наказание – никто не хочет с ней гулять, кроме меня.

Томас захохотал, и Мэри вся залилась краской. Она протянула вперед руку и с напускной официальностью объявила:

– Мэри да Коста Мендес!

Глянув украдкой на Эстер, она добавила:

– И Эстер Веласкес!

– Но Мэри!!!

Томас все еще заходился от смеха.

– Приятно узнать, как вас зовут. Значит, Мэри… По суровому взгляду вашей компаньонки я понимаю, что вы только что вкусили запретного плода, но от этого только веселее! В имени, понимаете ли, кроется истина. А мне не терпится узнать о вас всю правду.

– Не судите строго нашего товарища, – рассмеялся в свою очередь Бескос. – Он любит порассуждать об истине и философии. А еще два раза в неделю он непременно напоминает о том, как во время гражданской войны отец отправил его на учебу в Оксфорд. Правда, боюсь, что вся его научная деятельность сводилась к изданию брошюрок о том, как парламентарии женятся на своих лошадях!

– Бескос, ты все же разговариваешь с дамами! – воскликнул молчавший до сих пор Джон.

– Да, Бескос, он прав, – заметил Томас, угодливо кланяясь Мэри и не обращая никакого внимания на Эстер. – Вы уж простите нас великодушно. Театр – это такое заведение, понимаете ли, где совсем забываешь о себе.

Эстер еще раз взглянула на Джона. У него было красивое, словно вылепленное лицо и розоватые щеки. С него не сходило несколько настороженное выражение, словно все его внимание сосредоточивалось на происходящем. Заметив, что за ним наблюдают, Джон серьезно посмотрел на девушку и вдруг улыбнулся, отчего на мгновение стал похож на мальчишку.

– Леди Мэри, – сказал Томас, – вы не бойтесь нашего Джона. Если он и рассуждает о чем-то, то не настаивает на своих выводах, хотя и

выглядит этаким неприступным судьей. Впрочем, нам не пристало смеяться над этой профессией, ибо его отец как раз исполняет эту должность. Однако каждому плутишке, вроде меня, нужно зеркало, и Джон прекрасно справляется со своей задачей. Не правда ли, Джон? – бросил Томас через плечо.

Тот снисходительно усмехнулся, но Том ас не отставал:

– А что бы сказал отец относительно твоего выбора друзей?

– Моего отца здесь нет, – осторожно ответил Джон. – Но если бы он был здесь, то, прежде чем выносить приговор, сначала постарался бы собрать все необходимые доказательства и свидетельства.

– А ты собрал доказательства, чтобы судить нас? – рассмеялся Томас, провожая Мэри вдоль стены по переулку. Мэри случайно задела широким рукавом своего платья глиняный горшок с землей, тот покачнулся и едва не рухнул на тротуар, но Джон быстрым и ловким движением подхватил его и поставил на место. Затем он взглянул на Томаса, и хотя слова его прозвучали мягко, но в улыбке появилась жесткость:

– Судьей является мой отец, а я всего лишь его сын.

Бескос окинул взглядом обоих друзей и произнес:

– И все же любой судья или просто разумный человек сказал бы, что вы совершаете глупость, называя еврейку дамой.

Говоря это, он неотрывно смотрел на Эстер, которая почувствовала себя неловко под его холодным взглядом. Она не выдержала и отвела глаза, и только тогда Бескос слегка улыбнулся.

Эстер сделалось страшно. Она потянула Мэри за локоть – на этот раз та послушно пошла к карете. Эстер слышала, как актеры идут за ними, словно волчья стая, преследующая добычу, но она не обернулась. Карета ждала за углом – Эстер постучала по лакированному борту, чтобы разбудить кучера. Мэри забралась внутрь, Эстер последовала за ней, сразу же затворив дверцу, но Томас уже стоял под окном Мэри и что-то быстро говорил ей, а та хихикала. Эстер досадливо отвернулась и увидела еще одну фигуру у своего окна. Это был Джон. Его брови выгнулись дугой, придавая лицу веселое и одновременно беспокойное выражение.

– Вот ведь язык без костей, – кивнул он головой в сторону Томаса.

Эстер потрогала дверь, убедилась, что она заперта, и посмотрела в сторону Мэри. Та, опершись локтями на оконную раму, высунулась

наружу, обратив в сторону Эстер свой зад. Томас продолжал сыпать любезностями, как будто уже сказанных ему казалось мало.

Эстер снова повернулась к Джону. Взгляд его светился, словно солнечные лучи в глухом лесу.

– А вы всегда столь прямолинейны, как стрела? – спросил он Эстер. – И не боитесь осуждения?

– Мэри! – позвала девушка, потянув подругу за турнюр, но та лишь отмахнулась, не оборачиваясь.

– Это редкий случай, – сказал Джон.

– Пошел! – приказала Эстер кучеру.

– Э, минуточку! – воскликнула Мэри, смеясь в голос вместе с Томасом.

Эстер вцепилась в раму окна кареты и тут почувствовала прикосновение. Джон положил свою руку поверх ее и стал отгибать один за одним пальцы от деревянной дверцы.

Эстер смотрела, как он, отогнув один побелевший от напряжения палец, принялся за второй. Джон выглядел настолько увлеченным своим занятием, что Эстер даже не отстранилась – легкость его руки была поразительна.

Бессмыслица какая-то!

Джон отогнул третий палец и взялся за четвертый. Эстер невольно рассмеялась:

– Если вы рассчитываете на вознаграждение за то, что изволили проводить нас до кареты, то рекомендую перейти на ту сторону – там к вам будут более благосклонны. Во всяком случае, ваш друг надеется именно на это.

Но Джон словно не слышал ее.

– У меня все равно ничего нет для вас, – сказала Эстер слабым голосом.

Джон наконец высвободил ее последний палец. Затем приподнял ладонь девушки и снова положил ее на деревянную раму. Несколько секунд он поглаживал руку, разглядывая длинные тонкие пальцы с шершавыми костяшками и обкусанными ногтями, словно эта рука была отдельно живущим существом, требующим нежной ласки.

– Вот, – сказал он.

Джон поднял на Эстер глаза, и в них она увидела выражение тихого восторга, как будто собственная смелость застала его врасплох.

Джон показал ей свою руку, сжал ее в кулак, а затем медленно растопырил пальцы, как бы показывая: вот так. И жест этот оказался исполненным такой простоты, что Эстер еще долго не могла понять, что хотел сказать этим Джон.

Мэри сказала что-то кучеру, и карета двинулась по улице.

Эстер смотрела прямо перед собой. Когда же она повернула голову в сторону Мэри, на губах той играла легкая улыбка.

Эстер отвернулась к окну. Ее собственные губы шевелились, но она не знала, что сказать подруге. Разум молчал.

– Мне нужно, чтобы ты была у меня завтра в полдень, – вдруг сказала Мэри.

– Зачем? – прошептала Эстер.

Вместо ответа Мэри кокетливо пожала плечами.

– Зачем? – уже громче повторила вопрос Эстер.

– У меня будет гость, и мне потребуется компаньонка.

Мэри повернула свое лицо к Эстер. Ее темно-карие глаза восторженно светились.

– Ты дала Томасу Фэрроу свой адрес?

Мэри ухмыльнулась и пропела:

– Да-а…

Эстер не смогла удержаться от смеха. Она не могла сказать наверное, примет ли Диего да Коста Мендес гостя-христианина, но почти не сомневалась, как отец отреагирует на попытку ухаживать за его дочерью, да еще кого – актера!

– Твой отец даже не станет разговаривать с ним.

– Отца нет дома уже три дня!

У Эстер перехватило дыхание. Если бы она могла пользоваться такой же свободой, как Мэри, то вряд ли разменяла бы ее на флирт с каким-нибудь актеришкой.

Она пощупала грубую, растрескавшуюся от стирки кожу на костяшках пальцев. Сжала пальцы в кулак.

– Не валяй дурака, – посоветовала она Мэри.

– Но ты мне нужна! Ты же моя компаньонка.

– Тебе нужна дуэнья во избежание сплетен, чтобы флиртовать с каким-то ничтожеством назло отцу.

Мэри заметно помрачнела и отвернулась к окну.

– А разве моя мать не просила тебя следить за мной?

– Она хотела спасти тебя от глупостей, а не потакать им.

Мэри промолчала.

– Чтобы тебе было ясно, что я имею в виду, – продолжала Эстер громче обычного, – лично мне все равно, если ты будешь иметь дело с такими мужчинами, как Томас Фэрроу. Однако не думай, что мое присутствие спасет тебя от сплетен. Как ты давеча заметила, я несу на себе позор моей матери. Не то чтобы меня волновала такая вещь, как репутация.

Последнее утверждение она произнесла тем же тоном, как сказала бы любая уличная девица. Но все же Эстер слишком хорошо понимала, как вопрос репутации может быть использован против нее. И Мэри тоже понимала. Безупречная репутация являлась ключом к главной цели, к которой стремились все разумные девушки, – к замужеству и безопасности. К жизни забытой в театре маски. К жизни незаметной и безмятежной…

Истинным ли было такое женское счастье или надуманным фантомом? Впрочем, для Эстер это не имело никакого значения, так как ее характер решительно препятствовал замужеству.

Быть может, стены рабочего кабинета раввина подарят ей иное счастье?

Карета резко затормозила. Снаружи послышались крики. Однако Мэри не обратила на них никакого внимания:

– Эстер, мне не нужно жертвы. Я заплачу тебе.

Шум сделался сильнее. Послышались насмешливые голоса и хриплые возгласы.

– Десять шиллингов за завтрашний день, – сказала Мэри, не отводя от Эстер взгляда.

Та едва сдержала смех: неужели встреча с Томасом так много значит для Мэри? Десять шиллингов за глупую интрижку с мужчиной, которая может погубить будущее? Неужели женские желания способны настолько противоречить здравому смыслу?

Еще одна причина изгнать их из своего сердца.

– Я все равно встречусь с Томасом, даже если ты и не придешь, – заявила Мэри. – Но для меня будет лучше, если ты все-таки придешь, – уже мягче добавила она. – И ты прекрасно меня понимаешь. Я тебе заплачу. Ведь это не так уж и трудно – прийти и

посидеть со мной. Тебе не нужно будет отвечать за мой выбор. Ну, или, – тут губы Мэри слегка покривились, – решай сама, дело твое.

Сердце Эстер стукнуло один раз, второй… и на третий она уже знала, что согласится. Малодушие? Однако отказать Мэри было невозможно. Да и деньги будут весьма кстати – можно купить свечей и чернил. И тогда план, что пока еще созревал в голове Эстер, станет более или менее реальным.

Мэри кивнула – соглашение достигнуто. Она стукнула по перегородке:

– Почему мы остановились?

– А, тут еще один балаган! – весело отозвался кучер.

– Что еще за балаган?

– Тут двое молодых парней, – ответила вместо кучера пожилая женщина, оказавшаяся рядом с каретой, – двое парней, мисс, решили позабавиться в гостинице «Роза». И одному из них сейчас придется туго, так как сюда уже направляется его отец, который вовсе не разделяет новомодных увлечений среди мужчин.

Впереди снова зашумели.

– Вон, смотрите, уже вытаскивают, – сказала старуха и засмеялась.

– Послушай, – обратилась Эстер к кучеру через откидной люк, – ты специально остановился, чтобы поглазеть?

– Да куда там! – вздохнул тот. – Вон, сами гляньте!

Эстер навалилась на Мэри и выглянула из окна кареты. Узкая улочка была вся запружена зеваками, вытягивавшими шеи. У входа в гостиницу сгрудились подводы. Из дверей тем временем, пошатываясь, вывалился худощавый, но мускулистый молодой человек, весь сотрясавшийся от смеха. Юноша был абсолютно гол, если не считать простыни, которую прижимал к своему причинному месту. Увидев перед собой толпу, повеса скомкал простыню и запустил ею в людей. Его полувосставший член алел на фоне покрытого волосами лобка, словно флаг. Мэри буквально вскарабкалась на Эстер, чтобы получше разглядеть буяна – тот развел руки и театрально поклонился. Народ взревел от отвращения. Кто-то поднял простыню и попытался прикрыть ею юного негодяя, но тот увернулся.

Даже сквозь жесткий корсет платья Эстер почувствовала, как Мэри вздрогнула от смеха.

– Где он? – прорезал уличный шум мужской голос. – Где мой сын?

Толпа вмиг смолкла, и мужчина смог протиснуться вперед. Эстер вздрогнула от неожиданности, узнав Бенджамина Га-Леви.

Из-под темного парика, что съехал на красивое смуглое лицо старика, так похожее на черты юного Мануэля, виднелась прядь седых волос. Ноздри его раздувались от гнева, губы злобно сжаты. Два здоровенных ломовика невольно расступились, пропустив рассвирепевшего отца.

Недолго думая, Эстер выскользнула из кареты и ринулась в самую гущу толпы. Рядом кто-то насмешливо произнес:

– О, вот погляди, как этот еврей сейчас высечет своего сынка! Впрочем, говорят, при королевском дворе полно таких деятелей.

– Я и сам бы с удовольствием сек мужеложцев, – захохотал другой мужчина.

– И я тоже. Но жид все равно пропал. Он не соблюдает королевских указов, а значит, он против его величества.

Эстер упорно пробивалась сквозь сгрудившихся людей, не обращая внимания на возмущенные восклицания. Вырвавшись наконец из массы зевак, она увидела, как Бенджамин Га-Леви вытащил из таверны Альваро. Камзол юноши сбился набок и был наполовину расстегнут. Отец с такой силой сжимал в кулаке рубашку сына, что ткань порвалась в нескольких местах. Когда Бенджамин Га-Леви ослабил хватку, худое тело Альваро, казалось, надломилось, и он споткнулся, как будто камни мостовой под его ногами внезапно сделались мягкими. Выпрямившись, Альваро обвел взглядом вопящую и улюлюкающую толпу, и Эстер вдруг захотелось схватить мальчика в объятия и унести подальше отсюда в какое-нибудь безопасное место.

Их взгляды встретились, и Эстер увидела во взоре Альваро облегчение, смешанное с отчаянием. И только теперь она поняла, что он имел в виду, когда говорил, что проклят…

Раввин сидел у камина.

Эстер подумала, что с момента ее ухода несколько часов назад старик так и не пошевелился. «Он вообще стал как памятник, после того как запретил мне работать, – заметила про себя девушка. – С тем же успехом он мог сидеть в кандалах. Вот и сейчас для него

продолжается суд инквизиции, но на этот раз по его собственному выбору».

Винила ли она старого учителя? Да и станет ли от этого легче воплотить созревший план?

Эстер закрыла за собой тяжелую дверь. Раввин повернулся на звук. «Вот оно, милое, любимое лицо», – пронеслось в голове Эстер.

Веки его напоминали пергамент, худая фигура казалась еще тоньше, чем привыкла видеть девушка. В выражении лица ребе не было заметно ни беспокойства, ни надежды, ни гнева на небеса за свою погубленную жизнь. И за жизнь самой Эстер.

Старик был ее другом – единственным человеком во всем амстердамском кагале, который понимал их с Исааком и пытался спасти. Он был ее учителем, показывающим истинную глубину каждого текста, каждого стиха. Но Эстер больше не могла кривить душой и с некоторой болью признавалась себе, что понимает прочитанные тексты гораздо глубже, чем старый раввин.

Эта мысль еще больше усиливала желание защитить учителя. Она вспомнила умоляющее лицо Альваро: лицо человека, которому недоставало твердости, чтобы оторвать от воротника жесткую руку отца.

– Сегодня пришло письмо из Флоренции, – сказала она раввину равнодушным тоном. – Что с ним делать?

Тот ничего не ответил. «Когда учитель последний раз получал письма?» – подумала Эстер. Без помощи писца корреспонденция раввина совсем зачахла.

– Возможно, вы предпочтете, чтобы я не читала вам его.

Эстер чувствовала, как разум раввина мучается от одиночества, как он ловит каждое ее слово, ощущая глубину ее гнева.

– Прочитай мне письмо, – тихо попросил учитель. – Пожалуйста.

Эстер направилась было в сторону раввина, но на полпути остановилась. Ее кольнуло сомнение. Из кармана юбки она извлекла бумажный лист, представлявший собой театральную афишу. Стараясь не шуршать, Эстер развернула бумагу. «Любовь в Лоханке», – гласило объявление. «Представление для Глупого Сердца».

– От кого письмо? – осведомился раввин.

– От некоего Даниэля Лузитано, – ответила Эстер.

Это имя ей вспомнилось случайно во время поездки в карете Мэри. Сыновья Лузитано – бывшие ученики раввина – были на несколько лет старше Эстер и давным-давно покинули Амстердам, когда дело их отца позвало его во Флоренцию.

– Он пишет, – тут Эстер осеклась, поняв, что говорит громче, чем следует, – он пишет, что учился у вас в Амстердаме.

– Я помню, – медленно качнул головой раввин.

У Эстер пересохло в горле, но она стала читать:

Достопочтенному раввину Га-Коэну Мендесу

Я пишу вам с душой, раздираемой на части безрассудством людей, с которыми мне приходится жить. Я имею в виду нашу флорентийскую общину, которая некогда служила маяком учености для тех, кто обретался во тьме, а ныне приветствует собственное уничтожение. Теперь же я обращаюсь к вам с уважением и преклонением…

Читая, Эстер краем глаза посматривала на раввина, сожалея о том, что он не может видеть ее.

Ваша ученость – превыше всяких похвал и оставляет далеко позади многих раввинов, чья слава превосходит вашу.

Раввин слушал ее нахмурив брови.

Боюсь, что еврейство во Флоренции, – *продолжала читать Эстер,* – приближается к расколу. Множество наших людей обращают свои сердца к проповеди самозванца Шабтая Цви. Они верят, что он есть истинный Мессия, которого мы ждали с таким терпением, пройдя все выпавшие на нашу долю испытания. Даже раввины нашей общины мало-помалу склоняются на его сторону. Я разговаривал с теми, кого еще можно было бы убедить, но мои рассуждения не произвели особого впечатления, так как эти люди готовы пойти за большинством, внимающим проповеди Шабтая Цви.

Хотя я никогда не считал себя лучшим вашим учеником, но все же с теплотой вспоминаю ваши уроки в Амстердаме. Уверен, что вы сами сочли бы этого Шабтая Цви самозванцем. Поэтому, умоляю, напишите мне хотя бы несколько слов, которые могли бы помочь убедить людей в том, что они заблуждаются. Среди них есть и такие, которые продают свое имущество ради переселения в Святую землю в тот день, когда Шабтай Цви объявит себя Мессией. А есть и такие, которые говорят о вскрытии могил своих близких, дабы их тела были воскрешены перед близящимся светопреставлением. Я боюсь за евреев нашего города и, – *тут Эстер запнулась,* – всех остальных городов, где звучат проповеди этого лжепророка. И я опасаюсь за спасение людей, что опираются на ложное учение.

Ваш почтительный слуга Даниэль Лузитано

Эстер ждала ответа раввина. Неужели этих слов было ему недостаточно?

– Я слышал много о речах Шабтая Цви, – произнес раввин с расстановкой, – да и о безумствах его последователей тоже. Но не знал, что его «учение» достигло Флоренции и что наиболее ясные умы той общины так восприимчивы к нему. Но почему Лузитано не обратится к кому-нибудь из известных амстердамских раввинов? Или к тому же Саспортасу, ведь его мнение куда более авторитетно, чем мое?

– Возможно, ваш ученик доверяет только своему учителю, – сказала Эстер, стараясь, чтобы ее голос звучал ровно.

– Да будет известно, – раввин пошевелился в своем кресле, – что я против того, чтобы следовать учению Шабтая Цви, так как оно опасно.

Это явно была просьба написать ответ, однако Эстер продолжала сидеть неподвижно.

Раввин помахал ей, причем его лицо сделалось напряженным:

– Я хочу, чтобы ты написала ответ на это письмо.

Эстер подошла к письменному столу. Опускаясь на стул, она испытала ощущение, будто падает с головокружительной высоты.

Учитель закрыл лицо руками и долго сидел в такой позе. Затем поднял голову и начал диктовать. Эстер взялась за перо и принялась

торопливо записывать.

> Дорогой Даниэль! Будьте уверены, что я постараюсь выполнить вашу просьбу. Я охотно представлю вам аргументы, которые кажутся мне наиболее убедительными. Благословляю вас улучшать или изменять мои доводы по своему усмотрению, полагаясь на вашу мудрость в отношении того, как их использовать, ибо вы выполняете Б-жье дело и лучше моего знаете, что способно пробудить разум иудеев Флоренции.

Эстер изо всех сил старалась не отставать и впопыхах пачкала пальцы чернилами.

> Аргумент против утверждений Шабтая Цви можно разделить на три части, каковые я излагаю для вас в этом письме.

Когда раввин закончил диктовать, он попросил Эстер перечитать написанное и внес несколько поправок. Наконец, удовлетворившись написанным, он поднялся, опершись для равновесия рукой о стену.

В другой раз Эстер бросилась бы ему на помощь, но сейчас что-то в выражении лица старика говорило ей, что он не будет рад ее поддержке.

– Новость тревожная, – произнес учитель. – Я пойду лягу. А ты перепиши письмо набело и отправь.

– Будет исполнено, – отвечала Эстер.

Долго и мучительно раввин нащупывал дорогу к дверному проему. Уже около двери он повернулся к своей ученице, и лицо его было тяжелым и непроницаемым.

– Завтра ты отправишь еще одно письмо амстердамским раввинам с предупреждением об опасности растущей славы Шабтая Цви. Ты будешь писать за меня, пока не решится этот вопрос, но не дольше.

Раввин помолчал и добавил:

– Я не прошу тебя нанять писца, который сделал бы работу за тебя. Ты ведь все равно этого не сделала бы. А я, как единственный оставшийся в живых хранитель твоей души, не хочу нести ответственность за твою ложь.

Лицо его перекосила досадливая гримаса, но на кого гневался учитель – на нее или на флорентийскую общину, – Эстер так и не поняла.

Учитель скрылся в проходе.

Эстер положила ладони на гладкую и прохладную поверхность письменного стола. Ей вспомнились собственные слова (неужели когда-то она произнесла их?), которые она бросила брату и которые теперь звучали как обвинение: «То есть ты просишь меня плюнуть в лицо человеку, который нас приютил?»

Но как же легко она теперь предала своего учителя!

У нее на глазах навернулись слезы, но Эстер силой воли удержала их.

Мгновение спустя она отложила письмо раввина в сторону, вынула из ящика стола чистый лист бумаги, взяла перо и стала наскоро писать:

Франциску ван ден Эндену[44]

С большим интересом я прочитал вашу совместную с Плокхоем работу об идеальном обществе. Тем не менее, хотя ваша политическая философия дает богатую пищу для размышлений, есть и другие вопросы, которые я хотел бы обсудить с вами и философами вашего круга.

Я буду говорить прямо и прошу вас считать такую прямоту знаком уважения. Некоторые утверждают, что в своих рассуждениях вы дошли до отрицания Бога, а ваше знакомство с Бенедиктом де Спинозой побудило последнего выйти из еврейской общины. Если это так, я не вправе вас осуждать, поскольку само понятие Божественного является для меня загадкой, на которую пока что нет ответа, хотя многие умы пытаются ее решить. Как следует из доказательств, которые я сформулирую, если только вам будет угодно вступить в дискуссию, очевидно, что родственные концепции Божественной воли и непогрешимости никак не выдерживают критического взгляда, если только их не окутывает дымка некоей тайны,

что и поддерживается людьми, нуждающимися в подобном утешении.

Уже одни только эти слова являются ересью, однако вопросы, что возникают передо мной, выходят за рамки того, что я пишу здесь. Одно из самых искушающих моих стремлений – овладеть принципами детерминизма, коего, как говорят, придерживается Спиноза. Согласны ли вы с этим? Насколько далеко, вы считаете, должны простираться его последствия – неужели в человеке не осталось и самой малости от свободы воли? Может ли детерминизм ограничить Бога (если, конечно, вы пожелаете рассуждать о Боге)? Обладает ли Бог волей и силой, чтобы волю эту исполнить, или же Бог есть нечто иное, нежели представляют себе адепты того или иного вероучения?

Я просил бы вас не отказывать мне в обсуждении с вами этих и иных вопросов. Уверяю, что ни единый ваш ответ не станет достоянием людей посторонних – все останется сугубо между нами. Я хорошо понимаю опасность метафизики, равно как и опасность, грозящую мыслителям, ставящим вопрос о вере. Поэтому я спрашиваю вас, могу ли я присоединиться к вашему ученому кругу? И хотя я дышу воздухом другой страны, но охотно вступил бы с вами в диалог, ибо мы, люди философского склада, живем одними и теми же вопросами, где бы мы ни находились.

Жду вашего ответа,

Томас Фэрроу

Подписав письмо чванливым росчерком, Эстер мрачно ухмыльнулась. По крайней мере, сказала она себе, это было сделано во имя добра, ведь она не лгала от имени своего учителя.

Когда она открыла глаза, день был в самом разгаре. Раввин, должно быть, уже сообщил Ривке, что Эстер вновь будет работать для него, и та взвалила на свои толстые плечи бремя домашнего хозяйства.

Мир изменился. Эстер села на краю своего тюфяка, чтобы дать этому ощущению полностью овладеть ею. Скрестив ноги под подолом

ночной сорочки, она чувствовала тепло собственного тела. Ее ладони и пальцы сделались гибкими, и это было настоящим чудом. Руки снова принадлежали ей. Теплые и гладкие подошвы ног соприкоснулись, и она похлопала ими. Затем встала и умылась, позволив блестящим бриллиантовым каплям стечь с лица на шею. Одевшись, Эстер вышла из дома в яркий полуденный свет, словно бабочка, вырвавшаяся из ставшего тесным кокона.

Ветер развевал ее юбки, трепал заколотые у шеи волосы. Эстер смеялась прямо в закопченное, ревущее лицо Лондона. Она шла к дому Мэри, окруженная холодным сиянием слов: теперь она легко могла составить опровержение напыщенным речам Соломона Сивани о природе времени в Торе, которые они с раввином обсуждали более года назад. Или написать Лодевейку Мейеру[45] – несколько месяцев тому назад в книжном киоске у собора Святого Павла она прочитала предисловие Мейера и до сих пор помнила некоторые из его высказываний. Завтра же она вернется туда, и, возможно, тот или иной том еще на месте. Будучи компаньонкой Мэри, она сможет собрать немного денег, чтобы купить *«Principia Philosophiae Cartesianae»*[46] де Спинозы. Отрывки, что ей удалось прочитать, казались написанными с чрезвычайной осторожностью, так что и не верилось, что автор считается дерзким еретиком, однако Эстер надеялась при более внимательном прочтении обнаружить в них скрытый огонь. С этой мыслью она прошла через резные двери дома да Коста Мендес, и служанка протянула руку, чтобы помочь ей снять плащ. Случайно Эстер коснулась своей шершавой от домашней работы рукой руки горничной, на плоском лице которой застыло выражение тупой усталости. Быстро, прежде чем ее успела настигнуть жалость, Эстер отвернулась. Чувство вины за свое отступничество поглотило бы ее без остатка. Эстер нащупала деревянную дощечку, за которую можно было уцепиться и выплыть – слабый, эфемерный шанс на жизнь. И она не может дать слабину при виде такого же утопающего…

В гостиной стоял приятный аромат – из китайской вазы, стоявшей на низеньком столике красного дерева, поднимался легкий дымок.

– Ну наконец-то! – дрожащим от напряжения голосом воскликнула Мэри.

Ее живое, нервозное лицо странным образом контрастировало с изящным небесно-голубого цвета платьем, розовыми лентами на груди

и кружевной оторочкой.

Томас, что сидел развалившись в широком обитом бархатом кресле, широко улыбнулся Эстер. Но затем его взгляд скользнул по комнате, и тут Эстер поняла причину беспокойства подруги. В ярком свете высокого окна стояли двое вчерашних спутников Томаса. Бескос держал на ладони чашку чая и лениво переводил взгляд с хозяйки на своего товарища. Рядом с ним стоял Джон, вопросительно глядя своими кроткими глазами на Эстер, а его чашка остывала на боковом столике.

– За нашу прекрасную хозяйку! – провозгласил Томас, поднимая свою чашку.

Эстер показалось, что он произносит эту фразу уже не в первый раз.

Мэри безуспешно попыталась изобразить улыбку.

Поверх вирджинала[47] рядом с парой глобусов – небесным и земным – лежал квадрат вышитой ткани, словно небрежно наброшенный на полированное дерево. Тонкость работы поражала воображение: сквозь плотный белый атлас шла шелковая нить с крошечными серебряными блестками и небольшими жемчужинами, подчеркивавшими почти оконченный узор из цветов, бабочек и гусениц. Эстер никогда бы не поверила, что непоседливая Мэри способна выполнить столь тонкую и кропотливую работу.

Но Томас вовсе не обращал внимания на выставленный специально для него образчик великолепного дамского рукоделия. Он был занят тем, что носком своего модного сапога подтаскивал к себе вышитый табурет, хотя ему было достаточно просто наклониться и взяться за него рукой. Наконец, справившись со своей задачей, он возложил на расшитую подушку ногу – Эстер заметила, что подошва его сапога залатана.

Мэри вышла вперед и, прищурившись, со значением взглянула на Эстер. Затем она повернулась в сторону парочки у окна и произнесла чарующим голосом, хотя в ее интонациях звенела сталь:

– Мы с Эстер никак не ожидали лицезреть столь великолепную компанию. Разве что за исключением Томаса.

Бескос громко рассмеялся:

– Да честно говоря, Томас и сам не ожидал!

Отсмеявшись, он вернулся к своему занятию, обводя глазами роскошные гобелены и элегантные украшения в комнате. Да и сама Эстер была поражена богатством убранства. До этого дня она лишь один раз посещала дом семьи да Коста Мендес, да и то не рискнула пройти дальше порога. Обычно Мэри сама заезжала за ней, так что теперь ей представилась замечательная возможность насладиться видом на серебро, гобелены, мебель красного дерева и картины в богатых рамах.

– Мы решили проводить сюда Томаса, – пояснил Джон, – чтобы он вовремя вернулся сегодня в театр.

Джон говорил так тихо, что Эстер вспомнился квакер-проповедник, которого она как-то раз слышала на одной из лондонских улиц. Этот человек сидел на решетчатом ящике посреди движущейся толпы и, казалось, тщательно обдумывал следующую фразу, будто считал, что каждое его высказывание может иметь ценность для невольных слушателей.

Джон говорил покачивая головой, словно извиняясь.

– Видите ли, он ушел уже изрядно навеселе. А ему нужно быть на сцене где-то через час. Актерам как-то раз пришлось работать без него. И если он опять пропустит спектакль, то его попросту турнут из театра. Так что нам пришлось пойти следом, чтобы присмотреть за ним.

Томас изобразил на своем лице полусонную улыбку и укусил Джона за палец. Щеки его раскраснелись от выпитого в таверне вина. Он погладил свою коротенькую бородку и лениво продолжил разглядывать украшавшие комнату гобелены. Время от времени его взгляд обращался на Мэри, которая стояла рядом с клавесином, но даже если он и имел какие-либо планы на нее, гобелены интересовали его все же больше. Томас смотрел на богатое убранство комнаты, как люди обычно провожают глазами солнечный закат, и это наблюдение поразило Эстер.

Снаружи послышались шаги, и, небрежно отворив дверь, в комнату ввалилась дородная служанка. Подойдя к чайнику, она приподняла крышку и негромко сказала Мэри:

– Что, еще воды?

Не дождавшись ответа, она прижала горячий сосуд к груди, даже не обернув его полотенцем.

– Думаю, что твой отец поинтересуется, какие же гости воспользовались вашим гостеприимством в его отсутствие.

Мэри провела пальцем по гравированной металлической поверхности земного глобуса, поиграла с ним, а затем сильно крутнула. Металлические подставки задрожали, отчего внутри глобуса что-то тягуче и утробно зазвенело. Затем глобус остановился, но внутри у него все еще что-то ворчало.

– Отец мой сейчас озабочен своей новой пассией, – сказала Мэри, – о чем ты и так хорошо знаешь, Ханна. Недели две его уж и не жди.

Служанка что-то негромко простонала – она тоже явно не одобряла поведение отца Мэри, и вышла, не сказав больше ни слова.

Мэри ухватила Эстер за руку и прошипела ей на ухо:

– Выведи их в сад!

– Ты уверена? – шепнула та, мельком взглянув на Томаса.

Вместо ответа Мэри мотнула головой на дверь, что вела налево.

– Идемте в сад, – обратилась Эстер к гостям.

Бескос издал резкий смешок и оттолкнулся от стены.

Эстер провела обоих мужчин по недлинному коридору и вывела в многоярусный сад, усаженный розами. Стены, что закрывали его с боков, сплошь поросли густым плющом. Между розами цвели экзотические растения с красивыми цветками, дорожку обрамляли кусты шиповника. Должно быть, сад был детищем Кэтрин, покинутым своей создательницей. Однако чья-то невидимая рука не оставляла заботы о садике. Эстер сразу поняла чья: подрезка кустов была выполнена неумело, одну часть живой изгороди обкорнали донельзя, а другую начали было стричь да бросили. В общем, налицо дочерняя преданность…

Но, несмотря на разрушения, причиненные неумелой рукой Мэри, замысел Кэтрин все еще был заметен: недлинная аллея, над которой наподобие свода переплетались ветви деревьев, вазоны с душистыми растениями – все это отвлекало от пронзительного скрипа телег на улице и вездесущего запаха кожевенных заводов.

Бескос шагал впереди. Джон пошел рядом с Эстер. Посмотрев в его сторону, девушка заметила, что тот наблюдает за ней. Она потупила взгляд, но тотчас же посмотрела снова, удивленная негромким смехом Джона.

Он махнул рукой в сторону кустика серебристой лаванды, подстриженного в виде шара. В его тени лежала маленькая вышитая подушка с узором, которую Эстер видела буквально пару минут назад. Подушка была взрезана, обнажив шерстяную набивку. Рядом в грязи валялись блестящие ножницы.

Да, Мэри, должно быть, немало потрудилась, чтобы распустить ровно столько вышивки, чтобы она выглядела как ее собственная работа. Затем она натянула расшитый кусок ткани на пяльцы, вдела нитку в иголку и положила их поверх вышивки, как будто визит Томаса прервал ее в самом разгаре творческого процесса. Впрочем, затраченные на эту постановку усилия стоили самой вышивки.

Джон рассмеялся, раскрыв рот и схватив себя руками за плечи. Его щеки зарделись, в глазах сверкали веселые искорки.

Когда он наконец отсмеялся, Эстер заметила легкий налет тревоги на его лице: дело в том, что сама она даже не усмехнулась, а внимательно следила за Джоном.

Однако неловкость Джона была смешна сама по себе – Эстер все равно не могла следить за своими эмоциями.

В конце концов они оба дружно рассмеялись, словно бы заключив негласное соглашение среди строгих колючих изгородей и цветов. Голос Эстер, тонкий, девичий, перекрыл смех Джона.

Отчего он выглядел таким свободным? В карих глазах его не было заметно и тени страдания, они смотрели ясно, словно их щедро омыл дождь, придав способность вмещать в себя все, что они способны увидеть.

Эстер прикусила губу, отчего рот ее наполнился металлическим вкусом.

– Вам не следует пытаться узнать меня ближе, – произнесла она.

– Это почему же? – высоко поднял брови Джон.

Ну как ей было объяснить, что на какое-то мгновение Джон напомнил ей резных деревянных ангелов, которых Эстер видела во множестве лондонских домов – в арках или на колоннах парадных входов? Их лица были отмечены печатью глубокой веры, и каждый раз, когда она смотрела на изваяние, ей казалось, что, стоит лишь прикоснуться к ним, вся их невинность мигом растворится.

Эстер постаралась отвернуться, но так, чтобы снова ощутить свою руку в ладони Джона.

– О, если бы вы знали меня, то бежали бы без оглядки…

– Вы так думаете, – отозвался Джон, – только потому, что не знаете меня.

Он стоял перед нею, уперев руки в бока, словно только что бросил вызов, только вот кому – ей или себе? Нужно было хоть что-то сказать в ответ, но Эстер сочла за лучшее промолчать.

Прошла секунда, другая… И в эти мгновения решалось многое.

Тем временем к ним шел Бескос. Эстер отвернулась и пошла вперед.

– Скажите, – вдруг обратилась она к Джону, как будто они только и обсуждали этот вопрос, – неужели ваш друг Томас так ничему и не выучился в Оксфорде?

Джон, стараясь примериться к ее шагу, ответил:

– Видите ли, во время осады Оксфорда Том ас учился у Гарвея.

– У того самого? Автора «De motu cordis»[48]?

– Да, – изумленно ответствовал Джон. – У Гарвея было довольно много последователей среди студентов, что прибились к его кафедре во время войны.

– Но все ж таки ваш друг не слишком дорожит своим образованием.

– Боюсь, что здесь вы правы, – сказал Джон, когда подошел Бескос. – Мне кажется, единственное, что Томас получил в Оксфорде, так это отвращение к учебе. А у Гарвея он почерпнул мысль, что все человечество – сборище диких бабуинов. Это случилось после того, как лучшая работа Гарвея была подвергнуты жесткой критике за противоречие идеям Галена[49].

Джон поморщился и добавил:

– Иногда мне кажется, что Томас живет, чтобы доказать правоту идей Гарвея.

Бескос чуть скривил губы в улыбке:

– Мы с Томасом, по крайней мере, сходимся в том, что Гарвей был прав насчет человечества.

Он взглянул в глаза Джону, игнорируя присутствие Эстер:

– Но ты, со своей стороны, думаешь о человеке более возвышенно.

– Я полагаю, что человек не лишен доброты.

– Отнюдь нет! – заявил Бескос с внезапной резкостью в голосе. – Хочешь слышать правду? Так вот: уродам и больным надо сворачивать шеи, чтобы избавить их от лишних страданий. Нужно признать, что какая-то часть человечества есть ошибка Природы, и покончить в ними. Да, Джон, ты считаешь, что у тебя любящее и нежное сердце, но ты обманываешь сам себя. Такие, как ты, только удлиняют мучения тех, кто непригоден для жизни в нашем мире. Гарвей был слишком лестного мнения о человечестве – бабуин, во всяком случае, выказывает наличие здравого смысла, когда дело касается его собратьев. А вот о людях такого не скажешь.

С этими словами Бескос повернулся на каблуках и зашагал к дому.

И только тут Эстер поняла, что все время, пока говорил Бескос, она инстинктивно напрягала ноги, словно собираясь бежать.

Джон скривился, отчего лицо его приобрело страдающее выражение:

– Как-то раз мы поспорили с ним насчет солдат, которые бегут с поля боя, видя, что сражение безнадежно проиграно. Я пытался его убедить, что они заслуживают помилования, ведь не всем, кто служит, дано быть героем. Но вы можете догадаться, что на это ответил Бескос. Я же стараюсь прощать ему его жестокость.

Эстер покачала головой.

– Да, – сказал Джон. – Бескос груб и не знает, что такое учтивость.

– Тогда почему же вы называете его своим другом? – удивилась Эстер.

Джон возразил:

– Он друг Томаса, а не мой!

– Но вы тем не менее водитесь с ним.

– Когда это требуется. – Джон прищурился. – А вы сопровождаете Мэри. Неужели из настоящей дружбы? Вы не очень-то похожи.

Из дома донесся отголосок женского смеха.

Эстер, сама не зная зачем, сказала:

– Мэри заплатила мне, чтобы я пришла.

Джон снова рассмеялся.

– Тогда позвольте мне скрасить ваш труд.

Однако Эстер не разделила его веселья.

– Во всяком случае, Мэри не презирает людей за их веру, как ваш приятель, – ткнула она пальцем в дверь, за которой исчез Бескос.

Джон едва заметно кивнул, соглашаясь.

Они с Эстер вошли в дом как раз в тот момент, когда Мэри и Томас выскользнули, словно нашкодившие дети, из какого-то темного коридора. Губы Том ас а краснели как вишни, а Мэри беспрестанно хихикала. Томас, чье лицо разрумянилось не только от выпитого вина, поклонился от двери и затем с довольным выражением направился вон из дома. Увидев приятеля, Бескос последовал за ним.

– Надо попрощаться, – окликнул его Джон.

Бескос на мгновение задержался и медленно повернулся.

– Джон, друг мой. – В его голосе не было и намека на дружбу. Смерив взглядом обеих девушек, он произнес: – Вам известно, что я склонен быть любезным там, где это надо. Здесь я не вижу такой необходимости.

Мэри глядела так, словно не поняла ни слова.

Джон покачал головой и поклонился поцеловать ей руку. Мэри механически приняла знак внимания. Джон быстро приложился к ручке Эстер, лишь на миг остановив на лице девушки тревожный взгляд, и бросился догонять своих товарищей. Когда троица сворачивала за угол, Эстер заметила, что Джон что-то втолковывает Бескосу.

Эстер повернулась к Мэри. Если бы не предшествующие события, она сказала бы ей о том, что видела. Но сказала она другое:

– Мэри! Твой отец дурно относился к твоей матери. И теперь так же скверно относится к тебе. Но ты все же находишь в себе силы…

– Ты ничего не знаешь! – угрожающе возразила Мэри.

– Вполне возможно. Но, Мэри…

Что она могла ей сказать? Разве простое предостережение могло остановить Мэри от достижения желаемой цели? Чего, в конце концов, Кэтрин ожидала от Эстер?

– Как-то раз ты спрашивала меня, что моя мать говорила о любви. Но лучший совет дает жизнь, а не слова. Мать так страдала из-за неудач в любви, что ее проводником стала злоба. Ах, если бы ты была знакома с ней, то поняла бы, как легко злоба разрушает человека! Тут уж ничего нельзя понять, Мэри. И жизнь… это уже не жизнь.

На секунду ей показалось, что Мэри прислушалась к словам, но та лишь пожала плечами.

Эстер не знала, как женщине утешить другую женщину. У нее не было ни сестры, ни подруги, чтобы уметь успокоить мятущийся дух. Она старалась подобрать правильные слова, но слышала лишь полупьяный голос матери, в котором среди полночных ламентаций звучал голос милосердия. «Некоторым женщинам, Эстер, хочется верить, что их сердца сделаны из стекла, которое непременно разобьется, если они даже подумают о грехе. Эстер, не бойся разбить его!»

Даже сейчас Эстер слышала бессильную ярость в словах Константины.

«Такие женщины, Эстер, считают, что хрупкое сердце есть признак добродетели. Но это всего лишь случайность. Послушай меня, дочь! Выживают только те, кто способен перенести гибель всех своих надежд».

Именно это она и хотела сказать Мэри: женское сердце должно быть более твердым, чем стекло, иначе оно разобьется при первом же ударе. Закали свое сердце!

Однако Мэри вовсе не слушала ее, глядя вслед удаляющимся повесам.

– Как думаешь, мать сильно бы рассердилась на меня? – прошептала она.

Эстер сразу же вспомнился тот ветреный день, шумящие ветви деревьев, тяжелое дыхание и усталый взгляд сквозь бархатную маску Кэтрин да Коста Мендес, когда та взбиралась вверх по парковой дорожке.

– Твоя мать не предавалась пустым сожалениям. И тебе не пристало.

Мэри разглядывала брусчатку мостовой под своими туфлями.

– Да я и не жалею. Вот только…

Она вдруг умолкла и испытующе взглянула на Эстер, словно на ее плечи пала неимоверная свинцовая тяжесть.

Мэри закусила пухлую красную губу и направилась к дому.

Раввин ждал ее возвращения. Эстер повесила плащ на вешалку, и только тогда раздался голос учителя:

– Письмо Даниэлю Лузитано.

На столе уже лежала чистая бумага, разложенная Ривкой.

Скорбь моя все возрастает, – *начал диктовать раввин,* – и возрастает с каждым часом, что я размышляю над письмом вашим.

Эстер села за письменный стол.

И потому я надеюсь, что вы простите мне нагромождение одного моего послания на предыдущее, ибо мысли мои толпятся, словно овцы у ворот, когда вокруг рыскает волк.

Эстер прилежно записала продиктованное.

Во тьме, в коей я обретаюсь, – *продолжал раввин (Эстер поняла, что текст письма учитель обдумал заранее),* – мне, возможно, видится слишком яркая картина заблуждений, в которые впала ваша флорентийская община. И это заблуждение не только ума, но и тела, ибо тот, кто стремится быть в грядущем мире прежде, чем о нем возгласит Мессия, непременно предаст жизнь нынешнюю. Давно до меня доходили слухи о Шабтае Цви, но я по глупости своей молчал. И с прискорбием сознаюсь, что дух мой пробудила лишь жалоба о нависшей угрозе от лучшего моего ученика. Та невеликая помощь, что я могу предложить вам, мои мысли – всегда в вашем распоряжении, и поэтому я излагаю следующие аргументы.

– Вам надо бы отдохнуть, – заметила Эстер, опустив перо.

Услышал ли раввин сожаление в ее голосе?

– Уверена, он скоро напишет снова, так что вам не придется сейчас утруждать себя сочинением новых аргументов.

– Что, теперь ты будешь препятствовать мне? – воскликнул раввин, и ноздри его задрожали.

До сих пор Эстер не видела, чтобы учитель сердился. Но сейчас она явственно поняла, что он почувствовал предательство, даже если и не понимал до конца, откуда тянутся его корни.

– Я готова продолжать.

Ее перо двигалось по бумаге, следуя за словами учителя. Письмо, что он диктовал, оказалось длинным, исполненным рассуждений, настойчивых разъяснений и страстей, что владели автором. «Следовать за таким человеком, – думала себе Эстер, – значит следовать ложному богу, от которого как раз и предостерегают заповеди».

Делом ее жизни стало ее же собственное несчастье. Она не стала бы притворяться в ином случае. Раввин был единственным человеком, который поощрял ее желание учиться. А Эстер выбивала у него почву из-под ног. Невероятно высокая цена за свободу! «Я воздам тебе сторицей!» – думала она, записывая за учителем.

А не она ли трепетала всем телом с самого утра? Лицо Джона, движения его рук, смех в саду? О нет, долой его! Не для того она предала своего любимого учителя, чтобы такой ценой купить себе право на развлечения!

Раввин наконец закончил диктовать, и на лице его появилось умиротворение. Однако по всему было заметно, как сильно он устал. Эстер видела, как далеко зашел раввин, – как бы деликатно ни были сформулированы его доводы, их можно было понять только как обвинение против самых авторитетных раввинов флорентийской общины, к мнению которых прислушивались даже в самых отдаленных кагалах. Но все же он не побоялся воздвигнуть свой голос, чтобы остановить последователей Шабтая Цви.

– Перепиши письмо сейчас же, – сказал раввин.

Рука Эстер скользила по бумаге, хотя она знала, что это письмо никогда не будет отправлено.

Послышался стук в дверь. Прежде чем Эстер поднялась со своего места, из кухни выплыла Ривка. Какое-то время в прихожей раздавались голоса, а затем в кабинет раввина вломилась знакомая фигура в плаще.

– Мануэль Га-Леви! – бесстрастно объявила Ривка.

Последний раз Эстер видела его в парке, да и то издалека.

– Добро пожаловать, – произнес раввин, поднимая голову. – Давненько мы с вами не общались. Как ваши дела?

– Неплохо, – отвечал Га-Леви. – Надеюсь, что и вы чувствуете себя хорошо, – добавил он с какой-то странной иронической ноткой в голосе.

Га-Леви окинул взглядом фигуру раввина, чашку чая, что стояла на огне, а потом повернулся к Эстер.

Та прикрыла рукой письмо, испачкав ладонь чернилами.

– Возможно, вы знаете, что моего брата забрали в матросы? – осведомился Мануэль. – И сей же час он отправляется на военный корабль королевского флота.

– А разве твой отец не мог вступиться за него? – спросил раввин. – Он вроде уважаемый человек, да и христиане с ним в хороших отношениях…

– Мой отец, – воскликнул Мануэль, – сам вызвал людей короля, чтобы те схватили моего брата. И сегодня он отправляется в Америку, чтобы дать отпор голландцам, которые, как говорят, угрожают там нашим интересам.

– Да это же рабство! – сказал раввин, приподнимаясь из своего кресла. – Самое настоящее!

Эстер перевела взгляд с раввина, который все еще держался рукой за подлокотник, на Мануэля.

– Что это значит? – спросила она.

– Мануэль Га-Леви, – тяжело заговорил раввин, – ты полагаешь, что я мало знаю о нашем мире. Но я много лет прожил в Амстердаме и слышал рассказы путешественников. Жизнь рекрута исполнена тяжкого труда. Когда корабль приходит в порт, матросов и рабочих приковывают кандалами, чтобы не сбежали. Жалкая жизнь. А у твоего брата совсем нет опыта мореплавания, и он долго не протянет, упаси Боже! Разве может еврей желать такого для сына или брата своего?

Раввин сделал шаг в сторону молодого Га-Леви и остановился. Его лицо исказилось гримасой. Мануэль пожал плечами, не обратив на яростный тон учителя никакого внимания.

– Во всем виновата натура твоего брата, – произнес раввин. – Так ведь?

– Да, так, – усмехнулся Мануэль.

– У тебя что, совсем нет сердца? – раздался вдруг сзади португальский говор Ривки. – Твари из морских глубин сожрут его!

Мануэль был явно поражен такой горячностью прислуги, но едва Ривка закончила, на его лице заиграла улыбка.

– Судьба моего брата в Божьих руках! – сказал он, не удосужившись поздороваться. – Кроме того, отец считает, что тяжелый

труд поможет Альваро стать нормальным человеком. Ну, или не поможет. В любом случае он будет далеко от глаз отца.

Ривка подошла к раввину и помогла тому сесть на стул.

– Ты зачем пришел? – спросила Эстер Мануэля.

– Отец попросил капитана дать Альваро возможность привести свои дела в порядок и попрощаться, – отозвался Мануэль. – Брат хотел было прислать к вам нашего слугу, но я подумал, что и сам справлюсь. Тем более хоть воздухом подышал.

Все время Мануэль пристально смотрел на Эстер, которая чувствовала в его взгляде что-то важное, предназначенное именно ей, но никак не могла догадаться.

Мануэль рассмеялся, потом сжал губы.

– Мне кажется, брат надеется попрощаться с тобой перед отплытием.

В Мануэле было что-то загадочное, что привлекло внимание Эстер. Припухлые бледные губы, желтоватые глаза, поблескивающие из-под темной челки. Прямой нос и высокие скулы словно нависали над нею. Перед Эстер стоял мальчишка, но уже превращающийся в мужчину. Он стоял на пороге становления и наблюдал своими странными глазами за окружавшим его миром, формулируя свои первые суждения о нем.

Эстер встала со своего места, сунув письмо в стопку чистых листов, и потянулась за плащом.

– Эстер, – послышался голос раввина, – будь добра, передай отцу мальчика записку. Альваро согрешил, но пусть с его прегрешениями разбирается Бог, а не человек, как говорится в Ва-йикре[50]. Скажи ему… – Тут голос учителя возвысился, но тотчас же сорвался и сделался хриплым. – Скажи, что не нам побивать камнями грешника, ибо мы не святые пустынники, а лишь полагаемся на волю Всевышнего, который один вправе наказывать или прощать. Эстер, запиши эти слова! Напиши, что изгнание, на которое он обрекает сына своего, обернется смертью!

Эстер знала, где живет Га-Леви, хотя ни разу не заходила в дом. Кирпичный фасад выходил на самую улицу. Окна глядели мрачновато; остроконечную крышу покрывал шифер, а не солома. Дорожка к двери была вымощена мрамором.

Не успела Эстер взяться за рукоятку изящного дверного молотка, как перед ней возник Альваро. Молодой человек был одет в белое, словно кающийся грешник, причем его рубаха, распахнутая на шее, свисала поверх брюк. Альваро молча отступил, пропуская девушку, дав тем самым понять, что уже не до церемоний.

Альваро оперся на стену, словно ноги не подчинялись более ему. В такой позе он мог бы послужить прекрасной моделью для портрета влюбленного юноши. И все же взгляд его выражал мольбу, как у человека, лишенного утешения. Эстер видела, что дух его уже прикован к палубе отходящего корабля и земля уходит из-под ног.

Где-то в глубине дома послышался неясный шум. Шум перерос в отчетливо различимые слова, будто кто-то отчаянно ругался. В дверном проеме показалась худощавая фигура седой прислужницы, которая, увидев перед собой Эстер, на мгновение замерла в нерешительности. Лицо женщины было перекошено гримасой страха, но что вызвало его – проступок Альваро или ругань его отца, – девушка понять не могла.

Эстер поманила к себе служанку и передала ей записку раввина:

– Письмо Бенджамину Га-Леви.

Женщина поджала губы и вышла с бумагой в руке.

– Ты хотел видеть меня, – сказала Эстер Альваро.

– Да, хотел. Просто мне нужно…

Альваро развел руками. Никто, кроме его отца, не мог предложить ему избавления.

– Ты всегда хорошо относилась ко мне, – сказал молодой Га-Леви, опустив голову. – Может, ты знаешь какой-нибудь подходящий псалом?

Эстер не хотелось лгать несчастному. За двадцать семь лет своей жизни она поняла, что Бог никогда не сойдет со страниц священных книг, дабы охранить путь страждущего. Да и на что было надеяться Альваро, нарушившему каноны этих самых книг?

Альваро сделал глубокий вдох, задержал дыхание и сказал:

– Я давно хотел рассказать тебе… Но теперь ты знаешь сама. Дом отца моего опозорен мужеложцем.

Произнеся это слово, Альваро скривился, но быстро овладел собой.

– Не стану просить благословения, поскольку какого благословения заслуживает такой человек, как я?

Его голос на мгновение окреп, и Эстер поверила бы в его мужество, если бы не полные слез глаза.

В дверях послышались легкие шаги. В сенях появилась служанка, которой Эстер вручила письмо.

– Вот, – сказала старуха, передавая бумагу.

– Что, он ничего не хочет ответить?

Пожилая женщина помотала головой, обрамленной сухими, собранными в узел на затылке волосами. По выражению ее лица можно было подумать, что она хочет сказать нечто важное, но женщина лишь повторила:

– Нет, ничего.

С этими словами она удалилась, бросив исполненный нежности взгляд на Альваро, которого тот так и не заметил.

Он стоял неподвижно, пока шаги служанки не стихли. Глядя на застывшую фигуру Альваро, Эстер невольно содрогнулась. Она представила себе высокие седые волны, пронизывающий ветер и тяжкие будни матроса. Перед нею стояло юное лицо Альваро, мочки его покрытых нежным пушком ушей, обкусанные до самого мяса ногти – юноша одеревенел от страха, будто в молитве. Эстер видела, как равнодушные руки перекидывают его тело через борт и оно медленно исчезает под блестящей поверхностью моря.

– Я благословляю тебя, – с трудом вымолвила Эстер. – И желаю хороших снов, чтобы ты просыпался с улыбкой на устах.

Альваро просиял.

Из дальних комнат послышался призывный голос служанки.

К удивлению Эстер, Мануэль ждал ее на улице. Она сухо кивнула ему, но он пошел следом за ней.

Путь их пролегал по Сент-Хелен-стрит. Мануэль держался серьезно, как будто у него было важное дело, касавшееся Эстер. Она мельком взглянула на него и отвела взгляд – ей не хотелось знать, зачем он увязался, и тем более не хотелось, чтобы он видел ее смятение.

Так они миновали Флетчер-Холл и свернули на Бери-стрит. Эстер уже не сомневалась, что Мануэль решил проводить ее до самого дома. Он шел рядом, шурша полами дорогого плаща, примеряясь к ее

поступи. Руки Мануэль держал сомкнутыми за спиной, напоминая престарелого купца.

На углу Кричерч-лейн Эстер замедлила шаги. Ей хотелось обругать Мануэля, назвать его убийцей.

– Да, выдался сегодня денек, – сказал Мануэль.

Эстер внимательно взглянула ему в глаза – вдруг там промелькнет хоть тень раскаяния? Но взгляд Мануэля оставался абсолютно бесстрастным, в нем была лишь усталая практичность молодого дельца, который уже принял правила игры.

– Ваш отец крайне жесток, – наконец произнесла она. – Зачем он хочет разделаться с Альваро?

Мануэль лишь снисходительно улыбнулся в ответ – так улыбаются маленькому ребенку, как показалось Эстер.

– Вот сейчас ты пытаешься его защищать, – сказал он. – Но я-то видел, как ты отшила его в свое время.

Эстер энергично мотнула головой. Она никак не хотела быть вовлеченной в игру Мануэля.

– Я никогда не желала твоему брату зла, – сказала Эстер. – И не знала, что он хотел жениться на мне, чтобы прикрыть свой порок!

Мануэль рассмеялся, но Эстер его смех показался деланым – слишком уж долго он переводил свой взгляд с городской стены на далекий силуэт башни. Посмотрев наконец на Эстер, Мануэль показался ей скорее купцом, который деловито оглядывает морской горизонт, выслеживая свой корабль.

– Альваро никогда к тебе не сватался, – сказал он. – Это был я.

Эстер рассмеялась. Мануэль молчал.

– Ложь.

Юноша покачал головой, упиваясь ее гневом.

– Но я же тебе не нравлюсь! – воскликнула Эстер.

Улыбка сползла с лица Мануэля, уступив место печальной гримасе.

– Раньше, может быть, и не нравилась. Но чувства изменчивы, и то, чем некогда я брезговал, теперь стало мне интересно.

– Это что, предложение? Если так, то довольно холодное.

– А как бы тебе хотелось? – спросил Мануэль, глядя ей прямо в глаза.

У Эстер перехватило дыхание.

– Разве молодые люди не говорят в таких случаях о любви? Или я настолько далека от этого, что не знаю теперешних обычаев?

– Возможно, иные и говорят. Но я изложу лишь свое предложение. Женившись на тебе, я не обещаю ни верности, ни покорности, ни любви, кроме той, что ты заслужишь, переменив свой нрав. А нрав твой пугает всех, кроме тех, кто не робкого десятка.

– Мой нрав останется неизменным, – проговорила Эстер, преодолев удивление. – И замуж за тебя я не пойду.

– Да, понимаю, ты так считаешь, – кивнул Мануэль. – Однако твое время уже на исходе, и скоро тебе придется задуматься о браке. А мужем твоим стану я. Видишь ли, Га-Коэну Мендесу осталось уже недолго, а значит, ты останешься без его покровительства и без содержания.

От его улыбки Эстер охватила ярость. Мануэль легко играл ее страхами и зыбким положением.

– Ты считаешь меня такой простофилей? Да разве кто-нибудь поверит, что сын одного из самых богатых купцов в Лондоне только и мечтает, чтоб жениться на бедной девушке, которую он даже не любит? Или тебе милее шипы, а не розы?

– Розы увядают.

А шипы остаются. Она начала подозревать, что он говорит серьезно.

– Понимаешь, моя мать была слабой женщиной, – сказал Мануэль, – хотя и доброй. Но она ушла из этого мира без борьбы.

Взгляд Мануэля посуровел, было видно, что он не потерпит возражений.

– Женщины вообще умирают просто, – продолжал Мануэль. – Их губит наш мир, они умирают родами, они уходят, поскольку им нет интереса в том, что имеют от этого мира мужчины. У них овечья натура, и они быстро сдаются. Да нет, даже овцы будут посильнее!

Голос его окреп, словно у школьника, который готовится к философскому диспуту.

– Уму непостижимо, почему Бог, создав женщину, не дал ей воли. Даже букашка и та упорнее борется за свою жизнь. Если раввин объяснит мне, зачем женщины созданы такими, то он, возможно, заслужит мое почтение. Да пусть даже священник! И не притворяйся, что возмущена моим богохульством! Я видел твое лицо, когда старик

читал молитвы, и знаю, что мы с тобой одного мнения. Но слова раввина ничего не объясняют. Ум у непостижимо! – повторил Мануэль, метнув взгляд на низкие облака, что бежали над их головами.

Однако Эстер понимала, что смятение у Мануэля не в уме, а в сердце. Такие, как он, могут быть либо покладистыми, либо опасными.

Мимо прогромыхал своей тележкой сборщик металлического лома. Две женщины, по виду служанки, бросали на Эстер и Мануэля любопытные взгляды. Но юноша совсем не обращал внимания ни на кого вокруг.

– Слабые женские души, – продолжал он, – притягивают мужчин. Но на деле они слишком трусливы и бесполезны.

Слабая женщина ничего не стоит. Я ищу такую, чтобы не лопотала о Господе и мудрости Его, а потом тихо умирала, но способную бороться, жить и воспитывать моих детей! Мне не нужна тихоня, хотя я и могу воспользоваться ею для удовольствия.

На мгновение Мануэль замолк и сделал шаг навстречу Эстер.

– Я видел тебя, видел твое лицо. Ты – незыблема, как скала. И тебе наплевать на мнение других.

Эстер была потрясена, увидев на его лице восхищение. Мануэль протянул руку и дотронулся до ее щеки кончиками пальцев. Девушка вздрогнула, но он только рассмеялся.

– Мне это нравится, Эстер. Когда ты изменишь свое мнение относительно замужества, ты станешь сильнее, чем сейчас. Стерпится – слюбится. А когда ты перестанешь воображать себя книжником и писцом и обратишься к естественному своему предназначению, ты сможешь родить мне детей. И сущность твоя уступит, и характер смягчится, и ты станешь матерью.

Мануэль понизил голос и приподнял бровь.

– Но я не потерплю рядом с собой своенравную женщину!

– В таком случае, – ответила Эстер, – позволь мне избавить тебя от дальнейших рассуждений на сей счет.

Она повернулась, чтобы уйти прочь, теряясь в собственных мыслях.

– Нет уж, – ухмыльнулся Мануэль. – Я уже все решил. Ты мне напоминаешь ребенка, который пытается грозить кулачком взрослому. Мне это нравится. Я сказал об этом, не подумав, старухе Мендоса, но

не жалею, что она решила взяться за дело. Хотя, – добавил Мануэль, скривив губы, – ты, видимо, решила, что это шутка.

Эстер почувствовала, как на глаза набегают беспричинные слезы.

– Зачем я тебе? Это невозможно.

– Ты просто слишком много времени проводишь с Мэри, – неожиданно ласковым голосом произнес Мануэль. – И смотришь на себя ее глазами. Взгляни снова, и увидишь, что в тебе нет никакого изъяна.

Он замолк, разглядывая ее.

– Стоит тебе покрасить волосы, как другие женщины, – он протянул руку и осторожно коснулся пряди ее волос, – ты избавишься от этих фальшивых знаков подступающего возраста. В тебе столько жизни.

Эстер хотелось бежать, но ноги не слушались ее.

– В тебе есть определенная красота, – продолжал Мануэль. – Но, что еще важнее, в тебе достаточно мужской силы, чтобы быть достойной меня.

– Значит, тебе, как и твоему брату, нравятся мужчины? – спросила Эстер, обретя дар речи.

Он только рассмеялся, возвышаясь над ней своей крупной фигурой.

– Трудно найти более непохожих людей по характеру или привычкам, – ответил Мануэль.

Эстер даже не сомневалась.

Веселое выражение пропало с его лица, и он стиснул зубы. Эстер испытывала одновременно страх и необычное желание чьей-то защиты. Как это будет – бросить то, во что верит лишь она одна, и принять предлагаемое убежище?

– Я думаю не только о себе, Эстер. Видишь, вот я стою здесь перед тобой.

На мгновение взгляд его стал задумчив – странное выражение для человека, привыкшего к немедленному исполнению своих желаний. Мануэль вдруг воздел руки, обратив ладони вверх столь решительно, что этот жест вряд ли можно было назвать покорным.

– Мне нужна твоя сила, Эстер. Это так. Но она нужна мне не только для себя, но и для моих детей. Мне нужна волевая женщина!

Они стояли на углу Бери-стрит и Кричерч-лейн, и мимо них по неровной брусчатке то и дело грохотали телеги. Мануэль ждал ответа.

– Ты меня не получишь, – наконец тихо сказала Эстер.

– Да кто же ты такая, если отказываешься быть женщиной?

Она взглянула в темную перспективу улицы, украшенную множеством балконов.

– Пустой сосуд, – сказала Эстер, не понимая, обращается она к Мануэлю или сама к себе.

– Ну, здесь ты не права! – улыбнулся тот, кланяясь на прощание.

Эстер пошла домой одна, плотно запахнув плащ. Мысли накатывали, словно волны прибоя. Мануэль Га-Леви понимал ее лучше, чем кто-либо другой. Он отдавал себе отчет, что она никогда не была покорной, да и сам не хотел себе такой жены. Кроме того, его слова повторяли предупреждение раввина – после смерти учителя у нее не останется ни средств к существованию, ни защиты от нужды и голода. Так почему она не хочет выйти замуж на предложенных условиях? Однако переломить свой характер Эстер не могла. Она ничего не могла поделать с собой: все, о чем она мечтала, заключалось в словах, написанных в книгах, что стояли на лотках возле собора Святого Павла; ее внутренний взор наслаждался видом тетрадей в переплетной мастерской. Все это таилось внутри нее, это значило – стать частью нарастающей волны. И все, что Эстер по-настоящему хотела, – погнать эту волну вперед, борясь изо всех сил, нестись на гребне, омываться в ней, мчаться к берегу, чтобы разрушить некое здание мысли, стоящее на страже земли, броситься на него и смотреть, как оно рушится. Тут скрывалась какая-то новая истина, целый континент, ожидающий открытия.

Как ей объяснить всему миру, что ее собственное тщеславие, ее философия, которую бы непременно растоптал Мануэль Га-Леви, для нее куда более ценны, чем гарантии, которые он предлагает?

Наконец она добралась до дома учителя. Дверь тяжко хлопнула за спиной, и Эстер окутала тишина. Раввин удалился в опочивальню, камин догорел.

«Женское тело, – говорил ей окружающий мир, – это тюрьма, в которой увянет разум».

Она замерла в центре комнаты, оглаживая ладонями ткань юбки. Нет, ни шагу больше, пока не успокоится рассудок.

Природа подарила женщине не только тело, но и ум, и желание им пользоваться. Кем было предопределено, что одна сторона натуры Эстер должна победить другую? Если двум творениям Божьим суждено противостоять друг другу, то неужели Бог заранее решил, кто из них более совершенен? Как Бог решает перед бурей, что победить должен либо ветер, либо дерево?

Или же, быть может, сама буря была любимым творением Божьим и только благодаря ей Он решал, кто сильнее? Возможно, думала Эстер, содрогаясь от еретической мысли, Бог сам и был штормом? И Он тем самым доказывал миру новые истины и опровергал старые?

Тогда единственным правильным решением было бы послушать собственный дух и решить, что должно победить: женская ее природа или ее воля.

Не снимая плаща, Эстер прошла через комнату, села за письменный стол и стала быстро писать, словно боясь, что слова кто-то сможет подсмотреть или отнять.

Достопочтенному Томасу Гоббсу

Пишу вам, чтобы узнать, имеется ли возможность вовлечь ваш прославленный ум в дискуссию. Вы, конечно, не знакомы со мной, но я полагаю себя достойным вашего доверия – вашим корреспондентом, а отнюдь не частью тех сил, что осуждают мыслителя за сомнения или атеизм.

Мои интересы в области метафизики довольно разнообразны, но в последнее время я больше всего размышляю о вопросе Божественного вмешательства. Осмелюсь спросить вас, что вы полагаете относительно Божественного и природного миров; какие убеждения вам ближе? Как вы догадываетесь, я сам придерживаюсь суждений, отличных от общепринятых. Я не согласен не только с представлениями о Божественном владычестве над Природой, но и с утверждением о выражении воли через чудеса, ибо чудо кажется мне уловкой плохого математика, который вводит в употребление новое число, чтобы решить задачу, когда уравнения не привели к желаемому результату.

Мечтой моей является возможность обменяться мыслями и поучиться у коллег-мыслителей, чтобы меня поправили там, где я ошибаюсь, а там, где в моих рассуждениях мелькнет искра понимания, – помогли разжечь ее поярче.

Немощь тела моего не позволяет мне встретиться с вами лично, дабы переговорить лицом к лицу, как подобает истинным джентльменам. Надеюсь, вы поверите в честность моих интенций, хотя они могут показаться вам и несущественными.

Буду рад, если ответите на мое письмо.

Эстер закончила письмо и подписала его именем Томаса Фэрроу. Отложив исписанную бумагу, чтобы высохли чернила, она обратилась к письму раввина, что он собирался отправить во Флоренцию. Эстер не спеша развернула лист на столе, обмакнула перо и провела им между уже написанными строками, плетя иссиня-черную вереницу букв, чтобы облегчить свой встревоженный ум.

«Итак, я начинаю», – написала она на иврите.

Глава семнадцатая

Лондон

22 декабря 2000 года

Утром он уже был в библиотеке. Зал редких рукописей тонул в солнечных лучах и был совершенно пуст, если, разумеется, не считать Патриции. Аарон сделал запрос на выдачу нового документа, которым оказался счет за провизию, выставленный в тысяча шестьсот шестьдесят четвертом году неизвестным купцом – столько-то денег за *n* мешков муки, и столько-то за бочку чего-то… дальше шла неразборчивая мазня. Бумага была повреждена, но не очень сильно. Аарон скользнул взглядом по коричневым разводам букв – ничего интересного.

В зале царила настороженная и благоговейная тишина в чисто английском духе. «Ну вот чего же ей на хватает?» – подумал Аарон.

Накануне вечером он, освобождая место на своем кухонном столе для пачки переводов писем Га-Коэна Мендеса, отодвинул в сторону стопку аналитических записок на диссертации (насколько чуждой теперь показалась ему собственная работа!), – и именно она упала на пол. Аарон подобрал рукопись и прочел страницу, на которой она раскрылась:

И, если перечтешь ты мой сонет,
Ты о руке остывшей не жалей.
Я не хочу туманить нежный цвет
Очей любимых памятью своей.

Я не хочу, чтоб эхо этих строк
Меня напоминало вновь и вновь.
Пускай замрут в один и тот же срок
Мое дыханье и твоя любовь!..[51]

Перечитав эти строки, Аарон почувствовал, как сердце его захолонуло. Или же он дурак, или Шекспир сочинял чушь. Разве любовь не подразумевает память? Сколько бы сам Аарон ни размышлял о любви, он ни разу не приходил к мысли, что это чувство влечет за собой забвение.

Мариса… Она забыла его ради собственного комфорта.

Аарон испустил глубокий вздох и признался сам себе: да, она его не любит.

И безликая пустыня показалась перед ним. Он явственно понял, что может идти по ней, так никуда и не придя.

Но в руке его был карандаш. Аарон сжал его пальцами, ощутив боль в поврежденном суставе, и, словно горнорабочий, пробивающий тоннель в толще земли, стал писать, писать медленно, размеренно, заполняя пустоту души работой.

Что душевная печаль может сделать с человеком?

Аарон работал внимательно, стараясь избегать сокращений, которые впоследствии могли только лишь запутать мысль. И звук грифеля, царапавшего бумагу, оживил для него тишину.

Господи, Твоя воля! Он рос над собой.

Это должно нравиться женщинам.

К двенадцати часам Аарону удалось перевести два документа, но оба оказались совсем неинтересными. Все бытовые записи: счет за переплет книг, запись о следующем уроке.

Он встал из-за стола, разминая одеревеневшие мускулы. Ему захотелось еще раз взглянуть на письмо, что было написано промеж строк. Что-то в нем было не так, и этот факт не давал покоя, хотя Аарон не мог понять, что же именно. Слова, написанные на иврите, шли очень плотно, словно специально были подобраны, как будто каждое предложение огибало некое невидимое препятствие, прежде чем коснуться важного момента.

Он сел обратно за стол и небрежно улыбнулся Патриции.

– Документ RQ206, будьте любезны.

Библиотекарь отрицательно покачала головой. Туго уложенные седые волосы ее напоминали парик.

– Документ недоступен до часу дня, – произнесла она несколько более раздраженно, чем обычно.

Аарон невольно приподнялся с места и окинул взглядом длинный зал с рядами пустых столов, где сиротливо пристроилась лишь пара аспирантов-антиковедов.

– Послушайте, я здесь единственный человек, который работает с ричмондскими бумагами! Или кто-то еще запросил документы?

– Документ в настоящее время недоступен, – повторила Патриция, – до часу дня.

Эта фраза, казалось, придала ей душевного равновесия.

Аарон выдохнул:

– Тогда позвольте следующий доступный документ.

Так он проработал еще час, пока в зале не появилась Хелен.

– Да где же вы были? – воскликнул Аарон, поднимаясь со стула. – Я думал, вы придете часом раньше.

Слова его прозвучали несколько резко, хотя при виде Хелен Аарон испытал некоторое облегчение.

Хелен молча поставила свой портфель. Ее губы скривились, словно от сильной боли. Затем она заговорила, но так тихо, что даже сгорбившаяся над светящимся монитором компьютера Патриция ничего не услышала.

– Я только что видела Уилтона с одним из его помощников. Они ехали в лифте с камерой. Вниз.

Единственным этажом под хранилищем редких рукописей была консервационная лаборатория.

Аарон ругнулся.

Он стоял перед столом Патриции-библиотекаря, отойдя на шаг назад лишь тогда, когда та отвернулась от своего компьютера. «Великан, замыкающий на себе пространство» – вот это была бы тема для диссертации, если б ему не прилетело в голову связаться с еврейскими корнями Шекспира! А Аарон прекрасно знал, как вести себя с женщинами, как минимум с теми, кто еще не имел права орать на него. Он просто упирался рукой в стол и смотрел на них, и это работало. У него был еще прием – сесть позади и ждать, когда к нему обернутся.

Но вот с этими гадкими старушенциями он был не так уверен в себе.

Аарон слегка дотронулся пальцами до края стола Патриции и небрежно (во всяком случае, он так надеялся) спросил:

– А что за папарацци отправились в консервационную лабораторию?

Патриция посмотрела ему на руку. Аарон остался в той же позе.

– Ну, одного человека с фотоаппаратом вряд ли можно назвать папарацци, – отозвалась Патриция, снова утыкаясь в экран. Однако Аарон заметил, как резко она двигает мышкой, и понимал, что вовсе не от его вопроса.

– Документ, о котором вы говорите, подлежит фотофиксации, – сказала она, видя, что Аарон не отходит от стола. – И с ним еще несколько.

– А что, они имеют на это право? – спросил Аарон, шевельнув рукой.

– Имеют, – пробубнила Патриция, – если Джонатан Мартин дал им такое разрешение.

– А Патриция Защитница Ценностей им позволит?

Услышав прозвище, Патриция вперила в него взор, но Аарон был слишком раздражен, чтобы обращать внимание на подобные мелочи, и решил удвоить натиск.

– Мне казалось, она просто сожжет их взглядом.

Патриция уставилась на него бледно-голубыми глазами. Она сняла очки и медленно сложила их с мягким щелчком. Этот звук не сулил ничего, кроме неприятностей.

– Ну, разумеется, – продолжал Аарон с застенчивой улыбкой, надеясь, что она поймет шутку и воспримет его слова как комплимент, но никак не заигрывание. – Ваши глаза тоже могут пронзить что угодно.

Патриция мигнула.

– Кажется, вы не находите меня обаятельным, – заговорщицки прошептал Аарон, наклоняясь вперед и опираясь рукой на стол.

Патриция тоже подалась к нему, так что он ощутил запах кофе у нее изо рта.

– Удивительно, да? – сказала она и снова уткнулась в компьютер.

Аарон убрал руку с ее стола и отошел.

– Ну как? – спросила его Хелен.

Он поднял подбородок.

– Кажется, она холодна ко мне.

На лице Хелен появилось отчаянное выражение, смысл которого Аарон до конца не понял, она направилась к столу Патриции. Аарон последовал за ней.

– Они успели сфотографировать RQ206? – тихо, но настойчиво произнесла Хелен.

Патриция посмотрела в каталоге и вздохнула:

– Да. И еще несколько документов из той же серии.

Женщины обменялись взглядами. Это напоминало проблесковые огни двух маяков в заснеженной бухте. Безмолвный мимолетный обмен мнениями.

Хелен повернулась и молча кивнула Аарону, сжав зубы. Патриция отвернулась. Что это было – проявление такта или даже сочувствия? Он не мог точно ответить на этот вопрос, потому что совсем не знал британцев. И пожилых женщин.

Или людей как таковых. Возможно, главная проблема Аарона Леви заключалась в том, что он не знал людей.

Он думал, что они с Хелен будут первыми, кто получит доступ к документам о саббатианском кризисе во Флоренции. Но у их конкурентов было в команде четверо специалистов, не говоря уже о поддержке в лице Джонатана Мартина, которому достаточно было всего лишь позвонить редактору «Истории раннего Нового времени». Тот факт, что Уилтон решил провести фотофиксацию на этой неделе, когда большинство сотрудников успели уйти в отпуск, чтобы начать рождественский алкомарафон, мог означать, что редактор уже согласился просмотреть материалы на выходных. Уилтон хотел опубликовать статью о письме с перекрещивающимися текстами и обо всем прочем, с чем успел ознакомиться, еще до того, как обработает все бумаги. Возможно, это не вполне добросовестное поведение для ученого, но, как ни крути, ход блестящий. Ведь теперь любой, кто напишет хоть что-нибудь о ричмондской находке, будет лишь углублять работу Уилтона и следовать по проложенному им пути.

Единственная надежда заключалась в том, что Уилтон и компания еще не догадались, кто записывал документы. Аарон заглянул в записную книжку.

– Интересно, – сказал он, – добрались ли они до RQ182?

Это было письмо Якоба де Соуза с просьбой как можно скорее отстранить девушку от работы писца.

– Да. Его и тот документ с двумя текстами они запросили сегодня в первую очередь.

Патриция сняла очки.

– Ну что ж, – произнесла Хелен.

Что-то на столе библиотекаря, казалось, привлекло ее внимание. И хотя Хелен стояла отвернувшись от Патриции, во всей ее позе сквозила сосредоточенность, как у человека, обдумывающего некий план.

– Тогда позвольте следующий документ.

Кивнув, библиотекарь вышла в хранилище.

Где-то с полчаса коллеги работали молча. Перед Аароном лежала бумага, представлявшая собой отчет о расходах и доходах семьи. Почерк был знаком – только Алеф загибал росчерки над заглавными буквами так далеко назад, что они напоминали свернувшиеся кольцами существа, готовящиеся броситься через страницу.

> Две корзины трески – 4 пенса; один фунт кофе – 2 шиллинга 6 пенсов.

Аарон обратил внимание, что в ведомости отсутствуют записи о доходах с учеников. Скорее всего, поток учеников у раввина иссяк.

Время от времени Аарон отрывался от работы и украдкой наблюдал за Хелен. Раньше он никогда не видел, как она пишет. Ее пальцы так крепко сжимали карандаш, что побелели костяшки, а сам карандаш полз по бумаге с такой ледниковой медлительностью, что можно было легко представить, как грифель пропахивает каньоны, оставляя после себя валуны. Если бы он увидел это раньше, то боялся бы ее еще больше.

В половине первого к ним подошла Патриция и положила перед Хелен подложку со следующим документом, хотя предыдущий все еще был в работе. Еще трижды Патриция уходила и возвращалась с новыми бумагами. Их оказалось сразу шесть экземпляров за раз, что было грубейшим нарушением библиотечных правил.

Патриция молча разложила страницы перед Хелен, а затем, не глядя ни на кого, провела обветренной рукой по столешнице и вернулась на рабочее место.

– Господи! – произнес Аарон, поворачиваясь к Хелен. – Она к вам явно неравнодушна.

Хелен встала и принялась рассматривать лежавшие на столе бумаги.

– Так вы что, дружите? – не унимался Аарон. – Я ни разу не видел, чтобы вы разговаривали.

Хелен придвинула к себе одну из подложек с бумагой и прищурилась.

– Я почти ничего не знаю о ней, – сказала она рассеянно. – И она про меня. Извините, если разочаровала.

Аарон ткнул пальцем в разложенные бумаги:

– Ну, если это не признак дружеских отношений… Хелен посмотрела на Аарона поверх очков:

– Это британский вариант «пусть победит лучший».

Он посмотрел на Хелен, но предпочел не поддевать ее. Да и какой теперь смысл спешить? Скорость больше не имеет значения. Уилтон опубликует историю женщины-писца и ранее неизвестную переписку о саббатианском кризисе во Флоренции – два важных открытия. А они-то с Хелен наивно молчали, намереваясь обработать все и составить полную картину того, кто и зачем сделал тайник. И теперь все их усилия пошли прахом.

Неудача… Однако на этот раз Аарон не отринул эту мысль, а снова и снова возвращался к ней, как ощупывают языком дырку на месте вырванного зуба, ощущая омерзительный металлический привкус и пустую гладкую поверхность.

Аарон вернулся к работе. Никогда еще он не принимался за дело, заранее зная, что не выиграет. Он не вполне понимал себя, но иного выбора все равно не оставалось. На горизонте было пусто.

Не обращая внимания на свежие документы, он тихонько достал из сумки ноутбук и положил его на колени под столешницу. Он не сомневался, что Патриция, даже после того, как сама нарушила библиотечные правила, вышвырнет его вон за подобные фокусы. Хелен, со своей стороны, была слишком поглощена работой, чтобы что-то заметить. Аарон нашел файл с переводом письма и открыл его.

Надо начать с самого начала. Настоящему картезианскому мыслителю следует систематически подвергать все сомнению. Надо вернуться к основам – что ему известно точно?

Он перечитал письмо.

> Я задаю вопросы, запретные для мужчин, хотя и не нарушаю закон.

Очень умно, Алеф. Ты – женщина, поэтому тебя нельзя обвинить в запретном для мужчин. Умно, но не откровенно. Ты – женщина, поэтому тебя нельзя обвинить в том, что «запрещено мужчинам». Но Аарон почему-то ожидал от нее чего-то большего, чем просто набросанного поверх перевернутого письма текста с охами и ахами по поводу тайной работы писцом. «Ну же, – пробормотал Аарон, – дай же что-нибудь получше».

Он почувствовал взгляд Хелен, но не оторвал глаз от экрана.

> Я ответила – пустой сосуд. Но это не так. Ибо если желание является сущностью мужчины, оно должно быть также присуще и женщине. Я – сосуд, исполненный желания.

Аарон дочитал до конца текст на иврите, а затем и строчки на английском:

> Ведь тот, кто вынужден слова беречь,
> Одну лишь истину влагает в речь.

Они с Хелен проработали много времени с этим текстом, но и сейчас он выглядел не более ясным, чем в первый раз. Пьеса «Ричард II» была создана и ставилась на сцене до тысяча шестисотого года, поэтому Алеф наверняка могла видеть постановку или прочитать ее. Цитата совершенно выбивалась из контекста, если так можно было назвать бессвязный текст, написанный между строк, продиктованных раввином. Аарон предположил, что, возможно, вся эта история с «запретными вопросами» была намеком на Шабтая Цви. Не исключено, что

Алеф привлекло учение ересиарха, вопреки здравым суждениям ее учителя. А с другой стороны, быть может, вся эта исповедь говорила лишь о переживаниях автора о том, что раввин более не желал, чтобы писцом у него была девушка? Все эти отсылки к событиям дня в стиле

мыльной оперы и упоминание о нечестивой душе казались параноидальным преувеличением или даже психозом.

Аарон представил себе призрачную девичью фигуру Алеф, стоящую позади Хелен и Патриции, причем две старухи укоризненно шепчутся насчет туповатого американца, который оказался не в состоянии глубже вникнуть в изучаемый текст.

Я задаю вопросы, запретные для мужчин…

Почему? Почему мужчинам было запрещено интересоваться саббатианским кризисом во Флоренции, если, конечно, Алеф имел в виду именно это?

– Хелен, – позвал он.

Только после того, как та вскинула на него взгляд, Аарон осознал, что впервые назвал ее по имени.

Концом карандаша он постучал по экрану, наклонив компьютер так, чтобы его не заметила Патриция.

– Как вы это понимаете?

В наступившей тишине Аарон вдруг оценил то, что ранее не замечал в Хелен. Она оказалась преподавателем такого типа, какой никогда не станет отчитывать студента за то, что он предложил перечитать нечто прочитанное уже раз десять.

– Она пишет, что в нарушении закона виновен раввин, а не записывающий за ним писец. Но тут, конечно, она лукавит, прикрываясь тем, что на самом деле она не мужчина. Выражается загадками.

– Ага… – произнес Аарон, – Хорошо…

Очевидно, Хелен вовсе не думала, что в письме что-то не так.

Она, в свою очередь, наблюдала за своим помощником.

– Ладно. Что вас смущает? – наконец спросила она.

– Что значит «запретные для мужчин»?

Взгляд Хелен скользнул к потолку, потом обратно на Аарона.

– Хороший вопрос.

Они сели за стол рядом.

– Вы не думаете, что она могла иметь в виду что-то другое? – спросил Аарон. – Вопросы иного рода, нечто действительно незаконное?

– Не исключено, – отозвалась Хелен.

– Но какие вопросы нельзя было задавать в семнадцатом веке?

Хелен рассмеялась сухим смехом:

– С чего бы начать? В шестидесятых годах семнадцатого столетия вы могли угодить в тюрьму за исповедание католицизма, так как король перешел в протестантизм, а чуть погодя – за пропаганду лютеранства, когда его величество метнулся обратно в католичество. Для евреев того времени ситуация напоминала настоящее минное поле. Французские власти обыскивали людей на границе, и горе вам, если у вас нашли книги, – контрабанда идей! А за атеистические воззрения вас вообще убили бы. Знаете, что случилось с Йоханном де Виттом, который был голосом терпимости и политической умеренности? Он вместе с братом был растерзан толпой. И если бы тогда по указанию градоправителя Спинозу не заперли в его доме, то и он разделил ту же участь, ибо, обезумев от горя и ужаса, хотел выйти к разъяренным горожанам с плакатом: «Вы – величайшие из варваров!»

Некоторое время Аарон ждал, пока Хелен вернется в нынешнюю эпоху.

– Просто мне кажется, что у нее был какой-то замысел, – негромко произнес он.

– Это с чего бы? – спросила Хелен, но в резкости ее тона не было ничего личного. Она сомневалась в его предположениях, в этом и заключалась их работа.

Даже для самого Аарона его соображения выглядели малоубедительными.

– Но почему тогда письмо написано между строк? – возразил он. – Ради экономии бумаги?

– Вы видели счета? Возможно, она помнила о текущих расходах.

– И все же, – настаивал Аарон, – мы прочитали десятки писем Га-Коэна Мендеса, которые Алеф написала для него, и среди них нет ни одного, которое она пыталась бы использовать для записи своих собственных размышлений.

– Пускай. Но что тогда она задумала, как вы полагаете?

Аарон помедлил с ответом, так как и сам терялся в догадках.

– Может быть, это комментарий? – предположил он.

– Какой?

Аарон постучал карандашом по экрану. Ровные строки печатного текста не могли воссоздать то, что он помнил из рукописного листа.

– Знаете, как выглядит страница Торы для учащихся? Есть основной текст Писания на иврите. Всего один или два стиха, не более. А потом вокруг него мелким шрифтом подписывают комментарии, интерпретации или контраргументы. Вот мне и кажется, что это похоже на что-то подобное. Будто строки, написанные вверх ногами, являются своего рода комментариями к основному тексту письма во Флоренцию.

Молчание Хелен казалось Аарону нескончаемым тягучим потоком. Она явно не соглашалась с ним, но и не возразила, отчего Аарону стало несколько легче.

– Мне хотелось бы, чтоб вы посмотрели вот на это, – сказала она наконец, пододвигая к нему одну из подложек. Аарон стал читать. Почерк был ему незнаком. Письмо датировалось семнадцатым апреля тысяча шестьсот шестьдесят пятого года.

Томасу Фэрроу

Получив от вас два письма, я счел уместным ответить. Будучи уверенным в ясности вашего ума, я тем не менее не стану спешить с рассуждениями о тех аргументах, каковые вы изволите мне предлагать.

Дело в том, что в мои намерения не входят диспуты с неизвестными мне лицами. При этом я вынужден предупредить вас, что приводимые вами аргументы опасны сами по себе. Я не разделяю подобных взглядов и не приветствую нашу дальнейшую переписку.

С чем и остаюсь,

Ф. ван ден Энден

– Кто такой этот Томас Фэрроу? – удивился Аарон. – А вот имя ван ден Энден звучит знакомо.

– Я сама не имею ни малейшего понятия о Фэрроу, – сказала Хелен. – А вот ван ден Эндена вы должны помнить, раз сдавали экзамены по истории. Сначала он состоял в ордене иезуитов, но потом

стал организатором радикальных кружков в Амстердаме и даже был учителем Спинозы. В основном он известен своими политическими теориями и был казнен за участие в заговоре против Людовика Четырнадцатого. Совсем не могу понять, на что он отвечает и что это письмо делает среди бумаг Алеф. Может быть, Фэрроу и ван ден Энден общались с раввином или тем человеком, который сделал тайник. Или же кто-то, вообще не имеющий отношения к этому письму, подложил его позже.

Хелен тщательно записала оба имени в свой блокнот, потратив немало времени, чтобы вывести буквы.

– Я могу сходить завтра в архив и поискать там сведения о Фэрроу, – сказала она.

Какое-то время Аарон крутил головой, размышляя.

– Вот до сих пор никак в уме не укладывается, как вы, лондонцы, можете просто сходить в архив и узнать сведения о никому не известном человеке, который жил триста лет тому назад, – заметил он. – Это же какой-то неистребимый бумажный след за каждым!

Он отодвинул в сторону подложку с документом и добавил:

– Как вы вообще умудряетесь дышать в этой стране?

Хелен аккуратно подтянула документ поближе к себе:

– А что, собственно, плохого в том, чтобы иметь архивы? Для историка это золотое дно.

– Без обид, но мне кажется, что каждого англичанина с самого рождения держат под микроскопом. И любому может стать доступна ваша личная информация и родословная.

Хелен хмыкнула и вернулась к документу.

– А нам вот плевать на родословные! – заявил он.

– Да, – задумчиво протянула Хелен, вертя в руке карандаш. – Это одна из немногих черт американцев, которые мне нравятся.

– Видите?

– Что?

– Вы, англичане, лишены способности говорить комплименты. По крайней мере, настоящие. Вы просто не знаете, как это делается.

Хелен развернулась к Аарону:

– Ну и как, мистер Леви, мне сделать вам комплимент? Будьте любезны, осчастливьте!

Он откинулся на спинку стула:

– Ну, например: «Вы мне нравитесь».

Хелен изогнула брови, посмотрев на Аарона поверх очков. Это типично британское выражение недовольства развеселило его, но он сдержался.

– Продолжайте. Попробуйте, – сказал он, тщательно артикулируя каждое слово, будто разговаривая со студентом-иностранцем. – Ну, скажите: «Аарон Леви, вы мне нравитесь. Как выяснилось, вы неплохой человек».

Хелен выслушала его, не размыкая губ. Наконец они приоткрылись, и тот услышал:

– Вы еще глупее, чем я думала.

– О, уже ближе, – усмехнулся Аарон. – Предлагаю как-нибудь попробовать еще раз. Не расстраивайтесь, у вас почти получилось.

Хелен вернулась к работе, а Аарон снова подтянул к себе ноутбук. «Пусть завтра сбегает в архив», – подумал он, включая браузер и вводя имя.

Томасов Фэрроу оказалось несколько сотен. Канадский политик, некролог во флоридской газете. Аарон ограничил поиск семнадцатым веком. Отсеяв лишнее, он нашел одну ссылку. Некий аспирант из Мичигана по имени Брендан Годвин писал диссертацию о Томасе Фэрроу, жившем в тысяча шестьсот двадцать втором – шестьдесят седьмом годах. Годвин выступил с докладом на конференции три года назад – по-видимому, он, как и Аарон, все еще трудился над своим опусом. Согласно аннотации, опубликованной на давно не обновлявшемся сайте конференции, историк утверждал, что Фэрроу оказался незаслуженно забытым голосом мысли семнадцатого столетия, весьма способным человеком.

Неужели это и есть тот самый Фэрроу, встретивший определенно не самый дружеский прием у ван ден Эндена? Аарон отметил в блокноте найти адрес Годвина – писать ему он решил уже за пределами библиотеки, где щелканье клавиш не представляло риска.

В библиотеку вошла команда Уилтона. Они уселись за самый дальний от Хелен и Аарона стол, чтобы исключить всякий зрительный контакт. Одна лишь девушка, которая подошла к столу последней, села в самом конце, виновато отвернувшись.

Патриция немедленно оказалась рядом. Спрятав от греха ноутбук, Аарон догадался зачем. Хелен, не поднимая головы, указала на две

подложки, которые хотела оставить, и через мгновение следы «дружеского» расположения Патриции исчезли, а библиотекарь вернулась к своему компьютеру.

То, что осталось лежать перед Аароном, было письмом, адресованным Томасу Фэрроу. На подложке перед Хелен была страница, которую он раньше не видел.

Обычная страница, заполненная знакомым плавным почерком. Список расходов и долгов, – как заметил Аарон, поступлений от учеников снова не было. Однако в самом низу было нечто, отсутствовавшее в более ранних бумагах. Обычная буква «алеф», оставленная писцом… но вниз от нее вертикально шла надпись, выполненная не тем же почерком, что и весь документ, а отдельными еврейскими буквами, словно писец играл в прятки: «Алеф Самех Таф Рейш».

И сразу же внизу горизонтально, латинскими буквами: «Эстер Веласкес».

– Это она, – шепотом произнесла Хелен. – Это ее имя.

На лице ее застыло выражение, которого Аарон не мог понять: смесь сожаления и сочувствия, как при встрече с другом, которого страшно обидел и от которого не ждешь прощения.

– Эстер, – произнес Аарон, словно пробуя имя на вкус.

Под именем, подписанным той же рукой, с небольшим росчерком, стояло другое: «Т. Фэрроу». И следом: «Пусть местом, где я останусь не разделенной, будет эта страница».

Ниже значились еще три имени, два из которых были отмечены галочками: «Ван ден Энден, Гоббс, де Спиноза».

Хелен повернулась к Аарону.

– Возможно, Томас Фэрроу, – сказал он, – малоизвестный философ, который переписывался с некоторыми из великих. В США есть аспирант, который считает, что Фэрроу – недооцененный ученый того времени.

Сердце его отчаянно билось.

– Как думаете, возможно ли… Ему не хотелось заканчивать фразы.

Минуту Хелен молчала. Затем согласно кивнула.

Одновременно, словно в танце, оба повернули головы в сторону группы Уилтона. По крайней мере, этот документ пока был в их руках.

Аарон достал блокнот и стал быстро писать. Закончив, он отложил карандаш и прикрыл глаза. Не поднимая век, он потянулся к столу и обеими руками нащупал рукопись.

Хелен двинулась было в его сторону:

– Что…

Аарон открыл глаза и ухватился пальцами за нижний край документа. Прежде, чем рука Хелен успела остановить его, он вскочил с места и то же мгновение разорвал бумагу – слева внизу, подальше от исписанной части.

Хелен никак не могла прийти в себя, будто стала очевидцем насилия, совершенного над живым существом.

– Аарон?!

Аарон вскинул руки. Когда он окликнул Патрицию, голос его звучал так сокрушенно, что Хелен почти поверила в его искренность.

– Никогда не прощу себя, – когда библиотекарь приблизилась к нему. – Мне так жаль! Я… – он замолк, словно не имея сил продолжать.

Патриция остановила взгляд на разорванной бумаге.

Аарон расстегнул и снова застегнул молнию на свитере, как бы демонстрируя ее неисправность.

– Застежка зацепилась за бумагу, когда я вставал, – объяснил он. – А документ прижат к подложке, и вот… Я никогда больше не надену такое… даже понятия не имел, что подобное может случиться! Мне очень, очень жаль!

На другом конце комнаты люди из группы Уилтона задрали головы к потолку. Один из аспирантов повернулся к своим товарищам со снисходительной гримасой: мол, что вы ожидали от неуклюжего придурка? Но сам Уилтон с милосердным видом человека, которому уже неинтересно топтать униженного и побежденного противника, вернулся к лежащим перед ним бумагам.

Чем дольше молчала Патриция, тем отчаяннее Аарон старался заполнить молчание извинениями. Однако Хелен заметила, что лицо библиотекаря оставалось спокойным. Увидев, что повреждение оказалось незначительным и не затронуло заполненную текстом часть документа, она, казалось, удовлетворилась раскаянием Аарона. Более того, ее, видимо, впечатлил тот факт, что он наконец осознал ценность старинных рукописей.

– Наверное, – молвила она, фыркнув, – нам придется дополнить правила поведения еще одним запретом. Хотя наши правила, кажется, никогда вас особо не сдерживали.

– Я сам напишу себе напоминание! – горячо уверил ее Аарон. – Никаких больше молний в хранилище. Я буду следить за каждой мелочью, серьезно. Только пуговицы и липучки!

Он протянул дрожащую руку к надорванному листу. Хелен почти верила в его искренность.

– Это можно восстановить?

Патриция покачала головой:

– Это может сказать только Патриция из консервационной лаборатории, с ее испепеляющим взглядом.

Аарон молча принял упрек.

– Надеюсь, что для нее это не составит большого труда. Я понимаю, что она и так сильно занята, и у нее не так много времени, чтобы возиться с криворукими балбесами. Пожалуйста, передайте ей мои искренние извинения.

– Думаю, на сегодня мы закончили, – сказала Хелен.

Затем она встала и, к собственному удивлению, неловко похлопала Аарона по плечу.

– Думаю, нужно немного успокоить нервы, прежде чем продолжать работу.

Библиотекарь ушла в лабораторию – было слышно, как открылись и закрылись двери лифта.

Аарон тем временем собирал свою сумку. На его лице не было знакомого дерзкого выражения, наоборот, он выглядел взволнованным.

– Это было больно, – тихо сказал он Хелен. – Больнее, чем я думал.

Волосы Хелен выбились из-под заколки, и седые пряди лезли ей в глаза.

– Вы просто гениальны, – сказала она.

По его лицу расползлась улыбка. Тоскливое выражение, недавно появившееся у него во взгляде, отчего Хелен даже подумала, что Аарон все-таки кое-что понимает в жизни, стерла улыбка, как бывает только у совсем юных.

– Вот он! – громко воскликнул Аарон, и Хелен вздрогнула от неожиданности.

Он несколько раз с расстановкой хлопнул в ладоши, что непременно привлекло бы внимание Патриции, не будь она в тот момент в лаборатории.

Хелен не могла скрыть смущения. Даже Уилтон поднял голову и уставился на них.

– Что такое? – раздраженно спросила Хелен.

– Да комплимент! – объяснил Аарон с блаженной улыбкой. – Я знал, что у вас получится!

Глава восемнадцатая

10 апреля 1665 года

Бенедикту де Спинозе

Мое имя наверняка вам неизвестно. И все же я хотел бы вступить с вами в переписку из уважения к вашей философии. Я надеюсь, что вы не откажете тому, кто пишет издалека, ибо, как вам известно, всегда найдутся люди, желающие познать истину, даже если они рассеяны по всему миру.

Я с восхищением ознакомился с вашим сочинением «Принципы картезианской философии» и могу сказать, что вам удалось установить ясность во всей ее очевидности.

И все же я чувствую, что вы многое недоговариваете. Ваши слова сдерживают мысль, как каменная стена сдерживает склон холма – но лишь на время, пока земля не набухнет от проливных дождей и не вырвется на свободу.

В частных беседах, как мне стало известно, вы утверждаете, что Бог есть Природа. Если это так, то, поскольку человек во всех его воплощениях заключен в Природе, должно быть, что Бог не избирает какую-либо вещь или человека для ненависти или любви, а в равной степени присутствует в каждом создании. Поэтому Бог не вступает ни в какие споры между людьми.

Мне хотелось бы понять яснее, что именно вы имеете в виду, когда говорите о Боге, ибо и здесь ваши слова обещают многое, но обо многом же и умалчивают.

Я бы очень ценил наши с вами беседы, но отсутствие опыта в философских беседах побудило меня обратиться к вашему другу ван ден Эндену в надежде, что благодаря общению с ним я смогу научиться манере речи и аргументации, которую вы используете в общении между

собой. Однако ван ден Энден отказался от переписки со мною. Я надеюсь, что вы примете иное решение.

Жду вашего ответа, и тогда напишу больше.

Томас Фэрроу

11 апреля 1665 года
20 нисана 5425 года

Возлюбленному ученику Даниилу

Ваше молчание беспокоит меня, и поэтому я пишу снова, хотя, возможно, вам неприятен мой настойчивый интерес. И тем не менее меня не оставляет тревога из-за ваших слов. Я боюсь того, что станется, когда евреи Флоренции подпадут под влияние Шабтая Цви; но еще более страшусь того, что случится после его разоблачения как самозванца. Я видел, как пагубно возрождение и последующее крушение надежды сказываются на духовном состоянии общины, принося позор и раздоры. Шабтай Цви не оставит вашу Флоренцию такой, какой она была, как огонь, что проходит сквозь лес, не оставляет живых деревьев.

Прошу вас, сообщите, нашли ли вас мои письма, даже если они показались вам бесполезными. Я переживаю за вашу безопасность в этом изменчивом и таинственном мире. В немощи своей я способен выполнить лишь немногое из того, что охотно бы взвалил на себя, будучи здоров. Но это немногое я несу в сердце своем, и это любовь к своим ученикам, которые являются искрами света в темном мире. Поэтому прошу простить мою настойчивость в желании убедиться в вашем благополучии, но я не успокоюсь, пока не получу известия о нем.

Раввин Га-Коэн Мендес

29 апреля 1665 года

Бенедикту де Спинозе, мысли которого я высоко ценю

Вы молчите, словно моя просьба о беседах с вами скрывает в себе тернии. Но вам хорошо известно, что благодаря знанию даже тернии могут принести желанную истину. Если же мысли мои выражены не так, как принято среди людей вашего круга, то прошу вас остаться глухим к недостаткам моей речи, поскольку телесная немощь уже давно препятствует общению с людьми образованными, у которых я мог бы приобрести более учтивые привычки. Я не ищу ничего, кроме ответа на то, что меня беспокоит, как это свойственно больным или мыслителям. Быть может, ваше доверие ко мне укрепит то, что в Лондоне я познакомился с вашим бывшим учителем раввином Моше Га-Коэном Мендесом. Я считаю его замечательным и мудрым человеком, несмотря на его приверженность идеям и убеждениям, которые я не разделяю. Он очень лестно отзывается о вас и хвалит ваш ум.

Я хотел бы обсудить с вами мои предыдущие вопросы и добавить новые: какова природа обязательства человека следовать условностям окружающего его общества? Если эти условности ошибочны – а это несомненно, поскольку условности одного общества противоречат условностям другого и, следовательно, все они не могут быть правильными, – то может ли человек действовать (а возможно, даже и обязан) в соответствии со своим определением добродетели, хоть бы оно показалось обществу отступническим? И, наконец, какие обязательства несет человеческая душа по отношению к другой душе в нашем несовершенном и разбитом мире?

Бэкон мечтал о строительстве Дома Соломона, в котором философы постоянно могли бы делиться своими идеями, ибо каждое понятие должно быть испытано свидетельствами Природы и рассуждениями иных мыслителей. И если оно окажется бесплодно, то от него следует отказаться. Моя мысль требует беседы с вашей. Не слишком ли самонадеянно с моей стороны рассчитывать, что

вы сможете усовершенствовать вашу философию посредством общения с единомышленником, хотя бы даже такой обмен мнениями приведет к полному опровержению моих предположений и утверждений?

Вопрос останется без ответа, если его не обсуждать.

Томас Фэрроу

30 апреля 1665 года
15 ияра 5425 года

Даниэлю, или, если я могу так говорить, моему сыну

Великим утешением было узнать из вашего письма, что вы живы и здоровы. Я опасался, признаюсь, что вы стали жертвой какой-нибудь болезни, подобной той, что последнее время появилась в Лондоне и которой люди так боятся, что избегают некоторых кварталов, даже отказываясь от работы, а следовательно, и средств к существованию.

Я рад узнать, что мои слова оказались полезными вам на диспутах во Флоренции. И меня ничуть не удивляет ваша просьба объяснить, как трактовать слова Исайи и Иеремии, чтобы раскрыть истинные знамения Мессии. Вы всегда были внимательным учеником, и теперь я убеждаюсь, что вы хорошо помните мои предостережения против неправильной трактовки этих отрывков. Эта работа займет несколько недель, но поскольку вы считаете, что она поможет ослабить положение Шабтая Цви в общине, я возьмусь за нее. Сказать по правде, работа станет для меня бальзамом, который спасет от неизбежного в моем положении одиночества. Вам, наверное, покажется странным, что даже сейчас мой дух все еще бунтует. Но когда до моего слуха доносится шум работ по дому, звуки домашнего хозяйства, мне все же иногда хочется приложить свое тело к какому-нибудь полезному труду, видеть глазами, работать руками, ибо это поднимает дух человека. Поэтому даже старик должен опасаться злых приступов отчаяния и уныния. Принятие моих немощей

должно считать данью Б-гу, который по милости Своей пощадил меня, оставив мне способность трудиться духом и умом, тогда как другие, более достойные, погибли.

Я прошу почаще писать мне и присылать подобные вопросы, которые так беспокоят вашу общину. А я обещаю вам честность.

Моше Га-Коэн Мендес

19 мая 1665 года

24 ияра 5425 года

Лондон

Блеск молнии – и лишь один удар сердца. Затем над городом раздается ужасающий грохот, и по оконному стеклу дома да Коста Мендес устремляются потоки воды. Небо корчится от ярости, наполняя ее душу детским страхом. В каждом изломе молний эхом отдается хриплый крик брата, видится ее собственный силуэт и фигура отца, исчезающая в огненном вихре, охватившем лестницу.

Звук имени ее матери среди деревянных обломков.

Рядом с ней стоит серебряный канделябр, и от его трех ровных огней вверх поднимается тепло. «Это всего лишь молнии, – повторяет она себе, – всего лишь молнии и гром. Сюда они не ударят. Молнии подожгут что-нибудь другое, например дерево на дальнем пастбище за городскими стенами. Странно так бояться грозы, когда не боишься ни болезни, ни смерти». Встав неподвижно и вознеся сжатый кулак к небу, она шептала, прижимаясь губами к холодному окну:

– Ну ударь же, порази меня!

Дождь хлестал по толстому стеклу, смывая улицу, полоща весь мир в серой воде.

Из залы донесся приглушенный смех – то Мэри и Томас направились в другую комнату. Отойдя от темного окна, она сунула руку в карман, чтобы снова ощупать его содержимое. Десять

шиллингов мелкой медью и еще пять королевской монетой. Неплохая сумма за то, чтобы она неделю за неделей стояла здесь, как статуя, пока Диего да Коста Мендес наведывался в деревню, а Томас и Мэри резвились в его доме. И все же монеты в ее кармане составляли совершенно мизерную сумму, не способную удовлетворить растущие потребности дома раввина.

Становилось ясно, что старика совсем забыли. Выплаты от отца Мэри стали нерегулярными, а после прибытия раввина Саспортаса и вовсе прекратились. Вероятно, Диего да Коста Мендес боялся оскорбить нового ребе поддержкой старого, даже столь смиренного, как Га-Коэн Мендес. А быть может, Диего просто забыл, что раввин питается не только пищей духовной. Будь жива Кэтрин, она обеспечила бы безбедное существование учителя, но Кэтрин была мертва, а вдовца больше волновали другие заботы.

В том, что полученные от Мэри монетки шли в дом, больше не интересный ее отцу, была мрачная ирония. Но Эстер понимала, что лучше не рассказывать Ривке, откуда берутся деньги, что она приносит каждую неделю. Ривка же никогда не расспрашивала, и это был явный признак ее растущего беспокойства об их дальнейшей судьбе.

Однако ни безумные развлечения Мэри, ни нелепая должность Эстер в качестве наемной компаньонки не могли длиться вечно. Еще несколько недель, и Томасу надоест ухлестывать за Мэри ради ее приданого, ведь Диего ни за что не согласится на такой брак.

Эстер отпрянула от окна. Она оглядела гостиную, и взгляд ее упал на мягкое кресло. Там, небрежно брошенная, лежала книга. Эстер перевернула ее: «Философические штудии: о предприятиях и исследованиях выдающихся людей со всего известного мира».

Эстер никогда не видела публикаций о заседаниях Королевского общества, хотя и много раз слышала о них. В синагоге время от времени обсуждали те или иные открытия в области природных явлений, например опубликованное исследование приливов, влияющих на морскую торговлю. Эстер с нетерпением открыла книгу, где на фронтисписе были изображения короля и еще одного человека, которого, судя по подписи под портретом, звали Фрэнсис Бэкон. Она стала листать: «Физико-математические экспериментальные этюды», «Заметки о работе маятниковых часов на судах для определения долготы», «Опытно-экспериментальная теория низких температур»,

«Об открытии пятна на одном из полос Юпитера». «Рецепт сидра из тутовых ягод, предоставленный достопочтенным сэром Томасом Уильямсоном». Последнее сочинение было включено в сборник просто ради того, чтобы завоевать расположение и получить покровительство какого-то титулованного дурака. О, если бы она могла столь же свободно публично излагать свои мысли, как этот сидродел!

На этой неделе она получила еще два ответа на имя Томаса Фэрроу. Каждый раз, заслышав стук почтальона, Эстер выскакивала и запихивала письма в карман, чтобы прочитать на досуге. И хотя самого долгожданного ответа она еще не получила, лед уже тронулся – кажется, намечался диалог с ван ден Энденом и с Лодевейком Мейером. Ответы от обоих были пока еще весьма осторожны, ученых мужей интересовало, с кем Томас Фэрроу обсуждал тот или иной вопрос, согласен ли он с Гоббсом в его рассуждениях о промысле Божьем? Таким скупым ответам, возможно, способствовал резкий тон писем Эстер, но она никак не могла заставить себя выражаться иначе. Даже когда она писала на латыни, ей не хватало терпения на высокопарные фразы, в которых сложно было определить, где скрывается приторное честолюбие, а где завуалированное оскорбление. «Мой разум по своей природе есть лишь тень вашего более проницательного ума, поэтому я прошу вас простить меня за этот вопрос, допуская, что мышление мое не достигло тех высот, которые открылись вашему…» – нет, определенно, такая извилистая, как змея, речь была противна ей.

Эстер неспешно перелистывала страницы «Философических штудий». Для членов Королевского общества свободно выражать свои взгляды было столь же естественно, как дышать, в то время как Эстер приходилось предавать и изворачиваться, да еще и урывать каждую искорку света, чтобы читать. Эти же мужчины высказывали свои гипотезы и мысли так, словно те не нуждались во внешних покровах, а могли быть бесстрашно пущены в мир обнаженными. Но зависть Эстер боролась с удивлением по поводу такого безрассудства – ведь если король умрет или переметнется к иному течению христианства, за эти написанные на бумаге слова головы авторов могут посадить на пики.

Раздался негромкий шорох. Эстер поспешно закрыла книгу.

На нее, не сводя глаз, смотрел Бескос. Поглощенная чтением, Эстер не заметила, как он вошел. Вероятно, служанка Ханна при входе дала ему полотенце, которым он сейчас и вытирал затылок, волосы, где их замочил дождь, и бороду, что закрывала его шею.

Улыбались только его губы – глаза же сверкали льдом.

– Такая меланхоличная евреечка!

Бескос сел рядом с Эстер. Каркас дивана заскрипел под его весом. Она слышала запах его не успевших просохнуть волос, чувствовала исходящий от него жар, видела крупные поры на его коже.

Эстер подбросила на руке книгу, словно безделицу:

– Ваша?

Бескос взглянул на нее, и Эстер увидела в его глазах удивление.

– Записки Королевского общества? – коротко хохотнул он. – Да нет, это Томаса.

Эстер и в голову не могло прийти, что Томас читает такие книги. Неужели она совершила глупость, подписывая его именем письма, думая, что ее адресаты не знают о нем?

– Да Томас скорее оклеит этими страницами стены в сортире, чем прочтет хотя бы строчку, – продолжал Бескос. – Но его отец, такой же дурак, только на свой лад, все время присылает ему подобные книги в надежде, что Томас бросит театр и восстановит доброе имя семьи. Не сомневаюсь, что Томас принес сюда книгу, чтобы отдать ее мне и избавиться от нее.

На его лице промелькнула лукавая искорка, но тут же сменилась нетерпеливым выражением.

Сегодня Бескос был не похож на себя. Он словно ждал чего-то, как ждет аптекарь остановки чашек весов.

Внезапно уголки его рта искривились в неприязненной гримасе.

– Знаете, ваше молчание быстро надоедает. Вы не можете занять гостя интересным разговором. Неужели вы не хотите оскорбить какую-нибудь даму – из театра или придворную – под видом комплимента? Или же у вас есть в запасе история о некоем кулинарном приключении, чтобы меня ею угостить?

– Я неважно говорю на изысканном языке кокеток, если вы это имеете в виду, – ровным голосом ответила Эстер.

– И все же вы считаете, что владеете таким языком? – насмешливо спросил Бескос, указывая на книгу. – Зачем же женщине читать то,

чего она не понимает?

Снаружи почти одновременно мелькнули две вспышки. Эстер приготовилась к раскату грома.

– Знаю я одну благородную девушку, – сказал Бескос. – Она знает свое место в этом мире и скорее обрядит обезьяну в кружева, чем станет возиться с таким фолиантом.

В голосе Бескоса звучало явное недовольство. Эстер показалось, что не из-за девушки. Но что делать: просто проигнорировать его брюзжание или дать отпор?

– А согласен ли на брак ее отец? – спросила она.

Только после этих слов она поняла, что ей следовало промолчать. Бескос смотрел на нее так, словно Эстер, забывшись, перешла некую запретную черту.

– Ее отец, – раздельно произнес Бескос, – желает, чтобы она достигла более зрелого возраста. Да в одной пряди ее волос больше зрелости, чем в его шевелюре! Но, как я вижу, вы считаете себя вправе интересоваться делами тех, кто стоит куда выше вас!

Быстрым движением он оттолкнул ее руку и схватил том с ее колен. Перелистнув несколько страниц, Бескос прочитал: «Мне уда ло сь найти принцип, который заключается в том, что эта комета движется в созвездии Большого Пса по такой протяженной орбите, что описанная ее часть чрезвычайно мала по сравнению со всей ее окружностью и представляется наблюдателю прямой линией».

Бескос повернулся к Эстер:

– Ну, вы полагаете, что способны это понять?

Она не решилась ответить.

– Вижу, – протянул Бескос, – что способны. Говорят, что евреи крадут идеи точно так же, как кровь и серебро, и вот вы доказываете мою правоту. Но как бы то ни было, вы верите тому, что здесь напечатано? Тому, что ваши глаза могут вас обманывать и прямая линия, которую они являют вам, может быть на самом деле частью круга?

Эстер молчала, опасаясь, что ее ответ спровоцирует его.

– А я верю своим глазам, – произнес Бескос, пристально смотря на девушку. – И в то, что чувства, которые Он дал нам, доказывают Его слово.

Было видно, что он говорит о Боге не со страстью, а как владелец, когда говорит о своей собственности. На данный момент воля Божья стала прерогативой Бескоса.

– Мне не нравятся люди науки, – сказал он, – ибо они отрицают Бога, преклоняясь перед разумом.

Эстер понимала, что не стоит говорить об этом, но не смогла удержаться:

– И все же, разве человек не наделен разумом, чтобы он мог лучше понимать работу Бога и даже помогать Ему предотвращать бессмысленные страдания Его творений?

– Ого! – воскликнул Бескос и дважды хлопнул в ладоши, так что Эстер вздрогнула от неожиданности. – Когда я был мальчишкой, отец отослал меня учиться к священникам. Вам известно, чему они учили?

Чтобы не смотреть на него, Эстер уставилась в залитое дождем окно.

– Они учили, что бессмысленных страданий не бывает. Божьи кары даются во исцеление.

Бескос доверительно наклонился вперед:

– Священники рассказывали нам и о евреях. По их словам, вы считаете страдания ненужными, потому что не верите в очищение через них своей души и в существование загробной жизни.

– Мне не знакомо такое учение, – тихо произнесла Эстер.

– Да неважно, – ленивым жестом отмахнулся Бескос. – Придет время, и священники сами вам все расскажут.

Эстер видела, как в его словах мелькнула и тотчас же скрылась угроза. Был ли он опасен по-настоящему или только хотел казаться таким?

– В этой стране нет инквизиции! – резко сказала она.

– Пока нет, – улыбнулся Бескос. – Вот ваш друг Джон почему-то любит евреев. Но дело в том, что он любит всех, кого преследуют, и охотно бранит самих преследователей. Однако скажу вам то же, что и ему: король Англии настолько же протестант, насколько гусеница – бабочка. То есть только на время.

Эстер вспыхнула и, вскочив с места, отошла подальше от Бескоса.

– Думаю, вам следует покинуть этот дом.

– Пожалуй, я останусь, – сказал Бескос. – Мне все-таки нравится ваша манера изъясняться.

Раздался стук в дверь, и Ханна поспешила открыть, смерив настороженным взглядом Бескоса и Эстер, словно они были нежелательными гостями.

Вошел Джон.

– Эстер! – позвал он, передавая свое мокрое платье прислуге.

Голос его звучал легко и с искренней веселостью. Эстер, взволнованная словами Бескоса, только молча взглянула в растерянное лицо Джона. Но прежде, чем тот успел что-либо спросить, из задней части дома донеслись раскаты смеха и появились Том ас и Мэри. Одна рука Томаса покоилась на талии Мэри, а в другой он держал бутылку мадеры. Он широким жестом пригласил всех сесть, словно уже был хозяином в доме.

– Что нового? – вопросил он.

– Джон только что пришел, – сказал ему Бескос, – так что пропустил весьма интересный ученый диспут. Мы с компаньонкой Мэри обсуждали недавно появившуюся комету. И заодно исправление заблуждений евреев нежными руками инквизиции.

Все еще не отпуская талии Мэри, Томас поднял руку с зажатой в ней бутылкой, сначала осторожно приложился, но тут же выпил до дна.

– Комета… – произнес он, устраиваясь поудобнее. – Что ж, давайте послушаем о ней, как вы думаете?

По лицу Мэри пробежала тень. Она сморгнула, глядя на Томаса, и села.

– Томас, угости друзей, – предложил Бескос.

Тот все еще держал опустошенную бутылку дном вверх, отчего несколько капель упали на бархат дивана Диего да Коста Мендеса. Мэри тут же кликнула Ханну, чтобы та принесла еще бутылку; пока все ждали, Эстер заметила, как Мэри провела пальцами по пятну с одновременно торжествующим и горьким выражением.

Джон хмурился.

– Дорогой Томас, – начал Бескос, – чтобы узнать о комете, вам следовало бы прочитать эти публикации, которыми ваш благородный отец постоянно снабжает вас.

С этими словами он взял книгу и треснул ею Томаса по голове. Тот с жалобным криком ухватился за журнал, но Бескос швырнул его на пол. Оба приятеля рассмеялись.

Джон поднял его и, взглянув на обложку, повернулся к Эстер и спросил негромко:

– Вы читали?

– Да, – ответила девушка.

– Мне хотелось бы узнать ваше мнение, – сказал Джон. – Мои учителя очень высокого мнения о Королевском обществе.

– Вы учитесь?

Джон покраснел, как будто вопрос Эстер был одновременно и похвалой, и обвинением.

– Учился, – промолвил он. – Ну, учусь… вернее, буду учиться, если мне будет позволено.

Принесли новую бутылку, на этот раз светлого вина. Томас поднес ее к свету и внимательно рассмотрел, водя пальцем по выпуклому сургучному гербу дома да Коста Мендес, словно присматривал его для покупки на рынке. Он выпил и передал бутылку друзьям. Когда дело дошло до Мэри, та тоже сделала большой глоток.

– Давай, давай его сюда! – сказал Томас, тыча пальцем в бутылку. – Лекарство против чумы.

– Это кошки разносят ее, – заявила Мэри.

Она отобрала бутылку у Томаса, снова выпила, съеживаясь при каждом глотке, как будто заставляла себя. Эстер обратила внимание, что Мэри избегает встречаться взглядом с Бескосом, как будто его и не было в комнате.

– Нет, собаки, – сказал Томас.

– И кошки, и собаки, – согласилась Мэри. – И миазмы. Но, как утверждает отец, – заметила она, изящно утирая рот кружевным рукавом платья, – поветрие скоро сойдет на нет.

Мэри покраснела при упоминании об отце.

– Так же говорят и астрологи, – добавила она.

Мэри не стала пить на этот раз, зато Эстер приложила губы к прохладному зеленому стеклу. От вина во рту сделалось сладко и по телу разлилось тепло.

Джон удивленно поглядел на нее – вероятно, его знакомые дамы не пили из горлышка. Она намеренно сделала второй глоток, но не удержалась и закашлялась.

– Ну, дружище, как твое сватовство? – спросил Томас, когда бутылка пошла по второму кругу.

Бескос рассмеялся, но в смехе этом послышалось предупреждение.

Однако Томас не отставал:

– Смягчил ли ты сердце ее отца?

– Друг мой, ты не понимаешь ничего в таких вещах, – негромко сказал Бескос.

Эстер заметила, что тот совершенно свободно говорил колкости Томасу, но не терпел их в свой адрес.

– Ну скажи хоть что-нибудь! – воскликнул Томас. – Насколько далеко ее святость дала тебе зайти?

– Томас! – одернул приятеля Джон. – Веди себя прилично!

Бескос подался вперед, отчего под ним скрипнули ножки стула:

– Что ты знаешь о настоящей любви?

Томас уже не смеялся.

– Будь у меня герб, как у твоей семьи, Томас, будь у меня такое же блестящее образование, я был бы уже женат, – сказал Бескос. – А теперь посмотри, какая тебе от всего этого польза, – добавил он, смерив взглядом Томаса с ног до головы.

Тот ответил насмешливым полупоклоном.

Бескос же указал на Мэри и Эстер.

– Мне интересно, что такого в этом доме пленило тебя и Джона? Каждый из вас очарован своей еврейкой.

Эстер посмотрела на Мэри, которая, казалось, не понимала, шутка это или нет.

– Позволь, я скажу тебе, что такое естественная, настоящая любовь, – продолжал Бескос, по-прежнему обращаясь только к мужчинам. – А это вот как: подобное должно сочетаться с подобным. Все остальное отвратительно.

– Ты говоришь так, будто евреи ниже тебя, – возразил Джон, поглядывая на Бескоса.

У того мгновенно загорелись глаза:

– А то это не так, Джон? Ты знаешь, друг мой, что случилось с евреями Йорка?

Воцарилось молчание.

– Удивительный пример упрямства, – объявил Бескос, причем голос его зазвучал игриво, словно он собирался рассказать о каком-то забавном случае.

– Они перерезали друг друга. Да-да, прямо здесь, в нашей дорогой Англии! Они укрылись в замке от преследовавшей их толпы, а когда им стало ясно, что люди не уйдут, не отведав еврейской крови, то просто поубивали друг друга, чтобы не предать своих убеждений.

Он с любопытством поглядел на Эстер.

– Представьте себе. Они избавили христиан от лишней работы.

Слышался отдаленный стук дождя по крыше.

– По правде говоря, – продолжал Бескос, – выбор евреев всегда казался мне противоестественным. Если так можно выразиться, они кажутся прирожденными мучениками, готовящими себя всю жизнь к тому, что на них начнут охотиться, и в то же время ведут себя так, чтобы спровоцировать охотников. Скажите, вы смогли бы поступить так же, как йоркцы? – обратился он к Мэри. – Или, может быть, предпочли бы чтобы к вашему горлу приставил нож кто-нибудь другой? А возможно, вы бы взмолились о пощаде и отреклись от своей веры.

Джон привстал, вцепившись в деревянные подлокотники:

– Ты оскорбляешь нашу компанию и угрожаешь леди.

– О да, – засмеялся Бескос. – Леди… Но скажи-ка, Джон, разве еврейские обычаи не повод для любопытства? Или ты не слышал, как твой собственный отец именно так рассказывал о евреях?

Щеки Джона покраснели, и он неохотно кивнул.

– Но все же ты заходишь слишком далеко, Бескос.

Тот лишь махнул рукой и откинулся на спинку стула.

– Ну… если так, то я беру назад слова, которые могли кого-нибудь оскорбить.

Взгляд Джона обратился к Эстер. Она ответила на него, и это, казалось, укрепило его решимость. Было видно, что Джон жаждет постоять за себя.

Но Бескосу стало уже не до того.

– Вообще, все эти еврейские дела меня мало интересуют, – заявил он, слабо улыбаясь. – У меня полно других, которым давно пора бы заняться. Кстати, давай-ка выпьем для начала, а потом оттащим Томаса в театр и вытолкнем его на сцену еще пьяненько го.

– Ну что, видели? – воскликнул Томас. – Все хорошо, что хорошо кончается.

Джон откинулся в кресле, но по нему было видно, что он недоволен ни Бескосом, ни собой.

Мэри, широко раздув ноздри, переводила глаза с Бескоса на Томаса. Томас был занят сладостями, которые подала на стол Ханна, выставив их на серебряном подносе с нарочитой небрежностью, чтобы показать свое мнение о гостях Мэри.

Томас выбрал с блюда самый большой засахаренный орех.

– Извините Бескоса за дурное поведение, – сказал он и, поколебавшись, прежде чем положить конфету на язык, добавил: – Ну, или не извиняйте.

Глаза его блестели, будто что-то наконец задело его. Сделав вид, что не замечает сидящую рядом Мэри, он прожевал сладость, а потом взял еще один орех и, размахивая рукой, обратился к Беско су:

– Ты смеешься над тем, что я учился в Оксфорде, друг мой. Но то, что я узнал от Гарвея, – это не шутки, хотя бы Гарвей и научил тому, о чем и сам не догадывался. Мои мозги мало подходили для его учения о жизненных соках и кровообращении. Но все же я понимал, что человека, которого я очень уважаю, никто не желает понять и ему приходится сносить оскорбления.

Томас повертел конфетой перед носом Бескоса:

– Теперь все признают, что Гарвей оказался прав в своих выводах относительно устройства человеческого тела. Но что же из этого? Вся его жизнь была сплошной борьбой и страданием. Его называли чокнутым. Его труды разорили во время войны. Сорок лет работы – и все напрасно! И это подорвало его веру в человека. И вот, – тут Томас уронил орех обратно на поднос и показал Бескосу пустую ладонь, – и вот урок, который я усвоил из всего учения Гарвея: если мир не может уважать такого человека, как он, то нет никакого смысла добиваться уважения!

Схватив бутылку, Томас потянул ее было к губам, но остановился на полпути:

– Не только лень делает меня таким, какой я есть, Бескос, хотя ты хорошо знаешь, как я люблю лениться. Присмотрись, и увидишь, что я такой же принципиальный, как любой иезуит, – просто я исповедую другую религию.

Он на мгновение встретился с Бескосом глазами, а потом фыркнул, сжал колено Мэри, отчего та взвизгнула, и поднес бутылку

ко рту.

– Уходите, – сказала Мэри, обращаясь к Бескосу. – Уходите сейчас же!

Тот встал. На секунду его лицо сделалось веселым:

– Хорошо, я пойду. Но скажите мне, в следующий раз, когда придет Томас, твой отец тоже будет дома? Ведь тот факт, что мой друг удостоился чести свидания с вами, – это просто случайность, и только потому, что богатая еврейка просто обманывает своего отца.

– Оставьте ее в покое, – сказала Эстер.

– А, – обернулся к ней Бескос, – еще одно замечание от блюстительницы дамского этикета!

– Если меня когда-то и учили ему, – отозвалась Эстер, – то безуспешно.

– Вполне возможно, – согласился Бескос, смерив девушку холодным взглядом. – Ваш дух как раскаленный уголь, и все, к чему он прикасается, иссыхает.

Мэри издала приглушенный смешок.

Томас встал, положив руку ей на плечо:

– Ну Бескос, что мы тебе сделали плохого?

Эстер увидела, как изменилось лицо Мэри при слове «мы».

– Ты просто не в духе, друг мой, – сказал Томас, громко рассмеявшись, как бы желая показать, что они не ссорятся. – Ты непременно увидишь, что у нас самая естественная любовь.

Он прижал Мэри к себе, однако не взглянул на нее.

– А когда у тебя будет хорошее настроение, приводи сюда свою невесту, чтобы и она могла выпить с нами.

При упоминании о своей возлюбленной Бескос замедлил шаги:

– Она слишком хороша для тебя.

Но тут к нему вернулось его чувство юмора, и он добавил:

– Но я приведу ее. Чтобы она смогла полюбоваться на скверную компанию, которой я довольствовался до того, как обрел ее.

Он повернулся к остальным и с непроницаемым взглядом поклонился:

– Прошу меня извинить.

– А, вот мой друг опять стал самим собой, – засмеялся Томас. – Тогда и черт с тобой.

Он вместе с Бескосом направился к дверям, и Эстер встревожило явное облегчение, появившееся на лице Томаса.

В ее жизни встречались люди, которые обладали такой внутренней силой и уверенностью, что придавали смелости всем, кто был рядом, – к добру или к худу. Таким был ее брат, таким был Мануэль Га-Леви. И Бескос тоже был таким.

Но что бы ни говорил Томас, она видела, что он выбрал Бескоса в качестве своего светила, чтобы вращаться вокруг него. И то, что могло бы показаться глазу движущимся по прямой линии, на самом деле совершало полет по сильно вытянутой орбите вокруг более массивного тела, каждую секунду измеряя расстояние до объекта своего восхищения.

Мэри не могла понять этого. Она поверила бы лишь прямому доказательству чувств: например, поцелуям Томаса. Тому, что Томас дергает петли ее лифа, пока не добьется своего. Значит, он любит ее превыше всего и сделает все, чтобы защитить.

Джон, в свою очередь, тоже следил за реакцией Мэри. Его тоже, как и Эстер, терзало беспокойство, словно он умел читать то, что не видно невооруженным глазом.

– Значит, в следующее воскресенье? – спросил Томас, оборачиваясь через плечо на Мэри, сидевшую на диване. – Не бойся, наш вспыльчивый Бескос не поедет, он будет занят другими делами.

С этими словами он хлопнул Бескоса по плечу, но как-то осторожно – и это не ускользнуло от взгляда Эстер.

– А когда ты снова его увидишь, он уже будет в хорошем настроении.

Мэри, помедлив, кивнула.

– А ты составишь компанию нашей компаньонке? – обратился Томас к Джону.

Эстер вопросительно взглянула на Джона. Она не слышала, о чем до этого болтала Мэри.

Джон улыбнулся.

– Если она согласится.

И прошептал:

– Едем на реку.

Эстер почувствовала, что краснеет.

– О! – вскричала Мэри. – Конечно же согласится!

Эстер поправила поднос со сластями.

– Да вы только поглядите, какие они стеснительные! – пропел Томас.

Под взрыв смеха Эстер закрыла глаза. Ей было слышно, как Мэри шумно целует Томаса в губы, его довольное мычание и осторожные наставления Мэри.

Дождь почти прекратился; снаружи доносилось шарканье сапог по мокрому камню и тихий шелест капель из водосточной трубы.

Джон не последовал за своими товарищами.

– Простите Бескоса за резкие слова, – сказал Джон. – Я вразумлю его.

Его щеки тоже покраснели, как и у Эстер.

– Я думаю, он обижен на других людей, но сегодня обратил свою злобу на евреев.

– Но важно не то, на что человек злится, – сказала Эстер, – а то, на кого он обращает свой гнев.

Джон помолчал. Затем кивнул, словно приняв какое-то решение.

– Тогда в следующее воскресенье.

Он поклонился, поцеловал руку, а потом слегка коснулся губами ее губ, как это обычно делают англичане, прощаясь с женщиной, которую считают равной себе.

Мэри закрыла за ним дверь. Эстер стала прибираться.

– Может, теперь, – весело сказала Мэри, – ты не будешь чувствовать себя такой одинокой.

Эстер понимала, что ей следует еще раз попытаться переубедить Мэри. Том а с мог принести в ее дом беду, и добродетель Мэри превратилась бы во флюгер, который поворачивается, повинуясь всякому порыву ветра, если, конечно, этого уже не случилось. Если же Мэри думала, что ей удалось одурачить прислугу присутствием такой компаньонки, как Эстер, то она жестоко ошибалась на сей счет.

Ну вот как тут говорить о каком-то разуме, когда он ускользает от самой Эстер?

– Одиночество… – начала было Эстер по-португальски, но замолчала. Она не понимала, как выразить словами то тепло, что переполняло ее, грозя выплеснуться наружу из ее тела. Желание спастись от уготованного ей пути.

– Одиночество, – наконец промолвила она, отчеканивая каждое слово неправды, – меня не беспокоит.

Мэри порывистым движением поправила гобелен на стене.

– Тогда я могу сказать, что завидую тебе… и сочувствую. Завидую, потому что ты никогда не испытаешь боли, которую терпит женщина, имеющая сердце. А жалею из-за того, что с таким презрением к жизни ты никогда не выйдешь замуж.

Эстер не ожидала, что эти слова могут задеть ее.

– Я не презираю жизнь, – тихо сказала она. – Это только…

– Что? – так же тихо спросила Мэри, повернувшись к ней.

– Я не верю, что брак принесет мне то, чего я желаю.

– Отчего же?

На какое-то мгновение Эстер, сама не зная почему, пожелала, чтобы Мэри поняла, что она потеряет, если станет собственностью мужчины.

– Для такой, как я, замужество и есть презрение к жизни.

– Чепуху говоришь, – махнула рукой Мэри.

Однако в ее глазах мерцал огонек интереса.

– Была одна женщина, – начала Эстер, – и звали ее Юлиана Норвичская.

Она умолкла. Мэри никогда не поймет ее. Увидев мысленным взором глаза Джона, когда тот наклонился к ней, чтобы поцеловать на прощание, Эстер начала заново:

– Я понимаю, ты стремишься замуж. Для тебя это хорошо. Но, Мэри, зачем ты приглашаешь человека, который настолько ослеплен состоянием твоего отца, что даже не замечает тебя среди всех этих серебряных тарелок, чашек и драпировок… – она обвела рукой окружавшую их обстановку. – Богатство не должно быть главным и тем более единственным соображением жениха.

– Но Томас приходит ко мне не из-за денег отца! – перебила ее Мэри. – Или ты настолько ослеплена ревностью, что не замечаешь любви?

Эстер чувствовала, будто кто-то невидимый и незнакомый говорит вместо нее:

– Он неравнодушен к тебе, да. Но пока ты не сводишь с него взгляда, он с удовольствием рассматривает твои дамастные[52] портьеры!

– Это так ты выполняешь просьбу моей матери? – воскликнула Мэри.

– Нет…

– Нет, потому что она мертва!

Лицо Мэри было мокрым от слез. Неразумных и вызывающих зависть. Эстер хотелось прикоснуться к ним.

– Как и моя, – негромко сказала она. – У нас никого, кроме нас, чтобы помогать друг другу.

– Уходи, – сказала Мэри, наконец совладав с собой. – Уходи, как этот дьявол Бескос. Но вот тебе правда: вы оба завидуете любви, которая у нас есть!

Эстер почувствовала, что и у нее на глазах выступили слезы.

– Возможно.

Она шла домой по скользким от воды мостовым, одними губами бормоча слова, которые звучали для нее как молитва. Но это была молитва другому богу: тому, который, как и она, знал горечь этого мира и не имел силы изменить его. «Убей. Убей ту часть меня, что жаждет любви!»

Ей не удалось уберечь Мэри. Не оттаскивать же ее от Томаса за руки, как ребенка. Мэри сделала свой выбор. Взяв деньги, Эстер сделалась хозяйкой борделя, но и что ж из того? Нужно закалить себя. Она должна.

И все же, размышляя, Эстер вспоминала исполненные надежды глаза Мэри, когда Томас входил в ее дом.

Какие могут быть обязательства у одной души перед другой в таком мире?

Последнее время Эстер часто лежала без сна, обдумывая новые мысли, подтверждение которым хотела найти в книгах раввина. Но часто эти мысли, тщательно уложенные кирпичики, на которых она надеялась построить понимание мира, рассыпались к рассвету. Раввина было нетрудно обмануть, но в ночной темноте Эстер и сама была слепа. Поэтому днем она пользовалась каждым мгновением, когда ей дозволялось присутствовать в кабинете Га-Коэна Мендеса. Накануне, желая подтвердить формулировку декартовского понятия протяженности, над которым она промучилась не одну ночь, пока слезы досады не выступали на глазах, Эстер забыла, что письмо,

которое она должна была переписать (совет раввина своему бывшему ученику в Венеции), совсем коротенькое. После долгого молчания – пять минут или дольше? – раввин поднял голову и повернул в сторону Эстер лицо, словно ловя слабые солнечные лучи:

– Это ж сколько страниц тебе нужно перевернуть ради моего скромного послания?

Была ли в этих словах ирония? Однако раввин спокойно продолжал:

– Быть может, я нагружаю тебя чрезмерной работой?

Быстро закрыв «Размышления» Декарта, Эстер согласилась, что на сегодня, наверное, действительно достаточно.

Чувства сломили бы ее. Каждая из ниточек, что чувства протягивают между людьми, для Эстер превратилась бы в привязь, удерживающую от заветной цели. Мужчины, возможно, могут сочетать сердце и разум, но женщинам такая роскошь недоступна. Кэтрин – разве она не задохнулась в лондонском воздухе, повинуясь добродетелям любви и послушания? Как легко правила женской добродетели превращаются в кандалы.

«Должно провозгласить новый вид добродетели, – думала Эстер, – добродетель, которая позволяла бы пренебрегать правилами и даже идти на хитрость, когда этого требуют обстоятельства».

Или, по крайней мере, подобное было бы простительно.

Последнее время, отвлекаясь от работы, Эстер видела на лице раввина – лице, знакомом ей с детства, – усталость и голод, и в ней остро вспыхивало желание получить его прощение.

Но какие обязательства в этом мире?

От выпитого вина у Мэри кружилась голова. С утра она съела только кусок хлеба и конфету. Придя домой, Эстер отдаст Ривке все, что заработала, хотя класть деньги на кухонный стол и больно. Но как она могла потратить эти монеты на свечи и книги, как бы ей ни хотелось? С каждой неделей Ривка работала все больше и больше, стирая белье для соседей за дополнительную плату, потому что не стала бы просить ничего у Диего да Коста Мендеса, разве что для спасения жизни раввина. Вместо этого она терпеливо готовила на самом маленьком огне, снова и снова разжигая остатки полупрогоревших углей. Пшеничные хлебцы она пекла только для раввина, а себе и Эстер делала булки из ячменной и ржаной муки

самого низкого сорта, в которых, несмотря даже на самое тщательное просеивание, попадались песчинки. Эстер, жуя, пробовала каждый кусок на ощупь языком, а у Ривки уже треснул передний зуб.

Пусть Диего да Коста Мендес и не замечал все более горькую их нужду, некто иной все же обратил на них внимание. Во вторник, когда Ривки не было дома, в дом пожаловал Мануэль Га-Леви с «небольшим подарком». Вручая Эстер мешочек с монетами, он быстро перевел разговор на погоду, заметив, что ветер, хоть и влажный, благоприятствует торговым судам, и она поняла, что этот обновленный Га-Леви хочет спасти их от позора нищеты. Эстер вернула мешочек с монетами Мануэлю и с натянутой улыбкой пригласила его прийти в другой день и вручить деньги Ривке, которая ведет хозяйство. Мануэль невозмутимо улыбнулся и пообещал так и поступить.

Эстер боялась, что Ривка, томимая нуждой, примет благотворительный порыв Мануэля и таким образом она окажется в долгу.

Сегодня утром, наблюдая, как Ривка работает, искривив верхнюю губу над сломанным зубом, Эстер ненадолго отвлеклась от своих кухонных забот и представила себе ее существование. У Ривки не было возможности бежать в иные миры, не было никакой возможности отдохнуть от бесконечной рутины. Она не умела мечтать, чтобы ее мысли воспарили в дымное лондонское небо и опустились в каком-нибудь более светлом месте.

Но как помочь Ривке, когда над самой Эстер нависла угроза погрузиться в такую же тьму, что приводило ее в страх, граничащий с ужасом?

Она дошла до дома, повесила мокрый плащ и остановилась посреди пустой комнаты.

На письменном столе лежало письмо с еще целой красной сургучной печатью. Эстер осторожно приблизилась. Почерк, которым был выведен адрес, выглядел незнакомым, но печать – маленькая шипастая роза и латинское слово «Caute»[53] – рассказала все. Роза означала и фамилию «Спиноза» – «шипастая», и необходимость проявлять осторожность, sub rosa[54]. Непослушными руками Эстер взяла конверт. Оно было адресовано Томасу Фэрроу.

Она сломала печать.

В ответах на свои послания Эстер не раз встречалась с упреками. Она пыталась писать Мерсенну, не зная, что тот давно умер, и получила яростный ответ от его экономки. Однако написанное на этом листе уязвляло куда больше.

7 мая 1665 года

Мистеру Т-су Фэрроу

Я получил два ваших послания, и это письмо – ответ на оба.

Ваша настойчивость достойна восхищения, однако я позволю себе усомниться в ее целесообразности.

Вы не восхищаетесь моими трудами, однако полагаете, что проникли в самую суть их, исходя из почерпнутых вами сведений от неназванного источника. Мне уже приходилось сталкиваться с теми, кто искажает приведенные мной аргументы, распространяя их на область атеизма, на каковую я вовсе не претендую. Если и ваше намерение таково, то позволю себе предупредить вас, что в таком случае наша переписка прекратится.

Последнее время меня весьма донимает некий ван Блиенбург, каковой заявляет, что, как и вы, ищет истину, однако, как мне кажется, этот человек просто желает исказить и очернить мои суждения.

Если вы преследуете ту же цель, что и он, – то есть желаете поймать меня в ловушку моих же утверждений, то знайте, что я не боюсь собственных мыслей, хотя остальной мир может быть и иного мнения. Если у вас есть желание познать мою философию, вы можете прочесть мои сочинения, над которыми я работаю и посейчас. И когда-нибудь вы поймете, что мысли, которые я излагаю, следуют чистой логике. Вот что я вам хотел бы сказать: я опровергаю не Божественное начало, а лишь ложное его понимание, и те, кто излагает мою мысль иначе, только извращают ее.

Замечу еще: вы излагаете свои доводы бессистемно.

Я удивлен, что вам известно о моем знакомстве с раввином Га-Коэном Мендесом. Я не упоминал его имени в своих работах и полагаю, что он не известен никому, кроме разве людей из амстердамской общины. Из-за своей немощи он не смог распространить свои знания в Англии. Что же в нем вызвало у вас такое восхищение?

Впрочем, если предположить, что вы правдивы со мной, то замечу, что мы с вами едины во мнении относительно учителя. Ребе Га-Коэн Мендес всегда был человеком с большим сердцем, хоть его мысль и не смогла переступить через стены, внутри коих была заключена. Если он еще жив, то прошу передать, что я отношусь к нему с уважением, хотя херем в отношении меня означает, что и учитель выступает против моих суждений. Только ради него я и написал вам, ибо дальнейшей переписки не желаю.

Если же мой тон вас оскорбил, прошу понять, что я избрал его, потому что вы используете мои логические построения так, чтобы выставить меня тем, кем я на самом деле не являюсь. Сам факт моего существования создает для меня немалые трудности, и дальнейшие измышления на сей предмет я считаю излишними. Если же вам угодно рассуждать об атеизме, то разрабатывайте эту тему сами, а меня увольте.

Бенедикт де Спиноза

Эстер несколько раз перечитала письмо, а потом взяла перо и, не переодеваясь, быстро стала писать.

Ваша осторожность весьма разумна. И если я слишком поспешно вступил в дискуссию, то прошу меня извинить. Мои намерения чисты, в чем я клянусь даже не своим добрым именем (в нашем мире имя легко взять и еще легче потерять), а своим уважением к раввину, честное имя которого я считаю неприкосновенным. Если бы вы поверили, что мне самому крайне необходимо придерживаться принципа осторожности, то ваши опасения развеялись бы. Я

пишу тайно, ибо мысли мои считаются неприемлемыми. И потому я не могу писать ничего, кроме того, что считаю истиной. Я не намерен подводить вас к предосудительным суждениями, но был бы весьма рад, если бы нам совместно удалось выявить новые истины.

Возможно, вы опасаетесь того, что я пытаюсь раскрыть ваши мысли без риска для себя. В таком случае я изложу вам свое кредо: Бог, которому нас заставляют молиться богословы, Бог, который в мире страданий помогает одним, но воздерживается от помощи другим, не может вместить приписываемого Ему милосердия. И посему я утверждаю, что такого Бога, которому мы по привычке молимся, не существует. К этому добавлю, что не существует никакого Божественного вмешательства, нет никакого верховного судии. Таким образом, прежде следует дать определение добра и зла. Эти дефиниции очерчивают поле деятельности философа и являются точкой отсчета для рассуждений.

Итак, теперь я открыт для вас. Вы можете провозгласить меня атеистом, вы можете опубликовать мой адрес, и, если будет на то ваша воля, вы можете превратить мою жизнь в подлинный ад или даже вовсе покончить с ней.

Вопросы, которыми я задаюсь, ныне не угрожают смертью тем, кто произносит их шепотом, однако, полагаю, огласи их кто публично, мне быстро бы доказали обратное.

Теперь, когда я доверился вам, возможно ли нам объединить наши силы для рассуждений относительно устройства мироздания?

Ваши «Принципы» доказывают несомненный дар и уверяют мой дух, что я не одинок в поисках истины. Но все же повторюсь: эти слова, должно быть, лишь часть вашей философии, ограда, что удерживает гору вашей настоящей мысли.

Увлеченная работой, Эстер не услышала, как в кабинет вошел раввин. Он подошел к камину и скрипнул стулом.

– Чем же ты занимаешься в такой час? – удивился учитель.

Рука Эстер замерла над письмом.

– Снимаю копию, – объяснила девушка. – Пролила чернила на вчерашнюю работу.

Раввин ничего не сказал и нахмурился.

– Я закончу позже, – сказала Эстер.

Ребе неспешно кивнул. Он неважно выглядел, как будто послеобеденный сон не принес ему облегчения. Ему явно нездоровилось. Эстер последнее время часто обращала внимание на его слишком тихое дыхание и прозрачность кожи – словно Смерть уже наложила на старика свою печать.

Но, несмотря на слабость, раввин продолжал тратить последние силы на работу, о которой, казалось, молил его мир. Эстер не могла понять, губит ли его труд или, наоборот, помогает держаться. Возможно, и то, и другое было истиной.

– Сегодня ты чем-то озабочена, – сказал раввин.

Эстер ничего не ответила.

– Ты не сможешь изучать Писание, – продолжал раввин, – когда твой дух смущен. Но вот если тебе удастся распустить узел своей досады, то слова войдут в твой дух и помогут ему обрести покой. Именно так было со мной всю мою жизнь.

Раввин осторожно прикоснулся рукой к виску, словно пытаясь поделиться со своей ученицей теми мыслями, что населяли его голову.

– Когда Бог творил мир, прежде всего Он сотворил свет. Потерять его для меня было сильным ударом. Какое-то время я ощущал тьму еще более глубокую, чем просто отсутствие света. Быть может, и ты испытывала нечто подобное… Слова и знание, что они несут, стали для меня светом. И я уверен, что это относится и к тебе.

Эстер понимала, что старик беспокоится о ней, что он ищет дверь в дом ее духа. Такого подарка она не заслужила.

– Барух де Спиноза, – тихо и словно умоляя спросила она, – был вашим любимым учеником?

– Де Спиноза, – резко выдохнул раввин, – был самой моей большой печалью. Махамад издал свой указ с одобрения раввинов Талмуд-Торы, хотя я и пытался образумить их. Но суровость их херема безвозвратно изгнала чистую душу из нашей жизни.

– И освободила ее, – добавила Эстер, прикусив губу. – Теперь он может мыслить свободно и писать то, что считает нужным.

Раввин сморщился, как от неприятного запаха.

– Пойми, Эстер, де Спиноза запутался в своих заблуждениях.

Горло Эстер перехватил спазм. Она отрицательно покачала головой, благо раввин не мог видеть этого жеста. На мгновение в ее памяти всплыл образ юного Спинозы: стройный наблюдательный юноша в дверном проеме, когда он провожал учителя в дом ее отца. Какие бы еретические мысли ни исповедовал Спиноза в те годы, он хранил их при себе, сделав их достоянием публики лишь после смерти отца. Делал ли он это умышленно, не желая предать родителя, как предала своего учителя Эстер? Какой же эгоизм царит в ее душе? Что повелело ей освободить свой разум, хотя она и понимала, что он ранит многих?

– Эстер, – произнес раввин, поднимаясь со своего места.

Девушка поспешно вскочила, готовая поддержать старика, чтобы тот не упал.

– Херем никого не освобождает. Он отделяет человека от общества и, таким образом, делает для него запретным все, что заповедано еврею, что может утешить нас, как утешало на Синае. Это полное одиночество, Эстер. Какая же это жизнь – без опоры под ногами, кроме лишь логики собственного ума?

Щеки его порозовели от волнения – никогда еще Эстер не видела учителя столь взволнованным.

– Простите меня, – молвила девушка. – Я не собиралась…

– Барух де Спиноза ошибся, да простит ему Бог, – отвечал раввин, тяжело роняя слова. – И он терпит страдания, даже если и не понимает этого. Жить без веры – все равно что жить смертью. И мне не удалось открыть ему глаза.

Несколько мгновений он держался за спинку кресла, но силы оставили его, и раввин опустился на подушку.

– Я до сих пор проливаю по нему слезы, – выдохнул учитель. – И всегда буду сожалеть, что подвел его.

– Но все-таки он еще жив, – сказала Эстер. – Он… Где бы он ни был, он все равно должен в глубине души благодарить вас за то, что вы были его учителем.

Раввин покачал головой, стараясь умерить прерывистое дыхание.

– Для нас он мертв. Наверняка в собственном сердце он чувствует это. Этот юноша, которому был доверен свет мудрости, умер.

За спиной раввина потрескивал огонь. Щеки старика приняли обычный свой бледный оттенок, дыхание снова сделалось едва заметным.

– Вы с ним были моими лучшими учениками, – сказал он.

Эстер молча смотрела на учителя.

– Даже в детстве, – продолжал раввин, – ты проявляла одаренность, которую я заметил в нем. Но у тебя ум прямой, а у него – лабиринт. Однако во многом вы похожи. Я часто думал об этом. На мою долю выпало делиться светом познания со всеми, кто приходит ко мне, и в то же время видеть, как величайшие дары рассыпаются в прах: один проницательный и живой ум достался отступнику, которого мне не удалось спасти, другой же принадлежит женщине, каковая никогда не сможет использовать его в полной мере. Но Бог позаботился о том, чтобы я сподобился учить Его слову, и это я считаю достаточной для меня честью. Не мне решать, какие из семян, что я сажаю, прорастут, а какие останутся не проросшими или же погибнут. Эстер, не соверши ошибки, принимая смерть за жизнь.

Его лицо затуманилось, и она не могла догадаться, что именно известно старику.

– Записывай за мной.

Глава девятнадцатая

Лондон

18 марта 2001 года

Хелен поставила чайник на огонь, прибрала на кухне и переоделась в ночную рубашку. Чайник призывно засвистел. Она заварила чай и, прихлебывая дымящуюся жидкость, выудила из кипы счетов и рекламных проспектов свежий номер «Истории раннего Нового времени». Перед тем как перевернуть страницу, она поставила чашку на стол, придерживая ее обеими руками. На мгновение обвела взглядом кухню: безупречно чистый стол, белые занавески, неяркий свет абажура. Герань на подоконнике.

«Сколько же еще?»

И сама ответила себе – навсегда. Она будет жить в этой квартире, одна, до самой смерти. Нет, она не поедет ни в какое ужасное заведение, хотя доктор Хэммонд призывает ее подготовиться к, как он выражается, возможным событиям. И что, если перспектива медленного одинокого угасания в тисках болезни Паркинсона порой ужасает ее? Что ж, она может (или не может?) просто выбросить эти мысли из головы.

Во всяком случае, пока работа занимает все ее время. Всю зиму они с Аароном, словно заключив пакт о молчании относительно предстоящей публикации Уилтона, встречались в зале редких рукописей, когда Патриции выдавали новую партию документов. В перерывах, когда лаборатория была загружена другими, отложенными проектами, они перепроверяли переводы и занимались архивными исследованиями. Впрочем, никаких других доказательств существования Томаса Фэрроу, а равно подтверждений какой-либо связи между Фэрроу и Эстер Веласкес, разыскать не удалось. Если бы Аарон не успел перевести этот документ перед тем, как надорвать его, Хелен подумала бы, что это всего-навсего галлюцинация. Но они

продолжали работать, забыв о том, что, несмотря на такое усердие, у них единым махом могут отобрать все.

Позитивная жизненная позиция: Хэммонд должен принять это к сведению.

Хелен отставила чай, открыла журнал и нашла оглавление.

Чтобы осознать увиденное, ей потребовалось несколько секунд. Публикация появилась неслыханно рано. Хелен ожидала увидеть ее не раньше лета. Она догадалась, что редактор зарезервировал место для Уилтона по просьбе Джонатана Мартина сразу после того, как были выкуплены ричмондские бумаги.

Ее буквально скрутило от болезненного приступа.

> Саббатианская Флоренция и женщина-писец: потрясающая находка под лондонской лестницей!

Хелен старалась читать, но глаза перепрыгивали со строки на строку, выхватывая отдельные фразы. Буквы то увеличивались, то съеживались до полной нечитаемости, строки словно плавились и текли. Только со второго раза ей удалось дочитать статью до конца, сложив ее в упорядоченные абзацы.

> Женщина-переписчик свидетельствует о том, что наше устоявшееся понимание сефардских обычаев той эпохи далеко не полно. И хотя мы пока не обладаем свидетельствами каких-либо отступлений ранней лондонской общины от указаний амстердамских раввинов, следует признать, что до укрепления в Лондоне авторитета махамада был период, когда даже женщине-переписчику было позволено работать для местного раввина.
>
> Как уже указывалось, по техническим причинам, связанным с процессом консервации, часть документов осталась неисследованной, и если после их обработки потребуются дополнения или уточнения, таковые будут представлены для публикации.
>
> Столь нетипичная для еврейской девушки работа, безусловно, представляет собой интересную аномалию, заслуживающую более глубокого исследования. Однако

слова ученого, записанные ею, представляют собой наиболее важное открытие. Флорентийский кризис, о котором мы впервые узнали из найденных документов, являет собой новость, имеющую научное значение с точки зрения понимания роли данной еврейской общины в истории евреев во всем регионе. И хотя отсутствие предшествующей информации о саббатианской ереси во Флоренции может показаться странным, это можно объяснить несколькими факторами, заслуживающими краткого упоминания здесь.

Хелен перечитала всю статью, стараясь найти несоответствия, но не нашла ни одного. Рассуждения Уилтона выглядели ясно и убедительно. Хелен признала, что основные моменты ему удалось изложить более четко, чем она сама могла бы сделать. Уилтон, несомненно, обладал определенным чутьем, он умел превратить сухие факты в интересный рассказ. Он не преминул упомянуть и письмо об изгнании молодого еврея за его склонность к однополой любви. Аарон Леви перевел это письмо только на прошлой неделе и надеялся, что группа Уилтона не упомянет о нем в работе, но те не упустили ничего, застолбив все темы.

Краткое послание Га-Коэна Мендеса известному торговцу Бенджамину Га-Леви не только свидетельствует о гомосексуальности его сына Альваро Га-Леви, но и говорит о весьма мягкой позиции Мендеса относительно проступка юноши и несогласии раввина с довольно жесткой позицией отца. Но Бенджамин Га-Леви не только не воспринял доводы Мендеса, а отправил своего сына на морскую службу (см. список личного состава корабля «Триумф», отплывшего из Англии в 1665 году и погибшего со всем экипажем во время шторма у берегов Бразилии). Такое суровое наказание вкупе с просьбой раввина («не нам побивать камнями грешника…») отображает целую гамму реакций еврейского общества на распущенные нравы в Лондоне эпохи Реставрации.

Что касается документа с двойным текстом, то это – самый загадочный памятник. Конечно, было бы весьма

заманчиво разъяснить полный его смысл, однако, учитывая, что лондонская община так и не дала миру своего Пипса[55], который описал бы людей и социальную жизнь, нам кажется маловероятным, что мы когда-нибудь узнаем о подлинных биографиях упоминаемых личностей. Скорее всего, за личностью писца скрывается дочь Самуила Веласкеса из Амстердама, которая, как известно, после смерти родителей сделалась вместе с младшим братом воспитанницей в доме раввина Мендеса (подлинные имена брата и сестры еще потребуется установить). Но мы можем предположить, что образование этой юной женщины не предоставляло ей возможности участвовать в ученых дискуссиях. Написанное ею, вероятно, является смесью ее собственных мыслей и обрывков разговоров, услышанных в доме Мендеса. Учитывая довольно бессвязный характер текста, написанного между строк, вполне возможно, что она просто копировала строки из какого-нибудь стихотворения или иного текста, неизвестного современному читателю. Писец мог, разумеется, упражняться для тренировки памяти или практиковаться в чистописании. Последние строки текста указывают именно на это – цитата из «Ричарда II» свидетельствует о том, что девушка разбиралась в популярной литературе и театре того времени и, возможно, пыталась продемонстрировать знание своего любимого стиха, начертав его между строк другого текста.

Можно сравнить обнаруженный документ с дневником Глюкл из Гамельна, однако этот разрозненный набор фраз не дает информации о деталях повседневной жизни, какую предоставляет нам дневник Глюкл. Тем не менее, хотя написанное молодой женщиной и является открытием куда меньшего масштаба, оно интересно само по себе. Голос ее, впрочем иногда срывающийся (ибо любой человек может оказаться в трудной ситуации), может рассматриваться как трогательный человеческий комментарий к серьезному историческому событию – саббатианскому кризису во Флоренции.

> За данной статьей, несомненно, последует еще много исследований. Необходимо воссоздать биографию раввина Га-Коэна Мендеса, о котором пока что известно слишком мало, а кроме того, изучение деталей жизни женщин лондонской еврейской общины семнадцатого века на примере конкретной женщины-писца заслуживает того, чтобы стать темой для отдельной диссертации.
>
> Не желая смешивать научное с личным, все же заметим, что для нас представляет большую честь возможность объявить о столь ценной находке, а также о многообещающих перспективах исследования обретенных документов.

Перед тем как ехать в университет, Хелен позавтракала, причем забыла нож для масла, а пакет с молоком поставила вместо холодильника в шкаф. Сев за стол, она не стала заправлять за ворот салфетку и, проклиная свой возраст и немощь, попыталась донести до рта приготовленный сэндвич, усыпав крошками скатерть. Если бы она не воевала всю жизнь с собой, со своим телом, возможно было бы ей полюбить и человека, и выбрать для себя иное будущее?

Кто теперь может об этом знать?

Ее блузка краснела пятнышками помидорного сока. Можно, конечно, и не переодеваться вовсе и выйти из дома так – испачканной, побежденной. Тогда, в Ричмонде, Аарон как-то спросил ее, ест ли она вообще. В то время Хелен была совершенно уверена, что найденные бумаги останутся за ней.

Да, она ела. Но не при посторонних. Кроме лечащего врача никто не должен был видеть ее трясущихся рук.

И тут Хелен вздрогнула: а Аарон? В первый их день в ричмондском доме она намеренно продемонстрировала ему, что у нее трясутся руки. Это был своего рода вызов, демонстрация. Но зачем? Неужели в поисках сочувствующей души она просто запугала своего помощника? И ведь ей это удалось: увидев на лице Аарона Леви выражение неподдельного ужаса, она до конца дня не могла с ним разговаривать.

Хелен встала, дошла до платяного шкафа и переодела блузку.

Аарон дожидался ее возле дверей хранилища редких рукописей. Выглядел он так, будто откусил что-то мерзкое и решал, стоит ли глотать.

– Я читал статью, – сказал он.

Хелен молча кивнула.

К ее удивлению, он протянул руку и, прежде чем она догадалась, забрал ее тяжелую сумку. Легко закинув лямку на плечо, Аарон глубоко вздохнул:

– А не послать ли нам все это к?..

И распахнул перед Хелен дверь.

Ей потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что именно она почувствовала, когда проходила мимо. Защищенность. Своим присутствием Аарон защищал ее. Да, скорее всего, это было бесполезно, но все же Хелен преисполнилась благодарности.

Надо было переговорить, но Патриция уже несла им свежие документы. Это несколько затрудняло разговор, однако Хелен считала, что обязана предупредить своего ассистента.

– Вам следовало бы присоединиться к группе Уилтона, – сказала она, старательно отводя глаза.

Подошла Патриция и положила перед каждым по новой бумаге. Хелен дождалась, когда библиотекарь уйдет, и продолжила, все еще глядя куда-то вбок:

– Думаю, они вас примут. Вы ценный сотрудник.

Аарон молчал. Хелен вскинула на него взгляд.

– Это еще один комплимент, – пояснила она, безуспешно постаравшись добавить веселости в голос.

Казалось, Аарон хотел ответить что-то ироническое, но сказал лишь:

– Благодарю.

– Вы знаете, что я скоро уйду на пенсию, – через силу выговорила Хелен. – Я напишу вам рекомендацию.

– Не нужно.

Тут дверь в зал отворилась, и вошел Уилтон в сопровождении коллег. Они прошли по широкому проходу и сложили свои вещи в шкафчики. Хелен показалось, что перед ней возник сонм прекрасных и одновременно устрашающих ангелов со старой картины. Однако Аарон прямо и безо всякой улыбки смотрел на конкурентов.

Уилтон поравнялся с их столом. Хелен заставила себя подняться с места и взглянуть на врага.

– Поздравляю, – произнесла она. – Хорошая статья.

Уилтон, чуть помявшись, кивнул:

– Спасибо. Признаться, мне приятно, что статья встретила теплый прием. Но, разумеется, сам факт обнаружения этой сокровищницы гораздо важнее, чем вся проделанная нашей группой работа.

Хелен натянуто улыбнулась.

– Вы знакомы с Аароном Леви?

Уилтон сделал шаг вперед и пожал руку молодому человеку. Он не отошел сразу от стола, а стоял, положив на него ладонь, и Хелен поняла: Уилтону нужно немного подсластить пилюлю, чтобы в полной мере насладиться своим триумфом. Сокрушив ее, он хочет проявить немного великодушия.

Но тут она заметила, что его внимание приковано к бумаге, лежащей перед Аароном.

– Мне кажется, – произнес Уилтон, – это последнее письмо, касающееся саббатианского кризиса во Флоренции.

– Откуда вам это известно? – резко спросила Хелен, сразу же пожалев о своей горячности.

– Раввин умер восьмого июля того же года, в самый разгар чумы, – сообщил Уилтон. – Его смерть зафиксирована в метрической книге, и запись, судя по всему, соответствует действительности. Письмо же датировано десятью днями ранее.

Лицо Уилтона приняло сочувственное выражение:

– Грустно, что он ушел. Все это трогательно, не так ли?

Хелен понимала, что Уилтону хотелось понравиться ей, и она сама чувствовала симпатию к нему.

– Очень, – нетвердым голосом произнесла она.

– Может, это и последнее письмо о саббатианской ереси, – сказал Аарон, – а быть может, и нет.

– Да, вы правы, – улыбнулся ему Уилтон. – В нашем деле нужно быть внимательным. Можете проверить дату смерти раввина по метрической книге.

– Уж проверю, – почти вызывающим голосом отозвался Аарон, но Уилтон ответил ему самой дружелюбной улыбкой.

– Вы хороший специалист, – заметил он. – Все нужно перепроверять.

Уилтон направился к своему столу. Аарон подождал несколько мгновений, вздохнул и размял шею.

– Все нужно перепроверять, – повторил он издевательски.

– Не пререкайтесь с Уилтоном, – проскрипела Хелен. – Будьте благоразумны.

– А может, я и не злюсь. Может быть, у меня другие мотивы.

– Какие же?

– Не знаю, – пожал Аарон плечами. – Может, вы мне нравитесь.

Хелен сморгнула от неожиданности.

– Вы действительно еще глупее, чем казалось сначала.

Аарон отодвинулся от стола:

– Вот что я вам скажу. Напишите мне рекомендацию для Уилтона, ладно? Я не дурак. Напишите, и мы поработаем вместе еще пару недель, а если не будет никаких прорывов, я уйду. Хоть бы и к Уилтону.

Хелен взглянула на Аарона:

– Да чем он вам не угодил? Он… – Хелен окинула взглядом собравшуюся за соседним столом группу, – он вам ближе, чем я.

– Мне не понравилось, как он отозвался о ней, – ответил после недолгого молчания Аарон.

– О ком?

– Об Эстер.

Аарон вынул блокнот и принялся за работу.

Перед Хелен на столе лежал документ – судя по всему, еще один список расходов, как и многие из бумаг, что они разбирали за последние месяцы. По словам Патриции из консервационной лаборатории, всего в хранилище оставалось пятнадцать бумаг, десять из которых будут доступны для работы в течение нескольких дней. Четыре документа требуют более серьезной подготовки, а надорванный Аароном лист теперь стал последним в очереди.

Впервые за всю свою жизнь Хелен не была уверена, что ей хватит сил начать работу. Смысла отрицать очевидное не было. Даже если Уилтон и споткнется на какой-нибудь трудности, наверняка появятся новые конкуренты.

– Что мы можем сделать за пару недель? – спросила Хелен, слыша свой голос как будто издалека. – Мы безнадежно отстали от Уилтона.

– Да, вы правы, – немедленно отозвался Аарон. – Безнадежно.

Хелен обернулась на его голос и замерла, увидев улыбку. Если бы она не знала Аарона, то могла бы подумать, что он заигрывает.

– Я должен кое-что показать вам, – промурлыкал он.

«Не рехнулся ли он?» – промелькнуло в голове у Хелен.

– Вчера вечером, едва я дочитал статью Уилтона, пришло письмо от аспиранта Годвина.

Он открыл свой ноутбук и поставил его себе на колени.

– От Годвина?

– Да, того аспиранта из Мичигана, который интересуется Томасом Фэрроу. Вы должны помнить, я писал ему несколько недель назад. И получил весьма туманный ответ, совсем не по делу. А вот теперь до меня дошло.

Он открыл электронное письмо. Хелен прищурилась на мелкий шрифт, и Аарон увеличил его. Убедившись, что рядом нет Патриции, он поставил компьютер на стол и почесал подбородок:

– Годвин считает, что Томас Фэрроу станет великим открытием в истории философии. Хотя видно, что он несколько зациклился на нем.

> Аарон, извините меня, что не сразу ответил на ваше письмо, поскольку был занят. Мою статью о Томасе Фэрроу наконец приняли – она выйдет в следующем году в «Archiv für Geschichte Philosophie»[56]. Теперь я могу быть несколько свободнее в своих выводах. Не хочу казаться параноиком, но… мало кто из ученых хотел бы, чтобы его подняли на смех, если вы понимаете, о чем я.
>
> Итак, вы хотели бы узнать о личности Томаса Фэрроу. Я не утверждаю, что являюсь экспертом, хотя в данном случае это не так уж трудно, поскольку никто в научном мире им не интересуется. Надеюсь, мне удастся это изменить.
>
> Томас Фэрроу был сыном одного мелкого дворянина из Вустершира. Братьев у него не было, только сестры, и хотя у отца имелось кое-какое состояние, тот не спешил расщедриваться, если дело касалось Томаса. Распутство сына сильно огорчало отца, отчего он так и не заметил глубокий

интеллектуальный потенциал своего отпрыска. И это весьма удручает, учитывая то, что мы знаем о Томасе теперь.

Томас Фэрроу, видимо, не слишком отличался во время учебы в Оксфорде, и образование его прервала война. Чем он занимался в период Междуцарствия, доподлинно неизвестно, но позже стал актером – полагаю, второстепенным и уже миновавшим пик своей карьеры (если таковой и был) к тому моменту, когда театры вновь открылись при Карле II. Удивление вызывает тот факт, что он раскрылся как философ в шестьдесят пятом – седьмом годах. Может показаться, что его работы появились из ниоткуда, хотя более внимательное изучение его наследия показывает, что Фэрроу опирался на предыдущий опыт.

Я намереваюсь подробно изложить свои соображения в будущей статье, которая, как мне сказали, должна выйти в следующем номере журнала, поэтому сейчас воздержусь от дальнейших рассуждений. Замечу только, что письма Фэрроу мне удалось разыскать в архивах Королевского общества, а упоминания о нем – в работах ван ден Эндена и Адриана Корбага. В некоторых письмах Фэрроу содержатся довольно смелые утверждения, в других – более подробные философские выкладки. Среди прочего замечу, что Фэрроу занял позицию относительно Божественного начала даже более смелую, чем Гоббс, что было весьма рискованным поступком. Фэрроу откровенно рассуждает об атеизме, что в те времена грозило смертью. Судя по всему, его весьма интересовал вопрос о Божественной природе, и в зависимости от ответа на него – природа моральных и социальных обязательств человека.

За свою недолгую научную жизнь Фэрроу не привлек особого внимания ученых, поскольку у него не было последователей и союзников, которые могли бы распространять информацию о его работах. Причина кроется в том, что он был груб. Он не преклонялся перед авторитетом других философов, не писал длинных цветистых вступлений и посвящений, возражал прямо, а не в стиле «в свете вашего возвышенного ума мои ничтожные предположения». Мне

повезло сделать значительную находку: я откопал письмо Томаса Брауна к некоему Джонатану Пирсу, малоизвестному члену Королевского общества. Браун жалуется: «Этот невоспитанный Фэрроу разрушит ваши рассуждения одной короткой и жестокой фразой».

Жестокая короткая фраза… Но, по крайней мере, Фэрроу пользовался уважением, не правда ли?

Да, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас. Мне пришлось немало потрудиться, чтобы убедить коллег в том, что данная тема достойна диссертации. Не вдаваясь в детали нелегкой аспирантской жизни (думаю, вам они хорошо знакомы), скажу лишь, что я уже почти разуверился, что мою статью о Фэрроу когда-либо примут в печать. Но ваше письмо подало мне надежду – оказывается, не я один интересуюсь этой темой. Я считаю Фэрроу неоткрытой жемчужиной, и тот факт, что его научная деятельность оборвалась из-за случайной смерти в возрасте сорока семи лет, несомненно, большая трагедия. И мне хочется исправить историческую несправедливость, вырвав Томаса Фэрроу из бездны забвения. Возможно, в начале своей карьеры он ничем не выделялся, однако под этой скромной личиной скрывался замечательный ум. Это лишний раз доказывает, что никогда не знаешь, какой мыслитель окажется гением, пока не увидишь конечные результаты его работы.

По крайней мере, надеюсь, что мой научный руководитель сделает такой вывод через несколько лет.

Всего доброго,

Дерек

Хелен дважды перечитала письмо, затем повернулась к Аарону, причем лицо ее светилось ожиданием.

– Думаете, у нас есть шанс? – спросил тот.

Ей захотелось притвориться, что она не понимает, о чем говорит Аарон, что она не думает, будто у них есть какой-то шанс, что она не разделяет его оптимизма… Однако предостережения мгновенно вылетели у нее из головы. Зачем этот академический маньеризм:

притворяться, что не знаешь, хотя точно уверен, – пока не перепроверишь все сто раз? Что пользы в нем? Да и что теперь ей терять?

– Это была она, – сказала Хелен. – Это она подписалась «Томас Фэрроу».

Используя имя Фэрроу, Эстер открывала перед собой целый мир возможностей. Так она могла вести тайную переписку.

А что же насчет настоящего Томаса Фэрроу? Простое совпадение или же Эстер лично знала его?

– А вы могли бы попросить у Годвина препринт статьи?

– Уже попросил, – сказал Аарон.

Хелен одобрительно кивнула.

– Кажется, Уилтон считает написанное между строк следствием ученического энтузиазма, – заметил Аарон. – Но что, если Эстер писала правду о своем решении работать под чужим именем?

Да. Да… Хелен легко могла предвидеть возражения любого специалиста в этой области: у евреев семнадцатого века не существовало традиции исповедальной литературы; не было принято изливать душу на бумаге; женщины, знавшие грамоту, использовали свои знания только в домашнем хозяйстве… Но Хелен было все равно. Она была уверена: Эстер сделала запись между строк не ради того, чтобы показать свою образованность, и уж конечно не для того, чтобы практиковаться в чистописании. У нее была какая-то тайна, тайна, которую она тщательно замуровывала внутри себя, пока та не превратилась в мучительный груз. Эстер требовалось хоть какое-нибудь место в мире, где существует правда.

Хелен вряд ли могла объяснить, почему последние строки записи вдруг стали ей понятны:

Ведь тот, кто вынужден слова беречь,
Одну лишь истину влагает в речь.

Она произнесла эти слова вслух.

– Что это может означать, как вы думаете? – спросил Аарон.

Хелен покачала головой:

– Не знаю. Однако мне кажется, что она хотела что-то сообщить… о своей жизни… или о сожалении.

Она отвернулась от экрана и встретилась взглядом с Аароном. Его глаза, карие, завораживающие, были глазами Дрора, и ей хотелось навсегда удержать этот образ в своей памяти.

Они занялись документами. Карандаши заскрипели по страницам блокнотов. В процессе работы Хелен старалась не смотреть в сторону Уилтона. Где-то через полчаса появилась Патриция с третьим и четвертым документами для Хелен и Аарона. Похоже, ее больше не заботило, увидит ли это группа Уилтона, – очевидно, библиотекарь успела ознакомиться со статьей. Она то появлялась, то исчезала снова, принося и унося нужные бумаги, словно прилежная секретарша.

Хелен положила перед собой четвертый по счету документ. Им оказался очередной список расходов на домашнее хозяйство, составленный на португальском. Наклонный почерк выдавал руку Эстер Веласкес. И снова доход не был указан. Документ был датирован четвертым мая тысяча шестьсот шестьдесят пятого года. Прежде чем приступить к переводу, Хелен, как обычно, просмотрела список: внизу последней страницы под обычным итогом и буквой «алеф» была еще одна строка, выведенная другими чернилами, как будто ее добавили позже. Нет, даже не строка, а одно-единственное слово, аккуратно начертанное и едва заметное, словно паучок в углу: אהבתי

Слово, упрек… Рука, протянутая через года.

Написанное справа налево слово по-еврейски означало: «Я любила».

Глава двадцатая

7 июня 1665 года

Лондон

Достопочтенному Бенедикту де Спинозе

Ваш краткий ответ на мое последнее послание вполне способен убедить любого менее решительного, чем я, человека в том, что продолжать нашу переписку не имеет смысла. И в самом деле, из скромности мне следовало бы заключить, что мои грубые, неотесанные мысли не достойны вашего времени и внимания. Если это действительно является главной причиной вашего отказа от диалога, то мне, несомненно, надлежит извиниться и оставить вас в покое. Но в своем упрямстве я чувствую, что, несмотря на недостатки в моей аргументации, ваш отказ обусловлен моим желанием обсуждать достоинства атеизма. Возможно, вас уже пытались подобным образом заманить в ловушку враги терпимости или шпионы инквизиции. И вполне естественно, что вы опасаетесь выдать свои сокровенные мысли приверженцу враждебных вам воззрений.

И все же клянусь вам, что изо всех сил стараюсь отречься от любой привязанности и верности, кроме как верности истине. Любая привязанность или верность, будь то к себе или к обществу, влечет за собой неизбежную духовную слепоту; каждая любовная связь затуманивает зрение, ибо немногие способны вынести правду, если она вредит тому, что человеку дорого. Возможно, изгнание из амстердамской общины дало вам некоторую свободу. Став вне досягаемости своего народа, вы пролили свет на печали мучеников, которые способны взволновать любую душу. А оставаясь среди своих и созерцая страдания, вы не могли

должным образом выразить те мысли, что шипами кололи ваш народ.

Я рад тому, что теперь вы пользуетесь своим изгнанием, чтобы освободить язык и перо и говорить так, как не могли раньше. Однако всегда следует проявлять осторожность, так как наш мир отнюдь не безопасен.

Если и существует какая-нибудь иная свобода, кроме той, что дает отлучение от церкви и от общины, то это возможность не существовать.

Все нынешние мыслители, включая вас и меня, находятся в опасности. Поэтому вы говорите меньше, чем думаете на самом деле. Вы настаиваете, что не возражаете против существования Бога. И я хотел бы понять, о каком образе Божественного бытия вы говорите. Глупость тех, кто цепляется за представление о Божественном вмешательстве, очевидно проявляется буквально каждое мгновение: рожденный уродливым, младенец не заслужил исполненной боли жизни, каковая ожидает его; равно и те, кто посвящает свою жизнь чистоте, не заслуживают страданий, которым они так часто подвергаются. Следовательно, либо Бог не заботится о страдании, либо у Него недостаточно силы, чтобы позаботиться о Своем творении. И если не существует вечной жизни после смерти, то эти уравнения так и останутся нерешенными. Поскольку я стараюсь отбросить все, для чего у меня нет доказательств, скажу, что пока не нашел свидетельств существования загробной жизни. Эти мысли должны привести меня либо к теизму, то есть к признанию того, что Божественное обладает силой без милосердия и справедливости, словно Вселенной правил бы огромный младенец, отдавая свои указания по случайной прихоти; либо к выводу, что сущность, управляющая Мирозданием, обладает волей, но не силой. Такая концепция приводит к атеизму, и именно с этой позиции я принимаю ваше видение Бога как природы. Однако я остаюсь неудовлетворенным таким пониманием.

Во втором вашем письме вы делитесь со мной малой толикой вашей философии, как бы отмахиваясь: вы

утверждаете, что Бог есть субстанция. Но, сэр, это не уточняет главного в понятии Бога. Какого рода эта субстанция и каковы ее цели?

Я видел ослепленного раввина Га-Коэна Мендеса. Ставя под сомнение веру, мы оскорбляем верующих, таких, как он. Каким же жестоким должен казаться атеист мученику!

Но если философ не желает говорить честно, разве не ослепляет он этим истину?

Т. Ф.

Эстер отложила перо и перечитала написанное. Хватит ли у нее духу отослать его? Она написала его лишь для того, чтобы посмотреть, как далеко посмеет зайти в своих рассуждениях.

Раввин дремал в своем кресле. Даже теперь, когда Эстер не могла найти в себе никакой веры в Бога псалмов и молитв, она продолжала верить в святость духа старого Га-Коэна Мендеса. И, обманывая, становилась ему злейшим врагом.

Тем не менее она не могла не отметить изменения, появившиеся последнее время в его рассуждениях и аргументах. Учитель редко говорил от своего имени, предпочитая прятать свои возражения за авторитетом иных ученых. Но вот от имени воображаемого Даниэля Лузитано он спорил с собственным авторитетом. Когда он рассуждал, лицо его оживлялось; речь его становилась острее, и язык его смелее разрывал ложь на части. Эстер видела, что раввин так рьяно отстаивал свои мысли только из любви к своим ученикам – сначала к де Спинозе, а потом и к Лузитано. Записывая его слова, которых никто никогда не прочтет, она чувствовала его пробужденный и энергичный дух.

Так Эстер оправдывала свое предательство, еще больше доказывая собственную низость.

Она подсунула исписанную страницу под письмо, что пришло двумя днями ранее.

5 июня 1665 года

Эстер!

Здесь вы найдете сумму в 7 фунтов на содержание дома раввина Га-Коэна Мендеса. Знаю, что вы не будете настолько безрассудны, чтобы отказаться от этой помощи, – даже если вы готовы отказать во всем себе, то не сделаете такого для ваших домочадцев.

Подумайте об этом даре и о том, от кого он.

Скоро я уезжаю в деревню, которую еще не успели затронуть щупальца чумы, опутавшие несколько приходов в городе. Я планирую ехать один, хотя считаю это неправильным.

Мануэль Га-Леви

Половина монет, присланных Га-Леви, была тотчас же истрачена на продукты, а остальные Ривка заперла и бережно хранила. Эстер пока еще не успела ответить на послание Мануэля.

Она достала чистый лист.

Мануэлю Га-Леви

Я благодарю вас за ваше письмо и за поддержку, которую вы оказали нам в нашей нужде. Ваш поступок великодушен сверх всяких ожиданий. Мы никак не могли рассчитывать на подобную щедрость…

Потом Эстер долго сидела без движения, подбирая слова, которые не выдали бы ее. Под письмом Мануэля лежал лист, подписанный де Спинозой, и еще один – подписанный мужским именем, – который говорил правду о ее истинном духе. Но все же правда о ее теле была не менее очевидна: боль в животе от голода, боль в ногах от изношенных туфель… и голод особого рода, который она не осмеливалась признавать.

«Я не имею возможности рассмотреть ваше предложение руки и сердца», – медленно вывела Эстер.

Пробили часы. Она встала и смыла чернила с рук. Поднявшись наверх, Эстер долго разглядывала платье, которое ей давным-давно купила Мэри по настоянию Кэтрин. Она надевала его считаные разы, но платье наверняка подойдет ей и сейчас. Эстер вспомнила, как ткань

элегантно и плавно спадала с ее талии, и провела кончиками пальцев по светло-голубой тафте.

Положив руку на шероховатую ткань, она призналась сама себе: да, это измена. Измена в надежде. Но на что она надеялась? Что англичанин с добрыми глазами признает ее, еврейку, равной себе? Он любит ее… ну а что дальше? Свадьба? И по своей доброте он более деликатно, но не менее уверенно, как это сделал бы Мануэль, заставит ее отказаться от того, что вдохновляло ее дух?

Эстер стянула с крючка свое повседневное платье, едва не порвав шов. Выругавшись, она краем глаза посмотрела на свое отражение, неловко возящееся в зеркале, и ее захлестнула волна ненависти.

С улицы донесся шум – то подъехала карета да Коста Мендес. Эстер поспешно спустилась вниз, но Ривка уже успела открыть дверь. На пороге стоял Томас Фэрроу.

– Доброе утро! – пропел он.

Поношенный красный камзол на нем был расстегнут и являл взору синий шелковый жилет; бриджи прикрывали сверху синие же чулки, а на ногах красовались туфли с красной подбойкой, вывернутой наружу. Каблуки у туфель тоже были красные.

Томас откровенно уставился на Ривку, как будто слышал, что существуют на свете такие толстые редковолосые еврейки-тудеско с обезображенными оспой щеками и растительностью на подбородке, но все же до конца не верил в этот кошмар. Ривка, в свою очередь, смерила гостя взглядом: рассмотрела его кричащий костюм, потом перевела взгляд на тоже траченное оспой лицо, которое Томас щедро умащивал белилами, явно свидетельствовавшими о его тщеславных попытках молодиться.

Томас медленно снял черную бархатную шляпу для верховой езды, однако на Ривку этот жест не произвел ни малейшего впечатления. Эстер подумала, что Ривка точно не станет скорбеть, узнав, что репутация Мэри будет испорчена подобным знакомством.

Раздвинув кожаный полог, Эстер поднялась в карету и села рядом с Джоном, который, приветливо кивнув, резво подвинулся, освобождая для нее место. Джон тоже был одет в камзол и чулки, хотя его костюм и отличался от одежды Томаса, как речная птица от распустившего хвост павлина.

– Хороший день выдался, – произнес Джон, когда карета тронулась.

– Да.

Он сидел слишком близко к Эстер, чтобы та могла взглянуть на него. То гд а она стала рассматривать Мэри, устроившуюся рядом с Томасом на скамейке напротив. Мэри облачилась в бледно-желтое муаровое платье, из-под подола которого выглядывал краешек бежево-розовой нижней юбки. На щеку и грудь Мэри прилепила несколько бархатных мушек – одну в виде скачущей лошади, другую в виде кораблика с наполненными ветром парусами и полумесяцем. Вместе с Томасом она являла живую картину цвета и моды, однако выражение лица Мэри было не совсем обычным. Губы ее рассеянно приоткрылись, а глаза блестели и смотрели куда-то в пространство. Эстер поняла, что ее подруга использовала капли белладонны, чтобы расширить зрачки и выглядеть томно и более женственно, пожертвовав ради этого возможностью нормально видеть.

«Впрочем, – подумала Эстер, – а кто я, собственно, такая, чтобы ее осуждать?»

Она сама все еще никак не могла завести с Джоном непринужденную беседу. Парадокс: зная, как прекратить флирт, она не знала, как его начать.

– Я думал посмотреть на сумасшедших в Бедламе или кукольное представление в Чаринг-Кроссе, – заговорил Томас, перекрикивая стук колес. – Но эти места слишком многолюдны, а Мэри боится чумы.

Томас вынул из протянутого Мэри пакета пирожное, откусил кусочек и откупорил фляжку.

– Тогда я подумал про Индийский дом, но Мэри не любит змей и, чего доброго, еще хлопнется в обморок. Так что сегодня мы поднимемся на лодке вверх по Темзе, а потом спустимся обратно.

Он снова выпил.

– Это изначально и планировалось, – едва слышно прошептал Джон на ухо Эстер, – но Том хочет произвести на Мэри впечатление. Для него Лондон состоит только из увеселительных балаганов и пивных.

Обрадованная, что наконец-то повод для разговора найден, Эстер промолвила в ответ:

– Да, но за лодку, еду и вино будет платить Мэри.

Джон ничего не ответил. Эстер рискнула повернуть голову в его сторону – тот смотрел в окно, причем щеки его слегка порозовели.

Эстер не хотела срамить его. Это все равно бесполезно: какое ей, в конце концов, дело, что он сам не заплатил за их гулянье, возложив расходы на состояние да Коста Мендес?

Эстер не понимала этой английской добропорядочности. Приличия, справедливость, соблюдение законов – все казалось ей бессмысленным. Эстер была вынуждена признать, что откровенная практичность Мануэля Га-Леви выглядела куда более честной. Но мысль о том, что она невольно задела гордость Джона, привела ее в отчаяние.

Ей хотелось понять его, но казалось, что Джон так же замкнут, как и она сама.

Эстер резко повернулась, и Джон почти театрально отшатнулся.

– Почему вы здесь?

Лицо Джона выражало одновременно веселье и тревогу.

– Где, на этой скамейке?

– В Лондоне.

Он покраснел.

– Я уважаю призвание отца, – начал Джон, словно успел выстроить линию защиты еще до того, как Эстер задала вопрос. – Но он хотел, чтобы я учился его профессии. Он добродетельный и уважаемый человек, однако я сказал ему, что хочу получить более широкое образование. И если вернусь к его профессии, то как человек с открытыми для мира глазами.

– А что вы изучаете?

Джон хмыкнул, словно ожидая, что его сейчас поднимут на смех.

– Поэзию, историю, искусство, немного натурфилософию. Я окончил университет несколько месяцев тому назад. Но дело в том, что в университетах сейчас преподают преимущественно теологию и право, и чтобы получить более глубокие знания, нужно найти себе наставника. Поэтому я остаюсь в Лондоне, пока не закончатся деньги, и посещаю лекции. Каждую неделю от отца приходит письмо с просьбой вернуться. Но раньше, чем необходимо, я не вернусь.

Джон взглянул в лицо Эстер, и то, что увидел, казалось, несколько успокоило его.

– Мудрость моего отца подобна садам его поместья. Каждому дереву или кустарнику придается величественная форма, но каждое растение укоренено только на своем месте и не касается другого.

Джон еще раз взглянул на Эстер, отвернулся к окну, и теперь щеки его залил румянец иного рода.

Карета остановилась у самого спуска к реке. Томас и Джон, перебросившись парой слов, вышли из кареты и направились к сходням. Мэри осталась на месте, хлопая глазами, как кукла.

– Может, выйдем? – предложила Эстер.

В ответ последовало лишь едва ощутимое дуновение, означавшее: «Нет».

– Тебя что-то тревожит?

– Ничего, – отозвалась Мэри, хотя голос ее звучал напряженно.

Карета качнулась – Эстер вышла на берег. Однако Мэри даже не шелохнулась, словно была прикована к окну.

Мощеная набережная была грязной и мокрой после недавнего дождя. Туфли Эстер погрузились в мутную бурую воду. Рядом, на краю спуска, Джон и Томас разговаривали с усатым мужчиной, который стоял скрестив руки на груди. Позади них переминались с ноги на ногу еще двое, явно ожидая своей очереди обратиться за услугами усача. Кучер слез с козел и теперь ковырялся в зубах, придерживая лошадь за повод.

Возвращаясь к карете, Томас выглядел недовольным. Увидев, что Мэри до сих пор сидит погруженная в какую-то задумчивость, он резко стукнул в борт кареты. Мэри вздрогнула от испуга.

– Трудно найти лодку, чтобы идти вверх по реке, – сказал он. – Богатые выезжают из города из-за чумы и уже разобрали почти все лодки. Наш добрый лодочник настаивает, чтобы мы наняли его лошадь тащить лодку вверх по течению. Иначе он не даст нам лодку, ведь сдав лодку и свою полудохлую клячу, он заработает больше. Так что пришлось согласиться, потому что желающих, кроме нас, и так достаточно. Нет, вы только подумайте – нанять одра, который не годится даже тележку тащить, когда у нас вон какой красавец простаивает!

Томас весело хлопнул кучера по плечу:

– Пока мы будем на реке, можешь сдать своего конягу напрокат. А что, заработаешь себе немножко денежек!

Кучер ничего не ответил и только прикрыл глаза, словно от яркого света. Мэри с трудом выбралась из кареты и, спустившись на мокрую мостовую, дала ему знак; возница, взобравшись на козлы, неспешно покатил дальше по улице.

Мэри посмотрела ему вслед, а затем, повернувшись в сторону Томаса, отрывисто спросила:

– Сколько стоит лодка?

Тот, поколебавшись, мельком взглянул на Джона и сказал:

– Шесть шиллингов.

Мэри вынула из кармана юбки кошель, высыпала деньги на ладонь и демонстративно отсчитала монеты.

Томас высоко подбросил монеты и ловко поймал, словно получил их из воздуха, а не от Мэри. При виде денег он заметно повеселел.

– Ну что, – обратился он к Джону, хлопая того по плечу, – к счастью, на реке есть только два направления. А то наш лодочник так нализался, что вряд ли сможет отыскать собственную задницу двумя руками.

– Томас, дружище! – запротестовал Джон.

Тот лишь рассмеялся:

– А, они уже слышали и не такое! Тебе нужно перестать бояться женщин.

С этими словами он подошел к Мэри и шлепнул ее по заду. Та вздрогнула, но ничего не сказала, что, казалось, начало несколько раздражать Томаса. Помедлив немного, он пожал плечами и повернулся к реке.

– Ну, значит, прокатимся.

Лицо у Джона сделалось озабоченным.

– Что-то много народа спешит выбраться за город, – пробормотал он. – Неужели чума дошла до новых приходов?

– И совершенно напрасно, – рассмеялся Томас, – бегут на этих маленьких лодках. И так всякий раз, когда случается что-нибудь подобное. А знаете, кому это приносит пользу? Ворам. Чем богаче человек, тем больше в нем страху. Поэтому при малейшей опасности он бросает все, хватая только то, что может унести с собой. Так что у всех этих перепуганных джентльменов скоро потаскают все их серебряные тарелки. Будь у меня хоть какой-нибудь опыт в этом, я бы

сейчас же отправился на дело, а если бы меня поймали, то просто поделился бы добычей с судьей.

Джон недовольно посмотрел на него, но Томас снова разразился смехом:

– Я не имел в виду твоего отца. Верю, он честный человек. Только если это так, то он единственный честный во всей Англии.

Эстер заметила, как во взгляде Мэри мелькнула искорка сожаления: зачем красть, если тебе и так все дают?

Они спустились по осклизлой лесенке и сели в покачивавшуюся на волне лодку. Томас прыгнул первым, Эстер в простом платье без труда переступила через борт, но Мэри в своем тяжелом кринолине едва не потеряла равновесие, так что Джону и Эстер пришлось подхватить ее с обеих сторон, чтобы усадить в лодку. Мэри вцепилась руками в доски, хотя видно было, что ей неприятно их касаться.

Лодочник отвязал толстую веревку от причального бруса и привязал ее к недоуздку своей лошади. Затем он потянул лошадь за собой, и та, ступая по насыпной каменистой тропинке, потащила лодку против течения.

Река в этом месте была широкой и медленной.

– Сады Темпл, – показал рукой Джон.

Наклоняясь вперед, он стал называть места, мимо которых они проплывали: Уайтхолл, Вестминстер. Рвущиеся к небу каменные здания вызвали у Эстер чувство восхищения, словно мечты о высоте и изяществе, невидимые из переплетения переулков, по которым она ходила каждый день. Именно таким должны были видеть этот город птицы с высоты своего полета, полета над шумом, стуком, дымом. Эстер не отрываясь смотрела на безмолвно проплывавший мимо вид. Джон рассмеялся.

– Лондон! – объявил он, делая жест рукой, как будто знакомил девушку с городом.

Как могло быть, что Лондон, который нависал над нею все эти годы, оказался настолько мал, что хватило одного лишь взмаха рукой, чтобы открыть его и оставить позади в считаные мгновения? Но это было именно так: вот и потемневший камень городских стен остался за кормою. Здания за стеной стали редеть, попадались и покосившиеся постройки. Жалкие улочки, еще несколько домов, таверны… Мало-помалу ручейки лондонских улиц иссякли и сменились деревнями.

Сделалось заметно тише. Мимо проплыло несколько лодок, и гребцы перекликались между собой. На ближайшей лодке кто-то затянул куплеты, копыта коня месили мягкую грязь тропинки. Дымка и зловоние от кожевенных заводов уступили место чистому и влажному воздуху.

Эстер и не подозревала, что такая благодать существует совсем рядом с городом. Этот факт никак не укладывался у нее в голове, и ей вдруг стало жаль несчастную Кэтрин.

Где-то в зеленеющей дали махали крыльями ветряные мельницы; на травянистых склонах прачки в подоткнутых юбках раскладывали белье для просушки. У самой кромки воды, на линии прилива колыхались водоросли. Тишина и свежесть. Никогда еще Эстер не чувствовала вокруг столько жизни. Над водой порхали птицы, а поверхность реки была усеяна насекомыми. И повсюду зелень. Даже металлические ворота в тех местах, где они соприкасались с водой, плотно заросли мхом, который, казалось, можно было отламывать кусками и есть. Нелепо, но Эстер действительно представила себе, что она ест его. В ней вдруг проснулся голод, такой сильный, какого она не испытывала за всю прошедшую жизнь. Если бы можно было переменить себя, свое существование, она сделала бы это немедленно – просто встала бы и выпрыгнула из лодки в медленно текущую реку, и стала бы живой, как вода и воздух. Неважно, что она не умеет плавать. Эстер была почти уверена, что стихия не убьет ее, а легко вынесет за пределы искалеченного мира, в котором ей пришлось так долго жить.

Лошадь размеренно ступала по тропе, ветерок то налетал, то стихал, скрипела веревка, лодка покачивалась…

Когда они достигли Барн-Элмс, Джон взял ее за руку и помог сойти на берег. Позади них раздался возмущенный голос Мэри, которая звала Томаса, который один устремился в заросли.

– Один только час! – крикнул им лодочник (даже на расстоянии нескольких шагов Эстер почувствовала пивной дух). – За те деньги, что вы мне заплатили, я буду ждать вас только лишь час. У меня и так полно дел на реке, и я не собираюсь жертвовать своим временем ради ваших развлечений! Лодка отойдет ровно через час, даже если вы опоздаете.

– Поцелуй меня в… – буркнул в ответ Том а с, беря свою спутницу за руку и уводя ее в парк.

Джон приложил указательный палец к губам и повел Эстер в другом направлении.

Земля здесь была болотистой, и скоро у Эстер промокли ноги. Деревянных паттенов она не носила, да и Джон тоже, однако назад возвращаться ей не хотелось.

Так они дошли до луга. Среди трав порхали, шмыгали и порскали мириады птиц, которых Эстер никогда не видела: серо-белые, крапчатые, серогорлые и ржавокрылые. Поверхность небольших лужиц рябилась от ветерка. Поле окружал лес, причем стволы деревьев были покрыты таким густым слоем мха, что невольно хотелось потереться о него щекой. Спокойный, негромкий мир…

В нескольких шагах от себя Эстер увидела живую изгородь, отмечавшую границу полевого участка. Молодые деревца были переплетены между собой и, сросшись, приобрели совершенно новую форму. Эстер подошла и тронула переплетенные стволы, почувствовав их упругое сопротивление.

– Я и не знала, что Англия может быть такой, – сказала она.

– Это и есть Англия! – ответил ей Джон, усмехнувшись.

Эстер недоверчиво рассмеялась.

– Я имел в виду настоящую Англию, – недовольно заметил Джон. – Не Лондон. Лондон, конечно, великолепен, но там шумно и грязно. В нем одинаково существуют и сокровищница мирового знания, и мирская грязь. И хоть я и люблю город, мне кажется, что это все сон, который исчезнет по пробуждении.

По его лицу скользнула тень, но Джон мгновенно справился с собой, желая только, чтобы его поняли.

– Это Англия, Эстер!

Молодой олень с бархатистым носом, весь покрытый коричневыми крапинками, возник перед ними, словно из ниоткуда. Животное внимательно наблюдало за людьми, кося блестящим черным глазом.

– Идем к нему, – прошептал Джон.

И они так и сделали, медленно зашагав по направлению к оленю, и Джон поддерживал Эстер под локоть; они оба шатались, цепляясь друг за друга, выдергивая ноги из грязи, и вдруг оказались совсем

рядом, так, что могли слышать его мягкое дыхание. Только тогда олень не спеша пошел прочь, будто желая показать, что вовсе не боится незваных гостей.

У Эстер колотилось сердце, и в тот момент она поняла желание Мэри отдать мужчине все.

Она повернулась к Джону.

Тот выглядел сбитым с толку, но когда Эстер приготовилась говорить, он коснулся ее губ губами.

– Так что ты хотела сказать?

Лицо его выражало и счастье, и тоску. Эстер чувствовала, что и сама выглядит точно так же.

Но она не была той женщиной, о которой грезил Джон. Он должен был знать это.

– С тобой я чувствую себя свободным, – проговорил он.

Его глаза живо сияли, словно сквозь них проходил свет, как он проходит сквозь воды реки, высвечивая скрытые струи. Они ослепляли.

– Мне нравится быть рядом с тобой. Очень.

Но почему? Что в ней такого? Эстер встала на цыпочки, положила руки ему на плечи и поцеловала. Джон ответил мягче, чем она ожидала, и его поцелуй тронул ее изнутри. Чтобы не заходить слишком далеко, Эстер сказала:

– Ты же не знаешь, кто я.

– Как же не знаю? Я знаю твою душу. Или же я слишком туп, чтобы не допускать, что мы оба понимаем такие вещи?

– Если бы ты знал мою душу, – начала, запинаясь, Эстер, – если бы ты знал ее, Джон, то понял бы, что она провела так много времени во тьме, что уже не верит ничему из того, что видит.

Но Джон рассмеялся, как будто самые ее запинки развеселили его.

– Эстер, ты проклинаешь самое себя, словно ты – дьявол. Но я не Бескос.

Он говорил медленно, чтобы убедиться, что девушка слышит и понимает его.

– То, что ты еврейка, не делает тебя менее чистой.

Эстер чувствовала себя на много лет старше его. На века. И собственные слова превращали ее в пыль, но все же она заставила себя произнести их, чтобы уберечь Джона от излишнего доверия:

– Я не в ладах с этим миром. Я… я, – она постучала себя пальцем по виску, – я нахожу свободу только здесь.

– Расскажи.

Ее голос дрожал, рассыпался:

– Я думаю о Боге, о мире, о вопросах, которые…

Джон нахмурился; казалось, он хотел спросить ее о чем-то. Но затем лицо его просветлело:

– Я достаточно понимаю, Эстер, чтобы знать: все, что ты мне скажешь, не сможет меня смутить, потому что я вижу твою душу.

Он неожиданно рассмеялся.

– Эстер, если ты думаешь, что я так всегда разговариваю с девушками, то ты ошибаешься. Когда я впервые увидел тебя, я почувствовал свободу, какой никогда не чувствовал прежде. Меня будто пронзила новая, особенная радость.

Эстер не знала, чего стоили ему такие слова. Понимал ли Джон, что они способны спасать и разрушать одновременно? Видя такую необычайную мягкость, она чувствовала себя всего лишь испуганным существом. Едва осознавая, что говорит вслух, Эстер промолвила:

– Но сможешь ли ты полюбить женщину, которая ставит истину выше нежности?

– Если ты любишь истину, я буду любить тебя еще больше. А если я сам не знаю истины, то обязательно достучусь до нее. А уж если мне не удастся, то буду терпеть. Я готов дать тебе такую любовь! Но что это за истина, что причиняет тебе такие страдания? Скажи мне, поделись этим грузом!

– Истина… – сказала она наконец, просеивая слова, как песок, – за эту истину я отдала свою честь.

Джон залился краской:

– Так ты не девственница?

– Ты не понял.

Джон страдальчески поморщился:

– О, прости меня, Эстер! Я не хотел тебя обидеть.

– Да я не о том! – нетерпеливо воскликнула девушка. – Я выдаю себя за другого!

Джон помолчал, а затем длинно и с видимым облегчением вздохнул.

– Впрочем, скажу, что быть евреем в наше время вовсе небезопасно. Если еврей станет говорить о своей вере правду, причем его угораздит это делать в самое неподходящее время, то он навлечет на себя страшный гнев, хотя эта вера никому и не вредит. Именно такой аргумент я приводил в наших спорах с отцом по вопросам применения закона – мне кажется, что наказание за ложь не должно применяться к тем, кто подвергается опасности, если будет говорить правду. Послушай же меня, Эстер! Если еврей лжет только потому, что истина его веры не может быть принята окружающими, то не логично ли преследовать окружающих, а не еврея?

Пока Джон говорил, Эстер не могла надивиться на невыразимую пышность природы вокруг. Решив, что она скрывает свое еврейство, он легко простил ей это. Но как он отнесется к тому, что она выдает себя за мужчину?

Позже Эстер пожалела, что не задала этого вопроса, но было уже поздно – она поддалась надежде и, следовательно, струсила.

– Ты вспомнишь потом, что сейчас говорил?

– Я никогда это не забуду, – ответил Джон.

У Эстер навернулись слезы на глазах.

– Я знаю тебя, Эстер, – продолжал Джон, обнимая ее. – Хотя тебе и кажется, что это не так. Ты честная. И я вижу, что, в отличие от большинства женщин, да и мужчин тоже, у тебя есть сила оставаться собой, хоть это и достается дорогой ценой.

Что-то в его восхищенных речах казалось слишком поспешным, мальчишеским, но она не могла уловить что. Ей хотелось рассказать Джону обо всех путях, всех дорогах, по которым ей пришлось мыкаться, чтобы наконец ступить на этот зеленый луг. И еще нужно было объяснить Джону, что она не привыкла плакать.

«Не верь любви, пока не увидишь, чего она стоит любящему».

И она тотчас же забыла эту мысль.

С берега раздался крик, и они с Джоном побежали через поле. Кричал Томас, ругая на чем свет стоит лодочника, который демонстративно дергал веревку, чтобы пустить лодку вниз по реке.

– Эй, приятель, мы уже идем! – вопил Томас, видя, что лодочник, покачиваясь, отвязывает веревку от своей полумертвой лошади. – У нас еще осталось время!

Мужчина, ничего не отвечая, отвязал наконец бечеву и бросил ее Томасу.

– Вернешь лодку туда, где ты ее взял, – заплетающимся языком произнес лодочник. – Проплывешь дальше – и я с тебя сдеру двойную цену.

– Тебе заплатили за час ожидания, а мы тут и тридцати минут не пробыли, – возразил Томас.

Лодочник что-то пробубнил себе под нос – Эстер почти ничего не удалось расслышать – и зашагал со своей лошадью прочь. Девушки сели в лодку, а за ними полез Томас.

– Подавись ты своей тощей клячей! – крикнул он вдогонку лодочнику и сделал непристойный жест. Занеся ногу через борт, он схватил весло и замахнулся им, как дубиной, но лодочник все равно его не мог видеть.

– Томас! – не выдержала Мэри.

Он даже не удостоил ее взглядом, но все же положил весло на место и придержал лодку, чтобы Мэри и Эстер могли устроиться. Затем сам перелез через борт, откупорил свою флягу и глотнул, причем в движениях его сквозила сдерживаемая ярость.

Джон оттолкнул лодку от берега, запрыгнул в нее и уселся на носовую банку. Теперь река несла их сама.

Мэри наблюдала за течением. Действие белладонны закончилось, и ее зрачки сузились. Передняя прядь волос распустилась, и Мэри рассеянно пожевывала ее кончик.

Барж и лодок вокруг стало заметно больше. Некоторые были тяжело нагружены всяким скарбом и суетящимися людьми. На одной из них был принайтовлен шикарный мебельный гарнитур.

– Гляньте, вон, даже гобелены увозят! – воскликнул Джон, указывая на какую-то лодку. – Знать едет первой, а потом за нею тронется и прислуга. Боюсь, что дороги окажутся забитыми повозками.

Что заставило Эстер открыть рот, даже она не поняла, но удержаться уже не могла.

– А что, – спросила она Джона, – твоя семья принадлежит к знати?

В ответ Джон как-то неловко усмехнулся:

– Да…

– О, маленькая язва, – прогудел Томас.

Мэри продолжала молча смотреть на середину реки.

Положив весла на планширь, Томас пустил лодку на произвол течения.

– Ты – маленькая седовласая язва с огромными серыми глазами, – сказал он. – Либо ты фея, либо ведьма. Мы с Джоном пока еще не пришли к единому мнению на сей счет.

Он прикончил свою флягу и снова заговорил, но на этот раз в его голосе зазвучала нотка, которой раньше Эстер не замечала.

– Твой Джон действительно знатен, Эстер. Впрочем, как и я, если хочешь знать. Мэри, возможно, невдомек, что и у меня имеются перспективы.

Говоря, он обращался только к ней, и Эстер совсем растерялась.

– Джон должен был стать третьим в династии судей. Только он мнит себя поэтом и еще не решил, спустит он фамильное состояние в столице или все-таки благополучно вернется к своим знатным родственникам. Скажи, Джон, разве твоя мать еще не просила тебя вернуться к ней из этого грязного и больного Лондона?

Джон, смотревший до этого на реку, повернул голову и, хотя его щеки вспыхнули румянцем, произнес ровным и спокойным голосом:

– Я сам себе хозяин.

Несколько минут в лодке царила тишина. Когда они приблизились к городу, в воде снова стали попадаться обломки дерева, обрывки бумаги, помои и даже испражнения.

Не отрывая взора от воды, Мэри тихо, чтобы не слышали мужчины, сказала Эстер:

– Отец пишет, что не вернется в Лондон, пока чума не закончится.

– Он разве не хочет, чтобы ты переехала к нему?

– Да, но я не поеду. У него новая жена.

– Но… – Эстер озадаченно покачала головой, – новая жена твоего отца не желает тебя видеть?

– Я не поеду, потому что не хочу, – надменно отозвалась Мэри.

Однако, как показалось Эстер, за ее словами скрывалась другая, невысказанная причина.

Впереди вырисовывалась стена, и через несколько мгновений лодка пересекла черту города. Эстер обернулась, чтобы еще раз увидеть зеленые холмы, но они уже исчезли за очертаниями

бесчисленных лодок. Над водой медленно расползался тяжелый запах дыма. Она закрыла глаза, чтобы удержать в памяти цвета мхов, травы, деревьев и мягкой крапчатой шубки оленя.

Из оцепенения ее вывел голос Джона:

– Томас! Мы пропустили причал!

Эстер открыла глаза и увидела, что Джон указывает на удалявшиеся от них каменные ступени, где они брали лодку. Но Томас словно оглох и продолжал править лодкой. Он держался центра реки, рассекая форштевнем густой мусор и какие-то плавающие бурые комки, о происхождении которых Эстер предпочла не думать.

– Томас! – не унимался Джон.

Мэри не сводила с Томаса глаз, впившись зубами в нижнюю губу, так что та едва не лопнула.

Впереди уже маячил мост. Даже отсюда Эстер слышала, как бурлит вода у его опор. Джон уперся руками в оба борта и крикнул приятелю, перекрывая шум воды:

– Ты что, дурак? Если хочешь пройти под мостом, то хотя бы высади девушек!

Томас молчал.

– Высади их!

Томас продолжал уверенно править.

– Томас! – Джон привстал и заговорил требовательным тоном. – Хочешь разбиться, так пожалуйста! Только пожалей девушек!

Но Томас шел вперед.

Лодок прямо по курсу стало меньше. Те, что направлялись вниз по реке, швартовались и высаживали пассажиров, чтобы налегке пройти ревущие между устоями моста пороги. Несколько лодочников с любопытством поглядывали в сторону несущейся посудины Томаса. Со стороны Саутварка собралась небольшая группа зевак. Эстер знала, в чем дело: устоев моста было много, и между некоторыми из них стояли водяные мельницы, отчего течение затруднялось и в верхней его части вода стояла на рост взрослого человека выше, чем в нижней. Время от времени лодки разбивались об устои моста, тонули в бурлящей воде под пролетами или переворачивались, падая вниз. Под мостом могли проходить только опытные лодочники. С берега люди указывали руками на Эстер и Мэри и вопили что-то невнятное.

– Том а с! – заорал Джон, но Эстер видела, что уже поздно.

Томас работал веслами, напряженно улыбаясь и не глядя по сторонам.

– Что ж, посмотрим, умеет ли наша лодочка танцевать, а?

Мэри так крепко сжала плечо Эстер, что та вскрикнула от боли.

Одной рукой Томас держался за борт и, напрягая силы, тащил их на самый быстрый участок течения.

– Не оставить ли нам несколько царапин на память этому доброму человеку?

– Томас! – кричала Мэри, но тот сосредоточенно глядел вперед.

Теперь вода превратилась в черный стеклянный желоб, по которому лодка неслась вперед, и Томас уже не мог никуда повернуть, даже если бы и хотел. Эстер видела, куда он метит: темный бурлящий вал из мокрых камней и пены. Внезапно над лодкой возник мост с многоярусными лавками наверху, больше похожий на маленький город, восставший из бурной реки, однако звуки его заглушал рев воды. Эстер на мгновение разглядела безмолвные здания, дымчатые стекла в окнах – последний проблеск дневного света, лицо Томаса, исказившееся в яростной гримасе, упавшего со своей банки Джона. Нос лодки круто пошел вниз, корма взлетела вверх, и Джон, раскорячившись, схватился за планширь. Эстер грудью ударилась о днище, сверху на нее навалилась Мэри. В лицо плеснуло водой, лодка ухнула, ее качнуло сначала в одну, потом в другую сторону. «Вот моя смерть!» – пронеслось в голове у Эстер, и она с ужасом почувствовала, как хочется жить.

Стена ледяной воды. Скрежет дерева по невидимым камням. Скольжение.

Долгий спуск, дрожащий свет.

Ялик стал поперек и накренился. Течение толкало лодку вперед. А затем, что показалось невероятным, выпрямился, низко сидя в воде.

К Эстер вернулся мир: цвет, запахи и наконец звуки. Из-под моста шел мощный поток, отчего лодку беспрестанно качало. Эстер помогла Мэри перевеситься через борт, и ту вырвало.

Томас и Джон руками вычерпывали воду. К ним подгребли двое лодочников, что оказались поблизости. Один смеялся, а второй, хмурый, бросил ведро, чтобы легче было черпать.

– Кой черт тебя дернул проходить под мостом, да еще и с дамами?

Томас на секунду остановился. Выпрямился.

– Это не дамы, – сказал он.

Эстер встретилась глазами с Джоном.

– Нам нужно доставить дам на берег, – сказал он лодочнику. – А нашего приятеля – в постель, чтобы как следует проспался.

Лодочник подошел ближе, схватил ялик за борт и подтянул к себе. Он протянул было руку Мэри, но та, цепляясь за противоположный борт, жалась от него. Платье ее промокло и облепило фигуру, мушки на щеках отклеились и съехали. Она снова перегнулась через борт. Закончив, Мэри тихо сплюнула и сказала Эстер:

– Я беременна.

Лодочник терпеливо ждал.

– Минутку, – попросила его Эстер. – Одну минутку.

Мужчина отвернулся, дав девушкам возможность уединиться.

Эстер откинула мокрые волосы и спросила:

– Томас знает об этом?

Мэри фыркнула, но усмешка прервалась конвульсией, хотя ее желудок уже исторгнул все содержимое. Когда приступ прошел, Мэри опустилась на дно лодки.

– Конечно, знает. Как ты думаешь, почему… – она указала на мост. – Я сказала ему в Барн-Элмс.

Мэри подняла голову и вызывающе взглянула на Эстер.

– Томас сказал, что этого не случилось бы, если бы я не… – она замолчала и сделала многозначительный жест.

Через секунду до Эстер дошло, что имела в виду Мэри: наслаждение.

– Я слышала об этом. И позаботилась, чтобы подобного не случилось.

Чайка, кружившая над ними, заложила еще вираж и устремилась вдаль вниз по реке. Девушки молча проводили птицу взглядом, пока та не исчезла за горизонтом.

Мэри снова икнула и высунула голову за борт. Отплевавшись, она заговорила как будто сама с собой, глядя на воду:

– Я сказала Томасу, что отец отречется от меня. Так что нам придется самим зарабатывать на жизнь. Когда Томас привыкнет к этой мысли…

Эстер слушала, не перебивая ее.

Они перелезли в ялик мрачного лодочника. Джон подал девушкам руку, но Томас, занятый вычерпыванием воды, не обращал на них никакого внимания, словно они не были знакомы. Эстер смотрела, как Мэри в своем промокшем платье неуклюже перебирается к ней. Все усилия Кэтрин защитить свою дочь и ничтожные поползновения Эстер оказались напрасными. И теперь Мэри должна была превратиться в существо, совсем не похожее на избалованную девочку, которую растила Кэтрин. В женщину, о будущем которой Эстер могла только гадать.

Лодочник отвез их на берег, где девушки молча стали ждать. Эстер завернулась в грубое одеяло, от которого пахло дымом. Мэри отказалась, хотя и дрожала всем телом. Эстер услыхала голос Джона, выпрыгивавшего из лодки. Томас напевал что-то непристойное и только хихикал на призывы Джона помочь ему. Наконец у последнего лопнуло терпение, и он, схватившись за борта ялика, так тряхнул лодку, что Томас плюхнулся прямо посредине и принялся за работу.

Наконец они оба довели лодку до берега, где смогли опрокинуть ее на бок и вылить оставшуюся воду. Лодочник, что помог им, согласился на то, чтобы его сын и племянник доставили лодку обратно по суше к ее хозяину, запросив определенную сумму, которую Мэри пересчитала.

– Три шиллинга и два пенса, – четко и громко произнесла она, чтобы стоявший неподалеку Том ас мог слышать ее.

Как только они рассчитались с лодочником, зарядил дождь. Чтобы согреться, они зашли в ближайшую таверну, где им предоставили комнату с низким потолком, всю пропитанную запахом воска и влажной шерсти. По дороге Мэри и Томас о чем-то шептались, и Эстер так и не смогла понять, ссорятся они или мирятся. Однако за стол они сели вместе.

Джон занял место подле Эстер и заказал хлеб, пиво и суп из тетерева.

Свеча горела ярко-желтым светом. Джон положил руки на изрезанную столешницу.

– В глубине души, – сказал он, – Томас хороший мальчик.

Эстер опустилась на жесткую скамью и заметила:

– Томас далеко не молод, а ты называешь его мальчишкой.

– Ему бы понравилось, – улыбнулся Джон.

– Возможно. Но его любовь к юности направлена исключительно на самого себя и не распространяется на ребенка.

Джон недоуменно покосился на нее. Затем он повернул голову в сторону противоположного края стола, где молча сидели Томас и Мэри. Лицо Мэри выражало такую напряженную решимость, какую Эстер доселе не замечала в ней.

Джон покачал головой, догадавшись, что хотела сказать Эстер. Он открыл было рот, чтобы сказать, что Томас сделает все, что должно, но молчал в нерешительности.

– Давай не будем лгать себе, – сказала Эстер.

Он согласился.

Эстер не собиралась спорить. Ей не хотелось ничего доказывать или собирать улики. Она хотела что-то сказать Джону, но у нее не было слов.

– Давай не будем лгать, – начала Эстер снова.

– Я не буду тебе лгать, – сказал ей Джон. – Твоя честность… – он допил эль поставил на стол пустой стакан. – Твоя честность – это маяк.

Какое-то время он рассматривал Томаса и Мэри, а потом мотнул головой и, словно отбрасывая в сторону все события их возвращения по реке, мягко улыбнулся и трижды хлопнул ладонью по столу.

– Я хочу показать тебе все эти тихие места и озера, Эстер. Хочу, чтобы ты увидела Англию.

И что-то пламенное чувствовалось в его словах, как будто Эстер была идеалом такой недосягаемой чистоты, что посвятить себя ей представляло особую радость.

Подавальщица принесла суп. Эстер протянула руки и погрела их над паром. Ей нужно было напомнить Джону о препятствиях, которые стояли на пути их любви – любви между еврейкой и гоем. Но у нее больше не хватало слов, чтобы отговаривать Джона от его намерений, да она и сама не желала разубеждать его, спорить или ставить условия. Ей больше не хотелось оставаться измученным, настороженным человеком, в которого она превратилась. Она впервые задумалась о том, для чего спят люди, – для того, чтобы развязать узел мира. Держа руки над горячим горшком, она пожелала забыться, и на мгновение действительно ее сознание соскользнуло в сон. Эстер ощутила, будто падает, отчего к ней подступила тошнота и одновременно чувство великой и опасной свободы. Тело ее оставалось на жесткой скамье –

она чувствовала даже колено Джона на ткани своего вымокшего платья, – но в воображении они снова были вдвоем в лодке. Лодка плыла вверх по реке, прочь от всего, что привязывало Эстер к Лондону, от обязанностей, от невзгод, туда, где прозрачная вода играла солнечными лучами. Лодка покачивалась, и вместе с нею покачивалась сама Эстер, убаюканная искрящимся потоком вод; колыбель стремящихся звуков раскачивал голос Джона, и свет дождем проливался перед ее глазами. И зеленый, зеленый мир.

Эстер охватил дикий восторг, она открыла глаза.

– Если… – начала она, но тотчас остановилась. Правая рука Джона лежала на столе. Эстер скользнула к ней своей левой рукой, пока они не соприкоснулись. Затем она подняла со стола подсвечник. Первая капля расплавленного воска упала Джону на руку, он вздрогнул, но, видя неподвижность Эстер, сдержался, а девушка продолжала поливать обжигающей, но не сжигающей восковой моросью их руки, отчего на коже оставался тонкий узор, скреплявший их вместе, пока они не разомкнули ладони.

Глава двадцать первая

18 марта 2001 года

Лондон

В два часа Патриция-библиотекарь заверила, что ее коллега из консервационной лаборатории скоро подойдет. Через полчаса она повторила обещание. Но потом отказалась отвечать на все более настойчивые вопросы Аарона. Даже вежливая просьба Хелен не помогла убедить библиотекаря еще раз поднять трубку и поторопить коллегу сняться с насиженного места.

Патриция из лаборатории подошла к столику Хелен и Аарона почти в половине третьего. Она явно встала сегодня не с той ноги. По сравнению с ней Патриция-библиотекарь выглядела крайне любезной.

– Мне сказали, что вы просили меня подойти? – вопросила Патриция, оглядывая обоих.

– Нас интересует, – начала объяснять Хелен, – остались ли какие-нибудь документы… что-нибудь, что не было подготовлено к ознакомлению, датированное после восьмого июля тысяча шестьсот шестьдесят пятого года. Это было первое чумное лето.

– Вы что, думаете, что мне надо сообщать дату эпидемии чумы? – буркнула Патриция.

– Извините, – склонила голову Хелен. – Просто мне часто приходится иметь дело с людьми, которые ее не знают.

Патриция смягчилась и открыла папку, что держала под мышкой.

– Мы все еще обрабатываем последние оставшиеся документы. Но ни один из них не датирован после восьмого июля шестьдесят пятого, за одним возможным исключением. Есть один, который мы пока не вскрывали по той простой причине, что он запечатан сургучной печатью. Мы полагаем, что это оригинальная печать, и она цела. Увлажняющая камера пока занята, и когда она освободится, мы сможем без помех вскрыть письмо. Заодно размягчим бумагу, чтобы

она не порвалась на сгибах. Я не знаю, какая дата будет стоять на этом документе. А так больше ничего.

Итак, после смерти раввина Га-Коэна Мендеса работа Эстер Веласкес прекратилась.

Аарон наблюдал, как Патриция из консервационной лаборатории отошла к столу библиотекаря и обе дамы стали совещаться, скорее всего обсуждая методы обезглавливания исследователей, которые жуют жевательную резинку.

Неужели Эстер умерла от чумы? Согласно статье Уилтона, в приходских записях была отмечена только смерть раввина, но никаких упоминаний о женщине по фамилии Веласкес ни в год чумы, ни за последующие десять лет не фиксировалось. Или Эстер скончалась в самые хаотичные недели эпидемии и ее смерть не успели зарегистрировать, или она пережила чуму, чтобы раствориться в небытии, так как после кончины ее старого учителя лишилась возможности вести записи. Интересно. А можно ли найти свидетельство о ее смерти в лондонских реестрах более позднего времени, возможно под фамилией по мужу?

Аарон вернулся к бумаге, что лежала на подложке перед ним. Он и Хелен перечитали ее уже раз по десять за этот день. Честно говоря, у них не было оснований держать у себя этот документ, кроме желания помешать группе Уилтона заполучить его.

Аарон снова уставился на единственное слово, написанное на иврите. *«Ахавти»*. Я любила.

Глагол стоял в прошедшем времени. Какова ни была природа этой любви, к моменту написания этого слова между срок расходной ведомости с нею было уже покончено.

«Я любила». Эти слова заставили Аарона почувствовать себя старым. Он взглянул на лежавший перед ним документ и почувствовал желание снять его с подложки и положить туда собственную голову.

Так, подумал он в каком-то странном оцепенении.

Так…

Да, возможно, Эстер Веласкес просто умерла во время чумы или после нее, как и предполагал Уилтон в своей статье.

С другой стороны, не хотел ли Уилтон отмахнуться от истории женщины-писца, соблазненный более крупной темой саббатианской Флоренции? А что, если упоминание о смерти Веласкес отсутствовало

в лондонских метрических книгах лишь потому, что она случилась в другом месте?

Один телефонный звонок – и спустя двадцать минут Аарон уже направлялся в автобусе в Ричмонд-на-Темзе. Чтобы пораньше уйти из читального зала, пришлось выдумывать предлог – он не хотел понапрасну обнадеживать Хелен, пока у него не будет конкретики, которую можно показать.

Вместе с толпой пассажиров он вышел на остановке и минут десять шел вверх по холму к зданию, где располагались ратуша и музей. Пройдя по лабиринту узких коридоров, увешанных досками с объявлениями, он наконец нашел отдел краеведения, где его встретила Энн. Энн оказалась одновременно и моложе, и более зрелой, нежели он предполагал после их телефонного разговора. Да. У нее были записи, о которых он спрашивал. Да. Она может оставить для него кабинет открытым на полчаса, как и обещала. Краеведческий отдел должен закрываться, но поскольку у нее все равно еще есть дела…

Говоря все это, Энн деловито расчистила для него часть рабочего стола в загроможденном кабинете. Кабинет был большой, но в нем казалось тесно из-за многочисленных полок и заваленных папками столов. Аарон понимал, что посетителей здесь немного даже в рабочие часы и его интерес к архивным документам был достаточным основанием, чтобы отдел был открыт до позднего часа. Тем не менее он обратил внимание на взгляды, которые Энн украдкой бросала на него и тотчас же отводила глаза, когда обращалась к нему. Он привык к такому поведению, но редко обращал внимание на девушек вроде Энн. Однако в этот раз обратил. Энн не пользовалась косметикой, а застегнутая доверху блузка лишь намекала на очертания ее груди. Энн снова подошла к его столу и положила блокнот и карандаш так, чтобы Аарону было удобнее работать. Интересно, именно так флиртуют такие, как Энн? Наверное, подумал Аарон, именно так. Обделенные внешней сексуальностью, они рассчитывают завоевать мужчину заботой и надежностью.

Аарон сел за стол, и Энн молча выложила перед ним три тома в плотном переплете.

Обычно он не замечал застенчивых девушек, но тут ему пришла в голову мысль, что в этом была не их беда, а скорее его.

Он смотрел на метрические книги семнадцатого века, но думал о себе. Как так получилось, что он ни разу не целовал ни одну девушку после Марисы? Поразительно! Да и правильно ли он делал? Аарон прокрутил в памяти несколько прошедших недель, потом месяцев – их исполнилось всего пять с того момента, как они виделись с Марисой, – и ничего не нашел.

Отринув печальные мысли, он раскрыл верхнюю книгу и стал переворачивать мягкие плотные страницы. Приходская книга. Ричмонд, Суррей. Бумага была такой же, с какой он работал в хранилище редких рукописей, только здесь не требовалось надевать защитные перчатки, не нужно было писать огрызком карандаша, и, главное, тут не было вечно шипящей на него Патриции. Хотя, иногда поглядывая в соседнее помещение, где копошилась Энн, Аарон подумал, что из нее вполне выйдет новая Патриция, как только возраст девушки достигнет критического срока.

Впрочем, мужчин с такими же взглядами, как и у него, предостаточно.

Столбцы имен, дат смертей, рождений и браков… Вполне разборчиво, если привыкнуть к витиеватому почерку писаря.

Во второй книге Аарон натолкнулся на фамилию Га-Леви.

«4 сентября 1666 года. Сделана запись о браке Мануэля Га-Леви из Ричмонда и Эстер Веласкес из Амстердама».

Аарон откинулся на спинку стула.

Значит, она была жива. Да еще вышла замуж.

Он был в восторге от своего открытия. Он радовался за Эстер, которой удалось пережить чуму; он радовался за себя, потому что теперь знал, как попали исписанные бумаги в ричмондский дом. Вероятно, Эстер привезла туда бумаги после замужества, хотя трудно представить, какую цену могло бы иметь приданое в виде измаранной чернилами бумаги для такого человека, как Мануэль Га-Леви. О нем в бумагах Эстер было единственное упоминание, из которого следовало, насколько презрительно относился Мануэль к учебе. Уж не поэтому ли Эстер и спрятала архив в надежном месте от мужа, который безо всякого сожаления бросил бы эту макулатуру в один из широких каминов?

Как явствовало из «двойного» письма, Эстер сначала категорически отказала Мануэлю, поскольку находила его взгляды неприемлемыми для себя. Но потом все-таки вышла за него замуж.

Аарон попробовал представить себе, как Алеф покидает пораженный чумой Лондон и приезжает в Ричмонд. Он представил свадебную церемонию на фоне горящего Лондона: как он помнил, на четвертое сентября шестьдесят шестого года пришелся самый пик Великого лондонского пожара. Аарон вообразил себе праздничное действо, продолжавшееся, невзирая на страшный катаклизм, всего в нескольких милях от Ричмонда. И он представил себе Эстер Веласкес, стоящую под хупой[57], освободившуюся от бремени своих забот. Но было ли это на самом деле облегчением для нее?

За те несколько месяцев, что он разбирал ее почерк, у Аарона сложился мысленный портрет Эстер Веласкес: миниатюрная, большеглазая, худая, бледная и с темными волосами. Ни дать ни взять Эмили Дикинсон с еврейским носом. Действительно ли она стала хозяйкой некогда величественного дома, что возвышался над рекой? Аарон вспомнил написанные ею строки, где буквы были похожи на паучьи лапки, – но Алеф ушла навсегда, и теперь ее делом стал ежедневный обход слуг и наблюдение за их работой. Каждый день она проходила мимо богато украшенной резьбой лестницы, под которой была похоронено свидетельство ее такой краткой умственной и личной свободы. Вполне возможно, она находила время, чтобы тайком перечитать эти бумаги. А быть может, она, наоборот, старалась забыть о них, так как воспоминания об утраченных возможностях могли быть для нее слишком болезненными.

Аарон постарался больше не думать – вряд ли он мог понять образ мыслей еврейки семнадцатого века. Достаточно того, что жила такая Эстер Веласкес, которая писала бумаги для слепого раввина, а потом, когда тот умер, вышла замуж за Мануэля Га-Леви, чтобы обеспечить свое будущее. Вероятно, она была довольна своей жизнью в Ричмонде, а может, и не очень. Но в любом случае все это не имело к нему, Аарону, никакого отношения.

Так он сидел в душном кабинете, держа в своих руках хронику трехвековой давности. Втайне Аарон надеялся, что история Эстер Веласкес не закончится так тривиально. Он и Хелен старательно избегали признания того факта, что Уилтон был, в общем-то, прав в

своих сдержанных оценках способностей и дарования Эстер. Аарон ждал, что биография безвестной девушки-писца преподнесет ему что-то ошеломляющее, что-то триумфальное – в общем, то, что Аарон хотел бы видеть в самом себе. Он желал видеть Эстер независимой, умной, неукротимой, мятежной; он ожидал прославиться за ее счет. Но История осталась безразличной к его чаяниям.

Мир просто сомкнулся над головой Эстер Веласкес, словно гладь вод. И то же самое грозило теперь самому Аарону.

Впрочем, для него такой исход не был неожиданным.

Чувствуя, как внутри него нарастает панический страх, он стал просматривать следующие записи, ища имя Эстер. Роды, смерть, а может, и то и другое сразу? Аарон водил пальцем по строкам, молясь о том, чтобы эта история, забравшая у него несколько месяцев, наконец закончилась. В другом углу кабинета Энн украдкой поглядывала на часы. Он прекрасно понимал, что она пытается оттянуть время до последнего момента, когда ей придется сказать, что надо уходить. Аарон переворачивал страницы; он просмотрел записи за шестьдесят седьмой, восьмой, девятый годы. Однако записи становились все длиннее, ведь с каждым годом население Лондона росло. До сих пор ему не попадалось ни одного упоминания об Эстер Га-Леви, хотя некто Бенджамин Га-Леви, по-видимому тесть Эстер, скончался в шестьдесят седьмом году. Вроде до этого момента у четы Га-Леви не было детей… впрочем, может быть, посмотреть после семидесятого года?

– Боюсь, что нам пора, – раздался голос Энн. Она стояла рядом, и ее рука с коротко остриженными ногтями покоилась на спинке пустого стула.

Аарон одарил девушку смиренной улыбкой:

– Скажите, могу ли я просмотреть еще несколько страниц?

– Нет, – просто ответила Энн. – Извините.

Неудивительно, что у него не ладилось с Патрициями – они еще в молодости превыше всего ставили важность ограничений. Аарон убрал в сумку свой блокнот. Они прошли по бесконечной веренице коридоров и лестниц, и ее легкие шаги следовали за ним; Аарону хотелось обернуться и сказать девушке что-нибудь приятное, но как он ни старался, выходило лишь саркастическое: «Ты далеко пойдешь!»

На улице Аарон замедлил шаги. На автостанцию идти не хотелось, а зайти было особо и некуда. Энн заперла главный вход, спустилась по ступеням и направилась было к центральной улице, однако было заметно, что и она колеблется.

– Если я могу вам чем-то помочь…

Ее красивые голубые глаза смотрели ясно. Аарон мысленно проклял этот мир, который никогда не предложит этой девушке того, о чем она мечтает. Его охватило тягостное чувство, что сама форма существующего мироздания ошибочна.

– Спасибо… – произнес он. – Я пытаюсь выяснить дату смерти одного человека.

Энн терпеливо слушала.

– Это тысяча шестьсот семидесятый год или немного позже того. Эстер Га-Леви.

Энн кивнула, достала блокнот и записала имя. А затем, слегка покраснев, телефонный номер Аарона.

– Я поищу.

Энн повернулась и вскоре исчезла в толпе.

День неспешно перетек в вечер. Аарон смотрел, как мимо него проходят англичане, спеша возвратиться в свои дома. В одно мгновение ощущение своей чужеродности, которое не оставляло его все последние месяцы, вдруг пропало, и Аарон понял, что его новое, отличное от повседневности, существование позволяло ему забыть про ощущение изоляции, которое лежало в основе его жизни, будь то в США или в Англии. В отличие от незнакомцев с портфелями и пакетами в руках, что шагали мимо него по извилистой дорожке, опоясывавшей холм, Аарона никто не ждал дома.

Он чувствовал, что внутри него вот-вот погаснет некая свеча. И тут же в голове сложилось определение одиночества: когда вдруг понимаешь, что история твоей жизни складывается не так, как ты думал и хотел.

«Стоп!» – приказал он себе. Ну и что, что Эстер вышла замуж за Мануэля Га-Леви? Это не обязательно должно быть поражением. По крайней мере, она смогла избежать чумы. Да и кто знает, может быть, в конце концов, она полюбила этого Мануэля, каким бы болваном этот парень ни казался ей поначалу? Аарон решил, что именно так и объяснит все Хелен Уотт, ибо хотя та его и раздражала до

чрезвычайности, но все же он испытывал некоторую симпатию к старой профессорше. «Послушайте, – скажет он Хелен. – Любовь часто вырастет из антипатии. И Эстер решила выйти замуж за человека, которого некогда презирала».

Нет, Хелен так просто не одурачить… Эстер-Алеф не могла выйти за мужчину, который не испытывал страсти к наукам.

Сквозь просветы между стволами деревьев виднелась безмолвная река. Аарон грустно посмотрел на струящиеся воды и пошел – но не к автостанции, а, неожиданно для себя, вверх по холму, выпить пива у «Просперо».

Впрочем, и в паб он не стал заходить.

Дверь открыла Бриджет. Несколько секунд она всматривалась ему лицо, стараясь вспомнить. На ее лице появилась легкая кривая улыбка. Так они простояли довольно долго, так что Аарон почувствовал себя неловко.

– Привет, – наконец вымолвил он.

– Значит, все еще не прошел интерес?

– Не совсем, – ответил Аарон, поспешно добавив: – Насчет дома.

Да, насчет дома – именно это он и имел в виду. Вернее, думал, что это так. Он свернул с улицы, не дойдя до паба, и пошел по узенькой тропинке через недавно подстриженный палисадник Истонов, потому что подумал, что, увидев дом еще раз, он сможет получить хоть какое-то понимание выбора Эстер Веласкес.

– Ну, в таком случае проходите, – сказала Бриджет.

Аарон неуверенно засмеялся вслед за ней.

В прихожей стояла тишина. Почему-то Аарон сразу понял, что Иэна нет дома. Высокий потолок терялся в тусклом вечернем свете. Пахло недавно сделанным ремонтом, то есть краской и штукатуркой. Проходя, Бриджет щелкнула выключателем, и крошечные прожекторы подсветили холсты на стенах. Абстрактные формы вызывающе контрастировали с темными пятнами искусно вырезанных деревянных панелей. Через дверной проем маленькой комнаты виднелся целый зоопарк перекрученных натюрмортов из цветов и фруктов, свернутых непостижимым образом, так что Аарон мало что мог разобрать. Между комнатами, словно стражники семнадцатого века, стояли два резных херувима, наблюдающие за тем, что сотворили Истоны с домом; Аарон раньше не замечал их, и теперь эти двое, поблескивая

полированным деревом, смотрели на посетителей с каким-то заговорщицким весельем на вырезанных три века назад лицах.

Изысканная работа по дереву, высокие потолки, яркий свет, льющийся из высоких окон, и сюрреалистические картины… Аарон должен был признать, что подобное смешение (он почти расслышал это слово, произнесенное кремневым голосом Хелен) выглядело эффектно. Да. Резало глаз, но нельзя сказать, что это выглядело плохо, хотя, впрочем, Аарон не знал, хорошо ли это на самом деле. Если посетитель хотел визуального напряжения, то оно было налицо. Что же касается Аарона, то у него свело скулы.

– Ну, как вам? – спросила Бриджет. – Открытие выставки будет на следующей неделе. Дело в том, что ремонт… – тут ее лицо приняло довольно жесткое выражение, и Аарон понял, что дама в опасном настроении, – ремонт дался нам нелегко.

Он прошел через холл, делая вид, что рассматривает картины, кивая при этом, как он надеялся, с задумчивым и одобрительным выражением. Но, передвигаясь среди шедевров современного искусства, Аарон старался незаметно пробраться поближе к затененной лестнице.

– Мы закрыли тайник, – спокойно произнесла Бриджет.

Аарон откровенно шагнул к основанию лестницы и увидел, что темная панель с замочной скважиной заделана. Плотник, видимо, попался хороший, так что со стороны следов ремонта видно не было.

Бриджет выглядела удивленной. Заметила ли она, какую острую жалось испытал Аарон при виде заделанной панели? Ему казалось, что эта лестница сама по себе превратилась в один из экспонатов выставки Истонов: демонстрацию того, насколько безразличны одним страсти и поражения других.

– Выпьете что-нибудь?

Аарон неопределенно кивнул, что, казалось, позабавило хозяйку. Она открыла дверь между двумя полотнами и исчезла за ней. Он слышал удаляющийся стук ее каблуков по коридору, который в свое время служил для прохода прислуги. Наконец шаги стихли; послышался далекий звук, напоминающий грохот тяжелой двери.

Прошло несколько минут. Аарон стоял у лестницы в самом сердце безмолвного дома. Тишина отдавалась эхом; он слышал, как она

дышит, движется, перетекает из комнаты в комнату, как кислород по телу. Трехсотлетняя тишина.

«Немая проповедь», – подумалось ему. Но прежде чем Аарон пустился по изъезженному мысленному пути к рассуждениям о самомнении профессии своего отца, он невольно признал, что сам так и не избавился от раввинистических привычек. Всю свою жизнь он хотел быть тем, кем был его отец: преданным, которого почитают именно за его смиренную преданность; человеком, стоящим где-то посередине, в рабстве у чего-то большего, но и сам являющийся господином для тех, кто ниже его.

Но Аарон не мог соответствовать даже стандартам своего отца, и это стало ему окончательно ясно. Ему не хватало авторитета, чтобы служить проводником мудрости истории. Он думал, что любит историю, но на самом деле он даже не мог видеть ее.

В уме у него всплыл неудобный вопрос: что там Мариса рассказывала о своем брате-гее? То гда он не обращал на это особого внимания, поглощенный усилиями произвести на Марису максимальное впечатление. Но теперь давнишний разговор снова вернулся к нему, как нить от клубка. Ее брат был спортсменом, и девушки буквально вешались ему на шею. Он никогда никому не признавался в своем пристрастии, кроме Марисы, которая превратилась в своего рода разведчика: она следила за юношами, которые нравились брату, и устраивала так, чтобы они случайно встретились, чтобы хотя бы поговорить. А потом какой-то козел, узнав, в чем дело, растрепал об этом по всем знакомым, превратив жизнь брата в полное дерьмо. Он едва пережил депрессию. Даже бабушка, которая прошла через Берген-Бельзен[58], просто делала вид, что ничего не происходит.

Рассказывая эту историю, Мариса говорила спокойно, ровно и медленно.

«Это едва не убило моего брата. Я все твердила ему: Дэнни, а почему бы тебе не позволить себе быть свободным? Но ему было слишком стыдно. И я тогда решила, что брат должен быть свободным».

Держа в руке стакан с пивом, Мариса не отрываясь смотрела Аарону прямо в глаза.

«Люди живут, все время пытаясь кому-то угодить. Но как только понимаешь, что угождать, собственно, и некому, жизнь вмиг

становится простой. Ведь это так просто – делать то, что считаешь правильным».

Закончив, Мариса посмотрела на него со значением. А потом, допив пиво, перешла к вопросу об американских евреях. И Аарон по глупости ухватился именно за евр еев, как будто его интеллектуальные шутки на исторические темы являлись отличной возможностью продемонстрировать Марисе свою крутость.

«Им не нужна память, – говорила Мариса, – и им не нужна история, которая способна вызвать дискомфорт. Они просто хотят, чтобы их любили. От этого у них возникает эйфория…»

Она говорила об американских евреях, но с тем же успехом ее слова можно было применить к самому Аарону.

Тишина дома звучала как упрек. Аарон только теперь догадался, что тогда Мариса говорила именно о нем.

Он закрыл глаза и увидел ее. Теплый смелый свет в ее взгляде. Приглашение и вызов. Родни Келлер увидел в ней то, что делало Марису непохожей на остальных, с кем Аарона сталкивала судьба, – он увидел в ней тревожащую прямоту.

Эта мысль заставила его подумать об Эстер Веласкес. Или, скорее, как он поправил себя, Эстер Веласкес, в которую он предпочитал верить.

Аарон никак не мог понять, что заставило Марису переспать с ним в тот вечер пять месяцев назад. Однако у него было подозрение, отчего она больше не хотела иметь с ним ничего общего.

Что он делает сейчас в этом доме? Что он вообще делает в Англии?

Хлопнула дверь, и рядом с Аароном появилась Бриджет – со стороны, противоположной той, куда она удалилась. Увидев испуг Аарона, она рассмеялась:

– Этот дом полон сюрпризов, правда?

– Ну, это точно, – сказал он. – Вы тут и есть главный сюрприз.

Бриджет явно понравился комплимент. Она подала Аарону стакан, отпила из своего и придвинула два металлических стула.

– И скажите же, – спросила Бриджет, – что такого интересного вы узнали из тех бумаг, которые до сих пор не дают вам покоя? Вы узнали, кто изобрел колесо? Или кто первым добыл огонь?

Она помахала перед его носом рукой с ухоженными ногтями.

– Да… На самом деле все произошло здесь. В этом самом доме.

Бриджет щелкнула ногтем по стакану:

– Как я и подозревала.

Они помолчали некоторое время, а затем Бриджет покачала головой, и ее лицо приняло напряженное выражение:

– Чертов дом!

– Что вы имеете в виду?

– Да ничего! – фыркнула Бриджет.

Она подняла свой стакан и посмотрела на него.

– А ваша милая начальница смягчилась? Мне показалось, что она хотела взглядом прожечь дыру в Иэне.

Бриджет скрючилась на стуле и проскрипела: «Бумаги мои!» Аарон не смог удержаться и усмехнулся. Он должен был признать, что у нее хорошо получилось изобразить Хелен, скопировав ее вздернутый подбородок, впалые щеки и ледяной взгляд.

– А что, неплохо, – сказал он.

– Дело в том, что ваша шефиня напоминает мне мою тетку. Та тоже была полностью убеждена в своем собственном взгляде на природу вещей. Вот только тетка считала себя еще немного мистиком. Всегда говорила, что испытывает к людям чувства. Она читала мне сказки, когда меня отправляли к ней погостить, но я помню только одну: «Девочка со спичками». Слышали же? Про девочку, которая замерзает в снегу. Она заглядывает через окна к людям, которые греются у своих очагов, но не может почувствовать их тепла.

В лице Бриджет мелькнуло что-то неопределенное:

– Именно так я и чувствовала себя, когда слушала. Раньше я изо всех сил старалась быть мудрой и достойной ее, только в половине случаев я не понимала, о чем, черт возьми, она говорит. И она видела это. А знаете, какие были ее последние слова? После того, как ее удалось уговорить выехать отсюда, ее положили в больницу. Так вот, она сжала мою руку так, словно больной была я, и сказала: «Как жаль, ведь я надеялась, что мы станем подругами».

Они выпили.

– А, – сказала Бриджет, – ведь вы, американцы, все такие. Любите излить душу. Я попала под дурное влияние! – ткнула она Аарона длинным пальцем в грудь.

Над ними уходили вверх темные деревянные панели стен. Поблескивали окна с черными ручками задвижек. Потрескавшиеся от времени стекла.

Аарон рассмеялся в ответ и глотнул из стакана.

Шло время. Весь сценарий давно был известен Аарону: угол наклона головы Бриджет; то, как она откинулась на спинку стула; удлиняющиеся паузы между ее ироничными вопросами о его университетской деятельности. Наступил момент, когда он должен был сделать ответный ход. Здесь и сейчас. Но Аарон медлил, и, кажется, Бриджет заметила его скованность. Привлекательная женщина… Аарон не отличался особенной щепетильностью, если замужняя женщина предлагала себя; студентом он спал с замужней женщиной, причем в ее же доме, когда дети были в школе, а муж на работе. Тем не менее время шло, Бриджет ждала, а Аарон понимал, что не справляется со своей задачей. На него невыносимо давила тишина дома. Хотелось встать и крикнуть: «Да объясни же!»

И дом объяснил, как мог: Аарон просто хотел большего, чем он мог дать ему.

Бриджет сделала вид, что хочет подлить ему в стакан. Когда она наклонилась над Аароном, он поднял руку – почти автоматически – и отвел свесившуюся прядь ее волос. Жест мимолетный, но его оказалось достаточно. Лицо Бриджет озарилось, и она, улыбнувшись, провела кончиками пальцев по джинсам Аарона. Прикосновение было подобно электрическому разряду, и тело Аарона ответило безо всякого его на то намерения: вспышка ясности в тумане замешательства.

Дальше все произошло поразительно быстро. Его рука покоилась на ее ладони, и она положила ее себе на грудь. Тонкий шелк блузки словно растаял, и Аарон, почувствовав твердый сосок, поднялся на ноги, словно паря в воздухе. И вот они уже поднимаются по лестнице трехсотпятидесятилетней давности, и старинные окна смотрят на них на каждом повороте, и ступени скрипят под весом их шагов; они поднимаются в самую темноту, Бриджет дергает его за руку… Должно быть, они левитировали, иначе Аарон не мог объяснить, как быстро и плавно они перенеслись на верхнюю площадку, оказались у полуприкрытой двери и потом на прохладных простынях постели Бриджет. Аарону и раньше доводилось уступать женской прихоти, но быстрота, с которой все произошло на этот раз, ослепила его. От

Бриджет пахло лавандой, чем-то пряным и одновременно анестезирующим, и от этого запаха кружилась голова, но это не имело значения. Бриджет знала, чего хочет от него, и Аарону было легко двигаться вместе с ней под шорох простыней в порывах дыхания и удовольствия. Он поймал ее взгляд и рассмеялся с неожиданной для себя радостью, но Бриджет не смеялась, ее лицо выглядело яростно сосредоточенным, а Аарона всего поглотило чувство блаженства, перетекающее все ниже и ниже, и он весь сконцентрировался в одном мгновении такой сладости, что пространство исчезло и он слился с миром.

Когда он постепенно пришел в себя, что-то звучало в его теле… ровное и тихое, как шепот.

Чисто-белый потолок над кроватью цветом напоминал яичную скорлупу, ровно посередине красовалась замысловатая розетка. Он медленно провел взглядом по противоположной стене: белые панели, отделка… все белое.

Наконец он понял и узнал: стук собственного сердца.

Ему не хотелось думать о Марисе.

– М-м…

По голосу Бриджет он понял, что она улыбается. Она положила руку ему на грудь и, приподнявшись, поцеловала в щеку.

Аарон рефлекторно, не поворачиваясь, обнял ее.

– И только не говори, что тебе не понравилось, – прошептала Бриджет ему на ухо.

– Понравилось.

Настала пауза, достаточно долгая, чтобы он понял, насколько неубедительно прозвучали его слова.

– Тогда в чем дело?

Аарон взглянул на Бриджет и увидел то, чего меньше всего ожидал: тоску. Мгновением позже он понял, что на его собственном лице написано то же самое. Он и Бриджет Истон смотрели друг на друга с обоюдным отчаянием, и Аарон никак не мог понять природу его.

Он отвел глаза в сторону. Мгновение спустя Бриджет заговорила уже своим нормальным, прежним голосом.

– Не-ет, – пропела она. – Ты что, чувствуешь себя виноватым?

Она немного отстранилась, словно для того, чтобы лучше его разглядеть.

Нет, Аарон не чувствовал за собой никакой вины. Его ощущения были на удивление обыденными, знакомыми. Немое бессилие, напоминавшее белые стены вокруг. Он вмешался в какую-то драму Бриджет, в какой-то спор, который она вела то ли с мужем, то ли сама с собой и своей жизнью.

Бриджет приподнялась на локте:

– Нет, ты обманываешь меня. Тебе… стыдно. Ты… чувствуешь, что… виноват.

Каждое слово – тычок пальцем в грудь.

– Но ведь ты даже не женат, не так ли? Как же ты можешь винить себя, если я себя не виню?

Он не был уверен, что Бриджет действительно не испытывает чувства вины. Просто это был именно тот разговор, к которому она была готова. Он сказал, словно играя отведенную ему роль:

– Иэн, кажется, хороший парень.

– Да, – сказала Бриджет, и между ее идеальной формы бровями появилась тонкая морщинка. – Да, он очень хороший парень.

Слова легли веско, но не были похожи на комплимент.

Аарон вдруг осознал, что они оба голые. Он натянул на себя простыню.

– Послушай, – сказала Бриджет, – ты же сам понимаешь, что все это ничего не значит. Просто нам было любопытно.

Механически, просто чтобы не показаться ханжой, Аарон спросил:

– Тебе все еще любопытно?

Но флирт уже закончился, и вопрос повис в воздухе. Бриджет заметила, что ее чары спали с Аарона. Взгляд ее серо-голубых глаз сделался ярким и жестким и говорил ему, что Бриджет видит его насквозь; ей больше не нужен этот несчастный американец в постели.

– Нет, – наконец сказала она.

Аарон оделся, стараясь не шуршать одеждой. Он глянул в окно, из которого открывался вид на спуск к реке, отгороженный потемневшими от времени железными стойками. С высоты, в сумерках река казалась обманчиво неподвижной. Застегнув джинсы, Аарон подошел ближе к окну, и ему показалось, что она – Эстер – стояла

именно на этом месте, в этой самой комнате, точно так же, как и он сейчас, смотрящий на меркнущие тени, и свет на поверхности медленной воды, и завораживающее недосягаемое течение Темзы.

И только когда он вышел из дома, чувствуя на своих щеках прощальные ироничные поцелуи Бриджет, в его голове отчетливо прозвучал голос Марисы.

«Аарон!» – послышался голос.

И все. В голове звучало эхо ее голоса, который звал его. Простое напоминание, одно лишь слово, как голос совести.

Он уже жалел всем сердцем, что занимался сексом с Бриджет. Не то чтобы Аарон думал о последствиях этой связи, с которыми разбираться придется самой Бриджет, а никак не ему. Но такая быстрая, случайная связь больше не подходила ему. За последние несколько месяцев он достаточно изменился, чтобы осознать пустоту своей прежней жизни.

Однако недостаточно, чтобы видеть ясный путь к тому, чего он желал достигнуть.

Он прошел мимо «Просперо», подняв воротник. Просперо… Он так и не понял шекспировской «Бури».

«Я любила». Эти слова преследовали его в темноте, пока он спускался по склону холма к автостанции. Он не мог оставить их позади себя, он признал их своими.

Часть четвертая

Глава двадцать вторая

Лондон

28 июня 1665 года

15 таммуза 5425 года

Рассыльный, доставив сумку, приподнял шляпу и приготовился бежать.

– Не поможешь? – Ривка указала на небрежно сшитый мешок с углем, лежавший прямо за дверью, куда другой рассыльный бросил его на прошлой неделе, отказавшись войти в дом.

Из-за своего письменного стола Эстер наблюдала, как долговязый светловолосый юноша с редким пушком вместо бороды качает головой. Теперь в Лондоне это было в порядке вещей – все боялись близко подходить друг к другу.

Уголь в мешке был набит, что называется, под завязку. Чтобы поднять его, требовались как минимум двое. Эстер тут не могла служить помощницей: сегодня утром она, пытаясь помочь, выпустила из рук угол мешка, отчего тот чуть не порвался. Ривка, не говоря ей ни слова, отстранила ее от работы.

– Я заплачу, – вздохнув, произнесла она.

Рассыльный, сам тощий как спичка, какое-то время колебался. Присмотревшись к Ривке повнимательней, как бы выясняя признаки нездоровья, он пожал плечами и шагнул через порог, словно игрок, бросающий жребий. Вместе с Ривкой они подняли мешок, перенесли его через комнату и спустились по скрипучим ступенькам в погреб. Потом юноша, отряхивая перепачканные ладони, проследовал за Ривкой обратно к двери. Но полученная монета заметно придала ему бодрости.

– Сегодня день молитвы и поста, – весело сообщил он, засовывая деньги в карман. – Это все из-за чумы.

Он прислонился к стене и потер ладонями штукатурку, явно довольный, что сообщил столь важную информацию.

– Проповедники говорят, что это, конечно же, Божья кара. Предупреждением о ней является комета, которую видно каждую ночь над Лондоном. Они утверждают, что чума – это огонь, посланный очистить нас от скверны.

Он возвел послушный взгляд к небу и как бы невзначай сказал:

– А в еврейском доме, может, найдется какая-нибудь еда?

– Нет, ничего нет, – буркнула Ривка.

– Вот такой я невезучий! – воскликнул юноша. – Такой тупой, что даже в еврейском доме не могу найти съестного! Моя мать так бы и сказала, будь она жива.

Он снова пожал плечами и, отлепившись от стены, продолжил:

– А вам ходить по улицам небезопасно. В такой день. Если вы попадетесь, то скажут, что именно вы принесли чуму в город. Вы, позвольте сказать, вроде хорошие люди. Лучше сидите тихо и купите на свои еврейские богатства лекарство от чумы.

Он выглянул на улицу, а потом с важным видом кивнул.

– Это все паписты. Это они наслали наказание на город.

Когда рассыльный наконец ушел, Ривка всем своим грузным телом повернулась к Эстер.

– И не смей выходить на улицу, пока не пройдет день поста! – предупредила она.

И только теперь Эстер ощутила, как редко они стали разговаривать последнее время – словно одинокие шаги пешеходов за окном заставляли глохнуть их голоса. Впрочем, Эстер и не нужно было насильно удерживать дома. Еще накануне она натолкнулась на шествие флагеллантов[59] – десяток мужчин, что торжественно двигались посередине узкой улицы в сторону реки. Они шли безмолвно, если не считать тихого пения и тошнотворного шмяканья хлыстов по их голым спинам. Эстер прижалась к стене дома, чтобы пропустить жуткое шествие. До сих пор у нее в глазах стояли страшные картины: кто-то спокойно шел, кто-то спотыкался, едва не касаясь ее; кровь обильно стекала по голым торсам и окрашивала багрянцем спины.

Ривка закрыла дверь за посыльным, прислонилась к ней спиной и стала пересчитывать оставшиеся в кошельке монеты. По выражению

облегчения на ее лице Эстер поняла, что присланных Мануэлем Га-Леви денег хватит не только на недельные нужды, но и на опиум. Болезни, что преследовали раввина на протяжении многих лет, последнее время обострились и теперь приносили непрекращающуюся боль, облегчить которую могли лишь лауданум и кора ивы.

Врач приходил дважды. Во второй свой визит он долго мял живот раввина, а потом заявил, что у того нарушено движение телесных соков, что скоро приведет к смерти. Не обращая внимания на тихий стон Ривки, врач с трудом опустился на колени у постели раввина и, бесстрастно глядя в лицо своего пациента, как будто мог проникнуть сквозь его слепоту, чтобы показать свое уважение, сказал: «Жизнь человека конечна, и человек, будь он христианин или еврей, заслуживает знать о своих последних днях, чтобы с достоинством говорить о них Богу». Раввин приподнялся на ложе и благодарно пожал врачу пухлую руку. Уходя, тот принял положенную плату и сообщил Ривке и Эстер, что больше не придет, так как денег у них слишком мало, чтобы тратить их на бессмысленное лечение… что же до него, то он почти не спит, пользуя больных и тех, кто боится заболеть. Да и сам он боялся новой заразы из-за истощения своих сил. Врач побрызгал порог дома уксусом и поспешно ушел.

С той поры сон раввина стал прерывистым из-за болей неизвестного происхождения. Учитель то и дело вскрикивал тонким, почти неузнаваемым голосом. Просыпаясь от крика, Эстер спешила вниз по лестнице и обнаруживала, что Ривка уже дежурит у постели больного, поскольку ее уши, казалось, слышали крик до того, как он вырывался из горла страждущего. «Me esta tuyendo, Mãe!» Иногда Ривка и Эстер вскакивали раза по три за ночь и ждали, пока раввину станет легче. Лишь однажды Ривка повернула голову к Эстер, и ее карие глаза робко глянули в тусклом свете камина.

– Кого он зовет? – хрипло спросила она.

Эстер искренне, насколько могла, сказала:

– Он просит утешения. Кажется, он зовет мать.

В глазах у служанки промелькнуло разочарование, но оно тут же сменилось выражением облегчения. Ривка быстро и небрежно провела по лицу рукой. Эстер жалела о собственной слепоте: она жаждала недостижимого, не задумываясь, чего желало сердце самой Ривки.

С каждым днем болезни раввина ощущение одиночества в доме становилось все явственней. В субботу в их дверь постучала женщина и тихим голосом посоветовала уезжать из Лондона в сельскую местность. Но прежде чем Эстер успела добежать до двери, чтобы посмотреть, кто пришел, она услышала голос Ривки, объяснявшей женщине, что раввин болен и не вынесет переезда. К тому моменту, когда Эстер присоединилась к прислуге, женщина уже бежала прочь, словно сам дом дышал на нее чумой. И действительно, Эстер и сама толком не знала, кто из прихожан все еще оставался в городе, а кто бежал. Синагогу закрыли, и толпа женщин, которые являлись главным проводником слухов и новостей, пропала сама собой. Сам Лондон выглядел дико: невидимые границы между приходами, некогда почти незаметные, превратились в настоящие пропасти, пересечь которые можно было лишь на свой страх и риск – количество жертв чумы постоянно оглашалось, как бы ни изворачивались родственники, стремясь утаить правду.

Смерть распространялась от прихода к приходу, словно прилив или, вернее, лесной пожар: распространение болезни было неравномерным, как будто хаотичный ветер разносил искры куда попало, затрагивая один участки леса и щадя другие. Страх проник повсюду и разрушил даже человеческие связи.

Тот небольшой доход, который приносила Ривке работа поденщицей, исчез: по крайней мере, две последние недели заказчики не обращались к ней, ибо разорванный шов или испачканная сорочка не стоили риска контакта с другим домом. Жители Лондона сами латали прорехи в своих портках, ходили в нестираной одежде, сами пекли хлеб или покупали его в страшной спешке, как будто болезнь подкарауливала их во время сделки.

Даже от Мэри уже давно не приходило никаких вестей – с тех пор, как они были на реке. Она не ответила даже на три записки, которые Эстер оставила у ее дверей, поскольку служанка отказалась пускать ее внутрь, сказав с неприятной резкостью, что мистрис да Коста Мендес не принимает гостей.

Затворившись в доме, Эстер коротала время, перечитывая письма, что присылал ей Джон из своих сельских путешествий, пока наконец фразы не зазвучали для нее странными стихами:

Мое сердце жаждет вернуться в Лондон, только нужно сперва окончить дело, порученное мне отцом.

До меня доходят слухи об ужасных вещах, что творятся в городе, хотя я и надеюсь, что половина из них неправда. Надеюсь, у тебя все хорошо, моя дорогая Эстер.

Она не знала, что отвечать, даже если бы Джон имел возможность получать ее письма.

И только Мануэль Га-Леви, казалось, интуитивно чувствовал беды, обрушившиеся на их дом, и, не дожидаясь просьб, обеспечивал всем необходимым. Сумма в кошельке Ривки уже трижды обновлялась за последние несколько недель. К первым двум прилагалось предложение сопровождать Эстер по сельской местности. В каждом случае намерения Мануэля были ясны и решительны.

Мой отец закончил обустройство нового дома. Его роскошь может поразить вас. Богатая резьба по дереву, кирпичный фасад – пусть ненавистники евреев, увидев такое великолепие, придут к нам чистить сапоги. Отец смотрит из окна, словно понтифик Темзы, что делает меня довольно частым, хотя и редко признаваемым явлением в католической церкви – то есть сыном понтифика. А когда вы – невестка понтифика, то можно устраивать обеды на манер церковной мессы или синагогальной службы, а то и во вкусе берберийского паши, мне все равно.

Эстер подолгу просиживала над каждым письмом Мануэля и в конце концов отослала его посыльного с запиской: «Благодарю вас за любезное приглашение, но в этом нет необходимости».

Ривка закончила подсчет оставшихся денег в третьем присланном мешочке и с непроницаемым лицом обратила взгляд вверх.

– На этой неделе ни писем, ни денег не передавали!

Раввин пошевелился во сне. Черты его лица напряглись, но через мгновение боль как будто ослабила свою хватку. Как только болезненные морщины разгладились, Эстер увидела на лице учителя истинную чистоту, совершено чуждую этому грубому и жестокому

миру. Перед взором еще стояли последние его слова, что Эстер записала:

> Ибо я говорю с вами, как отец с сыном; и, хотя ваши притязания уже недоступны для меня, все же я подвигну вас для дерзаний с таким пониманием и любовью к Б-гу, какие есть в вашем сердце. Именно для того я и тружусь, так как понимаю, что труд сей станет последним моим добрым делом в нашем мире.

Если бы она могла заслужить такие же доверительные слова и наставления, как бывший ученик раввина, что жил теперь во Флоренции!

Эстер не двигалась с места. Надо было помочь Ривке на кухне, но едва она отошла от стола, как раввин приподнял голову и заговорил ясно, как будто все это время не спал, а обдумывал свою речь.

– Тебе нужно уезжать из города, – сказал он. – И Ривку бери с собой. Врач сказал мне, что болезнь распространяется.

– Вы мне как отец, разве могу я вас оставить одного?

– Но я прошу тебя, – мягко возразил раввин, – тебе еще жить. Береги себя. Мы изучили четыре обязанности, когда человек должен пожертвовать своей жизнью. И ты хорошо знаешь, что уход за умирающим не входит в их число.

– Наш спор – пустая трата сил, – резче, чем хотелось, сказала Эстер.

Она вернулась к столу и взяла в руки книгу:

– Вам почитать из «Утешения»?

Раввин повернулся к огню.

При виде его худых плеч и сутулой спины – тела, которое не могло уже поддерживать себя даже в сидячем положении, – Эстер охватила злость. Она понимала, что не имеет права думать о любви к учителю, потому что предала его. Но тем не менее даже в своих письмах, ставя вопросы, которые раввин, безусловно, счел бы богохульством, она всегда вспоминала учителя, образ мыслей которого являлся для нее мерилом, по которому она проверяла свое понимание мира. Это была высшая любовь, вернее, уважение. Однако, уважение требовало, чтобы те инструменты логики, что передал ей раввин, в случае противоречия

с его традицией служили ей для поиска истины, каковая вряд ли понравилась бы раввину. Для Эстер величайшим актом любви, а по сути, единственной религией, которую она понимала и принимала, являлась способность говорить правду о мире. То есть любовь в ее понимании была актом истины, обнажением ума и духа, столь же пылким, как обнажение тела. Истина и страсть едины, как понимала Эстер, и одно без другого невозможно.

И все же, что такое любовь, способная обрушить крышу?

Мужчину она сделала бы бессердечным, женщину – отвратительной. В своем упрямом, ненавидящем сердце Эстер называла злобу, что испытывала к учителю, любовью.

Раввин заговорил неожиданно, и Эстер вздрогнула.

– Пока я спал, ты что-то писала… Его голос звучал как-то странно.

– Я записывала ваши слова, я просто…

– Нет, – вздохнул раввин и продолжил, но уже не по-португальски, а по-кастильски: – Я спрашиваю тебя, ты писала собственные слова?

Эстер замерла.

Лицо раввина обратилось к потолку, дрогнуло, но он справился с собой, сложил кончики пальцев и сказал:

– Ты обманывала меня.

Он постарался придать своему лицу бесстрастное выражение:

– Кому же ты пишешь, когда садишься за стол?

Что ему ответить? И правда, и неправда одинаково ранят его.

– Эстер!

Наступило долгое молчание.

– Это ради тебя я диктовал письма во Флоренцию, – произнес раввин. – Ради тебя я составил сборник толкований стихов о Мессии, чтобы ты могла облачиться в их тепло и помнить Бога Израилева.

Учитель вздохнул.

– С самого детства твой разум искал не только истины священных текстов, но и ответов на запретные вопросы, что лежат за их пределами. Я не знаю, как ты живешь с таким безбожным интересом, с каким родилась, но все равно я всегда чувствовал доброту твоего духа и хотел, несмотря на твои поступки, оставаться твоим учителем. Только по этой причине я осмеливался вступать в споры даже с теми,

кто обладает бóльшим авторитетом, чем я… чтобы открыть для твоего ума красоту нашего предания.

Раввин медленно покачал головой.

– Я уже сильно подвел одного из самых своих проницательных и способных учеников и сделал все, что было в моих силах, чтобы не потерять другого.

Эстер видела все это и не имела слов, чтобы выразить свою благодарность за такой подарок и стыд, который испытывала при мысли о такой незаслуженной щедрости. Она вдруг поняла, что учитель перешел на кастильский не только потому, что хотел говорить о важном, но и не желал опозорить ее, позволив Ривке узнать о предательстве.

– А теперь я хочу знать, что ты сделала от моего имени.

– Поверьте, я никогда ничего не писала от вашего имени. Я использовала другой псевдоним.

Раввин кивнул:

– Я рад…

– Что же касается содержания моих писем, то прошу вас не спрашивать о нем, ибо знаю, что мой образ мыслей вам противен.

Раввин долго молчал и наконец произнес:

– Нет, я не буду спрашивать. Но пусть вина за твои ошибки, в чем бы они ни заключались, ляжет на меня. Ведь ими ты обязана мне.

– Нет, – возразила Эстер. – Вина здесь исключительно моя. Я обманывала вас.

Но раввин снова покачал головой и предостерегающе поднял палец, дабы отвратить ее от дальнейших слов. Он хотел поговорить о другом.

– Однажды у тебя выпал шанс выйти замуж за Мануэля Га-Леви. Ривка говорит, что эта возможность все еще остается.

– Нет, я…

– Эстер, не отказывайся. Если нужно, ты можешь обманывать мужа, как обманула меня. Но при этом будучи сытой, живя в своем доме и имея детей. Я хочу… – он пожевал губами, – я хочу, чтобы ты жила. И не знала голода. Я хочу этого даже больше, прости, Господи, чем твоего исправления. Я ведь знаю твое упрямство. И мои слова не помешают тебе использовать разум, данный тебе Богом, даже если ты и забудешь об этом. Позволь мне остаться твоим учителем и сейчас, на

пороге смерти. Выходи замуж и живи в достатке. И пусть муж твой будет так же слеп к твоим делам, как был я.

Эстер решительно замотала головой.

– Мануэля Га-Леви так просто не обманешь, – убежденно сказала она. – Он сам сказал мне, что, став его женой, если я и буду что-то писать, то только прописи для детей. Он… – Эстер замялась, – он лучше, чем я думала. Он щедр и честен, когда хочет быть таким. Но все помыслы Мануэля, его силы и ум направлены исключительно на обеспечение будущего для его наследников. Да, моя жизнь в материальном смысле изменится к лучшему, но я больше боюсь этого, нежели радуюсь. Обычные женские радости и увлечения не для меня. Такой меня создал Бог.

Эстер закрыла глаза, желая в этот миг видеть еще меньше, чем старый раввин. За закрытыми веками перед нею всплывали огненные волнообразные узоры, целый океан тепла и танцующего света. Эстер понимала, что, даже когда она пытается быть абсолютно правдивой, она все равно не достигает своей цели. Если бы руку и сердце предлагал Джон, она не стала бы говорить о том, что неспособна радоваться тому, чего желают другие женщины. И если ее действительно создал Бог именно такой, какой она была, то откуда тогда возникло в ней это дикое желание доверить себя, душу и тело англичанину, об истинных намерениях которого она знала еще меньше, чем о намерениях Га-Леви? Как же трудно познать хотя бы одну истину – истину собственного духа!

– Теперь, – слабым голосом произнес раввин, – ты напишешь письмо в Дотар, в Амстердам. Если ты не выйдешь за Мануэля Га-Леви, то, возможно, они помогут тебе решить вопрос с приданым, и это повысит твои шансы на брак. Эстер, ты должна подумать о своем будущем.

Она ничего не ответила.

– Напиши, – сказал раввин. – Теперь ты должна послушаться меня.

На рассвете Эстер проснулась совершенно разбитой. Всю ночь она носила то одеяла, то воду для раввина по просьбе Ривки. Она не решалась подойти близко к постели умирающего учителя, чье поверхностное, неглубокое дыхание словно отмеряло прошедшие

часы. Уже при бледном утреннем свете она снова перечитала письма Джона.

> Я все время вспоминаю вас и того оленя на лугу. Я думаю о вашей сжатой руке тогда, в карете, после той дурацкой пьесы, о том, как долго вы разжимали пальцы. И мне хотелось бы видеть, как разжимается ваш дух, пока груз вашего доверия не перейдет целиком ко мне. Я вижу, что жизнь ваша была нелегка и ваше доверие дается нелегко.
>
> Мои дела наконец закончены, и я возвращаюсь в Лондон, страшась чумы, но исполненный радости от возможности видеть вас.

Все утро ее мысли мешались, отгораживая ее от окружающего мира. В аптекарской лавке, вокруг которой толпились мрачного вида женщины, торгующие противочумными отварами, Эстер вполуха выслушала несколько историй о детях, восставших из своих могил, чтобы утешить скорбящих матерей. Когда одна из женщин, подняв палец, заявила, что в реве кометы, проходящей через небо, ей слышится глас Божьего возмездия, Эстер сжала в кулаке монеты и постаралась сосредоточиться на прилавке аптекаря. Пузырек с лауданумом она отдала Ривке, но сама опять не рискнула подойти к раввину.

Она стояла у самой входной двери, когда постучал угрюмый посыльный, сунул ей письмо и побежал прочь.

> Я остановился у Томаса на Даунгейт-стрит, потому что мой друг нуждается не только в совете, но и в компании. Однако в Лондоне свирепствует чума, и я не хотел бы надолго задерживаться в городе. Документы мои в порядке, и скоро день отъезда.
>
> Дорогая Эстер, поедемте со мной! Я покажу вам зеленую Англию, какую вы еще не видели.
>
> Отец мой пожелает вашего обращения. Такой выбор сильно облегчил бы вам жизнь, однако же я не намерен настаивать. Но даже если вы и решитесь, какие бы привязанности ни питали к верованиям вашего народа, это

останется исключительно делом вашей совести, каковую я обещаю оберегать всеми силами.

В полдень Эстер выскользнула из дома и направилась в сторону Грейсчерс-стрит. Торопливо шагая по Ломбардской улице, она вдруг увидела Лондон глазами Джона, который отсутствовал уже несколько недель, не подозревая о таком разительном преображении. На Кэдлвик-стрит стоял какой-то мужчина, который размахивал над головой снятой с себя одеждой и что-то выкрикивал. Ребра его напоминали хилую лестницу-стремянку, а на месте срама виднелось что-то почерневшее – Эстер поспешила пройти мимо, не вглядываясь. В узком переулке на деревянной двери она заметила крест, намалеванный грубыми белыми мазками. Чума всюду распустила свои щупальца, охватив весь город. Мимо быстро прошли двое мужчин в носатых масках, набитых травами. Они двигались строго посередине улицы, чтобы не приближаться к жилым домам, и уступили дорогу только телеге, которая везли на кладбище двоих: мужчину и маленькую девочку. Голова девочки покоилась на груди отца, и казалось, что она просто спит. Ее лицо выглядело красивым, даже несмотря на ужасные язвы.

Дверь открыл Джон.

Прежде, чем Эстер успела поздороваться, он взял ее за локоть и притянул к себе. Поцелуй его вышел легким, словно вопрошающим, но было видно, что Джон рад ее видеть.

– А где Томас? – спросила Эстер, чувствуя на своей талии руку Джона.

– А, ушел к Мэри. Она уже несколько недель умоляет его прийти. Кстати, как она, здорова?

– Если бы я знала. Она не отвечала на письма и даже к двери не походила.

– Это не первый роман Томаса. Но, боюсь, и здесь он выйдет сухим из воды.

– Да, – согласилась Эстер. – Мы все это понимали. Все, кроме самой Мэри.

Джон поджал губы:

– Возможно, трудно предвидеть то, чего надеешься не увидеть.

– Наверное.

Тема оказалась исчерпана. Они молча стояли у входной двери. Наконец Джон рассмеялся, разогнав неловкую тишину:

– Так ты поедешь со мной? Я хочу уехать утром, не позже.

Эстер положила обе руки ему на плечи. Они были почти одного роста, и теперь Эстер смотрела Джону прямо в глаза:

– Я пришла сказать, что не могу. Пока не могу.

Джон недоверчиво усмехнулся.

– Раввин слишком болен, чтобы путешествовать. Он умирает. Я должна остаться с ним.

– Если ты не поедешь сейчас, потом уже не получишь разрешения покинуть город. Многие просители ждут по нескольку дней и в итоге получают отказ. Болезнь распространяется слишком быстро, и ни один приход не чувствует себя в безопасности.

– Я знаю. Если раввин умрет этой ночью, утром я буду с вами. Но поймите, я не могу просто так оставить его умирать одного.

Подумав, Джон покачал головой.

– Эстер, я не понимаю… Если то, что ты чувствуешь ко мне, это любовь…

Он вдруг засмеялся, как бы опровергая детскую логику своего высказывания, и заговорил по-другому:

– Ваша преданность учителю – дело чести. Я уважаю такой выбор. Но, Эстер, Лондон скоро будет закрыт и сгорит дотла в чумном пожаре. Эстер, любовь хочет спасти тебя.

Говоря, Джон смотрел на нее с таким вниманием, какого Эстер раньше не замечала в нем.

– Если откажешься сейчас, то, возможно, мы больше никогда не увидимся. Неужели любовь так мало значит для тебя?

– Ты не понимаешь, – начала Эстер, чувствуя, как слова застревают в горле.

Но как было объяснить то, что она чувствовала, то, какие нелепые надежды он возбуждал в ней? Эстер не могла представить себе счастливую судьбу, но даже сама мысль о Джоне была прорастающим семенем, способным расколоть камень. Тот час, что они провели у реки вместе, подарил Эстер такое впечатление от красоты, что потрясенная девушка долго не могла решить: выбросить все это из головы или навеки остаться очарованной? Молчаливость Джона нравилась ей больше, чем горделивые обещания Мануэля Га-Леви.

Она хотела так и ответить Джону, но подобные слова напугали ее, словно исполненная высокомерия молитва, которая вместо благодати способна навлечь проклятие.

– Я обидела раввина, – сказала Эстер. – Как-нибудь расскажу. Но поскольку я не могу поправить сделанное, то хотя бы могу остаться с ним в его последние дни. Если же я поступлю иначе, мне никогда не удастся возвыситься духом и стать достойной твоей любви.

Джон кивнул. Лицо его изменилось: что-то его расстроило.

«Пожалуйста, ну же», – подумала Эстер.

Но Джон смотрел на нее так, будто она заманила его куда-то высоко, а когда он уже оторвался в прыжке, извинилась, что сама не решилась последовать.

– Я говорил Бескосу, что он ошибается, – пылко и в то же время с болью произнес Джон. – Он сказал, что еврейка все равно предпочтет своего соплеменника.

– Нет, – возразила Эстер, – это не так. Я выбираю сердцем, и мое сердце принадлежит тебе.

Эстер почувствовала, как ее сердце буквально упирается ей в ребра. Впервые в жизни она почти что увидела его, смелое и полное надежд – маленький деревянный сосуд, полный до краев какой-то золотой жидкостью, готовой пролиться на все: раввина на смертном одре, тусклый свет свечи, при котором она с трудом разбирала письмена, мертвое лицо девочки на груди отца… Все, что было для нее прекрасным и драгоценным, хлынуло из ее сердца сюда, в то место, где она стояла напротив Джона.

Джон…

Она положила руки ему на грудь и ощутила, как его сердце забилось так же быстро, как и ее собственное.

– Раввин был мне отцом с тех пор, как умер мой настоящий. И я просто обязана быть с ним в его последний час.

– Я понимаю, – сказал Джон.

Однако Эстер видела, что он не понимает. Очевидно, что его стремление спасти ее прочно укоренилось в его сознании; что это значило для него невероятное, некий маяк, за светом которого он решил следовать. Джон хотел быть для нее чистым и простым, хотел быть ее спасителем.

И тут Эстер впервые поняла, что словами и логикой не передать всего. Слова не могли заставить Джона поверить, что она готова подарить ему, пусть даже сейчас и отказалась от его предложения.

Ей представился образ бабушкиных рук на клавишах спинета, одновременно нежных и твердых. Эстер убрала руки с груди Джона и положила одну ему на плечо. Другой же она обняла его и шагнула вперед, словно проходя в открытую дверь. Потрясенный ее откровенностью, Джон отшатнулся назад, а затем, нерешительно, подался вперед. Его поцелуй был намного крепче, словно испытание чего-то нового, и она показала в ответ, что будет с ним открытой, насколько возможно. Быстро, не глядя, она повела его к боковой двери, потом к другой, за которой стояла кровать, уложила рядом с собой и, уже не думая о судьбе Мэри, стала помогать ему расшнуровывать платье, пока не оказалась совершенно обнаженной, а он, сообразив, что сам все еще одет, поспешил с комичным джентльменским смущением избавиться от одежды; и оба смеялись над тем, как неловко он стаскивал с себя рубашку и бриджи.

Его кожа казалась бледно-розовой на фоне ее золотистой, а тело было тонким, как и представляла себе Эстер. Она закрыла глаза, и снова перед нею возник зеленый дневной свет, который не выходил у нее из памяти с той самой речной прогулки, увидеть который еще раз мечтала до сих пор. Но даже во сне она не могла раскрыться так, как здесь. Всеми своими чувствами, кроме разве что зрения, она старалась воссоздать их общий образ: образ травы, листьев, распускающихся почек; или блеск паучьей нити, столь тонкой, что даже легкий ветерок был способен разорвать ее безвозвратно, ибо они выбрали любовь в самом беззащитном ее проявлении. И когда он вошел в нее, в ее уме невыносимо ярко вспыхнули слова: мы придумали это! Эстер открыла глаза, чтобы сказать ему об этом, и лицо его показалось диковинным – необузданным, живым и прекрасным, словно порыв бури, разбивающийся об освещенное стекло окна. Лицо Джона озарилось такой священной ясностью, что Эстер подумалось: вот так должны выглядеть ангелы, исполненные желания и понимания.

«Здесь нет границ, – хотелось ей сказать, – любовь изобретает себя сама снова и снова, а мы носимся внутри нее». Она назвала его имя и рассмеялась.

И, смеясь, Эстер вдруг заметила, как радостное выражение постепенно гаснет на лице Джона. Как будто какая-то сторонняя мысль одернула его, как будто некий голос, словно незримый вестник, позвал его из железного мира добродетели и порока, мира, в котором его собственное сердце не осмелится издать ни звука, так что теперь биение его казалось громоподобным, преступным. Глаза Джона сверкнули беспокойно.

Джон крепко держал ее в объятиях, зарывшись лицом в облако ее волос, раскиданных на подушке. Эстер слышала его учащенное, растерянное дыхание.

И она содрогнулась от накатившей на нее волны блаженства.

Он, успокоившись, отделился от нее. Эстер чувствовала на себе его взгляд, но когда открыла глаза, то увидела, что взгляд Джона обращен к окну. Какое-то время оба лежали молча, умеряя дыхание. Эстер снова попыталась встретиться с ним взглядом, но тот снова ускользнул от нее. У Эстер создалось впечатление, что она завела его слишком далеко, слишком быстро, оторвала его от самого себя и теперь он хотел быть кем угодно, но не Джоном.

В комнате было тихо.

– Ты была девственницей? – спросил он.

Слова прозвучали нелепо, нестройно, словно кто-то подсунул ему текст из другой пьесы. Неужели он не понял того, что она только что сказала ему, что предложила своим телом? Какое отношение имела ее девственность к произошедшему сейчас?

Вопрос, однако, требовал ответа, причем на таком же странном языке, на котором был задан. Эстер неохотно кивнула: да. Но, видя, что слова все еще необходимы, добавила:

– Я вверяю себя тебе.

Джон кивнул – во всяком случае, Эстер так показалось, – но она видела, как что-то в его теле затвердело. Несколько мгновений спустя он обратил свой взгляд на нее, как будто бы издалека, словно опасаясь ее и себя.

Раздался хлопок двери – это возвратился Том а с. Услыхав шум, Джон вскочил с постели и стремительно натянул штаны, не глядя передав Эстер ее платье. Через мгновение та оделась, и Джон с напускной вежливостью сжал ей плечо. Он что-то невнятно пробормотал и издал звук, похожий на смех, но Эстер уже вышла в

гостиную, направляясь к двери. Джон направился следом, мимоходом отметив расплывчатую ухмылку своего друга.

Она не могла сожалеть о содеянном. Не могла.

Эстер добралась до дома, не помня ничего из виденного по дороге – ни живых, ни мертвых. Закрыв за собой дверь, она столкнулась взглядом с Мануэлем Га-Леви, который сидел за ее письменным столом с кружкой эля.

Рядом на кресле раввина неловко примостилась Ривка. По ее беспокойному ерзанью было ясно, что ей страсть как хочется вернуться к домашним делам, пока раввин спит, но, видно, с нею случился приступ невиданной вежливости, и она не захотела оставить гостя одного. Едва Эстер вошла в комнату, Ривка вскочила с места, что-то буркнула Мануэлю по-английски с ужасным акцентом, присела в реверансе и удалилась. Этот жест был настолько несвойственен Ривке, что Эстер лишь выпучила глаза, ничего не сказав.

Затем, словно во сне, она повернулась к Га-Леви и с едва ощутимым ужасом заметила, что забыла спрятать свое вчерашнее письмо. Увлекшись разговором с раввином, она оставила исписанную страницу на самом виду, однако Мануэль, видимо, вовсе и не собирался читать, просто отодвинув листок в сторону. Га-Леви был в хорошем расположении духа, подтянутый и розовый от переполнявшего его здоровья.

– Вот, зашел проверить свои вложения, – приветствовал он Эстер.

Она не могла сосредоточить взгляд. Комната была вся залита солнечным светом, окно превратилось в белое пятно, а лицо Мануэля буквально расплывалось перед глазами.

– Отец послал меня заняться кое-какими делами да заодно проследить за слугами, чтобы не набедокурили тут в наше отсутствие. Конечно же, я рад был такой возможности, даже если учесть, в каком состоянии сейчас Лондон.

Он внимательно посмотрел на Эстер и подозрительно сморщил свой широкий лоб:

– Вы, часом, не больны?

Едва удержавшись, чтобы не приложить руку к раскрасневшейся щеке, Эстер отрицательно качнула головой.

Мануэль довольно ухмыльнулся, но тотчас же изобразил удивление:

– Что, чума, обуздала ваш непокорный язык?

– Нет, – едва заметно улыбнувшись, ответила Эстер.

Мануэль отхлебнул эля и поставил кружку на стол.

– Кстати, вы обратили внимание, что Саспортас уже уехал? И не просто в деревню, а вообще бежал из Англии! Наш уважаемый новый раввин, кажется, не склонен разделять со своей паствой подобные испытания. Чума дала ему божественный знак покинуть Англию, чего он и желал с тех самых пор, как приехал сюда. Да. Он был слишком благочестив для общины купцов.

Полные губы Мануэля сложились в кривую усмешку, но он тотчас же принял серьезный вид.

– В Ричмонде нет чумы. Эстер, едемте со мной.

Она безмолвно показала рукой в сторону комнаты раввина:

– Я не оставлю его в этот час.

– Понимаю, – кивнул Мануэль.

Эстер не знала, благодарна она ему или расстроена.

– Я хотел, чтобы вы отправились со мной, – продолжал Мануэль, – однако я уважаю ваш выбор. Когда мы поженимся, вы будете выказывать и мне такую же преданность.

Перегнувшись через стол, он подхватил исписанный лист и быстро пробежал его глазами. Эстер сама написала эти слова под диктовку раввина, не поняв, что они обращены к ней: «Ибо я говорю с тобой, как отец говорит с сыном – и, хотя усилия твои для меня чрезмерны, все же хочу обязать тебя пониманием и любовью к Богу, каковые храню в сердце своем. Именно ради того и работаю я».

Мануэль сдержанно улыбнулся, разгладил лист и поставил на него пустую кружку:

– Помните о выборе, что предложен вам.

Ночь. Следом была ночь, наполненная размышлениями. Долгие часы без сна, в черной тишине, нарушаемой лишь слабыми стонами раввина, Эстер повторяла про себя события минувшего дня, пытаясь решить уравнение, составляющими которого были ее сердце и плоть.

Едва рассвело, как под окнами загремели колеса.

Она сбежала с лестницы и открыла дверь прежде, чем Джон успел постучать. От слабости она ухватилась за дверной молоток.

Позади Джона на фоне темной улицы и светлеющего неба виднелась груженая карета. Кучер с замотанным лицом дремал, сгорбившись на козлах, а за полуприкрытой дверцей сидел молчаливый Томас и смотрел куда-то вперед. Прежде чем заговорить, Джон обернулся назад, словно ища вдохновения в нетерпении своего спутника.

Он снова обратил лицо к Эстер, и та увидела, что Джон выглядит каким-то подавленным.

Что-то разладилось, но что именно, она пока сказать не могла. Возможно было предположить, что Эстер допустила ошибку, отдавшись Джону, и тот теперь ненавидит ее за то, что та так легко преступила свою добродетель… но Эстер была уверена, что это не так. Что-то пробежало между ними, и с этого началось беззвучное, но неизбежное падение. Эстер понимала, что отдала свое тело лишь потому, что это был единственный известный ей способ сказать правду, доказать искренность своих намерений. Однако они зашли слишком далеко, и Джон уже не узнавал ни себя, ни ее.

Если бы Эстер могла свернуться калачиком в его кармане, она бы так и сделала. В тот момент она была готова на все, даже оставить раввина. Она была согласна оставить свои занятия, как бесплодную глупость, лишь бы сейчас забраться, дрожа, в карету и приникнуть к Джону, чтобы согреться.

«Возьми меня с собой!»

Но было уже слишком поздно. На лице Джона отобразились все его переживания за последнее время, в том числе стремление не уронить себя в собственных же глазах и желание бежать от внезапных бедствий этого города… и от Эстер.

– Ты приедешь ко мне. Возможно. Потом, – произнес Джон, тщательно выговаривая каждое слово.

Эстер попыталась проследить за его логикой:

– То есть после смерти раввина?

Джон неуверенно кивнул.

Она открыла было рот, чтобы спросить: а как же наша любовь? а твои клятвы? Но когда Джон снова обернулся в сторону спасительной кареты, Эстер вдруг охватил порыв иного рода: произнести слова,

которые сразу бы загнали Джона в угол. «Я отдала тебе свою честь, и теперь ты знаешь, в чем твой долг передо мною!»

Но Эстер не признавала любви, которую нужно покупать жалостью. Она не стала обращаться и к понятиям о чести, поскольку попросту не верила в них. Честь и любовь – отнюдь не родственники, и те, кто утверждал обратное, грешили против истины. Только теперь Эстер поняла тот непростой выбор, перед каким оказалась ее бабка в свое время. «Сердце – вещь свободная, – говорила Лизабета, – и, порабощенное однажды, оно непременно поднимет мятеж».

«Я не позволю моему сердцу, что так жаждет свободы, стать рабом, – мысленно ответила она бабушке. – Пусть любовь придет ко мне свободной или же пусть не приходит вовсе».

– Тогда я буду ждать вестей от тебя, – сказала она.

Джон заметно расслабился, но невысказанное Эстер заставляло его чувствовать себя не в себе.

Он подобрался и посмотрел Эстер прямо в глаза:

– У меня нет такой силы духа, как у тебя.

«Поживи как я, так была бы», – подумала Эстер.

– Увидимся.

Он быстро чмокнул ее в щеку – Эстер в замешательстве не успела увернуться. С ее губ уже были готовы сорваться резкие слова, но они разрушили бы тишину, которая нужна была ей именно в этот момент, чтобы запечатлеть в памяти каждую деталь. Когда-то она думала, что женщине не пристало влезать в мужской костюм, чтобы узнать, что именно думает о ней ее возлюбленный. Сейчас она была готова и на большее, готова принять любую возможную форму, если бы знала какую. Стать совершенно другой, зачаровать его…

Он ведь ее любил. Сомневаться в этом было бы равносильно сомнению в самом ее здравомыслии.

Карета исчезла вдали.

Дни сокращались, тускнели, наслаивались один на другой, похожие, почти неразличимые, за исключением шаббата, когда Ривка зажгла свечи и капнула немного вина на бледный язык раввина, дождавшись, пока тот проглотит жидкость.

Лондон окончательно преобразился. На улицах больше не слышался стук копыт, а население сократилось до ничтожного числа

жителей – слишком бедных, чтобы куда-то ехать, или слишком жадных, что тряслись над своим имуществом; слишком больных, чтобы спасаться, или слишком самоуверенных относительно своего здоровья; грабителей или немногих бескорыстных доброхотов, которые все еще ухаживали за больными.

Иногда до слуха Эстер доносился колокольный звон; где-то что-то громко ухало, слышался непонятный шум, а потом наступала зловещая тишина. Время от времени ее нарушали приглушенные крики. Эстер выходила из дома в поисках припасов, пыталась найти хоть какую-нибудь подработку, чтобы Ривка могла оставаться дежурить у постели учителя. Все запасы опиума в городе иссякли, а аптекарь вдобавок удвоил цену на ивовую кору. Он не брал монету из ее руки, а кивком головы велел положить на прилавок, будто не только прикосновение, но и само сказанное слово могло оказаться смертельно опасным.

Однажды в сумерках, возвращаясь домой из аптеки, Эстер забрела в парк, где когда-то давно встретила Кэтрин. Глупо, конечно, но она уже не боялась за собственную безопасность. Дорожки все сплошь заросли травой, а темнеющий воздух был насыщен птичьими голосами, так как по распоряжению мэра граждане перебили всех городских котов, каковые считались главными виновниками распространения чумы. Она долго стояла, прислушиваясь к птичьему пению среди колышущихся трав, пока над головой не зажглись звезды. Со стороны соседней пустынной улицы лился тусклый свет фонаря, который нес какой-то человек, и окна домов отвечали ему слабыми бликами.

Слова, что она когда-то читала в другом мире, в освещенной лампой переплетной мастерской, сейчас стали всплывать в ее памяти. «То, что ушло, и то, что было в прошлом, должно остаться в прошлом».

Эстер повторяла эти слова, чувствуя под ногами мягкий английский дерн…

Дома ее встретила Ривка с покрасневшими глазами. Вешая плащ на крючок, Эстер услышала прерывистое дыхание раввина, которого Ривка устроила возле огня. Старик что-то произнес сухим, едва слышным шепотом. Эстер, поколебавшись, подошла ближе. Уже несколько недель она избегала близких контактов с учителем, стараясь

быть ему полезной на расстоянии, так как думала, что ее присутствие будет тяготить раввина.

– Видуй, – повторил раввин.

Если бы не эпидемия, то исповедь мог бы принять Саспортас или какой-нибудь уважаемый человек из синагоги. Да и то, не лучше ли было раввину вовсе не исповедаться, чем позволить выслушать видуй человеку, который предал его? Впрочем, общаться он должен был сейчас с небесами, и ей предстояло послужить лишь простым проводником. Закрыв глаза, она поклялась выкинуть из головы все посторонние мысли, чтобы хоть эту задачу выполнить безошибочно.

Найдя потрепанную книжку, Эстер стала медленно читать слова, давая учителю возможность осознать каждую фразу. *«Модех ани лефанеча».* Некоторые слова он повторял за ней. А другие беззвучно срывались с его шевелящихся губ. *«Те'хе метати чапара».*

Когда она закончила, из пересохшего горла раввина вырвался хриплый звук.

– А теперь я хочу говорить о себе, – с трудом вымолвил учитель.

Он долго и мучительно пытался сглотнуть.

– Расстояния между вещами, – наконец прошептал он, – огромны.

Он поднял дрожащую руку и опустил ее себе на грудь поверх одеяла.

– В утешение мне дано, – снова заговорил он, – прийти к смертному часу целым и невредимым, не подвергнувшись новому испытанию. Ибо я знал, что потерплю неудачу так же, как в юности, когда душу мою испытывали инквизиторы.

Я плохо помню, как отвечал на их гнусные вопросы, но они задавали их снова и снова. Помню одно: я старался стереть из памяти имена, которые знал, имена, от которых пострадали бы другие евреи. Но признаюсь – если бы меня попросили отречься от Бога моего, я так бы и сделал, ибо в том ужасном месте мое тело чувствовало только собственную боль, и слабый мой дух не мог поверить, что страдания, свидетелем коих я был, являлись родовыми схватками пред рождением Мессии.

Раввин замолчал, бессильно откинувшись на подушки, но через некоторое время собрался с силами.

– После того, как они отняли у меня глаза, я обшарил пальцами каждую комнату, каждую улицу и переулок в Лиссабоне, а потом и

в Амстердаме. И знаешь, что я тогда чувствовал, а, Эстер?

Она сглотнула слюну.

– Я понял, что расстояния между вещами огромны. Они гораздо больше, чем я думал, когда у меня было зрение. Меня повсюду окружала пустота. Пусто, пусто, и само присутствие Бога исчезло тогда. Я ходил растопырив пальцы и ощущал разбитость Божьего мира.

Бог благословляет меня сейчас, – прошептал он, – и избавляет меня от второй муки. Это единственное, чего я боялся в этой жизни… боялся, что инквизиция снова возьмет меня и душа моя падет во второй раз. Эстер, я боялся умереть, не произнеся псалма своим языком.

Раввин провел пальцами по своим залепленным векам и продолжил:

– Как был наказан Седекия[60], такое же наказание претерпел и я. На всю мою жизнь, на все эти томительные годы последнее видение ни на час не отпускало меня. Моя мать на дыбе, с переломанными костями, но с распахнутыми глазами сияла, хотя жизнь буквально истекала из нее. Она не могла даже поднять руку, чтобы прикрыть наготу… Но она исповедала свою веру.

Наступило долгое молчание.

– Она представала пред моими незрячими глазами каждое утро, каждый день и ночь такой, какой я видел ее тогда. И я прошел через жизнь, неся ее образ в душе своей.

Дыхание раввина то прерывалось, то становилось тихим, то шумным.

– Я работал над тем, чтобы восстановить присутствие Бога в этой пустоте. Ибо восстановление мира Его словами есть дело, для которого нас и предназначил Бог.

Долгое время учитель молчал.

– Только вот, – заговорил он вновь, – каждый день я жалел, что не могу перестать видеть ее. Пусть даже это и означало бы навсегда забыть ее любимое лицо.

Мой грех, – продолжал раввин окрепшим голосом, – в котором я сейчас исповедуюсь, состоит в том, что я желал смерти. Я желал этого втайне, ибо даже слепоты недостаточно, чтобы скрыть ужасы этого падшего мира.

Он снова замолчал. Потом медленно кивнул, и его немытая редкая борода опустилась на одеяло, прикрывавшее впалую грудь.

– В том признаюсь!

Больше он ничего не сказал и постепенно впал в забытье.

Ривка принесла стул, села рядом с Эстер и стала шептать на память псалмы. Уже где-то к середине ночи Эстер присоединилась к ней. Слова их лились в полной тишине. Под их потоком при свете камина Эстер наблюдала, как преображается лицо учителя – он словно погружался в себя. Как будто он и сейчас продолжал бережно опекать ее и, даже выйдя за пределы досягаемости живых, наставлял изучать его так же внимательно, как любую фразу из Писания, которую они вместе рассматривали. Эстер почудилось, будто она видит обруч, опоясавший его голову, а затем и его исстрадавшуюся грудь, обруч, состоящий из боли. И венец этот, будучи пожизненным мучением старика, тихо напоминал о чем-то, что тот знал всю свою жизнь: «Ты же всегда знал об этом?» И Эстер увидела, как раввин прислушался к голосу, и согласился. Ибо смерть – так теперь думала Эстер – ждет согласия даже там, где она должна бы повелевать.

Она смотрела, как жизнь выходит из него неровной нитью, как пенный след за кораблем.

Огонь догорел – ему уже некого было согревать.

Эстер очнулась от рыданий Ривки.

Мир изменился бесповоротно. В груди засела тупая боль.

Найти место для захоронения или купить памятник стало в Лондоне непосильной задачей. Мертвецов становилось все больше, и каменщиков с могильщиками на всех не хватало. Говорили, что земля на кладбище Святого Петра поднялась до уровня пояса из-за укладываемых один на другой гробов, после чего людей стали хоронить в братских могилах. Мертвых сбрасывали в выкопанные ямы, откуда столбами поднималась известковая пыль, а поодаль молились живые, которые не осмеливались даже приближаться друг к другу. Не имело значения, что раввин умер не из-за чумы, поскольку семьи умерших часто пытались скрыть истинную причину смерти.

Эстер и Ривка наняли повозку и сами привезли тело раввина к яме на Степни-Маунт, отводя взгляд от сотен изъязвленных тел, присыпанных известкой, многие из которых даже не были обернуты.

Они прочитали положенные молитвы, а затем опустили хрупкое тело учителя в сшитом для него Ривкой саване в безмолвный переполненный ров.

Потом они вернулись домой.

Под дверью Эстер нашла записку от Мэри: «Приходи, пожалуйста». Буквы были выписаны округлым, почти детским почерком, не похожим на руку женщины ее возраста и состояния.

Без прерывистого, затрудненного дыхания раввина дом погрузился в мертвую тишину. Эстер вслед за Ривкой помыла руки в кухонном тазу; словно сомнамбула она застыла посреди передней комнаты, и ее посетила мысль: даже если им с Ривкой и суждено пережить чуму, дом скоро придет в совершенный упадок.

Маленькими ножницами Ривка в знак траура распорола воротник своего платья. То же сделала и Эстер. В тишине дома скрежетание ножниц казалось пугающе громким. Однако тишина была еще страшнее. Когда Ривка закончила, Эстер заметила, как меняется выражение ее лица от осознания того, что они остались одни.

– Я сейчас схожу к да Коста Мендес. Вернусь засветло.

Поджав губы, Ривка кивнула.

Эстер торопливо шла по пустым улицам. Еврейские дома по Кричерч-лейн стояли брошенными или были накрепко заперты. Если за их занавешенными окнами и оставались те, кому была небезразлична смерть раввина или пока еще живые Эстер и Ривка, то они не показывались на улице несколько недель. Эстер не могла удержаться от соблазна заглянуть сквозь толстые стекла, словно из-под поверхности воды или откуда-то из-за пределов этого мира.

Войдя в ворота дома да Коста Мендес, она тщательно прикрыла их за собой и только тогда разглядела намалеванный на дверях белый крест.

Поколебавшись, Эстер подошла ближе и постучала, стараясь не касаться креста, словно он был проклят.

Мэри отворила дверь ровно настолько, чтобы Эстер могла видеть лишь ее лицо.

– Я не больна, – сказала Мэри, а затем, схватив Эстер за руку, быстро проговорила: – Крест только для вида.

Эстер прошла в знакомую прихожую, и Мэри сразу же заперла за ней дверь.

Едва только вступив в гостиную, она поняла, что дом пуст. Дорогая мебель переломана, на полу кучей свалены подушки, одеяла небрежно брошены на диван, то тут, то там оставлена немытая посуда. Мэри никогда не занималась домашним хозяйством. Теперь она жила, ела и спала только в гостиной, окно которой выходило на пустынную улицу. Сама хозяйка была одета в нестираное голубое платье с незаколотым разрезом. Живот ее раздулся до такой степени, что выпирал из-под корсажа – яснее ясного, что ее никто не научил, как должна одеваться женщина, ждущая ребенка. Без своего обычного макияжа и украшений она и сама выглядела как ребенок. Усевшись с ногами в мягкое кресло, она притянула Эстер поближе к себе.

– Слуги сбежали неделю назад, – сообщила она, сжимая руку Эстер. – Ну, и прихватили кое-что из вещей отца.

Она пожала плечами, словно не осуждая людей за воровство. Отпустив наконец Эстер, она понизила голос:

– Томас тоже сбежал.

– Знаю, – отозвалась Эстер. – Я видела, как он уезжал вместе с Джоном.

Она заглянула в широко распахнутые, темные глаза Мэри и легко угадала весь ужас одиночества, проведенных ночей в брошенном доме и воцарившуюся вокруг тоску чумного города.

– Джон звал тебя ехать с ним?

Эстер открыла было рот. Но запнулась.

– Сначала звал, – помолчав, сказала она. – Но боюсь, что сейчас не был бы столь убедителен, даже будь у меня разрешение на выезд.

Наступившая за этим тишина, казалось, подтвердила их безмолвное соглашение никогда больше не называть этих имен.

– А почему у тебя на двери крест? Обычно такие рисуются на чумных домах.

Мэри покачала головой:

– Здесь пока еще никто не умер. Но приходил Бескос.

На пухлом лице Мэри мелькнул страх. Помедлив, она продолжила, понизив голос, словно боясь, что их могут подслушать:

– Томас рассказал Бескосу все. Что я беременна и что не собираюсь никуда уезжать из города.

Мэри, обхватив живот обеими руками, стала раскачиваться взад-вперед.

– Бескос догадался, что слуги обязательно бросят меня. Он сказал, что коли я осталась единственным хранителем имущества отца, то оно все будет принадлежать ему.

Эстер выслушала Мэри и сочла ее слова правдой. Но все равно, что-то здесь не вязалось с ее представлением о Бескосе. Да, он был отвратительным человеком, и даже опасным… но совсем не был похож на проходимца или мелкого воришку. В его поведении, в его натуре всегда проскальзывало что-то надменное. Он должен был считать ниже своего достоинства угрожать перепуганной девушке ради мелкого куша.

– Он подослал какого-то человека, чтобы тот намалевал крест. Я не знала, что он там, пока не выглянула на улицу. А он как гаркнет на меня, будто я крыса, которая пытается выбраться из ловушки.

Голос ее дрогнул.

– Но никто не придет. Все из нашего прихода уехали, да еще и до чумы не особо-то хотели общаться со мной. Сегодня утром я было вышла, чтобы дойти до тебя, и меня увидела какая-то женщина. Уж как она разоралась; и звала на помощь, и сказала, что натравит на меня толпу, и мне пришлось бежать от нее бегом. Вот так, Эстер.

Она ткнула пальцем в свой живот, что натягивал ткань платья.

– Бескос сказал, что, если я не стану платить ему из денег отца, он просто подождет, пока я умру от чумы или голода, и тогда все добро перейдет к нему.

Эстер отвернулась и стала смотреть на пустынную улицу, которая теперь была единственным зрелищем для Мэри.

– Пусть его. Пусть Бескос истребует это имущество. Пусть твой отец потеряет его. Нас примет Мануэль Га-Леви. И тебя, и Ривку, и меня. Я уверена.

Но Мануэль наверняка захочет чего-то взамен? Вероятно, ей придется уступить. Да. Она не любит Мануэля, ей милее Джон, но что из того? Джон по непонятным причинам отверг ее. А все остальное, что было ей дорого, причиняло боль раввину, а пользу приносило лишь ей одной. Решение принять предложение Мануэля могло спасти их всех.

Он оказался прав: рано или поздно жизнь заставит и Эстер выйдет за него.

Мэри посмотрела на подругу, и из ее горла вырвался звук, отдаленно напоминавший смех:

– Мануэль Га-Леви мертв. Он умер больше недели тому назад – мне прислуга рассказала. Он заболел в день отъезда из Лондона и не успел даже выехать за пределы городской стены.

В гостиной было темно. Эстер стояла во мраке, ничего не видя вокруг.

Мэри потянула ее за рукав:

– Эстер, останься со мной.

Она медленно покачала головой, но не в качестве ответа, а просто чтобы почувствовать движение.

– Я не могу жить одна, – продолжала Мэри. – Я совсем не знаю хозяйства. В кладовке еще что-то осталось, но я не умею готовить. Так что либо я помру от чумы, либо от голода. А уж если и доживу до рождения ребенка, то как я справлюсь с родами одна? Я не такая храбрая, как ты…

Мэри заставила себя остановиться, но ненадолго:

– Прости, что не отвечала на твои письма. Я думала… ты приходила ко мне только из-за денег. Вот я и полагала: сначала Томас, потом Бескос – им нужны лишь деньги моего отца, наверное, и тебе тоже. Я считала, что у меня нет настоящего друга. Ты собиралась уехать с Джоном, но, даже если бы ты и решила остаться, я не хотела, чтобы меня видели в таком состоянии.

Мэри снова указала на свой живот, уже не касаясь его, словно это была отдельная от нее вещь, да притом постыдная, но тут же обхватила его руками.

– Мне очень жаль, – торжественно добавила она, – очень жаль раввина. Сегодня утром вы ходили… туда?

Эстер кивнула.

– Да утешит тебя святой… – сбивчиво начала Мэри, – среди… среди…

Она остановилась, забыв окончание, и неловко хихикнула.

Жизнь менялась настолько стремительно, что надо было действовать. В доме раввина еды и топлива оставалось еще на несколько дней, а дальше – ничего. Ни какого-либо дохода, ни помощи

от Мануэля. Эстер с опаской подумала о кресте на дверях дома Мэри. Но здесь была еда, а кроме того, серебро и дорогая мебель, которые можно было обменять на что-нибудь необходимое. Если соблюдать осторожность, то можно будет как-то прожить.

– А Ривка? – спросила Эстер.

Мэри согласно кивнула, и на ее лице промелькнуло выражение облегчения. На мгновение она стала похожа на портрет мечтательной и зрелой молодой женщины, предвкушающей появление ребенка, какие Эстер часто доводилось видеть в богатых домах Амстердама.

– Приходите сегодня, – сказала Мэри, поднимаясь. Из-под одежды у нее виднелась бледная полоска живота. – Вечером, до начала комендантского часа.

К закату все было готово. Ривка, услышав о затруднительном положении Мэри, задала несколько практических вопросов и сразу же приступила к сбору всего необходимого. Эстер заперла входную дверь бывшего дома раввина и ушла, не оглядываясь, словно она не могла больше оставаться в его стенах, не слыша звука слабого дыхания учителя.

Они решили обойтись без повозки, поскольку дерево могло впитать в себя чумные миазмы. Эстер удалось незаметно проскользнуть в ворота; сначала она перенесла свои пожитки, а потом приступила к эвакуации библиотеки учителя. Книги она носила по две стопки за раз. Снова и снова она проходила по притихшим улицам, и книжные обложки оставляли у нее на предплечьях красные бороздки, будто слова обвинения, которое Эстер не могла опровергнуть. На шестой раз она принесла и бумаги. Тело раввина покоилось в чумном рве, но оставались его записи. Будучи не в силах разбирать бумаги, что она вынула из ящиков и сняла с полок, Эстер собрала их вместе как попало. Где-то среди них были и его письма к ученику из Флоренции, письма, как теперь она поняла, предназначенные на самом деле ей, чтобы отвлечь от безумия ее собственных представлений. Эстер захватила и свои сочинения. Но когда она спешила по извилистым и длинным переулкам в свете угасающего дня, ей казалось, что сами ее вопросы и аргументы были написаны алфавитом израненной души и тела. Такие жестокие раны от таких маленьких следов, оставленных на бумаге ее пером.

Той ночью Эстер лежала без сна на великолепном матрасе в доме да Коста Мендес. Рядом с ней тихо лежала Ривка, и было непонятно, спит она или нет. В соседней комнате тяжело ворочалась в постели Мэри.

Она еще не могла оплакивать кончину раввина. Разум пока что отказывался принимать этот факт. Под матрасом лежали наскоро спрятанные бумаги – ее и раввина – и молчаливо требовали чего-то от нее. А от мысли о Джоне ее дух содрогался.

Снова и снова Эстер возвращалась, сама не понимая почему, к единственному понятному событию – смерти Мануэля Га-Леви. Эта мысль неотступно преследовала ее. Эстер почти чувствовала его удивление, когда болезнь прикоснулась к нему впервые… а потом его большое тело ослабло, обожженное лихорадкой; оно отказалось подчиняться его командам встать, шагнуть, стряхнуть с себя недуг. Она видела его глаза, в которых мерцало понимание того, что и он тоже умрет. И хотя Эстер не любила его, в эту первую ночь в новой квартире она плакала о нем, о его измученном и неподвижном теле. О защите, которую он так долго и настойчиво предлагал ей. И о том, что он так надеялся получить от нее – поручительстве жены, которая никогда не предаст своего мужа.

Глава двадцать третья

Лондон

04 апреля 2001 года

Аарон дольше обычного пробыл в душе, затем не торопясь напился кофе. Даже выполнил данное ему еще несколько недель назад поручение – купил в магазине у входа в метро новый картридж для принтера Хелен. В ожидании оплаты он пропустил вперед молодую мамашу, которая все время трещала по мобильному, пока ее младенец тыкал обсосанным леденцом в стойку с товаром.

Но как он ни тянул время, в начале дня перед ним уже был стол в зале редких рукописей и последняя стопка документов.

Мрачно, чувствуя, как грани карандаша режут пальцы, он скользил по ровным линейкам блокнота. Заканчивать работу не хотелось – Аарон напоминал азартного игрока и, потерпев неудачу с уже просмотренными документами, рассчитывал на следующий пакет.

Однако, просматривая предпоследний, а потом и последний лист, он понял безрассудность своих расчетов относительно этих документов. В них не было ни великих откровений, ни бесспорных фактов, ни скрытой мудрости трехвековой давности. Ничего… Эстер Веласкес не собиралась выглядывать из-за кулис и спасать его от самого себя. Даже если бы она действительно писала от имени Томаса Фэрроу, доказать это не представлялось никакой возможности.

Единственное, что оставалось Аарону в эти утекающие часы, – слушать. Ни больше ни меньше. Что являлось, как он должен был знать с самого начала, первейшим долгом ученого-историка.

И вот теперь он пытался расслышать то, что на самом деле говорила Эстер Веласкес, а не то, что он хотел услышать от нее.

Материала было немного. Аарон перевел еще один список домашних расходов, на этот раз без посторонних приписок на полях. Потом прочитал еще одно послание раввина своему ученику во Флоренцию, однако оно оказалось слишком кратким и в основном

повторяло прошлое мнение учителя о Шабтае Цви и о вреде неуместного рвения.

Когда Патриция положила перед ним предпоследний документ, Аарон почувствовал, как у него сами по себе сжались кулаки.

Это был лист, исписанный лишь наполовину.

28 июня 1665 года
15 таммуза 5425 года
С помощью Б-жьей

Достопочтенному раввину Исааку Абоабу да Фонсеке

С одра моего шлю почтенной кехилле[61] Амстердама мое приветствие. Каждый час теперь приближает меня к концу. Ангелы, что сопровождают солнце в его проходе по небу, вряд ли склонны продлить мои дни, да я и не прошу об этом. Ибо та работа, для выполнения которой у меня оказалось достаточно сил, закончена независимо от того, преуспел я в ней или нет.

Здесь, в Лондоне, обо мне хорошо заботятся, читают мне псалмы, и я истинно счастлив, поскольку у меня нет недостатка ни в утешении, ни в родственной душе, которой мог бы исповедаться.

У меня к вам есть одна просьба, и я надеюсь, что вы исполните ее. А именно, я хотел бы, чтобы вы уговорили Дотар предоставить приданое Эстер Веласкес в случае, если когда-нибудь наступит день ее свадьбы. Ей слишком мало дали и слишком многое отняли в этой жизни. Я верю, что когда она станет под хупу, то проявит себя честной и добродетельной женщиной. В случае, если возникнут вопросы по поводу матери этой девушки, я прошу, чтобы Дотар все же исполнил мою просьбу, как долг перед мертвыми. В сем падшем мире я прошу вас сопроводить и утешить мою уходящую душу через это доброе дело, которое зачтется вам в мире грядущем.

За прегрешения мои молю у Б-га прощения.

Убежденный в вере в пришествие Мессии милость Б-га, которая откроет нам всякую тайну, смущающую досель наши незрячие души,

Моше Га-Коэн Мендес

Аарон откинулся на спинку стула.

Тишина в зале стояла гробовая. Слабый луч света осветил кусочек паркета у его ног. Глаза щипало.

Через несколько секунд он поднялся и взглянул на часы. Еще целых двадцать минут до встречи с Хелен в ее кабинете. Говоря по правде, за последнюю неделю она, похоже, утратила в некоторой степени интерес к хранилищу редких рукописей. У Аарона даже возникла мысль: а не затягивает ли она умышленно процесс ознакомления? В последнее время Хелен заметно сдала, а предсмертное письмо раввина вряд ли прибавит ей оптимизма.

Ладно…

Аарон подошел к столу библиотекаря, и Патриция настороженно подняла голову.

– Я взял бы последний документ, – как можно беззаботнее сказал Аарон.

Но Патриция была далеко не наивной женщиной. Она бросила на него почти сочувствующий взгляд и молвила:

– Письмо с плющом еще не готово.

– Что еще за плющ?

Патриция поджала губы:

– Самый последний документ. Сложенное письмо с целой сургучной печатью. А на печати изображение вьющегося плюща. Действительно очень красиво.

Ее брови приподнялись всего на миллиметр, отчего едва заметная улыбка показалась что ни на есть искренней.

– И когда же оно будет готово?

– Печать сняли и приготовили для экспозиции. А само письмо сейчас находится в увлажняющей камере. Говорят, что оно будет доступно через неделю.

– А что так долго?

Патриция опустила на нос очки.

– А вы, случаем, не знаете, что содержится в этом письме? – не унимался Аарон.

Она еще крепче сжала губы и выдохнула через нос:

– Вы по-английски понимаете? Или нет?

– Не-а, – отозвался Аарон. – Ни в зуб ногой.

Патриция хмыкнула, посмотрела на юношу и наклонилась к своему рабочему столу:

– Тогда разрешите кое-что вам объяснить. Мы очень терпеливы.

– Это давно устарело – терпеливые британцы против нетерпеливых американцев. К вашему сведению.

– Да неужели? – спокойно реагировала Патриция.

– Да. Кроме того, все это чепуха. Профессор Хелен Уотт, такая британка, что пульс у нее меньше нуля, в данный момент надевает платье с блестками, чтобы отпраздновать выдачу последнего документа.

Патриция даже бровью не повела.

– Но если вам удастся что-нибудь выудить, несмотря на английскую неприступность, я буду счастлив.

– Рискуете, – заметила Патриция.

– Конечно.

Они стояли друг напротив друга по обе стороны стола. Глаза в глаза.

– Ну что, друзья?

Откуда-то из зала донеслось хихиканье.

– В смысле, у вас так это делается? – продолжал Аарон. – Сначала запугать друг друга до полусмерти, а потом угостить пивом? Именно этого я не понимал все это время?

Патриция снова приподняла очки и взглянула на Аарона.

– А я-то, дурак, этап запугивания пропустил.

Патриция задумалась.

– В следующий раз не пропускайте, – посоветовала она.

– Не обещаю, – отозвался Аарон. – Видите ли, я не отличаюсь терпением. Кроме того, – взглянул он Патриции прямо в глаза, – мне нравится, как англичане нервничают, когда говоришь им, что они тебе нравятся.

Его слова подействовали как капля мыла, упавшая в маслянистую воду. Патриция мгновенно уткнулась в монитор своего компьютера, а

сидевшие по обе стороны от него чересчур любопытные аспиранты теперь прилежно изучали свои рукописи.

– Ну что ж, – сказал Аарон, обращаясь к притихшему залу. – Я рад, что разговор прошел в теплой и дружеской атмосфере.

Войдя в кабинет Хелен, он поставил на пол сумки и молча вытащил свежий картридж для принтера.

– Спасибо, – прошелестела Хелен.

Аарон кивнул, раскрыл ноутбук и распечатал письмо раввина.

– Вот вам нечто душещипательное.

Хелен взяла бумагу подрагивавшей рукой и, прочитав, небрежно опустила ее на стол рядом с компьютером, словно текст ее никак не впечатлил, как подумалось Аарону.

Хелен снова смотрела в окно.

И только теперь Аарон заметил, что неподвижную ее фигуру сковывал плотный свитер, хотя на дворе стоял апрельский полдень. Сначала он даже немного разволновался, но потом подумал: сколько раз он сидел в ее кабинете, ища в ее лице хоть намек на то, что она оценила сделанное им? Нет, так было, и так всегда и останется. На большее старуха Уотт не способна.

– Вы можете найти адрес электронной почты амстердамского еврейского архива? – проговорила Хелен то ли усталым, то ли разочарованным голосом.

– Разумеется. Но зачем он вам?

– Я думаю, не вредно было бы узнать, есть ли у них чистовой экземпляр этого письма.

Хелен выговаривала слова осторожно, словно боясь раскусить лежащую во рту конфету.

– У них полное собрание еврейской корреспонденции семнадцатого века, а это письмо адресовано одному из авторитетнейших раввинов.

Хелен с трудом проглотила слюну.

– Есть шанс найти второй экземпляр письма Га-Коэна Мендеса.

Аарон нашел нужный адрес и продиктовал его. Хелен принялась медленно печатать. Ей дважды пришлось стирать написанное, сильно нажимая указательным пальцем на клавишу «Уд а лить», и начинать заново. Аарон бессознательно подошел сзади и стал смотреть. Процесс

и в самом деле завораживал: слова словно выдавливались, стремясь обрести форму на экране.

Хелен мучительно одолела приветствие.

Вернувшись в начало, она случайно удалила написанное.

Хелен молча поднялась со стула и отошла, безнадежно махнув рукой. Аарон сел на ее место и быстро набросал запрос в амстердамский еврейский архив, стараясь не нарушать стилистику Хелен.

Пока он печатал, Хелен тихонько заглядывала ему через плечо. Наконец прозвучал сигнал отправленного электронного письма.

– Что ж… – сказала Хелен. – Это его последние письма. Но я ждала от них большего.

Аарон даже привстал от удивления, но не мог не согласиться. Без веских доказательств их догадки относительно Фэрроу оставались лишь домыслами.

Хелен посмотрела на него.

– Что?

Она помотала головой, словно отгоняя назойливую муху.

Господи ты боже мой…

– Хелен Уотт! – произнес он тоном школьного учителя.

Неохотно, словно сознаваясь в чем-то постыдном, она произнесла:

– У меня есть определенные сомнения относительно писем во Флоренцию.

– Что вы хотите сказать?

– Задумайтесь, почему больше нигде не встречается упоминаний о саббатианском кризисе во Флоренции?

– Да потому что большинство записей не сохраняются более трехсот пятидесяти лет. Я больше удивляюсь тому, что у нас есть хоть какое-то доказательство.

– Да, – сказала Хелен. – Но почему тогда у нас нет ни одного ответа этого самого ученика?

– Я не улавливаю хода вашей мысли.

– В одно время на раввина стали давить, чтобы он отказался от услуг девушки-писца. И письма на какое-то время прекратились. Затем, после перерыва, начинаются эти послания во Флоренцию. Вам не кажется, что раввин снова пригласил Эстер писать именно из-за событий во Флоренции?

– Возможно, – сказал Аарон. – Но такой пробел может быть обусловлен многими причинами: слабое здоровье раввина, пожар, путешествие в…

– А не кажется ли вам, – перебила Аарона Хелен, – что лишение возможности заниматься любимым делом могло дать этой девушке стимул придумать этот самый саббатианский кризис?

Теперь Аарон был уверен, что Хелен нездорова. Будь она полностью в своем уме, она искала бы более вероятное объяснение, а не делала такой логический скачок. Нормальный человек, услыхав стук копыт, думает о лошади, и только дурак предположит, что речь идет о зебре. Определенно, с Хелен что-то не так. Может быть, уже давно.

Но Хелен не унималась.

– Вам известна история Масады? – спросила она, указывая дрожащим пальцем на рисунок на стене.

– Конечно. Любой, кто посещал школу при синагоге, знает про Масаду.

– Тогда откуда нам известно, что там произошло? – не убирая пальца, вопросила Хелен.

– Ну, из Иосифа Флавия. «Иудейская война»…

Аарон не договорил, внезапно почувствовав, что говорит глупость.

– А как Флавий узнал о тех событиях? Он был не в Масаде, а в лагере римского войска. А когда он оказался на месте событий, евреи уже успели… совершить свой подвиг.

Аарон напряг память и спросил:

– Были женщины, которые спрятались?

– Да. Они скрылись вместе с детьми в пещере. Кажется, они не были согласны с мнением их вдохновителя о том, что самоубийство есть богоугодное дело. По-моему, они видели добродетель в чем-то другом.

Аарону хотелось схватить пляшущий палец Хелен и остановить его.

– Вот так все смотрят на эту гору и думают: вот, герои, совершили немыслимо благородный поступок, поубивав друг дружку вместе с женами и детьми. И это единственная история Масады. И никто никогда не упоминает тех двух женщин, которые решили выжить,

попасть в плен и найти свой собственный путь в мире независимо от того, будет ли он почетным или свободным. Все считают их просто слабохарактерными, и никто не думает, что эти женщины не разделяли мировоззрения, из-за которого погибли их соотечественники. Но они остались живы, и именно они рассказали Флавию свою историю. Без них никто не узнал бы, что там произошло.

И в самом деле, мало кто останавливался на вопросе, откуда стали известны подробности истории Масады. Аарон не был исключением – создавалось впечатление, будто он услышал эту историю по радио. Он припомнил, что преподаватель, который рассказал ему о тех событиях, обвинял выживших женщин в трусости.

– Вот оно перед вами. Свидетельство иного выбора.

Хелен опустила руку. Аарон попытался мысленно соединить временные точки на протяжении тысячелетий, словно Эстер Веласкес была частью невидимой цепи, в которую входили и те женщины, отказавшиеся принять мученическую смерть в Масаде.

– Вы полагаете, – произнес Аарон, – что девушка семнадцатого столетия зашла так далеко, что сама придумала историю о саббатианском кризисе во флорентийской общине ради того, чтобы иметь возможность написать несколько писем философам?

Он чувствовал себя неловко: нужно было внушить историку на несколько десятков лет старше него опрометчивость погони за ничем не подкрепленными сенсациями.

– Вам не кажется, что нужно проявить некоторую осторожность, когда мы пробуем наложить шаблон современного феминистского бунта на события и людей трехвековой давности, о которых почти ничего не знаем?

– Я думаю, молодой человек, что время осторожности уже прошло.

Наступила долгая пауза.

– Вы больны, – произнес наконец Аарон.

Хелен ничего не ответила, хотя он и сам все прекрасно видел. С момента их знакомства Хелен грыз какой-то недуг, но теперь что-то явно изменилось. И от этой мысли Аарону стало не по себе.

Однако Хелен заговорила твердо, словно желая стереть звук его слов:

– Я связалась с вашим знакомцем Дереком Годвином. Надеюсь, вы не возражаете. Так вот, я написала, что мне повезло получить такого помощника, как вы. А потом попросила его направить мне образец почерка этого Томаса Фэрроу, пообещав, что не буду публиковать эту информацию до выхода в свет статьи самого Годвина. Он сначала мялся, но все-таки прислал фотокопию части одного предложения. Аарон, я уверена, что это почерк Эстер. Она писала под псевдонимом. И если она солгала в одном, то что ей мешало сочинить историю про саббатианский кризис во Флоренции? Все это было выдумано, понимаете?

Хелен в волнении привстала.

– Аарон, неужели вы не потрясены хладнокровием этой женщины?

На лице у Аарона отразился весь его скепсис. Слова Хелен совсем сбили его с толку, и он не сразу понял, кого она имеет в виду.

– Если это кажется вам маловероятным, просто подумайте о том времени, когда жила Эстер Веласкес. Каким человеком она была, если осмеливалась писать еретические вещи под именем Томаса Фэрроу? Религиозные преследования, как вы помните, были тогда повсюду. А пытки? Евреев казнили даже после того, как они приносили покаяние перед судом инквизиции, – просто вместо костра им предлагали более милосердную смерть от веревки. Впрочем, после смерти их тела все равно отправлялись на костер. А хуже всех приходилось атеистам. Вы только представьте себе, кем должен быть человек, отважившийся бросить вызов обществу и подвергнуть сомнению религиозные убеждения, да еще в письменной форме. Она, как вы должны понимать, не могла не быть жесткой.

Аарон не знал, что ответить. Хелен всегда требовала твердых доказательств. Однако последние несколько дней – а то и недель, с того момента, как Уилтон нанес им коварный удар, – она отбросила их.

Только сейчас Аарон заметил, что ее кардиган застегнут не на ту пуговицу.

Хелен доверчиво смотрела ему в глаза, отчего у Аарона стало скверно на душе.

Компьютер пискнул, сообщив о новом письме. Аарон с благодарностью повернулся к экрану. К его удивлению, это был ответ на их запрос. Хелен кивнула, и он открыл файл.

От: Еврейский архив
Тема: письмо

Профессор Уотт!

У меня выдался спокойный день, поэтому я смогла ответить вам довольно быстро. Рада помочь вам. Письмо, о котором вы упомянули, у нас действительно есть. Скан прилагаю. Пожалуйста, если буду вам полезна, пишите.

Дина Якобович

С момента, как они отправили свой запрос, прошло ровно четырнадцать минут. «Да будут благословенны все Патриции мира, – рассеянно думал Аарон, – и да будет их сон крепок, а столы так же чисты, как и совесть!»

Он открыл вложение.

Да, это был знакомый почерк Эстер. Но, читая его с экрана, а не с бумаги, Аарон испытал легкий укол вины, словно увидел знакомую на музейном стенде под наркозом и с надписью «руками не трогать!».

На экране буквы письма казались тусклыми, бледно-коричневыми. Эстер в точности скопировала первые строки обращения к Абоабу. Но в третьем абзаце она пропустила предложения, в которых раввин выражал свое сочувствие и ручался за нее как за добродетельную женщину. Кроме того, она пропустила просьбу учителя об отпущении его грехов.

Аарон прочитал слова, которые Эстер заменила:

Я не сходил с пути, несмотря на порочные души, что окружали меня.

Остальная часть письма осталась без изменений.

Итак, раввин пытался обеспечить Эстер приданым, а она выпустила из письма его похвалу.

И хотя только что Аарон обвинял Хелен в бездоказательных домыслах, он не смог удержаться, чтобы не представить себе Эстер Веласкес такой, какой он хотел ее видеть: жесткой, непреклонной, решительной.

Хелен, щурясь, смотрела в экран. Миниатюрное изображение письма Эстер, видимо, оказалось ей не по силам. Аарон, не дожидаясь просьбы, отправил документ на печать.

Хелен вытянула распечатку из принтера, а Аарон неожиданно вспомнил историю Людвига Больцмана – то немногое, что осталось в его памяти после школьного курса физики. Больцмана часто высмеивали за его теории, однако он обладал таким непреклонным характером, что велел высечь непризнанное уравнение энтропии на своем надгробном камне. И это уравнение сохранилось до сих пор – на надгробии великого физика и во всех школьных учебниках, ибо Больцман был прав и ничто не могло остановить его.

Должно быть, Эстер чем-то напоминала своим характером Больцмана. Аарон уважал ее за это, но в то же время и злился на нее за глупый поступок. Зачем становиться поборником честности, лишая себя минимальной стабильности? Если бы она получила приданое от Дотара, то не пришлось бы выходить замуж за богатого человека, который не позволял ей работать.

Можно подумать, что какой-либо муж семнадцатого столетия позволил бы ей работать.

Зазвонил его мобильник. Аарон повернулся спиной к Хелен и вынул телефон из сумки. Голос в динамике поначалу показался ему неизвестным.

– Энн Филдинг, – повторила девушка. – Из краеведческого музея Ричмонда.

– А, ну да, – с запозданием ответил Аарон.

Застенчивый, исполненный надежды голос исчез, и уже деловым тоном Энн сообщила:

– Эстер Га-Леви умерла в тысяча шестьсот девяносто первом году. В метрической книге указано, что смерть зафиксирована тринадцатого июня. От лихорадки.

– Спасибо, – проговорил Аарон.

– Пожалуйста.

– А есть ли упоминание о ее детях?

– Ни одного, во всяком случае судя по записям.

Аарон испытал непередаваемое разочарование.

Хелен перестала читать и прислушалась к разговору. Аарон снова выдавил из себя мучительное «спасибо».

Энн, видимо уловив его настроение, заговорила уважительно:

– Полагаю, муж пережил ее. Но вот только никак не могу найти указание на дату смерти Мануэля Га-Леви. У нас отсутствуют записи на период с шестьдесят четвертого до шестьдесят седьмого года. В девятьсот двадцатые годы в хранилище произошла протечка и многие бумаги были уничтожены. Так что неизвестно, что могло произойти за эти три с половиной года. Но наследников, по-видимому, у нее не было. Дом продан в тысяча шестьсот девяносто восьмом.

– Благодарю, – произнес Аарон. – Вы потрясающая. В самом деле. Я… – тут он осекся, так как не смог ничего придумать. – Вы просто потрясающая!

В трубке слышалось прерывистое дыхание Энн.

– Может, мне поискать записи еще за несколько лет? – после короткой заминки спросила она. – Я посмотрю, может, будет что-нибудь еще о Га-Леви… или о последующих владельцах дома.

Аарон прижал ладонь к столешнице, растопырив пальцы. Ему пришла в голову мысль, что он – Аарон Леви – весьма жалкий тип, причем существенная составляющая его убожества, увы, неистребима. И все же сейчас ему претила мысль о том, чтобы соблазнять Энн.

– Да, я был бы весьма признателен, – сказал Аарон, стараясь, чтобы его голос звучал как можно равнодушнее. – Позвоню вам на следующей неделе, а то сейчас ко мне девушка в гости приехала…

В трубке послышался вздох, но Энн с достоинством приняла удар:

– Созвонимся.

Аарон сбросил звонок и обнаружил, что Хелен скептически смотрит на него.

– Да нет у меня никакой девушки, – угрюмо сказал он в ответ на безмолвный вопрос и, чтобы пресечь дальнейшие разговоры на эту тему, быстро произнес: – Эстер умерла в тысяча шестьсот девяносто первом году. О детях сведений нет. Вот, собственно, и все. После того, как она написала последнюю строчку, ей осталось еще двадцать шесть лет жизни.

Он поскреб ногтем царапину на рабочем столе Хелен и добавил:

– Мне кажется, нет особых сомнений в том, почему она перестала писать. Мануэль Га-Леви… Как она его охарактеризовала? Человек, способный протирать сапоги сборником стихотворений.

– Да, – тихо согласилась Хелен. – Замужество могло бы положить конец ее занятиям. Вряд ли она смогла полюбить своего мужа. Просто вышла за него, чтобы выжить, поскольку после смерти раввина у нее не осталось никаких средств к существованию.

– Но узнать наверняка у нас нет никаких шансов, не правда ли? – заметил Аарон и отвернулся к окну. – Даже если предположить, что мы сможем получить заключение графологической экспертизы, чтобы подтвердить идентичность Томаса Фэрроу и Эстер Веласкес, все равно Годвин в своей статье утверждает что Фэрроу ничего не написал после шестьсот шестьдесят шестого года.

Недолгий расцвет интеллектуальной свободы, муки совести и тихая, безвестная смерть – вот и вся история Эстер… Аарону стало жаль эту девушку, и к жалости примешалась горечь поражения.

Не отходя от стола, он все еще перебирал пальцами по клавишам ноутбука, напоминая сам себе проигравшегося игрока, продолжающего бессмысленно крутить барабан рулетки. Взгляд его скользнул по новым уведомлениям электронной почты. Новое сообщение показалось ему дурацкой шуткой. Видимо, известие о смерти Эстер Веласкес всколыхнуло в его душе останки былых надежд, которые настигали его, сопровождаемые обеими Патрициями, принявшими облик корабельных носовых фигур, и засыпали обломками кораблекрушений.

От: Мариса Герц
Тема: Сядь

Аарон невольно повиновался требованию и опустился на стул, развернув ноутбук экраном к себе.

Аарон!

Во-первых, прими мои извинения за столь резкий тон, что я позволила себе в начале этого года. Просто я несколько запуталась.

Да, все оказалось несколько неожиданным, но я не хотела тебя тревожить, пока сама не разберусь в произошедшем. Короче, у меня будет ребенок. Отец – ты.

Вот и полагайся на противозачаточные.

Была и паника, и отрицание, но теперь я сделала выбор. На самом деле это и так было ясно с самого начала, но я подумала, что нужно выдержать время, чтобы быть уверенной в своем решении на тот случай, если у меня обнаружатся какие-нибудь гормональные проблемы.

Я собираюсь жить здесь и теперь думаю, как пройдут роды. Я все сделаю сама. Понимаю, что это будет нелегко – работа, деньги, воспитание малыша. Но все будет хорошо. Даже если и нет, то все равно хорошо, если ты понимаешь, что я имею в виду.

Что же до тебя: я не выйду за тебя замуж. Да и за любого другого тоже не пойду. И я не приглашаю тебя разделить с нами дом. Но если у тебя появится желание видеть своего ребенка, я не буду против. Только дай мне знать. Если же тебе все равно, то нам лучше будет окончательно разорвать отношения. Это мой выбор, и я лично несу за него ответственность. Да, пришли мне, пожалуйста, копию своей истории болезни или что-нибудь в этом роде, чтобы я могла показать дочери, когда та вырастет и у нее начнутся закидоны, – скажу ей, что она уродилась в тебя.

Извини, если шутки покажутся не совсем уместными. Ты ведь только сейчас узнал о случившемся, а я, пожалуй, слишком резка. Со мной бывает. Но я знаю себя и понимаю, что не смогу заботиться о твоих чувствах, пока занята своими проблемами и малышом. Так что сообщи мне, что надумал, только думай уж сам. Я не хотела бы влиять на твое решение.

Ты хороший человек, Аарон Леви, хотя и стараешься убедить весь мир в том, что ты – высокомерный ублюдок. Я же тебя насквозь вижу. А мне с твоей дочерью предстоит долгий путь. Я не жалею, что ее отцом станешь именно ты.

Мариса

Аарон дочитал сообщение до конца и только тогда понял, что неосознанно испустил протяжный и слабый вздох, повисший в тиши

кабинета.

Хелен, казалось, ничего не расслышала. Она снова сел перед компьютером, бормоча себе под нос: «Из Амстердама прислали еще документы относительно Га-Коэна Мендеса…»

– Я распечатаю сразу все, чтобы ознакомиться на досуге, – сказала она Аарону, но тот ничего не отвечал, неотрывно глядя в монитор.

Из принтера с шуршанием поползли страницы, однако Хелен даже не потянулась к ним.

– Что с вами? – спросила она.

Аарон даже не повернул головы.

– Нет, определенно, с вами что-то неладно.

Он пожал плечами, но жест вышел неубедительным. Он попытался было сосредоточить свой взгляд на лице Хелен, но даже на это сил не хватило, и глаза его остановились в районе ее подбородка.

– Может, вам немного отдохнуть?

Хелен говорила живо, но Аарон, даже погруженный в себя, почувствовал, что она искренне хочет знать, что с ним случилось, однако не знает, как спросить.

Хелен медленно поднялась:

– Ну тогда я выйду ненадолго.

– Не уходите, не надо…

Хелен осталась стоять, опираясь на свою трость. Аарон видел, что она совсем потерялась и не знает, как себя вести. Вот он, например, попросил ее остаться. И что, можно ли сесть? Или сказать ему какие-то слова утешения? Она дважды раскрыла рот, собираясь заговорить, но каждый раз что-то ее останавливало. А потом она просто опустилась на стул.

Аарон ничего не сказал ей.

Хелен поиграла ручкой своей трости, словно взвешивая ее на ладони. Аарон, тупо глядя перед собой, заметил свое отражение на стеклянном циферблате часов, что помещались напротив стола Хелен. Даже размытое, оно не могло скрыть правду о нем, на мгновение показав Аарону то, что видели в нем окружающие. Вместо этого он попытался представить себя таким, каким рисовали его мечты, – человеком, который спокойно идет по жизни, так как понимает саму сущность ее; несгибаемым, цельным, неотделимым от собственного существа. Мужчиной, который заслуживает своего ребенка.

Но дистанция, разделявшая настоящее и воображаемое, была настолько велика, что не следовало и мечтать преодолеть ее.

Аарон с каждым вздохом отсчитывал, как позолоченная секундная стрелка обходит циферблат, разрезая изображение его лица. Тонкая, словно ожившая иголка, стрелка прошла по лицу Аарона раз, затем другой, третий… своим легким подрагиванием, похожим на пульс, она напоминала некое чистое и всеведущее существо, которое знает, на что он способен, но хранит это знание в тайне.

Глава двадцать четвертая

25 июля 1665 года 13 ава 5425 года

Колокольный звон… День и ночь колокола отмечали смерть каждой жертвы чумы, и их металлический голос словно сгущал городской воздух. Иногда полночи проходило в тревожном молчании, но затем раздавался тяжелый, надсадный гул, затихая ровно на столько, чтобы успеть перевести дыхание. Колокола то говорили хором, то по очереди утихали, давая звуку раствориться в тишине. По шесть раз за час, а то и чаще.

К середине дня оконные стекла в доме да Коста Мендес стали запотевать. Мэри, очнувшись от оцепенения, бросилась по комнатам, отворяя одно за другим. Внезапный прилив ее ярости буквально захватил остальных. Эстер молча следовала за ней в сопровождении Ривки. Ее каблуки тяжко грохали по полу, когда она закрывала очередную раму: хлоп! Одна, другая, третья. Хлоп, хлоп, хлоп!

– Миазмы чумы летают в воздухе! – в слезах кричала Ривка, но Мэри уже была на втором этаже, где рухнула боком на неприбранную постель и так злобно обругала Ривку по-испански, что Эстер, не выдержав, прикрикнула на нее. Не обращая ни на кого внимания, Мэри перекатилась на спину и обрушила на свой живот град ударов, ругаясь уже по-английски. «Чертов пузырь!» – орала она.

Прошло две недели или даже более с тех пор, как Эстер разговаривала с кем-нибудь, кроме Ривки и Мэри. Немногие прохожие, следуя мимо дверей с намалеванным белым крестом, ускоряли шаг. Крест Бескоса спрятал обитателей дома от Лондона, но к добру или к худу – было решительно непонятно.

С каждым днем раздражение и досада Мэри становились все заметнее. Как-то раз, умываясь в тазу – ей для этого пришлось встать на цыпочки, так как раздувшийся живот мешал немилосердно, – она обратилась к Эстер:

– Слушай, как ты можешь оставаться в этой клетке? Тебе разве не хочется свежего воздуха?

С лица Мэри падали капли воды, но она не отирала их.

Эстер сморгнула. Как ей объяснить, что именно этого-то ей и хотелось больше всего на свете, что весь мир вокруг нее превратился в какой-то головокружительный вихрь? Мор, звон колоколов, мысли о раввине, о Джоне, наконец… Невыносимые, удручающие мысли!

Мэри покачала головой, отчего капли полетели в разные стороны, а волосы встопорщились, словно у дикарки. Она оперлась руками о туалетный столик и глянула в зеркало на Эстер, тонкие волосы которой прилипли к бледной коже.

– А ты и рада прятаться здесь! – сказала Мэри обвинительным тоном.

И это было сущей правдой. В то утро Эстер никак не могла снова заснуть, и ее мысли бродили кругом, словно огибая бездонную пропасть. Вжав голову в подушку, она пыталась создать логический аргумент. «Любовь причиняет боль».

Но почему это так?

Потому, что многое зависит от другого человека. Ибо любовь не есть самодостаточная категория и не может содержаться в едином духе.

Далее следовать логическим построениям Эстер не смогла, так как та часть ее разума, которая могла развить первичный аргумент, вдруг умолкла.

– Эстер, если этот Джон отверг тебя, – заговорила Мэри, продолжая рассматривать лицо Эстер в зеркале, – то что ж с того?

Она не умела утешать, и слова давались ей с заметным трудом.

– Он, в общем-то, всегда казался мне каким-то молчуном. Даже занудой, вот что я скажу! А ты потом сможешь выйти за другого. Не то что я…

На лицо Мэри наползла мрачная тень. Какое-то время она, прижав ладони к животу, смотрела в зеркало, а потом добавила:

– Но Томас все равно вернется к нам.

Не успела Эстер ответить, как Мэри опрометью бросилась вон из комнаты, едва не сбив с ног Ривку, которая поднималась по лестнице со стопкой выстиранного белья.

Несмотря на то что дом был полностью изолирован от городской пыли, сажи и грязи, Ривка установила строгий распорядок домашних работ для себя и Эстер. На Мэри она махнула рукой. По правде говоря,

изысканные вещи в доме да Коста Мендес зачаровывали Ривку. Иногда Эстер видела, как та поглаживает вышитое полотно, или заново шлифует поверхность утюга, или добавляет к белому крахмалу индиго, чтобы сделать белье девственно-белым. Ривка не любила владельцев дома, но, видимо, считала имущество да Коста Мендес невиновным в грехах его хозяев. И пока Мэри расхаживала по дому, что-то бормоча себе под нос или фыркая, словно споря с невидимым собеседником: «Я не буду твоей подстилкой!» – добавляя со слезливой интонацией: «О да, он такой!» – Эстер спускалась на первый этаж, чтобы помочь Ривке. Теперь она благословляла тяжелую работу за то, что та помогала ей выкинуть мысли из головы. Это стало ее спасением – неужели раньше она так дорожила способностью думать? Неужели она могла испытывать влечение к деятельности своего ума, таившего, как выяснилось, ужасные вещи, вроде безликого одиночества и тишины? Бумаги, что она спрятала под своим матрасом, так и лежали нетронутыми. Эстер боялась заглянуть в них, как будто они являлись обвинителями в преступлениях, которые она не могла опровергнуть.

Ривка настояла на том, чтобы ее отпускали в город одну, утверждая, что, перенеся множество болезней в далеком галицком селе во времена детства, стала невосприимчивой к чуме. Мэри подняла было ее на смех, говоря, что Ривке лишь хочется почаще отлучаться из дома, но та не сдавалась и в конце дня отправлялась за продуктами, стараясь поспеть домой до наступления комендантского часа.

Однажды вечером, сразу же по возвращении ее из очередного похода, Эстер услышала мужской голос, доносившийся с улицы. В неверном свете, что еще проникал через окно нижнего этажа, она одеревеневшими от иголки пальцами подшивала расползшийся шов на простыне, машинально отсчитав уже третий похоронный звон колокола.

– Ну, выгляньте же, хитрые жидовки!

Конечно, это был Бескос. Простыня выскользнула у Эстер из рук.

– Вас, я вижу, стало больше!

Он стоял почти под окном и сосредоточенно глядел сквозь стекло. Эстер остановилась на полушаге, но Бескос уже заметил движение.

Его глаза уставились на нее. Лицо Бескоса осунулось и глядело как-то по-новому, не так, как раньше. Несмотря на охвативший ее страх, Эстер подумала, что с Бескосом происходит что-то неладное.

Эта странная мысль была прервана резким скрипом окна, что распахнула Мэри на втором этаже:

– Да, это так! У меня теперь есть друзья!

Бескос немного отступил назад и прикрыл рукой глаза. Он рассмеялся, словно для того, чтобы взять паузу и решить, как дальше вести себя.

Кроме Бескоса на улице никого не было. На окнах соседних домов ставни были затворены, словно заплывшие от лихорадки глаза.

– Что, у тебя новая семья? – крикнул Бескос, обращаясь к Мэри.

– А вам-то какая печаль, что я не одна? – раздалось в ответ.

– Да просто любопытно стало: кто из вас хозяйка этого публичного дома? Впрочем, как мне подсказывает интуиция, скорее всего, эта ваша седовласая подружка.

Взгляд Бескоса все еще был устремлен на Мэри, но рукой он ткнул в сторону окна, за которым пряталась Эстер.

– Судя по тому, что Томас выведал у Джона, она начала продавать свой собственный товар, – разочарованно покачал головой Бескос. – А то и вообще предлагать его бесплатно.

Неожиданно он развернулся и со всей силы ударил рукой по стене. Эстер вздрогнула, а сердце ее учащенно забилось. Сзади послышался тяжкий вздох Ривки. Бескос смеялся, даже с улицы понимая, насколько гулким будет эхо его голоса в пустых комнатах.

– Некоторые женщины настолько глупы, что бесплатно отдают единственное свое имущество, – снова заговорил Бескос. – Но уж коли я не вижу здесь новых жидовок, то хозяйка, стало быть, лысая?

До Эстер опять донесся вздох – Ривка поднялась с места, держа в руках полуразвернутый сверток.

– Вам надо бы подумать о привлечении клиентов, – не унимался Бескос. – Девки еще туда-сюда, но хозяйке явно нужен парик!

Раньше Эстер думала, что Ривка лишена способности обижаться, но ее внимание привлек звук шагов служанки, направившейся в сторону кладовки, откуда несколько секунд спустя раздался стук пестика.

Бескос подошел еще ближе к окну Эстер. Та отпрянула на несколько шагов назад, но Бескос заговорил спокойно, обращаясь только к ней.

– Мэри думает, что ей достанется состояние ее папаши, – сказал он, – и она сможет обеспечить своего отпрыска. Но тебе-то деньги безразличны, так ведь?

Эстер молчала.

– Скажи-ка, а книг здесь хватает? Достаточно ересей для тела и ума? Ведь извращенной девке помимо ласк мужчины нужна еще и целая библиотека, чтобы удовлетворять свои аппетиты, а вот честной девушке…

Голос его сорвался на крик, Бескос осекся и в его взгляде мелькнула неуверенность, но он тотчас продолжил:

– …достаточно блюсти верность и оставаться чистой.

Эстер пронзила странная уверенность: она мертва. Безнадежная любовь Бескоса к «благородной девушке», союзу с которой препятствовал ее отец, – теперь этому не быть никогда.

Сквозь мелкие стекла окна Бескос казался собранным из множества кусочков, неясно и нечетко. Эстер подумалось: он разделен на части, словно чумной город. Бескос прикрыл глаза, как будто от усталости, а потом посмотрел на улицу. Он напоминал человека, очнувшегося посреди враждебного ландшафта и быстро нашедшего удобный путь через него.

«Как будто проснулся ото сна», – подумала Эстер.

Бескос снова подошел к окну, оперся об отлив и произнес, медленно выговаривая каждое слово:

– Томас говорил, Джона буквально тошнит при упоминании о тебе. Что, получила свое? Зря ты пыталась набить себе цену. Есть только один тип истинных женщин, все остальные дрянь.

Руки и ноги Эстер словно налились свинцом. В ее памяти всплыла строка из сонета, прочитанного на прилавке книготорговца: «Утолено – влечет оно презренье…»[62]

Раздался скрежет металла по дереву, а затем плеск – то Мэри опорожнила лоханку с помоями из своего окна. Большая часть в Бескоса не попала, но отдельные брызги долетели до его чулок. Бескос вскрикнул, подскочил на месте и с минуту тряс ногой. Казалось, он вот-вот заплачет, и это было комично, однако Эстер было не до смеха. Сверху послышался смех Мэри, при звуке которого Эстер невольно вздрогнула.

Вслед за этим наступила тишина. Улыбочка исчезла с физиономии Бескоса, и теперь он глядел мрачно. Приникнув к стеклу, он с силой щелкнул по нему перстнем – Эстер испугалась, что оно разобьется, – и удалился.

– Он устроит нам погром, – едва слышно молвила Ривка за спиной.

Эстер повернулась.

– Он устал ждать, – продолжала Ривка. – Вот именно с таких и начинается все зло мира.

Она махнула лоскутом в сторону серебряной посуды и гобеленов:

– Вот чего он хочет.

Эстер покачала головой:

– Мне кажется, то, чего хочет Эстебан Бескос, умерло.

Однако Ривка, прикрыв глаза, приложила к векам два толстых пальца.

– Я видела. Я знаю…

Эстер притянула к себе простыню, которую чинила. Какая разница, что движет этим человеком: любовь к серебру или к умершей девушке? Впрочем, страсть к серебру можно утолить.

Прошло несколько дней. В конце концов Ривка рискнула выйти на улицу и пропала на несколько часов. Ей пришлось обойти три пекарни, пока она не нашла одну открытую. С тех пор как в Лондоне истребили всех кошек, крыс расплодилось несметное множество. Кроме того, каждую ночь грабители обносили кладовые, да и в город уже никто не ездил, чтобы наполнить полки лавок и магазинов. Ривка не стала расписывать свои похождения, но, положив на стол шесть буханок, негромко сказала:

– Теперь этот город понимает…

Эстер отвлеклась от промывания масла и заметила горестное выражение на лице Ривки. Несомненно, она наконец простила Лондон, и он стал для нее своим.

Обе женщины нарезали хлеб и намазали на него побольше масла – это теперь был их обычный рацион, поскольку даже Ривка не отваживалась растапливать кухонную плиту в полуденный зной. Они крикнули Мэри, но ответа не последовало.

Эстер и Ривка обошли весь дом, заглянули в подвал и на чердак, но безрезультатно. Без суетливого присутствия Мэри тишина, казалось, становилась все гуще и плотнее, и женщины разговаривали шепотом.

Уже смеркалось, когда отворилась входная дверь, и Ривка, сидевшая подле Эстер на жестких подушках в гостиной – что она редко позволяла себе, – вскочила с места и схватила Мэри за руку:

– Где вы были?

– Какое твое дело? – вспылила Мэри, яростно отмахнувшись.

Эстер заметила на Мэри неуклюже сшитую юбку явно из постельного белья, прикрывавшую все увеличивающийся живот. Мэри раскраснелась, ее глаза блестели, что резко контрастировало с ее тусклым взглядом последние недели. Прогулка явно пошла ей на пользу.

– А вот такое мое дело! – крикнула Ривка, коверкая слова в гневном припадке. – Вместо тебя я должна ходить на улицу!

Мэри, тщетно стараясь вырваться, рычала с давно сдерживаемым раздражением:

– Ты врунья! Жадная… сволочь! Просто… – тут она взмахнула рукой, – просто посмотри на себя!

Внезапно Эстер догадалась, что Мэри больше всего боится выглядеть страшной, непривлекательной. Всю жизнь красота была ее путеводной звездой, залогом ее безопасности. И вот теперь защита пропала. Мэри стояла перед Ривкой, выпятив живот, брошенная, одинокая, напоминающая существо из ночного кошмара.

Однако Ривка вдруг рассмеялась, и Эстер с облегчением поняла, что ничего страшного не произойдет.

– А ты все забираешь себе, всю свободу! – не успокаивалась Мэри. – Или нет…

Мэри с раздражением снова махнула рукой:

– Нет, ты просто хочешь сбежать из этого ада! Вот почему тебя вечно несет в город! Да, потому что ты хочешь, просто мечтаешь умереть!

Ривка неожиданно схватила Мэри за второе плечо и так сильно встряхнула ее, что Мэри с трудом удержалась на ногах.

На мгновение в комнате стало тихо. Лицо Мэри изображало недоверчивую гримасу.

– Тебе нельзя выходить из дома, – сказала Ривка, немного ослабляя хватку. – У твоего ребенка должен остаться шанс выжить.

Мэри вырвала руку и, потирая ее другой, обрушила на Ривку шквал ругательств, на которые та не обратила никакого внимания.

А через несколько минут Мэри, набивая рот хлебом с маслом, как ни в чем не бывало говорила Эстер:

– На улицах грязища, ужас вообще. Люди похожи на призраков, только еще страшнее. Все как будто посходили с ума.

Внезапно Мэри замолчала, словно ее посетила какая-то мысль или воспоминание, но тут же принялась снова жевать. Эстер видела, как из ее живота поднимается энергия жизни.

– Мне пришлось пробежать мимо десяти телег с трупами, чтобы не видеть все этого. Того, что я увидела в первой, мне вполне хватило. А потом тьму времени убила на то, чтобы найти хоть кого-нибудь, чтобы отправить письмо Томасу. Нашла, а этот негодяй обрызгал письмо уксусом, хотя я доступно объяснила ему, что не больна. И теперь Томас будет считать меня страшной вонючкой.

На глаза ее набежали слезы. Эстер недоуменно смотрела на подругу: зачем она до сих пор думает о Томасе?

– Зачем ты ему написала?

– Я хочу, чтобы он знал, – надменно произнесла Мэри, – что я жива. И как только я получу разрешение на выезд из города, я тотчас приеду к нему, даже если он и презирает меня. Как только рожу ему ребенка, так, думаю, перестанет корчить из себя…

Она с вызовом взглянула на Эстер. Тут тишину нарушил далекий звон церковного колокола. Мэри прикусила палец и, дождавшись, когда стихнут последние отзвуки эха, допила свой эль.

– А помнишь, – спросила она Эстер, – когда мы были у портнихи, ты спросила меня, что может изменить наша воля? А я тебе сказала, что сама выбираю, кем мне быть, – закончила Мэри, вытирая рот тыльной стороной ладони.

Эстер неуверенно кивнула.

Мэри провела рукой, показывая на опустевшие комнаты, а потом на собственное раздавшееся тело. Тон ее голоса как-то странно изменился, лицо напряглось.

– И вот я выбрала все это. Значит, оказалась дурой.

– Нет, – ответила Эстер. – Дурой оказалась я. Ведь я говорила тебе, что от любви можно отказаться и прожить жизнь, не тронутой ею.

Однако Мэри покачала головой, не сдерживая больше слез:

– Скажи, я все испортила, а, Эстер?

Эстер не знала, что сказать. Какое утешение могла она предложить Мэри, когда снова стояла у порога дома раввина и слышала стук колес отъезжавшей кареты Джона? Закрыв глаза, она представила себе тонкие пальцы на клавишах спинета и тронутые сединой некогда темные волосы, а затем услышала голос своей бабки: «Сама форма мира сделала его таким».

Она повторила эти слова Мэри и, словно успокаивая некое животное, погладила ее по голове.

Когда Мэри наконец успокоилась, колокол прозвонил еще дважды. Она вытерла слезы и резко поднялась с места. Лицо ее вновь приобрело привычное выражение:

– Томас и так возьмет меня!

С этими словами она повернулась на каблуках и вышла из кухни с куском хлеба в руке. Эстер слушала, как Мэри поднимается к себе, и думала о той жизни, которой была исполнена подруга и которой она уже не могла найти в себе. «Наверное, – подумала она, – из нас всех только Мэри переживет чуму».

Но два дня спустя Мэри, расчесывая волосы, почувствовала, как по щекам ее заструился пот. Она сердито огрызнулась на Ривку, позвавшую ее к обеду, и наконец забралась в постель. Ей стало трудно дышать. Лихорадка, подхваченная в городе, схватила Мэри в свои объятия и выжала столько пота, что постель сделалась влажной. Мэри сбросила с себя все белье и лежала нагая, испуская стенания. Она обнимала свой живот, как бы советуясь с ним о чем-то, время от времени прикасаясь к темной полоске волос внизу его, что выступала на бледной коже, как мазок, как свидетельство давно забытой нежности. Ривка строго-настрого запретила Эстер приближаться к больной и сама приносила ей, что требовалось. Ривка лично обмывала Мэри, меняла белье и накладывала смоченные полоски ткани на шею, пока та рыдала, плавая с собственном поту. Она клялась отомстить Томасу, то проклиная каждую часть его тела такими эпитетами, которых Эстер даже не слышала, то поминая те же части с такой

нежностью, что Эстер заливалась краской, а Ривка не выдержала и убежала в сад с ведром, полным рвоты. Мэри в пятнах лихорадочного румянца сначала по-английски, а потом по-португальски говорила о любви Томаса к ребенку в ее животе, а однажды полным раскаяния голосом позвала мать.

Теперь она была полностью уверена, что младенец будет мальчиком. Она уже знала, что у него будут темно-карие глаза, веселый смех и прекрасный голос. Лежа, обхватив живот или раскидавшись на простынях, она могла слышать, как ребенок поет. «Спи, усни…» И она позвала отца, потому что знала, как он будет поражен, услышав голос своего внука. «Слушай! – позвала она. – Только слушай!» И сама замолчала, чтобы услышать.

Небо за окном словно накрылось капюшоном. Пока они везли тело Мэри на тележке к братской могиле на Хэнд-Элли, где-то прозвенел погребальный колокол. Тележка обошлась в фантастическую сумму, на которую можно было неделю кормить целую семью.

Опустив борт тележки, чтобы снять тело, Эстер отвела взгляд от других мертвецов, сосредоточившись на бледно-лунном лице своей подруги и на ярких, блестящих ее волосах, которые мгновенно потускнели, едва лишь труп скатился в известковую пыль.

Позже, дома, они слушали колокол, который звонил уже непрерывно. И день, и последующую ночь колокол превращал непрерывный поток смертей в звенящую реку. В тот день он треснул, и смерти текли уже безмолвно.

Три дня спустя Эстер нарезала хлеб к обеду. Жара раздражала, нож казался тяжелым, и Эстер сильнее надавила, думая, что лезвие притупилось. Но толстая хлебная корка сопротивлялась, лезвие скользнуло в ставших неловкими пальцах, и Эстер почувствовала, что падает. Она ухватилась за стол, а когда поднесла руку к шее, нащупала там одинокую ноющую шишку.

Ривка с мрачным выражением на лице гладила простыни в гостиной. Эстер вышла из кухни, и с ней вышли Мэри и Мануэль Га-Леви, и в этой компании, повинуясь яростным приказам Ривки, она поднялась наверх и легла на матрас, на котором умерла Мэри, и дожидалась своей очереди.

Зачем человек должен мучительно бороться за жизнь, если смерть неизбежна?

Ривкина рука у нее на лбу.

Почему желать наступления смерти – это грех перед Богом, а выбрать смерть для защиты слова Божьего – добродетель? Является ли жизнь ценной только лишь за то, ради чего принесена в жертву?

По подбородку у нее стекал бульон, затылок припекало из-за куска какой-то тряпки, и Эстер отшвырнула его через всю комнату, ибо ни разу не испытывала такого жара. Вечер как бы расплывался, становился нечетким. Затем была ночь, снова день, а потом все смешалось.

Но тело все равно борется за жизнь. Почему?

Мир раскинулся вокруг нее. Эстер чувствовала пространство между вещами, громадную дугу бесконечности вдали от ее губ, бровей, ее дыхания. Она чувствовала расстояние, что отделяло ее от звезд, напоминающих булавочные головки, которые, быть может, и сейчас сверкают где-то высоко над Лондоном. Она должна сказать раввину… Но даже теперь, когда она слилась со всей этой необъятной далью, она почувствовала, как бесконечно мала сама, ее органы, каждая жилка. Всякая душа пришла в мир во младенчестве с влажными светлыми глазами, щурясь на пылинки, – думала она, – и точно так же каждая душа вышла. И ей было жаль, что им пришлось причинить столько ущерба друг другу. Голова ее медленно качнулась. Она стояла в объятиях Джона. Любой из них мог бы развернуться, но не сделал этого. Легчайшее прикосновение его руки к ее груди. Тогда она своей рукой уперлась в его грудь и полетела вниз, но подхватить ее было некому, и это кувыркание остановилось, только когда жесткие руки Ривки перекатили ее обнаженное тело обратно на матрас.

Когда-то она была милой. Она уверена, что помнит это.

Круг замкнулся. Во всей вселенной ей удалось найти единственную яркую вещь, и сейчас она теряла ее. Любовь не проиграла – проиграла одинокая любовь. Но других быть не может. Не слишком ли много она взяла на себя, решив переделать мир? Ее ум спотыкается, ему не хватает быстроты, чтобы понять. Смерть сотрясает землю, словно приближается груженая телега, которую давно ждешь, и опустошенное сердце вдруг преисполняется желанием лечь под колеса. Она боролась за то, чтобы остаться в этом мире, пока

Судьба не отняла у нее жизнь своей тяжелой рукой. И только теперь, когда настал ее последний час, она со слезами может признаться, как жаждала этого освобождения.

И теперь действительно можно поверить, что некоторые казнимые мученики могли петь на костре.

Но разрешено ли ей наконец желать смерти? Эта мысль смущает.

Разрешено или нет, но она желает.

Но когда телега приближается и ее громыхание сокрушает чувства и сотрясает землю с каждым ударом сердца, тело пробуждается и ускользает от тяжелых колес.

Удаляющийся грохот оставляет ее в скорби.

Она открыла глаза. Тусклый вечер, странно прохладный воздух. Короста соли на лице. Она моргнула, и в голове появилась первая осознанная мысль. Какое-то время она напоминала маленькую птичку, не уверенную в своей безопасности, но вскоре все стало на места. Не было жестких ладоней Ривки. Ее неподвижная фигура, согбенная в кресле, виднелась в темном углу. И только когда она заговорила, Эстер стало понятно, что Ривка пьяна.

– Ты выжила, – сказала она. – Мало кто выживает.

Эстер вслушалась, будто эхо слов могло подсказать ей, хорошо ли это или плохо. Затем, видя, что Ривка не останавливает ее, она спустила ноги с постели. Кожу на ступнях слегка покалывало от прикосновений деревянных половиц.

– Как долго?

– Неделю, – отозвалась Ривка. – А может, и больше.

Она махнула в сторону окна:

– Вон, спроси его. Он точно знает, потому что считает каждый день и каждую ночь, когда спит у нас на пороге.

Эстер, придерживаясь за край кровати и за стену, встала. Ее тело казалось необычайно легким, словно тростинка, попавшая в водоворот. Она ощупью двинулась к окну.

Внизу на широком камне, прислонившись к двери, сидела чьято фигура в широкополой шляпе. Незнакомец как будто дремал.

– Он появился спустя несколько дней после похорон Мэри, – объяснила Ривка, не вставая с кресла. – Теперь наш дом вписан в

число зачумленных. И не только потому, что приятель Мэри вымазал нам дверь. Нам полагается сторож.

– Надолго? – глупо повторила Эстер, едва справляясь с языком.

– Сорок дней, и потом дом снова можно будет открыть. Когда он пришел, то сообщил эту новость, и это были единственные слова, которые он произнес за все время. Ах, нет, еще сказал, что носит широкую шляпу, чтобы мы не смогли набросить на него петлю, удавить его и сбежать. «Да куда бежать-то?» – я его спросила.

Ее голос звучал неуверенно из-за выпитого. Среди пузырьков, склянок и салфеток, разложенных на боковом столике, стояла запыленная бутылка с красивой этикеткой. Эстер догадалась, что Ривка наведалась в подвал да Коста Мендес, чтобы отметить выздоровление.

– Я сказала ему, – продолжала Ривка, грубо тыча в окно рукой, – что город сейчас сам страшнее чумы и что коли так, то он может сторожить нас хоть до конца света.

Поход от постели до окна утомил Эстер. Она ухватила рукой подоконник.

– И он, кажется, уже наступил, – произнесла Ривка и подняла к губам стакан.

Эстер прикоснулась ко лбу. От лихорадки не осталось и следа, кроме обильной соляной коросты по всему телу.

– Я выжила…

Ривка глотнула вина и закрыла глаза. Она опустила руки на колени, ее щеки раскраснелись, а лицо странно оживилось.

Постепенно, словно мысли проявили способность поступать в голову по одной, Эстер осознала, что никогда раньше не видела Ривку без дела. Бесконечные заботы, вероятно, отвлекали ту от мыслей о смерти раввина. А теперь ей стало некого нянчить.

Она не знала, как объяснить Ривке, что у нее больше нет дома. Вместо этого она промолвила:

– Ушли лучшие. А я осталась.

Ривка порывисто вздохнула:

– Смерть не забирает тех, кто хочет умереть.

Она открыла глаза и без упрека взглянула на Эстер.

– А ты хотела смерти. Я видела.

В полумраке комнаты она казалась древней и тяжелой статуей, высеченной из валуна.

– Я была молода, когда через нашу деревню прошли чужие. Я была девушкой…

По тому, как Ривка произнесла эти слова, Эстер поняла, что с той сделали.

Она нащупала край кровати и села.

– Если бы мне был предоставлен выбор, мое имя числилось бы теперь среди мучеников.

Неужели Мэри все-таки угадала?

– Ты все еще хочешь умереть? И знала, что чума тебе не страшна?

Ривка издала звук, похожий на смех, и покачала головой.

И все же та польская деревня, что сгорела у нее на глазах, казалось, действительно как-то защищала Ривку, чего так недоставало Мэри и Эстер. Только Ривка ни разу не болела, хотя и не предпринимала никаких средств защиты.

Стало совсем темно. Близко посаженные Ривкины глаза почти исчезли в тенях.

– Теперь ты сможешь снова писать свои письма, – продолжала Ривка. – Об истине и о мысли. О том, что это значит.

– Так ты?..

– Я умею читать, – отозвалась Ривка.

Сквозь шум в голове Эстер сумела расслышать в голосе служанки какое-то горькое веселье. Комната вертелась, и кручение это никак не собиралось останавливаться.

– В юности я училась. Не так много, как ты, но кое-чему меня научили.

– Но если ты знала…

– Я не хотела тебя останавливать, Эстер, потому что он, – тут ее голос смягчился, бережно выговаривая это самое «он», – он должен был заниматься. Учение – единственный свет, оставшийся ему. А ты оказалась единственной, у кого было достаточно знаний, чтобы дать ему свет. Что-то в тех письмах заставило его собраться и выпрямиться. Будь у меня достаточно знаний, я сама села бы помогать учителю. Причем безо всякой лжи. Я бы привела его к свету, – голос Ривки возвысился. – Я бы…

Когда она снова заговорила, ее язык заплетался от выпитого и чувств.

– А ты записывала его слова только лишь для своих целей, ты запирала его мысли в ящике стола, бесчувственное ты существо.

– Не бесчувственное, – выдавила Эстер.

– Думаешь, ты одна знаешь, каково это – потерять все?

На мгновение Эстер показалось, что Ривка вот-вот вскочит с места и лишит ее жизни, которую только что с таким трудом спасла.

– Но все же я не мешала твоим занятиям. И знаешь почему?

Ривка покачала головой и тихо произнесла:

– Потому что, думая о том, что во Флоренции кому-то нужна его помощь, он прожил дольше.

– Он все знал, – сказала Эстер. – Он признался мне перед самой смертью. И во всех письмах, что он заставлял меня писать, он пытался по-своему исправить мои мысли. Только… – Эстер перевела дух, – я не исправилась.

Ривка молча слушала. Тьма становилась все гуще.

– Он был самой чистой душой на земле, – добавила Ривка.

Ни зажженной свечи, ни света с улицы. У Эстер возникло ощущение, будто они с Ривкой перестали быть настоящими; что стоит ей попробовать дотронуться до ноги или руки, она коснется лишь пустоты.

Послышался деревянный скрип – то Ривка пошевелилась в кресле.

– Я не понимаю большую часть того, что ты написала, – сказала она, – но все же достаточно. И эти слова причиняли ему боль. И еще мне стало понятно, – тут в голосе прозвучали недоверчивые нотки, – что ты любила его. Я видела, что эти письма во Флоренцию мучили тебя.

Эстер склонила голову.

– Даже зная, что ты обманываешь его, он отдал твоему обману последние силы. Почему? Что такого важного в этих письмах?

Эстер долго молчала, не двигаясь. Затем сказала:

– Не думаю, что буду еще писать.

Силы возвращались к ней небыстро. Головокружение заставило ее вернуться в постель. Лишь на пятый день после того, как спала

лихорадка, Эстер смогла наконец стоять без посторонней помощи, подойти к окну и отворить тяжелую раму. Солнечный свет пылал в ее глазах, плыл оранжевым потоком сквозь веки. День был теплым, но тело Эстер давно забыло, как воспринимать тепло.

Она видела, как в саду появилась Ривка, с трудом таща полный бак со стиркой, раза в два больше ее самой. «Она умеет читать», – подумала Эстер. В своей гордыне она оказалась слепее раввина и только сейчас поняла, как мало их разделяло. Сумей Ривка проучиться чуть дольше, она, несомненно, писала бы для раввина. Ривка, а не Эстер сидела бы в теплой передней, выполняя его поручения и при этом не задевая его чувств. А Эстер в то время вела бы домашнее хозяйство, пока возможность выйти за Мануэля Га-Леви не показалось бы ей настоящим раем.

И все же каким странным теперь казалось ее горячее стремление к учебе, несмотря на все преграды, как будто и жить нельзя без умения писать. Но болезнь оказалась убедительнее любого наставника, учителя: и старые мысли Эстер, старые идеи нынче казались ничтожными, пустыми вещами. Она задремала, а очнувшись на своем матрасе, даже не подумала о бумагах, спрятанных под ним.

Да, как же она ошибалась, полагая, что разум способен изменить что угодно! Ибо она не распоряжалась даже собою. Несмотря на доводы философов, Эстер отчетливо понимала, что мысль ничего не доказывает. Неужели Декарт незадолго до своей смерти понял свое заблуждение? Разум есть всего лишь аппарат в механизме тела, и достаточно простой лихорадки, чтобы разомкнуть соединение внутренних шестеренок, чтобы они больше не вращались. Философию можно разлучить с жизнью. Кровь сильнее чернил. И каждый вздох ясно говорил ей, кто именно ею управляет.

Глава двадцать пятая

Лондон

6 апреля 2001 года

В душном помещении местного архива Хелен медленно натянула хлопчатобумажные перчатки. Это обстоятельство ей совсем не нравилось: перчатки утолщали ее пальцы, и страницы удавалось перевернуть только после нескольких попыток. Хуже всего, из-за перчаток она едва могла держать карандаш, и каждая надпись в блокноте теперь означала долгие и потраченные впустую минуты, пока Хелен снимала и вновь натягивала правую перчатку. Из-за нервного напряжения у нее усилился тремор, и временами, чтобы не порвать бумагу, она останавливалась и ждала, пока не пройдет приступ.

В то утро она проснулась совершенно разбитой после ночных видений, что громоздились одно на другое. Мерцающий черный колодец, который одновременно притягивал и отталкивал ее, чувство отказа от тяжкой, но ценной ноши; оглушительная, абсолютная тишина, в которой даже не слышно ее собственного сердца… Вскочив с постели, увидев, что проспала, Хелен не стала завтракать, решив ехать сразу в архив, а что касается еды, то потом можно съездить в университет и поесть вдали от посторонних глаз в своем кабинете.

План дурацкий, несвойственный характеру Хелен.

В животе заурчало низко и громко. Мужчина средних лет, сидевший на другом конце длинного стола, недовольно и сухо кашлянул.

Хелен выпрямилась и снова заглянула в метрическую книгу. Имена и даты смерти рябили перед глазами. Джон Вильямсон умер от чумы пятого июля тысяча шестьсот шестьдесят пятого года. Под именем Вильямсон значились многие другие, скончавшиеся в тот же день, и все они были аккуратно выведены квадратным почерком какого-то безвестного приходского служителя. С трудом Хелен перевернула еще страницу. Пока никаких упоминаний о раввине, но

она была уверена, что найдет его. Конечно, она могла поверить на слово Уилтону относительно даты смерти раввина, но все же полагала, что должна постараться сама, сопровождая старика Мендеса до самых последних слов его истории: до единственной чернильной линии, спрятанной среди бесконечного списка умерших.

Думая о жизни Га-Коэна Мендеса, Хелен чувствовала некоторое умиротворение. Отсутствие хоть одного написанного слова после замужества Эстер Веласкес почему-то отказывалось мирно уживаться в сознании. Хелен делала ставку на упрямый дух девушки, способный победить все: потери, ужас, смерть. Ей нужен был голос Эстер, чтобы выстоять, чтобы поверить, что она тоже может.

В этот момент Хелен с содроганием вспомнила безответную тишину, преследовавшую ее минувшей ночью.

Ведомая поначалу чутьем, она теперь чувствовала, что это нечто большее.

Еще в ноябре, в тот последний день их работы в ричмондском особняке, когда Аарон куда-то пропал во время обеденного перерыва, а на улице падала тонкая снежная мука и скоро уже должен был явиться оценщик из «Сотбис», Хелен вдруг поднялась со стула и, следуя своему чутью, верному и надежному, как свет факела, тихо и с усилием поднялась по большой лестнице. Неслышно ступая, она обошла второй этаж – несколько маленьких комнат, распашные двери, ведущие к лестницам для прислуги, а затем по обе стороны от центральной галереи два ряда комнат в великолепном стиле семнадцатого века. Первая группа комнат явно использовалась самими Истонами – слабый звук сочащейся воды подсказывал, что бывший туалет семнадцатого столетия переделали в ванную комнату. Далее по верхней галерее шла вторая группа помещений: большая комната, ведущая во вторую, которая, в свою очередь, вела в третью. Прихожая, спальня и чулан, словно вложенные друг в друга коробки. Чулан – самая последняя комната, отделанная деревянными панелями, – была загромождена коробками с вещами Истонов. Все еще подчиняясь чутью, Хелен прошла мимо них к единственному окну с потемневшим от времени рычагом для запирания. Сквозь узкие стекла, из которых некогда открывался вид на шикарные сады, она видела лишь спутанные лозы плюща, крыши соседних домов и небольшой кусочек речной излучины. Хелен безо всякой видимой причины задержалась

здесь на некоторое время, наблюдая за течением реки сквозь неровное стекло.

Она уже прошла на центральную галерею, когда в доме послышались шаги. Конечно же, она должна была догадаться, что Аарон Леви не сможет преодолеть ее строгий запрет. Спрятавшись за колонной, она смотрела, как ассистент ступает на лестничную площадку, останавливается в верхней галерее и разглядывает деревянную резьбу и затененные потолки. На лице Аарона появилось такое же благоговейное выражение, как и на ее собственном несколько минут назад, и сей факт глубоко тронул Хелен. Это было выражение изумления от того простого факта, что дом смог уцелеть за столько времени… и что ему, Аарону Леви, посчастливилось видеть подобное.

Наблюдая за Леви, Хелен испытывала странное очарование, глядя, как он пытается открыть те же двери, через которые недавно проходила сама. Миг спустя она вздрогнула: послышался голос Бриджет и в ответ ей – ответ Аарона. И хотя с того места, где находилась Хелен, не было видно ничего, что происходит в комнате, стало очевидно ясно, что между ними что-то есть…

Хелен, стараясь не топать, отступила на исходные позиции, не нарушив идиллии взаимного соблазнения хозяйки дома и ее ассистента. Она, поминутно спотыкаясь и оступаясь, устремилась вниз по извилистой лестнице, испытывая ужасное чувство, словно нашкодивший школьник, цепляясь своими костлявыми руками за перила, чтобы не сверзиться. Какой-то внутренний голос бубнил ей, что она чего-то не понимает в жизни. Вернувшись на рабочее место, Хелен зарылась в документы, и через несколько минут она уже яростно штудировала их, несколько поуспокоившись…

Хелен встрепенулась: часы показывали двенадцать сорок. Голод уже чувствовался во всей своей силе, и ее внутренности все громче заявляли об этом. В два она должна быть в кабинете Джонатана Мартина для того, что Пенелопа Бэбкок назвала «стандартными проводами на пенсию». Лично Хелен предпочла бы избежать прощания с Мартином. Но даже теперь, безнадежно опаздывая, она не собиралась ставить под угрозу истекавший срок ознакомления с документами. Притом перед тем, как узрить перед собой гнусного

Мартина, она все равно собиралась заглянуть в свой кабинет, чтобы немного подкрепиться крекерами и содовой.

Палец в перчатке в поисках фамилии Мендес остановился на имени, которому здесь было совсем не место.

Мануэль Га-Леви. Чума, смерть – шестого июля тысяча шестьсот шестьдесят пятого.

– Простите.

Взгляд Хелен скользнул вверх. Над ней возвышался архивариус. Она нашла его глаза в свечении флуоресцентных ламп.

– Мне сообщили, – она заметила, что архивариус не понизил голос, чтобы сохранить конфиденциальность, – что ваше обращение с документами не соответствует нашим стандартам. Итак, я должен попросить вас покинуть архив и вернуться со специалистом, который поможет вам разобраться с записями.

Она отвернулась от ослепительного света и взглянула на исписанные страницы перед собой. Кивнула на список умерших.

На ступеньках крыльца она дрожащими руками достала из сумки мобильный телефон и с трудом набрала Аарона. Презрев явную нерешительность его приветствия, она сразу приступила к делу:

– Мне нужно, чтобы вы проверили для меня кое-что.

– Я дома.

Ей и в голову не могло прийти, что он может быть дома.

– А отчего вы не в хранилище?

– Мне нужен был выходной.

Голос Аарона звучал несколько странно. Казалось, он совсем не интересовался, что Хелен думает о его словах.

– Я только что нашла запись о смерти Мануэля Га-Леви. И это случилось летом шестьдесят пятого.

Аарон, казалось, медленно вникал в суть вопроса:

– Но ведь они поженились в шестьдесят шестом.

– Да, это точно, – ответила Хелен. – Сколько вам понадобится времени, чтобы добраться до хранилища?

Длинная пауза.

Что же мешало Аарону помочь ей? Хелен захотела спросить, что случилось с ним на днях в ее кабинете. Но она слишком хорошо знала саму себя и свои манеры и решила, что такой вопрос только испортит дело.

Аарон продолжал молчать.

Впрочем, ничего страшного; если не заходить в кабинет, она успеет сама.

– Так. Тогда я сама заеду в библиотеку и проверю, что Эстер писала о Мануэле. Может быть, есть какая-нибудь деталь, мелочь. Может, она вышла за другого Мануэля? У меня в два встреча с Джонатаном Мартином. Есть у вас возможность прийти ко мне в кабинет к трем?

– Да, – ответил Аарон, словно сонная муха. – Я могу позвонить в Ричмонд и уточнить дату их свадьбы.

Он опять надолго замолчал и потом изрек:

– Вы думаете, был не один Мануэль Га-Леви?

– Нет, – сказала Хелен. – Хотя мы не должны исключать и такую возможность. Да и сама запись о смерти может быть ошибочной. В том году умерла пятая часть населения Лондона, и ошибок было не избежать.

Но в глубине души Хелен не считала запись ошибочной. Скорее всего, это они с Аароном где-то сбились со следа.

Она почти не помнила, как села в машину, поехала, припарковалась. Единственно, ей отчего-то показалось, что город стал каким-то миниатюрным. Заперев автомобиль, она направилась в библиотеку. В голове гудело, а в ноздри бил запах нашатыря, придавая легкость и плавность.

И только войдя в здание библиотеки, когда за ней закрылись двери лифта, Хелен заметила, что трясется все ее тело. И не только руки, но и ноги. Она схватилась было за поручень, но тот показался хлипким. Стенки лифта скользили все выше и выше, медленно, но неудержимо. Затем они резко изогнулись, словно готовясь похоронить ее под собой навсегда. Стоять она уже не могла. Ее колени больно ударились о пол, и она вскрикнула каким-то чужим голосом. Трость отлетела слишком далеко, а стены все поднимались и проворачивались, опасно растягиваясь. Пол стал для нее последней опорой, и хотя лифт шел вверх, Хелен казалось, что она неудержимо погружается вниз.

Она почувствовала, что вот-вот наступит крайняя нужда, и, словно маленькая девочка, посмотрела куда-то в мутное пространство, как бы испрашивая разрешения. На юбке, а затем на чулках

расплылось теплое пятно, которое сразу же стало холодным и устремилось вниз к туфлям.

Двери лифта начали раскрываться.

Перед Хелен возник какой-то студент, склонившийся к экрану своего компьютера за стойкой рецепции.

Лифт открылся полностью.

Хелен утвердила на полу сначала подошву одной туфли, а затем другой. Кончиками пальцев нащупала трость. Протянула руку в открывшуюся перед ней бесконечность, уцепилась за перила и медленно поднялась на ноги, шлепнув одной подметкой по натекшей на пол лужице.

Студент за стойкой поднял глаза. Секунду он неуверенно смотрел на Хелен и снова нырнул головой в экран.

Хелен трясущимися руками извлекла свою карточку и миновала турникет, не глядя по сторонам, стараясь не интересоваться, увидел ли студент мокрые пятна на ее одежде. Она с трудом дошла до зала редких рукописей, чувствуя влагу на юбке и чулках. Бесшумно закрыв за собой дверь, она прошла мимо столов к месту библиотекаря, держа голову прямо, насколько это было возможно.

– Патриция, – произнесла она.

Патриция Старлинг-Хейт оторвалась от работы:

– Да?

Хелен прикрыла глаза и осталась молча стоять у стола библиотекаря с высоко поднятой головой. Прошло несколько секунд. Патриция поднялась, подошла к Хелен и отчетливым шепотом спросила:

– Может, вам в больницу?

– Нет, – отвечала Хелен. – Мне нужно… – она махнула рукой, будучи не в силах открыть глаза, – нужно привести себя в порядок. И… – она облизала пересохшие губы, – что-нибудь съесть.

Только когда она почувствовала, что Патриция надежно поддерживает ее, Хелен открыла глаза и двинулась за библиотекарем. Развернувшись спиной к читальному залу, Патриция быстро вывела ее через деревянную дверь, расположенную за рабочим столом. Неширокий зал, где они оказались, был весь заставлен каталками для документов. Бледная молодая женщина, занятая сортировкой документов, с любопытством подняла глаза.

– Элизабет, что-то случилось? – рявкнула на нее Патриция.

Девушка порозовела и вернулась к своим занятиям.

Патриция задержалась у небольшого шкафчика, порылась в нем и вручила Хелен какой-то предмет – ореховый батончик.

– Поесть можно здесь, – сказала Патриция, отводя Хелен в грузовой лифт, представлявший собой огромный пустой, хорошо продуваемый металлический ящик. Дверь за ними затворилась.

С тихим нечленораздельным звуком Хелен протянула батончик Патриции, которая быстро развернула обертку и положила его на ладонь Хелен. Та задвигала челюстями. Патриция молча смотрела, как на металлический пол падают крошки.

Немного утолив голод и обретя способность говорить, Хелен спросила:

– Который час?

– Четверть второго.

– У меня на два назначена встреча, – выдавила Хелен.

Лицо Патриции было где-то наверху, недоступное взгляду.

– А она важнее, – отчеканила та, – чем здоровье?

– Это моя прощальная встреча с Джонатаном Мартином перед выходом на пенсию, – ответила, выпрямляясь, Хелен.

Лицо Патриции помрачнело. Но рука ее, потянувшаяся было к кнопке нижнего этажа, взлетела вверх. Лифт вздрогнул и стал подниматься.

Оказавшись в замкнутом пространстве, Хелен почувствовала исходивший от нее запах мочи. Но Патриция и вида не подала, даже если и обратила на это внимание.

– Вы где живете?

Хелен сказала.

– Дайте ключи от вашей квартиры.

Она передала ключи, глядя на Патрицию, пока та совала их себе в карман. Хелен так и не смогла выдавить из себя слова благодарности, но Старлинг-Хейт лишь нетерпеливо взглянула на часы, как будто ничего особенного не происходило.

Двери лифта открылись, и от хлынувшего света Хелен чуть не упала навзничь. Однако Патриция подхватила ее и повела вперед. Консервационная лаборатория была просторной и чистой – огромное

помещение, сплошь белое, хоть космический корабль собирай. Патриция Старлинг-Хейт подвела Хелен к столу в дальнем углу, где с пинцетом в руке восседала Патриция Смит. Ее худощавое тело склонилось над подносом, на который лился яркий свет лампы. Рыжевато-каштановые волосы Смит были затянуты в идеальный пучок. На подносе лежали небольшие обрывки бумаги. Рядом на столе, подобно хирургическим инструментам, располагались иглы, связки тонких нитей и маркированные пузырьки с пипетками. На соседнем столе стоял хорошо освещенный стеклянный пузырь, напомнивший Хелен изображение гроба Белоснежки из детской книжки.

Сев рядом с Патрицией Смит, Патриция Старлинг-Хейт сказала:

– Джонатан Мартин ждет профессора Уотт в два часа для прощальной встречи.

Смит недоуменно глянула на часы, затем на Хелен.

Старлинг-Хейт объяснила, проговаривая отдельно каждое слово:

– Я думаю, что с такими людьми, как Мартин, можно иметь дело только тогда, когда ты в идеальном порядке.

Обе Патриции переглянулись. Смит нервно двинула локтем настольную лампу и, мельком взглянув на Хелен, пригласила ее присесть. Старлинг-Хейт она сказала, что присмотрит за хранилищем редких рукописей в ее отсутствие.

И Патриция-библиотекарь исчезла в лифте.

Смит повернулась к своему столу и подтянула поближе увеличительное стекло размером с суповую тарелку, укрепленное на гибком штативе. При помощи исполинского стекла она принялась выщипывать какие-то невидимые волокна из клочка бумаги.

Прошло несколько минут. Съеденный батончик достаточно восстановил силы Хелен, которая все сильнее ощущала отяжелевшую ткань юбки и чулок. Она какое-то время наблюдала за работой Смит, но чувство облегчения вскоре сменилось приступами стыда.

Вдруг Патриция Смит отодвинулась от своего столика:

– Вам воды?

Голубые глаза ее были распахнуты и часто моргали.

Хелен кивнула.

Патриция вышла и вернулась со стаканом в руке. Пока Хелен пыталась справиться с непослушной посудой, Смит снова вернулась к работе – яснее ясного, чтобы не смущать ее излишним вниманием. К

тому времени, как Хелен удалось наконец попить, блузка ее тоже изрядно промокла.

Патриция Смит тем временем перелила какое-то прозрачное вещество из объемного белого сосуда во второй лоток, а потом пинцетом перенесла туда несколько бумажных кусочков. Труд этой подтянутой, дисциплинированной женщины, которая извлекала из небытия жертвы времени и небрежности, был подлинным колдовством.

Патриция встала, сняла рабочие перчатки и куда-то удалилась.

Хелен долго сидела в опустевшей лаборатории. Вокруг нее на полках, на столах, на металлических подносах и в стеклянных камерах громоздилась масса бумаги, лист за листом – многовековой, рваной, выцветшей и ломкой. Страницы, исписанные давно умершими руками, поврежденные временем. Но они – страницы – снова оживут.

А Хелен умрет.

Обрывки, что я выудил из-под обломков…[63]

Намокшая часть блузки прилипала к груди.

Она истратила свои последние силы, пытаясь открыть Эстер Веласкес, горячо веря в некую скрытую правду, способную перевернуть историю жизни этой женщины. Но все это время ей не удалось найти то же самое в себе.

Память ползла вниз по спирали, до самого основания. Хелен сидела среди обломков. Однажды она почувствовала ужас любви, она любила Дрора среди его потерь и бежала от него. Потом она провела десятилетия, забаррикадировавшись от жизни; она установила условия любви настолько высокими, что ни один человек не смог бы их выполнить. На самом деле мало кто предпринимал какие-либо попытки в данном направлении. Впрочем, спрятаться у всех на виду оказалось очень просто. Мир не мешает человеку стать тем, кем он настроен стать.

Слишком долго она не могла понять этого.

Она любила только одного мужчину. Читая в своей тихой квартире новости об Израиле, она искала его между строк, в самых обыденных ситуациях. За чаем, перелистывая страницы газеты, она постепенно понимала, что спасена от всех смертельных ловушек, о

которых предупреждал ее Дрор: от мучительного замешательства, которое испытывала бы с таким мужчиной, от его желания защитить ее, столь яростного, что в свое время испугало ее. А еще Хелен понимала, что проклята.

Слишком охотно она позволила суровости Дрора одурачить себя. Она сказала себе: его мир и мой мир противоположны друг другу и не могут сосуществовать. Но теперь она стала старше и, оглядываясь назад, видела, что его предупреждения о жестокости истории были не чем иным, как его страхом, что она беспечно войдет в его мир и, почувствовав его ограничения, сбежит. Да, ему нужно было, чтобы Хелен была уверена, что он любит ее. И он лучше ее понимал, чего требует любовь.

На протяжении многих лет, десятилетий Хелен представляла его неизменным. Может, седым, обветренным, обожженным солнцем, даже сгорбленным, но всегда с поднятым кулаком, исполненным гнева, с сердцем, населенным мертвецами. Она поняла, что этот образ был нужен для ее же успокоения. И поместила изображение Масады над своим камином, чтобы оно напоминало о человеке, которого не существовало, о жестоком человеке, потерю которого можно было бы оправдать.

Представить, что он может смягчиться, было для нее невозможно. Но Хелен ошибалась. Некоторые мужчины ставят идеологию выше чувств. Но Дрор, который шел за ней, зовя по имени, несмотря на посторонние взгляды, никогда не был таким.

Мысль о том, что она могла бы ходить по рынку с яркой пластиковой корзиной, звать детей среди праздничных огней в задымленной долине, стала для нее пыткой, которой она нарочно подвергала себя. Звуки, запахи, цвета атаковали ее чувства. Тишина пальмовых ветвей, покачивающихся на ветру. Отчаянный смех университетских коллег, вместе с которыми она могла бы преподавать в Тель-Авиве или в Иерусалиме.

Огурцы и помидоры на прилавках рыночных торговцев, гуава, иссоп, тмин. Резкий пересвист, словно отдаленное пение, перекатывается среди огней, издали напоминающих горящий фитиль, проложенный по темнеющей долине. Шипение раций водителей автобусов, отчеты саперных команд, взрывающих что-то поодаль, звон телефонов – то матери проверяют своих мужей, сыновей, дочерей.

Звук ее собственного голоса с акцентом, голоса, стремящегося защитить то, что она сама никогда не могла держать под защитой: способности спорить, смеяться, плакать, утешать. Жить…

Темные блестящие глаза Дрора и сейчас смотрели на нее, прося ее остаться. Даже после того, как она бежала, охваченная паникой.

Ужасная вещь – любовь! Хелен потратила всю жизнь, убегая от нее.

Свет флуоресцентных ламп дрожал на веках Хелен, словно призывая куда-то. Она выпрямилась, открыла глаза, медленно и осторожно встала. В нескольких шагах от того места, где она сидела, в увлажняющей камере, которая напомнила ей гроб Белоснежки, лежал какой-то документ. Уже сделав первый шаг, Хелен поняла, что это.

Звякнул и открылся лифт, и в лаборатории появилась Патриция Смит.

– О, – произнесла она, увидев Хелен у камеры, и та впервые услышала в голосе Смит удовольствие. – Это то самое письмо с плющом на печати. Мне удалось снять ее совершенно целой.

Она гордо указала на другой футляр, поменьше, что стоял на соседнем столике. На квадрате белой ткани лежал небольшой коричневый сургучный кружок с замысловатым узором.

– Хотите посмотреть? Прекрасно сохранилась.

Хелен взглянула на нее и ничего не ответила. Затем двинулась в сторону стола, на котором лежало письмо.

– Позже так позже, – иронично, но при этом с долей уважения произнесла Патриция.

Хелен не остановилась бы, даже если бы и захотела. Патриция издала неодобрительный звук, но сдержалась, когда ладони Хелен легли на стекло. Движение это было неуверенным и трепещущим, как у застенчивого человека, уставшего от непрерывного отказа.

Почерк – круглый, менее сжатый, неторопливый, словно невинный – явно принадлежал другому человеку. Когда Хелен дочитала до конца, ей все стало понятно.

– Так вот как ты это сделала, – сказала она вслух.

Хелен читала и перечитывала письмо. История, так долго отказывавшая в разговоре, теперь говорила с нею сама. И Хелен слушала с переполняющей благодарностью, словно блудный отпрыск,

вернувшийся наконец домой, и глас возносил ее имя в угасающем свете дня, напоминая, чьим ребенком она всегда оставалась.

В дверях лифта показалась Патриция Старлинг-Хейт, вернувшаяся из квартиры Хелен. И, словно две сказочные феи, обе Патриции молча стали по бокам Хелен и стали подавать одежду, как будто готовя ее к последнему сражению.

Глава двадцать шестая

Лондон

07 сентября 1665 года

27 элула 5425 года

Сорок дней и ночей… Число, которое уважают даже христиане. Сорок дней и ночей Потопа, чтобы умертвить все живое и начисто омыть землю. Сорок дней и ночей Моисей молил о прощении на залитой солнцем горе; сорок громоподобных вызовов Голиафа в долине… их же сороковины встретили только ужасающей тишиной.

Запасы в доме почти истощились. Лишь благодаря тому, что прислуга да Коста Мендес была весьма щепетильной в отношении дров и масла, а Ривка приобрела привычку покупать муку с запасом, они смогли кое-как прокормить себя. Во время болезни Эстер Ривка разделила все оставшиеся припасы так, чтобы их хватило ровно на сорок дней, но теперь она каждый день выпекала хлеб, который они макали в масло с тмином из сада, чем и скрашивали свои обеды.

Бескос появился за неделю до снятия карантина. Стоя у окна спальни, Эстер увидела, как он вышел на их улицу. Бескос шел старческой походкой. Дойдя до дома, он о чем-то вполголоса поговорил со сторожем и, выпрямившись, сразу увидел Эстер.

– Ты жива, – сказал он. – Пока что.

Под его мутными глазами и под скулами лежали тени. Кожа лица сделалась как будто пористой. Эстер никогда не считала Бескоса человеком, живущим надеждами, но здесь ясно было видно, что в его душе выгорела последняя надежда, отчего оно выражало непреклонную ненависть.

– Слушайте, жидовки, – начал он, – мне уже порядком надоело ждать своего наследства.

Эстер, окаменев, застыла у окна.

Бескос делано задумался и через мгновение выдал:

– Меня всегда удивляла странная судьба евреев. Вам как будто нравятся ваши беды. Вы прямо упиваетесь ими.

Сторож неуверенно усмехнулся.

– Каждую нравственную ошибку христианства, – продолжал Бескос, – можно проследить от…

Он вдруг прервался и пренебрежительно махнул рукою. Ораторствовать всегда затруднительно, если публикой тебе служит один лишь городской сторож. Бескос отошел на несколько шагов и внимательно оглядел фасад дома да Коста Мендес. Затем кивнул сторожу и пошел прочь.

Сторож внимательно наблюдал за ретирадой Бескоса – для него тот как-никак служил единственным развлечением, которое выпало ему за минувший месяц. Эстер тоже не сводила глаз с фигуры Бескоса, вцепившись пальцами в подоконник так, что побелели костяшки. Сердце ее бешено колотилось. Эстер была озадачена безрассудным упорством своего тела: как бы она ни требовала от него прекратить ненужное сопротивление смерти, оно отказывалось, заставляя ее делать один вздох за другим.

Разве не такая же бессмысленная и настойчивая сила заставляла жить Бескоса? Он был весь объят ужасом, но упрямо отвергал его притязания. Ясно, что Бескос будет яростно обрубать щупальца страха, пока его жизненный источник полностью не иссякнет.

И поэтому, когда наступил сороковой день и порог их дома наконец опустел, Эстер ничуть не удивилась, увидев Эстебана Бескоса. Однако стоял он спиной к дому, словно ожидая кого-то.

Ривка присоединилась к Эстер и стала тоже наблюдать. Так прошло довольно много времени. Ривка говорила шепотом, словно Бескос мог подслушать их:

– Если он хочет, чтобы мы ушли и он мог забрать вещи Мэри, то мы уйдем.

В ее голосе зазвучала нотка, которую Эстер раньше никогда не слышала. Она обернулась – ноздри Ривки расширились, дыхание участилось, а взгляд был устремлен на улицу.

– Но я не пойду, – проговорила Ривка, как бы советуя себе. – Не выйду за дверь, пока он не обеспечит нам безопасный проход.

С улицы раздались голоса. К Бескосу присоединились трое мужчин, а со стороны Бери-стрит появились две женщины, одна сутулая, вторая помоложе. Компания стала что-то обсуждать, как вдруг, услыхав замечание Бескоса, все повернули головы в сторону окна, за которым стояли Ривка и Эстер.

На этот раз Бескос заговорил громче, чем было нужно, – он явно хотел, чтобы его слышали и пленницы дома.

– Вот две еврейки прячутся за нарисованным крестом! Но почему они не умерли, раз уж здесь точно была чума? Так что, если хотите посмотреть на колдуний, извольте взглянуть в окно.

Кольцо лиц тревожно вглядывалось. Ривка быстро отошла от окна, Эстер же заслонилась шторой в надежде остаться незамеченной.

– Та, что помоложе, – изящно взмахнув рукой, продолжал Бескос, – считает себя мыслителем. И она читает книги, которые, оказавшись в руках женщины – я уж не говорю о еврейке, – неизбежно ведут к ереси, а то и к чему похуже!

Мужчины и женщины моргали от яркого дневного света. Они выглядели довольно сонными, чтобы их проняли речи Бескоса. Однако уродство их лиц подсказало Эстер цель, с которой Бескос привел сюда этих людей. Прищурившись, чтобы получше разглядеть Эстер за стеклом, эти люди, несомненно бедные и нездоровые, выглядели более стойкими и решительными, чем чума. Один из мужчин страдал кожным воспалением, отчего нос его выглядел куском сырого мяса. У той женщины, что помоложе, был один нормальный глаз, а ее спутница так раздулась и покрылась гнойной коркой, что трудно было разглядеть черты ее лица. Эстер понимала, что она сама тоже не выглядит воплощением здоровья: однажды она тайком приподняла одну из тряпок, коими Ривка завесила все зеркала в доме, и обнаружила, что ее собственное лицо напоминало серую маску, а глаза от того, что им пришлось увидеть, сделались пустыми.

Однако состояние тех, кто сейчас стоял у их двери, было явлением иного порядка.

Женщина с больным глазом заговорила с Бескосом – тихо, улыбаясь, показав ряд гнилых зубов. Чтобы подчеркнуть свои слова, она протянула к нему руку, и Бескос так быстро отшатнулся, что едва не потерял равновесие и ухватился за кирпичную стену. Вряд ли это могло причинить ему боль, но он не сразу перевел дух. Он

прислонился к стене, отвернувшись от остальных, и Эстер заметила странное выражение на его лице – он едва не плакал.

Затем Бескос выпрямился; теперь на лице его была лишь гримаса отвращения. Он снова что-то сказал одноглазой, как будто ее жест совсем не испугал его. Женщина заметно напряглась, а потом отвернулась, ссутулив плечи.

– Еврейское колдовство… – протянул один из мужчин с сомнением.

– Да, еврейское! – раздраженно отозвался Бескос. – Вон они там стоят.

– Пастор говорил об этом, – закивала пожилая женщина.

Пастор. Значит, протестанты. А ведь Бескос не был протестантом.

Теперь к группе приблизились еще трое. Самым заметным был молодой парень крепкого сложения, с гладко выбритой угловатой головой и бульдожьими чертами лица. Походка его выражала рвущуюся наружу энергию, словно парень едва сдерживал ярость. Эстер смотрела, как он пересек булыжную мостовую, потом глянул на окно, куда смотрели остальные, и нетерпеливо вздрогнул. У Эстер захолонуло внутри. Бритоголовый что-то пролаял Бескосу.

Погибнуть от рук толпы – каким невероятным и даже пошлым это казалось! Что ж, они не хуже и не лучше тех, кто погибал в погромах раньше.

– Эстер, – позвала Ривка.

Что-то стукнуло в верхнее окно. Эстер увидела, как по стеклу скатывается комок навоза. Последовал еще один шлепок, и вслед за ним появилась вторая грязная полоса. Эстер вся сжалась, но не смогла удержаться от того, чтобы не посмотреть на парня с бульдожьей мордой, чьи глаза от ненависти превратились в две щелочки. Он наклонился, зачерпнул с мостовой еще порцию, прицелился в окно, но промахнулся; было слышно, как грязь хлопнулась о стену.

Остальные смотрели, беспокойно переминаясь с ноги на ногу, словно ожидая чьего-то решения. «Странно, – подумала Эстер, – почему так мало шума?» Действительно, почему-то на улице было почти тихо и слышалось лишь кряхтение парня, что швырял в дом дерьмом, прерываемое иногда одобрительными возгласами.

И вдруг, бросив на Бескоса болезненный, тоскливый взгляд своего уцелевшего глаза, женщина протиснулась вперед и разорвала тишину

воплем:

– Вестники болезни!

Затем она бросилась, схватила булыжник и запустила им в окно.

Все сразу пришло в движение. Тела наклонялись, распрямлялись, толкались. Воздух дрожал от дикого улюлюканья и яростных воплей. Раздался тяжелый удар – то в стену угодил камень. Ривка тянула Эстер за рукав, но та не могла двинуться с места, наблюдая за происходящим. Что-то тяжелое ударило в окно, оставив длинную трещину. Сухой голос старухи трещал:

– Выбросьте из этого дома жидов во имя Господа!

И вслед раздался голос Бескоса, слишком спокойный, словно он отдавал указания:

– Они должны уйти или сгореть.

Потом кто-то дробно постучал в парадную дверь дома.

Оттолкнув Ривку, Эстер бросилась вниз по лестнице так быстро, что могло показаться, будто она кувыркается по ступенькам. Ухватившись за деревянный столб у основания лестницы, она остановилась. Стараясь утихомирить собственное дыхание, Эстер прислушалась – впереди нее между парадной дверью и кухней виднелась темная прихожая, откуда можно было бы выбраться в обнесенный стеною сад. Ну, а дальше?

– Вы могли бы избавить этот дом от пожара, – раздался вкрадчивый голос Бескоса, удивленного таким легким успехом.

– Ты что, хочешь спалить весь дом из-за серебра?

– Мне хватит даже расплавленного, – сказал Бескос. – Но, возможно, не вашим добрым соседям, коих я встретил на паперти у святого Мангуса-мученика. Наверное, вам стоило бы освободить их от лишнего труда и просто зарезаться, как сделали ваши люди в Йорке. Ведь вряд ли кто станет оплакивать двух жидовок, сдохших в доме, который они отобрали у семьи мертвой хозяйки! – добавил он со смехом.

Рядом послышалось тихое дыхание Ривки.

– Забирай себе дом! – крикнула Эстер. – И серебро прихвати! Только дай нам спокойно уйти!

– Если это окажется в моих силах, – басовито хохотнул Бескос.

Один рукав платья был закатан выше локтя, во впадине которого билась голубая жилка. Эстер дотронулась до нее, почувствовав слабое

биение.

– Эстер…

Она повернула голову. Ей показалось, что рядом плачет ребенок, но это всего лишь была Ривка. Щеки ее блестели от слез, нос мокрый… Голова покачивалась туда-сюда:

– Они все равно сделают, что хотят. И нас убьют.

– Ривка!..

– Или хуже того, – зажмурила глаза Ривка. – Они… сделают, что хотят, и оставят нас в живых.

Она оттолкнула протянутую руку Эстер и двинулась дальше, сбив девушку с ног. Эстер, прихрамывая, бросилась за ней. От напряжения у нее потемнело в глазах, и до самой кухни она проковыляла, хватаясь за стену.

Когда наконец пелена перед глазами рассеялась, Эстер не сразу поверила своим глазам. Ривка, прижавшись спиной к печи, шептала псалмы, а к груди у нее был приставлен нож. Лезвие уже проткнуло ткань платья. Лицо у Ривки вытянулось, будто она старалась увидеть в конце длинного туннеля какой-то неведомый горизонт. Губы ее шевелились, произнося слова молитвы, а щеки пылали огнем, как от стыда. Весь вид ее являл зрелище просящего о прощении ребенка. Вскрикнув, Эстер ринулась было к ней, но Ривка без труда оттолкнула ее хилое после болезни тело, и та грохнулась на пол, с трудом переводя дыхание.

«*Шфох левави* – излей мое сердце, – отрывисто читала Ривка, – *аль мнат кедошеха!*»

Она закрыла глаза, не переставая шевелить губами, и Эстер вспомнила, как часто Ривка говорила о священном мученичестве и благости смерти, которая оставляет чистоту душе. Видимо, Ривка репетировала свою смерть с тех самых пор, как смерть прокляла ее, оставив жизнь.

Поток молитв вдруг приостановился, словно натолкнувшись на невидимое препятствие. Ривка зажмурилась, пытаясь вновь сосредоточиться и качая головой, – ни дать ни взять торговец, готовый подписать договор, но с оговоркой. И, видно, Ривка не могла от нее отказаться.

Острие ножа дрожало на груди. Но не двигалось дальше. На платье расцвел маленький красный цветок, но не более.

Ривка открыла глаза и осторожно положила нож на плиту, погладив его рукоять, словно он не был виноват в ее трусости. Затем, повернувшись, уперлась ладонями в столешницу, на которой все последнее время месила тесто для хлеба.

Пока Эстер поднималась с пола, Ривка стояла, попирая обсыпанную мукой поверхность стола. Торопливая молитва прекратилась, и теперь она молча оплакивала свое несчастье – она была готова отдать себя на милость мира, пока тот не совершит с нею то, на что она сама не способна.

Эстер чувствовала, как горят руки, как пульс бьет в ушах сигнал тревоги, но слова, что в этот момент всплыли в ее сознании, оказались словами разума: «Жизнь есть высшая нравственность, и она побеждает все». Ее горло пересохло, но губы продолжали беззвучно шептать их.

Потребовалось несколько минут, чтобы сдвинуть Ривку с места. Она наконец повернулась, но движения ее были такими неуклюжими, словно это она, а не Эстер провела много дней на смертном одре. Однако Эстер, положив руку на толстую спину служанки, все же смогла отвести ее в комнату, где недавно сама корчилась от лихорадки. Там она сжала широкую ладонь Ривки и оставила ее стоять у кровати, а сама отворила окно. Какой-то человек силился выломать дверь, сопровождаемый ободряющими криками. Народу заметно прибавилось – угрюмые уродливые мужчины, женщины и даже несколько детей. Одна девушка несла перед собой передник, полный мелких камней.

Вопли на улице сделались громче – ее заметили. Слева от окна в стену ударился камень. Эстер пришлось трижды прокричать, пока ее смогли услышать: «Мы отдаем этот дом вашей церкви!»

Кто-то дико вскрикнул, и тут же народ недоуменно зароптал. Еще один камень щелкнул о кирпич над самым окном.

– Мы отдаем этот дом вашей церкви!

Эстер перевела дух и сосредоточила внимание на девушке с опухшим глазом:

– Мы отдаем все серебро, всю мебель, кирпичи и бревна вашему пастору! Пусть он придет и примет наш дар!

Одноглазая была примерно того же возраста, что и Эстер, и когда-то была даже весьма хорошенькой. Каштановые, правда, теперь изрядно потускневшие волосы все еще обрамляли ее продолговатое

лицо, искаженное гневом. Но стоило Эстер заговорить, женщина мгновенно умолкла. Затем она повернулась к галдящим теткам, что стояли рядом, и сделала знак, чтоб те умолкли. Когда Эстер повторила свое предложение, одна из теток положила руку на плечо оказавшегося рядом джентльмена и приказала:

– К пастору!

Мужчины, сомневаясь, стали переглядываться.

Глухие звуки от ударов по двери все еще продолжались, но толпа уже не так радостно реагировала на бравого молодца.

– Это дьявольская уловка! – послышался резкий голос Бескоса.

Однако голос Эстер, хоть и тонкий, перекрыл его.

– Мы доверяем вашей церкви, а не его! – крикнула она, указывая на Бескоса дрожащей рукой. – Пусть служитель вашей церкви примет это богатство, чтобы отмолить наши грехи! Но мы отдадим все хозяйство, все, что в нем есть, ему, и только ему! А вот этот человек, Эстебан Бескос, хочет все забрать себе. Так не позвольте же ему отобрать это богатство у вашей церкви!

Ривка, стоявшая рядом, судорожно вздохнула, как будто только сейчас пробудилась от сна. Она смотрела так, словно Эстер оказалась самой гнусной из всех предательниц. Но тут же опустила глаза, видимо подумав то же самое и о себе.

Тем временем под окнами одноглазая женщина орала на бритого верзилу:

– Так тогда ступай в церковь и найди его!

После некоторого замешательства бульдогообразный человек кивнул и удалился.

– Все равно это обман, – не унимался Бескос, зловеще улыбаясь.

Рукой он указал на дом да Коста Мендес, как бы приглашая всех собравшихся на веселый пир. Но женщина с опухшим глазом перебила его:

– Подождем, что скажет пастор, ладно?

Человек, что продолжал ломиться в дверь, оставил свое занятие и под смех немногих своих товарищей вернулся к собравшимся выпить эля.

Эстер закрыла окно.

– Ривка, нам надо собрать вещи!

Та не шевелилась.

– Ты знаешь, что сказал мне раввин перед смертью? – спросила ее Эстер.

Ривка повела глазами.

– Он сказал, что в молодости ему не хватило смелости стать мучеником. И он больше всего переживал о том, что снова потерпит неудачу, если ему будет брошен вызов. Только представь себе… – Эстер удивилась тому, отчего у нее вдруг задрожал голос. – Он искренне считал, что предал Бога. Но, Ривка, я не верю в такое представление о Боге. Бог, что требует от нас ужасной смерти, не может быть Богом, который дал нам желание жить. А если я ошибаюсь, то пусть этот грех падет на меня.

– Не говори мне таких вещей, – тяжело качнула головой Ривка.

Эстер сглотнула.

– Ну, тогда слушай слова самого раввина, а не мои. Он пожелал бы тебе утешения. Он учил так: «Бог близок к тем, кто сокрушен сердцем».

Ривка ничего не сказала и направилась к лестнице.

Прошел час, даже больше. Наступил полдень, и жара сделалась невыносимой. Эстер не отходила от окна, сжимая в руке тяжелый ключ от дома да Коста Мендес.

Толпа, собравшаяся под окнами, пополнялась все новыми участниками. Прохожие появлялись с обоих концов улочки и присоединялись к неожиданному развлечению. Повсюду слышались крики, смех. Несколько женщин стояли поодаль – среди них одна с опухшим глазом, а другая с младенцем – и охотно рассказывали любопытствующим о происходящем. На чердаке затрещало, словно там стреляли. Эстер и Ривка закричали, толпа ответила ревом – и на мостовую посыпались осколки стекла. Молодые люди вооружились подобранными камнями и теперь развлекались тем, что лениво разбивали уцелевшие окна. Мужчины постарше стали вдоль фасада, словно хотели защитить его от преждевременного вторжения, а на самом деле стремясь обеспечить себе первые места в очереди на грабеж. Взгляды их тайно скользили по женским фигурам, жавшимся по периметру толпы. Что-то было в этих взглядах, по-волчьи настороженных, – как поняла Эстер, они старались выследить

потенциальных конкурентов, с которыми нужно будет драться до самой смерти, пока чужие руки не отпустят добычу.

Бескоса нигде не было видно.

Наконец появился пастор. Толпа мгновенно затихла, словно схлынул шипящий прибой.

Эстер распахнула окно и стала на виду у всех.

Как этот скелет еще может ходить? Старое лицо его избороздили бесчисленные морщины, веки покраснели и припухли. Эстер подумалось, что это, вероятно, единственный оставшийся в городе священник.

Однако, когда он подошел ближе, стало хорошо видно, что старческое лицо пылает гневом отверженного. Пастор широко раскинул руки и возгласил – и в голосе его слышалась неожиданная несгибаемая сила:

– Вы хотите отдать этот дом церкви?

Прогремев, пастор мельком взглянул на окно, где стояла Эстер. Затем старик перевел глаза на толпу, словно перед ним собралась его паства, перед которой следовало заклеймить еретика. Те, кто стоял ближе всего, невольно отступили. Эстер заметила, что некоторые опустили голову, хотя большая часть стоявших выглядела вполне безучастно. Но пожилой пастор подступал то к одному, то к другому, восклицая:

– Дьявол должен быть изгнан безо всякой пощады!

Стараясь, чтобы ее услышали, Эстер крикнула:

– Вот, смотрите! Я отдаю вам вот это!

В руках у нее блестел большой ключ.

– Он отпирает здесь все двери. Весь дом и все, что в нем находится, отойдет церкви!

Однако пастор по-прежнему не обращал на Эстер никакого внимания.

– Господь не принимает пустых даров! – вещал он, обращаясь к собравшимся. – Любое богатство ничего не стоит без одного-единственного дара, который вечен!

Люди слушали, словно зачарованные.

Внезапно, так что Эстер не успела отскочить от окна, он повернул к ней свое иссохшее, раскрасневшееся лицо.

– Отдадут ли евреи и свои души? – вопросил он.

Ей следовало догадаться, что без этого не обойдется, но все равно слова пастора повергли ее в ужас. Она выпрямила спину и ответила:

– Да!

Ривка позади нее едва слышно выдохнула.

– Это мой грех, не твой, – прошептала Эстер.

– Они предлагают свои души, – величественно обратился пастор к публике, подняв руку, однако не спеша принимать такое подаяние. – Но примет ли Бог такое приношение?

Эстер быстро выдвинула ящик туалетного столика Мэри.

– Нужно собрать все, что можно, – сказала она Ривке.

Затем, прошептав «*desculpa me*»[64], она отложила в сторону украшения Мэри, чтобы не бередить душу воспоминаниями, и разыскала несколько монет, которых должно было хватить, чтобы выехать из Лондона – если они, конечно, останутся живыми. Затем, не глядя на Ривку, боясь, что та ей помешает, она ринулась вниз по лестнице. Через несколько мгновений в комнате раздался топот и какая-то возня. Немного погодя у подножия лестницы показалась Ривка, облаченная в плащ, топорщившийся на ней из-за спрятанных свертков.

Ее карие глаза ненадолго остановились на взгляде Эстер. Потом Ривка взяла ее за руку и сжала.

Пол передней комнаты освещало солнце, и каждый клин яркого желтого света был своеобразным порогом. Рука об руку они прошли их все, пока не достигли входной двери, утопавшей в тени.

Эстер впервые за сорок дней взялась за замок и вопросительно посмотрела на Ривку. Та шумно выдохнула и кивнула.

Эстер толкнула тяжелую дверь.

На них хлынул целый поток солнечного света. Незнакомцы отступили.

Эстер хотела было говорить, но так сама и не узнала, что именно она собиралась сказать: ее толкали грубые цепкие руки. Чье-то изъеденное ужасающей язвой лицо с открытым в крике ртом промелькнула совсем близко. Локоть сильно ударил ее в лоб. Рука скользила по ее волосам, скручивала их в жгут – и вот она почувствовала, как целая прядь оторвалась с треском. Эстер ахнула, но крик замер в ее глотке, поскольку железные пальцы Ривки держали ее за плечо. Толпа подтолкнула их вперед, Эстер ощущала, как ее крепко

держат, щупают через платье талию, грудь; чья-то невидимая длань рылась в юбках, стараясь пролезть промеж ног. Эстер слышала, как Ривка остервенело отбивается где-то рядом; слышала мужской хрип, когда той удалось отбросить от себя врага… но вот наконец перед женщинами возник пастор.

Он распростер над ними руки, а его опущенное лицо пылало торжеством. И руки толпы одна за одной отпускали пленниц.

Пастор посмотрел на Эстер с Ривкой. Исходивший от него запах ладана и отсыревшего камня заставил Эстер замереть. Сколько таких, как они, так же стояли в ожидании смерти, слушая, как поет в висках кровь?

Несколько секунд тощий мстительный пастор держал женщин в своей власти, и толпа, казалось, окаменела. Но затем, по мере того как молчание затягивалось, толпа потихоньку оживала, и вдруг, в следующий удар сердца, в какой-то безмолвной и единой решимости, не выдержала и, соблазненная открытыми дверями дома и радостными воплями успевших проникнуть туда смельчаков, ринулась внутрь.

– Кто возьмет хоть что-нибудь себе – святотатец! – провозгласил пастор, однако было понятно, что дом обречен. Открывая дверь в жилище да Коста Мендес, Эстер содрала шкуру с туши, и теперь падальщики бросились обдирать мясо с костей.

Они стояли неподвижно, глядя на то, что происходит вокруг. Появились первые из грабителей, таща в руках серебряные тарелки и вазы отца Мэри. Вот мелькнула шелковая юбка Кэтрин. Ожерелья Мэри плясали на растопыренных пальцах человекабульдога. Женщина неподалеку возилась с коробкой бархатных лоскутков-мушек. Она проводила большим пальцем по кисточке, которой Мэри приклеивала их к своей щеке. Что-то – кажется, горестный спазм – схватило Эстер за горло, но некогда было поддаваться эмоциям. Пастор что-то кричал. Чего ему было нужно? Его слова тонули в реве толпы, но Эстер поняла, что он тоже догадывается о витавших в народе настроениях. Дом, пусть даже разграбленный, мог стать прекрасной раковиной, оболочкой для пастора и его церкви, сокровищем, которое много могло бы принести пользы в мире после чумы, если бы такой мир мог существовать… и если бы силы закона не хватило, чтобы вырвать его обратно и вернуть выжившим наследникам да Коста Мендес.

– Эти души не могут ждать! – загремел пастор, причем в голосе его слышалась и горечь, и в то же время радость, как будто он и не ждал лучшего, и сознание собственной правоты делало его счастливым. – Они сию минуту должны будут очиститься пред Господом!

С этими словами он отвернулся от Эстер и Ривки и пошагал прочь. Эстер, обернувшись, увидела в окне верхнего этажа Бескоса. Руки его были полны серебра, но на лице застыла гримаса отвращения, как будто они были пусты.

Воззвания пастора отвлекли нескольких зевак от созерцания грабежа, и сей невеликий эскорт потащил за собой Эстер и Ривку. Когда они уже дошли до конца улицы, Эстер бросила последний взгляд на дом, который послужил им и тюрьмой, и убежищем. Забрызганный грязью фасад его сильно пострадал, а в окнах почти не осталось стекол. Вдруг из верхнего окна вылетело что-то, оказавшееся простыней, одной из тех, что с таким тщанием отбеливала Ривка. Простыня, образовав почти идеальных купол, медленно опустилась вниз и вдруг исчезла, словно погасла.

К процессии присоединился мальчик с кадилом, из которого шел ароматный дымок. Мальчик занял место во главе шествия, сильно взмахивая рукою, отчего цепочка кадила позвякивала. Эстер не могла понять, то ли это было частью церковного ритуала, то ли мальчишка просто хотел отогнать от себя чуму, но дым плыл вместе с людьми, сопровождая их через изменившийся до неузнаваемости город. Дверь за дверью, крест за крестом. То тут, то там встречались люди с изуродованными лицами. Несколько голодных детей пристали к процессии, но большинство все-таки держались поодаль, словно хорошо усвоили, что смерть таится в других людях. Эстер и Ривку снова принялись ощупывать – не так жадно, как давеча, но более основательно. Руки чувствовались на шее, на спине, плечах, волосах, ушах… Ривка, крепко сжимая руку Эстер, шаркала по мостовой, низко опустив голову и закрыв глаза, – зрелище поистине жутковатое. Подняв голову, чтобы отстраниться от чьего-то назойливого прикосновения, Эстер на миг увидела то, чего никак не могла ожидать: высоко над городом между крышами домов синела полоска неба, такого неба, какого она не видела с самого своего приезда в Англию: тонкая голубая нить, уходящая в бесконечность. Владельцы

кожевенных мастерских и кирпичных заводов то ли вымерли, то ли бежали из города, оставив чистое, вымытое небо, как новую истину, вне досягаемости простирающуюся над всеми страданиями города.

Потом все исчезло. Они подошли к арке, за которой оказался двор, огороженный высокими стенами, увенчанными вырезанными из камня черепами. А вот показалась и сама церковь – сколько раз Эстер спешила по улице мимо таких зданий? Подталкиваемые сзади, Эстер и Ривка вошли под сумрачные своды во главе с пастором. Мерцание свечей, запах старого ладана, от которого кружится голова… Эстер пришли на ум слова из детства, заклинание, которому ее научила девочка, которую научила мать… она наклонилась к Ривке:

– Ты можешь сказать несколько слов по-испански. Я выучила их, еще когда была маленькой. Слова означают буквально, что все, сказанное тобой, считается недействительным. *«Todo lo que voy a decir es nulo…»*[65]

Ривка перестала читать молитву. Широко раскрытыми глазами она смотрела в одну точку, что находилась перед входом в церковь, к которой их вели:

– Нет, – прошептала она, придерживая свободной рукой грудь, словно баюкая младенца. – Бог все видит. Я принимаю Его суд!

Они уже были перед гулким церковным порталом, и чужие липкие руки подталкивали их даже на ступенях. Кто-то плюнул, и слюна повисла на щеке Ривки, но та даже не потрудилась стереть ее.

– Итак, они приходят ко Христу! – возгласил служитель высоким, тонким голосом.

Внезапно наступила тишина, и в нефе эхом отозвались слова.

– Так и мы, – продолжал священник. – Наша земля пуста, наш город лежит в руинах. Бог указал этим заблудшим путь, и наша благость к ним искупает всех нас. Ибо достаточно умерло, и теперь нам надлежит спасать!

Его слова, исполненные едва заметного сострадания, растворились в тишине. Что-то давно дремавшее мелькнуло в глазах стоявшей рядом с Эстер седовласой женщины. Старуха медленно кивнула пастору, и ее глаза наполнились чем-то похожим на любовь.

Их снова стали подталкивать вперед. Вверх, к алтарю – и голос священника все больше набирал силу, и на лице его читалось потустороннее умиротворение, – и все больше рук хватало Эстер,

следуя словам пастора. Очарованная выражением блаженства во взоре старика, Эстер не могла понимать его указаний, даже если он повторял их, но ей подбили сзади ноги, и она упала на колени; голову наклонили вперед, чтобы она коснулась подбородком груди. Священник продолжал говорить, а его холодные, но умелые руки выполняли какие-то непонятные движения. Несколько капель упали ей на лоб и тепло скользнули по переносице. Язык ощутил кусочек хлеба – пересохшее горло отказывалось глотать, но Эстер пересилила себя. Затем, подняв голову, она посмотрела, но не на людей вокруг, а на каменные стены и крышу. Внутренности церкви исказились и поплыли сквозь пелену, как оказалось, ее собственных слез. Но как мог священник простыми жестами так тронуть ее, которая не верила даже в существование заботливого и милосердного к людям Бога? И все же Эстер не могла отрицать, что испытывает чувство, будто она измарана с ног до головы и никогда не очистится. Глядя через неф, Эстер увидела высеченную из белого камня статую. Это была одна из христианских святых, умолявшая небеса с воздетыми руками, когда тело ее содрогалось от страданий.

Рядом раздался протестующий звук. Эстер опустила взгляд и увидела стоявшую на коленях Ривку, которую пытался причастить священник. Обветренное истощенное лицо служанки поднялось в мольбе.

Сумерки. Река сделалась шире и изогнулась перед ними серой дугой. Первая игла звезды, слабая, болезненная, кольнула небо. Мутное пятно кометы…

Лодочник греб, сгорбив спину. Здоровая рука его сжимала весло, а обрубок другой был просто примотан ремнем к деревянной ручке. Его голубые глаза над изодранным конусом с травами, который он носил, опасаясь чумы, то и дело останавливались на женщинах. Лодочник ни о чем не спрашивал и не отвечал на их вопросы, интересуясь только монетами, половину из которых Эстер отдала ему сразу, а другую обещала по прибытии на место.

Они плыли одни. Река была совершенно пуста. Судоходство почти совсем прекратилось по сравнению с тем, что тут было каких-то четыре месяца назад. Эстер усилием воли заставила себя не думать.

Лодочник здоровой рукой сунул деньги в карман, предупредив, что если их окликнут и потребуют документы, то он тотчас же высадит обеих на берег, а сам скроется. Он настоял на том, чтобы отложить отплытие до захода солнца. Однако их никто не остановил – лишь несколько одиноких гребцов тихо перекликнулись, когда их лодка проходила мимо. Казалось, Лондон превратился в решето после смерти или бегства тех, кто должен был поддерживать порядок, – собак осталось слишком мало, чтобы удержать всех овец в загоне.

Река извивалась впереди, широкая, бесстрастная, текущая непонятно куда и зачем. Ривка сидела на корме, неотрывно смотря на след, оставшийся на воде. После церкви они почти не разговаривали. Когда смолкло нестройное пение и церковь принялась трясти мошну наиболее состоятельных прихожан, Эстер и Ривка, не сговариваясь, направились прямиком к реке, разумно положив бежать, пока пастор не вспомнил про новообращенных. В церковь их несли почти всей толпой, но стоило выйти в город, как тот сразу опустел. Если когда-то Лондон и был городом тысячи глаз, то теперь их огни погасли, и две женщины могли проходить улицу за улицей, не встречая никого, кроме сотен закрытых оконных глазниц, не слыша ни окликов, ни насмешек.

– Сюда, – негромко сказала Эстер, направляясь по узкой тропинке. – Здесь!

Она шла, повинуясь интуиции, время от времени останавливаясь лишь для того, чтобы перевести дух, а затем снова вела – сюда! сюда! – к тем местам, где когда-то искала тело своего брата.

На причале чувствовался резкий запах реки. Здесь некогда под ногами грузчиков дрожали доски настила, а теперь стояла тишина. Вниз, скорее вниз, следуя по затененной стороне, – Ривка семенила за ней, как ребенок. Недолгая остановка у полусгнившей сваи; и вот Эстер нырнула под пирс и едва не упала на дремавшего лодочника, который, наверное, спросонья принял ее за бледного ангела-мстителя с серебряными монетами в вытянутой руке.

Даже в этот час хорошо было видно зеленые берега. Обилие смерти в городе здесь, казалось, не коснулось ни единой травинки. Эстер молча провожала глазами береговую линию. Подул легкий ветерок. И одна лишь мысль, как удар курантов: если кто-нибудь ей спел бы сейчас песню, она бы разрыдалась.

Ривка беспокойно ворочалась на своей скамье. Что-то явно мешало ей сесть как следует. Вздернув подбородок, она осторожно отвернулась от лодочника и сначала долго возилась с застежками плаща, а потом и платья. Сначала Эстер подумала, что Ривка хочет сбросить с себя одежду и броситься в воду, приняв смерть, которую так долго откладывала. Но то, что она затем увидела, поразило ее как громом, и она не могла даже двинуться с места. С заметным усилием и облегчением Ривка из-под корсажа вытащила толстую пачку бумаг. Десятки, сотни страниц – они все приняли форму ее тела. Эстер продолжала бестолково пялить глаза.

На внутренней странице по верхнему краю виднелось небольшое темное пятно. Кровь от ножа, проткнувшего кожу.

Ривка протянула свиток Эстер. Та не узнала своей руки, скользнувшей к бумагам. Оказывается, Ривка спасла их, все до единой, все, что Эстер оставила под матрасом в доме да Коста Мендес. Только сейчас Эстер догадалась посмотреть на корму, где лежала целая стопка книг – малая часть библиотеки раввина, но тем не менее это гораздо больше, чем, как ей казалось, можно было унести.

Мимо них проплывала зеленая, живая сельская местность. Какое-то время Эстер внимательно рассматривала берег.

– Но почему? – вырвалось у нее.

Ривка отвернулась и пожала плечами.

В ночной тишине слышался мягкий, глуховатый стук весел в уключинах и плеск воды. Лодочник опустил свой чумной наносник, закрыл глаза, нагнул голову и энергично заработал руками, чтобы поскорее добраться до места назначения.

Внезапно Ривка обернулась, жадно сверкнув глазами:

– Я хотела, чтобы он был со мной там. В церкви. Бог близок к сокрушенным сердцам, – повторила она слова раввина, и его голос тихо закончил в памяти Эстер: «К тем, кто вопиет в тоске».

– Я не смогла унести все книги, – сказала Ривка, – и то, что осталось, мне пришлось спрятать. Я распихала их за двери и под кроватью. Наверно, их перепортят грабители, но его слова здесь с нами, в безопасности.

Ривка указала на бумаги в руках Эстер и неуверенно добавила:

– Я, скорее всего, так никогда и не пойму, почему ты не соглашалась с ним, но если эти письма были настолько уж важными,

чтобы ты осмелилась обмануть такого человека, а он позволил тебе это…

Ривка замолкла, посмотрев Эстер прямо в глаза:

– Нужно же было спасти хоть что-то. Это твои бумаги.

Ветер то морщил гладь реки, то шевелил тяжелые кроны невысоких деревьев на берегу. Иногда где-то вскрикивала птица, и ее голос отражался от поверхности вод. Звезды становились все ярче, а силуэт кометы отчетливо проступил на ночном небе. Эстер взглянула на кипу бумаги в своих руках. Чернила, некогда иссиня-черные, теперь превратились в блеклую, бессмысленно разворачивающуюся ленту. Как так получилось, что эти завихрения, повороты и закорючки настолько завладели ее разумом и заставили поверить в то, что мысль способна изменить мир?

Эстер подняла всю пачку над водой. Реке потребуется всего несколько секунд, чтобы смыть проклятое тщеславие, которое запятнало эти бумаги.

Она невольно остановилась на верхней странице – то было незаконченное письмо.

> Таким образом, понятие Бога может вполне являться иным названием Вселенной, каковая вполне может быть равнодушной и не предпочитать любовь ненависти, а утешение – вреду.

Глупость собственных слов поразила ее. Эстер притянула бумаги к себе и стала читать дальше, все яснее понимая безмерность своей слепоты. В своей гордыне она думала, что понимает мир, тогда как в ее философии отсутствовало понятие его сущности.

Жизнь, прошептала она себе, и есть веление Вселенной. Именно этой силой управлялось мироздание, и жизнь была для него повелевающим законом. Пролетевшая по небу комета не означала сама по себе никакого Божественного гнева, она ничего не говорила о грехах Лондона. Свет кометы существовал лишь для того, чтобы просто светить. Она мчалась по небу лишь потому, что космос требовал этого. Трава растет, только чтобы расти. Точно так же та одноглазая женщина бросилась на Бескоса, который счел ее

недостойной любви; точно так же сама Эстер взялась за перо, потому что ей нужно было писать.

Она ошиблась, думая, что Вселенная холодна и желание свойственно лишь человеческому сердцу. Все мироздание было построено только из желания, и оно было единственным его живым богом.

Именно это самое желание и удерживало Эстер в тот момент от того, чтобы швырнуть в реку безумные исписанные бумаги: то она была готова расстаться с ними, то подержать их в руках еще хоть немного. Она уселась на дно лодки и прижала рукописи к груди, лодочник размеренно греб, птицы – она никогда не слышала таких голосов – пронзительно кричали. «Хотя бы ему, – думала Эстер. – Да, де Спинозе. Рыба или дерево не есть Бог, а только страстное желание, что вспыхивает и пульсирует в них».

Просто написать ему письмо. Последнее.

Когда лодка пристала к небольшому полуразрушенному причалу, было почти темно. Пока Ривка озиралась, обводя взглядом простиравшиеся вокруг луга, Эстер ссыпала оставшиеся монеты в руку лодочнику, а потом наблюдала, как он отваливает от берега. Он, казалось, колебался: здесь свежий ночной воздух, а там – чумной город. Но город давал средства к существованию, поэтому лодочник опустил весло и направил лодку в сторону Лондона.

Над берегом, неподалеку от реки возвышался большой дом. Даже в сумерках ошибиться было невозможно: высокий, грозный, обнесенный стеной, как описывал его младший Га-Леви. Кирпичный фасад, украшения – чтобы, по выражению Мануэля, ненавистники евреев забыли про свою злобу и пришли чистить нам сапоги.

Какое-то время Эстер и Ривка шли по лугу, не разбирая дороги, пока не набрели на петлявшую в траве тропинку. Она вела через каменные ворота, после чего раздваивалась – одна в сторону дома, другая исчезала между двумя переплетенными арками из ветвей, уводя в сад.

Фасад трехэтажного дома, светло-оранжевого цвета, был украшен каменной резьбой. Эстер разглядела глубокие карнизы и высоченные окна, некоторые из которых испускали слабый свет то ли от камина, то

ли от лампы. Дом казался поистине огромным и, как подумалось Эстер, требовал целого полка прислуги для ведения хозяйства.

Мануэль Га-Леви был прав: его отец посредством кирпичной кладки, облицованной известковым раствором, бросил вызов настоль смелый, что отныне никто не мог отрицать его притязаний на кусок карты Англии.

В сгущающейся темноте могучая фигура Ривки, словно отягощенная спасенными книгами раввина, пошатнулась…

Еще в Лондоне Эстер сказала ей, что они направляются в поместье Га-Леви. Ривка и не думала возражать и даже не спросила, кто примет их в деревне, если Га-Леви откажет в своем гостеприимстве. Однако теперь, увидев перед собой этакую громадину, Ривка невольно замедлила шаг.

– Ну же! – тянула ее Эстер.

На изможденном от усталости лице Ривки отразилось отчаяние. Она молча ткнула в себя пальцем: такая уродливая, нищая, замаранная – ну кто ж ее такую пустит?

И тем не менее, тронувшись вслед за Эстер, она не выглядела такой уж обреченной. По непонятной причине ее скептицизм сменился полным доверием.

Так они добрались до самой вершины холма.

Говоря по правде, Эстер и вовсе поначалу думала, высадившись из лодки, сразу улечься на травянистое ложе, такое зеленое и мягкое, что у нее сжалось горло. Но теперь у Эстер созрел план, и она решила неукоснительно следовать ему, независимо от того, была ли у нее надежда на успех.

Она взялась своими обеими костлявыми руками за дверной молоток. Сама дверь была дубовая, а сверху, с притолоки на гостью смотрели херувимы, каких Эстер никогда не видела в еврейских домах.

Молоток сухо и торжественно стукнул по металлической пластине.

В нижнем окне промелькнула и исчезла какая-то тень. Наступило долгое молчание.

Наконец дверь отворилась, и на пороге возник слуга со свечой в руке. Позади него виднелся зал, освещенный пылавшим в камине пламенем. Седая голова стража и покатые плечи напомнили Эстер

ручного ястреба, которого она однажды видела в магазине: сам потрепанный и взъерошенный, но взгляд все такой же боевой.

Мужчина поднес свечу к Ривке, а затем к Эстер и пристально их оглядел.

– Из города?

Эстер спохватилась, что на лице ее остались последствия болезни. Она тронула щеку и провела пальцами по свежим шрамам.

– Документы о выздоровлении у вас есть?

– Нет.

Слуга заметно напрягся и отступил в глубь прихожей, притворив дверь.

– Вам здесь не рады, – проговорил он через узенькую щель.

Эстер уже хотела было сказать, что лично знакома с хозяином, когда из сумрачных недр дома донесся невнятный зов. Слуга без промедлений захлопнул дверь.

Какое-то время изнутри слышался низкий гул голосов. Затем дверь отворилась, и на пороге оказался сам Бенджамин Га-Леви.

Эстер уже привыкла к лицам, истерзанным горем. И тем не менее перемена в Га-Леви поразила ее. Исчез тот надменный торговец в пышном наряде, что беседовал у синагоги с отцом Мэри, рассуждая о приливах и прибылях. Бенджамин Га-Леви был одет в темный костюм, порванный воротник которого свидетельствовал о трауре. Дыхание его вселяло страх, каждый вздох словно являлся безмолвным обвинением. Он напоминал попавшего в лабиринт человека, который испробовал последнюю возможность, но выход оказался заперт. Взгляд его говорил, что он все понимает, что и этот дом, и само его тело были для него самой настоящей тюрьмой.

Он узнал Эстер и вздрогнул от неожиданности.

– Ты та самая, на которой он хотел жениться? Из дома раввина?

Эстер поняла, что он не в состоянии произнести имя Мануэля.

– Да.

– Где твой раввин?

– Умер. Но не от чумы.

Бенджамин ничего не сказал на это, внимательно рассматривая лицо Эстер.

– Но у тебя рубцы.

Она смотрела на него в ответ, понимая, что нужно играть. Вид ее рубцов мог быть противен ему, а может быть, они напоминали ему свои.

Потом Бенджамин повернулся к Ривке, но, не в силах удержаться, снова посмотрел на Эстер.

– Итак, – сказал он наконец, – вы притащили сюда болезнь, чтобы покончить с тем, что осталось от семейства Га-Леви? Что, не можете дождаться, пока я сам сгнию заживо?

На мгновение его голос повысился, как будто от гнева, но тотчас же сник. В нем что-то дрогнуло – у Бенджамена Га-Леви больше не осталось веры в полезность эмоций. Его раздражение было направлено не на Эстер, а на себя самого, на собственное нетерпение погасить навсегда этот день, этот час. Он сделал знак слуге:

– Сегодня пусть переночуют.

Эстер всегда отмечала внешнюю схожесть Бенджамина и Мануэля: коренастые тела, квадратные лица, хладнокровно оценивающие мир голубые глаза. Но теперь ей показалось, что на застывшем от горя лице отца стало видно и лицо Мануэля, и оба они как бы отражали друг друга в своем понимании смерти, как некогда в своей решимости крепко держаться за жизнь.

– Утром вы должны уйти, – сказал Бенджамин, поворачиваясь спиной. – И да, не ешьте из моей посуды. И сожги простыни, на которых они спали, – добавил он, обращаясь к слуге.

Тот еще раз оглядел Эстер и Ривку и уставился в спину своему хозяину.

Га-Леви исчез в дверях. Эстер слышала, как он поднимается по лестнице.

Слуга стал перед женщинами, скрестив руки на груди. Ривка издала негромкий звук горлом. Трудно сказать, кто из них смотрел на другого с большей надменностью. Наконец слуга отступил в сторону, пропуская гостей, и позвал горничную, чтобы та накормила их. Затем они проследовали в заднюю часть дома мимо величественной деревянной лестницы и комнат, обставленных роскошной мебелью. Стараясь не отставать, Эстер и Ривка прошли через дверь и поднялись по винтовой лестнице в лабиринт узких проходов и коридоров – скрытых артерий и вен, по которым наподобие крови циркулировали слуги и работники.

Комната оказалась без окон, с единственной односпальной кроватью, на которой лежала стопка аккуратно сложенных постельных принадлежностей. Слуга показал свечу и огниво, дождался, пока Ривка зажжет огонь, после чего удалился.

Умывальный таз был пуст и изрядно запылился. Простыни оказались чистыми, хотя и в латках, постельное белье – тонким. В углу красовался железный ночной горшок. Ни очага, ни печки в комнате не было.

Так они сидели рядышком, прислушиваясь к окружавшей их обстановке. Тишину дома нарушали лишь редкие шаги, затихавшие в отдаленных коридорах. Через некоторое время – четверть часа? час? – Ривка распахнула дверь и обнаружила оставленную без предупреждения еду – тарелку с холодным мясом, черствый хлеб и небольшое ведерко с водой. Никакой посуды им не дали, поэтому есть пришлось так, руками. Попив, они плеснули в лицо остатки воды и улеглись плечом к плечу на жесткой холодной кровати, не снимая одежды. Эстер тихонько вздохнула, благодарная Ривке за тепло ее большого тела и плащ, что та накинула поверх.

Она дождалась, пока Ривка заснет покрепче и тишина в доме станет мертвой. Затем встала с кровати и зажгла свечу.

Узкий проход вел от их двери в другой проход, а потом на лестницу. Эстер стала спускаться, пугаясь тянущихся за нею теней. На первой лестничной площадке она было заколебалась, затем прошла через другой узкий коридор, снова повернула и, следуя логике расположения проходов для прислуги, очутилась перед двустворчатой дверью, которая, как она была уверена, выходила на балкон с видом на вестибюль первого этажа.

Приоткрыв створку двери, она вошла в помещение, напоминавшее пещеру. Над головой смутно ощущались высокие потолки, а величественный парадный вход внизу тонул во мраке, который не в силах была рассеять маленькая свечка. Сам дух этого дома отдавал тьмой и враждебностью.

Эстер вышла на балкон и коснулась прохладной деревянной балюстрады. Дойдя до самого ее конца, она шагнула в темноту. Шаг, еще шаг – и она оказалась в огромном, широком, как проезжая дорога, зале, слабо освещенном одиноким светильником. Двинувшись на свет,

Эстер пошла по проходу мимо резной мебели и картин в тяжелых рамах, массивность которых она скорее чувствовала, чем видела.

Перед нею оказалась деревянная дверь, настолько темная, что казалась черной.

Еще мгновение – последняя испуганная мысль о пути, которым она шла к этому моменту.

Эстер тихонько постучала. Она догадывалась, что сон хозяина некрепок, если тот вообще ложится.

Прошло несколько секунд. Раздались медленные шаги – из чулана через спальню в гостиную.

– Кто здесь? – раздался хриплый голос.

Эстер молчала.

Она чувствовала, что Га-Леви напрягает слух по ту сторону двери.

– Бартон? Какие-то неприятности?

Она постучала снова.

Дверь отворилась. Свет его свечи упал на Эстер. Бенджамин Га-Леви, увидев перед собой ее бледное лицо, вздрогнул, словно перед ним стоял ангел смерти, явившийся забрать то немногое, что осталось от него. Га-Леви шарахнулся назад, высоко подняв свечу, будто она могла его защитить.

– Por favor[66].

Бенджамин отступил дальше. Эстер показалось, что он вот-вот захлопнет дверь, но когда она потянулась в его сторону, стало ясно, что Га-Леви не в силах сдвинуться с места. Кончиками пальцев она коснулась обветренной тыльной стороны его когда-то могучей руки. Свеча дрогнула, и между ними на пол упала капля воска. Он медленно кивнул.

В камине еще тлели угли. Эстер села на стул с синей шелковой обивкой, куда указал ей хозяин. Сам он устроился напротив.

Эстер ждала, позволяя его волнению утихнуть. Несмотря на то что Бенджамин был облачен в дорогой халат, казалось, его преследует тот же волчий холод, что и в убогой комнатушке Эстер. Он потянулся к углям. Эстер взяла кочергу и опустилась на колени, подбросив еще несколько поленьев. Комната озарилась играющими огоньками. Наконец Га-Леви протянул руку за кувшином, налил себе портвейна и предложил Эстер. Они выпили. Осушив стакан, Га-Леви закурил трубку.

Только когда его почти полностью окутал дым, она решилась заговорить.

Глядя из облака густого сладковатого дыма, он слушал ее, как торговец, взвешивающий каждый нюанс. Его ухо чутко оценивало баланс прибыли и убытка, позора и призрачного шанса на утешение. Дважды он перебивал ее, задавая вопросы, и внимательно выслушивал ответы. Эстер закончила. В комнате долгое время царила тишина, прерываемая только шипением углей в камине и тяжелым сопением Га-Леви, пока тот думал.

Часть пятая

Глава двадцать седьмая

Лондон

6 апреля 2001 года

Прошло два дня, но он никому ничего не говорил. Утром он принял душ, но, едва натянув носки и трусы, снова повалился на кровать. Он словно тонул в потоке мыслей. «Что ж я за человек такой – заделал женщине ребенка, а даже рассказать об этом некому!»

Снова зазвонил телефон. Аарон не стал отвечать. Хелен уже звонила насчет даты смерти Мануэля Га-Леви, но он даже не стал изображать интерес. Прости, Хелен. Простите все…

Телефон было умолк, но через несколько секунд затрезвонил снова. Аарон проигнорировал вызов, но на третий раз не выдержал и ответил.

Разумеется, звонила Хелен. Ее голос пытался вытащить его из глубин. Хелен сказала, что нет необходимости привлекать к делу людей из краеведческого музея, и предложила встретиться на автовокзале в Ричмонде.

Аарон испустил длинный вздох.

– Может, скажете, о чем вообще идет речь?

На самом деле он не представлял себе, что в метрических записях тысяча шестьсот шестьдесят пятого года может подвигнуть его вернуться в мир фактов и следствий, где нужно сверять данные, даты и писать диссертации. Вероятно, тот крохотный комочек, что плавал сейчас в животе одной женщины, которая вовсе не любила его и, скорее всего, даже не желала видеть, и был единственным стоящим результатом всей деятельности Аарона Леви за его двадцать шесть лет.

– Это подождет, – говорила Хелен. – Так что я подберу вас в Ричмонде на автобусной станции в половине четвертого. Съездим снова к Истонам. Да, предупредите их о нашем визите. Придумайте какой угодно предлог, лишь бы нас пустили в дом. Пожалуйста.

«Пожалуйста»… Что-то не похоже на Хелен. Однако Аарон понимал, что не сможет позвонить Бриджет прямо сейчас. Только настроение себе портить. Тем более объявить о том, что он с минуты на минуту появится на пороге ее дома, – вернейший способ оказаться перед закрытой дверью. Хелен не знала, да ей и не нужно было знать, что Аарон сжег за собой этот мост. Лучше всего просто неожиданно появиться в доме Истонов… а недоезжая квартала, сказать Хелен, что у него живот прихватило. Пусть идет одна.

Аарон надел правый ботинок. Через несколько минут он вышел из дома.

Он не помнил, как стоял в очереди и покупал билет на автобус. Мимо окна проезжали машины, и от этого его слегка мутило. Любил ли он когда-нибудь Марису? Или же просто привязался к ней, потому что она казалась недосягаемой? Разве не хотел он женщину помягче, попроще?

Мариса предлагала ему возможность по-тихому уйти, оставив ее одну с ребенком. И именно поэтому Аарон ощущал необходимость остаться.

Хелен ждала его на остановке, издали напоминая регулировщицу движения у школы. Шарф она повязала узлом, а блейзер белого цвета выглядел необычно элегантно.

Аарон вынырнул из потока выходящих пассажиров:

– К чему такие церемонии?

Хелен выглядела несколько сбитой с толку таким вопросом. С ней явно творилось что-то не то – она была бледна, а черты ее лица словно разъединились и жили отдельной жизнью. Однако манеры Хелен Уотт остались прежними.

– Я только что от Джонатана Мартина, – сказала она, едва заметно улыбаясь. – Последняя аудиенция.

Аарон улыбнулся ей в ответ и сразу почувствовал, как что-то в душе его стало подниматься из глубины на поверхность, что-то правильное, хорошее, касающееся их обоих, не лживое, а достойное восхищения.

Впервые за свою жизнь он смог понять англичанина.

– Расставание с Мартином, вероятно, вышло драматичным?

Хелен посмотрела на него в упор.

– Ну, взглядом вы меня уже не испугаете.

– Вы и раньше не пугались, молодой человек, – Хелен удалось улыбнуться. – В этом и была проблема с вами.

– Благодарю.

Хелен склонила голову.

– Встреча прошла удовлетворительно. Я сказала ему, что всегда терпеть его не могла.

– Так и сказали?

К черту церемонии. К черту допуск к работе с рукописями. Они с Хелен, кажется, одновременно решили выбросить за борт всю ерунду.

– И что же, Мартин ответил взаимностью?

– Разумеется, нет. Нет, он отвесил мне оскорбительный комплимент. Сделал вид, что уважает мое достоинство, а по факту наплевал на него.

Она обратила на Аарона свирепый профессорский взгляд:

– Имейте в виду, мистер Леви, что такие комплименты нужно уметь распознавать.

– Совершенно верно, мэм.

– Он сказал мне буквально следующее: «Ничто из того, что вы говорите, не может меня оскорбить, потому что я вас очень уважаю».

По лицу Хелен скользнуло выражение удовлетворения.

– Я ответила, что питаю к нему те же самые чувства. А он поздравил меня с «выдающимися достижениями». А я его в свою очередь. А затем, – тут Хелен заговорила медленнее, – он выразил сожаление, что мне не удастся закончить исследование ричмондских документов ввиду выхода на пенсию и состояния здоровья, из-за чего, как он изволил высказаться, сильно замедлялась моя работа.

Хелен помолчала, потом пожала плечами и коротко засмеялась. Ее лицо сделалось тоньше, старше, но при этом приобрело некую легкость.

– Небось, сейчас смеется надо мной со своей любовницей за рюмочкой коньяку.

– Любовницей?

– Да, – просто ответила Хелен. – Пенелопа Бэбкок – его любовница. Вот и вы теперь знаете факультетскую тайну.

– Ну, вот ведь ублюдок! – вырвалось у Аарона.

– Перестаньте защищать меня! Вне зависимости от того, ублюдок Джонатан Мартин или нет.

– С чего это вы его защищаете?

– Я не собираюсь ни защищать его, ни осуждать. Какое бы отвращение я ни испытывала к нему, все одно мне никогда не узнать, что именно подвигло его на такой выбор. Жизнь – грязная штука. Отрицать это и считать, что единственный благородный путь – оставаться над схваткой, – так можно отравить себе всю жизнь.

Хелен закончила свою страстную тираду и внимательно уставилась на Аарона, словно требуя от него разделить ее точку зрения. Аарон не совсем понимал, что происходит, подождал немного и сказал:

– А все-таки он ублюдок.

Хелен кивнула, как бы уступая.

– Так, а теперь объясните, пожалуйста, что мы здесь делаем.

Хелен поставила свою сумку на тротуар и осторожно извлекла несколько вырванных из блокнота листков. Они были исписаны кривым и поспешным почерком.

– Что это? – удивился Аарон.

– Это то, чего нам как раз не хватало.

Хелен воздела дрожащий палец, и Аарону вдруг показалось, что обвиняющий перст устремлен ему в сердце, а не на страницу. Но Хелен и не думала никого обвинять, она улыбалась, и улыбка ее была так проста, что Аарон увидел перед собой не старуху, а юную девушку.

– Это последний документ из дома Истонов. То самое запечатанное письмо в конце полки. Я сегодня была в консервационной лаборатории и переписала текст.

Говоря, Хелен смотрела Аарону прямо в глаза, продолжая улыбаться. Как реагировать на эту улыбку, Аарон не знал.

– Прочитайте, и все станет ясно, – продолжала Хелен хриплым голосом. – Мы не ошиблись насчет этой девушки.

Аарон с заметным усилием принялся читать. Текст оказался стихотворением. Одолев вторую строфу, он поднял глаза:

– Эстер никак не могла написать подобную ерунду.

– Так она и не писала. Но будет вам – читайте все целиком. Дальше будет лучше.

26 мая 1691 года

В защиту того, кто презрел огонь

Не вор, но в этой краже признаюсь:
Один лишь раз за жизнь, что Бог мне дал,
Я из огня действительно украл
Ту, перед кем в любви сейчас клянусь,

Кому всего я посвятил себя,
Кому отдал все ночи и все дни,
С кем перед Господом едины – и одни,
Пред кем дрожу и радуюсь, любя,

Я чту святое чувство, чту Того,
Кто херувимов сонм поставил стражей
Над брачным ложем.
И свои оммажи
Я буду приносить той, кто меня воздвиг из ничего!

Я поначалу не снискал ее похвал.
Она смотрела на меня без интереса,
Но жизнь, сорвав никчемные очесы,
Мне доказала, что и так я знал:
Великолепен дух ее стремленья,
И да пребудет с ней благословенье!

В болезненной мокроте редких слов Сочится Смерть.
Она не встанет вольно,
Ее болезнь тяжела, как страх,
Одним-единственным она теперь довольна —
Страницы жизни превратятся в прах.

Мне не дано понять ее полет,
Ее дыханье глубже и честнее.
В душе моей надежда тихо тлеет
Поймать хоть тень ее.
Но нет, увы, не тот

Запал в груди моей. И я робею.

Ребенка не родив, не выполнив свой долг,
Ни дома не храня, ни красоты,
Она исполнила ей данные мечты.
Я очень дорожу ее душой.
О, если б сохранить слова я мог!
Пусть мне в лицо смеются, мол, чудак!
Без сердца, без любви, без ласки, что ж…
Но на алмазы падок лишь дурак.

Вот Смерть крадется.
Страшное грядет,
Учет души ведется кропотливо.
И все ж отчаянно, и страстно, и пытливо
Я умоляю: задержись! Болезнь пройдет…
Пощады, Боже, кровь пустите, кровь!
Но даже когда поступь Смерти у постели
Стучит костляво – пеплом облетели
Страницы с именем ее, но вновь и вновь

Она ревниво возражает… Нет!
След истинных трудов ее живет,
Ошибок след, и умственных забот,
Великих мыслей неизбывный след!

Уходит сон, и жизнь вместе с ним,
И на душе тогда лишь ей легчает,
Когда ее перо и мысль отвечают
Глаголом женщины под именем мужским.

Она скрывает даже от меня
Свою работу.
Думает – не вижу,
Смерть пригибает ее силы ниже, ниже, —
Боюсь, она не выдержит, любя

То, что дороже ей всего, всего важнее.
Не осуждайте ж, ересью травя
Ту, кто собой явила милосердье —
Жестокость превзошла своим усердьем,
Из грязи вывела меня на чистоту.

Но на устах моих теперь печать.
Убит, раздавлен, ужасом охвачен!
Утри глаза мне: горя долг оплачен
Тем, кто потери вынужден считать.

Под «Вечной лестницей» свой урожай оставь.
Держи свой дух от жизненных забот
Подальше, пусть ликует и живет
Во истине, забыв про мира явь.

В то утро, жизненный огонь отринув,
Ты отошла под взгляды херувимов[67].

На последней странице крупными буквами значилось: «Альваро Га-Леви».

– Так, значит, она… – проговорил Аарон, опуская руку.

– Она вышла за него замуж, – певуче закончила за него Хелен.

– Но я думал, он…

– Видимо, он не погиб и ему удалось вернуться в Англию. И они прожили вместе долгую жизнь.

Прохожие толкались, обходя Хелен и Аарона. Аарон перечитал неуклюжие вирши, затем подпись под ними. Ответ ждал его все это время, а он позволил перехитрить себя трехсотлетней женщине и ее мужу-гомосексуалисту…

– Я не пойму и половины из того, что он тут пишет, – даже не стремясь скрыть своего недоверия, произнес Аарон. – А то, что написано в конце, так вообще… Но для меня и того достаточно.

Судя по всему, у него было такое же дурацкое выражение на лице, как и у Хелен.

– Я рада за них, – сказала она, и ее голос, как показалось Аарону, дрогнул.

Он испытывал довольно-таки странное ощущение, как будто успех другого человека стал его собственным.

– Как вам кажется, в доме еще должны остаться бумаги, о которых он пишет?

– Наверное. Если что-то еще и осталось, то надо искать наверху. Кстати, вы созвонились с Бриджет по поводу нас?

Аарон замялся:

– Видите ли, мне нужно вам кое-что сказать… Хелен взглянула на него и вздохнула:

– Нет, не нужно. Я же не слепая. Хотя ваш выбор немного странен. Сама с ней поговорю.

– Да, разумеется, – согласился Аарон. – Думаю, это будет лучше всего. Может, мне вообще там не появляться?

– Что вы такое говорите! – фыркнула Хелен. – Еще чего! Это и ваше открытие, Аарон Леви.

Новые газоны были аккуратно подстрижены, дорожки посыпаны гравием. На воротах красовалась табличка «Проспект-Хаус» – так Истоны назвали свое жилище. Аарон не заметил таблички в прошлый раз, но и так было ясно, что дела у хозяев дома идут хорошо. Аарон даже замедлил шаги, разглядывая вымытые окна и очищенную от вековой грязи каменную кладку.

Входная дверь была открыта. В вестибюле за небольшим столиком сидела хорошенькая, но чересчур худая девушка, а в глубине помещения между яркими полотнами неспешно передвигалось несколько посетителей.

– Они скоро будут, – объясняла девушка Хелен, когда вошел Аарон.

– Но когда именно? – настаивала Хелен, опираясь на трость.

Бровь девушки изогнулась – чувство долга и природная вежливость явно боролись в ней, причиняя едва ли не физическую боль.

– У вас назначена встреча? – спросила девушка.

– Нет. Просто мы работали вместе.

– Я вас поняла, – отозвалась девушка, переводя взгляд с Хелен на Аарона, а затем на трость Хелен. – Может, хотите осмотреть галерею, пока ждете? Я принесу для вас стул, если пожелаете.

– О, спасибо, мы лучше снаружи подождем.

Аарон вывел Хелен из вестибюля, с трудом подавляя желание начать поиски, не дожидаясь Истонов.

На улице под подстриженным деревом они нашли низкую каменную скамью. Хелен оперлась на завибрировавшую трость и села. Аарон опустился следом.

Они стали смотреть на дорогу, где стояла одна-единственная машина. Спустя несколько минут мимо проехала еще одна, и улица снова погрузилась в тишину.

– Что? – вдруг спросила Хелен.

– Что «что»? – не понял Аарон.

– Что случилось? – Хелен обвела рукой его сгорбленную фигуру.

Неподалеку от них по лужайке медленно вышагивал голубь. Он дошел до края газона и резко рванулся ввысь.

– А, – сказал Аарон. – Нет у меня больше девушки. А вот проблема осталась.

Он крепко потер макушку, как будто от этого что-то могло решиться.

– Или, быть может, проблемы нет. Все зависит от того, что вы думаете о детях.

Он надул щеки и выдохнул:

– О будущих детях.

– Где? – спросила Хелен.

Аарон усмехнулся, глядя в сторону паба напротив:

– Где они обычно растут.

Хелен молча ждала.

– В Израиле.

Она издала звук, словно внутри нее что-то лопнуло.

Некоторое время они оба глядели на опустевший газон.

– Вам нужно ехать туда. Отсюда разобраться с этим делом не получится.

– Она не хочет, чтобы я приезжал.

– А вы сами хотите?

– Не знаю. То есть, может быть, и знаю, но дело в том, что мы ни разу не провели вместе целого дня. И, честно говоря, я не уверен, что ребенку захочется, – коротко усмехнулся Аарон, – всего этого.

И он повторил рукой жест Хелен, обведя себя с ног до головы.

Из дверей паба показался хозяин, щелкнув табличкой «открыто».

– Не… – Хелен закусила губу и продолжала так: – Не поворачивайтесь спиной к тому, что вас пугает.

За окнами паба зажглась длинная полоса тусклых желтых огней. Стекла изнутри вдруг помутнели, словно ненадолго распахнулась кухонная дверь.

– Не думаю, что я достаточно силен, чтобы справиться, – сказал Аарон.

Пелена на стеклах медленно исчезала.

Хелен тоже обратила взгляд в сторону паба:

– А вы думаете, как люди становятся сильными?

Подъехала небольшая серебристая машина. Сначала из нее появился Иэн Истон – светлые волосы, веселое лицо, легкие морщинки; затем Бриджет. Ни дать ни взять картинка из журнала. Иэн заметил Хелен, когда та уже шла по дорожке к нему. Его удивление быстро сменилось выражением почтительной серьезности, отчего он стал похожим на великовозрастного школьника, пытающегося доказать, что он достоин проходного балла. Бриджет при виде Хелен напряглась, инстинктивно повернулась, ища глазами Аарона, и скользнула по нему взглядом, словно он был частью каменной скамейки.

Дверца машины хлопнула, и Бриджет подошла к Иэну, который, наклонившись, выслушивал просьбу Хелен. Нерешительно к ним приблизился и Аарон.

– Конечно, – сказал Иэн. – Но мне нужно ехать по делам, так что на ваши вопросы, если что, ответит Бриджет. Мне и самому не терпится узнать, что вы найдете.

Он протянул паузу и продолжил извиняющимся тоном:

– Галерея сейчас открыта для посетителей. Я уверен, что вы уважаете атмосферу этого места так что, если потребуется что-то переставить, то придется некоторое время подождать.

– Естественно, – сказала Хелен.

Иэн благодарно кивнул и приглашающе взмахнул рукой в сторону двери.

Бриджет быстрым шагом прошла мимо Аарона. Она что-то сказала девушке за столиком у входа, и та немедленно исчезла в дверном проеме. Иэн снова сделал приглашающий жест и двинулся следом.

В холле две женщины медленно двигались вдоль стен. Взглянув на ближайший холст – абстракцию в красных тонах, Хелен издала неодобрительный звук и повлекла Аарона вверх по лестнице.

Идти по ступенькам со скоростью Хелен было неудобно, поэтому Аарон немного отстранился и задержался у одного из образчиков современного искусства, делая вид, что рассматривает его.

Из левой комнаты до него донеслись голоса.

– Все, что им надо, – посмотреть неотремонтированные комнаты. Ну и, возможно, пару других, – говорил Иэн.

– Да, и еще – испортить мне день, и…

– Я не собираюсь сейчас обсуждать этот вопрос, – повысил голос Иэн. – У меня через четверть часа встреча.

Наступил короткая пауза, будто собственные слова стали для Иэна неожиданностью.

– Короче, тебе вполне по силам оказать помощь моему бывшему преподавателю.

Бриджет что-то возмущенно проговорила и внезапно вышла из комнаты, оказавшись прямо перед Аароном. Он состроил невинную гримасу, однако было ясно, что он все слышал. На мгновение Бриджет задержалась перед ним, словно решая, какую роль он должен исполнить в текущей драме. На лице ее промелькнуло выражение безысходности. Затем она обошла Аарона и скрылась за дверью в дальнем конце коридора.

Хелен тем временем была уже на верхней галерее. Аарон последовал за ней, ступая по невысоким ступеням. У него было чувство, будто он вступает в разреженную атмосферу, и сердце его бешено колотилось. Вдоль лестницы выстроилась стража из резных ангелов, и Аарон, проходя, провел рукой по их лицам.

Воздух наверху был прохладен до резкости. Слева от себя Аарон увидел пожилого мужчину, рассматривавшего картину с изображением

большого наклоненного яблока, и седовласую даму перед коричневым пейзажем. Аарон двинулся вправо и вскоре настиг Хелен.

– Это были ее комнаты, – прошептала она, указывая на запертую дверь. – Другие помещения еще больше, и скорее там жил сам хозяин.

– Постойте, вы что, были наверху?

На лице Хелен мелькнула веселая искорка, но она ничего не ответила, пожав плечами. Открыв дверь, они прошли в комнату. Посетители, как заметил Аарон, выглядели нимало не встревоженными, словно он и Хелен были работниками галереи.

Помещение было сплошь уставлено коробками. Пробираясь между картонками через большую светлую комнату, Хелен то и дело постукивала тростью. Наконец они прошли вторую дверь, что вела в спальню, и, миновав ее, дошли до чулана.

Это было небольшое, обшитое деревянными панелями помещение с единственным окном в дальней стене. Аарон подошел ближе. Переплетенные стебли плюща почти полностью закрывали вид, но все же сквозь них над соседними крышами было видно неспешное серое мерцание Темзы.

– Помогите-ка мне, – попросила Хелен.

Она положила трость, с необыкновенной медлительностью уперлась в коробку и стала толкать.

Аарон едва успел поймать Хелен, когда та потеряла равновесие. Ее вес оказался меньше, чем можно было ожидать, как будто под накладными плечами блейзера отсутствовало тело. Ус а див ее на один из ящиков у окна, Аарон легко отодвинул от стены несколько коробок. Хелен безмолвно помахала ему рукой.

В самом нижнем ряду панелей он обнаружил маленькую замочную скважину.

Тяжелое дыхание Хелен раздалось у него из-за уха.

– Откройте, – прохрипела она.

Аарон огляделся в поисках подходящего предмета, но, не найдя ничего, вынул свой армейский нож.

– Деревяшка может треснуть, – сказал он. – Не лучше ли спросить разрешения у Бриджет?

– Шутить изволите? – буркнула Хелен. – Ничего, потом извинимся перед нею. Вернее, перед Иэном.

Аарон осторожно пошевелил узким лезвием в отверстии, но это ни к чему не привело. Значит, придется применить силу… Он чувствовал на себе взгляд Хелен. Нож вращался в скважине, и оттуда выпадала труха и стружки. Вдруг раздался громкий треск, потом еще, потом показалась трещина; от панели отскочили две щепки, одна из которых впилась в запястье Аарона. Но он уже нащупал лезвием скрытый механизм, и вскоре защелка поддалась.

Сдвинуть панель удалось не сразу: паз, в котором она скользила, забился или перекосился. Но вот отверстие сделалось достаточно широким, чтобы в него можно было просунуть руку. Аарон стал водить пальцами вслепую. Скользя ладонью по сухому деревянному полу, он добрался до задней стенки. Повернувшись боком, чтобы ощупать дальние углы, Аарон осторожно провел там рукою – и ничего. Пусто.

Быть может, за столь долгое время этот тайник уже успели обнаружить? Но тогда должна была бы остаться запись об обнаружении бумаг. Впрочем, если их нашли владельцы дома конца семнадцатого века, то вряд ли: если документы за триста лет еще могут приобрести какую-никакую ценность, то бумаги десятилетней давности – просто макулатура.

Аарон снова пошарил рукой, дотянувшись до задней стенки. На этот раз его пальцы нащупали край какого-то предмета. Вытянув руку до предела, Аарон определил нечто прямоугольное, тонкое и более эластичное, чем дерево. Кожа? Он потянул верхний край, особо не надеясь на успех – не тот рыцарь, чтобы вытащить меч из камня! Однако предмет оказался в руке.

Находкой оказалась тонкая книжка в твердом кожаном переплете, сухая, потемневшая и местами покрытая мелкими трещинками. Аарон прислонился к коробке, осторожно держа перед собой книгу и трясясь всем телом, словно только что одолел марафонскую дистанцию.

Хелен стояла у него за плечом. Аарон выпрямился и устроился на коробке, почти касаясь Хелен плечом. Он положил книгу на колени и открыл. Внутри – сорок или больше листов дорогой бумаги. Почерк разный, равно как и языки. Английский, латынь, лист на французском, другой – на голландском. Аарон стал аккуратно листать – страницы местами, там, где тексты соприкасались, были испятнаны; один лист вообще приобрел бурый оттенок, но бумага осталась неповрежденной.

Хелен дрожащими пальцами взялась за страницу с латинским текстом. Перевернув лист, она приложила к носу очки. Аарон накрыл ее руку своей, чтобы унять тремор. Хелен вздрогнула от неожиданного прикосновения и кивнула. Так они держали страницу, Хелен читала, но в следующее мгновение Аарон услышал ее испуганный вздох. Он уже было собирался поинтересоваться, что случилось, как слух его уловил посторонний шум, превратившийся в стук каблуков. Дверь отворилась, и на пороге возникла Бриджет.

Единым взглядом она окинула армейский нож на полу, расколотую панель и зияющее пространство в стене. Стремительно проскользнув среди коробок, она схватила книгу и вырвала листок из пальцев Хелен.

– Осторожнее, не порвите! – воскликнул Аарон.

Но Бриджет, не обратив на него ни малейшего внимания, сунула страницу обратно в фолиант и обратилась к Хелен:

– Что это вы тут, черт побери, делаете?

– Я понимаю ваше беспокойство, – ответила Хелен.

Она говорила ровным тоном преподавателя, успокаивающего нервного студента, но Аарон чувствовал, как дрожит ее колено.

– Мы подозревали, что в вашем доме могут быть еще документы семнадцатого века, – продолжала она. – Их нужно было найти и установить, что это действительно семнадцатый век, а не календарь пятидесятилетней давности.

– А это? – указала на стену Бриджет. – Да вы понимаете, что это причинение ущерба имуществу? Это ж подсудное дело!

Аарон не мог не восхищаться спокойствием своей напарницы.

– Наш визит к вам, – тем же ровным голосом объясняла Хелен, – носит чисто научный характер. И если мы от излишнего рвения несколько вышли за рамки, то позвольте мне принести извинения. Кстати, могу вас заверить, что мистер Леви действует здесь только в соответствии с моими указаниями, поэтому вся ответственность за наши действия лежит на мне.

С этими словами Хелен посмотрела прямо в глаза Бриджет, так что тень от оконной рамы разделила ее лицо на несколько частей, и вытянула руки перед собой.

– Как видите, мне требуется помощь.

Бриджет стояла, словно загипнотизированная. Аарон перевел взгляд с трясущихся рук Хелен на ее лицо, не рискуя поручиться за ее дальнейшие слова или действия.

Бриджет моргнула.

– Убирайтесь отсюда! – сказала она.

Хелен медленно встала. Аарон хотел было помочь ей. Но удержался, поняв, что она хочет, чтобы Бриджет заметила ее слабость.

– Прошу прощения за беспокойство, – сказала Хелен. – Я заплачу за ремонт вашей панели. И… – небрежно добавила она, – приобрету ваш фолиант.

– Нет уж, благодарю, – отозвалась Бриджет. – «Сотбис» и так неплохо платит.

– Это так. Только, как вы теперь знаете по горькому опыту, это подразумевает дополнительные формальности и проволочки. Так что на этот раз, возможно, не придется привлекать к делу «Сотбис» или университет. Зачем испытывать ваше терпение?

– Да уж за десять тысяч фунтов я потерплю.

Аарон понимал, что ему лучше всего молчать, но все-таки не удержался:

– Десять тысяч за несколько страничек? Та коллекция состояла из ста семидесяти трех отдельных документов! А здесь от силы сорок.

– Я заплачу вам десять тысяч, – сказала Хелен, не слушая его.

Бриджет громко рассмеялась:

– Вы хотите сказать, мне заплатит ваш университет? Но на этот раз цена будет вдвое выше. Мне не очень-то понравилось, как ваш Джонатан Мартин обращался с нами в прошлый раз. Хитрая сволочь!

Налегая всем своим весом на трость, Хелен подняла голову:

– Что ж, хорошо. Пусть цена будет вдвое выше. Я сама заплачу вам.

До этого момента Аарон думал, что Хелен блефует.

– Вы готовы выложить двадцать тысяч за несколько бумажек? – поразилась Бриджет, взвешивая на ладони книжку. – Это что, рукопись Шекспира?

– Вряд ли, – холодно ответила Хелен. – Но эти документы входят в область моей компетенции. Дело в том, что я выхожу на пенсию. Детей и других наследников у меня нет, так что я могу делать все что угодно со своими кровными. Я собираюсь кое-что написать об этих

документах. Видите ли, мои коллеги относились к моей работе с несколько меньшим уважением, чем заслуживают мои способности, и мне хотелось бы исправить эту несправедливость. Учитывая ваш собственный опыт общения с Джонатаном, вы, надеюсь, понимаете мое желание уйти, хлопнув дверью?

Бриджет хмыкнула, но Аарон заметил, что она колеблется.

– Тогда я иду выписывать чек, – сказала Хелен, направляясь к двери.

– Что, прямо так сразу?

Бриджет стояла в единственном свободном проходе, преграждая путь Хелен. Та медленно двинулась вперед, опираясь на трость, пока не приблизилась к хозяйке дома вплотную.

– Да, – сказала Хелен. – Я не молодею. А вы?

Бриджет вздрогнула.

– Там внизу есть отделение «Барклайс», – сухо сказала она, отступив в сторону.

Какое-то время Бриджет не осознавала, что осталась одна с Аароном. Он понимал, что ему не миновать гнева за то, что он стал свидетелем ее срыва, и сказал:

– Извините…

Бриджет бросила на него свирепый взгляд:

– Да пожалуйста!

Хелен двигалась гораздо быстрее, чем думал Аарон. Он позвал ее по имени, но нагнать смог только в первой комнате, ухватив за костлявый локоть. Она повернулась и сказала:

– Сейчас не время, Аарон Леви.

– Стойте! – воскликнул Аарон. – Погодите! Это же огромные деньги!

– Это удачная сделка.

– В смысле?

Хелен покачала головой:

– Останьтесь с Бриджет. Отвлеките ее, чтобы она не звонила по телефону. И постарайтесь, чтобы она не совала нос в бумаги.

– Но если они такие ценные, то почему вы думаете, что университет их не купит?

Хелен попыталась освободиться, но Аарон еще крепче сжал пальцы, держа ее за предплечье. Он чувствовал, как его охватывает беспричинная паника. Неспособность контролировать то, что его волнует, уже стала частью натуры Аарона.

– Откуда у вас такие деньги? – спросил он Хелен.

– Это мои пенсионные накопления, – сказала она, глядя на Аарона как на дурачка.

– Не думаю, что это разумный выбор, – возразил он. – Жить-то вы на что потом будете?

– Я, признаться, тронута вашей заботой, – откликнулась Хелен, удерживаясь, чтобы не рассмеяться. – Но вам известно, чья подпись стоит на том письме?

Аарон отрицательно мотнул головой.

Хелен глубоко вздохнула и негромко произнесла:

– Спинозы.

От неожиданности Аарон ослабил хватку:

– Святые угодники!

– Спиноза может не согласиться с вами насчет святости. Но все-таки Эстер Веласкес добилась от него ответа. – На ее лице мелькнула тень сомнения. Она высвободила руку. – Останьтесь с Бриджет.

Аарон смотрел, как фигура Хелен исчезает за поворотом лестницы.

Напротив, через галерею, висело полотно с изображенной на нем башней, подозрительно похожей на фаллос, торчащий из комков сахарной ваты. Перед картиной стояла молодая пара, одобрительно кивая. «Вот прямо тянет их на всякое, – подумал Аарон. – Да тут сам дом набит такими сокровищами, не чета всей этой мазне».

Когда-то он верил в простой и логичный мир, в котором все, что достойно внимания, по праву им пользуется. Теперь же он видел, как часто самые важные вещи остаются незамеченными.

Бриджет он нашел в спальне. Увидев Аарона, она захлопнула книгу и заметила:

– Тут вообще ни черта не разберешь, даже если текст на английском.

– Этот стиль называется «секретарская рука»[68], – пояснил Аарон.

– Да плевать, как это называется! Но, черт побери, что здесь такого ценного для нее?

Намеренная вульгарность ее выражений свидетельствовала, что маски окончательно сброшены. Бриджет, как видел Аарон, приближалась к критической отметке, к апогею некоего внутреннего конфликта, который не имел отношения ни к нему, ни к Хелен, ни даже к этому дому, но происходил в личном мире ее самой: отдельной вселенной, слегка касающейся его, но обладающей силой уничтожить все, над чем он трудился последние месяцы.

И все, что осталось у Хелен.

Кто на самом деле имел право на эти бумаги в руках Бриджет? Конечно, не он. Но Аарон хотел заполучить их для Хелен, потому что знал, как они важны для нее.

– Кто такой, мать его, Томас Фэрроу? – презрительно спросила Бриджет.

Как много она успела прочитать? Аарон начал осторожно, стараясь говорить правду, но не всю:

– Фэрроу был безработным актером. Писал письма философам. Как правило, дурацкие.

– И это стоит двадцать тысяч фунтов?

– Я понятия не имею, сколько они на самом деле стоят. Понять можно будет только после оценки. Но это привлечет постороннее внимание. И, – откровенно добавил он, – я не думаю, что предложение профессора Уотт останется в силе, если вы обратитесь к оценщику.

– А что, неужели в банке нет сотрудника, – ухмыльнулась Бриджет, – в чью задачу входит не дать старой грымзе одним махом обнулить свой счет только потому, что какой-то шарлатан пообещал воскресить ее дохлого пекинеса… ну или ей просто хочется отомстить своим бывшим коллегам?

Аарон прекрасно понимал, что не следует реагировать на насмешки, и улыбнулся:

– Банк не имеет права запретить Хелен снять со счета ее деньги. Она иногда выглядит довольно устрашающе, если вы не заметили. Мне кажется, что вам крупно повезло с этими двадцатью тысячами. Вряд ли кто-то или что-то – кроме закона о наследстве – помешают ей приобрести эти бумаги. А судебные тяжбы по наследственным делам могут тянуться годами.

– Думаешь, ее сильно волнует, что случится в следующем году? Вид у нее, прямо скажем, не очень.

– Ничего подобного, – возразил Аарон чуть громче обычного.

– Ты бы позвонил этому вашему Джонатану Мартину. Он оценит, что ты помог ему увести бумаги из-под носа у Хелен. А если они заплатят двадцать… одну тысячу… или что-то около того, я готова и подождать несколько дней.

Она провела рукой по книге, которую теперь держала на уровне талии. Аарон с болью подумал о Марисе. По глупости он до сих пор представлял ее такой, какой помнил. А теперь увидел ее такой, какой она должна выглядеть сейчас: тугой выпуклый живот, морщинки от смеха и напряжения в уголках проницательных серо-зеленых глаз, сильная спина, изогнувшаяся под тяжестью, босые ноги, поднятые на подушку в конце дня… Он представил ее воплощением уверенности, и его собственное тело казалось каким-то жалким по сравнению с ней. И возблагодарил судьбу, что Мариса не видит его сейчас, запутавшегося, сбитого с толку, в доме, даже стены которого более одухотворены, чем он.

Пока Аарон размышлял, Бриджет тихонько рассмеялась. Он поднял голову и с удивлением обнаружил, что она смотрит на него с откровенно кокетливым выражением.

– А может, – сказала она, – я делаю все неправильно? Может, нам с тобой стоит оценить эти бумаги?

Ветер переменился, и Аарон никак не мог понять почему. Бриджет легонько подбросила книжку на ладони, как бы поддразнивая Аарона.

Что за игру она затеяла?

– Разве мы с тобой обязаны подчиняться Хелен?

У Аарона пересохло во рту, но отступить он не имел права.

– Осторожнее, – спокойно сказал он.

– С чего бы? – застенчиво спросила Бриджет, однако перестав играться с фолиантом. – Что, боишься, что я испорчу бумаги Хелен Уотт?

Последние два слова она произнесла раздельно. По слогам – и каждый слог был всплеском ярости. Аарон понимал, что Бриджет интересовалась не им. Ее что-то задело в личности Хелен, и она не собиралась оставлять это дело просто так. А флирт был просто способом достичь цели.

Открыв книгу, Бриджет сделала вид, что выбирает, а затем вынула одну страничку и подала Аарону. Тот небрежно протянул руку,

натянуто улыбаясь.

Письмо было адресовано Томасу Фэрроу и подписано Исааком Воссиусом. Этот Воссиус, если Аарон не ошибался, был известен в Европе своей необычайно богатой библиотекой. Воссиус отвечал на вопрос, касавшийся нескольких текстов. Письмо было написано на латыни крючковатым почерком, и Аарон с трудом мог разобрать заголовки. Это, конечно, была находка, но все же не на уровне Спинозы. Впрочем, такой документ может свидетельствовать о дальнейшем развитии интересов Эстер.

– Так что, она права? – спросила Бриджет. – Это действительно редкое открытие?

Она склонилась над плечом Аарона так, что ее волосы щекотали ему шею. Аарон пожал плечами:

– Ну, это письмо от владельца одной из крупных библиотек относительно некоторых книг.

– Весьма интересно, – сухо ответила Бриджет.

Она вынула еще один листок и показала Аарону:

– Держу пари, не устоишь перед искушением посмотреть и это.

– А может, оставим исследовательскую работу Хелен? – рассмеялся Аарон.

– Э-э, не морочь мне голову! Ты сам знаешь, что хочешь. В смысле, эти бумаги, – добавила она, наклонив голову.

Аарон чувствовал себя совершенно по-дурацки, но отступить не мог.

– А ты был неплох, знаешь, – сказала Бриджет.

– А ты – еще лучше.

На ее лице промелькнула улыбка, на мгновение показавшаяся искренней. Теперь Аарон ненавидел себя. Каким бы человеком ни была эта женщина, он поступал с ней гадко, отвечая на ее заигрывания лишь для того, чтобы выиграть время.

Бриджет протянула ему бумагу, слегка придержав ее пальцами перед тем, как отдать:

– А ты уверен, что думаешь обо мне только как о владелице этих бумажек?

Аарон ничего не ответил, внимательно изучая латинский текст. Там в самом низу стоял резкий с нажимом росчерк человека, чьи убеждения вели его к славе и смерти: «Бенедикт де Спиноза».

То, что сделал Аарон в следующий момент, он сделал для Хелен. Коли он уж больше не жаловал себя, так почему не приберечь сокровище для нее? Аарон с трудом поднял отяжелевшую голову, взглянул на Бриджет и заставил себя пожать плечами. Потом небрежно отдал ей лист.

– Пусть Хелен тратит на это все свои пенсионные деньги. Мне лично уже все равно. Она достаточно попортила мне крови, – добавил он, вложив в свой голос всю раздражительность, на которую был способен.

Бриджет взяла листок, но вместо него, словно задумавшись, посмотрела куда-то в сторону верхнего балкона.

– Ты собираешься бросить Иэна? – вдруг спросил Аарон, сам удивившись вопросу.

– А тебе-то что? – обернулась Бриджет.

– Да ничего, – просто ответил Аарон.

Он думал объяснить ей, что хочет, чтобы они были искренни друг с другом, но не сумел сформулировать.

– Я вроде как помолвлен. Просто интересно.

Бриджет метнула на него взгляд:

– С чего бы это?

– Хотя бы потому, что ты затащила меня в постель.

Она рассмеялась, но ничего не сказала.

– Значит, ты часто так поступаешь?

– Нет, конечно. Мне нравится кокетничать, но обычно я не захожу так далеко.

Сначала Аарон не поверил ей, но мгновение спустя решил, что это правда.

– Тогда извини.

– Ты шел в порядке исключения, – заявила Бриджет.

В голосе ее звучала ярость, однако не на Аарона, а на нечто в ней самой.

– Зачем? – спросил он.

– Простое любопытство.

– Чепуха!

– А тебе не кажется, что, когда незнакомый человек заявляется в мой дом, чтобы узнать историю, до которой нет никому дела, – это может заинтриговать?

– Нет, не кажется.

– Что ж… Да, ты прав. В тебе нет ничего особенного.

Аарон машинально скользнул взглядом по нескольким прислоненным к стене картинам. Большинство из них были собственными творениям Бриджет. Полотна покрывала пупырчатая пленка, отчего изображения на них как бы распадались на части. Взгляд его задержался на смутно различимых формах: намеки, что-то воскрешающие в памяти, возможность какой-то неуловимой мудрости, которую не увидишь при обычном дневном свете.

– Знаешь, – сказал он тихо, – мне давно уже говорят об этом разозленные женщины. И я наконец понял, что так и есть.

Подняв взгляд, он увидел на лице Бриджет замешательство, как будто она рассчитывала услышать насмешку.

– Беда в том, что ты очень уж сосредоточен на истории.

С этими словами Бриджет толкнула коробку и добавила:

– Ты влюблен в нее.

Это прозвучало как обвинение.

– И что с того? Я имею в виду… вот ты влюблена в искусство.

– Нет. Мне нравится искусство.

Бриджет поставила ногу на деревянный ящик и налегла на него. Ящик, скрежеща, проехал по полу, что, видимо, понравилось ей.

– В свое время брала уроки рисования. Потом ходила на историю искусства. И еще – у меня есть вкус. В основном это означает, что я знаю, что будет продаваться, а что нет. И деньги у меня есть, так ведь? Но все это рано или поздно приедается, и понимаешь, что оно не стоит больших страстей.

Бриджет пыталась говорить иронично, но ее голос звучал хрипло.

– Ты можешь гордиться собой. Моя сумасшедшая тетка, несомненно, одобрила бы ваш с Хелен Уотт подход к истории.

Аарон следил, как Бриджет убрала ногу с ящика и поставила на него другую, но задумалась.

– Мы с Иэном не любим ничего столь страстно. Ну, или, по крайней мере, я. Возможно, Иэн страстно любит меня.

Она поморщилась и добавила:

– По крайней мере, раньше любил.

На этот раз ящик проехался по полу дальше и громче. Бриджет повернулась к Аарону:

– Если меня считают бездушным человеком, то почему бы мне не сыграть эту роль? Продам бумаги самому подлому коллекционеру, которого смогу найти, и он скроет эти документы от историков. А я воспользуюсь такой неожиданной удачей и исполню свои заветные желания!

– Это какие еще?

– Например, – воскликнула Бриджет, резко рассмеявшись, – новая, мать ее, кухня! Кухню хотел Иэн, но я считала, что весь бюджет нужно использовать для ремонта галереи. Ну и, как обычно, он согласился.

Из-за дверей доносился шаркающий звук шагов посетителей.

– Я скоро стану отцом, – сказал Аарон.

Бриджет хохотнула. Какое-то время она задумчиво смотрела на Аарона.

– Бедный ребенок.

Аарон согласно кивнул.

Бриджет снова хохотнула.

Ему вдруг стало ясно, что он не хочет власти над Бриджет Истон. Ни над ней, ни над кем-либо еще. Он уже не доверял себе.

«Простите», – мысленно извинился он перед Хелен, доверие которой не оправдал.

– Бриджет, эти письма не такие, как остальные…

– Конечно, не такие, – отрезала она. – Ты же знаешь, я не дура. А из тебя актер, как из… Если ей так приспичило, значит, в них кое-что есть.

– Кое-что, – заметил Аарон, – это слабо сказано. Я должен сообщить тебе… На одном из них стоит подпись Спинозы.

Брови Бриджет приподнялись, как будто эти слова ничуть не впечатлили ее.

– Ну, – сказала она, рассматривая свои ногти, – двадцати тысяч будет достаточно для кухни Иэна.

– Вот этот вот фолиант, что ты держишь в руке, – продолжил Аарон, – может стоить гораздо дороже.

– Никогда не обсуждайте денежные вопросы с англичанами! – вздернула подбородок Бриджет. – Это вульгарно.

Аарон покачал головой. Потом еще раз.

Бриджет наслаждалась его смятением. Она теперь смотрела на него сверху вниз, но Аарон не стал обращать внимания.

– Я могу что-нибудь для тебя сделать? – спросил он через секунду.

– Кроме того, чтобы убраться к черту из моего дома?

– Именно.

Он ждал ее последнего удара. Но Бриджет стояла, погруженная в размышления.

Они вышли из задней комнаты. Изящная лестница была залита светом заката, лившимся из окон сверкающими ромбами. Обувь пожилой пары покрывало золото, золото лежало у них на плечах и на волосах, смягчая впечатление от экстравагантных полотен.

Наверняка здесь были светильники, но Бриджет даже не пошевелилась, чтобы включить их. Они с Аароном стояли на лестничной площадке, современное искусство бледнело в сумерках, и они смотрели, как возвращается Хелен, сжимая в одной руке трость, а в другой – дрожащий конверт, приближаясь к ним под внимательными взглядами херувимов.

Дверь паба «У Просперо» распахнулась, и в нос Аарону ударил запах эля, пирога и олифы. Именно в этот момент пошел дождь, и стремительный град капель, словно рука на спинах, ввел их внутрь. Паб выглядел уютным и сухим, стол, за который они присели, был освещен теплым светом лампы и совершенно гол, словно специально подготовленный для их работы. Хелен, старательно вытерев пылинки, стала доставать бумагу за бумагой и бережно складывать на столешницу. Аарону казалось, что он в каком-то сне, более реальном, чем явь, в котором звуки странно усиливались, а каждый предмет подсвечивался. Стулья скрипели, но прочно держались, а янтарного цвета пинта, что держал в руке посетитель у стойки, выглядела словно чаша, предназначенная для проведения некоего обряда, всю красоту которого Аарон осознал лишь только что. Он чувствовал, что этот момент, когда Хелен дрожащими руками выкладывала перед ним документы, был предопределен еще до его рождения, равно как и само это идеальное место ждало их здесь, приютившись напротив галереи Истонов.

Морщинистый бармен, безмятежно протиравший стаканы белым полотенцем, с беспристрастными полуприкрытыми глазами, был все претерпевшим древним Тиресием; это был сам Просперо, сломавший свой посох и отказавшийся от своих волшебных сил, чтобы

примириться с восхитительным миром. И если бы только Аарон мог понять, как человек может существовать с таким выбором, чем этот выбор может обернуться для него, он тоже мог бы заслужить место в том благословенном круге, который так быстро и волшебно возник пред ними.

Разложив первую дюжину писем на столешнице под мягким светом лампы, Хелен откинулась назад, и Аарон увидел то, что она поняла с самого начала. Этот фолиант содержал истинные богатства, драгоценности Эстер. Другие документы, те, что Альваро Га-Леви спрятал под лестницей, были всего лишь обломками, длинным и тяжелым отчетом о пути к чернильно-бумажным сокровищам. Он и Хелен поначалу приняли их за сокровище, но Эстер придержала лучшее напоследок.

Он читал стоя, начав с самого дальнего документа, проходя по каждому ряду. Почерк Эстер давался ему легко, письма же, написанные ее корреспондентами, требовали больших усилий; но все-таки они выдали ему свои секреты. Аарон последовательно прочел письма от имени Томаса Фэрроу полудюжине адресатов, на каждое из которых следовал ответ, а затем ответ уже от Фэрроу, который иногда кратко соглашался с аргументами, а иногда опровергал их, уточнял или ставил под вопрос.

> Но как вы думаете примирить столь противоположные взгляды? Ваш читатель остается в неведении.

Иногда корреспондент Фэрроу присылал в ответ свое опровержение или уточнение, после чего стороны обменивались письмами, и дискуссия закрывалась. Ван ден Энден. Адриан Корбаг. Томас Браун… Некоторые из имен были незнакомы Аарону, но в каждом случае точность и беспощадность ответов Фэрроу – иногда всего в трех-четырех репликах – поражали воображение. Он понимал, почему собеседники Эстер часто использовали колкости в защиту своих аргументов: она без малейшей пощады преследовала небрежный образ мысли и отсекала ложные заключения. Однако попадались и те, кто свидетельствовал в своих посланиях о том, что в Фэрроу видят редкого друга и единомышленника. Вот ван ден Энден:

> Ваши рассуждения, которые вы так искусно строите на моем определении благочестия, вынудили меня упрекнуть самого себя и укрепили мою решимость на пройденном только наполовину пути, а именно на идее полного включения женщины в гражданское общество идеального государства. Вероятно, вам известно, что я сам дал образование своим дочерям, хотя сие в наши дни не приветствуется. Ваше предложение о теоретическом рассмотрении женщины во главе демократического органа является естественным развитием моих собственных мыслей относительно всеобщего образования… эта идея появилась бы в свое время, однако благодаря вашим вопросам оформилась уже сейчас, за что я вам безмерно благодарен.

А вот некий Джонатан Пирс:

> Мне прискорбно осознавать, что, как вы указываете в последнем письме, обстоятельства не позволяют вам путешествовать. Однако смею предположить, мой уважаемый друг, что ученому время от времени полезно оставлять иные заботы и искать для себя общество единомышленников. Утешение, которое это приносит, весьма благотворно влияет на состояние тела и ума. Если ваше здоровье улучшится настолько, что позволит вам не искать уединения, я обещаю, что общение еще больше ускорит процесс выздоровления. Дружба – уже само по себе лекарство, и в особенности для таких, как мы, которые из-за своеобразных путей нашего мышления, как правило, обречены на одиночество. Вас рады будут видеть здесь, в Лондоне, в Королевском обществе, где я с удовольствием представлю вас многим, чей образ мыслей укрепляет ум и дух.

Затем по указанию Хелен Аарон аккуратно собрал первый комплект документов и разложил второй. В нем письма шли уже на имя Бертрама Кларка. В семидесятых-восьмидесятых годах Эстер превратилась в Уильяма Харрингтона, потом в Оуэна Ричардса, а

с восемьдесят восьмого по девяносто первый – в Джеймса Годдарда. Но почерк и ясные суждения всегда указывали, что это была Эстер.

> Высшим принципом является жизнь, и посему сей принцип должен служить основой нравственности.

Аарон переходил от одного письма к другому. Три письма Пьеру Бейлю:

> Но можете ли вы быть искренним в возвышении веры, если вы сами провозглашаете ее несовместимой с разумом? Или же вашей целью является возможность оставить след, по которому будут двигаться последующие мыслители?

Письмо Джону Уилсону, оставшееся, судя по всему, без ответа:

> …По этим причинам я утверждаю, что логика требует от вас пересмотреть нападки на «Философию толкователя Священного Писания».

И, к великому удивлению Аарона, два письма Томасу Гоббсу с его ответами:

> Если не существует бестелесных субстанций, то этот факт должен разрушить описываемый вами мир. Обязанность философа состоит в том, чтобы обнаружить истинные свойства мира, и поэтому я ставлю вам следующие вопросы…

Последний комплект, что выложила на стол Хелен, содержал переписку Томаса Фэрроу и Спинозы. Просматривая письма, Аарон понял, что Фэрроу потребовалось две попытки, чтобы заставить философа ответить ему, и еще три, чтобы получить первый содержательный ответ. Их переписка длилась годами, она то затихала, то вновь возобновлялась, вероятно, вследствие англо-голландской и франко-голландской войн. Но, несмотря на все трудности, которые нужно было преодолеть на пути из Лондона в Ворбург, ни один из корреспондентов не останавливался, словно сложность жизни не

терпела никаких отговорок, тем более препятствующих обмену мыслями и суждениями. В своем шестом письме Фэрроу упорно требовал разрешить разногласия:

> И все же вы презираете все чувственное, хотя и настаиваете на любви к Богу. Вы утверждаете, что человек должен достичь состояния невозмутимости и спокойствия. Однако истинная система мышления не должна исключать страсть, наоборот – надлежит учитывать ее так же, как математик объясняет каждую составляющую своего уравнения. Вы рассуждаете так, словно человеческое желание есть ошибка или слепота, а не является существенным элементом Божественной природы, то есть силой ищущей и всегда находящейся в движении. Без этого в вашей вселенной недостает живительного огня, и как бы я ни восхищался красотой ваших построений, они меня не убеждают.

Ответ Спинозы на письмо последовал едкий. В письмах других философов не содержалось особых деликатностей, но здесь…

> …Я с интересом прочел ваше послание, – *начал Спиноза*. – Но ваш аргумент просто глупость. В своих рассуждениях вы смешиваете желание и страсть, как будто это одно и то же. Но страсть по своей сути пассивна, а желание есть осознание существом conatus – стремления ради собственного существования. Что же касается страстей, то они представляют собой болото, в котором увязает философский ум. Если вы не хотите морали, берущей свое начало в низости, она должна подчиняться разуму; если вам не нужна вселенная, наполненная свирепыми деревьями или похотливыми облаками, а вы не называете себя язычником, то должны признать, что страсть не может быть сущностью мироздания.
>
> Что же до желания, то оно не является сущностью вселенной, ибо связано с сознанием конечного существа.

Фэрроу не остался в долгу.

Я не говорю о чувственных отношениях с деревьями или облаками или о иных детских сказках. Я скорее имею в виду импульс, который стоит за всей жизнью. Оставим разговор о страсти, ибо я принимаю ваш аргумент. Но здесь я хочу повести разговор о желании. Во вселенной нет ничего инертного или беспристрастного. Нет, я не хочу сказать, что скалы обладают сознанием, а земля, под которую проваливается город, есть ненасытное божество или еще какое существо, порожденное суеверием. Нет, я лишь хочу говорить об импульсе, что действует через них, и его я именую Богом.

Мы оба знаем, что действие человека не может навлечь на него Божий гнев или, наоборот, доставить Богу удовольствие. Однако я утверждаю, что, хотя Бог и не может быть подвержен страстям, Он сам есть страсть. Субстанция во всем своем бесконечном разнообразии есть скорее проявление этой страсти, чем ее противоположность. Правильная мораль направляет желание к тому, что не противоречит желаниям и потребностям других.

Спиноза ответил еще острее:

То, о чем вы говорите, и есть conatus, который имеется в моих рассуждениях. И тем не менее ваши доводы неразумны, и я не склонен распространять их на те сферы, о которых вы упоминаете.

Аарон читал, и ему казалось, что он стоит на пронизывающем ветру: две силы боролись друг с другом из-за логических построений, которые он едва понимал. Он взглянул в письмо Эстер:

И все же я утверждаю, что, хотя Бог и не может быть привязан к желанию, Он есть буря, есть сумма всех желаний. И субстанция в своем бесконечном разнообразии есть проявление этой бури, а не наоборот.

Нам обоим известно, что действия человека не могут навлечь на себя Божий гнев или доставить Ему удовольствие. Правильная мораль направляет желание к тому, что не

нарушает чужих желаний и потребностей. И когда я говорю о желании, я имею в виду не конечное, а бесконечное, или, как выражаются богословы, святое. Я не говорю здесь о мимолетных побуждениях чувств, но о более глубоком стремлении, желании не только тела, но и духа. Я имею в виду свою любовь и вашу. Импульс, который побуждает нас играть с опасностью и писать друг другу. И мы поступаем так не потому, что мы сознательно взыскуем собственного благополучия, ибо нами движет не только conatus. Мы делаем это, потому что мы – существа желания.

В своем письме вы утверждаете, что во время работы над учебником еврейской грамматики установили, что еврейские слова обладают силой и свойствами существительных. Возможно, вам не будет удивительно, если я сообщу вам, что сам в некоторой степени владею ивритом. И мне кажется, что языком управляет глагол, а не существительное.

В этом, быть может, и заключается разница в нашем мышлении.

Отделять субстанцию от импульса, разумную жизнь от наших желаний суть ошибка, которая меня весьма удручает, хотя в свое время меня часто к ней принуждали. И, поскольку ваши рассуждения весьма емкие и чистые из всех, что попадались мне, мне бы не хотелось допускать, чтобы такой досадный момент пятнал бы их.

Здесь, в середине абзаца, Томас Фэрроу перешел с латыни на португальский язык.

Думаю, несмотря на имеющиеся у нас разногласия, в основном наши мысли сходятся. Я полагаю, что импульс жизни имеет исключительную ценность, поскольку Природа едина с Богом. Следовательно, любое требование, противостоящее импульсу жизни, главное из которых – мученичество, ошибочны.

Амстердамские раввины времен вашей юности принимали Бога очищающего. Но даже если я лишусь

собственного имени и права на существование, я не забуду ничего, что узнал от тех, кто принес себя в жертву на алтарь Истины, и тем сильнее я буду стремиться к Богу, которого я знаю: великому существу в ореоле благости.

Я пришел к пониманию, что все, что вы излагаете, и, быть может, все, во что верю я, не есть атеизм. Но нужного слова для определения сего явления у меня пока нет.

Ответ Спинозы (последний листок из собрания) был адресован «Достопочтенному и настойчивому мистеру Фэрроу».

Аарон, словно зачарованный, читал… вернее, слушал, как они сражаются, требуют разъяснений и теперь наконец погружаются в исполненное усталости молчание.

Последние строки над подписью Спинозы, к изумлению Аарона, оказались тоже на португальском:

И, хотя я не согласен с вами и не буду согласен в дальнейшем, я рассмотрю ваш аргумент, расширив свои формулировки, за что я вам признателен. Добавлю, что ваши слова о понятии доброты занимают меня последнее время. Я нахожу в них много полезного и рекомендую поработать еще над данной темой, к каковой мы еще вернемся в будущем.

Способность избавиться от собственного существования, мистер Фэрроу, и в самом деле есть форма свободы, и это может дать утешение, например тем, кто много пережил. Вы совершенно правы в том, что амстердамские раввины принимали Бога очищающего. Это утверждение будет верным даже в отношении раввина Га-Коэна Мендеса, которого мы оба почитаем и чьи мучения в руках инквизиции остались одним из многих пятен на человечестве. После столь долгих лет, проведенных в его доме, я только недавно узнал о его кончине в Лондоне. И вы, кажется, были одним из немногих, кто имел возможность беседовать с ним в тот период времени.

Насколько мне известно, в Амстердаме было несколько пожаров с человеческими жертвами. Утешает мысль, что выжившим удалось найти себе безопасное убежище.

Закончив свой «Богословско-политический трактат», я по своей прихоти приступил к трактату об оптике радуги. Работа пока не дается мне… Быть может, нам, которые много и долго борются во тьме, простительны сомнения, когда мы видим столь дивную и безграничную вещь, как свободнорожденный свет.

Бенедикт де Спиноза

Аарон закончил читать и словно бы вернулся в паб. Скрип барного стула, грубая поверхность столешницы под его ладонью. Каждая деталь отчетливо запечатлелась в его сознании, словно он никогда за свою жизнь не видел и не слышал ничего подобного. Каждый отблеск, блик от стекла за барной стойкой бил в его глаза, словно ореол славы. Он понял, отчего Хелен стояла с закрытыми глазами, как будто в раздумье или в молитве. Листая одну исписанную страницу за другой, что реставрировали для них обе Патриции, они видели, как Эстер Веласкес изнывала от голода у них на глазах. Но на разложенных на деревянной столешнице бумагах ее голодный и одинокий дух смог наконец насытиться. Особенно чувствовалось это в последнем письме Эстер к Спинозе, написанном густыми чернилами по-португальски:

Мы хорошо понимаем друг друга, и теперь я доволен.

Слова выводились медленно, перо оставило на бумаге необычно широкие линии, словно каждое движение руки автора что-то приостанавливало… и все, что осталось в конце, – глубокое, как сон, удовлетворение.

Конечно, глупо было делать такое предположение, но Аарону показалось, что за словами знаменитого философа слышен чуть различимый вздох утешения. Спиноза, который пытался с одним плакатом в руках противостоять толпе, уже разорвавшей на части человека; Спиноза, убежденный в человеческом варварстве, но все еще настаивающий на священности хладнокровных умственных рассуждений, несмотря на свое изгнание и подорванное здоровье… Аарон никак не мог избавиться от ощущения, что этот человек на нескольких страницах логических диспутов обрел кого-то вроде друга.

Больше они не переписывались.

Стоя в мягких лучах барных ламп, Аарон проговорил:

– Он догадался.

Хелен молча кивнула.

Только что прочитанные письма были актом близости. И Аарон, в своей трусости неспособный дать даже элементарный ответ по электронной почте Марисе, понимал, что недостоин быть свидетелем такого открытия. На его глаза навернулись слезы благодарности. Но не Эстер, не Спиноза вызвали их, а профессор Хелен Уотт. Ее дрожащие руки, что покоились на столешнице, показались Аарону великолепнейшими изваяниями, предметами почти неземной красоты. Он понимал, что никогда не сможет сказать, что любит ее, как любит маяк терпящий бедствие корабль, понимая, что маяк ничем не поможет ему.

Они посмотрели друг на друга и устало улыбнулись. Хелен взяла фолиант. И тут Аарон увидел, что в книжке осталось еще несколько непрочитанных страничек.

– А это что такое? – удивился он.

Хелен глянула на него, словно прося прощения. Она произнесла что-то неразборчивое, откашлялась и повторила:

– Пепел.

– В смысле?

– В смысле, галловые чернила.

Хелен отстранилась, прижав фолиант к груди.

– Бумаги сильно повреждены. Прежде чем работать с ними, их надо отправить в консервационную лабораторию.

– Хорошо.

Аарон прищурился, но света в помещении вдруг оказалось недостаточно, чтобы определить, отчего на лице Хелен появилось настороженное выражение. «Она же весь день была как не своя, – напомнил он себе. – Совсем больная».

– Хотите, я отнесу их сам? Может, они согласятся восстановить, пусть даже университет их и не купил?

Хелен молчала.

– Вы выглядите… – замялся Аарон, – совершенно измочаленной.

Хелен улыбнулась ему едва заметной печальной улыбкой:

– Я позабочусь об этом. Вам тоже не помешало бы отдохнуть.

Не только гордость, как понимал Аарон, заставила Хелен отказаться от помощи. Ему никогда не удавалось одурачить ее, и теперь никакая бравада не могла бы скрыть, насколько он чувствовал себя потерянным. И Хелен, конечно же, видела, в каком он состоянии и что он слишком слаб, чтобы самому восстановить целостность тех бумаг. И тут, будто слова Хелен имели силу заклинания, он ощутил, как сильно устал, как тяжело голова давит на плечи.

Он не стал говорить Хелен «спасибо», не сказал, что она была права с самого начала. Он просто встал и передал бумаги. Бармен отворил перед ними дверь, Аарон довел Хелен до освещенной фонарями улицы, где они и расстались.

Глава двадцать восьмая

Ричмонд, Суррей

12 августа 1667 года

22 ава 5427 года

Звук за окном. Резкий тихий стук.

Затем опять.

Приподняв голов у, она заметила, что свеча больше не нужна – солнце уже начинало припекать, и дневной свет залил стекла и забелил половину письменного стола. И хотя некогда подобная расточительность была немыслимой, Эстер не стала сразу задувать свечу, позволив себе полюбоваться колеблющимся, бледным в солнечном свете пламенем. Расплавленный воск пощипывал ее кожу, когда Эстер положила руку на прохладную ручку окна.

Стук прекратился, потом возобновился снова. Какая-то речная птичка, одна из многих, от чьих криков она просыпалась в залитой солнцем спальне, лежа на мягкой подушке. В этом доме с окнами, выходящими на излучину Темзы, Эстер жила уже почти два года, но так и не выучила названий птиц. «Лучше спросить мужа», – подумала она и рассмеялась. Да, он-то знает.

Дождь, что начался вчера, прошел, туман с холмов рассеялся, и зелень, окружавшая дом, сделалась еще ярче. Даже сейчас, думала она, времена года способны зачаровывать ее. Лондон отнюдь не давал представления о сельской местности Англии, и в этом Джон оказался совершенно прав.

Эстер нажала на рычаг, и окно распахнулось. От хлынувшей яркости дня из головы вылетели все мысли. Такую голубизну неба Эстер еще совсем недавно считала невозможной. Глаза наполнились слезами.

Вот уж совсем глупо плакать в небо!

Да, и как не похоже оно было на то, что видела Эстер в день своей свадьбы! То гда над головами реяла туманная дымка пожара, но Бенджамин Га-Леви ни за что не желал откладывать церемонию, несмотря на уверения магистрата в том, что дым является дурным знаком для будущей пары. Но Га-Леви заметил, что и так слишком долго ждал – потребовались месяцы, чтобы его письмо достигло одного из портов Нового Света, месяцы, чтобы получить ответ капитана судна, на котором находился Альваро, потребовались определенные суммы, чтобы юношу освободили наконец от морской каторги. Каждая задержка, проволочка вызывали в старике молчаливую досаду, и Эстер опасалась, что он вообще передумает. Но когда океан наконец вернул Га-Леви то, что он давным-давно бросил в него, Бенджамин настоял на том, чтобы свадьба состоялась на следующий же день по прибытии Альваро. И все необходимые приготовления были сделаны, несмотря на ужасный дым, на мрачные лица лодочников и их пассажиров-беженцев – людей, которые пережили чуму только лишь для того, чтобы увидеть, как судьба сокрушает их невиданным доселе пожаром. Говорили, что купол собора Святого Петра расплавился и по улицам течет свинец.

И тем не менее в Ричмонде старик руководил подготовкой к свадьбе, и с таким рвением, что подчинил своей воле всех. Он потребовал, чтобы невеста была непременно в шелковом платье, и все утро следил за швеей, которая занималась его подгонкой, как будто каждый укол иглы, каждый стежок на ткани должны были после такой долгой и несправедливой задержки собрать воедино то, что разорвалось.

Они встретились впервые лицом к лицу в большом атриуме дома под хупой, сделанной из молитвенной накидки Бенджамина Га-Леви. Свадебный балдахин поддерживали сам Га-Леви, его камердинер и еще двое слуг с конюшни. Был приглашен и судья, который большую часть церемонии беспокойно поглядывал в окно, разглядывая клубящийся над Лондоном дым. Церемония проходила на иврите. Бенджамину Га-Леви удалось раскопать какого-то древнего, старше его самого, ученого еврея-итальянца, причем поиски велись в страшной спешке, ибо известие о возвращении Альваро запоздало. Письмо с датой пришло всего за несколько часов до появления сына, совсем не похожего на прежнего себя: гибкого молодого мужчины с

непокорными темными кудрями, обветренным лицом, со шрамом на подбородке, загорелым лбом и печальными морщинками в уголках глаз.

Над унылым горизонтом стояло зарево. Дым доходил и сюда, он клубился среди замшелых деревьев и проникал сквозь закрытые окна, отчего в доме стоял запах пожара. Каждая щель, каждое окно, открытое хоть на секунду, впускали в помещения летящие хлопья пепла, так что белое платье Эстер к тому моменту, когда она семь раз обошла вокруг Альваро Га-Леви и стала рядом с ним под хупу, сделалось совершенно серым. Ее прическа тоже вся покрылась пеплом, но смешно ей стало не от этого: на голове у Альваро выросла целая шапка, отчего его лицо приобрело странную серьезность. Глядя на его пепельно-серые кудри, нетрудно было вообразить его эдаким престарелым хозяином поместья с верной женой рядом. Вот уж анекдот! Эстер чувствовала, что внутри нее раздувается какой-то пузырь, сначала в груди, а потом и в горле. Сначала она боролась, стараясь подавить смех. Альваро посмотрел на нее из-под балдахина с неуместной виноватой торжественностью и, неожиданно для себя, прыснул. Их едва сдерживаемый смех дважды прерывал чтение старого еврея, причем Бенджамин Га-Леви закрыл глаза, словно от боли, и не открывал их, пока церемония не закончилась.

Наконец старый еврей-итальянец закрыл молитвенник и неодобрительно кашлянул в спертом воздухе. Судья еще раз посмотрел в окно, нетерпеливо обмакнул перо в чернильницу и велел Бенджамину Га-Леви сообщить ему имена новобрачных. Стоявшая до этого в тени Ривка, смотревшая на все действо, словно перед ней выступал бродячий цирк, вдруг вздрогнула. Быстрым жестом она указала Эстер на ее новоиспеченного тестя. Та, взглянув на сияющего от смеха поседевшего Альваро, придала своему лицу подобающее выражение и шагнула к Бенджамину Га-Леви. Поколебавшись долю мгновения, она быстро сухими губами поцеловала его в иссохшую щеку, отчего тот опешил, но тут же благодарно посмотрел на невестку.

Тут же Эстер заглянула в реестр, куда судья должен был вписать их имена, и вместо Альваро увидела другое имя: Мануэль Га-Леви.

Бенджамин поймал ее взгляд и посмотрел ей в глаза, ища признаки бунта, но безуспешно. Эстер увидела, что его внутренний огонь погас со смертью старшего сына и что он и сам уже угасает.

– Так должно было быть, – едва слышно прошептал он, и Эстер стало почти жаль старика.

Повернувшись так, чтобы Альваро не увидел страницу с именем брата, она шагнула к нему. Он снова нерешительно улыбнулся. Проведенные в море годы избавили его от обычной неуклюжести, но мальчишеский робкий взгляд и детский румянец на бритых щеках остались. Рядом с ним Эстер чувствовала себя древней старухой.

Должно быть, эта мысль отразилась у нее на лице, так как Альваро вопросительно наклонил голову.

– Ты не жалеешь о нашем соглашении? – спросил он.

Эстер отрицательно мотнула головой.

– Это он? – прошептал Альваро, показывая на отца.

Тень пережитых страданий исказила его лицо. Альваро даже не пытался это скрыть. Но Эстер видела, что в нем появилось нечто новое, приобретенное за годы изгнания, сложившееся из любопытства и страха перед новой жизнью, выкованное штормовыми ночами, что являли мужественную пустоту моря.

– Однако, – заметил Альваро, – мне кажется, что нам удастся найти с ним общий язык. Если что, я помогу тебе. Но, – немного помолчав, добавил он, – тебя беспокоит другое, это видно.

Что она могла ответить человеку, который говорил то, что видел, не притворяясь, что мир не такой, какой он есть? Эстер не могла понять, глуп ли Альваро или мудр; презирает ли она его за простодушие или восхищается им; остался ли он прежним мальчишкой или превратился в иного человека, которого она еще не встречала. Однако Эстер решила для себя, что будет так же правдива с ним, как и он с ней.

– Да, ты, – сказала Эстер.

Увидев ее суровое задумчивое лицо, Альваро рассмеялся. Они вместе, муж и жена, повернулись к Бенджамину Га-Леви. Тот слегка пожал плечами и отправился к столу, уже накрытому. Но это была лишь тень, подобие свадебного пира. Вилки и ложки звенели в огромной пустой столовой; судья принужденно ковырялся в своей тарелке, и лишь еврей-итальянец ел за троих, поглощая неимоверное количество еды и питья. Сам Бенджамин Га-Леви посреди трапезы отложил вилку и внимательно посмотрел на Эстер, как будто на мгновение пожалел о заключенной им сделке: пока он жив, о нем

будут заботиться его сын и невестка. Эстер обещала ему, что дом Га-Леви не перейдет по наследству, а его имя не будет покрыто позором. И старик умрет в окружении своих родных, а не только лишь в кругу слуг.

Так и вышло. В ту зиму жизнь вытекла из старика, словно вода из треснувшего сосуда, неуклонно просачиваясь без всякой торжественности. Эстер знала, что Бенджамин хотел смерти, но та пришла за ним слишком быстро, и теперь с лица старика не сходило выражение страха. Как-то раз она увидела его стоящим на повороте лестницы, как будто что-то таившееся в осенних красках за окном не давало ему спуститься к обеду. Тогда Эстер заметила: «Смерть все медлит и медлит, а когда мы пытаемся вымолить у нее хотя бы час, мчится стрелою». Бенджамин повернул к ней искаженное злобой лицо, но тут же смягчился и кивнул.

Последние недели Эстер читала старику, уже прикованному к постели, единственную книгу, которую он был готов слушать: «Утешение в бедах Израиля» Уске. «Choradas que auemos ja estas chagas… tempo he que busquemos o remedio e consolo pera todas ellos pois somos aquí vinos a ese fim o qual…»[69] Сама она так и не смогла простить Бенджамена, но помнила, как Ривка выходила ее и что значит уход для больного. Она переворачивала его иссохшее тело, когда он не мог повернуться сам, смачивала ему губы, когда он не мог напиться. И ровным голосом читала ему то, во что сама не верила. В тот день Эстер вошла в спальню и увидела старика уставившимся неподвижным взглядом на иней, покрывший стекла широкого окна. По желобкам морщин на его щеках текли слезы. Эстер позвала мужа.

Альваро, сердце которого было податливо не хуже глины, немедленно простил отца, разразившись потоком слов, и умирающему ничего не оставалось, как только отмахнуться дрожащей пергаментной рукой, что и отталкивала, и манила, отталкивала и манила к себе.

Альваро стоял у постели, пока рука, ослабев, не замерла.

Дом погрузился в траурную тишину. В этой тишине Альваро отошел от смертного одра отца и, не удосужившись вытереть слезы перед прислугой, звеня каблуками по полированному полу, прошел через спальню, комнаты и залу большого дома, хозяином которого теперь стал.

Стук. Ослепительная синева неба. Слезы на щеках.

Птица. Она плакала, слушая птицу. Птица и небо соединились в ее груди в некую пернатую мягкость, отчего она могла бы без усилия оттолкнуться ногами и подняться вверх, превращаясь во что-то новое. Не Ривка ли говорила ей об этом сегодня утром? Стоя в дверях с прижатой к обширной талии кипой выглаженного белья, та заявила:

– Ты еще не такая старая, чтобы торчать в темной каморке!

Эстер раздраженно указала ей на толстую книгу, на которой изо всех сил старалась сосредоточиться, но Ривка не унималась:

– Лондон остался в прошлом! Ты выторговала себе иную жизнь. Почему не живешь?

– А ты-то сама почему не живешь? – вспыхнула Эстер.

Она не хотела говорить резко, но от вопроса Ривки ее сердце подпрыгнуло, руки крепко схватили книгу, словно от этого зависела ее жизнь.

Ривка приняла горделивую позу, с которой она последнее время негромко, но настойчиво разговаривала с остальной прислугой, и сказала:

– Я живу.

– Вот и я живу, – возразила Эстер, испытывая неловкость из-за своей резкости.

Ривка и в самом деле ожила за последнее время. Сильная и стремительная, она, цокая языком, обходила свои владения. Ибо перенесенные ею страдания воздались ей сторицей: она сделалась домоправительницей. Между тем Эстер даже по прошествии двух лет пребывания в доме Га-Леви ощущала какую-то неловкость, будто занесла ногу, но не знала, куда ее поставить.

Отодвинув от себя книгу, Эстер открыла ящик и достала письмо, которое начала писать раньше. Кому послать его, она еще не решила. Возможно, она просто напишет только для себя. Или, возможно, напишет нечто столь крамольное, что придется сжечь.

Эстер перечитала то, что успела написать утром.

> Вселенная сформирована желанием жить. Это – ее единственная нравственность.

Она считала это утверждение истинным, но все-таки что-то беспокоило ее.

Она желала Джона, и это было правдой. Она сделала ставку на его любовь. Но когда чума отступила и стало ясно, что Джон забыл о ней, она не стала преследовать его. Возможно, если бы она умерила гордость, отбросила все представления о свободе сердца и напомнила Джону о его долге перед ней, у нее был бы шанс пробудить в нем жалость, добиться его снисходительной любви… И что потом?

Если бы Джон попросил ее о чем-нибудь словом или молчанием, если бы потребовал, чтобы она оставила свои занятия, погасила бы свои знания ради ухода за домом и детьми, то она уже не смогла бы ответить ему отказом, даже если ценой этому был ее дух. Она так и не научилась соизмерять любовь: много отдавать и много в чем отказывать. Это было ясно еще в Лондоне, когда она бросила вызов своему телу: будь со мной в любви!

Какой смелой она тогда была! И не сожалела о случившемся.

Ей казалось, что она – существо одновременно и тела, и разума – не сможет жить нигде в известном ей мире. Этот принцип был настолько всеобщим, что казался законом природы: одна часть женского естества должна доминировать над другой. Такой женщине, как она, всегда придется делать выбор между желаниями: верностью самой себе или верностью жизням, которых она могла бы рожать и выхаживать.

Несколько месяцев назад она все же написала Джону. Альваро, ничего не зная о том, что может значить для Эстер имя Джон Тильман, рассказал ей историю об уважаемом судье, который женился и поселился в Ковентри и к которому теперь буквально стекались просители, зная, что он куда более милосерден, чем его отец, тоже судья.

В своем письме Эстер была лаконична – выразила надежду, что Джон в добром здравии, и пожелала ему всяческого благополучия.

> Эстер, – *гласил его ответ*. – Весьма рад, что вы здоровы, поскольку ваше благополучие в этом мире для меня драгоценно. Я теперь судья в Ковентри. Отец мой дряхлеет, и я перенимаю его бремя, как и надлежит. Моя супруга Изабель – особа весьма достойная и очень терпеливо

относится к тяготам моей профессии. Бог благословил нас ребенком. Это девочка, и ее зовут Джудит.

За годы, проведенные в Лондоне, я погрузился в пропасть настолько глубоко, насколько это возможно человеку, прежде чем он вспомнит об обязанности оставаться собой. Я вовсе не смельчак, Эстер, разве что в желаниях.

Я не забываю своих ошибок, не забываю и вашу смелость, которая до сих пор является для меня эталоном, позволяющим мне судить о многом, и не в последнюю очередь о себе самом.

Эстер перечитала письмо несколько раз, пока не выучила его наизусть, и только потом отложила.

Как же все-таки страшна любовь! Но она все равно не отвергала ее.

Теперь же Эстер снова перечитала уже написанное ею. Да, вселенной, безусловно, двигало стремление к жизни. Оставался вопрос: чье?

Возможно, принуждение женщины к выбору само по себе противоречит природе, пришло в голову Эстер.

Она взяла перо и принялась писать:

И все же самопожертвование везде рассматривается как высшее призвание, и тем более для женщины, которая вынуждена отдавать себя другим без остатка. Доброта всегда приписывалась женщине, и в обратном случае такая женщина считалась «неестественной».

Но как тогда назвать доброту, которая, принося пользу другим, наносит вред, пусть даже и одному человеку? Действительно ли уместно называть добротой отделение себя от собственных желаний? И разве императив защищать всю жизнь не должен охватывать – для женщины – и ее собственную?

В таком случае следует отказаться от нашего привычного представления о женской доброте и попытаться создать новое…

От окна повеяло легким ветерком, пламя свечи сжалось в крошечный шарик и исчезло. Вверх потянулась тонкая прямая полоска дыма. Эстер неотрывно смотрела, как та колеблется, ломается и наконец рассеивается. Она так увлеклась, что, услышав скрип половицы, вскрикнула.

В дверях полутемной комнаты стоял Альваро и смеялся.

– Ну обругай же меня за то, что явился вытащить тебя из узилища!

Она ничего ему не ответила и лишь чопорно скрестила руки над ровными строчками своего письма. Старая привычка – всегда прикрывать текст, что перед ней.

– Сегодня, – тихо пропел Альваро.

– Ты рехнулся, – отозвалась Эстер, уже вполне веря своим словам.

– Пожалуйста, – взмолился он.

Однако, зная, что так легко ее не одолеть, Альваро шагнул дальше в комнату:

– А скажи-ка, каких новых невидимых гостей мы сейчас приглашаем под эту крышу? Томас Фэрроу больше не занимается философией, ибо наконец-то вы позволили бедному человеку умереть достойной смертью. И кто же теперь займет его место? Кто из ваших невидимых прислужников в этом году будет рассылать письма от семейства Га-Леви?

Эстер не могла удержать легкой улыбки:

– Бертрам Кларк.

В небрежно заправленной в бриджи рубахе с расстегнутым воротом Альваро приближался к ее письменному столу, и его лицо становилось все более веселым. Эстер инстинктивно надвинула книгу на исписанную страницу, а рукой прикрыла пузырек с чернилами.

– Не сделать ли его сэром Бертрамом? – прошептал Альваро, усаживаясь на край стола. – Тогда шансов на быстрый ответ будет больше.

Эстер шевельнулась, словно собираясь его прогнать, но глаза Альваро смотрели совершенно невинно.

– Возможно, – тоже шепотом ответила она. – Если заслужит.

Альваро расхохотался. При этом его взгляд – рефлекторно – поднялся к окну. Эстер, разумеется, знала, кого он там ищет, так как была знакома с приходом и уходом посетителя мужа, как и он с

философами-призраками (Альваро называл их «духами воздусей»), под именами которых она писала.

Начать говорить правду было очень больно. Когда она впервые призналась Альваро, ее челюсти сжимались так, что едва можно было говорить. Ложь стала для нее чем-то вроде одежды, без которой она бы замерзла.

И все же Эстер решила, что новая ее жизнь должна родиться без лжи. Раз Ривка знала правду – значит, и Альваро должен знать. Ее нравственная нагота была наименьшим даром ему.

Его реакция – ошеломленный восторг – поразила Эстер. Это же все объясняет! – так искренне воскликнул Альваро, что она отпустила пальцы, сжимавшие подлокотник кресла, и набрала в грудь воздуху… это был, наверное, первый свободный ее вдох за многие годы. Альваро так удивил Эстер своим восхищением ее сбивчивым рассказом о переписке, что она совсем растерялась – ведь он должен был презирать ее за то, что она так гнусно предала старого раввина.

Тем не менее она довела свою историю до конца, но Альваро, хотя на словах и согласился с нею, отнюдь не осудил и не стал предлагать ей бросить писать. Судя по всему, ему это даже не приходило в голову.

Ей потребовались месяцы после свадьбы, чтобы понять, что именно так очаровало ее в Альваро. Она не боялась его. Чувство это показалось ей столь непривычным, что какое-то время она размышляла, не может ли это отсутствие страха быть любовью. Способна ли она на новую любовь? И все же что-то маленькое, но настойчивое пробивалось в ней, как росток. Однажды, в первую весну их брака, в лихорадочном нетерпении она коснулась его рукава, и они оказались в его комнате. Это был их единственный эксперимент: путаница в шнурках и пуговицах, поспешное раздевание, как будто оба боялись потерять самообладание; эта волна выбросила их на кровать и оставила там… а потом смех: сначала прихватило его, потом затрясло ее, и наконец от их смеха тряслась уже кровать, на которой они лежали. Из-за двери раздался встревоженный голос слуги и сделался угрюмым, когда хозяин отказался открыть ему дверь. Это и была их любовь: ее обнаженная грудь тряслась от смеха, пока слезы не потекли по вискам, а потом – она лежала, держа его руку у себя на животе, – и в уши; биение их сердец, тихие шаги прислуги за дверью – все превратилось в солнечное размытое пятно. И на какое-то мгновение,

когда она нелепо лежала рядом с мужем и в ее глазах сверкали бриллиантами слезы, ей показалось, что именно так видит и слышит младенец в утробе своей матери.

Именно Альваро организовал издание «Семи аргументов против лжемессии». Он сам отправился в Лондон и отнес рукопись в типографию. Эстер потратила несколько недель на то, чтобы переработать письма раввина к ученику во Флоренцию и создать из них единый текст. Там, где доводы раввина ей виделись слабыми, Эстер слегка усилила их, попутно вставляя разъяснения, так что, когда страницы были сшиты и отправлены с Альваро в типографию, ей казалось, что ничье другое обличение Шабтая Цви и саббатианской ереси не было столь кардинальным. Недавние вести об аресте Шабтая Цви и его обращении в ислам пока что не разубедили его последователей, и Эстер была уверена, что слова ее учителя все еще нужны людям. Раввин, возможно, был бы доволен, если бы закрыл глаза на редактора.

Она колебалась по поводу посвящения, но здесь Альваро проявил твердость. «Посвяти это моему отцу», – сказал он не допускающим возражений тоном. И Эстер написала на титульном листе заголовок, сопроводив его словами, что продиктовал ей Альваро: «Бенджамин Га-Леви, человек с сердцем, преисполненным любовью к своему народу». Эстер считала эти слова оскорблением. Однако Альваро взял рукопись и кивнул:

– Эта книга – твое искупление перед тем, кому ты нанесла тяжкую рану.

Он скользнул взглядом мимо Эстер и добавил:

– А посвящение – мое.

Ей захотелось сказать, что сравнивать ее искупление и его просто смешно, равно как доброту раввина Га-Коэна Мендеса и жестокосердие Бенджамина Га-Леви. Разве не Га-Леви послал своего сына на смерть? Ведь все были уверены, что розовощекий застенчивый Альваро погибнет в первую же неделю плавания, не выдержав тягот морской жизни.

Эстер же нанесла оскорбление праведнику, и проступок ее был куда более серьезен. Ее мучила совесть за то, что она обманула учителя, но страшнее было другое. Она, Эстер Веласкес,

воспользовалась его учением и доверием – ведь именно раввин научил ее владеть своим разумом – и использовала их для доказательства того, что не может быть Бога, вознаграждающего за мученичество. От этого было не уйти, и Эстер знала, что раввин понимал все, еще когда предостерегал ее от опасного пути, выбранного другим учеником, который разбил ему сердце. Ибо, доказав свой постулат, она доказала, что мать Моше Га-Коэна Мендеса напрасно отдала себя на растерзание.

И этого Эстер никогда бы не простила себе.

Однако она видела, что Альваро не понимает ничего этого и лишь был намерен отдать должное своему якобы благородному отцу, так как чувство вины все еще тяготило его. Поэтому Эстер позволила ему отправиться в Лондон и сдать в типографию страницы с лживой надписью, чтобы снять с его души хотя бы часть груза.

Больше они не возвращались к этой теме.

О смерти Томаса Фэрроу от падения с лошади она узнала лишь через полгода после случившегося. Не зная, что он мертв. Эстер успела написать несколько писем за его подписью, но после у нее уже не поднималась рука, разве что для ответов на уже начатую корреспонденцию. Такая брезгливость удивила ее саму, ведь она считала себя совершенно бессердечной.

Лондон лежал в руинах. Синагога, впрочем, уцелела, оказавшись в той части города, что не пострадала от огня. Остался цел и дом да Коста Мендес, куда вернулся отец Мэри со своей беременной женой. Ривка описала ее как молоденькую и недурную собой даму, искренне оплакивающую несчастную Мэри. Кроме того, она отдала Ривке все книги, которые пощадили грабители.

Остальная часть города, знакомая Эстер, – узкая Милк-стрит, улицы Грейсчерч и Темз, рыбный рынок, переплетные мастерские и лотки книготорговцев, крытые соломой лачуги, спускавшиеся к мосту, – превратилась в пепел.

Итак, Эстер похоронила в душе Томаса Фэрроу и долгое время сидела за письменным столом в размышлениях. Наконец она окунула перо в чернильницу, и на свет появился Бертрам Кларк.

За последние месяцы Бертрам Кларк направил несколько писем Йоханнесу Кербаху. Теперь на очереди было письмо некоему Мэтью

Коллинзу, чье эссе о теологии и общественном устройстве взволновало Эстер. А после того, как почтенный Бертрам Кларк проживет свою полезную жизнь, придется начать еще одну. Таким образом создалась небольшая философская школа, участники которой лишь временно селились в Ричмонде. Их взгляды сходились вокруг одних и тех же концепций, их идеи выплывали из окна рабочего кабинета Эстер, подобно семенам одуванчика, разлетаясь бог весть куда.

Альваро, конечно, хотел, чтобы она прервала свое затворничество. Однажды он повел Эстер в одну лондонскую кофейню, известную тем, что там собирались философы. Несколько часов она вертела в руках остывшую чашку с горькой жидкостью, прислушиваясь к умным мыслям, изрекаемым одними, и к глупостям других. Но больше всего ей досаждали женщины, разговоры которых сводились к женским заботам и которые, казалось, были больше озабочены своими нарядами и красивыми позами. И тем не менее Эстер несколько раз поднималась со своего места, оставив Альваро тихо подремывать у стены, чтобы попытаться вступить в разговор. Но дамы, видя ее немодное платье, не принимали ее в свой круг. Впрочем, Эстер не обижалась: подойди к ней кто, столь истосковавшийся по общению, она бы тоже отшатнулась.

Наконец, подавшись вперед и силясь перекрыть мужские голоса, она попыталась вступить в дискуссию об идеальном политическом устройстве. Но когда она закончила свою короткую речь фразой: «Не в этом ли заключается цель человека?» – в ответ в комнате повисла гробовая тишина, нарушаемая лишь паройтройкой неловких смешков.

Разбудив Альваро, Эстер поблагодарила его.

– Что-нибудь нового узнала? – спросил тот, когда они выходили из душной кофейни в прохладные вечерние сумерки.

– Да, – отвечала Эстер. – Я услышала кое-что интересное и должна это обдумать. И еще я поняла, что подобна плющу, который слишком долго обвивал причудливую башню и теперь не может принять иную форму.

Альваро взял ее под руку и сказал:

– Я понимаю.

И вот теперь он стоял перед ней и упорствовал:

– Сегодня! Я больше не буду откладывать.

И снова эта мягкая, светящаяся изнутри улыбка. Альваро буквально сводил с ума, хотя, возможно, с ума сходила сама Эстер, потому что никак не могла определиться в своей оценке мужа. Он был дурак, а она хотела, чтобы ее оставили в покое. Он был друг – и она хотела, чтобы он оставался в ее комнате в заляпанных травой ботинках, с расстегнутым воротником, распространяя запах свежести – брат, который всегда будет дразнить и прощать.

– Ну что, твой херувимщик придет сегодня? – вопросила она со строгим лицом.

– Он мастер-резчик! – отвечал Альваро, высоко приподняв брови.

– Который вырезал всех до одного херувимов в Питершеме и Ричмонде! – рассмеялась Эстер.

Альваро покраснел:

– Но его резьба бесподобна! Признай же!

Эстер сделала вид, что согласилась. Но Альваро не унимался:

– Его пригласили в королевскую резиденцию в Виндзор, чтобы сделать три архитрава. Его приглашали даже французы. Отцу повезло, что он пригласил его к нам до того, как он стал нарасхват.

Эстер прикусила нижнюю губу, сдерживая улыбку.

– Они… – Эстер замолкла, наблюдая, как Альваро ждет ее приговора. – Довольно приятные.

Альваро молчал.

– И он сам довольно приятный, не сомневаюсь.

Его лицо расплылось в широкой улыбке.

– Его зовут Ричард. Мы договорились с ним, что нет нужды держаться друг от друга на пушечный выстрел. Я сказал ему, что ты все понимаешь.

Теперь Альваро смотрел на жену с просьбой в глазах.

– Ричард надеется познакомиться с благородной хозяйкой дома.

При этих словах Эстер почувствовала, как хорошее настроение быстро улетучивается. Она снова уставилась перед собой.

– В этом доме нет благородных дам.

Какое-то время он молчал, поддавшись мрачному настроению супруги.

– Но тогда, быть может, в другой день?

Эстер подняла взор, слишком тронутая исполненным надежд лицом мужа, чтобы завидовать его искренней любви.

– Да, – сказала она наконец. – Да, я встречусь с ним.

Альваро улыбнулся с такой благодарностью, что Эстер тоже не удержалась. Его глаза излучали свет.

– Никто, кроме тебя, не знает о наших чувствах.

Эстер крепко сомневалась в этой тайне – наверное, половина Питершема и Ричмонда была в курсе любовной истории, и даже Ривка не могла заставить прислугу молчать.

– Так, значит, на реку?

Но Эстер покачала головой. Какое-то упрямство тянуло ее к предыдущему разговору.

– Сначала пообещай мне.

– Что? – непонимающе нахмурился Альваро, но быстро вспомнил, о чем речь. – Ты все об этом? Но ведь это чепуха какая-то!

Эсте поджала губы.

– Нет, – повторил Альваро, – я не сделаю этого. Ты бы мне еще предложила руку тебе сломать. Не буду, и все!

Эстер не хотела поддаваться эмоциям и поглядела на мужа очень сурово:

– Обещай!

Альваро упрямо замотал головой.

От такого предательства у нее потемнело в глазах. Надо же быть такой дурой, чтобы довериться ему! Эстер приподнялась из-за стола и спросила дрогнувшим от гнева голосом:

– Я хоть раз просила тебя хоть о чем-то?

Альваро вновь мотнул головой, но медленнее.

Постепенно Эстер стала приходить в себя. Она долго обдумывала этот вопрос, и хотя до конца не понимала сути своих страхов, тем не менее считала их обоснованными. Ведь она была женщиной, да к тому же письма и заметки ее носили еретический характер. Даже Гоббс и Спиноза не рисковали прямо говорить о своем атеизме.

Альваро, в свою очередь, утверждал, что после смерти ей будет совершенно нечего бояться. Почему бы тогда не передать ему документы на хранение?

Потому что в ее сочинениях высмеивались страдания раввина.

Да, она не могла себе простить насмешек, но не следует ли сохранить записи, чтобы впоследствии люди могли ознакомиться с ними? Жестокость проявлялась не в ее словах, а в окружающем мире.

Даже самой себе она не могла объяснить подобное решение – так же, как не могла объяснить ужас, охватывавший ее в самые неожиданные моменты. Ей виделись руки в язвах, вцепляющиеся ей в волосы, плюющиеся лица… И она продолжала настаивать на своем, будто эти слова ей ничего не стоили:

– Я требую, чтобы ты сжег все мои бумаги после моей смерти. Моя просьба довольно-таки простая, и я все равно не успокоюсь, пока ты не поклянешься мне.

– Сожги их сама! – воскликнул Альваро, поднимаясь со стола и направляясь к двери.

В душе Эстер билась лишь одна мысль: «Не оставляй меня одну в этой комнате!»

Словно услышав ее, Альваро замедлил шаг и остановился посреди спальни. Через мгновение он стоял перед женой.

– Я не могу сделать это сама. Я не вынесу… Нет, нет, пока я еще могу думать, читать и писать!

Он миролюбиво выставил вперед ладони и проговорил:

– Я знаю, что ты… Что тебе пришлось так долго прятаться.

Гнев Эстер мгновенно улетучился, оставив ее в замешательстве. Она виновато качнула головой и только потом догадалась произнести вслух:

– Прости.

– Эстер, – продолжал Альваро. – В живых не осталось никого, кто мог бы пострадать от твоих сочинений. Раввин, твои родственники. Если о твоей работе станет известно и поднимется шум – я даже буду рад. Да кто сможет навредить тебе после смерти?

В самом деле, кто? Эстер изо всех сил старалась сосредоточиться на его словах.

– Что они могут сделать?

– Не слушать меня, – ее голос дрогнул, – потому что я женщина.

Альваро положил руку ей на плечо и спросил:

– И поэтому ты хочешь, чтобы я сжег твои бумаги, чтобы тебя точно никто не услышал?

Эстер терпеть не могла плакать в его присутствии, но тот, кто превозносил силу ее духа, должен был видеть, кто она на самом деле – жалкая плачущая тварь.

Альваро подождал, когда она успокоится, и сказал:

– Ты говоришь, что достаточно и того, что твои идеи проявятся в трудах других ученых. Но кто же узнает, что это твои идеи? Пусть истина выйдет наружу в свое время.

– Пусть истина обратится в пепел, – покачала головой Эстер.

Альваро постоял перед ней еще немного, а затем опустил руку и кивнул, словно смирившись.

Он снова посмотрел ей в глаза и кивнул еще раз – и Эстер заметила, что в его взгляде что-то мелькнуло. Он нежно пожал ее плечо, и она засомневалась, что он действительно сдался.

Альваро стал перед дверью в спальню и ухватился за косяк, словно собираясь запрыгнуть внутрь.

– Река зовет, – сказал он.

Эстер не сводила с него глаз. Смирился ли он?

– Спасибо, – наконец кивнула она.

Когда его шаги стихли, она села за стол. Перед ней лежала начатая страница.

Ничего, можно закончить потом. Эстер встала и, поколебавшись мгновение, широко распахнула окно, впустив в комнату свежий шум реки. Солнце пекло неожиданно сильно, и она подставила лицо, чтобы ощутить его тепло, резкое, как смех. Перед глазами ее плыла синева. Яркое, непонятное небо, загадка, которую ей никак не удавалось решить.

Глава двадцать девятая

Лондон

6 апреля 2001 года

Она сразу подумала, что последние страницы нужно прочитать в одиночестве. То есть она солгала Аарону. Раскладывая драгоценные листы на столе в пабе, она заметила на одном из них дату – восьмое июня тысяча шестьсот девяносто первого года. Одиннадцатое сивана пять тысяч четыреста пятьдесят первого. Всего за неделю до смерти Эстер. Подпись ее. Но даже в неярком свете паба было заметно, что рука писавшей дрожала.

> Позвольте мне начать заново. Возможно, на этот раз я буду откровеннее.

Хелен сунула страницы обратно под обложку. Аарон заинтересовался, но она объяснила, что бумага стала слишком хрупкой. Да, Хелен должна была сказать правду и дать своему коллеге сделать последнее открытие. Но торг с Бриджет измотал ее, тем более что она знала, что сил изучить документы уже не осталось. Даже вместе с Аароном Леви.

Она аккуратно сложила уже прочитанные письма на буфете и принялась раскладывать на кухонном столе последние листы. Страницы шуршали и выгибались, как живые; несколько упало на пол. Хелен с трудом собирала их, сминая бумагу в неловких пальцах. Она понимала, что, отказываясь от помощи, может нанести непоправимый ущерб. Нагибаясь за очередным документом, Хелен вспомнила стих:

> Им эшкахе Йерушалаим, эшках йемини.
> Если я забуду тебя, о Иерусалим, пусть моя правая рука потеряет силу свою.

Вся ее жизнь была посвящена тому, чтобы помнить. И все же Хелен потерпела неудачу: за многие годы она забыла то, что некогда понимала. То, что поняла Эстер Веласкес. Что желание – единственная достойная истина.

Хелен пришла к концу своей жизни в недоумении и не могла сделать собственное признание. Не лучше ли будет, если за нее скажет Эстер Веласкес?

Разгладив на столе последний лист, Хелен присела. Несмотря на все свои недостатки, напомнила она себе, она была женщиной без иллюзий, готовой встретить реальность лицом к лицу.

Сидя под ровным светом лампы, поставив ноги на перекладину стула, как школьница, она водила нетвердой рукой по строчкам, благоговейно прикасаясь к каждому слову, как будто непросохшие чернила еще могли испачкать ей пальцы.

Хелен читала:

Ричмонд, Суррей

8 июня 1691 года

11 сивана 5451 года

Позвольте мне начать заново. Возможно, на этот раз я буду откровеннее. Ибо язвительная немота бумаги, которая могла бы сказать правду, обратилась ложью.

Я не выгораживаю себя и не испытываю угрызений совести, но то, что я пишу сейчас, – это хоть какая-то возможность покаяться пред тем, кого я некогда предала. В тишине этого дома перо и чернила не чинят препон руке моей, и бумага не сопротивляется. Пусть же передаст она истину, хотя записок этих никто и не прочтет.

Меня зовут Эстер Веласкес. Я прожила пятьдесят четыре года и сейчас стою на пороге смерти. Жизнь моя висит на волоске, смерть зовет меня, и я откликаюсь и исповедуюсь через боль, хотя сие и не удовлетворит

предписания закона моего народа. Я хочу открыть тайну, которая долго была мне и спасением, и бременем.

Пусть всякая запретная истина однажды станет явной.

Мой муж и его возлюбленный уже седы после долгих лет взаимной любви, любви двух мужчин, изумленным свидетелем которой я была, ибо любовь – не мой удел. У них я прошу прощения лишь за житейские мои прегрешения, ибо мы никогда не причиняли друг другу горя; совесть моя чиста перед ними.

Болезнь моя заставила замолчать наш дом. Скорбь уже воцарилась в сердцах окружающих, хотя рука моя еще движется по странице.

Осенью тысяча шестьсот пятьдесят седьмого года я поселилась в Лондоне в доме раввина Моше Га-Коэна Мендеса, чтобы помогать ему в просвещении лондонских евреев. И я признаюсь в том, что не выполнила своей обязанности перед учителем, что подорвала основы его учения, что пошла против человека, который был для меня величайшим утешением в мире, что использовала его мысли для собственных целей, притворяясь его верной последовательницей. Но если бы мне была дарована вторая жизнь, я бы снова совершила этот грех, хотя он и отравил бы меня. Итак, я умираю сознаваясь, но не каясь. И если мои мысли окажутся ложными и в ином мире придется за них расплачиваться, я расплачусь безропотно. Я не виню ни отца своего, ни раввина в том, что они позволили мне приобрести знания, считавшиеся неподобающими женщинам, ибо они не могли предвидеть, кем я стану на самом деле, с какой жадностью буду впитывать знания и подвергать сомнению основы мироздания. И, видя, что отклоняюсь от уготованного мне пути, я спросила себя (и посейчас спрашиваю): почему женщина не может следовать собственной природе, если та заставляет ее думать, ведь даже наиничтожнейшее существо следует своей природе?

Мир и я согрешили друг против друга.

На этом я могла бы закончить эту исповедь, ибо, хотя на моей совести лежат и иные грехи, мое осуждение уже

свершилось. Однако остается добавить еще несколько строк, ибо исповедь – это дар тем, кому осталось несколько дней, а то и часов до смерти. Многие из тех, кого я любила, были лишены такого дара.

Слуги ходят босиком и почти бесшумно – им велено не тревожить меня. И в наступившей тишине на меня наваливается ужас, и я боюсь, что из-за этого мои рассуждения потеряют стройность.

Я не верю ни в рай, ни в ад, ни в грядущий мир. Однако я не знаю, будет ли жизнь уничтожена смертью или примет новую, неизвестную мне форму. Может быть, не стоит надеяться на то, что какая-то сущность того, что пока еще бьется во мне, пускай даже и в болезненных конвульсиях, сможет пережить смерть. Но я все равно люблю эту сущность, люблю работу сердца, что бьется в моей груди.

Даже птицы сегодня молчат.

Я не верю своей душе, так как знаю, что ей будет позволено сделать шаг за порог смерти. И тем не менее я постараюсь сложить здесь бремя тех, кто веровал, но не имел возможности исповедаться. Дух отца моего был спокоен и удовлетворен, поскольку он был человеком, чьи слова и поступки соответствовали тому, что он в сердце своем считал правильным и хорошим. В свою очередь, мой брат не нуждается в ком-то, кто исповедался бы за него, потому что он раскаялся и отдал свою жизнь за грех, который никогда не совершал. Дорогой мой Исаак… Этот грех был не твоим, это было стремление искр и пламени вырваться на свободу. Это присуще всем вещам. И все эти годы я страдала из-за того, что их желание жить отняло у тебя твое.

Мать моя, Константина Веласкес, страдала, наверное, сильнее всех остальных. Беспокойный дух ее время от времени посещает меня во сне. Иногда на грани сна я слышу ее голос, хотя никогда никому об этом не рассказывала. Голос произносит всего лишь одно слово – мое имя.

Я пишу о ней, чтобы ответить ей, хотя и не могу сказать, чем это может помочь живущим сегодня. Но само нанесение

чернил на бумагу всегда приносило мне облегчение, и я часто писала то, что не могла произнести.

Я никогда не подходила для этого мира и так и не смогла изменить свою натуру. И такой же, как мне кажется, была и моя мать. Константина де Альманса Веласкес обладала характером, который мог расцвести в других условиях, но не была рождена для того, чтобы стать матроной амстердамской синагоги…

Строчки, хоть и дрожащие, но настойчивые, заполняли еще две страницы. Встречались места, где чернила казались тем нее, а нажим пера сильнее – здесь Эстер возвращалась к тексту через час, а может, и через день. Взгляд Хелен скользил по строкам, и с каждой секундой она чувствовала облегчение, словно сама излагала предложение за предложением.

…Ее дух остался несломленным, но ярость ее осталась втуне…

Хелен продолжала читать, замечая время от времени, что водит пальцем по бумаге и может повредить документ. Но на этих страницах было все – семья Эстер, ее мать, чуждая в Амстердаме мораль португальских беженцев.

Одного только Хелен не ожидала. С трудом поднявшись, она дотащилась до шкафа и нашла то, что вынула из принтера пару дней назад: письмо из амстердамского архива. К нему прилагался самодовольный ответ Дотара на обращение раввина, направленный ему через несколько недель после смерти.

Голова ее кружилась от усталости, и Хелен, прикрыв глаза, трижды перепроверила даты.

Тонюсенькая ниточка. Но Хелен уже не хотела бороться со своей интуицией.

Да, как вся человеческая история. Нет ни одной одинокой нити судьбы, но все сплетены вместе в этом ярком, пораженном любовью мире. Остаться в стороне невозможно. Она всегда это знала.

Хелен закончила далеко за полночь. Ноги почти не держали ее. Ела она хоть что-нибудь в этот день? Патриция вроде чем-то

покормила ее… Хелен порылась в бумагах, словно ища улику на месте преступления, и нашла страничку, которую развернула, порвав ломкую бумагу. Вернувшись на кухню, она положила страничку поверх писем Эстер Веласкес.

Она перечитала написанное на порванной страничке мелким уверенным почерком. Неужели он у нее когда-то был таким? Голубые чернила. Сверху резко, сердито было выведено ее имя – Хелен Энн Уотт. Она припомнила, как беспокойно писала, планируя показать свои заметки Дрору, когда тот вернется в комнату, где она читала его драгоценную книгу. Ей было смешно, ей-богу, словно в начальной школе упражнение задали! Как будто изучение истории могло заставить бросить его! Дальше шли названия городов, государств, какие-то даты. Внизу страницы вопрос:

«Инквизиция положила начало девятнадцатому веку?» Она узнала и место, где ярость ее улеглась, сменившись очарованием. Внизу ей уже не хватило места, и дальше текст перешел на оборот, а потом и вплелся между уже написанными строками. Перевернутые вверх ногами слова, наблюдения, восклицания – все это объединялось яростной логикой ее прежних записей. И половина испорчена пролитым кофе, что принес тогда Дрор. Чернила расплылись, смешав строки, написанные с возмущением, и строки, исполненные понимания. Страница, мятущаяся между любовью и страхом.

Закончив читать, Хелен закрыла глаза и только тогда заметила странное ощущение: что-то холодное и гладкое как бы обвило ее левую руку и ногу и лишило их чувствительности. Через мгновение все прошло. Однако Хелен наконец впустила мрачные прогнозы доктора Хэммонда в сознание.

Ее охватил ужас, но на этот раз она не стала прятаться от него. То, что произошло утром по дороге в хранилище, было только началом.

Странное онемение возникло снова и отступило. Это отличалось от обычных проявлений болезни Паркинсона и даже от всего того, о чем предупреждал ее доктор Хэммонд, в подробностях описывая, к чему ей готовиться.

Однако болезнь уже научила ее, что тело следует только собственным правилам.

Хелен охватило ощущение неизбежности. «Вот оно», – думала она. Разве Эстер Веласкес не показала ей толстыми линиями

дрожащих букв, что настало время и ей, Хелен, сказать то, что нужно, пока она еще в состоянии?

Она на ощупь раздвинула бумаги и, открыв глаза, увидела перед собой последнюю страницу, написанную Эстер.

Дрожь руки писавшей заметно усилилась.

> Я долго жила одна в своей душе и умерла бы в одиночестве. Но муж настаивает и говорит, что будет присутствовать при моей кончине. Удержать его я не могу. Но все же умереть в одиночестве было бы честнее. Ибо разве жизнь не одинока? Разве мыслитель не одинок? Руку давит, сводит судорогой. Она движется в надежде найти друга, который получит то, что вывели здесь чернила. Друг, мечта о друге, желание, чтобы хоть какое-то чувство осталось для другого. Моя рука медленно продвигается по бумаге в свете свечи, хоть глаза слипаются от усталости, которая происходит от вечной надежды: видеть зеркальное отражение моих мыслей, пусть и на мгновение, но запечатленное в чужих.
>
> Я хочу, чтобы слуги шумели на лестнице.
>
> Наваливается тяжесть. Если смерть затуманит мне мысли, то пусть берет меня прямо сейчас, ибо я слабею. Сегодня утром я плакала слезами, которые никогда не орошали моих глаз, даже когда было больше причин лить их. Мысли расплываются, и я не могу собрать их.
>
> Когда придет муж, попрошу его погасить свет.
>
> Да, именно Альваро посоветовал мне написать эту исповедь, дабы облегчить мой дух. И это помогло. Я отдала ему все свои бумаги для того, чтобы он сжег их, кроме моего главного сокровища. Стыдно, но мне жалко жечь его: ведь то письма, посредством которых я обменивалась мыслями с людьми, думающими так же, как и я. Я все еще перечитываю их, лелея каждую мысль, идею, суждение; и мне не жаль тратить на это чтение многие часы. Но я укреплюсь перед самым концом и предам огню величайшее из сокровищ. Те мыслители, чьи слова встречаются на моих страницах, напечатали свои работы для всеобщего ознакомления,

обладая более пристойным слогом, нежели я. Те мои слова, которые стоят того, чтобы остаться в мире, уже отправлены другим, чтобы они могли ими воспользоваться. Не мне решать, какое из семян, что я посеяла, прорастет. Я не тщеславна, чтобы думать о том, как оставить более значимый след в этом мире. Он слишком ненавидит свободный ум и сердце. Пусть горят страницы, ибо такова судьба душ. Все наши стремления идут прахом, и никто в целом мире никогда не узнает истинно того, что когда-то жило и умерло в чужом сердце. Позвольте, я откажусь от глупой идеи оставить узор моих мыслей для того, чтобы их прочитали в более милосердный век.

Нет и не будет такого века.

И пусть истина обратится в пепел.

И все же Хелен держала ее в руках.

Положив листок, она осторожно пошла к столу за бумагой.

Утром Хелен чувствовала боль в руке от долгого писания. Когда она встала с постели, в глазах заплясал целый сонм огоньков. Странное спокойствие воцарилось у нее в душе, когда, выйдя на кухню, она потянулась за второй туфлей и вдруг почувствовала, как в мозгу что-то разорвалось. Внезапно и с треском. Это совсем не походило на симптомы болезни Паркинсона; в тихой ясности, наполнившей ее, это казалось чем-то новым, чем-то освобождающим, молнией, ударом, избавлением. Стремлением спасти ее от судьбы, которой она больше всего боялась, хотя и заставляла себя думать о ней. «Все нормально, – сказала Хелен. – Знаю, знаю давно…»

Все еще в том же костюме, в который накануне обрядили ее Патриции, Хелен направилась на почту, что располагалась на полквартала дальше от ее квартиры. Очередь была большая, и низенькое помещение вдруг накренилось и закружилось перед взором. Хелен протиснулась вперед, держась за стену.

Почтовый работник за стойкой оказался прыщеватым молодым человеком, слишком худым для своей одежды. Хелен протянула ему конверт.

Юноша осмотрел конверт, а затем взглянул на Хелен, показывая на марку:

– Недостаточно, чтобы письмо дошло до Израиля.

Она улыбнулась, вынула из сумки кошелек и, открыв, положила его на стойку.

– Я не собираюсь искать там ваши деньги, – возмущенно заявил юноша.

Она ждала, слегка покачиваясь перед стойкой.

Юноша озадаченно прищурился. Шли секунды, но Хелен молчала, а юноша мялся, словно хотел спросить, все ли с ней в порядке, но не мог подобрать нужных слов. Она видела, что ему неловко из-за того, что он допустил оплошность, не поинтересовавшись ее здоровьем. И, перевернув кончиками пальцев открытый кошелек, из которого выпало несколько монет – достаточно, чтобы оплатить пересылку письма без подписи и конечного адресата, – Хелен ответила юноше легкой улыбкой, в которой заключалась вся милость мира.

Глава тридцатая

Ричмонд, Суррей

12 августа 1667 года

Пение птиц. Тихое течение воды. Звуки реки, свежие и полные надежды.

Яркая синева, от которой кружится голова.

Белая простыня, что Альваро расстелил на траве, слепила на солнце. Эстер подошла по тропинке к самому берегу. Затем, помедлив, ступила на траву, и ее туфли заскользили по мягкой земле.

Альваро смотрел на нее и улыбался. Свои бриджи он закатал до колен и болтал ногами в темной воде, как ребенок.

– А если я простужусь и умру? – спросила Эстер.

– Ну наконец-то! – воскликнул Альваро. – Я знал, что все-таки уговорю тебя.

От травы шел густой и пьянящий дух.

– Пока не уговорил, – заметила Эстер.

– Если ты простудишься и умрешь, – продолжал Альваро, как будто не слыша, – я опубликую твои сочинения под своим именем и прославлюсь на весь мир своими мыслями, пока какой-нибудь король не прикажет отрубить мне голову, чтобы прервать их поток.

Эстер даже не улыбнулась.

– Обещай, – сказала она, – обещай, что сожжешь их. Альваро лениво болтал ногами, и брызги долетали до туфель Эстер.

– Не раньше, чем… – начала она опять, но ее неожиданно остановила мысль о том, как бы смеялась над ними Мэри, как бы она фыркала, услышав о сделке, которой они купили эту жизнь.

– Смотри, Эстер!

Альваро встал у самой воды, оттолкнулся, и его худощавое тело скользнуло в коричневатую воду.

Потом он поплыл обратно к берегу, и вокруг его головы разлетались сверкающие капли.

Как же он научился плавать в изгнании, которое должно было погубить его?

Альваро вышел из воды, и белая мокрая рубашка облепила его тело так, что были видны все ребра. Прищурившись, он посмотрел на тропинку и дальше – на холм, с которого должен был появиться резчик херувимов. Радостное предвкушение озарило его лицо.

– Так обещай же! – слабо повторила Эстер.

Яркая синева, от которой кружится голова.

Глава тридцать первая

Лондон

9 апреля 2001 года

Аарон снова потянулся к телефону – четвертый раз за день. Набрав номер Хелен, который уже успел выучить наизусть, наговорил на автоответчик:

– Хелен, это снова Аарон. Клянусь, я не собираюсь вас преследовать и докучать вам. Просто дайте мне знать, что с вами все в порядке, хорошо? Обещаю, что не буду красть документы, хотя я и мародер, да еще и американец. Послушайте, – добавил он, – это не угроза, но если вы не перезвоните, я поеду в университет и подниму тревогу.

Тишина на линии казалась бесконечной.

– Обещаю не говорить Мартину, как вы всегда им восхищались.

Он подумал, чего бы еще такого добавить, но в трубке раздались гудки отбоя.

Он опять повернулся к монитору. Курсор укоризненно мигнул. Без свежих ричмондских бумаг, не зная, что с Хелен, на второй день он почувствовал себя настолько потерянным, что заставил себя открыть свою диссертацию. Педантичный анализ, заметки для основной части, которую так и не написал… Аарон читал и читал, но диссертация казалась обнесенным стеной городом, вокруг которого он ходил в безуспешных поисках входа.

Чего он ждет? Ведь с Хелен наверняка что-то случилось; нужно действовать. Логика подсказывала, что в силу своего колючего английского характера она могла просто уединиться для работы с бумагами. Но ему не верилось. Что-то случилось, ей и так нездоровилось, она упала, ей нужна помощь… Или же это все пустые страхи – мог ли он теперь доверять своей интуиции?

Его раздражала собственная нерешительность. Прошло уже пять дней после письма Марисы, а он до сих пор не ответил. Мариса

правильно предположит, что это проявление трусости. Она поняла его с самого начала; Аарон Леви был наполовину настоящим и наполовину притворным. И теперь ей станет окончательно ясно, какая именно половинка одержала верх. Неспособность даже подойти к предмету без того, чтобы в груди тотчас же не зародилась паника, являлась самой слабой его чертой, и изменений к лучшему ждать не приходилось.

А теперь еще и Хелен куда-то пропала, а он даже не может решить, что делать. Как получилось, что он так и не удосужился узнать, где она живет?

Он медленно встал и натянул спортивные штаны, только тут поняв, что не выходил из квартиры с позавчерашнего дня. На улице Аарон едва не задохнулся наполненным пыльцой воздухом. Сам факт наступления весны казался ему неуместным. Но, немного пройдясь, он ожил, стряхнул оцепенение и нырнул в метро.

Зал редких рукописей оказался закрыт. Объявление гласило, что в зале идут работы по установке нового книжного шкафа и он откроется в полчетвертого. Часы показывали три с четвертью, и Аарон прислонился к стене в ожидании. Не прошло и двух минут, как раздались шаги, и перед ним возник не кто иной, как Брайан Уилтон. Увидев Аарона, он замешкался, не находя благовидного предлога для отступления. Потом бросил взгляд на объявление и, вежливо кивнув, остановился рядом с Аароном.

– Чертов шкаф, – произнес Уилтон.

– Чертов шкаф, – эхом отозвался Аарон.

Уилтон кивнул и тоже оперся о стену.

Его каштановые волосы были на удивление густы и слегка завивались. По одежде явно скучал утюг, но выглядел Уилтон опрятно. Аарон не испытывал к Уилтону особенной неприязни, как Хелен, но теперь это начало меняться. Внешний вид Уилтона показался ему чересчур изысканным для ученого-историка, тем более англичанина. «С такой невинной физиономией вполне можно занять первое место на всеанглийском конкурсе смазливых историков, – подумал Аарон. – И на конкурсе экстравагантных причесок».

– Вы видели Хелен Уотт в последние дни? – грубовато спросил он Уилтона.

– Нет, – тут же отозвался тот, словно в эту минуту сам думал о ней. – Несколько дней не видел.

Что-то промелькнуло у него на лице, и только немного погодя Аарон догадался, что это было чувство вины.

– Я слышал, она уходит на пенсию, – осторожно добавил Уилтон.

– Только формально, – поспешно сказал Аарон.

Уилтон натянуто улыбнулся и стал смотреть в другую сторону.

Аарону до смерти хотелось рассказать ему о документах, которые Хелен выкупила у Бриджет. И увидеть выражение его лица, когда они с Хелен опубликуют свою статью. Если, конечно, Хелен не решила избавиться от Аарона и сделать это в одиночку. И если она вместе с бумагами не провалилась в кроличью нору. Или не лежит в больнице, одна, затерянная в этом переполненном людьми городе. Последнее предположение Аарон собирался проверить этим вечером.

Он взглянул на часы – до открытия зала оставалось пять минут.

Уилтон вздохнул и заговорил, не глядя на Аарона:

– Никогда не забуду, как я оскорбил ее. Давно это было. Я отпустил сальную шутку, а потом обернулся, а она стоит совсем рядом. Да еще так посмотрела, я аж окаменел.

Аарон почувствовал, что невольно ухмыляется при этом признании, но, слушая Уилтона, стал ощущать не превосходство, а скорее симпатию.

– Видите ли, она из тех людей, чье мнение имеет значение, – продолжал Уилтон. – А ее одобрение нужно заслужить.

Аарон кивнул.

– Но мне это не удалось, – сказал Уилтон.

За толстым стеклом возникла фигура библиотекаря Патриции. Лязгнул металл замка, дверь отворилась, и Уилтон прошел в зал прежде, чем Аарон успел произнести: «Мне не помешал бы такой друг, как вы…»

Патриция смотрела на него в упор, и Аарон понял, что стоит столбом в проеме, мешая закрыть дверь.

– Слушайте, – сказал он библиотекарю. – Я никак не могу дозвониться до Хелен. Она собиралась принести сюда какие-то бумаги; может, вы ее видели?

Он не успел договорить, как Патриция нахмурилась. Затем решительно покачала головой. Аарон с удивлением заметил, что она

тоже обеспокоена и, видимо, относится к той породе людей, чье беспокойство легко обращается в гнев на весь мир, неспособный быть безопасным.

– Я не видела ее уже несколько дней, – сказала Патриция.

И Аарон услышал и понял, что и ее краткий ответ, и неусыпная бдительность на рабочем месте, и идиотская слежка за карандашами – все это было проявлением любви.

– Я сама ей позвоню, – пообещала Патриция. – А если не дозвонюсь, то поеду к ней домой, как только шкаф доделают. Это часа через два.

Она вынула из кармана карандаш, и они с Аароном обменялись номерами телефонов.

Теперь он был совершенно свободен. Аарон даже поверить не мог, как легко Патриция взяла на себя заботы о Хелен. На него нахлынуло чувство благодарности, и он едва не поцеловал библиотекаря в ее увядшую щеку.

Однако чуть погодя ему пришло в голову, что Патриция сняла с него ответственность подобно тому, как у маленького ребенка забирают зверушку, чтобы тот ее не мучил.

Да, надо было поступить иначе: нет, мэм, спасибо, но я разберусь сам. Разве не так должен вести себя мужчина… или Аарон не такой уж и мужчина?

И, ошеломленный этой мыслью, Аарон сделал то, что только полный идиот назвал бы смелым поступком. Он быстрым шагом вышел из хранилища, пересек двор и направился на исторический факультет. Он решил объявить о своей научной неудаче – так сказать, броситься на собственный меч, – чтобы доказать (кому?), что у него осталось хоть немного порядочности. Несколько месяцев он представлял себе, как начинает новую страницу своей академической карьеры благодаря сотрудничеству с Хелен, как стучится в дверь Дарси и объявляет ему, что Шекспир в его творческих замыслах уступил место более яркой и перспективной теме для диссертации. Правда, теперь, после новостей от Марисы, Аарон сомневался, что способен написать хоть что-нибудь. Тут даже не требовалось суровых суждений Хелен, которые и так эхом отдавались у него в ушах, чтобы понять, что он ни на что не способен. Он мог часами сидеть за компьютером, не родив ни слова, так что ему начинало казаться, что

монитор вот-вот проглотит его. Даже новые документы, что они нашли у Бриджет, казались ему миражом, а подпись Спинозы – плодом его раздраженного воображения.

И вот он постучался в дверь кабинета Дарси – не в твидовом пиджаке, который надевал в таких случаях, а в джинсах и жеваной синей футболке. В отличие от модной небрежности Уилтона, Аарон выглядел просто неряхой. Он услышал приближающиеся шаги Дарси и вдруг понял, что проходил в этой футболке, не снимая, три дня.

Дарси открыл дверь.

– Привет, – сказал он несколько удивленно. – А мы что, договаривались о встрече?

Один лишь вид Дарси подействовал на Аарона успокоительно: квадратные линзы в металлической оправе, редеющие каштановые с проседью волосы, высокая сутуловатая фигура. Дарси имел озабоченный вид человека, погруженного в исторические труды и уверенного, что докуки реальной жизни можно доверить кому-нибудь другому, например жене.

Дарси не отпускал дверную ручку, и Аарон понял, что тому не нравится, что его оторвали от работы.

– Или вы хотите договориться?

Его отеческий тон привел Аарона в чувство, однако слова упорно не шли у него с языка.

– Ну что ж, – сказал Дарси, не дождавшись ответа. – Проходите, присаживайтесь.

Аарон последовал приглашению, но садиться не стал, а лишь оперся руками о деревянную спинку стула.

– У меня, – сказал он, – возникли определенные трудности.

На последнем слове его голос дрогнул. Он чувствовал, что совершает роковую ошибку, но теперь, в отличие от прошлых случаев, он понимал, что его привела сюда не вспыльчивость, а ощущение, что он сделан из чрезвычайно хрупкого материала, что малейший ветерок может размолоть его в прах и поэтому необходимо показаться хоть кому-то на глаза, пока не стало слишком поздно.

Сидя за столом, Дарси осторожно улыбнулся:

– Что, Шекспир дурно с вами обращается?

Аарон покачал головой. Помедлив мгновение, он сказал:

– Кажется, я запутался в своей жизни.

Кто-то прошел мимо кабинета. Дарси спросил:

– И насколько все плохо?

Аарон чувствовал, что его трясет. В горле стоял ком.

– Пока не знаю. Возможно, мне потребуется взять академический отпуск. Думаю, что нужно писать диссертацию по материалам, над какими мы работали с Хелен Уотт. Да вот из-за личных неприятностей не могу никак сосредоточиться… А тут еще Хелен никак найти не могу, – закончил он, словно мальчишка, потерявший маму в торговом центре.

– То есть как не можете найти? – резко спросил Дарси.

Аарон вдруг вспомнил, что они друзья.

– Она не отвечает на мои звонки.

Дарси нахмурился и посмотрел на часы. Но, отложив беспокойство на потом, наклонился вперед, оперся о стол локтями, сцепил ладони и произнес:

– Я бы не советовал делать резкие перемены, – тут его рука описала в воздухе фигуру и вернулась на место, – пока жизнь не войдет в ровную колею.

Дарси умолк, и Аарон понял, что тот дает ему возможность отступить, прийти в себя и минимизировать последствия того, что он только что наговорил. Но сказать ему было нечего.

– Может быть, – Дарси посмотрел на Аарона из-под нахмуренных бровей, словно пытаясь говорить на неизвестном ему иностранном языке, – имеет смысл посоветоваться с раввином?

Аарон моргнул – откуда Дарси знает, что его отец – раввин? Нет, конечно же, Дарси не знал, а просто предполагал, как многие англичане, что еврей, даже нерелигиозный, все равно предпочтет решать проблему по-еврейски, а не отправится к психологу, как все остальные. Он мог бы и обидеться на эти слова, но что толку обижаться на стереотипы? Он кивнул и чуть не расхохотался, вспомнив, что сегодня пятница.

– Да. Думаю, это не помешает, – сказал он встревоженному Дарси.

Действительно, посещение субботней службы показалось ему настолько логичным выбором, что он даже не колебался. Он поблагодарил Дарси и, к явному того облегчению, вышел из кабинета.

Платформа на станции была забита людьми. Судя по всему, на линии что-то случилось и движение приостановили. Аарон стоял в толпе лондонцев всех оттенков и форм – в деловых костюмах, тюрбанах, с крашеными волосами, в пирсинге – и ждал в беспокойном молчании.

Поезда пустили лишь через полчаса, и Аарон пропустил шесть составов, прежде чем ему удалось втиснуться в вагон. Поезд тронулся, Аарон взялся за поручень и закрыл глаза. На мгновение ему показалось, что Хелен где-то здесь, в поезде. Вот-вот подойдет и смерит его взглядом. И поинтересуется, почему он не в читальном зале, когда у них куча работы.

Вагон кренился и раскачивался, набирая скорость. Стены туннеля расплывались за тусклым стеклом, станции мелькали, словно разноцветные подарки, появлявшиеся лишь для того, чтобы тут же исчезнуть. В мигающем свете десятки незнакомцев, что окружали Аарона, казались ему прекрасными скульптурами, и в лице каждого из них он читал отражение собственных вопросов: жива ли еще Хелен? Жив ли он сам? Остался ли мир за пределами этого туннеля? В конце концов он отпустил свои мысли со странным чувством облегчения, позволив себе просто мчаться по туннелю среди незнакомых людей, держащихся за поручни, упирающихся руками в стены, подталкивающих его в плечи и спину – сотни рук, живых и мертвых.

Выйдя на Бейсуотер-стрит, он увидел, что уже вечер, а появившиеся еще днем облака сдержали свое обещание. Улицы были мокры, смеркалось. Конечно, в реформистской синагоге служба уже закончилась. Но тем не менее он все же направился по адресу, записанному у него в блокноте.

За время своего пребывания в Лондоне он даже не пытался посетить синагогу, несмотря на советы родителей. Его мало интересовал английский реформистский иудаизм, который был еще более скучным вариантом того, что Аарон видел в Штатах. И вот теперь он никак не мог отыскать молельный дом. Трижды он прошел мимо большого желтого навеса, прежде чем понял, что находится у цели. На стене не было ни вывески, ни другого знака, что это синагога, а здоровенные охранники показались ему вышибалами из ночного клуба. Из дверей парами и тройками выходили хорошо одетые евреи средних лет. Аарон посторонился и стал рассматривать крошечную

вывеску за стеклянными дверями. Надпись была на иврите. Триста пятьдесят лет прошло, подумал он, а лондонские евреи все еще стараются не выделяться. Хотя теперь им угрожают не костер и петля, а взрывные устройства, и проблема заключается не в ереси, а в существовании государства Израиль.

Охранники посмотрели на Аарона и кивнули. Внутри к нему подошел человек с двойным подбородком и сказал:

– Вы пропустили службу.

Аарон заставил себя улыбнуться.

– А просто посмотреть можно? – спросил он, так как сразу уйти ему показалось невежливым.

Мужчина равнодушно пожал плечами.

Проследовав в указанном им направлении, Аарон остановился у входа в молельный зал, чтобы прочитать небольшую табличку. Община отделилась в тысяча восемьсот сороковом году от синагоги Бевис-Маркс, построенной в тысяча семьсот первом году португальскими и испанскими беженцами, которые на протяжении большей части семнадцатого столетия посещали синагогу на Кричерч-лейн.

Зал был большим и на удивление богато украшенным. Потолок был расписан красочными узорами, у задней стены имелся орган, купол закрывал биму, на которой собралось несколько человек, как предположил Аарон, тоже опоздавших на службу. Одна из боковых стен представляла собой ширму, за которой во время службы находился синагогальный хор: голоса из ниоткуда, сливавшиеся в уменьшенном четырехголосом ладу. Аарон слышал об английских реформистских общинах – еврейские богослужения в напыщенном викторианском стиле. Помимо старосты, здесь должны были быть три служителя в цилиндрах, которые во время только что закончившейся службы стояли за деревянным барьером, вставая и садясь в определенные моменты, подавая таким образом пример всем молящимся.

Аарон прошел половину прохода и сел на край ряда. Посидев с минуту, он встал и направился к выходу. Что может быть лучше для сына раввина, у которого, как он сам себе признался, есть проблемы с отцом, как не размышления об отцовстве? Однако одна из женщин, что

стояла на биме, повернулась и поманила Аарона к себе. В длинной юбке и зеленой косынке, похожая на студентку.

– Не стесняйтесь! – окликнула она Аарона.

Девушка выглядела слишком веселой и свободно одетой – не то что господин с двойным подбородком у входа. Но и те, кто стоял рядом с ней, тоже оказались молодыми и неформально одетыми. Некоторые были похожи на американцев.

– Да я просто зашел посмотреть, – сказал Аарон.

– Так присоединяйтесь к нам, – не отступала девушка. – Мы проводим собственную службу раз в месяц. Вам понравится. У нас куда веселее, чем на официальной службе.

Аарон не нашел, что возразить, и подошел к биме. Молодые люди не пользовались скамейками с мягким сиденьем и расставили складные стулья в круг. Аарон сел рядом с девушкой, и в этот момент один из собравшихся – юноша с бородой – вынул из полотняного чехла барабан. Затем мужчина средних лет достал скрипку, а женщина с кудрявыми растрепанными волосами, как выяснилось, играла на гитаре и флейте. Сначала Аарон подумал, что именно она руководит службой, но все остальные вели себя точно так же. Без особого пафоса, если не считать улыбок, все спели «Шалом алейхем», потом псалом на иврите, положенный на мелодию, показавшуюся Аарону знакомой. Мелодия, которую вела флейта, органично вписывалась в интерьер зала. Как понял Аарон, вся служба состояла из песнопений. Проповедь не читалась, и между возгласами не тянулись нудные паузы. Некоторые из собравшихся слегка раскачивались, закрыв глаза, и отбивали ритм, хлопая по металлическим сиденьям. Аарону стало смешно. Неудивительно, думал он, что тот человек при входе ничего не сказал ему о неформальной службе. Даже в американских реформистских общинах старой школы к подобным службам относились с подозрением, что уж говорить об английских. Певцы старались накрутить максимум гармоний вокруг мелодии – похоже, что гармонии и были главным элементом представления, а мелодия носила второстепенный характер, но в любом случае звук был чрезвычайно хорош.

Сам Аарон никогда не верил в Бога. Но вне зависимости от того, верили ли в Бога эти светлолицые люди или нет, они точно верили в то,

что им нравится петь. Аарон закрыл глаза и какое-то время слушал, соглашаясь, что поверить в это стоит.

Внезапно музыка оборвалась. Женщина с кудрявыми волосами сделала объявление о предстоящей дискуссии на тему израильско-палестинской ситуации. «Независимо от того, – сказала она, – поддерживаете ли вы Израиль или нет, правые вы, левые или еще не определились, мы хотим собраться вместе и обсудить существующие проблемы». Потом кто-то стал уточнять время и место встречи, все покивали друг другу и продолжили петь. Аарону подумалось, что история – бог, которому он поклонялся всю свою взрослую жизнь, оказался ложным богом.

Он всегда с жалостью относился к людям, попавшим в ловушку времени, в те периоды, что ему доводилось изучать. Они напоминали застывших в смоле насекомых, и их судьбы были предопределены неспособностью предвидеть грядущее. Аарон считал, что застрять в своем времени – это величайшее проклятие, а вот заглянуть за его горизонт – величайшая сила. Изучение истории давало иллюзию безопасного наблюдения со стороны. Но вот в чем оказалось дело: ловушкой был сам мир. Обстоятельства, при которых родился человек, ситуации, в которых он оказывался, были неустранимы, и уклониться от схватки было невозможно. И то, как поступает человек, и есть его жизнь.

Разве не это пыталась ему объяснить Хелен?

Пение закончилось. Аарон смотрел, как прихожане собирают свои инструменты, а потом разбиваются на группки, чтобы разделить вино и халу. Но ни синагога, ни молитва никогда не будут ему интересны. Но все же ему показалось, что бог, которому молились эти люди, – это настоящее, тот мир, где они чувствуют себя обязанными действовать, входя в историю, что течет прямо перед ними, делая выбор и зная, что могут потерпеть неудачу.

Выйдя из синагоги, он набрал номер Патриции.

Дойдя до нужного крыльца на Крэнли-Плейс, он увидел Патрицию, которая возилась с дверным замком. Обернувшись на его шаги, она издала вздох облегчения.

– Спасибо…

Внутри опрятной квартиры мягко светила одна-единственная лампа.

Патриция позвала Хелен по имени раз, потом еще раз.

Тишина.

Проходя по комнатам, Аарон прикасался к каждому предмету, мимо которого проходил: к дивану, креслу, низенькому столику с аккуратной стопкой журналов, к деревянной двери, ведущей в спальню. Он коснулся и локтя Патриции, когда та покачнулась в изножье кровати, на которой под одеялом лежала Хелен, как будто спала.

– Что нужно делать? – спросил он, когда настало время говорить.

Было уже поздно, когда он вышел из квартиры Хелен. Он выполнил все указания Патриции, нашел номера нужных телефонов, встретил агента из похоронного бюро. Пока Патриция звонила куда следует, он то и дело смотрел на Хелен: хрупкая, как ребенок, она лежала под простым белым покрывалом с выражением девичьего покоя на лице. Он придвинул стул и сел у кровати, положив руку на подъем ее правой ноги, как будто это пожатие могло наконец сказать ей то, что он хотел, чтобы она знала: ты не одна.

Он задержался даже после того, как похоронный агент исполнил все формальности. В конце концов, делать ему было нечего. Идти тоже некуда, разве что домой. Он подумал, что в подходящий момент, возможно завтра, нужно будет подойти к Патриции Старлинг-Хейт и объяснить, что Хелен могла оставить Патриции Смит ценные документы. Правду сказать, Хелен так отчаянно торговалась за этот фолиант, что в сознании Аарона его содержание стало синонимом ее жизни, причем таким же эфемерным. Без Хелен последние ричмондские письма были не более чем предположением.

Впрочем, что бы он ни думал, бумаги все равно отныне принадлежат наследникам Хелен. Как только подвернется возможность, нужно связаться с ними… или попросить сделать это Дарси. Если повезет, Дарси сможет отговорить их от продажи бумаг частным коллекционерам. Но как бы то ни было, Аарон понимал, что ему не имеет смысла надеяться хоть когда-нибудь заполучить эти рукописи, разве что в качестве второстепенного сотрудника в группе Уилтона. И то не факт: аспиранту, который умудрился загубить

собственную диссертацию, вряд ли доверят такие важные документы. Да Аарон и сам не знал, нужна ли ему эта работа.

Он уже застегивал куртку, когда его позвала Патриция.

– Это я нашла на кухонном столе, – сказала она, передавая ему толстую папку.

На обложке чуть криво был приклеен листок, на котором дрожащим почерком Хелен было выведено: «Аарону Леви».

Видя, что ему нечего сказать, Патриция просто открыла дверь и выпустила его в ночь.

Папку он открыл, только переступив порог своей квартиры. У него тряслись руки, когда он развязывал тесемки. Внутри, поверх фолианта, лежал линованный лист…

> Уважаемый мистер Леви.
>
> Если вы держите в руках эти страницы, то это означает, что у меня больше нет такой возможности.
>
> Я далека от сентиментальности, как вы имели возможность убедиться. Тем не менее вы должны знать, мне очень хотелось поработать над этими документами вместе с вами. Но если папка у вас, то работать вам придется одному. Я приняла решение о судьбе этих бумаг после того, как меня не станет.
>
> Перед вами ваша диссертация.
>
> Документы отныне принадлежат вам. Я солгала вам, когда сказала, что последние страницы сильно повреждены. Мне хотелось прочитать их в одиночестве. Когда вы дойдете до предпоследней страницы исповеди Эстер, сверьте ее с письмом из амстердамского Дотара. Я не сомневаюсь, что вы узнаете знакомые слова. Когда будете читать, вспомните о нашем споре относительно того, чья это история. Вы тогда очень разозлились на меня, но и я ответила вам тем же.
>
> Насчет того, кому принадлежит история Эстер, вы были правы. Но и я тоже, хотя и не мечтала о такой возможности. Наверно, вы сочтете такую возможность маловероятной. Разумеется, это так. Но все же я чувствую, что заслужила право бездоказательно утверждать, что верю в это.

Вы с самого начала поняли, какой музей я сделала из своей жизни. Мне показалось, что это невыносимо. Так что прошу прощения за свое дурное поведение.

Работайте с этими бумагами так, как считаете правильным. Я вам доверяю.

Хелен

Аарон прошел в квартиру. Включил свет, машинально поставил чайник. Письмо Хелен он перечитал раза три и только потом раскрыл фолиант.

– Так вот ты где, – сказал он, обращаясь к Эстер.

Вот ты где.

И хотя я видела, что отклоняюсь от уготованного мне пути, я спросила себя (и посейчас спрашиваю) – почему женщина не может следовать собственной природе, если та заставляет ее думать, ведь даже наиничтожнейшее существо следует своей природе?

Мир и я согрешили друг против друга.

Он не спеша читал страницу за страницей, попутно делая заметки на единственном клочке бумаги, что был в пределах его досягаемости, – списке покупок, который начал составлять прошлой ночью, но бросил после третьего пункта. Под кофе, хлопьями и хлебом он вслепую, не отрывая глаз от текста, записывал слова, а то и целые предложения, словно боясь, что страницы растворятся сразу после прочтения.

Наконец он дошел до предпоследней страницы и отложил ручку.

Констанция де Альманса Веласкес обладала характером, который мог расцвести в других условиях, и не была рождена для того, чтобы стать матроной амстердамской синагоги. Избежав ужасов инквизиции, она, невеста на выданье, жила среди португальских евреев Амстердама, которые больше всего боялись откровенности и поступков, которые могли бы снова навлечь на них беды, как в Португалии. Моя мать, не смирившаяся перед

лиссабонскими священниками, ежедневно бросала вызов старейшинам амстердамской общины, в том числе и своему мужу. Ее дух остался не сломлен, но ярость ее не нашла понимания. Не стану перечислять все ее выходки, хотя и была свидетелем многого, помимо того, в чем еще призналась мне мать. Я решила никогда не открывать своему брату, что один из ее бунтов привел к его появлению на свет.

Амстердам стал темницей для натуры матери, а все ее попытки вырваться на свободу оказались тщетны. Если бы мне было подвластно милосердие нашего мира, я бы приказала простить ее.

Моя мать родилась в Лиссабоне в семье человека, которого она называла отцом. Однако мне она призналась, что зачата была в Лондоне и настоящим отцом ее был не муж ее матери, и даже не еврей, а англичанин, да еще и женатый. Мать полагала, а быть может, по злобе желала верить, что через некоторое время его сердце охладело и он бросил ту, которую некогда любил, и ее ребенка. Моя мать утверждала, что ее мать, то есть моя бабка, слыла в молодости красавицей и ей ничего не стоило соблазнить даже ангела, превратив его в сущего дьявола. Еще она клялась, что поступит так же, если ее спровоцируют, потому что мужчины всегда неверны. Многое в ее рассказе было искажено из-за давности времени, вина и чувства обиды. Но, несмотря на все ее негодование, я услышала в ее повествовании другую правду: бабушка и ее возлюбленный боялись гнева и возмездия мира, в котором их брак был запретным. Тот факт, что они достойно приняли свою участь, еще больше злил мою мать. Когда ей исполнилось десять лет, ее настоящий отец умер, так и не попытавшись воссоединиться со своей возлюбленной. Этот грех мать так и не смогла простить, потому что их любовь была столь велика, что могла исправить существующий мир, а ее утрата только все разрушила.

Не знаю, можно ли верить пьяным словам человека, терзаемого одиночеством, но сбивчивый рассказ матери заронил во мне мысль о том, что силы желания достаточно,

чтобы сотрясти основы мира. И я всегда думала об этом, хоть любовь оказалась для меня недосягаемым плодом.

Я не стану лгать, что не оплакивала эту потерю. Но такая женщина, как я, – скалистый утес, на котором мужчина проверяет себя, прежде чем спуститься на безопасную равнину. Я не могу винить людей в том, что они склонны идти по наиболее легкому пути. Также я не виню тех, кто считает мой выбор неправильным. Я задумала так, я выбрала, и несу бремя последствий этого выбора.

Аарон дочитал до конца, замечая, что почерк становится все менее и менее твердым. Эстер писала о намерении сжечь свои записи.

Пусть истина обратится в пепел.

Он присел, держа в руках последнюю страницу исповеди Эстер. Отодвинув его в сторону, Аарон увидел еще два листа, но уже современной бумаги. Полстраницы первого были покрыты четкими черными строчками – ну да, ведь он совсем недавно установил новый картридж в принтер Хелен. Это была распечатка электронного письма от Дины Якобович:

Уважаемая профессор Уотт.

Направляю вам ответ, адресованный раввину Га-Коэну Мендесу амстердамским Дотаром. Письмо было направлено в Лондон, но вернулось обратно, так как ни раввина, ни кого-либо из его домочадцев по указанному адресу найти не удалось.

Надеюсь, письмо будет вам полезным. Удачи.

Аарон перевернул страницу.

11 августа 1665 года
30 ава 5425 года
Амстердам

Достопочтенному раввину Га-Коэну Мендесу

С сожалением о длительной задержке нашего ответа мы направляем его. Прежде чем мы осмелились вскрыть ваше послание, прошло определенное время, так как некоторые считают, что любое письмо, пришедшее из Лондона, может быть заражено чумой. Мы пишем наш ответ в надежде, что он найдет вас выздоровевшим чудом Б-жьим и что ваш прием в лучшем мире отложен, дабы ученики в этом мире могли еще пожинать плоды вашей мудрости.

Мы также с сожалением сообщаем вам, что не можем обеспечить приданое для молодой Веласкес. Сей вопрос горячо обсуждался в махамаде, ибо многие помнят ее отца и чтят его имя. Но, к великому сожалению, мать молодой Веласкес отличалась дикарской необузданностью, каковая и по сей день остается в памяти нашей общины. Мы хотели бы разъяснить вам это подробнее, как бы неприятно это ни было.

Мать Эстер, Констанстина Веласкес, отказалась обрезать своего сына, пока ребенка не отобрали силой. Поняв, что не в силах помешать общине выполнить священный долг, она направила махамаду послание, исполненное такой злобы, какой не слышали доселе в стенах нашей синагоги. Она назвала нас трусами и мышами; утверждала, что ей хватит сил и духа соблазнить самого праведного из нас и превратить его в дьявола. Этому колдовству, по ее словам, она научилась от своей матери. Кроме того, она похвалялась прелюбодеянием, которое совершила ее мать с неким англичанином, который, как она утверждала, озарил Англию своими простыми словами и кровь которого течет и в ее жилах, отчего наша община превратилась в посмешище.

Только из уважения к ее мужу махамад не стал ставить ей на вид такое неслыханное безобразие, предпочтя объявить ее безумие последствием родильной горячки. Некоторые члены совета, решавшие этот вопрос, и по сию пору остаются в нашем собрании по прошествии многих лет. Поэтому мы считаем, что община не может поддержать брак дочери Израиля, которая несет позор своей матери. Кроме

того, оскорбление и принижение авторитета амстердамского махамада также имеет большое значение.

От имени Дотара, с молитвами о вашем выздоровлении и сердцем, жаждущим искупления,

Эфраим Толедано

Аарон долго сидел уставившись в потолок, пытаясь совладать с нахлынувшими на него эмоциями. Вот так ирония! История, возвращающаяся теперь к нему, как факельное шествие: фокус, шутка, подарок.

Самым важным было сохранять ясность мышления – и впервые за несколько месяцев его разум был чист и прозрачен. Стараясь не спешить, он обдумал все, что знал об Эстер и ее матери. И вдруг поймал себя на том, что задумался о Марисе.

И тут ему почудился голос Хелен, звучащий так же убедительно, как и в тот день, когда они спорили в ее душном кабинете. История, чем бы она ни оказалась, по сути, принадлежит всем нам.

Никто бы в это не поверил. Неужели одна из известнейших головоломок для историков имеет решение, которое вытекает из озлобленного, а возможно, и приукрашенного рассказа португальской беженки?

Он внимательно перечитал строки, написанные Эстер. Красота для того, чтобы соблазнить ангела, превратив его в дьявола. И заключительные строки из письма Дотара. Сила, чтобы соблазнить… Происхождение этой фразы, даже написанной на португальском языке, было очевидно: Уильям Шекспир, сонет сто сорок четвертый. О женщине, которую автор любит даже вопреки здравому смыслу.

Конечно, это могло быть простым совпадением – воспоминания Эстер и письмо раввину из Амстердама. Просто и Эстер, и Эфраим Толедано использовали одну и ту же формулировку. И что с того? Что с того, что Константина Веласкес неоднократно выражала свой гнев именно таким образом? Возможно, она много читала английской поэзии. Возможно, она в горячечном порыве придумала историю своей матери. Или же сам Аарон не так понял португальского еврея…

И да, что с того, что Константине в шестнадцатом году было десять лет, как уже давно выяснил Аарон?

Он мог бы написать богатейшую диссертацию – хоть десять диссертаций, просто используя письма из найденного фолианта и не гоняясь за совпадениями. И похоронить этот эпилог истории Эстер – пусть он станет пеплом.

Но в глубине своей души он знал, что не сделает этого. Когда-то он боялся, что его неуклюжесть погубит хрупкие листочки, найденные под лестницей. А теперь он был их владельцем, защитником жизни, которая теплилась на этих страницах.

И поэтому сначала он воздаст должное Эстер Веласкес. Ее жизнь и ее письма не нуждались ни в приукрашивании, ни в раскрытии связи с другим знаменитым именем, чтобы подчеркнуть их важность. Потребуются месяцы, если не годы, чтобы отследить все сохранившиеся письма, что направляла Эстер своим корреспондентам, проследить историю самой Эстер, подтвердить подлинность подписи Спинозы, отразить обвинения в мошенничестве, – все это означает долгий и нелегкий труд.

И вот только после окончания большой работы по публикации переписки Аарон возьмется за эту последнюю тему. Здесь нужно быть осторожным. Брайан Уилтон допустил непростительную оплошность, опубликовав статью о несуществующем флорентийском кризисе. Это ему будут припоминать еще многие годы. Среди вечного урагана выдуманных фактов и безумных теорий шекспироведа разве кто-нибудь воспримет всерьез, что бабушка Эстер, португальская еврейка, и была на самом деле Темной Леди Шекспира, женщиной с глазами цвета воронова крыла?

Аарон и сам толком не знал, стоит ли воспринимать ее всерьез.

Но Хелен полагала, что стоит. Кроме того, последние месяцы открыли Аарону одно немаловажное обстоятельство: он слишком слабо разбирался в секретах, любви и сожалениях.

Он представил себе тайную жизнь Эстер среди бурных событий семнадцатого века – едва видимый водяной знак на странице истории, видимый только тем, кто умеет смотреть. Неизвестно, существовала ли кровная связь, но, несомненно, была связь духовная: Эстер Веласкес являла собой связующее звено в непрекращающемся дискурсе, пронизывавшем шекспировский революционный гуманизм, мучительное обезличение Спинозы и далее все, что будоражило и утешало души. От этой мысли Аарону стало покойно.

Его разум уподобился ярко освещенному коридору, где каждый шаг был ясен и логичен.

Утром он принесет бумаги Дарси, который наверняка деликатно сделает вид, что не заметил срыв Аарона. А Уилтон сможет стать для него идеальным научным партнером, с которым, вероятно, Аарон будет сотрудничать в будущем. Но именно Дарси поможет Аарону сделать так, чтобы имя Хелен появилось в качестве первого автора работы, в которой будет изложена история Эстер. Аарон напишет статью, но его имя будет лишь вторым.

А закончив работу (при условии, что не возникнет претензий наследников), он продаст бумаги университету. Он не станет задирать цену, но и благотворительностью тоже не будет заниматься. Марисе и ребенку должно быть комфортно, а жалованье историка, вне зависимости от того, работает он в Англии или в Израиле, не бог весть какое.

Мариса.

Он даже не знал номера ее телефона. Как так получается, что у него нет номера телефона женщины, с которой он будет связан всю жизнь, хочет она этого или нет? Авиабилеты… ладно, с ними он разберется позже.

Аарон включил настольную лампу, открыл ноутбук и защелкал пальцами по клавиатуре.

> Дорогая Мариса.
>
> Не вижу смысла раздумывать о том, с чего лучше начать. То, что я должен тебе сказать, – сложно, но на самом деле просто, и это правда, независимо от того, хочешь ты быть со мной или нет.

Глава тридцать вторая

Его мокрая рубашка рельефно облепляла тело, так что просвечивали ребра. Альваро, прищурившись, посмотрел на тропинку.

– Обещай! – сказала Эстер.

Солнечный свет весело играл на ее лице.

С ближнего дерева донесся звонкий птичий крик.

– Ричард говорит, что так кричит коноплянка.

Речные воды неспешно катились под ногами, и Эстер прикрыла веки, засмотревшись. Выше по реке несколько рыбаков ловили рыбу, и их голоса тонко отдавались над поверхностью воды. Ближе, на противоположном берегу, трое мальчишек тянули бечевой против течения плот. Дородный лодочник вез на раскрашенной лодке скучающую парочку в обратном направлении. Молодой человек невидящим взглядом обшаривал глазами берег, а молодая женщина со светлыми волосами, дорого одетая, с полоской едва заметных черных пятнышек на шее и груди, наклонилась в сторону Лондона, как будто это движение могло ускорить ход лодки, стремящейся к городу, к его стенам, светским салонам, где звучал смех, к заново отстроенным театрам и недавно расширенным улицам.

Чем дольше Эстер разглядывала берег, тем более диким он ей казался. Крики птиц, которых не спугнула даже лодка, высокая трава вдоль берегов, наполненная скрытой жизнью. Она почувствовала себя беззащитной.

Повернувшись к Альваро, она знаком показала, что боится.

Наверху, на поросшем травкой холме, Ривка стелила для просушки ослепительно-белое белье. Эстер и Альваро покосились на нее, а Ривка, в свою очередь, остановилась и покачала головой, словно на двух детей. Затем они пробрались под сплетенными ветвями деревьев к небольшой заводи, где, как сказал Альваро, есть тень и не унесет течением.

Укрывшись за деревом, она разделась до сорочки. Затем повернулась к мужу, скрестив руки на груди и дрожа. Альваро уже был в воде, плывя по течению, выкрикивал ей инструкции. Но, как ни странно, она понимала не его слова, а лишь голос, с каждым днем

становившийся все доверчивее. Вот он, ее муж: состоятельный человек, владеющий унаследованным правом аренды на девяносто девять лет – для жизни хватит. Эстер вдруг почувствовала, как что-то стало у нее в горле, стремясь оторваться.

Она осторожно вошла в воду, чувствуя, как больно впиваются в ступни речные камни. Один шаг… Затем еще. Она остановилась и окунула руку в поток. Тяжелая, холодная вода потекла между ее пальцами – сначала осторожно, а затем сильнее. Эстер шагнула дальше, и напор воды усилился, вынуждая ладонь раскрываться, а пальцы растопыриваться.

Сколько горечи ей пришлось изведать: и огонь, и лихорадку, смерть близких людей и осознание собственной неспособности умереть, чтобы понять, что жизнь неизбывно стремится к собственному продолжению.

А теперь ей пришло в голову, что она никогда не задумывалась: а почему?

Вот почему: вода нежно раскрывает ее ладонь, течение целует пальцы. Наслаждение.

Глава тридцать третья

7 апреля 2001 г.

Мой любимый Дрор!

Сколько лет прошло, как ты стоял, придерживая сломанную руку, в полумраке кухни военной базы? Я ведь так и не рассказала тебе, каким ты предстал передо мной той ночью. При всей своей брутальности ты все же был похож на газель, застывшую на цементном полу. И твоя неуверенность весьма забавляла.

А как ты танцевал? Твои ноги попирали песок пустыни, и гипс на руке. Тогда я влюбилась в тебя. Но в слепоте своей я видела только то, что меня пугало. Я никогда не понимала, как искренне способно любить израненное сердце.

Так пусть будет хотя бы одно место, где я останусь цельной. Эта страница.

Узнав о твоей смерти, я долго не могла принять этот факт. Я искренне считала, что ты не можешь умереть, и это действительно правда. Но я все же ждала того дня, когда какой-нибудь долг… как бы это выразить? Я как-то представляла это себе, могла выразить словами, что сама едва осознавала, чувствовала…

Я ждала того момента, когда некий долг будет оплачен, произойдет опустошение, настанет печаль, и мой мелкий страх рассеется, и мы вернемся друг к другу.

Мне потребовалось немало времени, чтобы осознать, что тебя больше нет.

Но вот настала и моя очередь. Дрор, теперь я все прекрасно вижу и понимаю. Я вижу тебя в машине, в которой ты направлялся ради некоей миссии… неважно какой, но ты отправился на нее хоть и с камнем на сердце, но уверенный в успехе (ты все еще был уверен, Дрор? Надеюсь, что да). Да, уверенный, что ты защищаешь своих близких, родных, прошлое, настоящее и будущее (я знаю, что ты

любил свою жену и детей. Знаю. Меньшего я от тебя и не ожидала). И вот я ясно увидела, как за твоей машиной следует другая. Черная, безликая. А потом она ускоряется, следует удар, твой автомобиль подлетает… И твое лицо становится очень серьезным, когда ты понял, что машина оторвалась от асфальта. Я вижу, как она парит в воздухе, как крутится и переворачивается. Я вижу тебя, Дрор, устремившимся в пространство. Взрыв, кошмар, драма. Ужас. А потом – скорбная тишина. Лучше этого не слышать. Вверх рвется пламя, искры от которого долетают до грузных еловых лап. Дым, Дрор, дым и страшный жар.

Но ты выходишь из него целым и невредимым. Красавцем, каким был всегда.

Там, где некогда билось мое сердце, осталась пустота. И ее заполняет история твоей жизни.

Глава тридцать четвертая

Вода журчит сквозь пальцы, заставляя раскрываться ладонь. Она направилась туда, где стоял ее муж, хозяин величественного дома на вершине холма. Эстер не удержалась и прыснула прямо ему в лицо. И он тоже рассмеялся и легким движением сбил ее с ног. Течение несло ее вперед, а Альваро поддерживал снизу, и поверхность воды бархатно пенилась. Ноги и ступни не слушались ее, и она не понимала, что с ними делать, пока вода не вынесла их на поверхность, играя ими, словно ножками марионетки. Эстер взглянула в карие глаза мужа, в которых отражались солнечные блики.

– Ну вот, – сказал он, прижимая ее руки к своим крепким плечам. – Держись.

От автора

Персонажи и события, описанные в романе «Вес чернил», полностью вымышлены, однако исторический фон реален. Саббатианское движение действительно оказало существенное влияние на значительную часть еврейской общины семнадцатого века. Философы, упомянутые в книге, так же реальны, как и центральные фигуры еврейской общины Амстердама; и хотя раввин Моше Га-Коэн Мендес вымышленный, его советы Менассии бен-Исраэлю о поездке последнего в Англию и его последствиях основаны на документально подтвержденных фактах.

Пьеса, которую смотрят Эстер и Мэри, выдумана, однако я взяла за основу «Комическую месть, или Любовь в ванне» сэра Джорджа Этериджа 1664 года. Вымышленные предупреждения Эстер Мэри о любви содержат намек на высказывания Мэри Эстелл о браке. В тексте также присутствуют цитаты из произведений Шекспира. Стихотворная строка, которую Хелен вспоминает в лаборатории консервации, взята из «Бесплодной земли» Т. С. Элиота.

Для ясности я прошла на некоторые упрощения: например, район, ныне известный как Ричмонд-на-Темзе, в семнадцатом веке назывался Питершэм. Во избежание путаницы я везде использовала современное название. А программа, в рамках которой Хелен и другие иностранцы работают волонтерами в Израиле, была разработаны только через несколько лет после того, как Хелен побывала в Израиле.

Список работ, которые я нашла полезными при изучении этой книги, мог бы занять несколько страниц. Однако я хотела бы особо упомянуть следующие: «Предательство Спинозы: еврей-ренегат, подаривший нам современность» Ребекки Ньюбергер Гольдштейн; «Спиноза: его жизнь и ересь» Стивена Надлера; «Евреи в истории Англии, 1485–1850» Дэвида С. Каца; «Иудеи Португалии: Диалоги и община Амстердама раннего Нового времени» Мириам Бодиан; «Семейная жизнь сефардов в диаспоре раннего Нового времени» Джулии Р. Либерман; «Радикальное просвещение: философия и становление современности, 1650–1750» Джонатана И. Исраэля; «Женщины и мужчины-политические теоретики: просвещенные

беседы» Кристин Уотерс и «Лондон в период Реставрации» Лайзы Пикар, к которой я возвращалась снова и снова, описывая подробности окружения Эстер.

Мастер-резчик действительно работал в Ричмонде-Питершэме в семнадцатом веке, и его резных херувимов и сейчас можно увидеть в сохранившихся домах той эпохи, хотя его имя утрачено для истории.

Благодарности

Я очень благодарна историкам, реставраторам, архивистам и другим лицам, с которыми консультировалась в процессе работы над романом. Среди них: Эми Армстронг, Глория Эшер, Закари Бейкер, Рэйчел Броуди, Дэвид ДеГрааф, Фрэнк Гарсия, Джейн Гербер, Доминик Грин, Рэйчел Гринблатт, Джошуа Джейкобсон, Пол Янковски, Камилла Коттон, Дэвид Лисс, Шарон Машер, Нелл Пейнтер, Джонатан Шнеер, Кэтрин Зайдл-Гомес, Стефани Ширилан, Скай Ширли, Малкольм Сингер и Саймон Уортнаби. Благодарю также сотрудников и волонтеров Северо-Восточного центра сохранения документов, Еврейского исторического общества Англии, краеведческого музея Ричмонда-на-Темзе и комиссии «Английское наследие» за их помощь и терпение.

Я очень обязана Фонду Корета за те счастливые месяцы, которые провела в качестве писателя-резидента Стэнфордского университета, в частности Стивену Зипперштейну за его идеи, дружбу и разрешение посещать любые лекции по истории. Колония Макдауэлл и корпорация Яддо предоставили мне драгоценное время и место – чего не могло бы произойти без искренней поддержки Эшли Фуллер и Габриэль Асгариан. Лаура Колбе очень помогла мне в предварительных исследованиях, а Центр женских исследований Брандейса и Институт Хадасса-Брандейс обеспечили поддержку, общение и доступ к библиотеке. Я признательна Шуламит Рейнхарц, Дебби Олинс и замечательной Хильде Поулсон за их неоценимую квалифицированную помощь.

Я безмерно благодарна ученым и писателям, чьи книги очень помогли мне в моих исследованиях, за их вклад. За беседы, которые помогли расположить эту историю на полной противоречий карте шекспироведения; я благодарна Тине Пэкер и Джеймсу Шапиро. Дэвид С. Кац оказал мне огромную услугу, прочитав рукопись на предмет исторической точности, как и Джулия Либерман; я не могла бы найти лучших специалистов по еврейским общинам семнадцатого века, изображенным в романе. Стивен Надлер, чьи работы о Спинозе послужили мне важнейшим руководством, щедро делился своими

знаниями, не жалея времени. Я благодарю Кристин Уотерс не только за ее работы о политических теоретиках, но и за юмор и изящество, с которыми она помогла мне сориентироваться в философии семнадцатого века. И я не могу в достаточной мере отблагодарить Ребекку Ньюбергер Гольдштейн за ее поучительные труды о Спинозе; кроме того, она проверила философскую составляющую романа и показала мне, как философ взаимодействует с миром.

Мне очень повезло иметь таких друзей и подруг, как Марта Коллинз, Тони Эприл и Ким Гарсиа. За годы, что я работала над этой книгой, мои друзья не жалели времени, чтобы помогать мне в большом и малом. Я особо благодарна Хоуи Аксельроду, Лорел Читен, Сью Фендрик, Керри Фолкман, Лори Фоос, Рошель Фридман, Ярону и Тали Галаи, Саре Килгаллон, Лори Лейф, Мелани Лейтнер, Шерил Леви, Майклу Ловенталю, Адриану Матейке, Лизе Майер, Киран Милунски, Брайану Мортону, Лене Парвекс, Хайди Шварц, Сьюзан Сильверман, Шэрон Стэмпфер, Дугласу Стоун, Эллен Уиттлин и Хизер Закер. Благодарю Эмили Франклин, Хайди Питлор, Джоанну Ракофф и Джессику Шаттак за юмор, советы и отличную компанию. Я бесконечно благодарна Тове Мирвис за вклад в работу над рукописью и за ее необыкновенный талант к интеллектуальной дружбе. А Кэрол Гиллиган принимала эту книгу на всех уровнях – и ее видение и необычайно тонкий слух сыграли решающую роль, как и их с Джимом Гиллиганом гостеприимство.

Сара Бернс, которой помогали Логан Гаррисон и весь коллектив Gernert Company, сделала все, чего только может ожидать писатель. Спасибо тебе, Сара, за то, что поверила в эту книгу. А Лорен Вейн была идеальным редактором для этого романа – огромное спасибо ей и Пилар Гарсия-Браун за доброжелательную помощь, как и всей замечательной команде Houghton Mifflin Harcourt.

Особо хотелось упомянуть Адама Ривкина, которому я благодарна за острый глаз и спокойное чувство юмора. А также Анну и Ларри Кадиш, Лилли Сингер, Джоан Шерман, моих братьев и сестер Дебби и Джен, Сэма и Али, всех племянников и прочих многочисленных родственников, близких и дальних, – моя огромная благодарность за ваше тепло и поддержку в течение многих лет, что я работала над этой книгой. Наконец, благодарю Талию и Джейкоба, чьи любовь и энтузиазм значат для меня все.

notes

Примечания

1

Пер. С. Маршака. – Здесь и далее примеч. пер.

2

Седер – ритуальная семейная трапеза, проводимая в начале праздника Песах.

3

Саббатианство – направление иудаизма, возникшее в 1665 году после того, как Шабтай Цви (в другой транскрипции Саббатай Цеви) объявил себя Мессией.

4

У. Шекспир. Сонет 127. *(Пер. С. Маршака.)*

5

Нет ничего *(исп.)*.

6

Бима – возвышение, обычно в центре синагоги, где находится специальный стол для публичного чтения свитка Торы.

7

Мидраш (*др.* – *евр.* «изучение, толкование») – в иудаизме изложение главным образом Священного Писания.

8

Дотар (Santa Companhia de Dotar Orphas e Donzellas) – сефардское сообщество в Амстердаме, одной из целей которого было привлечение частных пожертвований на приданое для бедных или осиротевших девочек.

9

«О хрупкости человеческой» *(исп.)*.

10

У. Шекспир. Макбет. *(Пер. М. Лозинского.)*

11

На улицу *(нидерланд.)*.

12

«Ульпан», или «Ульпан-кибуц», – учебное учреждение или школа для изучения иврита. Программа «Ульпан-кибуц» направлена на изучение иврита методом погружения в языковую среду для молодых людей (одиночек и семейных пар без детей) в возрасте от 18 до 30 лет.

13

ESL (English as a Second Language) – программа обучения английскому языку как иностранному в странах, где он является государственным или на нем говорит большинство населения.

14

«Бог или Природа» *(лат.)*.

15

Пер. С. Маршака.

16

В иудейской религиозной традиции – обряд первой стрижки мальчиков, достигших возраста трех лет (т. н. опшерниш).

17

Махамад – правление еврейской общины.

18

Херем – высшая мера осуждения в еврейской общине. Как правило, заключается в полном исключении порицаемого еврея из общины.

19

Блетчли-парк, также известный как *Station X,* – особняк, расположенный в Блетчли (в городе Милтон Кинс), в историческом и церемониальном графстве Бакингемшир, в центре Англии. Во время Второй мировой войны в Блетчли-парке располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании.

20

Леводопа – лекарственное противопаркинсоническое средство.

21

In situ (лат.) – научный термин для обозначения оригинального (первичного, без перемещения) места проведения опытов, наблюдений и экспериментов.

22

«Финджан» – еврейская народная песня (букв. «кофейная турка»).

23

Ноттинг-Хилл – район Лондона, где в 1958 году произошли столкновения на расовой почве.

24

«Наступает вечер» *(иврит)*.

25

Фрэнки Лейн – популярный в Великобритании американский певец итальянского происхождения.

26

Пожалуйста, девушка *(иврит)*.

27

Маттафия – священник из рода Хасмонеев, инициатор и первый вождь начавшегося в 167 году до н. э. восстания, вызванного гонениями правителя эллинистической селевкидской Сирии Антиоха IV Эпифана.

28

Альфред Дрейфус – французский офицер, еврей по происхождению, фигурант знаменитого судебного процесса, вызвавшего общеевропейский резонанс и получившего огромное политическое и историческое значение, известного как «дело Дрейфуса».

29

«Белая книга 1939 года» – отчет министра колоний Великобритании Малькольма Макдональда британскому парламенту о политике правительства в отношении Британского мандата в Палестине. Появилась в ответ на требования арабского населения Палестины полностью запретить еврейскую иммиграцию и приобретение земли евреями.

30

«Утешение в бедах Израиля» *(португ.)*.

31

«Брейшит» – первая по счету недельная глава Торы, расположенная в начале первой книги с тем же названием.

32

Совет Четырех Земель – центральный орган автономного еврейского общинного самоуправления в Речи Посполитой, действовавший с середины XVI до второй половины XVIII века.

33

«Знаю тебя, знаю себя» *(лат.)*.

34

«Мать в Израиле» – выражение из 2 Цар. 20: 19: «Я из мирных, верных городов Израиля; а ты хочешь уничтожить город, и притом мать городов в Израиле; для чего тебе разрушать наследие Господне?»

35

Ктувим – третий, и заключительный, раздел иудейского Священного Писания – Танаха. Известен также под греческим названием «Агиографы».

36

Бард, или Бард Эйвона, – прозвище Шекспира.

37

Кагал (в широком смысле) – община евреев.

38

Древо Жизни *(иврит)*.

39

Хахам – в сефардских и восточноевропейских общинах то же, что и «раввин».

40

У. Шекспир. Ричард II. Акт II, сцена 1. *(Пер. М. Донского.)*

41

Пер. С. Маршака.

42

Балкон или галерея в синагоге *(иврит. «эзрат нашим»)* – место для молитвы женщин.

43

Инженю – амплуа наивной невинной девушки.

44

Франциск ван ден Энден – бывший иезуит, поэт, врач, философ. В основном известен как учитель Баруха де Спинозы.

45

Лодевейк Мейер – голландский врач, философ, переводчик, лексикограф, драматург. Один из самых видных членов окружения Б. Спинозы.

46

«Принципы картезианской философии» *(лат.)*.

47

Вирджинал – клавишный струнный музыкальный инструмент, старинная английская разновидность клавесина.

48

«De motu cordis» *(лат.)* – «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных» (полное название: «Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus») – работа Уильяма Гарвея (1578–1657,) английского медика, анатома, основоположника физиологии и эмбриологии.

49

Гален (129–216) – древнеримский медик, хирург и философ греческого происхождения. Внес весомый вклад в понимание многих научных дисциплин, включая анатомию, физиологию, патологию, фармакологию и неврологию.

50

Ва-йикра (она же Книга Левит) – «И воззвал»; также «Третья книга Моисея» – третья книга Пятикнижия (Торы), Ветхого Завета и всей Библии. Название происходит от священнического колена Левия. Посвящена религиозной стороне жизни народа Израиля.

51

Пер. С. Маршака.

52

Дамаст – то же, что и камча, шелковая ткань.

53

«Берегись» *(лат.)*.

54

Латинское крылатое выражение. Дословно переводится: «под розой». Русский эквивалент: «тайно», «по секрету».

55

Сэмюэл Пипс (23 февраля 1633 г., Лондон – 26 мая 1703 г., Клэпхем) – английский чиновник морского ведомства, автор знаменитого дневника о повседневной жизни лондонцев периода Стюартовской Реставрации.

56

«Archiv für Geschichte der Philosophie» – рецензируемый академический философский журнал, издаваемый на немецком, английском, французском и итальянском языках. Посвящен истории философии.

57

Хупа – балдахин, под которым еврейская пара стоит во время церемонии своего бракосочетания, а также сама эта церемония.

58

Берген-Бельзен – нацистский концентрационный лагерь, располагавшийся в провинции Ганновер (сегодня – на территории земли Нижняя Саксония) в миле от деревни Бельзен и в нескольких километрах к юго-западу от города Берген.

59

Флагелланты – движение «бичующихся» (*лат.* flagellare – «хлестать, сечь, бить, мучить»), возникшее в XIII веке. Флагелланты в качестве одного из средств умерщвления плоти использовали самобичевание, которое могло быть как публичным, так и келейным.

60

Седекия – двадцатый и последний царь Иудеи. По приказу Навуходоносора детей Седекии убили у него на глазах, а сам Седекия был ослеплен.

61

Кехилла *(иврит)* – собрание, община.

62

У. Шекспир. Сонет 129. *(Пер. С. Маршака.)*

63

Строка из поэмы Т. С. Элиота «Бесплодная земля». *Пер. Я. Пробштейна.*

64

«Прости меня» *(португ.)*.

65

«Все, что я скажу, ничтожно» *(исп.)*.

66

Пожалуйста *(исп.)*.

67

Пер. И. Светлова.

68

«Секретарская рука» – стиль европейского письма, разработанный в начале XVI века для деловой и личной переписки из-за возросшей потребности в более разборчивом и узнаваемом почерке.

69

«Плачем, ибо изранены… пора нам искать лекарство и утешение для всех их, потому что мы здесь для той цели, которая…» *(португ.)*